



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ**



# немецкая новелла

XX  
века

*Переводы с немецкого*

Государственное издательство  
художественной литературы  
Москва 1963

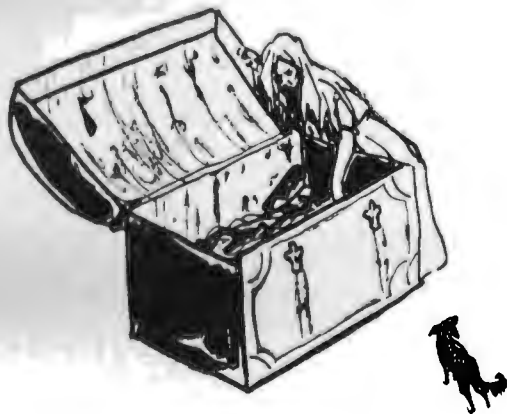


*Переводы под редакцией*  
**Н. НАСАТКИНОЙ, Р. РОЗЕНТАЛЬ,**  
**В. СТАНЕВИЧ**

*Составление*  
**И. ФРАДКИНА**

*Художник*  
**Л. ЗУСМАН**

# Бергарт Баунтман



## КАРНАВАЛ



Уже год, как парусных дел мастер Кильблок был женат. Была у него славная усадьба на берегу озера, домик, двор и клочок земли. В хлеву стояла корова, по двору, оглашая воздух гоготом, разгуливали гуси. В сениарнике откармливались три жирных свиньи, которых потом закалывали одну за другой.

Кильблок был старше своей жены, но в жизнелюбии нисколько ей не уступал. Оба они и до и после женитьбы любили потанцевать, и Кильблок нередко говорил: «Только дурак воображает, что жениться все равно что в монастырь пойти. Верно, Марихен? — добавлял он, обнимая и прижимая к себе сильными руками толстущку-жену. — У нас с тобой только теперь самое веселье и начнется».

И правда, если не считать коротких шести недель, связанных с рождением ребенка, первый год их супружества был сплошным праздником. Но и после этих шести недель в их жизни мало что изменилось. Ухаживать за маленьким крикуном, которого подарила Кильблоку жена, с первых же дней пришлось бабушке; едва только в окна их домика, стоявшего в стороне, врывалась вместе с ветром мелодия вальса, они собирались — и поминай как звали.

Кильблоки были неизменными участниками всех вечеринок не только в своей деревне, они не упускали случая повеселиться на праздниках и в соседних селениях. А если бабушка заболела, что случалось нередко, они брали маленького шалуна с собой. В танцевальном зале сдвигали два стула и вешали на них передники и платки, чтобы свет не бил ребенку в глаза. Бедному малышу частенько приходилось спать всю ночь в этой «постельке» под оглушительный рев медных инструментов и визг кларнетов, под крики и топот танцующих и дышать воздухом, пропитанным винными парами, пылью и табачным дымом.

Односельчане, глядя на это, только дивились, но у парусных дел мастера всегда был один ответ: «Так ведь он сын Кильблотов, поняли?» Если Густавхен начинал кричать, мать после очередного танца подбегала к нему, хватала на руки и исчезала в холодных снях. Здесь, пристроившись на ступеньках или на чем придется, она совала ребенку разгоряченную от вина и танцев влажную грудь, и тот жадно сосал. Едва Густавхен наедался, на него нападало странное веселье, доставлявшее родителям немало радости, тем более что продолжалось оно недолго и вскоре сменялось глубоким и тяжелым сном, длившимся до самого утра.

Так пролетели лето и осень.

В одно прекрасное утро, когда парусных дел мастер, хорошо выспавшись, вышел из дома, он увидел, что за ночь все вокруг оделось в пушистую снежную шубу. Белые хлопья повисли на верхушках сосен, подступавших к самому озеру. Заснеженный бор плотным темным кольцом окружал равнину, в которой лежала деревушка.

Парусных дел мастер улыбнулся про себя. Зима была его любимым временем года. Снег удивительно походил на сахар и сразу напомнил о гроге, ярко освещенных, натопленных монятах, о чудесных праздниках, которые справляют зимой.

Радясь в душе, наблюдал он, как неуклюжие лодки с трудом продвигаются по озеру, уже покрывшемуся слоем льда. «Скоро лодки совсем застрянут,— сказал он себе,— и тогда наступит мое времечко!»

Кильблок отнюдь не был лентяем. Напротив, никто не трудился прилежнее его, пока была работа. Но когда озеро замерзало и Кильблок оставался на несколько месяцев без работы, вынужденное безделье его несколько не огорчало, он видел в нем прекрасную возможность прокутить все, что заработал раньше.

Попыхивая короткой трубкой, Кильблок спустился крутым берегом к озеру и постучал ногой по льду. Против ожидания, лед под ним сразу треснул, и парусных дел мастер чуть было не упал, хотя проделал свой опыт с величайшей осторожностью.

Отчаянно чертыхаясь, он поднял выпавшую изо рта трубку и поспешно отступил.

Наблюдавший за ним рыбак крикнул:

— Что, дружище Кильблок, вздумал на коньках покататься?

— Через недельку можно и попробовать!

— Тогда мне придется, пожалуй, купить новую сеть.

— Для чего?

— Чтобы тебя из полыньи выудить: ведь ты наверняка провалишься.

Кильблок добродушно рассмеялся. Он уже собрался что-то возразить, но тут жена позвала его завтракать. Поднимаясь к дому, Кильблок решил, что за столом надо будет хорошенько обмозговать слова рыбака,— особого желания искупаться в полынье он не испытывал.

Семья Кильблоков сидела за завтраком.

Бабушка пила кофе у окна. Скамейкой для ног ей служил зеленый четырехугольный сундучок, на который она время от времени тревожно посматривала выцветшими от старости глазами. Затем старуха открыла ящик столика и начала шарить в нем худыми, дрожащими руками, пока не нащупала пфенниг, вынула его и бережно воткнула в узкую прорезь стоящего под ногами сундука.

Кильблок с женой понимающе подмигнули друг другу, наблюдая за маневрами старухи. На ее застывшем, увядшем лице на миг промелькнуло выражение тайной радости, как бывало всегда, когда она утром находила в столе монету; впрочем, супруги Кильблок очень редко забывали положить ее туда.

Лишь вчера молодая женщина снова разменяла марку на пфенниги и, смеясь, показала их мужу.

— С нашей матерью кубышки заводить не надо, — сказал Кильблок, бросив жадный взгляд на зеленый сундук. — Кто знает, сколько там всякого добра. Уж конечно, скопила она немало, и когда придет ей пора умереть, — да продлит бог ее дни, — нам с тобой кое-что достанется, за это я ручаюсь.

Его слова, как видно, разожгли воображение молодой женщины; она вскочила, расправила юбки и запела: «Тогда поедем в Африку, поедем в Камерун».

Ее пение внезапно прервал громкий визг; маленькая коричневая собачонка Лотта осмелилась подойти к зеленому сундучку слишком близко, и за это старуха наградила ее пинком. Супруги Кильблок хохотали до слез, глядя, как собачонка с разбитой мордой, жалобно повизгивая, уползает за печь.

Старуха прошамкала что-то о собачьем отродье, а Кильблок крикнул своей глухой матери:

— Правильно, матушка! Нечего тут делать этой образине. Сундук твой, никто не смеет к нему прикасаться — ни собака, ни кошка. Верно я говорю? — Мамаша не дремлет, — довольным тоном сказал он, выходя вслед за женой во двор, чтобы полюбоваться, как она кормит скотину. — У старухи ни один грош не пропадет, — верно, Марихен?

Марихен, не обращая внимания на холод, подоткнула юбки, засучила рукава и принялась высыпать отруби из мешка; солнце щедро обливало своим светом ее крепкое, точно налитое тело.

Кильблок смотрел на жену с затаенным восторгом, все еще наслаждаясь успокоительной мыслью, что деньги, скопленные его алчной матерью, сулят им в будущем много приятного. Ему было так хорошо в эту минуту, что даже думать о работе не хотелось. Маленькими глазками он с плотоядной улыбкой смотрел на розовые жирные спины свиней, и ему виделись сочные окорока, колбасы и буженина. Он окинул быстрым взглядом заснеженный дворик, и ему показалось, что перед ним стол, накрытый белоснежной скатертью и уставленный

блюдами с жарким из кур, уток и гусей, правда, еще живых.

Фрау Марихен тоже таяла от удовольствия, глядя на всю эту жизнь. Из дома уже давно доносился жалобный детский плач, но он ничуть не мешал ей заниматься своим делом. Ведь чем больше у них будет коров, свиней и птицы, тем выгоднее будет их жизнь; в ребенке же Марихен видела лишь помеху для веселья.

Наступила карнавальная неделя. Семья Кильблоков пила послеобеденный кофе. Годовалый Густавхен играл на полу. Марихен напекла оладий, и все пребывали в самом благодушном настроении: был чудесный субботний день, оладьи просто таяли во рту, а главное, Кильблоки предвкушали удовольствие от маскарада, который устраивался сегодня в деревне.

Марихен собиралась нарядиться садовницей, и ее костюм уже висел возле большой серой кафельной печи, от которой так и несло жаром. Огонь в печи горел целый день, потому что вот уже месяц, как на дворе стояли небывалые морозы, озеро давно покрылось льдом, и по нему без всякого риска переезжали груженные доверху повозки.

Бабушка сидела у окна, как всегда охраняя свое сокровище, и возле печи, свернувшись клубком, лежала Лотта; дверца печи, тихо поскрипывая, то приоткрывалась, то закрывалась, и пламя обдавало собаку жаром.

Сегодняшний бал был последним зимним праздником, и Кильблоки, понятное дело, собирались повеселиться вволю.

До сих пор зима проходила как нельзя лучше. Праздники, тигры, игры, пирушки в гостях и дома сменялись недолгими часами работы. Но денег заметно поубавилось, свиней, гусей и уток осталось не так уж много, и все это не могло не тревожить Кильблоков.

Правда, они утешали себя мыслью, что скоро подойдет лето. Что же до денег, которых осталось совсем мало, то достаточно было посмотреть на сундучок, и сразу становилось легче на душе.

Вообще этот зеленый сундук, на который мать постоянно ставила ноги, вселял в супругов Кильблок спокойную уверенность в будущее. Когда Кильблоки теряли несколько покупателей, когда рвался парус или заболела рожей свинья, они всякий раз вспоминали о заветном сундучке и тут же успокаивались.

Если им казалось, что в хозяйстве не все идет гладко, они отгоняли от себя докучные заботы, утешаясь мыслью о содержимом зеленого сундучка.

Что и говорить, им представлялось, что в сундучке лежат поистине сказочные богатства, и они постепенно уверовали в то, что минута, когда они смогут его открыть, будет самой счастливой в их жизни.

Они давно уже решили, на что пойдут эти деньги. Прежде всего небольшую часть они истратят на поездку в Берлин, эдак дней на восемь, и, разумеется, без Густавхена. Его можно будет пристроить на время поездки у знакомых в деревне Штебен, на том берегу.

Едва речь заходила о путешествии, как супругами овладевала настоящая дорожная лихорадка. Муж начинал доказывать, что это будет как бы второй медовый месяц, а Марихен, вспоминая о временах девичества, мечтала побывать в цирке Ренца и в других приятных местах.

Вот и сегодня они опять заговорили о будущей поездке, как вдруг их внимание привлек Густавхен. Он поднял свои покрытые цыпками ручонки, как будто хотел сказать: «Слушайте», при этом из его измазанного ротика вырвался крик, похожий на кваканье лягушонка.

Родители, еле сдерживая смех, о минуту наблюдали за гримасами малыша. Наконец они не выдержали, прыснули со смеху и хохотали так громко, что Густавхен испугался и заплакал. Даже бабушка повернула к нему свое отупевшее лицо.

— Не плачь, глупыш, тебя же никто не обижает, — успокаивала его Марихен, уже успевшая нарядиться в костюм садовницы, главным украшением которого был красный корсаж. — Что это на тебя нашло? Чего ты вдруг начал размахивать руками, ну прямо канатоходец на проволоке или мой дядя, когда он поймает зайца в силки.

Кильблок, который старательно чистил желтый праздничный фрак, смеясь, добавил:

— Это все озеро виновато. Озеро!

И действительно, в окна, то затихая, то усиливаясь, пролился глухой, протяжный звук, похожий на всхлипывания: то волновалась и клочкотала под ледяною коркой вода. Ребенок, как видно, впервые услышал эти звуки и пытался им подражать.

Чем меньше времени оставалось до карнавала, тем веселее становились супруги Кильблок; они помогали друг другу наряжаться и, не дожидаясь начала праздника, дурачились



повсю, а уж на всякие шутки и выдумки непреременный участник всех гулянок Кильблок был великий мастер.

Молодая женщина заливалась смехом, но когда Кильблок, чтобы, по его словам, нагнать на людей страху, надел пепельно-серую бумажную маску, Марихен охватил ужас.

— Сними маску, прошу тебя, — закричала она, дрожа всем телом. — Ты похож на мертвеца, вставшего из могилы.

Но Кильблока забавлял страх жены. Он носился вокруг нее, придерживая маску обеими руками, и Марихен, как ни отворачивалась, все время видела ее перед собой. Это окончательно вышло из себя молодую женщину.

— Чорт возьми! Убери эту мерзость, — завопила она, толкая поганца, а Кильблок, выдыхаясь от смеха, упал на деревянный стул, который чуть было под ним не развалился.

Наконец они оделись.

Он нарядился висельником: на нем был желтый фрак, короткие бархатные брюки, на ногах — башмаки с пряжками, на голове — огромная чернышница из картона, оттуда торчало огромное гусиное перо.

Она оделась садовницей, платье было украшено искусственным плющом, гладко причесанную голову обвивал венок из бумажных роз.

Часы показывали семь, так что можно было отправляться на праздник.

Конечно, «садовнице» и на этот раз совсем не хотелось брать Густавхена с собой, но другого выхода не было.

Недавно бабушку хватил удар, поэтому ей нельзя было поручить даже самое пустячное дело. Единственное, на что она еще была способна, это одеваться и раздеваться без чужой помощи.

Перед уходом супруги поставили на подоконнике рядом с зажженной лампой немного еды и спокойно оставили старуху до утра на волю провидения. Они попрощались с ней, крикнув глухой старухе прямо в ухо: «Мы пошли». Кильблок запер снаружи дом, в котором остались только старуха, сидевшая у окна, да собачка Лотта, спавшая возле печки.

Маятник старинных шварцвальдских часов мерно раскачивался влево и вправо: тик-так, тик-так. Старуха то сидела молча, то резким, скрипучим голосом начинала бормотать молитвы. Лотта время от времени ворчала во сне, а с озера все громче доносилось грозное клочкотанье воды. Облитое светом луны, ледяное зеркало озера сверкало и искрилось, точно огромная алмазная диадема в оправе иссиня-черных лесистых обрывов.

Когда супруги Кильблок вошли в зал, их встретили пением фаффар.

«Висельник» вызвал всеобщее смятение. Садовницы, цыганки, маркитантки с визгом бросились к своим кавалерам — батракам и железнодорожным рабочим, которые чувствовали себя весьма неловко в одеяниях испанских грандов с болтающимися на боку тоненькими шпагами, похожими на зубочистки.

Парусных дел мастер Кильблок был необычайно доволен тем впечатлением, которое произвел его костюм. Часа три он развлекался тем, что пугал женщин в маскарадных костюмах; они разбегались от него, как стадо овец от волка.

— Эй, кум висельник! — обратился к нему один из гостей. — У тебя такой вид, будто тебя три раза вешали да снова снимали.

Другой посоветовал Кильблоку выпить водки, — тогда, мол, станет легче: водка помогает даже от холеры.

Но этот совет был излишним, потому что «висельник» и так пил изрядно. И шум у него в голове заглушал и звуки оркестра, и крики, словно и там плясали и веселились.

Ему стало тепло и приятно, и он готов был сейчас же продать душу черту, лишь бы подольше оставаться неузнанным.

В полночь все сняли маски. Приятели окружили его, уверяя, что они его и в самом деле не узнали.

— Ну и хитрец же ты! — кричали они.

— Ах ты проклятый обманщик, ах ты головорез, — раздавалось со всех сторон.

— А догадаться можно было! — кричал подвыпивший лодочник. — Кто, как не наш Кильблок, мог быть трижды повешен и всеми собаками искусан.

Кругом смеялись.

— Парусных дел мастер, известно, кто же еще? — повторяли гости, и Кильблок чувствовал себя героем вечера, как, впрочем, бывало уже не раз.

— Больше всего люблю изображать покойников! — кричал он столпившимся вокруг него приятелям. — Но на сегодня хватит. Музыка, дайте музыку!

Его слова были подхвачены всеми.

— Музыка, дайте музыку! — все громче и громче кричали вокруг, пока оркестр не заиграл снова, пронзительно и визгливо.

Крики смолкли, и через мгновение все закружились в бешеном танце.

Кильблок танцевал с буйным пестовством. Он топал ногами и воил так, что заглушал оркестр.

— Надо же показать людям, что я еще живой! — орал он, проносясь мимо скрипача, который в ответ дружески улыбался.

Марихен сдерживалась, чтобы не вскрикнуть, — так крепко он прижимал ее к себе; она едва не потеряла сознание. Казалось, будто Кильблоку вдруг опротивела эта игра в смерть и он всеми силами старается вызвать в себе радостное ощущение жизни.

В перерыве между танцами он хлестал водку и угощал приятелей.

— Пить так пить, — бормотал он, вконец захмелев. — Меня вы не разорите, ведь женушка моя — женщина основательная! Основа-а-тельная! — повторил он, растягивая слова, и, многозначительно подмигнув, дрожащей рукой поднес к губам полный стакан вина.

Но вот веселье пошло на убыль, и стало ясно, что праздник кончается. Гости начали понемногу расходиться. Супруги Кильблок и несколько их приятелей не желали сдаваться. Густавхена Марихен устроила в темной передней, так что он ничуть не мешал им веселиться.

Когда ушли и музыканты, кто-то предложил спеть духовные стихи, и все дружно его поддерживало.

Одни пели, других сморил сон, в том числе и Кильблока.

Однако едва серый, призрачный рассвет просочился сквозь оконные занавески, все снова были на ногах. Очнувшись, парусных дел мастер во весь голос допел стих, под звуки которого заснул ночью.

— Детки мои, — воскликнул он, когда совсем рассвело, — домой мы не пойдем, понятно?! Сейчас ни за что не пойдем, ведь на дворе уже день.

Некоторые запротестовали: мол, хватит, не надо перебарщивать! Однако большинство с ним согласилось.

Но чем заняться?

Кто-то предложил отправиться в трактир.

— Правильно, детки, пойдемте прогуляемся по зеленому лесу, а что дорожку снежком запорошило, так это не беда. Пошли в трактир!

— На свежий воздух, на свежий воздух! — разом закричали все и ринулись к двери.

Воскресный день встретил их ярким солнцем. Словно огромный кусок желтого, раскаленного металла, подымалось оно

из-за черных, как уголь, верхушек сосен, подступивших почти к самому трактиру. Отсюда бор сбежал вниз к берегу озера. Свет, как золотистая пыль, струился между стволами, проникая в каждую щелку густой темной хвои и заливая землю и небо оранжевым сиянием. Воздух был по-зимнему холоден и колюч, но в лесу снега не было.

На морозе все протрезвели, и казалось, даже от одежды уже не исходил тот неприятный запах, которым всегда бывает пропитан танцевальный зал. Те, кто прежде не соглашался на прогулку, почувствовали себя на воздухе так бодро, что снова готовы были веселиться. Итак, все решили, что прогуляться совсем не вредно, но сначала надо переодеться, а то люди поднимут на смех. Против этого никто не стал возражать; к тому же Кильблоки и еще несколько человек сказали, что им сначала надо заглянуть к себе. Договорились разойтись по домам, а в девять часов снова встретиться и продолжить прогулку.

Первыми ушли Кильблоки, и почти все проводили молодую пару завистливым взглядом. Когда этот весельчак Кильблок, неся на одной руке ребенка, а другой поддерживая жену за локоть, скрылся в роще, громко распевая песню, его приятели воскликнули: «Вот бы и нам так!»

Дома все оказалось в порядке. Лотта приветствовала их лаем, старуха еще спала. Марихен сварила ей кофе, потом разбудила и сказала, что они скоро опять уйдут. Старуха начала было тихонько ворчать, но два новых пфеннига быстро ее успокоили.

Фрау Мария, переодевавшая Густавхена, вдруг закапризничала.

— Хватит уж, — сказала она, — давай лучше останемся дома. У меня голова болит и поясницу ломит.

Кильблок был вне себя.

Чашка крепкого, черного кофе — и все как рукой снимет, настаивал он. Как же не идти, когда они сами все затеяли?

Кофе произвел свое действие. Марихен закутала Густавхена, и они уже собрались уходить, как вдруг появился лодочник, которому нужно было к понедельнику починить парус. Он объяснил, что завтра в полдень собирается на своем буере «Мери» участвовать в большой регате.

Кильблоку не хотелось чинить парус. Стоило ли ради нескольких пфеннигов лишать себя воскресного удовольствия.

Лодочник уверял, что хорошо заплатит, но Кильблок стоял на своем. Работа — работой, а праздник — праздником.

Они вышли из дома, продолжая спорить. Под конец лодочник сказал, что он и сам как-нибудь залатает парус, если Кильблок даст ему парусины. Но Кильблок и на это не согласился, сказал, что не любит, когда люди берутся не за свое дело.

Вся компания вновь собралась у трактира. Прогулка удалась на славу, солнце согрело своими лучами землю, и идти было даже приятно. Отцы семейств ухаживали за чужими женами, пели, острили и носились по лесу, словно козлы, приминая замёрзший, хрустевший под ногами мох. Лес огласился улюлюканьем, криками, смехом; веселье нарастало с каждой минутой. Гуляки не забыли прихватить с собой несколько бутылок коньяка, этого испытанного средства от холода.

В трактире, понятное дело, тут же начались танцы. Около полудня, являдно уставшие, всей компанией отправились и обратный путь.

Когда Кильблоки подошли к своему дому, было уже два часа. Они сильно устали, однако не потеряли охоты веселиться. Кильблок вставил ключ в замочную скважину, но медлил открыть дверь. Ему вдруг стало не по себе, какой-то смутный страх обуял его.

Взгляд его упал на озеро; точно огромное зеркало, по глади которого носились конькобежцы и пролетали сани, сверкало оно под лучами солнца. И тут Кильблоку пришла неожиданная мысль.

— Марихен, — предложил он, — а что, если нам махнуть к твоей сестре в Штебен, прямо через озеро? Просто грешно среди бела дня отправиться на боковую.

Молодая женщина падала от усталости, она сказала, что просто не в силах двигаться.

— Не беда, — ответил Кильблок и побежал в сарай за домом.

Вскоре он выкатил оттуда деревянные, выкрашенные в зеленый цвет сани со спинкой.

— Ну, теперь, надо полагать, мы доберемся, — продолжал он, надевая коньки, висевшие на спинке саней.

Не успела Марихен опомниться, как уже сидела в санях, держа на коленях Густавхена; через минуту, подталкиваемые сзади сильными руками Кильбюка, сани уже катились по сверкающей ледяной глади.

Когда они были метрах в сорока от берега, она обернулась и увидела, что лодочник стучится к ним в дверь. Он, вероятно, видел, что они вернулись, и решил еще раз поговорить о починке паруса.

Марихен сказала об этом мужу.

Тот затормозил, обернулся и расхохотался так громко и заразительно, что невольно рассмеялась и Марихен. Ведь и в самом деле было очень смешно смотреть, как лодочник, держа в руке парус, терпеливо стоит у двери, уверенный, что они дома, а между тем Марихен и Кильблок незаметно ускользнули из-под самого его носа и мчались по замерзшему озеру.

Кильблок радовался, что все так здорово получилось, что они не встретились с лодочником, а то прогулка, чего доброго, могла бы и сорваться.

Пока они неслись по озеру, он несколько раз поворачивался и смотрел, стоит ли еще лодочник у двери; лишь когда они добрались до противоположного берега, Кильблок увидел, что лодочник, казавшийся теперь черной точкой, медленно направился в сторону деревни.

Родственники Марихен, державшие в Штебене постоянный двор, очень обрадовались приезду Кильблоков, тем более что у них уже собралось несколько старых приятелей. Встретили Кильблоков очень хорошо, угостили их кофе, оладьями, а затем и вином. Под конец мужчины решили перекинуться в картишки, а женщины принялись делиться друг с другом последними новостями. Среди приезжих было несколько конькобежцев из города, но, едва начало темнеть, они поспешно собрались в дорогу.

— Господа, луна-то ведь всю светит, — заметил хозяин, кладя в карман деньги, которые ему заплатили конькобежцы. — Да и дорога через озеро вполне надежна. Вам незачем торопиться.

Горожане ответили, что несколько не боятся, и все же быстро уехали.

— Трусливые городские крысы, — шепнул Кильблок своему шуру, который со вздохом сел рядом с ним, чтобы продолжить игру. Поднимая очередной стакан вина, Кильблок заставил шурина выпить и сам наполовину осушил свой стакан.

— Правда, что тот паренек уже совсем поправился? — спросила одна из женщин, обращаясь к мужчинам, сидевшим за другим столом.

— Конечно, поправился! — в один голос ответили мужчины.

— Через два часа после того, как его вытащили из воды и он уже лежал в постели, укутанный теплым одеялом, он вдруг закричал: «Помогите, помогите, тону!»

— Помогите, помогите, тону! — завопил Кильблок, которому хмель снова ударил в голову, и хлопнул последней

картой по столу. Он выиграл и, ухмыляясь, сгреб в карман горсть мелких монет.

Между тем гости заговорили о пареньке, который средь бела дня угодил в полынью; он наверняка утонул бы, не подоспел в последнюю минуту несколько рабочих. Все отлично знали это место на южной стороне, где в озеро впадала маленькая речушка, и потому вода здесь всегда была теплее.

Крестьяне удивлялись, как это паренька угораздило свалиться в полынью, которая была отлично видна. Не иначе, он мчался по озеру с закрытыми глазами, рассуждали они.

Кильблок выиграл кучу денег и пребывал в самом лучшем расположении духа; он похвалялся тем, что отыграл все деньги, истраченные на карнавал. Поэтому, когда Марихен опять начала твердить, что пора отправляться домой, он не стал возражать.

Друзья прощались долго. Нужно было еще договориться о танцах в следующее воскресенье. Кильблок взял со всех слово, что они непременно придут. Все обещали, и Кильблоки наконец отправились к озеру.

Прямо над голубоватой ледяной поверхностью озера серебряным сверкающим шаром, словно купаясь в эфире, повисла луна. Казалось, вся земля подернулась волшебной туманной дымкой. И небо и земля точно застыли, скованные морозом.

Фрау Марихен с малышом давно уже сидела в саниах, а Кильблок все еще возился с коньками, ругаясь на чем свет стоит. У него заоченели руки, и он никак не мог приладить коньки. Густавхен плакал.

Фрау Кильблок торопила мужа. Ледяной воздух, словно иглами, колол ей лицо. Кильблок и сам чувствовал, как его пробирает мороз. Ему казалось, что кто-то словно острым алмазом рассекает кожу на лице и руках.

Наконец он как следует закрепил коньки, но взяться за сани все еще не мог, и ему пришлось сунуть руки в карманы, чтобы немного согреть их. Он стал выписывать замысловатые фигуры на ледяной глади озера. Лед был твердый, сухой и прозрачный, как стекло.

— Через десять минут будем на том берегу, — сказал он жене, сильным толчком сдвигая сани с места.

Сани стремительно понеслись по озеру, прямо на желтый свет, который струился из домика Кильблоков, на той стороне озера. Эта лампа всегда, даже в безлунные ночи, служила Кильблоку ориентиром. Если ехать от постоянного двора в



Штебене прямо на огонек, то под ногами все время будет твердый, надежный лед.

— Посмотришь, как здорово сейчас будет, — охрипшим голосом крикнул Кильблок прямо в ухо жене, которая не могла ничего ответить, — у нее от холода зуб на зуб не попадал. Она крепко прижимала к себе жалобно хныкавшего Густавхена.

Парусных дел мастер, казалось, был наделен несокрушимой силой, и эта прогулка при луне очень ему нравилась, хотя перед тем он изрядно намучился. Он отчаянно дурачился, то и дело на бешеной скорости выпускал сани из рук и мчался за ними, словно коршун, преследующий добычу. Он снова и снова так сильно толкал сани, что Марихен громко вскрикивала.

Очертания домика становились все яснее и яснее, уже можно было разглядеть отдельные окна и бабушку, сидевшую возле лампы, как вдруг небо потемнело.

Кильблок испуганно обернулся и увидел огромную тучу, которая, незаметно подкравшись за его спиной, заволокла горизонт и, казалось, проглотила луну.

— Надо спешить, — сказал он и покатил сани вперед с удвоенной быстротой.

Их домик еще был освещен луной, но тень громадной тучи все надвигалась и надвигалась, пока не заволокла непроницаемой мглой и озеро и дом.

Однако Кильблок уверенно держал путь на свет бабушкиной лампы. Он убеждал себя, что ему нечего бояться, и все же казалось, его гонит какая-то неудержимая сила.

Он напряг все силы. Пот катился с него градом. Он задыхался...

Марихен сидела согнувшись, судорожно прижимая к себе ребенка. Она не произносила ни слова, не шевелилась, точно боялась помешать мужу. Сердце ее сжималось от страха, ею владело одно лишь желание: поскорее добраться до дому.

Тем временем стемнело настолько, что Кильблок уже не видел жены, а та — ребенка. Озеро, скованное ледяным панцирем, непрерывно шумело. Всплески воды, ворчание, а временами глухой, мрачный рев; грозный удар — и лед прорезали трещины.

Кильблок привык к этому адскому реву и грохоту, но сейчас ему вдруг почудилось, будто он стоит на огромной клетке, в которую заперли стаю хищных зверей. Рыча от голода и бешенства, они пытаются когтями и зубами разломать решетки своей тюрьмы.

Со всех сторон доносился до него их отчаянный рев и прыжки.

Кильблок вырос на озере и знал, что лед толщиной в двенадцать футов не может проломиться. Однако теперь его фантазия разыгралась и взяла верх над здравым смыслом. Временами ему чудилось, будто перед ним разверзаются черные бездны, готовые поглотить его вместе с женой и ребенком.

Вдруг откуда-то издалека донесся грозный, словно раскаты грома, гул, завершившийся глухим ударом о толщу льда, под самыми его ногами.

Марихен вскрикнула.

Кильблок только хотел спросить, не сошла ли она с ума, как вдруг увидел нечто такое, от чего у него язык прилип к гортани. Свет лампы, служивший ему единственным ориентиром, заколебался, стал меркнуть, мигнул в последний раз и пропал.

— Боже, с чего это матери вздумалось тушить свет, — невольно вырвалось у Кильблока, и внезапно, подобно молнии, его пронзила мысль об опасности.

Он остановился, протер глаза: наяву все это или во сне? Он готов был поверить в последнее. В глазах секунду еще стояло светлое пятно, но скоро и оно исчезло, и он почувствовал себя пленником этой непроглядной тьмы. Все же он был уверен, что хорошо помнит направление, и стрелой полетел к тому месту, где только что горел огонь.

Гул воды заглушал голос жены, доносившийся откуда-то из темноты. Жена упрекала его, зачем они не остались дома.

Прошло несколько минут. Накопец ему показалось, что он слышит лай собак. Кильблок облегченно вздохнул. И вдруг — отчаянный крик. Толчок. Искры полетели из-под коньков. Нечеловеческим усилием он круто повернул сани и остановился.

Дрожа всем телом, Марихен судорожно схватила его за руку. Он понял, она видела перед собой смерть.

— Успокойся, Мицхен, ничего страшного не случилось, — утешал он ее дрожащим голосом. Однако и ему самому показалось, будто кто-то сжал его сердце ледяной костлявой рукой.

Молодая женщина дрожала как осиновый лист, язык не повиновался ей.

— О-о-о! О-о-о! Боже мой, боже мой! — бессвязно повторяла она.

— Ну скажи же, черт побери, что случилось? Говори же, говори!

— Там... там... — запинаясь, пробормотала она, — я слышала совсем ясно, там... вода... открытая вода!

Он напряженно прислушался.

— Я ничего не слышу!

— Я видела полынью, правда, я ее видела, совсем ясно... прямо перед собой... правда.

Кильблок попытался разглядеть хоть что-нибудь в этой кромешной тьме — напрасно. Ему чудилось, будто у него выколоты глаза и он силится смотреть пустыми глазами.

— Я ничего не вижу.

Жена немного успокоилась.

— Но ведь тянет водой, — сказала она.

Он ответил, что это ей померещилось, но сам почувствовал, как страх его растет и растет.

Густавхен спал.

Кильблок хотел ехать дальше, однако жена воспротивилась с такой силой, какую придает человеку лишь смертельный ужас. Рыдая, Марихен заклинала его повернуть обратно; когда же Кильблок не послушался ее, она закричала как безумная:

— Трещит, ломается!

Его терпение лопнуло. Он ругал жену и кричал, что если они все трое утонут, то лишь из-за ее проклятого воя. Пусть она помолчит, иначе он оставит ее здесь одну и уедет, не будь он Кильблок. Но и это не помогло. Совершенно обезумев, он начал что-то бессвязно бормотать. Теперь он уже действительно не знал, куда ехать. Лед на том месте, где он стоял, казался ему хрупким, ненадежным. Тщетно пытался он подавить отчаянный страх, который все больше овладевал им. Ему мерещились призраки, он весь дрожал и хриплым голосом бормотал молитвы. Неужели это копец? Сегодня — пан, завтра — пропал. Сегодня — пан, завтра — пропал, завтра — пропал, что это значит — «пропал»? До сих пор ему это было непонятно, но сейчас! Нет, нет!

Его охватил ужас, он повернул сани, рванулся вперед, пытаясь любой ценой спастись, и вдруг — всплеск воды, брызги, пена, ноги свело судорогой. Он потерял сознание.

Через минуту он появился, что въехал прямо в полыню. Он отчаянно колотил своими крепкими руками по черной воде, прилагал нечеловеческие усилия, стараясь вырваться из ледяных объятий, пока не почувствовал, что снова может дышать.

Из груди Кильблока вырвался крик, отозвавшийся эхом вдали, потом второй, третий, — казалось, легкие его вот-вот разорвутся и лопнут голосовые связки. Звук собственного голоса приводил его в ужас, но он кричал, он ревел, как зверь:

— Помогите, помогите нам, тоном, помогите!

Захлебнувшись криком, он снова погрузился в воду, потом опять выплынул и стал звать о помощи.

Он судорожно шарил правой рукой, ища опоры, — все напрасно, его вновь увлекло под воду. Когда он еще раз выплынул, вокруг было светло. Слева, в трех локтях от него, начиналась кромка льда, дугой огибавшая по льду. Он попытался подплыть к этой кромке, но еще раз с головой погрузился в воду. Наконец ему удалось уцепиться за лед, однако пальцы соскользнули, он снова впился ногтями в ледяную корку и все-таки сумел подтянуться. Теперь плечи его были над водой; остановившись, полным ужаса взглядом смотрел он на гладкую ледяную поверхность, вновь освещенную луной. Там, там был его дом, чуть поодаль деревня, а в ней — фонари, свет, спасение! Его крик снова пронзил ночь.

Он напряженно прислушался.

Сверху донеслись невнятные звуки. Это дикие гуси пролетали по небосводу, усеянному звездами, на диске луны промелькнули темные точки и скрылись. Позади него клокотала и бурлила вода. Из глубины подымались и лопались пузыри. Кильблок чувствовал, как в жилах его стынет кровь. Он боялся обернуться и все же не удержался. Из воды то поднимался, то снова исчезал в пучине какой-то темный предмет. Кильблок увидел ботинок, руку, меховую шапку. Вот они снова близко, рядом. Кильблок хотел схватить протянутую руку, но та снова исчезла под водой.

Его пронзил смертельный страх. Еще мгновение — и вдруг он дико захохотал. Он почувствовал, как снизу что-то схватило его, сначала сковало ноги, потом колени; могильный холод добрался до сердца, взгляд остекленел, руки соскользнули вниз, и он исчез под водой. Глухой, далекий шум, какие-то неясные видения и мысли, затем — смерть.

В деревне услышали крик о помощи.

Крестьяне и рыбаки собрались у по льду. Через час на лед вытащили труп ребенка. Это был совсем малыш, и все поняли, что вместе с ним утонул и кто-то постарше.

Дальнейшие поиски оказались тщетными, и один из рыбаков предложил расставить сети. В эти сети около трех часов утра и попали тела Кильблока и его жены.

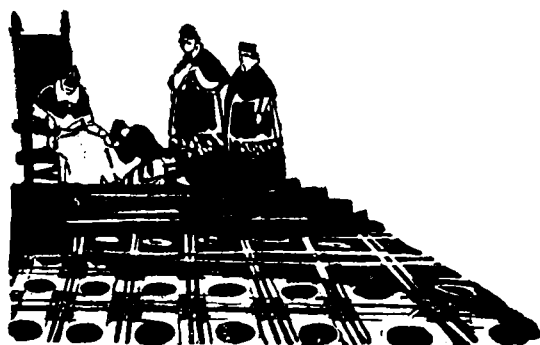
И вот теперь весельчак Кильблок лежал с искаженным, распухшим лицом, и его остекленевшие глаза с укором глядели в небеса, словно обвиняя их в вероломстве. Одежда его насквозь пропиталась водой, из карманов текли черные ручейки. Когда его стали класть на носилки, на лед со звоном посыпалось множество мелких монет.

Всех троих утопленников опознали и отнесли домой.

Дверь оказалась запертой, ни в одном окне не было света. Внутри залаяла собака, но и на повторный стук никто не вышел. Один из рыбаков влез через окно в темную комнату; при слабом свете фонаря он увидел, что она пуста. Громко стуча своими болотными сапогами, он прошел через весь дом, не обращая внимания на собачонку, которая сердито тявкала на него; наконец он заметил маленькую дверь и, не раздумывая, открыл ее. У него вырвался возглас изумления.

Посреди темного алькова сидела древняя старуха. Она задремала, склонившись над открытым сундуком, доверху наполненным золотыми, серебряными и медными монетами. Ее правая рука по локоть зарылась в груде монет, голова покоилась на левом плече. Слабый огонек тлеющего фитиля желтоватым светом освещал голое темя старухи.

# Рикарда Бух



## ПЕВЕЦ



одно теплое весеннее утро по широким гулким коридорам тюрьмы Сан-Калисто шли фавориты папы Иннокентия X — кардинал Мацдамори и маэстро папской капеллы дон Орацио, ведущий свою родословную от прославленного римского поэта. Они намеревались найти некоего молодого человека,

обвиляемого в убийстве; ему угрожала смертная казнь, а за него ходатайствовала перед Маццамори возлюбленная кардинала прекрасная донна Олимпия. Эта дама, возвысившаяся из мещанского сословия благодаря браку с одним из отпрысков рода Оттобруни, не порывала связей со своей скромно жившей семьей и особенно старательно поддерживала эти связи, когда ей случалось в новых условиях чувствовать себя обиженной и недовольной.

Когда к ней явилась одна из ее теток и стала умолять спасти жизнь ее единственному сыну, что, по мнению тетки, Олимпия могла сделать, прибегнув к помощи своего друга кардинала Маццамори, Олимпия преисполнилась не только жалостью, но и глубоким уважением к несчастной женщине, которая, терпя невыносимую материнскую муку, казалось, выполняла свой самый священный долг, в то время как сама Олимпия никогда не имела детей, не хранила супружеской верности, а сейчас даже начинала терять расположение к своему духовному наставнику. Кардинал не мог уклониться от исполнения ее решительного приказания, хотя и не считал возможным в данном случае чем-нибудь помочь.

Юный Ланчелотто — так звали двоюродного брата Олимпии — после смерти своего отца, занимавшегося торговыми делами, стал кредитором одного из родственников папы и по поручению матери, после того как неоднократные напоминания не привели ни к каким результатам, сам отправился в дом должника, чтобы потребовать уплаты долга. Поскольку этот господин наотрез отказался выполнить свое обязательство и даже отрекся от него, между ними завязалась перебранка, во время которой родственник папы позвал своих людей и приказал им схватить наглеца и вышвырнуть его в окно.

Взбешенный Ланчелотто, пытаясь защищаться от нападавших, смертельно ранил одного из них. У знатного дворянина были все основания заять это дело, но он, желая избавиться от назойливого кредитора, все же подал на Ланчелотто в суд, и, на его счастье, обстоятельства сложились так, что судьи признали юношу виновным.

Среди бумаг Ланчелотто, помимо всевозможных запрещенных философских трактатов, оказалось стихотворение, высмеивавшее папу, и хотя Иннокентий X в некоторых отношениях был человеком любезным и мягкосердечным, даже самые избалованные его благосклонностью приближенные впали бы в немилость, если бы осмелились защищать человека, возведшего на него хулу. Особенно полагалось щадить одну его слабость: он мнил



себя поэтом, и ничто не удержало бы папу от того, чтобы объявить убийцей и еретиком каждого, кто остроумно и смешно пародировал бы его сапфические оды: ведь именно в такую форму он особенно любил облекать излияния своего христианского сердца.

Стихотворение, найденное у Ланчелотто, называлось «Римская сирена», в нем были примерно такие строки: «Не плыви, Одиссей, мимо римского берега, а если ты все же решишься, то не забудь заткнуть уши воском, чтобы не услышать пения папы. Если же услышишь, то тобой овладеет столь великий ужас, что ты будешь уже не способен вести свой корабль и бесславно погибнешь». Было бы отчаянной смелостью заступить за человека, имевшего неосторожность не только доверить бумаге такую дерзость и хранить ее у себя, но даже признать в своем авторстве.

Удрученный этими обстоятельствами, кардинал Маццамори шагал рядом со своим другом Орацио, делясь с ним своими заботами и опасениями.

— Я не могу не считать сочувствие Олимпии своей тетке достойным всяческого уважения, хотя я от этого и страдаю, — сказал он. — Ее симпатии к родственникам делают ее сердце для меня недоступным, и, видя мрачное выражение ее лица, я едва осмеливаюсь высказывать свои желания. Как легко добродетель становится врагом нашего счастья и как трудно поэтому быть другом добродетели. Я не могу поверить, что вся эта история завершится благополучно, ибо не в силах вмешаться в процесс, на котором были преданы огласке столь многие безрассудства обвиняемого, а своенравная Олимпия обещала сохранить свою нежность ко мне лишь при условии, если будет спасен Ланчелотто.

Орацио согласился, что дело это очень щекотливое, и добавил, что не нарадуется на свой характер, благодаря которому он защищен от губительного влияния женщин.

— По-моему, — сказал он, — удовольствия, которые нам может доставить прекрасный пол, не вознаграждают нас за неприятности и разочарования, вытекающие из близости с его представительницами.

Кардинал ничего не возразил и лишь тяжело вздохнул, а тем временем идущий впереди них стражник остановился у одной из дверей, выходящих в коридор, и жестом указал им, что они находятся у цели.

Когда они вошли, узник приподнялся с нар, изумленно и сердито взглянул на незнакомцев, потом вскочил и, вежливо

поздоровавшись, сказал, что он спал очень крепко и не сразу вспомнил о своем положении.

— Милосердная природа, — продолжал он, смеясь, — наградила меня крепким сном, это помогает мне коротать время, ведь у меня нет возможности проводить его за работой или беседой.

— Крепкий сон говорит о чистой совести, — заметил кардинал, на что молодой человек ответил:

— Конечно, у меня совесть чиста. Хотел бы я видеть того чудака, который позволил бы бесчестным негодьям топтать себя и не защищался. Если бы мой язык был так безупречен, как мои руки! Но язык у меня выбалтывает все, что приходит мне на ум, как будто он колокол, в который непрерывно звонят мои мысли. И тогда до слуха людей доходит то, что их раздражает; если бы все высказывали вслух свои мысли, у меня нашлось бы столько единомышленников, что было невозможно пересажать их в тюрьмы или отрубить им голову.

— Вы говорите сейчас не как грешник, готовый к раскаянию, — заметил дон Орацио даже с некоторой симпатией к этому красивому юноше, жалкое положение которого, казалось, не сломило бодрости его духа.

— Чего же вы хотите, сударь? — доверчиво сказал тот. — Убийства я не совершил; неужели мне суждено погибнуть только потому, что я в меру своего разума размышлял о чуде бытия, или, может быть, из-за того, что безбидно подшутил над его святейством? Я иногда позволяю себе шутки по адресу высших небесных владык, все же более почитаемых, чем папа, и не считаю себя из-за этого грешником, ибо какой ущерб может принести их величию земной червь, ими почти невидимый, если он их чуть заденет? Ведь меня, беднягу, легко лишить жизни и чести, а я вовсе не сержусь на судей, которые ежедневно обращаются со мной, как с кровожадным буяном и мятежником.

Кардинал, который тем временем смущенно разглядывал свои белые ногти, заметил с серьезным выражением лица:

— Справедливость святого отца служит гарантией того, что вам не причинят зла, коль вы так невинны, как утверждаете. Если бы вы по своему легкомыслию не закрыли себе путь к помилованию, то я посоветовал бы вам припасть к стопам его святейства и настоятельно просить об этом.

Так как молодой человек медлил с ответом, то Орацио с явным доброжелательством предложил:

— Не откажетесь ли вы хотя бы от этого злополучного стихотворения, которое вынул вам дьявол?

— Почему бы нет? — ответил Ланчелотто. — Если бы я мог, то с радостью отказался бы и от всех стихотворений, написанных его святейшем.

Дон Орацио не мог удержаться от смеха, однако кардиналу было не до веселья, он все более понимал трудность своего положения.

Когда бедный юноша почувствовал, что это посещение вызвано чьим-то желанием освободить его, бледные его щеки порозовели от вспыхнувшей надежды, а его прежняя невозмутимость сменилась затаенным трепетом.

Не будет ли лучше, спросил Ланчелотто, переводя взгляд с одного на другого, если к милости папы обратится его мать. Она сделала бы все, что могло бы его спасти и вернуть домой. Вероятно, благодаря ее хлопотам его и посетили высокие господа, проявившие к нему такое участие.

Кардинал кивнул и проронил несколько слов о том, что любовь этой несчастной женщины к сыну не ослабевает, хотя он ей и причинил столько горя.

— Не по моей вине, — с живостью воскликнул Ланчелотто, — но будь я даже виновен, я и тогда не сомневался бы в ее любви; ведь я живу в ее сердце, как жил когда-то в ее чреве, и сам бог при всем его всемогуществе не смог бы вырвать меня из ее сердца.

При этом глаза его увлажнились, потемнели и засверкали, и у обоих посетителей мелькнула мысль, что эти глаза, удивительно узкие и продолговатые, напоминают глаза херувимов или святых на картинах старинных мастеров.

Присущая его глазам одухотворенная мечтательность и пленительная смена выражений объяснялись, видимо, тем, что земным страстям негде было укрыться в маленьких зрачках и эти зрачки лишь отдаленно могли отражать многообразие и пестроту суетных мирских дел. Между тем зоркий взгляд Ланчелотто скоро подметил, что высокие посетители, собственно, не намерены по-настоящему помочь ему, и радостная волна надежды опять медленно отхлынула от его сердца. Если бы господа пожелали выполнить его просьбу, сказал он после небольшой паузы, то он хотел бы передать матери прядь своих волос, которая будет ей дорога, как живая частица его самого. Но ему же не дают в руки ни ножа, ни другого острого предмета, а без них он не может отрезать волосы.

Кардинал извлек из широкого рукава серебряную коробочку, украшенную эмалью и разноцветными камнями, в которой находились маленькое зеркальце, ножницы, кусочек воска, пилка для ногтей и тому подобное, открыл ее и нерешительно посмотрел на содержимое. Пока он медлил, дон Орацио вынул из коробки ножницы, склонился над головой юноши, чтобы отрезать прядь, и ласково запустил пальцы в его слегка выходящие каштановые волосы.

Увидев это, кардинал вспомнил, как несчастная мать вне себя от горя стонала: «Ведь он еще совсем дитя! И кудри у него, как у ребенка!» И ему было очень тяжело самому убедиться в справедливости этих горестных слов. Слегка откашлявшись, он обещал позаботиться о том, чтобы эту прядь волос передали в руки матери, и выразил готовность чем-нибудь облегчить положение узника. Может быть, ему хотелось бы получить какие-нибудь любимые им блюда? Или он может оказать ему еще какую-нибудь услугу?

Что касается еды, ответил Ланчелотто, то об этом заботится мать, она присылает ему всяких лакомств больше, чем он может съесть. Конечно, хорошо бы получить книги, хотя бы томик стихов, но самую большую радость доставил бы ему собеседник, с которым можно было бы немного поболтать и пошутить. Сказав это, юноша решил, что не очень удачно развлекал своих гостей, особенно кардинала, который был, видимо, подавлен и угнетен мрачной тюремной обстановкой, и поэтому он начал оживленно болтать, и в его узких глазах блеснули искорки невинного лукавства, как у шаловливого мальчишки. Он рассказывал о школьных проделках в духовной семинарии, которую посещал, об учителях и настоятеле некоего монастыря, который смотрел на него, как на юного святого, и все надеялся увидеть его послушником. Он часто навещал этого доброго человека, и ему было хорошо в монастыре; однако он долго не мог выдержать подобное уединение; его самое любимое занятие — наблюдать сутолоку жизни: чем шумнее вокруг, тем тише и отраднее у него на сердце.

Тогда тесная камера, конечно, не слишком подходящее место для него, — сочувственно заметил Орацио, на что молодой человек возразил, что все это не так уж плохо, как кажется. Окно камеры выходит во двор, куда в определенные часы осужденных выводят на прогулки, они беседуют между собой, смеются, шутят и ссорятся, будто на скотном рынке на пьянца Навона. В промежутках он может спать, и, наконец, в камере недалеко от него сидит один подследственный, который

обладает таким прекрасным голосом, что когда слышишь, как он поет, то кажется, будто ты уже в раю.

Воспользовавшись паузой, кардинал спросил Ланчелотто, достаточно ли он религиозен. Готов ли он покинуть этот мир или, может быть, желает опытного духовника, который наставит его в святой вере?

Молодой человек, смеясь, покачал головой и заявил:

— Бывают минуты, когда вера переносит меня в лоно божье, но бывают часы, когда я сомневаюсь и думаю, пока мои мысли не натолкнутся на темную стену, которую они не в силах ни пробить, ни преодолеть. Этого не в состоянии изменить ни один священник, да я бы этого и не хотел. Места, которое уготовано моей душе в горнем мире, я достигну, — ведь помогает же господь мулу находить ночью верную дорогу и кошке — дом, в котором она живет. Прошу вас не беспокоиться обо мне, и моя мать пусть обо мне не тоскует. Если мне суждено умереть, то у меня хватит сил вынести несколько горьких часов, которые пройдут так же скоро, как и многие другие, уже пережитые мною. Но как хорошо мне будет потом, когда господь даст мне возможность вкусить небесного блаженства! Тогда мои обновленные, вездесущие и всевидящие глаза будут смотреть на то, как суетятся, зубоскалят и мучают друг друга люди, и смеяться над тем, что я тоже когда-то жил среди них, был какой-то скотиной приговорен к смерти, и вот теперь меня поволочут на эшафот.

При этом на его свежих влажных губах появилась прелестная улыбка, которую едва ли можно было назвать печальной, ибо она была слишком простодушной.

Когда высокие посетители вышли из темницы и тюремщик запер дверь, они сделали ему знак оставить их одних и медленно пошли вниз по коридору. Кардинал вытер лицо платком и выразил сожаление, что такой отрок столь низко пал. Но что подумаешь? Ведь не может же убийство остаться безнаказанным, и он не видит никакого выхода.

— Милейший юноша, — словно размышляя вслух, сказал дон Орацио, — и, думается, не совершил ничего такого, что заслуживало бы наказания. Мне очень хотелось бы заступиться за него и вырвать его из когтей этого безбожного трибунала, только нужно найти для этого правильный путь.

— И побоюсь показаться на глаза Олимпии, если не смогу подать ей никакой надежды, — озабоченно продолжал кардинал. — Но что же должна испытывать его мать, когда подумаешь о ней? Я и без того никогда не смогу забыть эту женщину, она

выглядела так, будто прожила тысячу лет в страшных страданиях. Она была похожа на выветренный камень, а когда начала плакать и кричать, то казалось, будто сотрясается гора, извергая огонь.

— Так, так, — сказал дон Орацио, — а я ее представлял себе привлекательной женщиной с прелестным ртом и нежным взором.

Словно не слыша этого замечания, кардинал продолжал вспоминать:

— Что бы ей ни говорили, она кричала: «Мое дитя, мной рожденное! Моя райская птичка! Сердце моего сердца! Плоть от плоти моей! Он мой, и я должна его вернуть!» Как будто это было достаточным основанием, чтобы чего-нибудь добиться.

— Она такая же, как и все женщины, — прервал его дон Орацио. — Они упрямо восстают против очевидной неизбежности и не внемлют доводам рассудка.

Кардинал сочувственно кивнул и воспользовался случаем посетовать на донну Олимпию: если прежде она была кроткой и ласковой, как ангел, то в последнее время ее капризы стали просто невыносимы. То, что прежде было для нее желанным развлечением, теперь ей больше не нравится, она предпочитает одиночество и охотно предается грустным размышлениям, а отчаяние ее несчастной тетки усугубляет ее меланхолию. Если процесс молодого человека кончится плохо, она отомстит кардиналу, как будто он может это предотвратить; его будущее кажется ему мрачным.

На это Орацио ответил, что лучше всего было бы избегать встреч со столь капризной дамой и подыскать себе более сговорчивых приятельниц; однако кардинал заметил, что эта женщина доставляла ему немало приятных минут, и теперь, когда она явно больна и нуждается в поддержке, он считает своим долгом не покидать ее. Сказав это, кардинал смутился, ибо почувствовал, что его друг считает эти слова пустой отговоркой, а его самого влюбленным глупцом.

Когда друзья, поглощенные беседой, прохаживались по широкому, пустому и гулкому коридору, они вдруг услышали, как запел мужской голос, и мгновенно остановились, пораженные его красотой. Голос пел народную песню, и в ней звучала такая сила и уверенность, будто певец исполнял ее со сцены огромного театра, и с такой страстью, словно он упрашивал робкую девушку тайком бежать с ним.

Маццамори и Орацио, радостно и удивленно улыбаясь,

смотрели друг на друга, и когда певец завершил песню каденцией, они затаили дыхание, опасаясь, сможет ли он довести это головокружительное нарастание звука до успешного конца.

Пока лилась песня, тюремщик подходил все ближе и хотел было, в соответствии с уставом, приказать певцу умолкнуть, но услужливо отошел, ибо господа сделали ему знак не мешать. Когда пение окончилось, они подозвали его, чтобы узнать об этом чуде. Тюремщик сообщил, что этот певец — крестьянин, обвиняемый в совершении нескольких убийств, что он сирион и вол и раскрывает рот только для ругательств, но господа в своей неисповедимой воле наделили его таким прекрасным голосом, которому позавидовали бы и ангелы небесных воинств. Ни у кого не хватает решимости поднять руку на такое чудо природы, поэтому ему разрешают петь, против чего не возражает и начальник тюрьмы, он иногда сам, находясь поблизости, останавливается, чтобы послушать его пение.

— Пользя ли попросить его спеть еще что-нибудь? — спросил дон Орацио.

— Нет, — ответил солдат, — если к нему обращаются с просьбой, он нарочно не исполняет ее, потому что он озлоблен и подозрителен. Бывают дни, когда от него звука не услышишь, а бывает так, что он поет часами, не переставая, все зависит от его настроения.

— Я не могу уйти отсюда, не услышав его еще раз, — сказал дон Орацио, — иначе мне завтра будет казаться, что надо мной подступило мое воображение.

Кардинал также жаждал ощутить еще раз эту радость. Они решили, не попытаться ли им все же воздействовать на узника, как он вдруг снова запел, и это пение восхитило их не меньше, чем в первый раз.

— Такого тенора у меня в капелле еще никогда не бывало, — сказал дон Орацио.

Кардинал согласился с ним и заметил, что хотя этот певец не кончал знаменитой школы прославленного Миньотта и не владеет в совершенстве вступлением, равномерностью дыхания на высоких и низких нотах, но по силе звучания, мелодичности и обаянию его голос превосходит все голоса, которые он когда-либо слышал.

— Я готов в любое время целый час простоять на одной ноге, — заключил он, — лишь бы иметь возможность послушать такой концерт.



— Мой друг, — сказал дон Орацио, — я не успокоюсь, пока не узнаю подробнее об этом человеке, проводи меня сейчас же к начальнику тюрьмы, мне нужно принять меры, чтобы закрепить за собой подобное сокровище.

Начальник тюрьмы подтвердил слова тюремщика и пояснил, что в данном случае речь идет о доказанном убийстве нескольких человек, совершенном из мести; преступник по имени Ронко имел обыкновение по ночам доить коров своего соседа, и когда мальчик, сын живущего поблизости арендатора, напал на след этой тайны и сообщил пострадавшему, — а уже вся деревня знала, что у его коров по непонятным причинам пропадает молоко, — то Ронко вначале отнесся к этому сообщению спокойно, будто все это только шутка, не стоящая того, чтобы поднимать из-за нее шум, но через неделю он зарезал не только мальчика, который его выдал, но его отца, мать и бабушку, живших в той же хижине. Негодование, вызванное этим злодейством, было всеобщим, преступник, бесспорно, заслужил смерть и не избежит ее; однако это его мало тревожит, такой дикарь едва ли понимает разницу между жизнью и смертью.

— Очень странно, — сказал дон Орацио, — надо полагать, что между их семьями была давняя вражда, а это часто приводит к подобным актам мести, а он, вероятно, человек впечатлительный и очень вспыльчивый.

Дон Орацио выразил желание самолично поговорить с ним, чтобы вникнуть в суть дела.

Начальник тюрьмы пожал плечами и заметил, что господа судьи уже достаточно с ним возились, хотя этот изверг вовсе не стоит таких хлопот. Однако он готов отвести господ к нему, но советует им не входить в камеру без тюремщика, так как подобный субъект способен на все.

Кардинал охотно последовал бы этому мудрому совету, однако дон Орацио громко рассмеялся, вытянулся во весь свой могучий рост и, расправив широкую грудь, заявил, что вполне уверен в себе и готов потягаться силой с этим мужиком, питавшимся одной кукурузой.

И в самом деле, не страх охватил маэстро капеллы, когда он вместе со своим другом оказался лицом к лицу с этим вырожденком, который, окинув их взглядом, полным недоверия и ненависти, тут же вновь тупо уставился в пространство, — дон Орацио скорее почувствовал невольное отвращение к этому озлобленному извергу. Как было заранее условлено, разговор начал кардинал; с трудом подыскивая подходящие слова, он сказал, что они намерены обследовать тюрьму, и спросил, нет ли у

заключенного каких-либо жалоб, посещал ли его священник, не желает ли он сделать какие-либо признания или излить свое раскаяние перед достойным доверия духовным лицом.

В ответ на заботливые слова кардинала Ронко что-то проворчал и указал пальцем на дверь, после чего кардинал снова попытался возобновить разговор и наконец сказал, что он, Ронко, обвиняется в жестоком и необъяснимом преступлении, так не хочет ли он в подтверждение своей невиновности или для смягчения своей вины сообщить что-нибудь? Может быть, стыд или растерянность помешали ему высказать все перед инквизиторами. Святому отцу, продолжал кардинал, доставляет больше радости избавить от наказания невинного, чем наказать виноватого, и он распространяет свое милосердие и на тех, кто по легкомыслию, вспыльчивости или подстрекательству дьявола был вовлечен, вопреки своей воле, в злое дело.

— Черт бы побрал папский свиной хлев! Чума и язва на него! — прошипел сквозь зубы Ронко, метнул яростный взгляд на дверь, вновь указав на нее рукой, и кардинал невольно отступил назад, словно желая отойти на такое расстояние, откуда не были бы слышны подобные ругательства.

Дон Орацио, почувствовав необходимость прийти на помощь своему другу, сказал:

— Ни святой отец, ни его слуги не желают тебе зла, мой друг, хотя ты уже заранее это вообразил. Мы не были бы здесь, если бы хотели твоей смерти, которую ты, видимо, заслужил. Всемогуший бог одарил тебя прекрасным голосом и тем самым в неисповедимой воле своей отметил тебя. Не можешь ли ты еще раз показать нам искусство, которым ты владеешь и которое свидетельствует о том, что тебе дано от бога больше, чем можно предположить, судя по твоим поступкам, словам и внешнему виду.

Принял ли Ронко эти слова за насмешку или весь разговор только тяготил его, но в свирепой ярости он воскликнул:

— Вон! Вон! Не то я вам так спою, что у вас башка треснет!

Его слова сопровождались столь угрожающим жестом, что оба высоких посетителя сочли за благо удовольствоваться этим и, не медля, отступить.

В порыве своего торжества и презрения к ним Ронко плюнул им вслед.

Кардинал Маццамори был столь напуган, что не мог идти

дальше и остановился у ближайшего окна в коридоре, чтобы перевести дух и овладеть собой.

— Ну и зверь! — воскликнул Орадио. — Приходится признавать, что наши крестьяне не многим отличаются от скотов, так чего же от них можно требовать.

→ У него волчья морда, — сказал кардинал, — и я готов держать пари, что у него и челюсти, как у волка. Кажется, в самом деле необходимо избавить человечество от такого изверга.

Последние его слова заглушил голос Ронко. Он снова запел, может быть, назло им, а может быть, потому, что ему все же польстила похвала знатных господ.

— Божественно, божественно! — шептал дон Орадио. — Этот чудный голос не должен быть погублен. Я не пожалею ни хлопот, ни денег, чтобы спасти его для себя.

На сомкнутых ресницах кардинала, слушавшего пение, блеснули слезы.

— Какое благозвучие льется из пасти ада, — прошептал он. — О, тайны всемогущего! Каждый звук чист, мягок и прозрачен, точно капля росы, трепещущая ранним утром на почках деревьев. Что скажет его святейшество, когда услышит этот голос!

В сильном волнении покинули тюрьму высокие посетители, сели в ожидавшие их носилки и отправились во дворец кардинала, чтобы обсудить, какие шаги следует прежде всего предпринять. Оба они единодушно считали, что эту редкую птицу, безусловно, следует добыть для папской капеллы. После того как они за стаканом хорошего вина отдохнули от волнующих впечатлений этого утра в уютной комнатке, стены которой были увешаны великолепными коврами из Аретцо, им стало казаться, что не исключена возможность повлиять на трибунал и добиться оправдания драгоценного Ронко. Им стало известно, что преступника защищает некий Гвидобальдо, и они решили прежде всего поговорить с ним.

Дон Орадио познакомился с этим адвокатом в доме у своих друзей и приятно побеседовал с ним, хотя адвокат был человеком свободомыслящим и врагом духовенства. Но поскольку он своих мнений не высказывал, кроме тех случаев, когда это было уместно, и строго соблюдал религиозные обряды, как только чувствовал, что за ним наблюдают, к тому же был веселым и сведущим человеком, то даже священники восхищались его свободным от предрассудков разумом и общительностью и были рады сохранять с ним до поры до времени хорошие

отношения. Обстоятельства складывались удачно, ибо адвокат как раз в то время намеревался приобрести виллу с обширным садом, поднимавшимся к Яникулу, но из-за высокой цены, которую за нее просили, не смог или не захотел ее купить. Таким образом, представилась желанная возможность оказать этому нужному человеку одолжение и тем привлечь его на свою сторону.

Друзья, не медля, в тот же день разыскали Гвидобальдо, воспользовавшись его знакомством с доном Орацио, и предложили ему сумму, необходимую для приобретения виллы. Они надеются, сказал дон Орацио, что он пойдет им навстречу — ведь они заслужили па это право, — разумеется, в том случае, если их желание совместимо с его честью и достоинством. После такого вступления маэстро рассказал о своей находке в тюрьме, упомянул о любви папы к музыке, особенно к мужским голосам, и о своем желании получить столь редкостного певца для папской капеллы и тем самым спасти человеческую жизнь, направив ее на полезный, а может быть, и славный путь.

Адвокат ответил, что он уже слышал о прекрасном голосе Ронко, но не очень этим интересовался; тем не менее он охотно готов доставить удовольствие святому отцу, потому что и без этого его долг — защищать преступников и по возможности спасти им жизнь. Однако в данном случае это будет весьма трудно, ведь крестьянин уже уличен и во всем сознался. Кроме того, он слишком тупоумен и неотесан, чтобы самому предпринять шаги к своему спасению или содействовать в этом адвокату, если тут вообще можно найти какой-нибудь выход. После некоторого размышления он добавил, что все-таки можно отыскать путь к достижению цели, если проявить твердую решимость: уже кое-кто из тех, кто точно так же заслужил смерть, как негодяй Ронко, был оправдан. О председателе трибунала, монсеньере Алоизио, слишком хорошо известно, что его можно подкупить; разумеется, это будет стоить недешево, тогда как для судьи-мирянина достаточно маленькой подачки. Правда, есть еще дон Петронио, человек неприступный и тщеславный, чье единственное наслаждение состоит в сознании собственной неподкупности; он всегда играет роль строгого моралиста и старательно следит за тем, как бы при его участии не совершилось чего-либо недостойного. Если к нему во имя успеха подойти с предложением такого рода, то можно сразу же испортить дело, а как его обойти или перехитрить, адвокат пока еще не знает, но об этом подумает. Трудность заключается

еще и в том, что процесс идет полным ходом и предстоит только один допрос, после чего, при такой ясности дела, приговор не заставит себя долго ждать. Все же адвокат ободрил своих просителей, сказав, что утро вечера мудренее, и посоветовал им тем временем войти в соглашение с председателем трибунала, быть с ним откровенными и намекнуть ему на заинтересованность в этом деле папы, что даст нужный толчок его усердию.

Монсеньер Алоизио питал пристрастие к роскоши и был человеком веселого нрава; он и сам любил хорошо пожить и желал добра другим, когда у него имелось достаточно денег; их отсутствие было единственной причиной, которая могла падолго испортить ему настроение. Убедившись, что кардинал Маццамори и дон Орацио намерены предложить ему немалую толику драгоценного металла, он оказал им отменное гостеприимство, провел по роскошно обставленным залам своего дома, показал коллекцию китайского фарфора и без всяких возражений обещал пойти навстречу их безобидному и справедливому желанию, но, как и адвокат, упомянул о неподкупности дона Петронио, который, в угоду своему странному тщеславию, будет препятствовать любой попытке выручить бедного грешника.

— Я полагаю, — добродушно сказал он, — что справедливость в руке божьей, только бог не всегда почитает за благо просвещать наш разум. Как коротка та цепь причин и следствий, которую мы можем проследить! Ведь люди по своей близорукости думают, что совершают что-то великое, когда отправляют на виселицу вора или разбойника. Как часто у такого человека билось в груди кроткое сердце, он был добрым отцом семейства или благородным другом, а у его так называемой жертвы в глубине души, куда взгляд смертного не в силах проникнуть, таилась адская злоба. Кто может знать это? Наш добрый Петронио, напротив, признает только букву закона и надеется исправить нашу грешную землю точным применением соответствующих параграфов.

После того как было высказано и отвергнуто множество различных планов, как добиться цели, достопочтенные господа расстались, не придя ни к какому решению и опасаясь, что певец все же ускользнет от них.

Между тем дон Орацио уже поздно вечером получил от председателя трибунала письмо, в котором тот сообщал, что у него возникла оригинальная и вполне осуществимая идея. Если бы удалось убедить дона Петронио в том, что судья и ад-

покат подкуплены с целью отправить на виселицу Ронко, не-образованного, но храброго крестьянина, который, в сущности, является лишь жертвой коварных интриг, и если бы все хорошо сыграли свои роли и адвокат тоже согласился бы принять в этом участие, тогда можно надеяться, что дон Петронио употребит все свое влияние, чтобы спасти человека, якобы недовинного, а после непродолжительной борьбы и остальным в конце концов придется уступить ему ради своего же блага.

Все участники тотчас же дали свое согласие. Маццамори и дон Орацио не жалели денег, не сомневаясь в том, что святой отец сторицей возместит им все затраты, связанные с обучением столь одаренного певца. Адвокат Гвидобальдо позаботился о том, чтобы с помощью анонимного письма обратить внимание дона Петронио на махинации, жертвой которых должен был стать на этот раз беспомощный крестьянин, постарался распространить слухи о том, что он приобрел дом, и, потирая от удовольствия руки, с готовностью принял шутовское поздравление председателя в присутствии всего состава трибунала. Председатель заявил, что тоже не прочь доставить себе небольшую радость. Он рассказал, что французский посол отозван своим царем и, собираясь покинуть Рим, намерен продать милитум парту и четверку лошадей и что он хотел бы купить у него этот выезд, но еще неизвестно, согласится ли тот. Улыбаясь, председатель шепотом сообщил адвокату сумму, но сделал это, по своему обыкновению, так, будто тайна случайно сорвалась с его уст. Дон Петронио, внимательно наблюдавший за собеседниками, не колеблясь, связал их столь явное расточительство с позорным нарушением закона, которое они, или можно было судить по анонимному письму, готовились совершить. Ради большей уверенности Петронио сам заговорил о Ронко и выразил надежду, что они сегодня покончат с его делом, ибо когда все так ясно, то незачем терять зря время. Председатель согласился с ним, а адвокат в шутовском тоне любезно добавил, что хотя он, бесспорно, и разочарует судей, которые не отказались бы засвидетельствовать его пылкое красноречие, однако на сей раз решил без лишних слов просить лишь о смягчении приговора, так как не желает позорить себя нищетою столь низкого негодяя. Это совсем не похоже на то, с подчеркнутой значительностью заметил Петронио, что говорил Гвидобальдо раньше. Тогда он утверждал, что причина, побудившая Ронко совершить убийство, слишком незначительна, чтобы объяснить такое злодеяние, и заядлый преступ-

ник попытался бы отрицать свою причастность к кровавому убийству, чтобы спасти свою жизнь. Следовательно, можно предположить, не является ли этот, видимо, доведенный до невменяемости крестьянин орудием более могущественных людей, которые, скрывая свои цели и средства, остаются в тени.

Адвокат рассмеялся в притворном смущении.

— Господа видят,— сказал он,— как далеко я зашел, усердно выполняя свой долг! Но теперь мне кажется, что лучше не переходить границы обычной вежливости, которую я обязан соблюдать в отношении вас, ведь легко убедиться, что могущественным людям не окажешь услуги убийством ни в чем не повинной семьи арендатора или казнью какого-то Ронко, и все мои доводы были не чем иным, как пустыми фразами и предположениями, которые опытный адвокат всегда должен иметь наготове.

— Вы, дорогой мой,— с улыбкой обратился председатель к дону Петронио,— всюду видите несправедливость, потому что ваше великодушное стремление защищать гонимых побуждает вас к действию. Ах, людская низость менее интересна, чем вы думаете! Разве мы не видим каждый день, как грубая чернь дерется, как они режут друг друга? Не надо сочинять басен, чтобы это понять.

Дон Петронио, которого больше всего обижало, когда к нему относились несерьезно, сам перешел в наступление, пытаясь казаться спокойным, не поддающимся никаким влияниям человеком. Он заявил, что судьба Ронко никому не дорога, это совершенно ясно. Ронко мало чем отличается от животного, и не все ли равно, потерял он человеческий облик от тупоумия или жестокости. Пусть не думают, что он принимает участие в судьбе Ронко; он сам, как и другие, может быть, считает за лучшее, если тот окончит свое брренное существование. Однако подобные соображения никогда не помешают ему стремиться к истине и действовать по справедливости. Всем ясно, что речь идет только об истине и справедливости, а не о благе истца или ответчика, и уж, во всяком случае, не о собственном благе. Он знает ничего не хочет об этом Ронко, не хочет знать, есть ли у него жена, дети, родственники или друзья. Хотя такого рода убеждения чужды нынешнему времени, он тем более будет их придерживаться. Он никогда не сможет покупать поместья или коллекционировать произведения искусства, возможно, его поступки не принесут добра, но он удовлетворен тем, что служит истине и справедливости из чувства долга, не извлекая из этого никаких для себя выгод.

Противная сторона показала заметное раздражение, и возник спор, который еще продолжался, когда ввели Ронко. Никогда еще он не пользовался таким вниманием, так как дон Петронио после каждого вопроса председателя немедленно задавал другой, имевший целью выявить искусно скрываемую доселе истину. Между тем дикарь Ронко уже заметил, что у него появились высокие покровители, которые даже стараются добиться его освобождения, и его пресловутое тупоумие и грубость не мешали ему почувствовать что-то обнадеживающее и в той мере, в какой он угадывал их желание, действовать на руку своим защитникам. Иногда он настолько хорошо понимал смысл задаваемых ему перекрестных вопросов, что его ответы ставили под сомнение правдивость данных им ранее показаний и вносили ужасную путаницу в судебный процесс, столь гладко протекавший до сих пор. В такие минуты дон Петронио бросал соревные, испытующие взгляды на своих противников, а те, казалось, все больше запутывались, горячились и яростно, чуть не с угрозами набрасывались на Ронко, чем приводили его в такое душевное состояние, какое и было необходимо для достижения ими своей цели. Постепенно Ронко возмнил себя важной персоной, и если раньше был вполне доволен собой и совершенным им злодеянием, то теперь он окончательно поверил, что не стоит больше сносить нападки надменных членов трибунала, которые отнюдь не лучше, а, вероятно, даже глупее, чем он. Правда, Ронко не давал почти никаких показаний, которые могли бы что-нибудь прояснить, а только подтверждал все то, что ему усердно подсказывал дон Петронио: он-де совершил преступление не по собственному побуждению, к этому его подстрекали, даже принуждали, но он не имеет права сказать, что именно. В заключение Ронко заявил, что пусть даже его приговорят к смерти, он будет доволен своей судьбой, хотя и невиновен и в меньшей мере убийца, чем те, которые отправят его на виселицу.

Однако заговорщики все еще не сдавались, они продолжали притворяться, будто жаждут гибели Ронко, и упрекали дона Петронио в том, что он открыл дверцу ловушки, в которую лиса уже попала, и напрасно задерживает их из-за такого незначительного и позорного дела. Этим они все больше раздражали дона Петронио, так что он в конце концов твердо решил содействовать торжеству священной истины, каких бы трудов и неприятностей ему это ни стоило. Вскоре ему удалось обнаружить неизвестное до сих пор обстоятельство; оказалось, что и убийца и убитый были владельцами свободного крестьян-



ского угодья и однажды, много лет тому назад, поссорились с помещиком, у которого они арендовали землю, из-за того, что тот пытался сделать их совсем уж бесправными и подневольными оброчниками. Петронио почти не сомневался, что этот помещик, некий Альдобрандини, хотел избавиться сразу от обоих упрямцев, которые посмели противиться ему, и натравил их друг на друга. Петронио решил не разоблачать виновного, ибо тот был слишком могуществен, хитер и опытен, чтобы попасться на удочку, но все же стремился отнять у него эту жертву, хоть она и не стоила его сочувствия.

Тем временем дон Орацио окончательно договорился с Ронко, который после долгих увещаний согласился, если он будет оправдан, стать певцом в папской капелле. Ронко теперь играл свою роль уже гораздо лучше и с каждым днем вел себя все более дерзко, так что весь трибунал страстно жаждал наступления минуты, когда он избавится от такого бремени, как этот подопечный. Когда был вынесен оправдательный приговор, удовлетворение и радость обеих сторон были одинаково велики, председатель и адвокат ничем себя не выдали и сделали вид, будто пытаются скрыть свою досаду и позор, но тем больше повеселились, оставшись наедине друг с другом.

Только кардинал Маццамори переживал тяжелые дни, ибо дурное настроение его повелительницы Олимпии стало еще невыносимее с тех пор, как он ничего не добился по делу ее юного кузена. Как ни клялся он в том, что сделал все возможное для его спасения, но правосудие неотвратимо свершилось, — и это его угнетает не меньше, чем ее, — она продолжала утверждать, что он приложил недостаточно усилий, ибо его любовь к ней, видимо, слишком эгоистична и стремится только к наслаждению, а не к действию и самопожертвованию. Олимпия наказывала его своей грустью, которую ничем нельзя было рассеять. Горе ее несчастной тетки, говорила она, открыло ей вдруг глаза на превратность жизни, поэтому она больше не хочет наслаждаться земными благами и может найти некоторое утешение лишь в служении богу. И действительно, ее теперь редко можно было застать дома: одетая в черное, она проводила все время в божьих храмах, проливая слезы пред алтарями. Если она принимала своего друга, то требовала, чтобы он говорил с ней о духовных предметах, а если беседа с ним на подобные темы ее не удовлетворяла, она с язвительной горечью упрекала его в забвении своих обязанностей и давала понять, что он лицемер и обманщик. Она чувствовала себя глубоко несчастной и лишенной всего, что было для нее прежде опорой и смыслом жизни.

Ей казалось, что ее муж, с которым она уже давно рассталась, в сущности, был более достойным человеком, чем кардинал, поскольку не считал себя лучше, чем он был на самом деле. Вспоминая те времена, когда Маццамори пробудил в ней любовь, она уже не видела в том, что происходило сейчас между ними, того поэтического очарования, которым она раньше приукрашивала их отношения. Разве в этом, спрашивала она себя теперь, было что-нибудь необычное и более благородное, чем то, что ежедневно совершается на каждом шагу и нередко вызывает смех и отвращение? Как ни старалась она найти в кардинале черты особые и исключительные, ее совесть подсказывала ей лишь одно: он — такое же похотливое животное, как и все мужчины, с той лишь разницей, что его духовный сан делает его к тому же еще и лицемером. Охотнее всего она с ним больше бы не встречалась, и если иногда ей все же хотелось его видеть, то главным образом для того, чтобы дать почувствовать ему, каково она о нем мнения и как она несчастна.

Злым роком для кардинала было то, что, несмотря на мрачное настроение прекрасной Олимпии, она казалась ему еще милее и привлекательнее, чем раньше. Ее взгляд, ставший теперь таким одухотворенным, пленял его больше, чем когда пламенел чувственностью, и ее кроткая печаль, которая должна была оттолкнуть его, вызывала в нем вместе с сочувствием и восхищением самую искреннюю любовь. Насколько душевно богаче и благороднее рисовалась она ему с тех пор, как перестала в нем нуждаться! Когда он видел, как кротко и чутко обходится она с бедняками, — ибо Олимпия теперь искала случая благотворить нуждающимся, — когда слышал, как непринужденно и умно она говорит обо всех превратностях жизни, она казалась ему точно заново рожденной, такой далекой и вдвойне желанной. Он пытался вторить ее новым мыслям, но не услышал в ответ ничего, кроме горьких насмешек. Олимпия находила все эти старания, которые не подсказывались его убеждениями, а были только излияниями его влюбленного сердца, смешными и даже отталкивающими и все более укреплялась в своем мнении, что кардинал ничтожный лицемер.

В надежде удержать ускользавшую от него Олимпию и вновь оживить в ней светские интересы, кардинал поведал ей о замечательном певце, с которым недавно познакомился его друг дон Орацио и пригласил на службу к папе. Этот певец, преследуемый превратностями судьбы, рассказывал кардинал, был открыт доном Орацио при чрезвычайно странных обстоятель-

ствах, которые и для него самого еще остаются тайной. Певец, несомненно, обладает прекраснейшим голосом, когда-либо ласкавшим слух итальянца, а благодаря превосходной школе, которую он теперь проходит, голос его станет еще лучше. Деньги на обучение, продолжал Маццамори, предоставили певцу дон Орацио и он сам, так как из-за уже упомянутых превратностей судьбы певец остался без всяких средств, но лично он и не жалеет об этой жертве, потому что каждый звук, льющийся из его благословенной гортани, более благороден, чем то золото, которое они истратили. Если бы Олимпия согласилась послушать этого певца, то он обещает предоставить ей такую возможность у себя в доме.

Однако Олимпия была слишком погружена в свои горестные мысли, чтобы искать каких-либо развлечений; все, что отвлекало ее от этих раздумий, казалось ей дурным, а желанным лишь то, что ее в них укрепляло. Прекрасное пение, конечно, доставило бы ей радость, сказала она, но если ей придется слушать его в присутствии других да еще выполнять светские обязанности, это будет слишком дорогая цена за такое удовольствие. Если бы певец мог прийти к ней и показать свое искусство, не нарушая ее уединенного и созерцательного образа жизни, то, возможно, она с наслаждением и послушала бы его. Маццамори не знал, как это устроить, ибо прежде всего не знал, согласится ли жадный и заносчивый Ронко, если у него не будет надежды извлечь из этого существенную выгоду; а кроме того, он не мог поручиться, что его подопечный, оставшись наедине с дамой без надзора, не злоупотребит своей свободой. Таким образом, кардиналу пришлось ждать подходящего случая, чтобы познакомить Олимпию с этим удивительным человеком. Такой случай вскоре представился, когда преподаватель пения, занимавшийся с Ронко, счел его голос настолько поставленным, что не видел никаких препятствий к выступлению Ронко при дворе папы.

Папа пригласил на концерт, который должен был состояться в его покоях, небольшой круг избранных друзей, любителей музыки, среди которых был и кардинал Маццамори, заслуживший эту честь своим участием в судьбе Ронко. Кардиналу благосклонно разрешили прийти на концерт вместе со своей подругой Олимпией, которая не дерзнула отказаться от приглашения святого престола. Правда, Олимпия сделала строгую прическу и надела простое темное платье, что резко отличалось от ее прежней манеры пышно одеваться, и держалась столь же скромно, почти застенчиво, стараясь не привлекать

к себе внимания, однако не смогла помешать тому, что ее нежная красота сияла от этого еще ярче.

У Иннокентия, изящного маленького старичка, были тонкие черты лица и маловыразительный взгляд, острый нос с горбинкой и узкие, почти всегда приветливо улыбающиеся губы. Он торопливо отвечал на поклоны гостей и каждому говорил несколько шуточных слов, но было все же заметно, с каким нетерпением он ждет предстоящего концерта. Когда прошла одна минута после назначенного часа, к которому должен был явиться певец, веки папы стали нервно вздрагивать, и Маццамори начал боязливо поглядывать то на украшенные драгоценными камнями часы, стоявшие на мраморном камине, то на двустворчатую дверь. Он облегченно вздохнул, когда дверь раскрылась, пошел дон Орацио и попросил оказать ему честь представить певца. За время занятий с учителем пения Ронко обдумал основную линию своего дальнейшего поведения, которая была простой, но тем не менее весьма целеустремленной: добиться успеха у папы и только этому посвящать все свое внимание. Воодушевленный таким намерением, он прямо устремился к столь почтенной цели, воплощенной в лице папы Иннокентия, с какой-то навязчивой пылкостью впился в него взглядом, упал перед ним на колени, облобызал ему ноги и замер, скрестив руки на груди. Это детское выражение горячей преданности настолько тронуло Иннокентия, что он невольно прижался губами ко лбу стоявшего перед ним на коленях певца и положил руки на его богатырские плечи, после чего сказал ему несколько ободряющих слов и велел подняться и сесть в кресло. Престарелый папа опасался, что, потрясенный первой в жизни встречей с ним, певец не сможет петь в полную силу, но оказалось, что в этом могучем человеке преданность сочетается с непосредственностью ребенка, ибо первые же звуки его голоса, в котором не было ни малейшей дрожи, раскатились по залу, словно крупные сверкающие жемчужины. Следуя указанию дон Орацио, Ронко исполнил сначала ту народную песню, которую Орацио и Маццамори слышали в тюрьме и которая сама по себе, как нечто новое и удивительное, привлекла всеобщее внимание и произвела впечатление.

Казалось, будто палочка волшебника коснулась сердца слушателей; поред каждым всплыли дорогие видения; прекраснейшие минуты, о которых они вспоминали или на которые надеялись, казались, благоухали теперь более сладостными ароматами, чем в обычной жизни, где все так измельчало. Олимпию охватила неудержимая скорбь, но не гнетущая,

как та, от которой она страдала в течение многих недель, а острая и приятная, словно некая сила, возносившая ее над обыденной жизнью. Олимпия вспомнила себя девочкой, вспомнила о том, чего ждала она от будущего, чего хотела достигнуть, и вдруг ужаснулась, поняв, как далеко отклонилась от этой цели. Молодая женщина подумала и о том, что сейчас только от нее самой зависит вновь стать чистой, сильной и радостной, как прежде. Она не переставала рассказывать и в своих отношениях с Маццамори, но в эту минуту порицала себя за то, что сурово с ним обходилась, ведь не только он, но и она грешила, и не станет же он мешать ей выбраться с того ложного пути, по которому он ее повел, и выйти на новую светлую дорогу. Ей казалось чудом, что, несмотря на свое нежелание, она встретилась с человеком, чей голос принес ей такое утешение и кто благодаря этому представлялся ей чуть ли не посланником божьим. Из угла, где она сидела, Олимпия могла спокойно любоваться его могучей фигурой и смуглым свирепым лицом, от которого ее бросало в дрожь.

Благодаря тщательному уходу за собой, которому с некоторых пор Ронко уделял внимание, он стал красивее лишь настолько, насколько хорошо откормленный волк красивее тощего и голодного, но этого было достаточно, чтобы произвести на всех неотразимое впечатление. Восторг был всеобщим, однако никто не оспаривал право святого отца выразить его первым. У старичка раскраснелись щеки, временами он хлопал в ладоши, кричал: «Браво, bravo!», кивал головой и прерывал пение возгласами восхищения: «Ах, какой зачин! Какая сладость! Какая находка!», когда каденции лились из уст певца, как из рога изобилия. Олимпия все более удивлялась тому, что певец не смотрел на публику и, конечно, даже не взглянул в ее угол; казалось, он здесь только ради святого отца и только по его знаку поет или умолкает. Она сравнивала его с архангелом, во всем своем великолепии смиренно ожидающим веления всевышнего.

Лишь когда публика встала с мест и начала расходиться, певец бросил на Олимпию взгляд, которым, казалось, выражал не только равнодушие, но и сокрушительное презрение. Из этого она заключила, что он знает, в каких отношениях она находилась с кардиналом Маццамори и, по его мнению, находится и сейчас, и потому считает ее падшей женщиной, какой она, в сущности, и была.

На самом же деле певец не обратил никакого внимания ни на нее, ни на какую-нибудь другую слушательницу, поскольку

думал только о пане и, кроме того, еще не обрел вкуса к знатым дамам. Постепенно он стал все же в этом разбираться, и почтительное восхищение, с каким на него глядела красавица Олимпия, по осталось им незамеченным. Ему чрезвычайно льстило, что возлюбленная кардинала Маццамори предпочла его этому знатному, влиятельному, любезному и образованному человеку, а он и без того уже ощущал живейшую потребность оскорбить его. Чем больше укреплялось положение Ронко при панском дворе, тем невыносимее становилось для него присутствие кардинала и донна Орацио, которым хорошо было известно его прошлое, и он лелеял мысль, если представится случай, удалить их из Рима.

В первые дни после концерта Маццамори был очень счастлив, что достиг такого успеха. Кардиналу даже казалось, что любимая им женщина стала мягче и доступней. Тем острее было его разочарование, когда Олимпия, хоть и в любезной форме, но все же твердо заявила о своем непоколебимом намерении порвать с ним всякие отношения, так как отныне она хочет начать новую, более праведную жизнь, посвященную служению богу.

Убедившись, что все попытки заставить ее изменить свое решение ни к чему не приводят, он покорился и уже стал искать возможность вновь встретиться с ней, хотя бы ценой самоотречения, когда его знакомые начали подтрунивать над ним и обратили его внимание на ножные нити, которые тянулись от певца к кающейся. Хотя он был убежден, что у Олимпии все это лишь увлечению впечатлительной души необыкновенным голосом певца, в котором, как ей казалось, было что-то божественное, кардинал все же не без основания сомневался в способности крестьянина-наильника испытывать такое же благородное чувство; он скорее подозревал его в намерении соблазнить Олимпию и угоду своей похотливости.

Маццамори окончательно в этом убедился, когда стало известно, что певец несколько дней тому назад попросил об отпуске и получил его, чтобы где-нибудь у моря или в горах дать отдых своему голосу, для сохранения которого врачи считали это совершенно необходимым. Вне себя кардинал поинтересовался у папы, чтобы объяснить ему, какая опасность, по его мнению, грозит благородной даме и сколь преступно использует доброту милостивого повелителя.

Един престарелый папа понял, что начинаются нападки на его любимца, пан сардито поджал губы. Он сам страдал при мысли о предстоящем отъезде певца, но все же исполнил его просьбу

и показал пример самоотречения: неужели нельзя разрешить этому гениальному волшебнику небольшое приключение? Надо же ему встряхнуться! Разве сам он не был молодым? И насколько больше, чем кто-либо другой, нуждается этот пламенный, зажигающий других расточитель в притоке новых сил, которые будет отдавать ему, папе, и всем тем, кто его слушает. Когда он вспоминает, как этот великан в первый раз упал перед ним на колени, скрестив на груди руки, то у него на глазах выступают слезы. Ни разу с тех пор он не изменил этой детской и рыцарской преданности. Хотя Ронко был человеком пылкого темперамента и надменного характера и часто поражал своей необузданностью и грубостью в обращении с людьми, он все же подходил с открытой душой к нему, святому отцу, хрупкому, слабому старцу; всегда покорно, скромно и терпеливо выслушивал всякое порицание и считал его решение в каждом вопросе бесспорным, как бы данным самим богом; преклоняться перед этим решением было для него, очевидно, не только радостью, но и долгом.

Снова опустившись в кресло, Иннокентий с удивлением посмотрел на кардинала и попросил его объяснить, почему он так интересуется отпуском и поездкой певца. Слегка покраснев, кардинал заявил, что хотя святой отец, может быть, этого и не знает, но Ронко намеревается совершить поездку в сопровождении одной дамы, с которой, насколько ему известно, он не состоит ни в родственных, ни в супружеских отношениях.

— Ну и что же? — холодно спросил папа. — Разве вы, мой друг, никогда не совершали путешествия с дамами, не состоящими с вами в родстве? А если вы, священник, слуга божий, этого и не делали, то почему вы хотите отказать в такой свободе певцу?

От смущения, страха и разочарования кардинала бросило в дрожь.

— Простите меня, ваше святейшество, — сказал он, — забота о женщине, которая мне дорога и которую я считаю своим долгом оберегать, слишком далеко увлекла меня.

Маццамори хотел еще многое добавить, но папа прервал его, сказав:

— Хорошо, хорошо! Предоставьте совершеннолетним женщинам самим защищать себя, если они вообще нуждаются в защите или желают ее. Я всегда считал, что моим подданным в вопросах семейной жизни следует предоставлять свободу, так как именно тут власть очень легко превращается в тиранию.

После этого наставления кардинал милостиво был отпущен; на ближайшем приеме святой отец даже похвалил его; но когда через несколько дней Маццамори был назначен главой миссии, отправлявшейся в Японию для обращения язычников в христианскую веру, он не мог не видеть в этом скорее желание папы удалить его, чем доказательство высокого к нему уважения.

Сознание своей непригодности для такой задачи было в нем настолько сильным, что он отважился доложить папе о своих опасениях; однако папа успокоил его, указав на его разнообразные таланты, для которых нет ничего невозможного, если они к тому же будут подкреплены ревностной верой, а в лучшем случае, он сможет заслужить мученический венец.

Дон Орацио продержался несколько дольше, но непоколебимый Ронко сумел в конце концов свалить и его, доведя беспрестанными оскорблениями и упрямством до того, что он пожаловался на Ронко святому отцу. Когда папа отклонил его жалобу и даже порекомендовал ему не держаться столь высокомерно с таким великодушным певцом, украшением его двора, Орацио вспылил и воскликнул: «Как? От этой скотины, которую я вытащил из грязи, я должен еще терпеть издевательства!» — и веледствие этого необдуманного восклицания окончательно потерял благосклонность своего повелителя. Когда же он хотел оправдать допущенные им оскорбительные выражения, то спохватился, что ведь истинную историю своего знакомства с Ронко он, пожалуй, не сможет раскрыть, не затеяв роковой для себя ссоры, а поскольку не сможет дать объяснения своим поступкам, выставит себя перед папой клеветником или необузданным самодуром. Те, кто желал ему добра, считали еще милостью и удачей тот факт, что папа отправил его к маленькому двору в Лукке, где он, живя в стесненном положении, но все же без нужды и опасений, мог спокойно доживать свои дни.

Хуже, но вместе с тем и лучше, пришлось его другу Маццамори; тот хоть и терпел немалые лишения и подвергался смертельной опасности, но, когда все это осталось позади, испытывал минутами не изведенное доселе блаженство, а благодаря многим удивительным впечатлениям, затянувшим словно пестрой пудью дорогое ему и печальное прошлое, оно вспоминалось ему все более смутно. Временами, на чужбине, когда Маццамори одиноко бродил в сумерках по берегу океана под гигантскими доревьями неизвестной породы, где сновало всякое зверье, то нижняя голубизна неба над их вершинами почему-то напоминала



ему узкие и удлиненные, как у херувима, глаза юного Ланчелотто, который, обретя свободу в райских сферах, хотел бы посмотреть на покинутую им землю. Быть может, думал он, Ланчелотто улыбается, глядя на суету, в которой погрязли мы, бедные глупцы, если он, давно уже утомившись ею, не обратил свой взгляд на открывшиеся ему тайны мироздания. Тогда на какие-то мгновения затихала его тоска по родине, по золотым берегам Италии, в минуты его одиночества подкрадывавшаяся к нему, и он робко мечтал о мученическом венце, который может ему принести его миссия среди злых язычников и который невидимые руки, быть может, уже держат над его головой.

# Якоб Вассерман



## ЗОЛОТО НАХАМАРКИ

1



Следующий рассказ был записан рыцарем, впоследствии монахом, Доминго де Сориа Лусе в одном из монастырей города Лимы, куда он, отрекшись от мира, удалился тринадцать лет спустя после покорения страны Перу.

В ноябре 1532 года мы выступили в поход — триста рыцарей и несколько пехотинцев, — под командой генерала Франсиско Писарро — мир праху его.

Наш путь лежал через чудовищные горы — Кордильеры.

Я не буду долго останавливаться на трудностях и опасностях этого похода. Достаточно, если скажу: не один раз мы считали, что наступил наш смертный час, причем даже муки голода и жажды казались нам безделицей перед ужасами дикой природы, зияющих пропастей, обрывистых троп; во многих местах тропа суживалась настолько, что нам приходилось слезать с лошадей и тянуть их за поводья. Не буду рассказывать ни о жутком безлюдье этих мест, ни о стуже и снежных бурях, ни о том, как иные из нас дошли до отчаяния, проклиная злополучный день, когда они решились пуститься в эти убийственные края.

Однако на седьмой день мученья наши пришли к концу. Перед наступлением вечера, радостно настроенные, несмотря на крайнее изнурение, достигли мы города Кахамарки.

Погода с утра стояла прекрасная, но тут начала портиться, и можно было опасаться ненастья; вскоре действительно пошел дождь с градом, и стало очень холодно. Кахамарка означает — город морозов.

Мы были чрезвычайно удивлены, что город был покинут жителями. Никто не вышел к нам из домов с приветствиями, к чему мы привыкли в прибрежных странах. Проезжая по улицам, мы не встретили ни одного живого существа, стояла мертвая тишина, — только копыта наших коней гулко стучали по камням мостовой да эхо повторяло этот гул.

Зато до наступления темноты мы успели заметить на склонах гор, насколько хватал глаз, необозримое множество белых шатров; казалось, горные скаты были осыпаны хлопьями снега. Это было войско Инки Атауальпы. Такое неожиданное открытие привело в смущение даже храбрейших из нас.

Генерал приказал во что бы то ни стало отправить посла для переговоров с Инкой. Выбор его пал на молодого рыцаря Эрнандо де Сото, с которым меня связывала искренняя дружба; его сопровождало пятнадцать всадников.

В последнюю минуту Сото выхлопотал для меня разрешение сопровождать его, что чрезвычайно меня обрадовало.

Мы выступили ранним утром. Горная цепь с утопающими в небесной синеве вершинами справа, цветущая равнина впереди и слева — все это было так ново, так прекрасно, что я пришел в восторг и не мог наглядеться досыта.

После часа пути мы подъехали к широкой реке. Через реку был переброшен красивый деревянный мост. Здесь нас поджидали и без задержки повезли в стан Инки. Скоро мы очутились на просторном дворе, окруженном колоннадой. Колонны были украшены золотыми орнаментами искусной работы, стены облицованы желтыми и синими изразцами; в середине двора находился круглый каменный бассейн, куда по медным трубам поступала теплая и холодная вода. Пышно разодетые вельможи и женщины окружали государя, облаченного в пурпур; на лбу у него была эмблема царской власти — алая повязка с бахромой, которая спускалась до самых глаз.

Лицо его было прекрасно, с необычайным, кристально чистым выражением; на вид ему можно было дать около тридцати лет. Сложен он был крепко и соразмерно, осанку имел повелительную, но в то же время настолько изящную, что мы все были поражены.

Сото захватил с собой в качестве переводчика некоего Фелипилю — туземца, незадолго перед тем принявшего христианство; этот человек, отличавшийся безграничным коварством, в дальнейшем явился причиной больших несчастий, о чем я еще расскажу. Своих единоплеменников он ненавидел; причины этой ненависти мы так и не доискались. Фелипилю был единственным бунтовщиком и вероотступником, какого нам удалось найти в Перу.

И вот при его-то посредстве Сото обратился с речью к Инке. Передав царю приветствие от имени генерала, Сото в почтительных выражениях просил Атауальпу, чтобы он сообразовали посетить нашего вождя.

Атауальпа не отвечал ни слова. Ни одна черта не дрогнула на его лице. Веки его были опущены; казалось, он напряженно соображает, стараясь вникнуть в смысл выслушанной речи. Немного спустя один из стоявших подле него вельмож отрывисто проговорил:

— Хорошо, чужеземец!

Сото чувствовал себя в большом затруднении. Угадать мысль властелина и понять, какое впечатление произвела на него наша речь, было так же невозможно, как если бы нас

отделяли от него горы. Что за чуждый мир! Как чужды эти люди и их нравы! Сото в уctивом, чуть не униженном тоне стал упрашивать Инку, чтобы он удостоил лично высказать свое решение. Тут по лицу Атауальпы пробежала легкая усмешка; такую усмешку впоследствии я часто подмечал у него, и каждый раз она производила на меня глубокое впечатление. На этот раз он ответил устами Фелипилю:

— Передайте вашему вождю, что я соблюдаю пост и он сегодня оканчивается. Завтра я его навещу. До моего прибытия он может жить в здании на площади, но ни в каких других. Относительно дальнейшего я распоряжусь.

Затем наступило молчание. Мы не слезали с лошадей, потому что в седле чувствовали себя в большей безопасности, и притом — это нам было известно из опыта — на конях мы внушали перуанцам больше страха. Сото заметил, что Инка очень внимательно рассматривал его коня, который горячился под ним, нетерпеливо грыз удила и взрывал копытами землю. Сото всегда немножко гордился своим искусством наездника; его соблазняло желание блеснуть своей ловкостью перед государем, а кроме того, он рассчитывал несколько припугнуть Инку. Он ослабил поводья, прищипорил коня и пустил его вскачь по мощеной площади, затем повернул назад и круто осадил на всем скаку, так что лошадь едва не села на задние ноги, причем остановилась так близко от Инки, что брызги пены, покрывшие ее морду, обдали царскую одежду.

Невиданное доселе зрелище до того поразило царских телохранителей и придворных, что они инстинктивно протянули вперед руки и при бурном наскоке животного в ужасе попятились назад. Но сам Атауальпа остался так же спокоен и равнодушен, как и раньше. Впоследствии распространилась молва, будто он в тот же день повелел казнить тех приближенных, которые выказали при этом случае столь позорное малодушие. Впрочем, этот слух, как и многое другое, о чем мне довелось услышать впоследствии, на самом деле был лишь праздным и злонамеренным измышлением, имевшим целью опорочить личность государя.

#### 4

Почтительно поклонившись Атауальпе, мы поскакали обратно к своим, унося новые впечатления, несколько не похожие на те, с какими подъезжали сюда за несколько часов перед этим. Мы видели Инку, окруженного такой военной силой,

что вступать с нею в бой казалось нам безрассудной дерзостью. Нас было триста человек, мы поджидали еще триста в подкрепление из Сан-Мигеля; но что могли сделать какие-то шестисот воинов против мириадов? Стан перуанцев порастил нас пышностью, и мы испытывали робость при мысли о том, какими колоссальными средствами обладает этот народ, к которому мы до сих пор относились с таким пренебрежением; при этом подмеченные нами дисциплина и строгость нравов указывали на их высокий культурный уровень, оставивший далеко за собой все то, что мы видели в прибрежных странах.

Что касается золота, то мы его видели достаточно и более чем достаточно. Масса его была необозрима. Молва на этот раз не солгала, нисколько даже не преувеличила. Не могло быть никаких сомнений, что, проникнув в эту волшебную страну, мы достигли цели самых пламенных наших желаний. Но каким образом могли мы овладеть этим золотом? Подойти на один шаг к осуществлению своей заветной мечты и увидеть себя вынужденным отречься от нее! Не было ли это еще мучительнее, чем играть с неверной надеждой?

Свое уныние мы внесли в наш лагерь, заразив им и других товарищей. Оно не рассеялось и с наступлением ночи, когда мы увидели сторожевые огни перуанцев, светившие нам со склонов гор, — неисчислимы, как звезды в небе.

В эту тяжелую минуту мы нашли непоколебимую опору в замечательной твердости и отваге нашего генерала. Отчаяние, в которое мы впали, нисколько не огорчило Писарро, — напротив, оно доставило ему удовлетворение. Наконец-то случилось то, чего он только и желал! Он стал обходить людей, обращаясь к ним с увещаниями: им следует положиться на себя, уповая на провидение, говорил он, оно уже не раз проводило их невредимыми через самые ужасные испытания. Будь неприятель в десять тысяч раз сильнее их численностью, какое это может иметь значение, если небо на их стороне? Он возбуждал их честолюбие, обещал им неслыханные сокровища; приписывая всему предприятию характер крестового похода против неверных, он сызнова раздувал угасавшую в людях искру воодушевления.

Затем он пригласил офицеров на военный совет. Мы собрались в доме, где генерал поместился с обоими братьями, и здесь он развил перед нами свой вероломный план. Писарро предложил заманить Инку в западню и захватить в плен на глазах всего его войска.

Мы все побледнели. Мы сделали попытку отговорить его от такого намерения, называя его план в высшей степени опасным, отчаянным делом. На это он сухо возразил нам:

— А разве мы не в отчаянном положении? Разве нам не грозит гибель отовсюду и не слишком ли поздно думать о бегстве? В каком же направлении собираемся мы бежать? Самая местность, куда мы зашли, сделалась для нас тюрьмой. Оставаться на месте опасно; напасть на Инку в открытом бою — безрассудно; таким образом, не остается ничего другого, как овладеть его особой.

Генерал не сомневался, что этот шаг произведет потрясающее впечатление на всю страну; в сравнении с ним все другие средства не заслуживают никакого внимания.

Я и сейчас вижу, как он, сжав кулак, с мрачным лицом вопросительно оглядел нас. Никто не отозвался на его речь; все мы сидели с поникшими головами, потому что его намерения вызывали в нас сильнейшие опасения. И все же он знал, что может рассчитывать на каждого из нас — рассчитывать при всяких обстоятельствах. Его воля подчиняла себе людей с непреодолимой силой.

Мы разошлись по домам и палаткам, но не для того, чтобы уснуть. Мои глаза по крайней мере не видели сна в эту ночь. Лежа в своей палатке, я прислушивался к темным голосам земли и к напештываниям злого демона в моей душе. Нужно полагать, так было и с другими.

## 5

Дело заключалось в том, что для меня, как и для всех нас, край этот представлялся настоящей загадкой сфинкса, непостижимым и отвергнутым богом, а его грандиозная природа в будущем сулила еще больше богатств, чем раскрывала в настоящем. Величественные горы поднимаются из океана, точно толпа грозных великанов, а там, вверху, — белые ослепительные снеговые шапки, словно небесные венцы, никогда не тающие под экваториальным солнцем и уступающие разве только разрушительному жару своих собственных вулканических огней; обрывистые склоны съерры с их дикими растрескавшимися стенами из порфира и гранита; ревущие потоки, рождающиеся из ледников, да неизмеримо глубокие пропасти между скал, — и внутри, в горных недрах, неисчислимые богатства драгоценных камней, меди, серебра и золота.

Золото... прежде всего золото! Волшебный сон! Ущелья, полные золота, золотые самородки, вкрапленные в горные породы, золотые с блестящим зеленоватым отливом жилы подолдом, золото в красноватых сияющих слитках в пещерах, в оперении птиц и в песке степей, в корнях растений и в воде ручьев!

Разве не в поисках золота оставили мы родину и пошли навстречу всевозможным опасностям и превратностям жизни, полной лишений, в неведомом нам краю?

Проматавши свою часть отцовского наследства, я слонялся по городам Кастилии, не имея насущного хлеба, с трудом поддерживая достоинство дворянина. Когда нужда окончательно схватила меня за горло, я узнал, что Франсиско Писарро, прибывший в эту пору в Мадрид для заключения договора с правительством, объявил набор добровольцев. С того дня, как я связал себя с ним и его делом, моим умом всецело завладела единственная мысль — обогатиться во что бы то ни стало, и в этом отношении не было никакой разницы между мной и прочими моими товарищами, рыцарями и простыми солдатами. Впрочем, в то время вся Испания, да, пожалуй, и вся Европа, была охвачена лихорадочным возбуждением: дети и старцы, придворные гранды и бродяги с больших дорог, епископ и крестьянин, император и последний из его холопов — все они потеряли способность думать о чем-нибудь ином, кроме сокровищ Новой Индии.

Эта массовая лихорадка захватила и меня и проникла в самую глубину моей души, погасив в ней последние проблески света.

## 6

Мы узнали о храмах, где кровли и ступени лестниц были выкованы из золота. Мы видели сосуды, домашнюю утварь и одежду из чистого золота. Нам рассказывали о садах, в которых цветы были искусно сделаны из золота, особенно маис, — его золотой колос был наполовину обернут широкими серебряными листьями, а с верхушки свешивался легкий пучок, художественно выполненный из серебра.

В этом краю золото казалось таким же обыкновенным предметом обихода, как у нас железо и свинец, да перуанцы и не знали употребления обоих этих металлов — ни железа, ни свинца.

Непостижимо, мучительно странно было то, что золото — конечная цель и предмет самого страстного вожделения для



всего остального человечества — здесь, видимо, не играло никакой роли.

Оно не служило средством обмена или приобретения ценностей, не было мерой вещей или ценностью само по себе, не являлось стимулом человеческой деятельности, не манило и не мучило людей и никого не делало ни плохим, ни хорошим, ни сильным, ни слабым. Можно было бы думать: если не золото, то должен же быть какой-нибудь другой металл, благородный элемент; однако и этого не было. Владение строилось у этого народа на иных основах, чем во всем остальном мире, в каких-то сказочных, тревожащих наш ум формах.

Все зависело от деления людей по ступеням общества. Здесь миллионы людей считались абсолютно равными друг другу, — и над всеми, на неизмеримой высоте, стоял Инка. Насколько мне известно, еще никогда не было примера подобного обожествления смертного человека, да, по всей вероятности, никогда больше и не будет. С течением времени я получил много доказательств подобного отношения перуанцев к своему повелителю, много выслушал рассказов по этому поводу. Он был единственным источником блага и горя, всякой милости, всякого достоинства, всякого владения. Его алая повязка, обшитая бахромой, была украшена двумя перьями чрезвычайно редкой птицы коракенке: эту птицу, жившую в пустыне между гор, дозволялось убивать только для того, чтобы украсить ее перьями царскую голову.

Мне рассказывали, что в седой древности народ жил без света и без закона. Тогда солнце — великая и светлая мать человечества — сжалилось над ним и послало к нему двух своих детей, чтобы принести ему дары культурной жизни. Двое небожителей — брат и сестра и в то же время муж и жена — прошли по высоким равнинам; они взяли с собой золотой клин, и им было велено поселиться в том месте, где клин легко войдет в землю. В плодородной долине Куско случилось чудо — золотой клин сам собой ушел в землю.

От этих двух светозарных существ произошел Инка, и вся страна стала его собственностью.

Вся территория государства была разделена в целях обработки земли на три части: одна часть для Солнца, другая для государя и третья, самая большая для народа.

Каждый перуанец, достигнув двадцатилетнего возраста, обязан был вступить в брак, причем община снабжала его жилищем и отводила ему участок земли. Земля каждый год переделывалась, участок увеличивался или уменьшался в зави-

симости от перемен в составе членов семьи. В первую очередь возделывались поля, принадлежащие Солнцу; затем поля стариков, больных, вдов, — словом всех тех, кто по той или другой причине не мог лично выполнять свою работу; за ними — участки, предназначенные для удовлетворения своих собственных потребностей, причем каждый должен был помогать многосемейному соседу, имеющему малолетних детей. В последнюю очередь обрабатывались поля самого Инки; это выполнялось всем народом сообща, с особой торжественностью. На рассвете раздавался с башни клич к сбору; мужчины, женщины и дети являлись разодетые в свои лучшие одежды и радостно трудились для своего господина, распевая старинные песни. Так мне рассказывали, и так оно и было.

Сельскохозяйственные орудия, амбары, посевы и собранный хлеб являлись общественным имуществом. Общественным имуществом был также скот. Лам стригли в установленные сроки, шерсть сдавали в общественные склады, и отсюда для каждой семьи назначалось столько сырого материала, сколько ей требовалось для собственного употребления; это количество выдавали женам для пряжи и тканей.

Все обязаны были работать, начиная с ребенка и кончая пожилой женщиной, покуда она не становилась слишком слаба, чтобы работать на прялке. Никому не позволялось жить в праздности; безделье считалось преступлением.

Общественным достоянием были рудники, плавильни, ветряные мельницы, лесопилы, каменоломни, мосты, дороги, леса, дома, сады. Никто не мог разбогатеть, никто не мог обличать. Расточитель не имел возможности промотать свое добро, предаваясь излишества; не могло случиться, чтобы спекулянт разорил своих детей рискованными предприятиями. Не встречалось нищих, не было любителей пожить на чужой счет. Если чьи-нибудь дела приходили в упадок по несчастному стечению обстоятельств — по собственной вине этого случиться не могло, — государство было готово прийти ему на помощь. При этом, оказывая благодеяние несчастливцу, общество не унижало его, а восстанавливало, как повелевал закон, на прежней высоте — на одном уровне с остальными. Люди не знали честолюбия, алчности, не испытывали волнений и болезненного духа недовольства, не ведали политических страстей и эгоистических стремлений. Никто не владел никакой собственностью, все принадлежало всем, и все вместе — не только одна земля — было собственностью Инки, этого существа небесного происхождения.

И вот тут возникал головомолный вопрос, была ли это дикость или культура, форма варварского и младенческого существования или высшее состояние общества? Следовало ли гнущаться подобными порядками и поэтому разрушить их или пощадить, может быть, даже признать таким общественным строем, к которому надлежало стремиться? Для нас не мог быть безразличен вопрос, имеем ли мы дело с грубыми, тупыми рабами — слепыми орудиями в руках тирана, обладающего беспримерной по мощи властью, или с созданиями более благородными и чистыми, чем христианский мир.

Я не мог тогда прямо ответить ни да, ни нет, однако по зрелом размышлении все же скорее склонен был думать, что мы имеем дело с гнусными отрицателями тысячелетних установлений, которые нельзя опрокинуть без вреда для всего рода человеческого. Отказаться от собственности — не значило ли это отказаться от наград и почестей, от соревнования и отличий, от стремления возвыситься, от упоения риском, от всего того, что отличает мое от твоего и меня от тебя? Подобная идея чересчур ужасна и нечестна, чтобы к ней отнестись иначе, как с непреклонной решимостью искоренить ее на земле.

Так мне казалось в описываемую ночь, но позже взгляды мои изменились... Я беспокойно ворочался на своем жестком ложе, ожидая наступления дня.

## 7

День начался предательством — это нужно признать — и окончился кровопролитием. Он раз и навсегда унизил Инку и его народ, превратив страну в арену пожаров и убийств. Этого уже не скроешь: следы содеянного сохранились еще и сегодня, когда я пишу эти строки.

Звуки труб призвали нас к оружию. Конница была поставлена позади строений, пехота внутри зданий. Проходили часы, и мы уже начали думать, что наши приготовления были напрасны, как вдруг от Инки прибыло известие, что он находится в пути.

Однако только около полудня перуанцы показались на широкой мощеной дороге. Впереди шло много слуг; на их обязанности лежало очищать дорогу от всяких хотя бы самых ничтожных препятствий — камней, животных, листьев. Атауальпа высоко поднимался над толпой, он сидел на троне,

который несли на плечах восемь знатнейших сановников; справа и слева шествовало по шестнадцати человек, облаченных в драгоценнейшие одежды.

Трон был из массивного золота; он сиял, как солнце. Справа и слева свешивались коврики, изготовленные с едва постижимым искусством из разноцветных перьев тропических птиц. Многие из нас устремили алчные взгляды на эти дивные бесценные вещи, а самыми жадными из всех, я уверен, были мои глаза. Я не имел сил оторвать их от сверкавших передо мной сокровищ, и сердце мое билось с утроенной силой.

На шее у Инки красовалось изумрудное ожерелье из камней небывалой величины; в его коротко подстриженные волосы был вплетен венок из искусственных цветов, сделанных из оникса, бирюзы, серебра и золота; он держался с таким спокойствием, что казалось, будто там на троне восседает фигура из бронзы.

Передние ряды шествия, вступив на площадь, раздвинулись, очищая место для царской свиты. При глубоком молчании своих людей Атауальпа окинул площадь недоумевающим взглядом, потому что никого из наших не было видно, — между тем из засады мы могли разглядеть выражение лица каждого из них и малейшие жесты.

Тут, как это было условлено заранее, на площади появился патер Вальверде, наш походный священник. С Библией в правой руке и распятием в левой приблизился он к Инке и обратился к нему с речью. Феличилю, кравшийся за ним, как тень, роковой и неизбежный, переводил его слова отдельными предложениями так хорошо или так плохо, как только мог.

Доминиканец призывал Атауальпу покориться императору, который, будучи самым могущественным государем в мире, дал своему слуге Писарро повеление вступить во владение языческими странами.

Инка не шевелился.

Патер Вальверде обратился к нему вторично с тем же призывом, причем прибавил, что если Инка признает себя данником императора, этот последний примет его под свою защиту как верного вассала и будет оказывать ему помощь во всякой нужде.

И на это также последовало молчание.

Тогда монах в третий раз возвысил голос; он обратился к Инке с настойчивым увещанием принять во имя господя нашего и спасителя святую веру, через которую он только и мог получить надежду избежать вечного осуждения и не очутиться в аду.

Тут бы нужны были совсем не те слова и не те представления, какими располагал наш патер. Это был человек простой, малообразованный; он не обладал ни даром слова, ни воодушевлением, необходимыми для того, чтобы тронуть сердце идолопоклонника и расположить его к учению Христову, которому мы все следуем со смирением.

Инка и на этот раз ничего не ответил. Он сидел на своем троне, неподвижный, как статуя, и смотрел на монаха не то с удивлением, не то с неудовольствием. Патер растерянно уставился глазами в землю, лицо его побледнело, он напрасно подскивал новые выражения; внезапно он обернулся и поднял распятие как знамя.

Тогда генерал рассудил, что подошло время и дальше медлить не приходится. Он махнул белой перевязью.

Грохнул выстрел из орудия, загремел боевой клич «Сант-Яго», из засады хлынула конница, как поток, прорвавший запруды. Оторопевшие от неожиданности, оглушенные криками, треском мушкетов и громом обоих наших орудий, ослепленные и задыхающиеся в серном дыму, окутавшем всю площадь, люди Инки не знали, что делать, как спастись. В своем бурном налете всадники топтали всех без разбора — и знатных и простых, все перемешалось: перед моими глазами вертелся клубок, в котором мелькали красные, синие и желтые пятна. Никому не приходила мысль оказать сопротивление, да у них и не было необходимого для того оружия. В какие-нибудь четверть часа все пути к отступлению были забиты трупам. Жертв неожиданного нападения охватила такая паника, что многие из них, ища спасения, со сверхчеловеческой силой голыми руками проломили окружавшие площадь стены, сложенные из пережженной глины.

Я не могу дать себе даже приблизительного отчета, сколько времени продолжалась эта ужасная бойня. Ум мой был помрачен видом золотого трона, на котором все еще сидел Инка. Я хотел завладеть им во что бы то ни стало, сверхъестественная сила тянула меня в круг, сияющий его лучами, и я сшибал все, что стояло на моем пути. Вернопопдавшие Инки толпами кидались вперед, чтобы загородить дорогу мне и другим всадникам, стащили несколько человек с седел, подставляли свою грудь под удары, лишь бы спасти обожаемого повелителя. В предсмертных судорогах они продолжали цепляться за наших лошадей, и я все время тащил за собой три-четыре полумертвых тела; как только один из них падал, его место мгновенно занимал другой.

Трон, поддерживаемый восемью знатными людьми, качался, как челн среди волнующегося моря, подаваясь то вперед, то назад.

Атауальпа смотрел с мрачным фатализмом, не двигаясь, на кровавое побоище, сознавая свое бессилие предотвратить его. За короткими тропическими сумерками спустился вечер. Утомленные бойней, мы опасались одного: как бы Инка не ушел от нас. Андреа де ла Торре и Крестоваль де Перральта стали пробиваться к нему, намереваясь пронзить ему грудь мечом. Генерал как ураган рванулся им наперерез: весь его план был построен на сохранении жизни государя. В тот момент, когда он протянул руку, прикрывая Инку, Крестоваль де Перральта нанес ему довольно серьезную рану в сгиб руки. В тот же миг пали сразу четверо из людей, поддерживавших трон; для оставшихся в живых ноша оказалась не по силам: они упали на колени возле целой груды трупов; Инка непременно свалился бы на землю, если бы Писарро и Торре не подхватили его на руки. Солдат Мигель де Эстете сорвал с его головы царскую повязку, а мы с Перральтой ухватились за трон, Перральта с одной стороны, а я с другой; в продолжение десятка ужасных секунд мы глядели друг на друга налившимися кровью глазами, как два смертельных врага.

Атауальпа был как пленник отведен в близлежащее здание, и охрана его была вверена караулу из двенадцати человек.

Зловещая тишина воцарилась на площади и на улицах города. А издали, с окрестных гор, с наступлением ночи стали доноситься к нам звуки печальных песен: то перуанцы оплакивали своего божественного царя, и эти звуки то нарастали, то замирали, и с каждым часом все больше слышались в них тоска и отчаяние,— так продолжалось до самого рассвета.

## 8

Солдатам было дано разрешение отправиться за добычей: они притащили из стана Инки множество золотых и серебряных вещей, а также немало кусков различных тканей. Эти ткани отличались необыкновенным совершенством выработки и изумительно красивым подбором красок — нам никогда еще не случалось видеть ничего подобного.

Все награбленное добро было сложено в отведенном для этой цели здании, чтобы к назначенному сроку, выделив королевскую пятину, приступить к его разделу.

Трон Инки мы — я и Кристоваль де Перральта — с помощью нескольких человек припрятали в укромном местечке; один из них донес на нас Педро Писарро, после чего мы были вызваны к генералу и он грозно потребовал от нас, чтобы мы выдали трон. Его требование было исполнено без замедления: мы дрожали перед ним.

Желая вознаградить себя за эту потерю, я принялся обыскивать вместе с солдатами городские дома, причем мы забирали все, что имело хоть какую-нибудь ценность.

Мы хватали туземцев и срывали с них одежды и драгоценности. В одиночку либо партиями наши люди рассыпались по окрестностям, грабили попадавшиеся на пути жилища и затем предавали их огню. Люди врывались в храмы, избивали либо разгоняли жрецов и уносили, кто сколько мог, цветные ткани и ценные сосуды. Но всего этого им было мало: захваченная добыча только еще сильнее разжигала их аппетиты. Меня тоже ничто не могло удовлетворить: я жаждал еще большего.

Однажды вечером, в то время как один из наших отрядов возвращался в город после разбойничьего набега, оказавшегося на этот раз особенно удачным, пленный Инка вышел из внутренних покоев своего дома в колоннаду и наблюдал, как солдаты складывают принесенную добычу, как к ним подходят другие, берут в руки золотые и серебряные предметы, показывают друг другу, ощупывают, прямо-таки ласкают их, и при этом весь их вид выдавал волновавшие их чувства — восторженное упоение, ненасытную жадность и мелочную завистливую тревогу.

Я стоял на площади, и Инка мало-помалу всецело завладел моим вниманием. Мне казалось, что он напрасно силится осмыслить сцену, которая разыгрывалась у него перед глазами. В то время как он напряженно вдумывался в это зрелище, к нему подошел Фелипильо и с униженно-льстивым видом сказал ему вполголоса несколько слов.

Как я узнал впоследствии от Эрнандо де Сото, который слышал это от самого Атауальпы, Фелипильо сказал ему вот что:

— Они хотят золота. Они визжат из-за золота, они поднимают крик из-за золота, за золото они готовы растерзать друг друга. Спроси их о цене своей свободы — и ты можешь купить ее за золото. Ничего нет на свете, чего бы они не отдали тебе за золото, — своих жен, своих детей, свою душу и даже души своих друзей.

Я только догадывался о смысле этих правдивых и страшных слов. Меня поразило в этот момент лицо Атауальпы — на нем было выражение отвращения и глубокой задумчивости. Не-

сомненно, именно тогда он неотступно начал думать о том, чему никак не мог поверить, — что за такую ничтожную вещь, какой было в его глазах золото, можно купить такое великое благо, как свобода, что вообще с его помощью можно что-нибудь купить, что-нибудь иметь. Что-нибудь иметь — для него значило совсем не то, что для нас. Мысль о покупке чего-либо за золото удивляла и беспокоила его до глубины души. В тот час, видя моих товарищей, опьяненных видом золота, и рядом онемевшего, изумленного Инку, я впервые ясно понял, до какой степени мы были ему чужды, непостижимо, ужасающе чужды, не как люди, вышедшие из неведомого ему мира, а как существа совершенно иной, необъяснимой природы.

9

И вот в Кахамарку пришли его слуги и служанки, его придворные и его жены и умоляли, воздевая руки к небу, допустить их к своему господину. Они говорили, что их жизнь посвящена Инке с самого их рождения и в случае разлучения с ним, по законам страны, они будут обречены на смерть.

Генерал отобрал из них около двадцати человек, в том числе принца Курака — сводного брата Инки, которого тот особенно любил.

Это был красивый и кроткий юноша, походивший на государя лицом и фигурой.

Прочих генералов отослал назад, и, как мы вскоре после того узнали, все они покончили с собой.

Однако приходили еще тысячи других обитателей сел и городов — они хотели поглядеть на своего господина. Их впускали в Кахамарку, удостоверившись, что при них нет оружия. В сущности, в этой предосторожности не было никакой нужды. Все эти люди находились в состоянии полной растерянности. Они никак не могли поверить, не могли постичь, что сын Солнца стал пленником. Они смотрели на нас со скорбным изумлением, дрожали от суеверного ужаса, если кто-нибудь из нас заговаривал с ними. Какая-то сверхъестественная сила, казалось, удерживает их под стенами, за которыми томился Инка. Одни рыдали, другие только молчаливо вздыхали, иные стояли на коленях, стиснув руками голову. А ночью я видел, как их глаза светились во мраке, в то время как с горных высот доносились жалобные напевы.

Все государство охватили скорбь и отчаяние.



Начиная с шестого дня генерал передал мне охрану Инки, причем для выполнения этой важной обязанности я принял командование над караулом из пятнадцати надежнейших воинов.

Теперь я получил возможность наблюдать пленника в любое время и в непосредственной близости. Инка же не уделял мне ни малейшего внимания; только к одному из нас он, казалось, почувствовал нечто вроде расположения, а именно к Эрнандо де Сото, который поэтому имел к нему свободный доступ во всякое время. Генерал смотрел на их сближение благосклонно, рассчитывая таким образом получить возможность быть в курсе настроя и намерений Инки. Сото немало с ним повозился; между прочим, он старался познакомить Инку с нашим языком, ему хотелось добиться, чтобы пленник понимал его, — и старания Сото не остались безуспешными.

Атауальпа проводил ночи почти без сна, сидя на каменных плитах пола с поджатыми под себя ногами. Создавалось впечатление, будто он дорожит каждым своим шагом, каждым движением своей руки. Из блюд, какие ему подавались к столу, он брал ровно столько, сколько было необходимо для поддержания жизни. Своим женам он не подарил ни единого взгляда. С одним только принцем Курака он время от времени беседовал вполголоса.

Генерал намеренно окружал своего царственного пленника знаками уважения и старался разогнать уныние, проглядававшее на лице Атауальпы при всем его притворном равнодушии. При появлении генерала Инка вставал и обращал на него выжидающий, вопросительный, пламенный, холодный взгляд.

Однажды Писарро через переводчика стал убеждать его не падать духом из-за случившегося с ним несчастья; ведь Инка разделял участь всех государей, оказавших сопротивление христианам; за это он и понес небесную кару; но испанцы — народ великодушный и милуют тех, кто покоряется им и чистосердечно раскаивается.

Тут я заметил — это не укрылось и от внимания генерала, — как Инка принялся внимательно рассматривать золотую пряжку на своей обуви и при этом по губам его пробежала та странная усмешка, о которой я уже упоминал. Вслед за этим он приподнял левую руку, а стоявший подле него принц Курака опустил на колени и с благоговением прикоснулся дрожащими губами к его полусогнутым пальцам.

Чтобы не нарушить последовательного хода событий, я должен здесь рассказать, как принц Курака подвергся насилию со стороны одного из моих солдат и что при этом произошло.

Было раннее утро; юноша собирался выйти из колоннады, чтобы принести своему господину фруктов, которых тому захотелось поесть. Солдат Педро Алькон, стоявший на часах, отказался его пропустить; Курака стал при помощи жестов объяснять, в чем заключалось его намерение, но Алькон схватил его за плечи и грубо оттолкнул назад. Курака вспыхнул и в гневе ударил его кулаком по лицу. Тогда Алькон извлек меч, а перепуганный Курака обратился в бегство. Солдат погнался за ним с грозными криками, намереваясь смыть оскорбление кровью.

Я только что проснулся и, услышав шум, поспешил в помещение Инки. Еще издали я заметил, что Инка смотрит все время в одном направлении. Взглянув в ту сторону, я увидел принца, мчавшегося вихрем по внутренним покоям. Комнат, по которым пробежал испуганный юноша, было так много, что в тот момент, когда я его увидел, фигура Кураки казалась мне издали совсем маленькой. Не издавая ни звука, вскинув вверх руки, он бежал с легкостью оленя сквозь длинный ряд комнат, а за ним гнался неуклюжий солдат с обнаженным мечом в руке, тяжело стуча сапогами. Добежав наконец до своего повелителя, Курака упал к его ногам и обнял его колени. Педро Алькон, запыхавшись, с пеной у рта, хотел схватить юношу; я крикнул ему, чтобы он опомнился; он не обратил внимания на мои слова, лишь бросил на меня злобный взгляд. Тогда Атауальпа прикрыл левой рукой голову брата, а правой оттолкнул рассвирепевшего Алькона. В этом движении было столько царственного величия, что солдат оторопел, но на один лишь миг. В следующее мгновение, разразившись проклятиями, он взмахнул мечом, и прекрасному юноше пришел бы конец, если бы две рабыни не бросились вперед и не заслонили его своими телами в решимости принять удар на себя. Одна из них, пораженная в шею, тут же упала, не издав ни звука и обливаясь кровью.

Алькон остановился. Его взгляд встретился со взглядом Инки и требовал с кровожадным и дерзким упорством жизни принца. Здесь я должен отметить, что в эту пору наши люди, сознавая себя владельцами неисчислимых богатств в будущем, находились в самом мятежном состоянии духа, и, чтобы удержать их в повиновении, мы, офицеры, пользовались своим правом отдавать приказы с величайшей осмотрительностью.

Все еще прикрывая левой рукой голову своего любимца, Атауальпа правой рукой снял со своей одежды золотую застежку и протянул ее Педро Алькону. Я подметил в этом движении какую-то неуверенность, нерешительность, как будто он сам не верил в успех, не надеялся на него.

Алькон взял украшение, взвесил его на руке и пожал плечами. Инка сдернул с левого рукава массивный золотой браслет и подал его солдату. Тот снова взвесил его и, поджав губы, смотрел перед собой, видимо все еще колеблясь. Тогда с несвойственной ему в другое время поспешностью Атауальпа сорвал со своей шеи изумрудное ожерелье и кинул ее в нагло протянутую руку солдата. На этот раз Алькон остался доволен; кивнув головой, он спрятал драгоценность под кожаную куртку и вложил меч в ножны.

Атауальпа глядел на него ошеломленный, как будто бы на его глазах призрак становился реальностью. Ведь ему сейчас было дано доказательство, что за золото у пришельцев можно купить жизнь. А это казалось Инке столь чудовищным, что он еще долго стоял в мрачном недоумении, и даже речь его любимца не была в силах рассеять его думы.

## 12

В тот же день генерал посетил Атауальпу в сопровождении нескольких рыцарей, чтобы извиниться перед ним за утреннее происшествие. Он обещал произвести беспристрастное расследование и покарать виновников. Тут, с трудом подыскивая слова и запинаясь, Инка заявил нам при посредстве Фелипильо, что он обязуется выстлать золотом весь пол того зала, в котором мы беседовали, если мы возвратим ему свободу.

Генерал и мы выслушали эти слова в молчании. Не получая никакого ответа, Атауальпа прибавил более решительным тоном, что он готов не только устлать пол, но и наполнить комнату золотом на такую высоту, насколько хватает его рука.

Мы уставились на Инку в изумлении, считая его предложение простым хвастовством со стороны человека, которому слишком не терпится получить свободу, чтобы он стал взвешивать выполнимость своих посулов. Генерал отвел нас в сторону — ему хотелось выслушать наши мнения.

Его брат Эрнандо и секретарь Херес были склонны отвергнуть предложение, Сото и я советовали принять его. Сам генерал

в первые минуты был в нерешительности. Он имел высокое представление о богатствах страны и, в частности, о сокровищах столицы Куско, где, по надежным сведениям, кровли храмов крылись золотыми листами и стены тоже, и даже кирпичи делались из золота. «Подобные слухи имеют же какое-то основание», — думал он. Во всяком случае, следовало принять предложение Инки с тем, чтобы одним ударом заполучить все золото и не дать перуанцам припрятать его либо увезти.

В силу этого генерал сказал Атауальпе, что согласен дать ему свободу, если он действительно представит столько золота, сколько пообещал. Генерал потребовал кусок красного мела; ему принесли, и он провел по всем четырем стенам черту на высоте, указанной Инкой. Покой имел в ширину тридцать семь футов, в длину пятьдесят два, а красная черта на стене проходила на высоте девяти с половиной футов от пола.

Все это пространство нужно было завалить золотом. Для этого Инка потребовал два месяца времени. Условия были записаны секретарем Хересом, и к документу приложили печать.

Переговоры и заключение договора так нас взволновали, что когда мы беседовали о происшедшем, у нас срывался голос, а лицо горело как в лихорадке. Мы сомневались; сомнения были перемешаны с тревогой и пламенной надеждой.

Новость тотчас же распространилась по лагерю; солдаты метались от радости как полоумные, предавались самым фантастическим мечтам о будущем, лишились сна; игра и другие развлечения потеряли для них всякий интерес. То же самое испытывал и я.

## 13

Едва было подписано соглашение, как Инка разослал по всем городам своего государства гонцов с повелением забрать золотую утварь и сосуды из царских дворцов, храмов, садов и общественных зданий и без промедления доставить все это в Кахамарку.

Расстояния были очень велики, но они не создавали таких затруднений, как в наших землях, благодаря остроумно организованной связи при помощи скороходов. В первое время посылки поступали в ограниченном количестве. Но уже через неделю их стало прибывать значительно больше, и число их возрастало изо дня в день; все это складывалось в зале, который находился под моей строжайшей охраной.

Каждый вечер Инка останавливался на пороге того помещения, где хранилось золото, свезенное со всех концов его царства; он измерял спокойным взглядом еще свободную площадь стен и, казалось, вычислял, сколько недостает золота до красной черты, которая определяла его судьбу. Но как много ни притекало за день блестящего металла, масса его, казалось, росла очень медленно.

Поднимая глаза от края золотой массы к этой неумолимой черте, он как будто старался высчитать, сколько дней отделяет его от свободы. А вокруг Инки стояли безмолвные и печальные слуги и служанки и читали на любимом лице то, чего не мог выразить язык. Ведь у этих людей не было слов для обозначения многого из того, что мы, созданные совсем иначе, умели выразить без труда и что тем не менее не имело никакого содержания.

Мне трудно описывать мои собственные впечатления и еще труднее изобразить переживания Атауальпы — те чувства, какие таились в глубине его души и о которых я лишь смутно мог догадываться. Удивительные свойства его личности с каждым днем, с каждым часом все сильнее смущали меня и тревожили. В чем тут было дело, я не знаю. Какое-то неясное чувство твердило мне, что на мне лежит долг проникнуть в его внутренний мир и дать себе отчет в том, что творится в глубине его души. В его присутствии я невольно ощущал трепет: меня поражала, если можно так выразиться, необыкновенная чело-вечность этой личности; в нем чувствовалась какая-то необычайная чистота, что-то загадочное, не выразимое словами и до того нежное, чувствительное, что жутко было к нему прикоснуться, нечто такое, от чего я не мог отвести очей и что словно и на меня отбрасывало свою скорбную тень.

Сначала я считал его только властелином золота, могучим и роковым, погрязшим в гибельном язычестве, отданным на произвол нечистых духов; и я спрашивал себя, по какому праву я-то его осуждаю. Ведь и мои взоры привлекало одно только золото, при взгляде на золото меня корчило, как будто меня отравили жгучим ядом. Мой мозг возбуждался одним только золотом, блеском золота и предвкушением золота и тех чувственных наслаждений, какие оно дарует. Но затем меня с удивительной силой потянуло к этому человеку. Я считал это влечение то проклятием, то внушением свыше, или же мне казалось, что оно порождено угрызениями совести и грустью. Иногда мне казалось, что во мне слилось два человека, что Инка и я составляем одно целое; и золото привлекало меня, и его душа привлекала меня.

Но как можно все это высказать?

Для меня было ясно, что не одна забота о золоте поглощала его внимание, не одно наблюдение за нарастанием золотой массы. Его угнетало, мучило и другое — наше присутствие, наша сущность и поступки. В этом я мало-помалу вполне убедился. Началось у него с простого любопытства; язык и звуки голоса, походка и жесты, способы выражения гнева и радости, одежда и нравы — все в нас было ему до того чуждо, что у него захватывало дух, все было недоступно его пониманию, как иной, не подсолнечный мир, презренный и зловещий — то и другое в сильнейшей степени, — и он не был в состоянии отделить достойное презрения от зловещего. Когда ему случалось взглянуть на наши лица, словно обтянутые дубленой кожей, или когда на нем останавливался взгляд кого-нибудь из нас — бесцеремонный и наглый взгляд, — он вздрагивал, как от нечистого прикосновения.

Когда же в доме появилось золото и мы все — от вождя до последнего солдата — принялись жадно следить за его накоплением, тогда мы стали внушать ему ужас и отвращение, и эти чувства обострились до того, что, заметив одного из нас, он закрывал глаза. Это правда, я сам это видел.

Много посторонних людей теснилось к окну, огражденному решетками, заглядывая в дом остекленевшими глазами. Они чувствовали запах золота, ощущали его вкус; я это понимал: то же самое было и со мной. Иной раз кому-нибудь из них удавалось пробраться к порогу помещения и бросить украдкой взгляд на груды сокровищ, сверкавшие желтым блеском, и тогда его лицо искажала гримаса, придававшая ему страшное выражение — не то нежности, не то голода; рука его проделывала хватательные движения, а глаза бегали по сторонам, как будто он боялся, не опередил ли его кто-нибудь другой. Каждый из них опасался, как бы другой его не опередил; то же самое было и со мной.

Нередко я замечал, как по ночам, когда его приближенные спали, Атауальпа сидел выпрямившись и к чему-то прислушивался. И в самом деле, у дома всегда слышались шарканье и шелест, шорох и глухое бормотание; если случайно проглядывал месяц и золото загоралось в его лучах, можно было разглядеть у окна глаза, широко раскрытые судорогой страсти; в них было тусклое отражение золотого блеска, смешанного с лунным светом; люди эти напоминали зверей, когда те крадутся к водопаду потаенными тропами, боясь других, более сильных животных.

Однажды Хосе Мария Лопес, пожилой солдат с седой бородой и многочисленными рубцами на лице, схватил

тяжелый золотой кирпич; беспредельное изумление и безумная радость исказили его побледневшее лицо. Это было в сумерки; он сиял обувь и прокрался в зал босой; один из товарищей подсматривал за ним; он неслышно последовал за солдатом, бросился на него с сильным криком и вцепился ему в горло обеими руками, так что Лопес захрипел и свалился на землю.

В другой раз несколько человек повстречали перуанца-ноСИЛЬЩИКА, прибывшего с грузом золотой посуды; ставив ношу с его спины с такой яростью, словно хотели сорвать ее вместе с кожей, они принялись считать и пересчитывать, взвешивать и ощупывать каждую вещь дрожащими пальцами и смотрели друг на друга, как волки.

Так Атауальпа дошел до сознания, что золото действует на всех нас гораздо зловреднее, чем на его народ одурманивающая чича, употребление которой было дозволено только в определенные религиозные праздники. Но при этом он должен был сказать себе: пить этот желтый металл они не могут, они могут только услаждать свои взоры его блеском и цветом. Что же оно им дает? Что им сулит? Они не украшают себя золотом, тела их, как бесплотные тени, лишены всяких украшений. Какая же польза им от того, что они владеют золотом?

Несомненно, у него должны были зародиться подобные мысли. Впрочем, он и высказал их с удивительной глубиной в беседе с Эрнандо де Сото. Инка выразился приблизительно в таком смысле, что у нас нет того беззаветного повиновения, той врожденной покорности, которая заставляет видеть в вожде небесного избранника — солнце в образе человека. Если мы и покоряемся нашему господину, мы делаем это поневоле, подавляя свою строптивость, заглушая злобу, как будто мы имеем равные с ним права и одинаковые притязания на все земные блага, и если не отваживаемся восстать против него, то единственно из опасения, что ему, может быть, известны такие пути или такие волшебные формулы, которые нам недоступны. Почему, спрашивал Инка с изумлением, потупляют они глаза в лицемерном смирении перед лицом вождя, а едва он отвернется, нагло поднимают их и дерзко преследуют его своими взорами?

Эрнандо де Сото не находил ответа на подобные вопросы и не скрывал от меня, что ему приходилось стоять перед Инкой с жалким видом растерявшегося школьника. А я с каждым днем все лучше понимал душевное состояние Инки: смотря на вещи его глазами, я увидел возрастающее нетерпение моих товарищей, выражение взаимной ненависти и тревоги.

Мне стало ясно, что никогда самый страшный кошмар не мог дать Инке и отдаленного представления о том, что на свете существуют создания, подобные нам. Когда же он в этом убедился и столкнулся с такими созданиями, его охватила беспредельная грусть, которая сломила его душу и тело; вот причина того, что казалось нам неразрешимой загадкой, вот почему он покорился своей участи без сопротивления, не передавал никаких тайных приказов своим подданным, вот почему сотни тысяч вооруженных воинов оставались в бездействии — целая армия любящих его людей, для которых государь был центром и конечной целью их существования, между тем Инке стоило только двинуть бровью, и три сотни проходимцев напоили бы своей кровью поруганную землю.

Бездействие войска зависело от Атауальпы, от его глубокой уверенности, что наступило господство духа тьмы и сопротивляться ему бесполезно. Я хорошо знаю, что говорю, принимаю на себя ответственность за сказанное и готов отстаивать справедливость своих слов против всякого, кто бы вздумал потребовать меня как христианина к ответу за такие речи: то, что распространилось по владениям Инки, разве имело что-нибудь общее с духом христианства и Христовым учением, с нашей великой верой и святым ее символом? Страна была поражена недугом, души ее обитателей были больны, отвращение и ужас омрачали их, отвращение и ужас распространялись от мозга и сердца этой страны, от Атауальпы, ее главы и воплощения; он должен был оставаться безмолвным зрителем того, как чужеземцы грабили храмы, бесчестили посвященных Солнцу дев, опустошали сады, топтали поля — его преемственные священные владения, принадлежавшие его роду на протяжении тысячелетий. А он не мог противодействовать: мир стал нечистым, и это сознание сообщалось его народу и возвращалось к Инке обратно, как эхо, в ночных напевах, в которых слышались безутешная тоска и предчувствие грядущей гибели.

## 14

Инке доставили шарообразный опал, принадлежавший его любимой сестре и супруге, Уоко, жившей на острове среди озера Титикака. Уоко велела ему передать через доставившего камень, что она приготовилась к смерти и только ожидает его приказа.

Он долго безмолвно смотрел на великолепный камень, в то время как слуги и молодые женщины потупили взоры.



Ему привели также прирученную пуму, постоянно лежавшую, бывало, у его ног в садах царского дворца. Зверь тосковал, отказывался от пищи и на третий день околел.

Вечером того же дня принц Курака был найден в одной из комнат мертвым с кинжалом в груди. Никто из нас не сомневался, что Педро Альфонс, чья злоба еще сильнее разгорелась после наказания, наложенного на него генералом, еще не удовлетворил своей жажды мести, несмотря на полученный от Инки богатый выкуп. Однако непосредственного убийцу никто не выдал и не изобличил.

Атауальпа смотрел на труп так же, как на опал. Его скорбь походила на улыбку.

На равнине с тридцатью тысячами человек стоял Калькучима, старейший военачальник Инки. Плебейство его государя, совершенное так неожиданно, посредством грубого насилия, какими-то неведомыми существами, которые казались ему свалившимися с неба, совершенно расстроило старика. Добиваясь свидания с ним, наш генерал приглашал его приехать в Кахамарку. Он отклонил приглашение. Тогда Писарро добился приказа Инки, — и Калькучима немедленно же тронулся в путь. Он прибыл в город в сопровождении многочисленной свиты. Подчиненные несли его на открытых носилках, и горожане оказывали ему почести, на которые он имел право, как первый слуга царя. Сам же он, при посещении Атауальпы, приблизился к царю босой, как самый ничтожный из его подданных, с камнем на спине — эмблемой безграничной покорности. Он упал на колени, облобызал руки и ноги своего государя и залился слезами.

Я был свидетелем этого свидания и не могу отрицать, что оно меня растрогало. А на лице Атауальпы я не заметил ничего, даже признака радости по случаю свидания с самым преданным своим советником. Он просто поздоровался со стариком, затем, не сказав ни слова, протянул ему прекрасный опал, присланный его сестрой и супругой. Это означало смертный приговор для Уоко, и старый Калькучима, убитый горем, пошатнулся, варыдал и удалился, поддерживаемый своими слугами.

## 15

Тем временем обнаружилось, что переводчик, вероотступник Фелипильо, увлекаемый все дальше по пути измены, в порыве плотской страсти позволил себе посягнуть на одну из молодых жен Инки. В прежнее время он и во сне не осме-

лился бы помыслить о подобном деле: это было самое ужасное преступление, какое только мог совершить перуанец. Атауальпа сказал генералу, что подобное поругание, учиненное столь ничтожным человеком, для него тяжелее самого плена. Он был бледен от негодования, когда говорил это.

После этого случая озлобление Фелипильо против своего некогда всемогущего повелителя перешло все границы, и он вознамерился окончательно его погубить. Фелипильо обвинил перед генералом его и Калькучиму в заговоре, тот должен был напасть на испанцев и истребить их всех до последнего человека.

Свою клевету он подкрепил самыми страшными клятвами. Скорее желая поверить доносчику, нежели веря ему в действительности, Писарро принял его слова к сведению. Донос открывал ему возможность уклониться от выполнения рискованного обязательства, касавшегося освобождения государя, и он решил нарушить договор, будь то посредством насилия или коварства.

## 16

Когда масса выданного нам золота увеличилась настолько, что не доставало всего около трех ладоней до красной черты, стало совершенно невозможным сдерживать нетерпение наших людей; они решительно подступили к генералу с требованием разделить сокровища. А ему такое требование было на руку, потому что облегчало выполнение его темных замыслов.

Впоследствии Эрнандо де Сото и я не могли отказаться от подозрения, что нетерпеливость эта даже нарочно разжигалась среди наших людей.

В целях справедливого и равномерного распределения золота было принято решение расплавить все золотые вещи и превратить их в слитки; добыча наша состояла из бесконечно разнообразных предметов, изготовленных из золота весьма различного достоинства.

Уже на следующий день хранилище было опорожнено, причем принимались самые тщательные меры к охране драгоценностей. Вслед за тем генерал призвал несколько местных золотых дел мастеров; согласно данному им распоряжению, все чудесные сосуды, блюда, кубки, кувшины, столовая посуда, подносы, вазы, подсвечники, храмовая утварь, плиты, пластинки, курильницы, идолы, браслеты, маски, все стенные украшения, колонки цепи, знаки религиозного сана — все эти изделия,

нередко высокой художественной ценности, были расплавлены и превращены в слитки.

В числе других вещей особенно врезался мне в память сделанный из золота фонтан; он выбрасывал кверху искрометный золотой луч, а по краям воды, воспроизведенной из золота с поистине волшебным искусством, казалось, играли золотые птицы и ящерицы. Таким образом, мастерам приходилось своими руками разрушать то, что они сами создавали с такой любовью и старанием; они трудились день и ночь, но золота было так много, что после целого месяца работы им все еще не удалось переплавить всей массы металла.

Между тем с морского побережья, из Сан-Мигеля, прибыл вместе со своими людьми долголетний соратник и друг генерала, дон Альмагро. Они потребовали, чтобы мы поделили с ними сокровища, и притом с таким наглым вызовом, как будто мы были их крепостными. Разгорелись споры, вспыхнула ярким пламенем взаимная вражда. Улицы, дворы, дома и палатки огласились криками и звоном оружия, зависть и корыстолюбие отравили все души; даже по ночам люди засыпали тревожным сном.

В вечерний час Атауальпа вышел на порог своей тюрьмы и посмотрел на площадь затуманенным взором.

Я стоял на ступенях лестницы подле него.

На плечах его был плащ из шкурок летучих мышей, мягкий и гладкий, как шелк, а голова была повязана льяуту — родом шали из тончайшей ткани необычайно яркой окраски.

Как раз в это время вспыхнула из-за золотой черепахи жестокая ссора между двумя солдатами — один принадлежал к нашему отряду, другой к людям Альмагро; обоим хотелось вытащить ее из плавильни, и каждый желал завладеть ею. Тотчас же они обнажили мечи; два удара, вскрик — и тот, кто принадлежал к нашей партии, по имени Хакопо Куэльяр, лежал на земле, но и в предсмертных судорогах не выпускал зажатую в кулаке черепаху и отталкивал, уже окутанный предсмертным мраком, хищные руки, которые тянулись к ней. Я оттащил убийцу.

Сцена эта привлекла внимание Инки с неодолимой силой. Недоверчивая стража обступила его, но он не замечал ее. Он пристально всматривался в труп, глаза его потемнели, и в них появилось такое выражение, будто ему страстно хотелось проникнуть взглядом в грудь мертвеца, как сквозь стекло, и удостовериться, из какого материала была сотворена непостижимо чуждая для него душа этого человека. Затем я видел,

как Инку охватил ужас; переведя глаза на немногих последовавших за ним слуг, он сказал им еле слышным, прерывающимся голосом, указывая на неподвижное тело:

— Смотрите, золотая черепаха пьет его кровь.

В ту пору я уже настолько научился его языку, что мог понять эти детски наивные, но страшные слова.

## 17

Наконец наступил день, когда он потребовал у генерала свободы, ссылаясь на то, что им выполнены все условия заключенного с нами договора.

Да, он требовал свободы, хотя и чувствовал, что освобождение его будут всячески задерживать, хотя в нем уже зарождались и еще более черные подозрения.

Эрнандо де Сото, все более завоевывавший доверие пленника и оказывавший ему немало мелких услуг и одолжений, явился посредником между ним и генералом. Писарро его выслушал, но медлил дать какой-нибудь определенный ответ. Только по истечении нескольких часов он велел передать Инке через казначея Рикельме, прибывшего к нам вместе с доном Альмагро, что выкуп не выплачен полностью, — помещение не было заполнено вплотную до самой красной черты.

Атауальпа выразил по этому поводу свое удивление и возразил, — как это и отвечало действительности, — что если положенный предел не был достигнут, то в этом нет его вины: стоило бы подождать еще каких-нибудь три дня, и все обещанное золото было бы налицо; впрочем, для него нет ничего легче, как пополнить его недостаток.

Генерал пожал плечами и сказал, что на это он пойти не может. Он знал, в чем дело: из городов все еще прибывали посылки; их не допускали в Кахамарку.

Писарро распорядился составить и публично обнародовать в лагере объявление, согласно которому освобождал Инку от всяких дополнительных обязательств по уплате выкупа, но тут же добавил, что безопасность его и его войска требует, чтобы Атауальпа оставался в плену до тех пор, пока не подойдут подкрепления из Панамы.

Услышав о таком коварном обходе договора и прочитав упомянутый манифест, Сото отправился к генералу, и у них произошло бурное объяснение. Генерал сказал, что располагает

точными сведениями об интригах Атауальпы, о его тайных сношениях и что солдаты, особенно люди Альмагро, требуют его смерти.

Сото пришел в изумление. Он клялся в лживости этих слухов, называя людей Альмагро шайкой головорезов и разбойников с большой дороги. Уступая с кажущимся добродушием неотступным настояниям Сото, генерал согласился отправиться к Инке и с глазу на глаз открыть, в чем его обвиняют. Сото утверждал, что даже по лицу его можно будет прочесть, справедливы ли эти обвинения или нет, так как Инка абсолютно не способен притворяться.

В сопровождении Сото генерал вошел в комнату Атауальпы — это было в пятом часу пополудни — и сообщил о дошедших до него тревожных вестях.

— Какое предательство подготовил ты против меня, — сказал он мрачно, — против человека, который доверял тебе как брату?..

Проходя через переднюю комнату, Сото сделал мне знак, чтобы я последовал за ним, и в эту минуту я стоял позади генерала, как раз напротив Инки.

— Ты шутишь, — возразил Инка, который вряд ли когда чувствовал это братское доверие, — ты ведь постоянно шутишь со мной. Каким образом могло бы мне и моему народу прийти в голову причинить вам вред? Как могли бы орлы, несмотря на всю свою отвагу, возмечтать о том, чтобы восстать против молний и землетрясений? Прошу тебя, не шути со мной так.

Он сказал это вполне спокойно и искренне, но с легкой насмешкой, а Писарро увидел в этом доказательство его коварства; он произнес это на нашем языке, на котором в течение долгих месяцев своего заключения, находясь в сношении с Сото, со мной и с другими рыцарями, он лучше научился говорить, нежели я или кто другой из нас на его языке.

— Разве я не беззащитен в твоих руках? — продолжал он своим тихим, вдумчивым голосом. — Разве мог бы я питать те замыслы, что ты мне приписываешь, когда при их осуществлении я же и пал бы первой жертвой? Ты плохо знаешь мой народ, если воображаешь, что он способен поднять восстание без моего приказа, когда в моем царстве и птица не осмелится полететь без моей воли.

Этот удивительный пример кичливости, трагически наивной в настоящем положении, неволью привел нас в смешливое

настроение, а его приближенные безмолвно упали на колени. Здесь еще раз подтвердилось мое наблюдение, что Инка почитался своими подданными больше, чем другой государь на земле; его власть простиралась на самые сокровенные поступки, даже на мысли каждого из них. Ему должно было казаться, что все законы, управляющие жизнью человечества, потеряли свою силу, что нарушены все законы природы и весь естественный порядок вещей, если он мог быть брошен на произвол горсти чужеземцев, тех злобных призраков, какими мы ему представлялись, — он, без чьей воли ни одна птица не смела полететь в его царстве.

Генерал дал понять Атауальпе, что будет иметь суждение относительно его участи, и оставил помещение.

Ночью Эрнандо Сото получил приказание выехать с пятьюдесятью всадниками в горы на разведку. Не могло быть никаких сомнений, что это было придумано с целью удалить его на ближайшие дни из Кахамарки. Но не подчиниться приказу начальника он не мог. И Сото уехал во главе своего отряда, мучаясь предчувствиями.

## 18

Теперь я хочу рассказать в самых коротких словах, как был вынесен Инке смертный приговор.

В девятом часу утра генерал пригласил в дом Инки на совещание дона Альмагро, дона Рикельме, Андреса де ла Торре и Алонсо де Молина.

Сам Инка сидел в первом зале молча, окруженный своими приближенными и женами, а в некотором отдалении располагалась колымажка его стража.

В десятом часу в зале появился Алонсо де Молина и позвал Инку. Те же лица, которые только что участвовали в обсуждении вопроса, можно ли возбудить обвинение, выступили в роли судей. Некто Антон де Каррион, беглый студент, был назначен защитником.

Главным свидетелем обвинения выступил Фелипильо. Показания его были занесены в протокол, причем судьи не дали себе труда произвести какое-нибудь расследование в целях проверки этих заявлений. Генерал предложил лишь Фелипилю присягнуть на распятии — и он принес присягу.

Атауальпа стоял перед судом безмолвно, подобный бронзовой статуе; оправдываться он стыдился.

Показания свидетелей-перуанцев, выслушанные судьями в фальсифицированном переводе Фелипильо, по-видимому, подтверждали все то, что судьям хотелось.

Атауальпу признали виновным, и был вынесен приговор, что он подлежит сожжению живым на главной площади Кахамарки вечером того же дня.

## 19

Подозрительная торопливость, проявленная генералом, объясняется тем, что он боялся больше всего возвращения Эрпандо де Сото, хотя мне так и не удалось себе уяснить, почему это так его тревожило. Правда, Сото отличался твердым и честным характером и принадлежал к влиятельному, могущественному роду; но, кроме неудач и смерти, чего еще мог бояться Франсиско Писарро?

Считаться с моей ничтожной особой у него не было никаких оснований, хотя он, быть может, и знал мои взгляды на это дело; правда, я не льстил ему, подобно окружавшим его краспобаям, и не мог заставить себя превозносить каждый его поступок, но самой природой я был обречен на роль молчаливого зрителя: я заика, заикаюсь и сейчас, в ту пору слово давалось мне с большим трудом, чем в настоящее время. Притом все, что я видел, прежде чем достигнуть моего сознания, должно было осветиться в глубине сердца.

В этом выступлении против Инки желательно было заручиться ясно выраженным одобрением патера Вальверде. Монаху предъявили приговор для подписи. Я присутствовал при том, как он читал этот документ. Глаза монаха неуверенно бегали по страницам, он проставил под документом свое имя рядом с начертанными генералом тремя крестами и сказал с мрачным спокойствием:

— Он должен умереть.

Тридцать лет промчалось с того дня, и можно было бы ожидать, что картина эта потускнеет. Однако она не потускнела. Напротив, все лица, все краски так же отчетливо, так же ярко встают передо мной, каждое слово с прежней болью отзывается в моем сердце. Да и что могут значить тридцать лет? Протекут триста, протекут три тысячи лет, покроют прошлое прахом и илом, а это ужасное дело не изгладится из неумолимой памяти человечества, как не изгладилось оно из моей. В этом я убедился в годы моего затворничества.

Атауальпа удалился из зала суда, а немного спустя он велел просить генерала отсрочить казнь до следующего утра, так как он хотел умереть перед лицом восходящего солнца. Дов Альмагро и некоторые другие возражали, однако генерал согласился на просьбу Атауальпы. Вместе с тем он принял все возможные меры предосторожности на случай нападения перуанцев, которые в самую последнюю минуту могли отважиться на попытку спасти своего царя. За несколько последних дней замечалось какое-то необычайное движение на больших дорогах и в горных долинах. Ввиду этого был отдан приказ усилить караулы и зарядить полевые орудия.

Не один я был настроен против смертного приговора; в нашем стане у меня были единомышленники, и притом не такие молчаливые, как я. Они отвергали улики, на которых суд основал свое решение, признавая их необидительными либо недостоверными, и, кроме того, отрицали компетентность подобного суда над царствующим государем на территории его же государства. Но у огромного большинства наших людей их доводы ничего не вызвали, кроме раздражения, и опять вспыхнули ссоры, на площадях и улицах снова раздались бешеные крики и зазвенело оружие.

Инка осведомился у меня, что означает весь этот шум. У меня не хватило духу открыть ему правду. Он сидел посередине комнаты на корточках, с оковами на ногах. После оглашения приговора враги сочли нужным столь унижительным способом стеснить его свободу. Кругом, как безмолвные призраки, сидели его приближенные. Он, видимо, испытывал беспокойство, время от времени он поднимал голову, словно что-то высматривая. Уже под вечер вошел гонец, что-то невнятно прошептал, растянулся ничком на полу и застыл в таком положении. Через час появился другой гонец, еще через час — третий. Они, очевидно, сообщали о поручении, исполнение которого Инка принимал очень близко к сердцу, потому что с каждым новым таинственным докладом царь постепенно успокаивался и лицо его прояснялось. Инка ожидал прибытия своих предков. В этом и заключалась причина того движения, какое мы наблюдали в стране за последние несколько дней. В предвидении, в ясном предчувствии своей участи, Атауальпа уже за много дней до этого дал знать в великий храм Солица



в Куско, чтобы его умершие предки пришли к нему, так как сам он был лишен возможности прибыть к ним и справить по себе тризну, как это делал каждый Инка, когда чувствовал приближение смерти. Для них расчищались дороги, к их встрече готовился народ во всей стране.

## 21

В шестом часу Атауальпа выразил желание переговорить с генералом.

Писарро явился, сопровождаемый своим братом Педро и угрюмым доном Альмагро.

Несколько времени Атауальпа растерянно глядел перед собой; затем он внезапно поднялся и воскликнул:

— Что я сделал, что сделали мои дети, за что меня должна постигнуть такая участь, да еще из твоих рук? Неужели ты забыл, с каким добросердечием и с какой доверчивостью отнесся к тебе народ мой? А я сам, неужели я недостаточно доказал тебе мои дружеские чувства?

Генерал молчал.

И тут Атауальпа, этот гордый из гордых, сложил руки и стал умолять о даровании ему жизни. Говорил тихо-тихо, сжимая губы, с поникшей головой, с погасшим взором. Его слов я уже не помню, только облик его стоит передо мною как живой — неизгладимый и незабвенный. Многие утверждали, будто Франсиско Писарро был так растроган, что не мог сдержать слез. «Я сам, — говорит его брат Педро в одном письме, — видел, как генерал плакал».

Что касается меня, то я не видел ничего подобного. Ведь Инка не нашел у него отклика. Кто растроган и плачет, тот, надо полагать, сознает свою неправоту. А я не видел ничего подобного.

Когда Атауальпа убедился, что бессилён поколебать решение генерала, его охватил мучительный стыд за свое самоунижение. Он сложил руки крестом на груди и погрузился в глубокую думу.

## 22

Томительное молчание тянулось довольно долго. Потом Атауальпа неожиданно обратился ко мне и сказал на своем ломаном испанском языке, что он слышал об удивительном

искусстве письма, которым мы владеем, и хотел бы видеть, как мы это делаем.

Я осведомился у него, чего, собственно, он желает; тогда он попросил, чтобы я написал какое-нибудь слово на ногте его большого пальца, и пусть мои товарищи прочтут написанное и каждый скажет ему потихоньку — так, чтобы ему одному было слышно, что именно я написал. Если все назовут ему одно и то же слово, в таком случае у него не будет сомнений, что мы действительно владеем этим искусством.

И не сразу сообразил, как мне исполнить его затею, казалось бы так мало отвечавшую моменту и обстоятельствам. Впрочем, моя нерешительность была непродолжительна. Отцепив с одежды булавку, я кольнул себя острием в тыльную сторону руки и не без труда, хотя настолько четко, что прочесть было можно, написал кровью на ногте Инки слово Сгух (крест). Затем я попросил рыцарей подойти. Они повиновались, одни с ропотом, другие со смехом, и каждый, прочитав написанное слово, тихонько шепнул Атауальпе на ухо: Сгух. Он был чрезвычайно поражен, и так как все, без запинки, назвали ему одно и то же слово, то он наглядно убедился в таинственном могуществе письма.

Один только генерал не покидал своего места: Франсиско Писарро не умел ни читать, ни писать. Хоть это и было известно многим из нас, ему было досадно, что его уличили в неграмотности перед его офицерами, а также перед Инкой, — и он насупился. Сообразив, в чем дело, и желая с удивительной деликатностью сгладить неловкость, Атауальпа, улыбаясь, сказал генералу:

— Без сомнения, ты уже знал наперед, что тут написано. Написано: Сгух. Ты бог среди своих земляков, и тебе не было нужды удостовериться в этом своими глазами.

— Я не бог. И что ты знаешь о боге, язычник! — бросил ему с гневным пренебрежением Писарро, не поверивший искренности Инки.

— О вашем боге я знаю мало, но много знаю о своем, — был кроткий ответ. — Вашего бога видеть нельзя, а мой ходит по небу и всякий день приветствует своих детей.

Покачивая головой, генерал отвечал почти сострадательным тоном:

— Несчастный, существует только один бог, и для тебя было бы лучше, если бы ты обратил к нему свои молитвы.

— Как можешь ты утверждать с такой уверенностью, что твой бог — настоящий и единственный бог? — спросил Инка

со спокойным достоинством. — И как могу я в него поверить, когда он допускает, чтобы вы убивали невинных, — вы, вечно толкующие о его любви и милосердии?

Генерал промолчал и отошел от него.

## 23

За час до полуночи в мою комнату вошел рыцарь Гарсиа де Херес и доложил мне, что в большом зале готовится нечто необычайное и нам нужно быть начеку. Он сам толком не знал, что его побудило обратиться ко мне. Просто он растерялся или поддался чувству безотчетного страха; по крайней мере, когда я приступил к нему с расспросами, он только и мог сказать, что Инка сидит в совершенном одиночестве за длинным столом, сидит, не шевелясь, посередине стола, за которым для кого-то приготовлены двадцать четыре свободных места.

Весь прошедший день я чувствовал недомогание и рано ушелся на покой; несмотря на это, я встал, наскоро оделся и вышел.

На площади горели смоляные плашки; при их зловещем освещении наши люди складывали костер. Большой зал освещался факелами, и там я действительно увидел, как и описывал Гарсиа, что Инка сидит посередине большого стола в застывшей позе, а направо и налево от него поставлено по двенадцати золотых тарелок. Позади каждого из намеченных мест, так же как и за стулом самого Инки, стоят слуги, и все они держат в руках блюда со всевозможными кушаньями; всего было двадцать пять слуг, они тоже застыли без движения, а позади них стояли в таком же оцепенении и так же безмолвно приближенные и молодые жены Атауальпы.

К такому зрелищу я вовсе не был подготовлен. В сказках приходится читать, как по слову злого волшебника целое собрание людей в один миг превращается в камни, — вот о чем мне напомнила картина, представившаяся моим глазам; прибавьте к этому зловещий час и зловещее место. Мы с Гарсиа в замешательстве смотрели друг на друга.

Тем временем Кривоваль де Перральта, начальник над городскими караулами, также обративший внимание на загадочные приготовления пленного государя, отправился доложить генералу о том, что происходит в зале. Писарро в эту ночь пригласил к себе кое-кого из друзей на ужин, и Кривоваль застал их за вином в буйном веселье. Рассказ его был встречен

грубыми шутками, но затем генерал, бдительность которого была неусыпна, сказал, что нужно будет сходить туда и взглянуть, что означает это зрелище. Генерал вышел, а за ним и дон Альмагро, дон Рикельме, де ла Торре, Алонсо де Молина, Крестоваль де Перральта и оба его брата. Почти одновременно на другой стороне площади показался патер Вальверде, — он медленно выступал, читая свой молитвенник, и все время, пока происходили последующие события, стоял как немой страж, как изваяние между костром и ступенями колоннады.

## 24

Рыцари, к которым присоединились и мы с Гарсиа, теснились на одном конце зала; я думаю, даже и отважнейшие из них оробели, когда увидели окаменевшие фигуры перуанцев. Вдруг веки Атауальпы поднялись: по-видимому, он тут только заметил нас. Взгляд его сверкнул, как огненный луч; я принужден был отвести глаза в сторону, и мой взор остановился на покрасневших мясистых ушах генерала, стоявшего прямо передо мной. Атауальпа поднялся, его полная достоинства статная фигура была невыразимо прекрасна. Багровые отблески факелов пробегали по его смуглому лицу. В алой одежде, облегавшей его стройное тело, царь казался каким-то огненным призраком.

— Люди, скажите же мне, откуда вы пришли? — начал он тихо и задумчиво. — Где та земля, которую вы называете своей родиной? Скажите мне, какова она и как можете вы жить в этой стране — без солнца?

— Как так без солнца? — спросил Андрес де ла Торре с удивлением. — Уж не воображаешь ли ты, что у нас господствует вечный мрак?

— Я принужден так думать, потому что вы объявили войну солнцу, — отвечал Атауальпа.

— Стало быть, ты и солнце — одно и то же? — вскричал с издевкой дон Альмагро.

— Да, уже много тысяч лет, — подтвердил Инка, — и мои предки и я, с той самой поры, как маис растет в этой стране.

Воцарилась такая тишина, что стало слышно, как на площади патер Вальверде бормочет молитвы.

— Мои предки придут, — таинственно проговорил затем Атауальпа, — они не обратились в прах, они придут и будут меня приветствовать.

Все смотрели на него в изумлении.

— Однако вы ничего мне не отвечаете, — продолжал он и оглядел всех. — Почему же вы молчите на мой вопрос? То же ли солнце светит у вас? Нет, вы заблуждаетесь, у вас должно быть другое солнце. Как же не гневается оно, когда вы разрушаете драгоценности, созданные прилежным искусством ремесленников? Как же оно не затмевается, когда вы касаетесь жен, посвященных божеству? Что у вас за законы, что за обычаи? Есть ли у вас лица, к которым нельзя прикоснуться? Есть ли для вас что-нибудь неприкосновенное — у вас, чьи руки ни перед чем не опускаются и посягают на все?

Прижав к груди локти, он протянул вперед руки как две чаши, словно желая принять в них наш ответ. Но ответа не было.

Наступила такая бездыханная тишина, точно появилось привидение.

— Мне хотелось разгадать, что дает вам такое могущество, — продолжал он задумчиво, с поникшей головой, — и думаю, что я разрешил эту загадку. Все дело в золоте. Золото дает вам смелость посягать на все вещи и все вещи присваивать себе. А захватывая вещи, вы в то же время разрушаете образ каждой вещи. Золото перерождает ваши души, золото — ваш бог, ваш спаситель, как вы его называете, и кто владеет куском золота, тот неуязвим, тот воображает, что владеет солнцем, потому что другого солнца он не знает. Теперь это мне совершенно ясно, и мне жаль вас, не знающих солнца.

Генерал гневно обернулся; дон Альмагро с угрозой поднял руку; ропот пробежал в толпе рыцарей. На площади патер Вальверде приказал солдатам, чтобы они начали разжигать костер. Но тут произошло нечто, что до конца моих дней не изгладится из моей души, — нечто таинственное и страшное.

## 25

Едва на востоке показался первый румянец зари, как мы увидели длинное шествие перуанцев, которое двигалось по дороге в Кахамарку и приближалось к главной площади. Посреди шествия возвышались над толпой двадцать четыре неподвижные фигуры на таком же числе стульев, и каждый из стульев, выкованных, как мы вскоре убедились, из золота, несли на плечах, как раньше трон Инки, восемь воинов. Каждая фигура была облачена в драгоценнейшие одежды, и их было двенадцать мужчин и двенадцать женщин — все мертвые.

Они, предки Атауальпы, явились из гробниц, где одни из них покоились десятки лет, другие дольше — целые столетия.

Когда торжественная процессия, продвигаясь почти неслышно, подошла вплотную к трем ступеням, ведущим во дворец, люди, которые несли мертвецов, выступили вперед, вошли вместе с тронами в зал, приблизились к столу и опустили троны на предназначенные места: мужчин по правую руку от Инки, женщин — по левую.

На верхнем конце стола они установили огромное золотое солнце; поблескивая в дрожащих отсветах факелов и плошек, а также в пламени начинавшего уже разгораться огромного костра, оно разливало смутный свет.

Тут Атауальпа начал брать с блюд яства, делая вид, что ест; каждой мумии тоже положили еду на золотую тарелку, и это также делалось для виду. В своих царских одеяниях, с чуть наклоненными головами, с волосами цвета воронова крыла или серебристо-белыми — смотря по возрасту, в каком предки скончались, — трупы производили обманчивое впечатление живых людей, и это впечатление усиливалось благодаря резкому освещению разнообразных огней и розовой заре, все ярче разгоравшейся на востоке.

Лица моих товарищей выражали вначале робость и благоговение, но золотые троны и златотканые одежды, драгоценности, в особенности золотое солнце, пробудили их ненасытную алчность, их ничем не утолимый голод; их била лихорадка: такое невообразимое обилие сокровищ помрачило их разум.

Со всех сторон сбегалась стража, толпами мчались солдаты; их глаза выражали восторг и ужас, алчность и страх. И во мне тоже вспыхнуло мучительное вожделение, но из-за омерзительной двойственности ощущений — похоти и отвращения, алчности и страха, вида золота и вида смерти — мое сознание помутилось.

Я еще видел, как толпа солдат устремила к золотым тронам и была отброшена назад рыцарями; видел, как Инка низко склонился перед своими предками, и примеру царя последовали знатные люди, и как затем, когда засверкал первый луч солнца, Инка, окинув толпу скорбно-недоумевающим взглядом, с ясной улыбкой двинулся к месту казни; я слышал глухо доносившиеся увещания монаха и монотонные голоса столпившихся вокруг костра рыцарей, читавших «Credo» («Верую»), но затем меня окружил благодетельный мрак, и сознание меня покинуло на много дней.

Протекло еще немало времени, прежде чем я приучился к самоуглублению и смиренному созерцанию человеческих дел. Я чувствую, что не в силах описать несчастья и разрушения, какие еще после того совершались на моих глазах, злодеяния, в каких я и сам еще принимал участие, хотя дух мой уже восставал против них.

Мучительно погрязать в грехах и тосковать по святине, но душа при этом смягчается. От смутного прозрения она переходит к познанию, от душевной косности — к жаркому порыву.

Однажды, когда я бродил по развалинам сожженного города, заглядывая в помертвевшие глаза людей — братьев, я услышал голос, повелевавший мне молчать и ожидать.

В другой раз, наткнувшись в Кордильерах на толпу умирающих детей, которых голод и ужас выгнали из разоренных сел в пустынную степь, я заплакал, ибо задумался о том, чем стал человек и чем он мог бы быть.

Я видел смерть во всех образах, в каких она появляется на земле. Я видел кончину друзей, падение вождей, гибель народов, непостоянство счастья и суетность надежды. Я внаую горечь осадка в каждом напитке и яд, скрытый во всяком ястве. Я страдал при виде людских раздоров и безумия даже наиболее просвещенных людей и безжалостного равнодушия, с каким проносится время на этой изнемогающей земле. Я постиг ничтожество всякого владения и вечность всякого бытия. И меня влечет в другой, более чистый, более благородный мир, согреваемый жаркими лучами прекрасного солнца. А тот мир, где я живу, вероятно, отвергнут богом.

# Генрих Манн



## ДЕЛО ЧЕСТИ

### 1



ыло два часа ночи, и приятели успели уже неоднократно приложиться ко всему, что мог предложить им Лукас Больс, как вдруг ни с того ни с сего вспыхнула ссора. Зиберт непочтительно отозвался об одной даме, о которой никто иначе и не отзывался. По этому случаю у них с Михельсеном завязалась



драка. Михельсон плюнул на пол — как раз туда, где находилось лицо Зиберта. Остальные, с упорством пьяных, потребивших слишком много ликеров, стали уверять Зиберта, что ему нанесено оскорбление, и не успокоились до тех пор, пока он и сам этого не восчувствовал. Противники рвались в бой, и бар закрыли раньше времени.

На улице, после жарких препирательств, трое друзей, не причастных к драке, пришли к заключению, что только дуэль может восстановить поруганную честь. Зиберт и Михельсон жаждали крови. Когда же их благополучно розняли, Макс Визе, привалившись к стене какого-то дома и поминутно икая, ударился в философию. Трудно требовать, заявил он, чтобы один культурный человек зарезал другого. Поэтому в отношении таких высокоразвитых личностей, как Михельсон и Зиберт, речь может идти только об американской дуэли.

Доктор Либбенев вступился было за романтику холодного оружия. Но так как он споткнулся о водосток и упал, то его выступление прошло незамеченным.

В кафе все чинно, гуськом проследовали друг за другом в бильярдную. Самый большой носовой платок оказался у Леопольда Визе; он завязал по углам узелки, превратив его в своего рода мешочек, и они с Брандом принялись над ним колдовать, между тем как доктор Либбенев, навалившись сверху, закрывал их локтями и кричал Михельсону: «Не подсматривать!»

Зиберту понадобилось на минуту выйти. Как только все было готово, Бранд побежал за ним, но тут же вернулся и объявил, что Зиберт еще не может. Михельсон курил, держался очень прямо и, не отрываясь, смотрел на дверь. Когда Зиберт наконец вернулся, бледный как полотно, с кислой гримасой и влажными следами на лице и одежде, протвник окинул его насмешливым взглядом. Зиберт ответил ему по возможности гордым взглядом и потребовал коньяку. Приятели поднесли ему мешочек. Он запустил правую руку в мешочек, а левой поднес ко рту рюмку. И тут он увидел в руке у Михельсона светлый шар, а у себя в руке — темный, и услышал, как Либбенев говорил, что ему выпал темный жребий. И тогда, довольный, что его больше не тревожат, он осушил свою рюмку.

Время близилось к полудню, когда Зиберт проснулся и стал припоминать, с чего бы это у него такая адская головная боль. Постепенно в памяти всплыл Болъс, и вдруг ему пришло в голову, что он ни более, ни менее как приговорен к смерти. Он оцепенел от ужаса, но сразу же решил: «Вадор какой! — И тут же: — Это, разумеется, шутка, все и думать забыли об этой истории».

Впрочем, как знать... «И надо же найти такой идиотский повод, как эта корова Мелани. С чего вдруг Михельсону вдумалось за нее заступаться? Вот что значит напиться до потери сознания. Я его слегка пристыжу, напому ему, как он вел себя. А если он, несмотря ни на что, будет делать вид, что произошло что-то серьезное, значит, он просто варвар, необразованный человек, и нечего обращать на него внимание. Но уж на сегодняшнюю премьеру он, конечно, явится. Во всяком случае, он обязан вернуть мне эти шесть марок за билет».

Слегка обеспокоенный, Зиберт вышел на улицу. Он чувствовал, что надо повидать Михельсона, посмотреть ему в лицо, выяснить насчет шести марок и всего остального. В ресторане ни Михельсона, ни кого другого из вчерашней компании он уже не застал, хотя не было еще и часа. Это на них не похоже! И как ни старался Зиберт и виду не показать перед знакомыми, которых он там встретил, что-то не давало ему покоя. Неотступно гвоздила мысль: «А что бы они сказали, если б до них дошла эта история? Я в чертовски странном положении!»

Погруженный в свои мысли, отправился он по своим делам. Издали ему показалось, будто из конторы «Литцман и сыновья» выглянул Макс Визе, но как-то подозрительно быстро скрылся. Зиберт не знал, что и думать, но когда Бранд, явно избегая его, тут же свернул в переулок, сомнений больше не оставалось. Час от часу не легче! Зиберт несколько раз прошел мимо дома Михельсона и наконец заставил себя войти. Первое, что он услышал, был голос Михельсона, разговаривавшего по телефону. Однако приказчик сказал, что хозяина нет. Зиберт попытался иронически улыбнуться, но улыбка получилась какая-то вымученная.

На улице у него слегка закружилась голова. «Чего только не бывает с человеком! Не понимаю, что смотрит полиция!» Повинуясь какому-то смутному чувству, он повернул домой. И, заперев за собой дверь, так и остался стоять на пороге, не снимая шляпы. «С ума они все посходили, что ли? — вос-

кликнул он. — Обращаться с человеком так, словно он и в самом деле уже сыграл в ящик! Черт знает что такое!» В приступе внезапного бешенства он затапал ногами, как в тех случаях, когда ему особенно не везло на бирже.

Но разрядка сменилась полным унынием. Вдруг ему вспомнилось, что Михельсон служил в полку младшим фельдфебелем. «Это обычно не проходит даром. Встречаясь с таким субъектом, думаешь, что имеешь дело с образованным человеком, и вдруг оказывается, что это форменный дикарь. И, на беду, у него столько свидетелей! А то бы я мог сказать, что все это чистейшее вранье или что темный шар вытащил не я, а он. Да мало ли что! Я мог бы от всего отпереться!»

Он долго стонал, ругая себя за то, что смалодушничал: как он допустил, чтобы его впутали в эту дуэль! «Теперь они требуют, чтобы я наложил на себя руки. А попробуй я увильнуть, пойдут звонить по всему городу. Нет, это тоже никуда не годится!»

Зиберт уже видел, как друзья разбегаются при его появлении, как знакомые поворачиваются к нему спиной, а дамы насмешливо шушукуются. С последним было особенно трудно примириться, и он, ломая руки, заматался по комнате.

«Итак, это неизбежно! Думал ли я, что когда-нибудь решусь на такое! Но эти люди неумолимы. Вот как познаются друзья. Они не успокоятся, пока не увидят меня мертвым! Вот до чего мы дошли! Странно, похоже, что меня уже обступила мертвая тишина!»

Он подошел к зеркалу и с глубоким участием посмотрел на жертву человеческой глупости. Из зеркала глядели на него ясные, невинные глаза. Что-то сжало ему горло, и он улыбнулся своему отражению со страдальческой покорностью.

«А ведь это должно действовать, особенно на прекрасный пол. Далеко не всякий поступит так порядочно. Завтра же пойду к Литцманам. Последний раз в котильоне Викки потешалась надо мной, когда я ляпнул что-то несуразное. Надо внушить этой девчонке, что я не какой-нибудь дурачок, а, наоборот, трагическая личность!»

Он начал придумывать, что будет делать на третий день (уж три-то дня ему полагается во всяком случае!). Не закатить ли шикарный ужин только для себя одного? С несварением желудка считаться уже нечего, он может позволить себе съесть столько салата из крабов и выпить столько шабли, сколько душа захочет. Было бы глупо не воспользоваться таким случаем. Но он тут же отогнал эту мысль, как несовместимую с его благородной участью.

«Нет, Гуго, это ты неудачно придумал. Лучше по возможности совсем не пить. Бледность мне очень к лицу».

Он выбрал галстук под цвет лица и, наняв открытый экипаж, объехал весь город, чтобы проститься с миром. Теперь он чувствовал, насколько он выше всего окружающего. Огромные фабрики на окраинах уже не производили на него особенного впечатления, зато волновала жизнь, бурлившая вокруг. Он подумал о Михельсоне, но даже Михельсон его уже не трогал.

Вечером на премьере (место Михельсона рядом с ним пустовало) он говорил всем, что такой ерундистикой, как эта пьеса, могут интересоваться только дети. Так как голос его звучал приглушенно и он ангельски улыбался, его спросили, не болен ли он.

— О, это скоро пройдет, — отвечал он мягко.

Потом в большой компании он кочевал из ресторана в ресторан, однако оставался трезвым и с высоты своего нравственного величия наблюдал недостойное поведение других. А ночью, растянувшись на своем ложе и ощущая его особую, первозданную чистоту, умиленно любовался собой и своим безупречным поведением.

Весь следующий день он проскучал. «Как, однако, я внутренне отделился от людей!» Вечером, войдя к Литцманам, он увидел, как Михельсон вдрогнул. «Бедняга не ожидал, что я приду, он и не подозревал во мне такой силы воли!»

Бранд, Макс Визе и Либбенов подали ему руку, но постарались как можно скорее ее отдернуть. Зиберт мягко и проникновенно посмотрел им в глаза. Отвечая в который уже раз на вопрос о здоровье: «Скоро и с этим будет покончено», он встретился глазами с Михельсоном, и тот не выдержал — скрылся. Впрочем, Зиберт еще несколько раз видел его. Михельсон явно прислушивался к его словам, а особенно к тому, что он говорил Викки Литцман:

— Думали ли вы, сударыня, что у человека, быть может, на душе кошки скребут, — я знаю таких людей. Каждому суждено умереть в свой час.

— До чего же вы наивны! — заметила в ответ молодая особа.

«Экая ты дура! — подумал Зиберт. — Михельсон не улыбается, он знает, как это серьезно».

Фрау Клэр Фихте тоже не улыбалась.

— Вы глубокая натура, — промоявила она. — О, как недостает нам глубины в наш пустой и легкомысленный век!

С этими словами она пододвинула поближе стульчик для Зиберта. Это была холеная женщина лет тридцати и всеуж не такая доступная.

Вскоре Зиберт с огорчением почувствовал, как исчезает его интересная бледность. Но фрау Фихте оставалась по-прежнему благосклонной. Позднее, — опьяненный не столько вином, сколько фрау Фихте, — он произнес речь, где попадались выражения вроде: «Радуйся, живущий под солнцем!» и «Mortui te salutant»<sup>1</sup>. При этом он смотрел на фрау Фихте, которая явно не понимала по-латыни и приятно улыбалась, и на Михельсона, который от смущения опрокинул свой бокал.

Наступил третий день. «Пожалуй, он будет самый тяжелый, — подумал Зиберт еще утром в постели и почувствовал резь в животе. — И все же неизбежное должно свершиться, но прежде нужно еще кое-что сделать».

Зиберт остался дома и занялся завещанием. В таком положении особенно чувствуешь, кто тебе дорог. Неожиданно он воспылал нежностью к Михельсону. «Бедный малый, вчера ему действительно не повезло... Что ни говори, а обреченные на смерть производят куда более выгодное впечатление». И он завещал Михельсону дюжину новейших лондонских галстуков. «Если бы я был тяжело болен и мне предстояло умереть этак месяца через три, он не знал бы потом, куда девать эти галстуки. Но поскольку это случится уже сегодня... Так что все имеет свою хорошую сторону».

Когда приготовления были закончены, возник вопрос: «А не поужинать ли напоследок? Ах, к чему это... Ну, а если я все-таки голоден!» Он почувствовал, что неплохо было бы не один еще раз иметь возможность основательно поужинать. «Такой здоровый человек, и вдруг нате вам — извольте убираться! Нет, это немислимо. Во всяком случае, я не создан для этого. Да и стреляет ли еще мой револьвер! Попробуй испытать его здесь, в городе, как раз угодишь в полицию. А если он еще ненароком выстрелит... Как легко изувечить себя на всю жизнь! Вчера старик Литцман был особенно со мной мил, да и зазорные выходки Вики можно тоже истолковать скорее в хорошую сторону. С такими перспективами грешно валять дурака. Да и вообще, если бы я серьезно думал умереть, я б, вероятно, боялся гораздо больше. А уж Михельсону как было бы неприятно! Вот кто празднует труса, я вам скажу! Но так ему и надо!»

---

<sup>1</sup> Обреченные на смерть приветствуют тебя! (лат.)

И Зиберту захотелось еще немного помучить Михельсона. Он решил бесследно исчезнуть, — пусть думают, что он умер.

В радужном настроении принялся он укладывать вещи. Но тут принесли записку от фрау Фихте, — сегодня вечером она ждет его к себе. «Она спешит, — подумал он. — Впрочем, и я тоже».

«Ночной поезд я еще захвачу», — рассчитал Зиберт и помялся на зов. Садясь в пролетку, он увидел Михельсона, бродившего поблизости от его дома. Когда же, осчастливленный, он возвращался от фрау Фихте, Михельсон все еще продолжал мерить улицы, — все те же двадцать шагов взад и вперед.

«Ждет небось, когда раздастся выстрел, — подумал Зиберт, неприятно задетый. — Ну можно ли быть таким кровожадным!» Он отправил вещи вниз, попросив пронести их через ресторан, а сам воспользовался боковым выходом. Прежде чем сесть в пролетку, он выглянул из-за угла и убедился, что Михельсон по-прежнему караулит у главного входа.

Забравшись в купе, Зиберт потирал от удовольствия руки: как здорово он всех разыграл.

«Первое время, — думал он, — имя мое будет окружено романтическим ореолом, Викки еще поплачет обо мне. Клэр, я думаю, и не заикнется, что видела меня живехоньким. Но самый большой эффект будет, когда я вернусь. А если кто останется недоволен и потребует, чтобы я и в самом деле умер, тому я прямо скажу: «Не смешите меня!» И он еще раз повторил о удовольствии: «Бедняга Михельсон».

### 3

Какое-то чувство неловкости помешало Михельсону в первый же день объяснить своему противнику, что он предпочел бы видеть его живым. Как фельдфебель, он считал, что это ему не к лицу; как человек, опасался проявить большую тревогу, чем сама жертва, — чего доброго, еще прослышешь мямлей. В полном замешательстве, он старался избегать Зиберта, говоря себе, что ведь не окончательный же тот болван. Впрочем, кто его знает! Ожидания и сомнения так измучили его к концу второго дня, что бестрепетный Зиберт, стоически приготовившийся умереть, оказался у Литцманов в куда более выгодном положении, чем его противник.

Успех Зиберта пришелся Михельсону не по душе, и он уже не без злорадства думал о предстоящем самоубийстве, но в то же время пугался всего, что о нем напоминало.

На третий день у него начался понос, и он был не в состоянии работать. Подавленный и несчастный, он вел сам с собой укоризненные разговоры, неизменно кончая их словами: «Ведь надо же быть таким отчаянным!» И в то время как Зиберт преисполнился нежностью к своему противнику и даже завещал ему свои галстуки, Михельсон его возненавидел. «Чтоб тебя автомобилем задавило! — думал он в сердцах. — По крайней мере ты не сможешь наложить на себя руки!»

Весь день Михельсона тянуло в те места, где он надеялся встретить Зиберта, пока еще живого и счастливого. Вместо этого он встречал то доктора Либбенова, то Макса Визе и поспешно уходил или отворачивался, чтобы дать им возможность улизнуть. Ибо с тех пор, как приятели вычеркнули Зиберта из числа живых, они не выносили общества друг друга.

Окольными путями, с помощью хитрых маневров, Михельсон дознался, что Зиберт засел дома. С этой минуты он все время торчал у его подъезда. Михельсона так и подмывало сбегать за полицией. Каждый удар колокола, каждый трамвайный звонок, каждый громкий окрик повергал его в трепет: «Вот оно, случилось!» Уставившись глазами в одну точку на тротуаре, он видел перед собой самые ужасные картины: Зиберт, задыхающийся под маской, пропитанной хлороформом; или Зиберт, висящий на ламповом крюке; или Зиберт, раскусивший динамитный патрон и валяющийся на полу мертвым, без головы.

Когда на улице вдруг собрался народ, Михельсон, охваченный ужасным предчувствием, со всех ног бросился к месту происшествия, раздвинул толпу и замер — он увидел кровь. Но оказалось, что переехали собаку. А в то время, как Михельсон мучился то стыдом, то страхом, Зиберт преспокойно наслаждался в обществе фрау Клэр Фихте. И только когда он возвратился от нее и благополучно уехал из города, злосчастный убийца осмелился наконец, с дрожью в сердце, позвонить у его дверей.

Звонок задребезжал неожиданно громко, но никто не открывал. Около получаса стоял Михельсон в темноте и каждые пять минут нажимал на кнопку. Ему казалось, что Зиберт слышит эти звонки в своих предсмертных судорогах, но уже не в силах ответить... А может быть, он тем временем успел умереть?..

Спотыкаясь в темноте, боясь, как бы его не поймали, спустился он по лестнице.

Пока были открыты рестораны, Михельсон переходил из одного в другой, тщетно стараясь оглушить себя спиртными

напитками. Три раза он наведывался к Большу, говоря себе: «Не так ли убийцу тянет к месту преступления?..»

Когда он наконец возвратился домой и захотел зажечь ночник над кроватью, лампа показалась ему на ощупь горячей. В ужасе Михельсон отдернул руку и застыл на месте. Постепенно привыкнув к темноте, он различил у своих ног какой-то неясный предмет. Зиберт! Он сделал это здесь, у него в доме!

Без памяти бросился он к лампе. Она была совершенно холодная. Михельсон зажег свет. На ковре ничего не было.

«О негодяй! Он, кажется, сведет меня с ума! — схватился за голову Михельсон. — Надо будет показаться Либбену...»

## СТЭРНИ

Герд Гёц Раков возвратился в 1918 году в Берлин во главе своей роты, совершенно сбитый с толку тем, что произошло. Лично себя он не считал побежденным, но поскольку все кругом посходили с ума, то и он, поддавшись общему настроению, решил временно исчезнуть. Вынырнув снова, он взял курс на крайне правую. Только она одна была в состоянии восстановить порядок в делах Германии и Герда Гёца Ракова. Дела обстояли неважно уже при его возвращении, а теперь пошли из рук вои плохо. Отцовская фирма ухитрилась упустить военную конъюнктуру; старик отстал от века, а потом он вдобавок еще умер. Герду Гёцу пришлось бы, живя долгами, содержать мать и сестру; он предпочел все продать и остался без гроша. Кто бы мог подумать!

Жить надо сообразно положению — или не жить совсем! Как это люди спекулируют? Спекулировали все, но никто не открывал секрета. Никакой возможности зацепиться! Оберлейтенант делал безуспешные попытки. Новичок — это видел каждый, — неопытный дилетант! А тут еще «национальное дело» терпит поражение за поражением, смена режима становится маловероятной. Лисси Лерхе, которой Герд Гёц твердил, что все это ненадолго, перестала ему верить.

С Лисси Лерхе он познакомился во время отпуска, тогда она служила манекенщицей в магазине на Хаусфогтейплац. Он хвалился, что устроил ее карьеру. Все сделали мундир и чин; стоило ему мигнуть — и ее начали снимать в кино, а он



тем временем вернулся на фронт и уже ни о чем не спрашивал. Спрашивать он начал, когда окончательно сел на мель. В несчастье ищешь по крайней мере верности.

В конце мая 1922 года между ними состоялось решительное объяснение. Он явился к Лисси на Бамбергерштрассе под вечер, когда она примеряла платье. Герда Гёца вдруг осенило. Слишком много платьев, и слишком они роскошные; трудно поверить, чтобы их оплачивала какая-нибудь кинофирма. Пока не ушла портниха, он сдерживался и подавал снисходительные реплики. Лисси, вся в ядовито-желтых блестках, золотоволосая, яркая, великолепная, вертелась между тремя зеркалами на своих обтянутых шелком стройных ножках и роняла накрашенным ротиком:

— Картинка! Сегодня я — женщина, о которой все говорят!

Едва они остались одни, он перешел на колкости. Ему точно известны ее истинные заработки в кино. Его не проведешь. Ведь откуда-то берутся деньги! Он это прекрасно понимает.

— Опять начинаешь? — не растерялась Лисси и сама перешла в наступление.

С такой шикарной женщиной, как она, надо быть щедрым либо уж помалкивать. Из-за нее он сбился с пути? Скажите пожалуйста! Раз-другой метнул банк, спекулировал кокаином — и даже тут прогорел.

— Сказать кому-нибудь, никто не поверит, что ты так глуп.

Куда девался милый ротик! Но так как она все-таки любила своего друга, то тут же похвалила его природные данные.

— Вагляни-ка на себя: фигура из модного журнала, морда надменная!

Во время нежнейшего примирения Лисси наконец убедила Герда Гёца, что он должен доверить ей свою судьбу. И не смей ревновать к ее знакомым, которые берутся ему помочь!

— На твою священную честь, глупыш, никто не покушается, — сказала она и похлопала его по щекам наманикюренными ручками. После чего они отправились на Мотцштрассе.

В баре «Павлин» выяснилось, что Лисси уже ждут — коренастый господин из породы бульдогов. Его звали Стэрни.

Герд Гёц, едва услышав это имя, вставил монокль. У Стэрни глаза налились кровью. Так и сидели они застыв, стараясь не глядеть друг на друга.

— Да что это с вами?

Ах, вот оно что! Стэрни был рядовым у Ракова, об этом они и вспомнили.

— Уж если я тебя знакомя с солидным человеком, который может быть тебе полезен, так наверняка в свое время ты засадил его в отхожее место.

— Отхожее место! — пробурчал Стэрни. — В сравнении с тем, куда засадил меня обер-лейтенант Раков, отхожее место сущий рай — не хуже этого бара, — и Стэрни обвел рукой зал, где они сидели: повсюду — искусственный цветной мрамор и освещенные изнутри, словно опаловые, столики.

— Вам, я вижу, это только на пользу, — решила Лисси.

Однако Стэрни без всякого удовольствия вспоминал о польской земле, особенно как по приказу обер-лейтенанта Ракова он целый день простоял по колено в снегу, привязанный к столбу.

— От этого всю жизнь сердце свербит.

На что Герд Гёц, в нос:

— Вы слишком дорожили своей драгоценной шкурой. Зато сейчас, кажется, преуспели в спекуляции.

Теперь уверенность зазвучала в тоне Стэрни:

— Я удачливый коммерсант. А кто сидит на бобах и злится, тот называет меня спекулянтом.

Чтобы как-нибудь спасти положение, Лисси приказала капельмейстеру играть шимми и танцевала с обоими. Затем кавалерам пришлось вместе выпить. Лисси тоже выпила, так ей было легче уладить задуманное. Стэрни должен предложить Герду Гёцу какое-нибудь выгодное дельце. В третьем или четвертом кабачке Стэрни, окончательно расчувствовавшись, прочавкал:

— Раков, выгодное дельце. Продайте мне Лисси!

Герд Гёц, разумеется, немедленно потребовал удовлетворения.

Лисси пришлось вмешаться, пока они наконец не условились встретиться у нее завтра, чтобы поговорить подробнее.

Первым явился Герд Гёц. Его беспокоило, не было ли у Стэрни какой-нибудь тайной цели, когда он согласился принять его в долю. Лисси возмутилась:

— Даю тебе честное слово, с этим человеком у меня никогда ничего не будет!

Герд Гёц пояснил:

— Мне было бы это особенно неприятно. Я ни на какие деньги не польщусь, если коснется...

Тут вошел Стэрни. Он сразу приступил к делу. У него кое-что есть для Ракова.

— По старой дружбе, — сказал он с наигранным простодушием и прикрыл глаза.

Дело, которое он имел в виду, — палка о двух концах. Стэрни ни за что не ручается. Но при удаче можно разбогатеть.

Герд Гёц прервал его:

— Если это затронет мою офицерскую честь...

— А уж это вам виднее, — заключил Стэрни.

Пропал радий, и в немалом количестве, но его можно разыскать. В свое время он был похищен в Румынии каким-то солдатом, который потом умер, затем его украл санитар, который не знал, что такое радий, прошел потом через десятки рук и теперь бесследно исчез. Стэрни назвал имена и адреса — те, что были ему известны. Сам он не располагает временем, чтобы все это распутать и целиком посвятить себя поискам.

— Предупреждаю вас честно, Раков, вам придется бегать высунув язык. К тому же вы будете попадать в самые рискованные положения.

— Это как раз по мне, — сказал Герд Гёц.

Он хотел приступить немедленно.

— Стоп, получите на расходы.

Стэрни выписал чек, после чего Герд Гёц удалился.

— Вы порядочнее, чем я думала, — сказала Лисси.

Стэрни язвительно ответил:

— Он бегаёт, а я сижу с вами.

— Только не питайте, пожалуйста, никаких надежд, — предупредила она деловито.

Но раз уж этот человек был здесь, она позволила ему оплатить ее новые туалеты.

— Сегодня я — женщина, о которой все говорят! — изрекла она в виде утешения.

А Герд Гёц бежал. По первому адресу он получил совершенно точные сведения о человеке, который своими глазами видел этот радий, с ним можно немедленно встретиться. Однако там ничего точно не знали, но все же снабдили Герда кое-какими указаниями. В другом доме — еще какими-то. Следуя этим указаниям, Герд Гёц то кружил на одном месте, то они уводили его в сторону. Он попадал к ростовщикам, к трактирщикам, к беднякам, пожитки которых перетряхивал под любым предлогом. Многие дамы соглашались похитить украденное у своих любовников, если Герд Гёц им хорошо заплатит. Ему было назначено анонимное свидание в Гамбурге, в кафе, и там в темном углу он действительно нашел в высшей степени подозрительного субъекта, с фальшивой бородой, который намекал, что у него самого имеется... Радий? Да. А потом у него вроде как опять ничего не было. Герд приходил трижды, пока наконец ему не показали

под столом какой-то сверток. Не успел он его схватить, как получил неожиданный удар в подбородок и упал.

Лисси Лерхе увидела его лишь много времени спустя. Лицо у Герда осунулось, глаза были как у безумного, и впервые он был одет не безупречно. Он говорил без умолку, рассказывал, что пережил больше, чем за всю войну. Наконец-то он держит в руках все нити. У него теперь обширные связи, с ним заговаривают даже незнакомые.

— Вот! Погляди на этот план, я дорого за него заплатил. Дом с внутренними дворами, здесь проходит канал, с самого края в облицовке один камень расшатан, тут-то он и лежит.

— Радий?

Герд Гёц кивнул с убежденностью фанатика.

— И должен найти этот дом. Никто не знает, где он.

— Да существует ли он вообще... а заодно и твой радий? — спросила Лисси.

Он не понял, а она не захотела объяснять подробнее. Ей было жаль Герда Гёда. Он даже не спрашивал больше о Стэрни, — а не мешало бы спросить.

Стэрни она заявила напрямик:

— Вы мошенник, ваш радий — ловушка.

— А хотя бы и так, — ответил он невозмутимо.

Это ошеломило ее.

— И вы смаете так говорить? Из-за вашей дурацкой выдумки Герд Гёц еще попадет в больницу!

— Нет, — ответил Стэрни и опустил веки, точно от усталости. — Не в больницу. Он должен попасть в тюрьму.

Стэрни открыл глаза, и тут Лисси, не зная, что и думать, увидела нечто ужасное. Она увидела ненависть; мутный, неукротимый поток ненависти лился из них — на погибель этому человеку, который дрожал, корчился, то краснел, то бледнел. Тяжело ворочая языком, Стэрни произнес:

— Он травил и унижал меня, а теперь я буду травить его, пока не прикончу. Он хотел моей смерти, а теперь сам умрет, — и схватился за сердце.

Лисси попыталась рассмеяться.

— Охота тебе волноваться, толстячок! Не будь смешон! — И она вымывающе закружилась перед ним.

Он ответил ей прямо, без обиняков:

— С вами, фрейлейн, я вначале сблизился, только чтобы добраться до него. Но вскоре придет и ваш черед. — И он схватил ее, вернее подхватил, так как она почти упала в его объятия, отчасти от страха, отчасти потому, что ее привлекала его

свирепость. Такого мужчины у нее еще не было! Она поклялась себе, что никогда не уступит ему, ни за что. Правда, она уже принимала от него столь ценные подарки, что это походило на аванс. Удастся ли ей выпутаться? Хоть бы Герд призвал ее к ответу! Это рассеяло бы чары. Но тот гонялся за призраками.

Стэрни вызвал его к себе.

— Раков,— сказал он напрямик,— вы должны забраться в чужой дом.

Хладнокровно наблюдал он, как возмутилась и напыжилась его жертва.

— Если вы слишком благородны для этого, дело ваше. Разумеется, я привлеку вас за растрату. Вы надули меня, выманили большой задаток.

Он позволил своей жертве, которая была на голову выше его ростом, еще немного побарахтаться, но она уже поддавалась. Герд Гёц хотел знать, что и как.

— Кто-то опередил нас,— объяснил Стэрни.— Капиталист, он хорошо заплатил. Это дельце может нам улыбнуться, если мы не...— И он сделал выразительный жест рукой.

— Ничего не попишешь,— прохрипел Герд Гёц: от жадности у него перехватило горло.

Тогда Стэрни показал ему фотографию.

— Это в Хундекеле. Особняк. Забраться очень легко. То, что вы ищете, находится в спальне. Сегодня ночью никого не будет дома.

Он указал еще, где будет ждать машина, которая понадобится Герду Гёцу. Его последние слова были: «Так, значит, в спальне».

Он отвратительно хихикнул; трудно было его понять. Но дверь уже захлопнулась.

Машина действительно ждала. Шофер стоял, отвернувшись; когда Герд Гёц подошел, он исчез. Герд Гёц поехал один и остановился на углу. Дом и в самом деле там, все сходится. В окнах темно. Герд Гёц подошел и сильно позвонил у ворот; потом быстро назад — в машину. Он подождал двадцать минут по часам, не случится ли что-нибудь. Люди могли испугаться и выйти не сразу. Одно окно в первом этаже было открыто; в комнату падал лунный свет. Кажется, там что-то шевелится? Аллея совершенно пустынна и достаточно широка, перед домом густо разросшиеся деревья. Но в вилле напротив еще горит свет. Теплая ночь полна ароматом акаций — как бы этот аромат не поднял кого-нибудь с постели. Герд Гёц соображал быстро и реши-

тельно, как перед ночной атакой. Серьезных препятствий незаметно. Самое опасное — лунный свет.

Садовую калитку он успел взломать под прикрытием тени. Но несё фасад постепенно осветился яркой луной, и вот, вместо того чтобы, держась в тени, вскарабкаться вверх, он одним махом вылетел на террасу. Точно рассчитанным движением выскочил в открытое окно. Глядя со стороны, можно было подумать, что просто человек возвращается домой, так ловко и уверенно он это проделал... Комната, куда он попал, была, как нарочно, спальней. Яркий свет луны словно вырывал из темноты широкую кровать. С другой стороны... Ого! Оружие к бою — прах! Кто-то у стены, в четкой рамке лунного света. Это могла быть и картина. Возвращенная фигура, руки раскинуты по стене, голова опущена. Он сделал шаг вперед.

— Лисси!

Нога его паткнулась на что-то в темноте. Что здесь лежит? Он рынком перевернул тело.

— Стэрни!

Герд Гёц бросил его на ковер, словно кусок раскаленного железа; он и Лисси уставились друг на друга, как слепые. Потом он нагнулся к Стэрни.

— Готов, — сказал он коротко.

Он бросился к Лисси. Она протянула вперед руки.

— Поцеди меня! Я тебе все расскажу!

Дом принадлежит ей. Стэрни записал дом на ее имя со всем имуществом; деньги тоже. Она отделивалась только обещаниями.

— Клянусь жизнью!

Она знала, что между ними ничего не будет.

— И действительно — ничего, — добавила она, указывая на мертвеца.

Однако страх ее был напрасен. Герда Гёца заботило другое.

— Он приказал мне забраться в твой дом? Разве радий у тебя?

Сначала Лисси не поняла. Потом вспомнила.

— Радий — ловушка: он хотел погубить тебя. Теперь все ясно! — вскрикнула она. — Потому-то ему и не сиделось. Он все бегал по комнате сам не свой и не давал зажечь свет. Он ждал тебя, Герд Гёц, хотел подстеречь, когда ты влочишься в дом.

Лисси нагнулась, вытащила из-под мертвого какой-то предмет, прошептала:

— Его револьвер. Он бы тебя застрелил. — Она воспользовалась потрясением Герда Гёца, чтобы обнять его. — Зато он сам теперь мертв. Умер своей смертью. Он был твоим злейшим врагом, Герд Гёц... Хорошо я все устроила? — спросила она, вся — соблазн и обольщение. — Теперь мы наконец богаты и счастливы.

В глубине души она дрожала, боясь возражений, которые он привел бы в свое время против такого счастья и богатства. Но не услышала ничего. Тогда она сказала нежно:

— Убери его!

Он не заставил себя просить: это было средством выйти из гнетущей ситуации, проявить мужскую распорядительность.

— Я попросту посажу его в машину. Чудесная ночь. Прогулка. Разрыв сердца.

Так он и сделал; когда он вернулся, его обняли у порога нежные женские руки. В лунном свете, прижавшись друг к другу, Герд Гёц и Лисси поднялись по лестнице к своему свадебному ложу!

# Томас Манн



## МАРИО И ВОЛШЕБНИК



акой-то гнетущей атмосферой окутано для меня воспоминание о Торре ди Венере. Озлобленность, раздражение, нервная взвинченность носились в воздухе с самого начала, — а под конец еще и это потрясение, вызванное историей со страшным Чиполлой, в чьей личности, казалось, грозно сосредоточилась и роко-



вым образом воплотилась вся злокачественность тамошних настроений. То, что еще и дети стали невольными свидетелями жуткой развязки событий (как нам потом казалось, заранее предначертанной и как бы заложенной в природе вещей), уже само по себе было чем-то неподобающим, прискорбной ошибкой, произошедшей по вине того странного человека с его шарлатанскими выдумками. Слава богу, дети так и не поняли, где кончился спектакль и где началась катастрофа, мы же оставили их в сладостном заблуждении, что все это только театральная игра.

Торре расположено примерно в пятнадцати километрах от Порто Клементе, одного из наиболее посещаемых курортов на Тирренском море, по-городскому элегантного и всегда переполненного во время сезона, с отелем и магазинами на живописной улице вдоль моря, с обширным пляжем, усыпанным песочными замками и кабинами с флажками, где кипит коричневый от загара люд и царит шумное оживление. Окаймленный рощами пиний просторный пляж, на который сверху вниз глядят ближние горы, вдоль всего побережья уютно усыпан мелким песком, и потому не мудрено, что уже вскоре, несколько поодаль, у Порто Клементе возник более скромный соперник. Торре ди Венере (где, впрочем, уже с давних пор тщетно было бы искать башню, которой городок обязан своим названием) в глазах иностранцев считается как бы филиалом соседнего большого курорта. В течение нескольких лет это местечко слыло идиллической аркадией для немногих избранных, убежищем для врагов светской суеты. Но, как обычно случается с такими укромными уголками, покой здесь уже давно был нарушен и отступил вдоль побережья в Марина Петриера и невесть куда еще. Ведь известно, что светская жизнь ищет покоя, но, устремляясь к нему в смехотворной и страстной тоске, в то же время его отпугивает; ей мнится, что она могла бы сочетаться с покоем и что там, где господствует она, мог бы утвердиться и он; даже тогда, когда вместо прежнего мирного существования уже открылась ярмарка мирской суеты, свет все еще продолжает верить, будто покой не покинул эти места. Поэтому Торре, городок более скромный и располагающий к созерцательной жизни, чем Порто Клементе, стал все больше входить в моду и у местной публики, и у иностранцев. Теперь приезжие уже меньше стремятся на великосветский курорт, хотя Порто Клементе все еще остается шумным и переполненным; они едут в Торре, это даже изысканней и притом дешевле. Многих продолжает привлекать сюда мир и тишина, которые когда-то здесь царили, но давно уже

бесследно исчезли. В Торре построен Гранд-отель; расплодилось многочисленные пансионаты, дорогие и дешёвые, владельцы и арендаторы вилл и садов вверху, над взморьем, уже не наслаждаются по-прежнему тишиной. В июле и августе Торре ди Венера несколько не отличается от Порто Клементе: всюду толпы крикливых, спорящих и ликующих купальщиков, которым неистово палящее солнце обжигает кожу на затылке; на искрящейся лазури моря колышутся ярко раскрашенные лодочки-плоскодонки, густо усеянные ребятишками; в воздухе звонят детские имена, хрипло выкликаемые озабоченными матерями, по спускающим глаз с этих утлых суденышек; торговцы устрицами, напиктами, цветами, коралловыми украшениями и *cognotti al burgo*<sup>1</sup>, переступая через распростёртые на песке тела купальщиков, такими же по-южному гортанными и протяжными голосами наперебой предлагают свои товары.

Так выглядело взморье в Торре, когда мы туда приехали, — все это было довольно мило, но явились мы, пожалуй, все-таки рановато. В середине августа итальянский сезон был еще в полном разгаре, время не слишком благоприятное для иностранцев, стремящихся поглубже проникнуться очарованием этих мест. Что за сутолока под вечер на набережной, в кафе на открытом воздухе, хотя бы в том же «Эсквизито», куда мы иногда заходили и где нас обслуживал Марио, тот самый Марио, о котором я сейчас начну рассказ. С трудом можно найти свободный столик, и несколько оркестров, ни с чем не считаясь, заглушают друг друга нестройными звуками. В эти часы сюда съезжаются беспокойные гости из веселого Порто Клементе, которым Торре полюбили для загородных прогулок; по шоссе взад и вперед снуют автомобили «фиат», и поэтому лавровые и олеандровые кусты, которыми обсажены дороги, стоят покрытые слоем белой пыли в дюйм толщиной, кажется, будто они занесены снегом — оригинальное, но отталкивающее зрелище!

Собственно говоря, в Торре следовало бы приехать в сентябре, когда большая часть публики уже покинула курорт, или же в мае, прежде чем морская вода достигнет температуры, при которой южанин рискнет окунуться в волны. Правда, и до и после сезона там тоже не совсем безлюдно, но жизнь все же течёт как-то приглушённой и национальный колорит меньше бросается в глаза. В это время под тентами кабин и в столовых пансионатов преобладают англичане, французы, немцы, тогда как в августе иностранец еще чувствует себя одиноким и, я бы

<sup>1</sup> Рожки в масле (итал.).

сказал, второразрядным гостем среди римского и флорентийского общества — так было по крайней мере в Гранд-отеле, где за неимением адресов частных пансионеров мы сняли апартаменты.

В этом нам пришлось не без досады убедиться в первый же вечер, когда мы спустились к обеду в ресторан и заняли столик, указанный кельнером. Столик этот был расположен не так уж плохо, однако нас больше привлекала застекленная веранда с видом на море, где на столиках горели лампочки под красными абажурами, тоже, конечно, переполненная, но не до отказа. Малыши пришли в восторг от столь праздничного освещения, и мы, в простоте душевной, попросили отвести нам место на веранде; попросили, как оказалось, по неосведомленности, и нам вежливо, хотя с некоторым замешательством, дали понять, что этот уютный уголок приберегается для «нашей клиентуры» — «ai nostri clienti». Для наших клиентов? А мы-то кто же? Мы считали себя не проезжими гостями, не мошкаррой-однодневкой, а солидными постояльцами на три или четыре недели, своими людьми в отеле. Впрочем, мы не стали настаивать на выяснении разницы между нами и той клиентурой, которой было предоставлено право обедать при свете красных лампочек, и согласились на *pranzo*<sup>1</sup> за столиком в буднично освещенном общем зале. Обед, который нам подали, оказался весьма посредственным — обычная безвкусная стряпня приморских отелей; впоследствии нам больше пришлось по вкусу стол в пансионе «Элеонора», расположенном чуть дальше от моря.

Мы перебрались туда уже дня через три-четыре, прежде чем успели хоть сколько-нибудь обжиться в Гранд-отеле, и отнюдь не из-за веранды с лампочками; дети тотчас же подружились с кельнерами и боями и, всецело захваченные страстью к морю, вскоре выкинули из головы эту красочную приманку. Но у нас разыгрался конфликт с некоторыми клиентами на веранде, или, вернее, с пресмыкавшейся перед ними администрацией, — один из тех конфликтов, которые с самого начала наложили тягостный отпечаток на все наше дальнейшее пребывание там. Среди постояльцев отеля находились представители высшей римской знати, некий принципе Х. с семейством, и так как комнаты этой высокородной четы примыкали к нашим, то княгиня, не только знатная дама, но еще и страстная мать, пришла в ужас от коклюша, которым недавно переболели наши малыши, — слабые приступы кашля, последние следы перенесенной

---

<sup>1</sup> Обед, трапеза (*итал.*).

болезни, по ночам еще и сейчас изредка нарушали обычно безмятежный сон меньшего ребенка. Недуг этот еще мало исследован и дает простор для всякого рода предрассудков, поэтому мы не могли особенно обижаться на нашу элегантную соседку, испугавшуюся за своих детей: видимо, она придерживалась довольно распространенного мнения, будто коклюш передается при одном только звуке кашля. Убеденная в своих материнских правах, она явилась с жалобой в дирекцию, и последняя, в лице уже знакомого нам метрдотеля в сюртуке, поспешила со всевозможными извинениями заявить, что ввиду создавшихся обстоятельств нам необходимо переселиться в боковой флигель. Тщетно мы упорядили, что болезнь прошла и опасности заразиться больше не существует. Все, чего нам удалось добиться, — это разрешения представить наш случай на суд медицины, то есть на заключение врача, служащего при отеле, а отнюдь не какого-нибудь иного, нами приглашенного. Мы согласились, убежденные, что таким образом убьем сразу двух зайцев — и книжнито успокоим, и избежим хлопотливого переезда. Является доктор, честный и справедливый служитель науки. Исследовав малыша, он признает, что болезнь кончилась и все опасения неосновательны. Мы с полным правом сочли инцидент исчерпанным, как вдруг метрдотель заявляет, что прежнее распоряжение очистить комнаты и переселиться во флигель, невзирая на медицинскую экспертизу, остается в силе.

Это раболепство возмутило нас. Едва ли вероломное упорство, с которым мы столкнулись, исходило от самой княгини. Скорее всего, подобострастный хозяин отеля даже и не решился сообщить ей заключение врача. Как бы то ни было, мы уведомили управляющего, что покидаем отель немедленно и навсегда, и тотчас же принялись упаковывать вещи. Правду сказать, мы сделали это с легким сердцем, так как успели мимоходом присмотреть частную виллу «Элеонора», сразу же привлекающую наше внимание своим приветливым видом, и познакомиться с ее симпатичной хозяйкой, синьорой Анджольери. Госпожа Анджольери, изящная, черноглазая дама лет тридцати, тосканского типа, с матово-бледным, оттенка слоновой кости, лицом южанки, и ее супруг, изысканно одетый, молчаливый, лысый человек, владели во Флоренции значительно более обширным отелем и только летом и ранней осенью лично руководили его филиалом в Торре ди Венере. В прежние времена, до замужества, наша новая хозяйка была компаньонкой, спутницей, костюмершей, даже подругой Дузе, и об этой великой, счастливой эпохе своей жизни она в первое же наше посещение принялась пылко

рассказывать. Все столики и этажерки в салоне госпожи Анджольери были уставлены photographиями великой артистки с задушевными надписями и разными другими сувенирами их былой совместной жизни; и хотя мы сразу поняли, что культ прошлого отчасти должен был содействовать процветанию предприятия, но все же, осматривая виллу, с увлечением слушали рассказы синьоры на отрывистом и звучном тосканском наречии — рассказы о страдальческой доброте, гениальной сердечности и глубокой чуткости ее покойной госпожи.

Итак, мы велели перенести туда наши вещи, к большому огорчению крайне детолюбивого, на добрый итальянский лад, персонала Гранд-отеля. Нам были предоставлены уединенные уютные комнаты, к морю вела аллея молодых платанов, смыкавшаяся с прибрежным бульваром; в столовой, где царили чистота и прохлада, мадам Анджольери ежедневно сама разливала суп, прислуга была внимательна и любезна, стол оказался превосходным, нашлись даже знакомые из Вены, с которыми можно было после обеда поболтать возле дома, через них завязались новые знакомства, — словом, все складывалось прекрасно, мы радовались нашему переезду, и казалось, не было препятствий для мирного отдыха.

И тем не менее полного удовлетворения мы не испытывали. Быть может, нас все еще тревожил глупейший повод к перемене отеля — признаюсь, я лично тяжело переношу подобные столкновения с человеческой пошлостью, с наивным злоупотреблением властью, с несправедливостью и жалким раболепством. Все это слишком долго занимало мои мысли, повергая меня в тягостное бесплодное раздумье по поводу таких обыденных и примелькавшихся явлений. Впрочем, мы отнюдь не порвали с Гранд-отелем. Дети по-прежнему водили дружбу с тамошними служителями, один из них постоянно чинил им игрушки, мы иногда пили чай в саду отеля и видели там княгиню, — с ярко накрашенными кораллово-алыми губами, она изящно-уверенной походкой направлялась к англичанке, на попечении которой находились ее любимцы, не подозревая о том, что мы были так угрожающе близко, ибо нашему малышу было строго-настрого заказано хоть разок кашлянуть в ее присутствии.

Не знаю, стоит ли об этом упоминать, но жара стояла страшная. То был поистине африканский зной: стоило только чуть отойти от края индигово-синей прохладной пелены, и солнце начинало тиранить нас так неумолимо, что пройти несколько шагов от пляжа до обеденного стола, хотя бы в одной пижаме, было подвигом, к которому мы готовились, заранее вздыхая.

И силах ли кто такое вынести? Да еще неделю за неделей. Разумеется, это юг, классическая погода, климат расцвета человеческой культуры, солнце Гомера и так далее. Но что поделалось, мне лично через некоторое время все это начинает казаться постерпимо оглуляющим. Изю дня в день раскаленная пустота неба становится в тягость; правда, эти кричащие краски, этот непрерывный поток света своей безграничной непосредственностью настраивают на праздничный лад, чувствуешь себя беззаботным, независимым от капризов и превратностей погоды; но — вначале этого даже не понимаешь — более глубокие и сложные запросы северной души остаются мучительно неудовлетворенными, и с течением времени начинаешь испытывать почти предвещания и окружающему. Да, правда, без этой глупой пустичной истории с коклюшем все воспринималось бы по-иному: и был раздражен и потому полусознательно ухватился за порный попавшийся психологический повод, чтоб оправдать и усилить свое угнетенное состояние. Итак, можно считать, что идесь была злая воля с нашей стороны. Разве могло служить причиной тому само море? Странно испытывать что либо подобное в эти утренные часы на мягком песчаном пляже, перед лицом извечного великолепия стихии. И тем не менее вышло так, что, вопреки всему, даже на взморье мы не чувствовали себя привольно и радостно.

Слишком рано, слишком рано мы приехали; на пляже все еще царил местный средний класс, с виду приятные люди. Да, правда, среди молодежи встречалось немало прекрасно сложенных, полных здорового очарования юношей и девушек, и тем не менее мы были окружены мелкими людishками, меланхолическим сбродом, который, тут уж придется согласиться, не более привлекателен и этих краях, чем под нашим небом. Что за голоса у женщин! Иной раз просто не верится, что находишься на родине западноевропейского вокального искусства. «Fuggièro!» — еще и сейчас звучит у меня в памяти этот пронзительный, хриплый вопль, отчаянный и в то же время какой-то автоматический, в удасяющими интонациями и резким протяжным «é», который мне приходилось слышать над самым ухом по сто раз на день в течение целых трех недель. «Fuggièro! Rispondi almeno!» При этом «р» по-простонародному произносилось *schpr*; уж одно это может вынести из себя, тем более когда и без того у тебя дурное настроение. Крики эти были обращены к дрянному мальчишине с тошнотворной ливой от солнечного ожога между

1 Фуджиро! Отвись же! (итал.)

лопатками, самому злобному упрямцу и пакостнику, которого мне когда-либо приходилось встречать, и вдобавок еще отчаянному трусишке, способному всполошить весь пляж возмущительной мнительностью из-за малейшей боли. Как-то раз в воде его ущищнул за ногу краб; из-за такого пустяка мальчишка душераздирающе вопил и, словно античный герой, горестно оплакивал свою участь; можно было подумать, что произошла какая-то небывалая катастрофа. Видимо, он возомнил себя тяжело раненным. Кое-как, ползком выбравшись на берег, он катался по песку и, казалось, в нестерпимых муках ревел «ohi!» и «Oimè!», отбиваясь руками и ногами от трагически причитающей над ним матери и от пытающихся его усовестить соседей. Сбежался народ. Привели врача — того самого, что так трезво отнесся тогда к случаю с коклюшем; и здесь еще раз подтвердилась его прямота ученого. Добродушно успокаивая окружающих, он признал этот случай не стоящим ни малейшего внимания и попросту рекомендовал своему пациенту выкупаться еще разок, чтобы охладить маленькую ранку от клешней краба. Тем не менее Фуджеро, сопровождаемого целой свитой, унесли с пляжа на импровизированных носилках, словно утопленника или сорвавшегося с кручи; и все это только для того, чтобы уже на следующее утро он снова, будто незначай, разрушал песочные замки, построенные другими ребятами. Что и говорить, не мальчишка, а просто дрянь!

Ко всему еще этот двенадцатилетний сорванец принадлежал к главным носителям того общественного мнения, которое неуловимо нависало в воздухе, отравляя нам приятный отдых. Здешней атмосфере недоставало какой-то чистоты, непринужденности; местная публика держалась крайне заносчиво. Сначала казалось непонятым, зачем и для чего эти люди похваляются своими достоинствами, чванятся важной осанкой и манерами перед иностранцами и друг перед другом, выставляют напоказ свои преувеличенные понятия о чести, — к чему бы все это? Со временем мы поняли, что это политика, все дело тут в идее нации. И правда, пляж кишел юными патриотами — явление противоестественное и удручающее. Ведь дети — это особая человеческая порода, замкнутая общественная группа, так сказать, особая нация; во всем мире они сходятся легко и естественно в силу общности своего жизненного ощущения, даже если их малый запас слов ограничен родным языком. Наши малыши тоже вскоре стали играть с местными и приезжими детьми разных национальностей. Но тут их явно ждало непонятное разочарование. То и дело возникали обиды, отстаивалось чрезмерное

и надуманное самолюбие, едва ли заслуживающее такое название, вспыхивала рознь национальных флагов, разгорались споры о превосходстве ранга и положения в обществе; взрослые вмешивались не столько умиротворяюще, сколько безапелляционно, защищая основные устои; произносились громкие слова о величии и достоинстве Италии, невеселые речи, отбивающие охоту к игре; мы видели, что оба наши малыша, растерянные и смущенные, начинали сторониться других детей, и нам стоило немалых трудов хоть сколько-нибудь вразумительно разъяснить им создавшееся положение. Люди эти, объясняли мы детям, только что пережили, как бы это сказать, ненормальное состояние, если хотите, болезнь, досадную, но, видимо, неизбежную.

По нашей вине, из-за нашего попустительства дело дошло до открытого столкновения с местной публикой; хоть мы и отдавали должное душевному состоянию этих людей, в свете нового конфликта нам стало казаться, что и все предыдущее не было простой случайностью. Короче говоря, мы оскорбили общественную нравственность. Наша восьмилетняя дочурка, худенькая, как воробышек, и выглядевшая по крайней мере на год моложе своих лет, вдосталь накупавшись, как всегда в жаркую погоду, вылезла из воды и начала играть в мокром костюмчике; мы разрешили ей еще разок сполоснуть его в море от налипшего песка с тем, чтобы сейчас же надеть и больше уже не пачкать. Голенькая она пробегает несколько метров, отделяющих ее от воды, окунает свой вязаный купальничек и бежит обратно. О, если бы мы могли предвидеть тот взрыв негодования, протеста, насмешек, который последовал за ее проступком, вернее, нашим проступком! Я не собираюсь читать лекцию, но известно, что за последние десятилетия во всем мире коренным образом изменилось отношение к нагому телу; значительные изменения претерпели и чувства, вызываемые наготой. Есть вещи, на которые сейчас никто уже и внимания не обращает; вот почему мы предоставили свободу этому невинному детскому телцу. Но здесь эта свобода была воспринята как вызов. Юные патриоты завулююкали. Фуджеро засунул пальцы в рот и свистнул. Среди взрослых, по соседству от нас, начались громкие взволнованные переговоры, не предвещавшие ничего хорошего. Какой-то господин в костюме для уличного променада и в котелке набекрень — наряд едва ли уместный на пляже — заверяет своих негодующих дам, что так этого не оставит. Он подходит, и на нас обрушивается яростная филиппика, в которой весь пафос чувственно-жизнерадостного юга поставлен на службу



ханжеской чопорности. Оказывается, бесстыдный поступок, совершенный нами, еще усугубляется оскорбительной неблагодарностью по отношению к Италии, гостеприимно предоставившей нам кров. Мы преступно поправили не только правила общественного купанья, их букву и дух, но также и честь страны, и во имя этой чести он, господин в котелке, позаботится о том, чтобы поругание национального достоинства не осталось без должной кары.

Мы усиленно кивали, внимая этому бурному потоку красноречия. Возражать разгорячившемуся господину значило бы попасть из огня да в полымя. На языке у нас вертелось многое; нам хотелось ответить, например, что дело обстоит не совсем так, что слово «гостеприимство» в его подлинном смысле здесь, пожалуй, не вполне уместно, что мы, собственно, гости не столько Италии, сколько синьоры Анджольери, несколько лет назад сменившей свое призвание доверенной подруги Дузе на профессию хозяйки пансиона.

Хотелось нам также сказать, что мы не представляли себе, как низко пала нравственность в этой прекрасной стране, если здесь возможен, более того — неизбежен, такой возврат к ханжеству и жеманной чувствительности. Вместо этого мы уверяли, что у нас и в мыслях не было нарушать приличия и оскорблять общественное мнение, и в порядке оправдания пытались сослаться на юный возраст и физическую неразвитость малолетней преступницы. Тщетно! Нашим объяснениям никто не поверил, наши оправдания были отвергнуты, и нас решили примерно проучить, чтоб не повадно было. О происшествии было сообщено, надо думать, по телефону в местный полицейский участок, и на пляж явился представитель власти; он признал инцидент весьма серьезным — «molto grave» — и пригласил нас проследовать за ним наверх, на площадь, где находится муниципалитет. Там чиновник рангом повыше подтвердил предварительное заключение о «molto grave», высказал по поводу нашего дела несколько правоучительных сентенций, в точности повторяющих речи господина в котелке и, видимо, здесь общепринятых, — и оштрафовал нас на пятьдесят лир. Мы решили, что приключение стоит такого взноса в итальянскую государственную казну, заплатили и ушли. Но, может быть, нам следовало уехать?

О, если бы мы так и сделали! Мы избежали бы встречи с этим роковым Чиполлой; однако целый ряд причин заставил нас отказать от решения переехать. Один поэт сказал, что только косность мешает нам находить выход из мучительно неловких

положений; быть может, этим и объясняется наше загадочное постоянство. Да и не так-то легко очистить поле битвы сразу же после подобного происшествия; не хочется признать себя побежденным, особенно когда твое упорство поддерживается сочувствием окружающих. На вилле «Элеонора» все единодушно восстало против постигшей нас несправедливости судьбы. Наши итальянские знакомые по табльдоту считали, что случай этот отнюдь не украшает доброе имя Италии, и высказывали намерение призвать господина в котелке к ответу перед соотечественниками. Но тот исчез с пляжа вместе со своей компанией, не оставив нас, конечно; возможно, впрочем, что самое сознание бывшего отъезда удвоило его энергию; так или иначе, мы вздохнули свободней, когда он уехал. Если быть до конца откровенным, мы остались еще и потому, что здешняя обстановка начала казаться нам диковинной, а все необычайное уже само по себе ценно, независимо от нашего хорошего или плохого самочувствия. Неужели надо убрать паруса и уклониться от приключения, даже если оно не сулит ничего доброго? Уехать как раз тогда, когда жизнь становится немного жутковатой, небезопасной и приносит кое-какие огорчения и даже обиды? Разумеется, нет, следует остаться, взглядеться в то, что происходит, положиться на судьбу и, быть может, извлечь из всего этого кое-какие уроки. Итак, мы остались и в виде жестокой награды за нашу стойкость пережили всю эту незабываемую и злосчастную историю с Чиполлой.

Я не упомянул о том, что вскоре после нашего столкновения с господствующим режимом в курортной жизни наступило затишье. Наш суровый блюститель нравов, шпик в котелке, был не единственным гостем, покинувшим курорт; начался массовый разъезд, и множество ручных тележек с багажом устремилось к вокзалу. Пляж утратил свой национальный колорит, жизнь в Торре, в кафе и аллеях пиний сделалась проще, приобрела более европейский характер. Надо думать, что теперь мы могли бы даже обедать на застекленной веранде, но мы к этому не стремились, так как превосходно чувствовали себя за столом у синьоры Аджольери — насколько нам позволяли злые духи здешних мест. Одновременно с этой благодатной переменой резко изменилась и погода, причем это почти точно совпало с окончанием каникул и разъездом широкой публики. Небо заволокло, и поветрие стало не то чтобы прохладнее, — нет, нестерпимая жара, свирепствовавшая восемнадцать дней — с момента нашего приезда и, может быть, задолго до нас, — сменилась знойной духотой сирокко, и мелкий дождь по временам орошал

бархатистый песок, где мы по утрам резвились. Да, вот еще что: время, которое мы собирались провести в Торре, истекло больше чем наполовину; но нам все еще казалось новым это вялое, словно вылинявшее море, на поверхности которого лениво покачивались медузы; нелепо было бы тосковать по солнцу, исторгавшему у нас столько вздохов в дни своего надменного владычества.

Именно в это время появился Чиполла. «Кавалере Чиполла», как именовался он на афишах, которые в один прекрасный день оказались расклеенными всюду, даже в столовой пансиона «Элеонора», — странствующий виртуоз, маэстро увеселений, Forzatore, Illusionista и Prestidigitatore<sup>1</sup> (так называл он себя), который намеревался предложить вниманию высокочтимой публики в Торре ди Венере необычайные, загадочные и ошеломляющие феномены. Фокусник! Одной этой афиши было достаточно, чтобы вскружить головы нашим малышам. Им ни разу еще не приходилось бывать на подобных представлениях, эта каникулярная поездка сулила им неизведанные переживания. С этого момента они нам все уши прожужжали, умоляя взять билеты на вечер фокусника; что ж, хоть нас и смущало позднее начало спектакля — девять часов, мы уступили, подумав, что сможем вернуться домой после первых, надо полагать, немудрящих фокусов Чиполлы, так что дети еще успеют выспаться. Итак, мы приобрели четыре билета у самой синьоры Анджольери, которая позаботилась о том, чтобы обеспечить хорошие места своим постояльцам. Она, конечно, не ручалась за высокое артистическое мастерство этого человека, да мы на это и не рассчитывали; но известная потребность развлечься взяла свое, и вдобавок нас невольно заразило неотступное любопытство детей.

Зал, где кавалере должен был представиться публике, в разгар сезона использовался под кинотеатр с еженедельно меняющейся программой. Мы там еще не бывали. Путь наш шел мимо «Palazzo»<sup>2</sup>, строения, напоминающего рыцарский замок и сейчас предназначенного к продаже, вдоль главной улицы местечка, где находились аптека, парикмахерская и мелочная лавка, — улицы, ведущей из мира феодального через буржуазный прямо в мир народа, ибо она тянулась между бедными рыбацкими лачугами, у дверей которых сидели старухи и чинили сети; здесь-то, в самой гуще народной стихии, и нахо-

---

<sup>1</sup> Заклинатель, иллюзионист, фокусник (итал.).

<sup>2</sup> Дворец (итал.).

дилась эта «Sala»<sup>1</sup>, представлявшая собой всего-навсего довольно просторный деревянный балаган со входом в виде арки, по обеим сторонам украшенной пестрыми, наклеенными друг на друга афишами. Итак, в назначенный день, в сумерках, после обеда, мы отправились туда вместе с разряженными, сияющими детьми. Было душно, как уже много дней подряд, изредка полыхали жарницы, накрапывал мелкий дождь. Пришлось раскрыть зонтики. Ходьбы до «Sala» было каких-нибудь четверть часа.

Предъявив у входа билеты, мы должны были сами отыскать свои места, которые оказались в третьем ряду налево. Усевшись, мы заметили, что, несмотря на поздний час, публика собиралась медленно, словно нарочно запаздывая, и лишь постепенно наполнила партер, которым, собственно, и ограничивался зрительный зал, так как лож не было. Эта медлительность тревожила нас. На щеках детей от ожидания и усталости заиграл лихорадочный румянец. Заняты еще до нашего прихода были только стоячие места в боковых проходах и в глубине зала. Там толпились рыбацкий люд, коренные жители Торре ди Вене-ро, предприимчивые молодые пары с голыми руками, скрещенными поверх полосатой фуфайки; и если нам пришлось по душе все эти люди, сообщающие таким зрелищам краски и юмор, то дети были просто вне себя от восторга. Ведь со многими из них они познакомились и сдружились во время дальних вечерних прогулок на взморье. Нередко в час, когда солнце, устав от своих титанических трудов, погружалось в море и окрашивало в золотисто-алый цвет набегающую пену прибоя, мы встречали на обратном пути босоногих рыбаков, которые, выстроившись в ряд и налегая на веревки, с протяжными возгласами тянули сети и укладывали в сочащиеся водой корзины свой обычно скудный улов, *frutti di mare*;<sup>2</sup> дети любовались на них, выкладывали до последней крохи весь свой запас итальянских слов, помогали тянуть снасти, завязывали знакомства. И теперь они обменивались приветствиями со своими приятелями на стоячих местах — вон Гискаардо, а чуть подалее Антонио, — они знали их по именам, окликали вполголоса, приветливо кивали им, — и те тоже отвечали кивками и улыбками, обнажавшими крепкие белые зубы. Гляди-ка, здесь даже Марио из «Эсквизито», тот самый Марио, который подает нам шоколад!

---

<sup>1</sup> Зал (итал.).

<sup>2</sup> Буквально: «плоды моря» (итал.); так называются в Италии употребляемые в пищу мелкие морские животные, устрицы, креветки, лангусты и другие. (Прим. ред.)

И ему охота поглядеть на волшебника, он, наверно, пришел спозаранку, так как стоит впереди; на нас Марио не обращает ни малейшего внимания, такая уж у него манера, хотя он всего лишь кельнер. Зато мы здороваемся с парнем, который выдает на пляже лодки напрокат, он тоже здесь, только стоит совсем сзади.

Четверть, почти половина десятого. Представьте себе, как мы нервничали. Когда же дети лягут спать? Мы сделали оплошность, приведя их сюда, а теперь было бы уже жестокостью увести их, не дав им насладиться представлением. Мало-помалу партер заполнился; можно сказать, все Торре собралось сюда: постояльцы Гранд-отеля, постояльцы виллы «Элеонора» и других пансионатов, примелькавшиеся на пляже лица. Слышалась английская, немецкая речь, даже французская с румынским акцентом. Двумя рядами дальше нас сидела сама мадам Анджольери, рядом со своим молчаливым, лысым супругом, поглаживавшим усы средним и указательным пальцами. Все пришли поздно, и тем не менее никто не опоздал: Чиполла заставлял себя ждать.

Он именно заставлял ждать себя, это правильное определение. Намеренно взвинчивал нервы зрителей, оттягивая свой выход. Это даже нравилось публике, но ведь всему есть границы. В половине десятого принялись аплодировать — любезная манера выражать законное нетерпение и в то же время показывать свою готовность тепло встретить артиста. Дети, конечно, с удовольствием присоединились к прочей публике. Кто из малышей не любит похлопать артистам? В толпе простолыдинов слышались энергичные выкрики: «Prontil!» и «Comiciamo!»<sup>1</sup> И что же — все препятствовавшее началу представления вмиг было устранено. Послышался удар гонга, ему ответило многоголосое «ах!» со стоячих мест, и занавес раздвинулся. Открылась эстрада, убранством напоминавшая скорее классную комнату, чем арену действий фокусника, главным образом из-за черной аспидной доски, установленной у самой рампы слева. Кроме того, здесь находилась еще обыкновенная желтая вешалка для платья, два плетеных стула местного изделия и несколько поодаль, в глубине, в стороне, круглый столик, на котором стояли графин с водой, стакан, поднос с фляжкой, наполненной какой-то светло-желтой жидкостью, и ликерная рюмка. Нам предоставили секунды две для обозрения всего этого реквизита. И затем — перед незатемненным зрительным залом на эстраде появился кавальере Чиполла.

---

<sup>1</sup> Живее! Начнем! (итал.)

Он вошел той стремительной походкой, которой выражается готовность служить публике и в то же время создается впечатление, будто актер таким вот шагом прошел длинный путь, торжась предстать перед лицом зрителей, — тогда как на самом деле он просто стоял и дожидался за кулисами. Наряд Чиполлы так же был рассчитан на то, чтобы поддержать обманчивое представление, будто артист явился с улицы, издалека. Человек неопределенного возраста, но, во всяком случае, далеко не молодой, с резкими чертами потрепанного лица, с колкими глазами и нафабренными усиками над плотно сомкнутым морщинистым ртом, с так называемой «мушкой» в углублении между нижней губой и подбородком; одет он был элегантно, в причудливый вечерний костюм. На нем была просторная черная крылатка с бирюзовым воротником и пелериной на атласной подкладке, он придерживал ее спереди руками в белых перчатках, вокруг шеи был повязан белый шарф, изогнутый цилиндр кося надвинут на лоб.

В Италии, больше чем где бы то ни было, еще живет дух восемнадцатого столетия и вместе с ним столь характерный для той эпохи тип шарлатана, ярмарочного скомороха, с которым сейчас уже, пожалуй, ни в какой другой стране не встретишься. Чиполла всем своим обликом являл черты этого персонажа, отошедшего в историческое прошлое; создаваемое им впечатление крикливого и фантастического шутства усиливалось благодаря претенциозному наряду. Платье сидело на нем как-то странно: в одном месте натягивалось и неестественно облегал фигуру, в другом — криво свисало неправильными складками или болталось, как на вешалке; что-то было не в порядке с его фигурой и спереди и сзади, — что именно, выяснилось только впоследствии. Но необходимо подчеркнуть, что в его осанке, в выражении лица, во всей его манере не чувствовалось ни тени веселости или клоунады; напротив, в его облике сквозила чуждая всякому юмору суровость, временами угрюмая гордость, а также характерное для калеки преувеличенное самолюбие, что, впрочем, не помешало публике сначала встретить его врывами смеха, раздававшимися в нескольких местах зрительного зала.

Однако в его манере держаться не видно было угодливости; стремительная походка, которой он вышел на сцену, свидетельствовала исключительно об его внутренней энергии, ничего общего с подострастием не имевшей. Стоя у рамп и медленно стягивая перчатки с длинных желтоватых рук — на одной из них сверкнул крупный бирюзовый перстень с печаткой, — он неторопливо обвел вал своими маленькими строгими глазами,

под которыми мешками собралась дряблая кожа, то и дело испытующе останавливаясь на чем-либо лице, — и все это он проделывал в полном молчании, не разжимая губ. Скомканные перчатки он отшвырнул далеко от себя, небрежно, но так метко, что угодил как раз в стакан на круглом столике, затем, по-прежнему молча озираясь, вынул из внутреннего кармана пачку сигарет, самого дешевого сорта, судя по картонной обертке, вытащил одну и, не глядя, поднес к ней мгновенно вспыхнувшую бензиновую зажигалку. Глубоко затянувшись, он с нагловатой гримасой выдохнул дым, оттопырил губы и слегка притопнул ногой, в то время как сизая струйка дыма вилась между его гнилыми, стертymi, но все еще острыми зубами.

Публика в свою очередь так же бесцеремонно разглядывала его. Молодые парни на стоячих местах хмурили брови и сверлили его взглядами, словно выискивали слабое место у этого слишком самоуверенного человека. Но они ничего не обнаружили. На то, чтобы достать и снова спрятать пачку сигарет и зажигалку, ему потребовалось немало времени из-за неудобства костюма; при этом он распахнул плащ, и мы увидели у него под мышкой совсем неподобающий предмет — хлыст с серебряной рукояткой в виде когтя, подвешенный на кожаной петле. Всем бросилось в глаза, что на Чиполле был не фрак, а обыкновенный сюртук; когда же он подобрал его полы, то нашим взорам предстала еще и многоцветная лента, наполовину скрытая жилетом. Зрители, сидевшие свadi нас, пошептавшись, решили, что это знак отличия кавальере. Не берусь решать, так это или нет, ибо мне никогда не доводилось слышать, чтоб с этим титулом были связаны какие-то особые знаки отличия. Скорей всего эта лента была чистойшей мистификацией, так же как и безмолвная неторопливость фигляра, который все еще бездействовал, лениво и чванно пуская в публику дым своей сигареты.

Как я уже говорил, кругом смеялись, веселье стало почти всеобщим, когда со стоячих мест вдруг раздался громкий и суровый возглас: «Buona sera!»<sup>1</sup>

Чиполла встрепенулcя.

— Кто это? — спросил он, притворяясь разгневанным. — Кто это сказал? Ну-ка? Сначала расхрабрился, а потом струсил? Рауга, eh? <sup>2</sup>

Голос у него был высокий, слегка прерывающийся, словно у астматика, но с металлическими нотками. Чиполла ждал.

<sup>1</sup> Добрый вечер! (итал.)

<sup>2</sup> Страшно, а? (итал.)

— Это я, — проговорил среди общего молчания сидевший рядом с нами молодой человек, которого вызов фокусника задал за живое, — красивый малый в ситцевой рубашке и куртке, переброшенной через плечо. Его жесткие, курчавые волосы были зачесаны кверху и разлохмачены — модная в «пробуждающей Италии» национальная прическа, которая слегка искажала его черты, придавая им что-то африканское. — Ну да, я. Нам следовало поздороваться первым, но я уж, так и быть, не стал с вами считаться.

В публике опять засмеялись. Молодой человек, как видно, на слове в карман не лезил. «*Na sciolto lo scilinguagnolo*»<sup>1</sup>, — заметили около нас. Этот наглядный урок хорошего тона был здесь, пожалуй, вполне уместен.

— Bravo! — ответил Чиполла. — Ты мне нравишься, Джованнотто. Я тебя уже давно заприметил. Такой человек, как ты, может мне пригодиться. Похоже, ты малый не промах. Как хочешь, так и делаешь. А случалось ли тебе не делать того, что хочешь? Или даже делать то, чего не хочешь? Чего хочешь не ты, а кто-нибудь другой? Послушай, дружок, как, должно быть, приятно и весело хоть разок не разыгрывать из себя лихого парня, у которого желание и действие — одно. Когда-нибудь надо же ввести разделение труда — *sistema americano*, за?<sup>2</sup> Скажи, хочешь ты показать сейчас язык избранной и почтеннейшей публике? Весь язык до самого корня?

— Нет, — враждебно ответил парень. — Не желаю. Я не такой невежа. Не так дурно воспитан.

— Какая же тут невежливость, — возразил Чиполла, — ведь ты делаешь это против воли. Честь и слава твоему воспитанию, но вот посмотришь, не успею я сосчитать до трех, как ты сейчас же повернешься направо и покажешь публике язык, да еще высунешь его так далеко, как тебе и не снилось.

Чиполла посмотрел на парня в упор своими пронзительными глазами, казалось, еще глубже запавшими в орбиты.

— Uno!<sup>3</sup> — сказал он и щелкнул в воздухе хлыстом, который он успел выхватить из петли под мышкой.

Парень повернулся лицом к публике и высунул язык во всю длину, напрягаясь из последних сил, до крайнего предела своих физических возможностей. Затем он с безразлично-тупым видом сел на место.

— «Be-e! Это я», — передразнил Чиполла и кивком головы

<sup>1</sup> Он за словом в карман не лезет (итал.).

<sup>2</sup> Американская система, так, что ли? (итал.)

<sup>3</sup> Раз! (итал.)



указал на парня. — «Ну да, я». — С этими словами он повернулся, предоставив публике самой во всем разобраться, подошел к круглому столику, налил себе из фляжки, в которой, видимо, был коньяк, и привычным движением опрокинул рюмочку.

Дети от души смеялись. Они почти ничего не поняли из этой словесной перепалки, но их очень позабавила комическая сценка, сразу же разыгравшаяся между забавным человечком на эстраде и парнем из публики; а так как они вообще не представляли себе, что значит вечер фокусов, то такое начало показалось им очень смешным. Мы же только переглянулись, и, помнится, я невольно сделал губами почти неслышное движение, подражая щелканью кнута Чиполлы. Зрители, видимо, не знали, как отнестись к такому нелепому началу, и не могли взять в толк, с чего бы это Джованотто, который был, так сказать, с ними заодно, вдруг переметнулся и ни с того ни с сего надерзил им. В конце концов все сочли, что он вел себя по-дурацки, бросили о нем думать и вновь сосредоточили все свое внимание на артисте, который, отойдя от столика, продолжал разглагольствовать.

— Милостивые государины и милостивые государи, — говорил он своим прерывающимся, металлически звучным голосом. — Вы видели, что меня несколько задел урок, который попытался преподать мне этот подающий надежды молодой лингвист (questo linguista di belle speranze — над каламбуром посмеялись). Прошу вас иметь в виду, что я человек не лишенный самолюбия! Я люблю, чтобы со мной здоровались, придерживаясь серьезного и вежливого тона, — иначе не стоит и трудиться. Желая мне доброго вечера, вы в то же время желаете его себе самим. Ибо у вас и вправду выдастся добрый вечерок, если таковой будет у меня. И этот кумир девушек в Торре ди Венере (он не уставал язвить парня) хорошо сделал, сыграв мне на руку; теперь вы убедились, что сегодня мне действительно сопутствует удача, и я могу обойтись без его пожеланий. Должен признаться, что у меня почти сплошь добрые вечера. Иной раз случается, конечно, вечерок и похуже, но редко. Профессия моя трудная, а здоровье не слишком крепкое: некий маленький физический изъян лишает меня возможности участвовать в войне во славу нашей родины. Тем не менее все силы своей души и ума я полагаю на то, чтобы овладеть жизнью, а это значит всегда — овладеть самим собой, и льщу себя надеждой, что мне удалось заслужить внимание и сочувствие просвещенной аудитории. Пресса оценила мою работу, «Corriere della Sera»<sup>1</sup> воздал мне

---

<sup>1</sup> «Вечерний вестник» (итал.).

должно, назвав меня феноменом, а в Риме я удостоился чести на одном из своих вечеров лицезреть среди присутствующих родного брата дуче. И если в столь блистательных и высокопоставленных кругах мне благосклонно прощали некоторые мои прищипки, то неужели я должен был поступиться ими в таком сравнительно небольшом городке (тут публика посмеялась над малким малюньким Торре) и стерпеть попреки от молодого человека, правда, несколько избалованного вниманием прекрасного пола?

Бедный парень опять превратился в мишень для острот, Чиполла не переставал над ним издеваться, выставя его в шутовской роли *donnaiuolo*<sup>1</sup> и мостного ловеласа; он возвращался к этой теме упорно, с раздражением и злостью, резко противоречащими его самоуверенным манерам и тем светским успехам, которыми он хвастал. По всей вероятности, Чиполла избрал юношу своей жертвой просто потому, что в программу его сеансов входило высмеивание кого-нибудь из публики. Но сейчас в его колкостях сквозило подлинное озлобление, которое становилось по-человечески понятным при взгляде на физический облик того и другого, даже если бы горбун то и дело не намокал на бесспорные, по его мнению, успехи красивого юноши у девушек.

— Итак, для начала нашей беседы,— добавил он,— разрешите мне устроиться поудобней.

Он подошел к вешалке и снял верхнюю одежду.

— *Parla benissimo*<sup>2</sup>,— заметил кто-то около нас.

Человек на эстраде еще не показал своего искусства, но искусством была уже самая его манера держаться, и своими разговорами он импонировал зрителям. Ведь для южан живая речь является одной из основных радостей жизни, и к языку здесь относятся со страстью, непонятной на севере. Нечто древнее, идущее из глубины веков, чувствуется в тех почестях, которые воздаются здесь родному языку как средству национального единства, в том светлом и радостном благоговении, с каким в Италии ревностно блюдутся формы и законы речи. Южане наслаждаются, когда говорят; наслаждаются, когда слушают и, слушая, критикуют. Речь служит критерием оценки личности: небрежная, неряшливая речь внушает презрение, и, напротив, словесное мастерство и изящество оборотов вызывают всеобщее уважение, почему даже самый маленький чело-

---

<sup>1</sup> Волокита (итал.).

<sup>2</sup> Замечательно говорят (итал.).

век, если только он дорожит мнением окружающих, стремится блеснуть изысканными и тщательно обдуманно выраженными. Тут по крайней мере Чиполла явно завоевал расположение публики, хотя отнюдь не принадлежал к той породе людей, которую итальянец, своеобразно смешивая моральную оценку с эстетической, называет «simpatico»<sup>1</sup>.

Сняв шелковый цилиндр, шарф и крылатку, Чиполла одернул куртку, поправил застегнутые крупными запонками манжеты, разгладил свою шутовскую орденскую ленту и снова вернулся к рампе. Прическа у него была безобразная: на почти обнаженном черепе с затылка ко лбу тянулась узенькая, словно наклеенная полоска нафабренных волос с пробором посередине, а пряди на висках, тоже крашенные, были зализаны с боков к уголкам глаз; эту прическу в стиле старомодного директора цирка, смешную, но гармонирующую со всем его оригинальным обликом, Чиполла носил так самоуверенно, что в публике никто, казалось, не заметил ее комизма и не посмел рассмеяться. Тот маленький «физический изъян», о котором он говорил, теперь стал совершенно очевидным, хотя сразу и невозможно было определить, в чем именно тут дело. Как всегда в таких случаях, грудная клетка у него была высоко поднята, но хребет выступал не между лопатками, как обычно, а ниже; это был своего рода бедренный и поясничный горб. Горб этот не мешал ему при ходьбе, но выпячивался как-то назойливо и комично. Впрочем, поскольку Чиполла предупреждал зрителей о своем уродстве, оно никого не поразило, и публика отнеслась к нему с должной деликатностью.

— К вашим услугам, — сказал Чиполла. — Если вы ничего не имеете против, начнем нашу программу с арифметических упражнений.

Арифметика? На чародейство это что-то не походило. Можно было заподозрить, что этот человек «плыл под чужим флагом», выдавал себя не за то, чем был на самом деле; но его подлинное лицо оставалось неясным. Мне стало жаль детей, но пока что они сияли от радости. Игра с числами, затеянная Чиполлой, оказалась столь же простой, сколь и ошеломляющей по своему конечному эффекту. Он начал с того, что взял лист бумаги, прикрепил его кнопками в правом углу доски, сверху, и, приподняв, мелом что-то написал на доске. При этом он болтал без умолку, стараясь оживить представление непрерывным словесным аккомпанементом, причем оказался весьма бойким на язык

---

<sup>1</sup> Симпатичный (итал.).

и разбитным конференсье собственных номеров. Он все время старался уничтожить пропасть между сценой и зрительным залом, через которую и без того уже был переброшен мост благодаря перепалке с молодым рыбаком; с этой целью он настойчиво приглашал на эстраду представителей из публики и сам сходил вниз по деревянным ступеням, стремясь к личному общению со зрителями, — видимо, это было в его стиле и очень нравилось детям. Но знаю, нарочно ли он затевал стычки с отдельными людьми, оставаясь неизменно суровым и раздраженным, но зрители, во всяком случае те, что попроще, видимо, считали, что это входит в программу.

После того как он написал что-то на доске и прикрыл написанное листом бумаги, на эстраду были приглашены два человека из публики в качестве помощников.

— Здесь не представится особых трудностей, — заметил он, — так что с этим отлично справится даже тот, кто не очень силен в счете.

Как обычно, желающих не оказалось, а Чиполла не решил-си утруждать кого-нибудь из фешенебельной публики. По-прежнему обращаясь только к простолюдинам, он выбрал двух удоровенных парней со стоячих мест, стал всячески подбадривать их, журить, что они только праздно глазают и не хотят услужить публике, и в конце концов ему удалось-таки их расшополить. Тяжело ступая, они не спеша прошли между рядами, поднялись на эстраду и под громкие «браво!» приятелей, смущенно ухмыляясь, встали у доски. Чиполла еще пошутил с ними, расхваливая их атлетическое телосложение, их большие руки, словно созданные для того, чтобы оказать собравшейся публике требуемую услугу, и затем сунул одному из них мел, наказав попросту записывать цифры, которые ему будут называть.

Но парень заявил, что не умеет писать. «No so scrivere», — сказал он грубым голосом, а товарищ его прибавил: «И я не умею».

Кто знает, говорили они правду или же просто потешались над Чиполлой. Так или иначе, но кавалере далеко не разделял общей веселости по поводу этих признаний. Он был оскорблен и рассержен. В данный момент он сидел в плетеном кресле посреди эстрады, положив ногу на ногу, и курил новую сигарету из той же дешевой пачки; куреньем он, видимо, наслаждался тем полнее, что успел хлебнуть еще рюмочку коньяку, пока эти увальни топали через весь зал. По-прежнему, глубоко затягиваясь, он выпускал дым через оскаленные зубы и, покачивая

ногой, суровым взглядом смотрел мимо обоих веселых нечестивцев через головы публики в пустоту, словно человек, который, столкнувшись с чем-то невыразимо презренным, замыкается в чувстве собственного достоинства.

— Позор, — произнес он холодно и желчно, — ступайте на место! Каждый умеет писать в Италии; ее величие несовместимо с невежеством и темнотой. Что за скверная шутка наговаривать перед этой интернациональной публикой на себя всякий вздор, который не только унижает нас самих, но порочит наше правительство и отечество. Если же Торре ди Венере и вправду последний уголок нашей родины, где укрылось самое элементарное невежество, то... остается только пожалеть о моем приезде в это местечко, хотя я заранее знал, конечно, что во многих отношениях ему далеко до Рима...

Тут его прервал парень с нубийской прической и курткой через плечо; видимо, в нем с новой силой вспыхнул временно угасший воинственный пыл, и теперь он с высоко поднятой головой, как рыцарь, ринулся защищать честь родного городка.

— Хватит! — громко воскликнул он. — Хватит насмехаться над Торре! Мы все здешние и не потерпим, чтобы наш город высмеивали перед иностранцами. И эти двое парней — тоже наши приятели. Пусть они люди не ученые, да зато они будут почестнее кое-кого, кто так расхвастался Римом, точно сам его основал.

Это прозвучало великолепно. У молодого человека язык, как видно, и вправду был неплохо подвешен. Сценка эта всех позабавила, хотя еще больше оттянула начало программы. Любая перебранка увлекает слушателей. Некоторым просто весело, и они злорадно наслаждаются тем, что остались в стороне; другие удручены и взволнованы, и я их прекрасно понимаю, хоть на сей раз мне казалось, что все это заранее придумано и подстроено и что оба толстокожих неуча, так же как Джованотто со своей курткой, в известной мере ассистируют артисту для оживления сеанса. Дети слушали в полном восторге. Они ничего не понимали, но от интонаций у них захватывало дыхание. Вот так вечер чудес, настоящий итальянский вечер! Им все это казалось замечательным.

Чиполла встал и, ковыляя, подошел к рампе.

— Смотри-ка! — воскликнул он с мрачным добродушием. — Старый знакомый! Молодой человек, у которого что на уме, то и на языке! (Он сказал: «sulla linguaccia» — «обложенный языком», и это вызвало громкий смех в зале.) Ступайте, друзья

мой, — обратился он к обоим олухам. — Хватит с вас, сейчас мне нужно заняться этим мужем чести, con questo torregiano di Venere, этим стражем на башне Венеры, который, несомненно, ожидает сладостной награды за свою бдительность...

— Ah, con scherziamo!<sup>1</sup> Поговорим напрямик! — вскричал парень. Глаза его сверкнули, и он сделал движение, словно и в самом деле готовился сбросить куртку и от слов перейти к делу.

Чиполла не придавал этому особого значения. Ведь в противоположность нам, с опаской переглядывавшимся между собой, **кавалеры** имел дело с соотечественником, чувствовал под ногами родную землю. Он сохранял хладнокровие и вид полнейшего превосходства. С улыбкой кивая на забияку, он обращался к публике, как бы принимая ее в свидетели и приглашая вместе с ним посмеяться над драчливостью и простонародной грубостью противника. А затем произошло нечто странное и жутковатое, каким-то постыдным и загадочным образом превратившее эту воинственную сцену на эстраде в пошлый фарс и отчасти обяснившее нам невозмутимое спокойствие Чиполлы.

Чиполла подошел к парню еще ближе, как-то по-особенному наглядывая ему в глаза. Он даже начал спускаться в зрительный зал по лесенке, слева от нас, но остановился на полдороге; теперь он стоял против спорщика. Хлыст висел у него на руке.

— Ты не расположен шутить, сынок, — сказал он, — да это и понятно, каждый видит, что тебе нездоровится. Твой язык, чистота которого оставляет желать лучшего, свидетельствует об остром расстройстве желудка. Не следует посещать вечерние представления, когда так плохо себя чувствуешь, ты, я знаю, и сам колебался, не лучше ли тебе лечь в постель и поставить на живот согревающий компресс. Непростительное легкомыслие выпить сегодня после обеда столько этой кислятины — белого вина! А теперь у тебя такие рези в животе, что впору корчиться от боли. Ты уж, пожалуйста, не стесняйся! Перестань только противиться кишечным спазмам — и тебе сразу же станет легче!

В то время как он держал эту речь, слово за слово, с спокойной настойчивостью и с каким-то суровым участием, глаза его, отекавшие и слезящиеся, но горящие внутренним огнем, безотрывно впились в глаза молодого человека; это был очень странный взор, и мы понимали, что партнер не в силах оторваться от него не из одной только мужской гордости. На бронзовом

---

<sup>1</sup> Ах, довольно шутить! (итал.)

лице юноши не осталось и следа былой надменности. Он глядел на кавалере, разинув рот, улыбался растерянню и жалобно.

— Согнись! — повторил Чиполла. — Что тебе еще остается? Нельзя не скорчиться, когда так одолевает боль! Ты ведь не станешь упираться и сдерживать естественное, чисто инстинктивное движение, лишь бы сделать мне наперекор.

Молодой человек медленно поднял плечи, прижал руки к туловищу, скрестив их на животе, тело его подалось вперед и стало клониться все ниже и ниже, почти к самой земле; он весь скорчился с повернутыми внутрь коленями, — олицетворение обезображивающей муки. Чиполла оставил его в этой позе на несколько секунд, затем рассек хлыстом воздух и, ковыляя, вернулся к круглому столику, где опорожнил еще одну рюмку коньяку.

— Il boit beaucoup <sup>1</sup>, — заметила одна дама позади нас.

И это все, что бросилось ей в глаза? Нам еще было неясно, разобралась ли публика во всем происходящем. Парень уже снова стоял, выпрямившись, и улыбался не без смущения, будто не зная толком, что, собственно, с ним случилось. Затаив дыхание, все следили за этой сценой и встретили ее развязку аплодисментами, крича то «браво, Чиполла», то «браво, Джованотто». Зрители явно не считали, что юноша потерпел поражение: наоборот, они хлопали ему, как актеру, талантливо сыгравшему роль жалкого человека. И в самом деле, он корчился от боли так выразительно и натурально, как заправский актер, рассчитывающий произвести впечатление на галерку. Впрочем, я не уверен, чему следует приписать поведение зрителей, — только ли чувству такта, в котором южане значительно превосходят нас, или же глубокому проникновению в сущность происходящего.

Подкрепившись, кавалере закурил новую сигарету. Теперь можно было опять приступить к арифметическим опытам. На этот раз быстро нашелся молодой человек с галерки, вызвавшийся записывать на доске цифры, которые ему будут диктовать. Его мы тоже знали, и все эти знакомые лица придавали обстановке какой-то интимный характер. Это был приказчик из бакалейно-фруктовой лавки на главной улице, который не раз превосходно обслуживал нас. Он орудовал мелом с привычной ловкостью лавочника, пока Чиполла, спустившись вниз, бродил среди публики своей ковыляющей походкой, собирая двух- трех- и четырехзначные числа, которые ему называли, и тут

---

<sup>1</sup> Он много пьет (франц.).

же повторял их молодому приказчику, а тот записывал на доске одно под другим. Все это, как бы по взаимному молчаливому стонору, было рассчитано на искусство беседы, на шутку и ораторские отступления. Конечно, случалось, что артист обращался к иностранцам, которым нелегко давались итальянские названия цифр; и тогда он долго, с подчеркнуто джентльменской предупредительностью вразумлял их под вежливо сдержанный смех помляков, которых он в свою очередь ставил в тупик, заставляя переводить названия чисел с английского и французского. Некоторые называли цифры, отмечавшие великие даты в истории Италии. Чиолла тотчас же их подхватывал и тут же именовав свои собственные патристические соображения. Кто-то крикнул: «Zero!»<sup>1</sup>, и кавалере, задевший, как всякий раз при попытке разыграть его, в ответ бросил через плечо: «Это больше, чем двузначное число!» Но другой шутник тут же воскликнул: «Ноль, ноль!» — что вызвало смех в публике, падкой, как псо южане, на двусмысленные намеки. Только кавалере продолжал держаться с брезгливым достоинством, хотя он сам и сировоцировал язвительную шутку; пожав плечами, он велел записать и эту цифру.

Когда на доске было записано примерно пятнадцать различных чисел, Чиолла потребовал, чтобы публика сложила их. То, что были опытные, должны были окладывать в уме, другим позволялось прибегнуть к помощи карандаша и блокнота. Пока псо южане подчитывали, Чиолла сидел в кресле подле доски и курил, гримасничая, с самодовольными и претенциозными понадками калеки. Вскоре был подведен общий итог — пятизначное число. Кто-то назвал эту цифру, другой ее подтвердил, у третьего результат вычисления слегка не сходилась, у четвертого итог опять совпадал. Чиолла встал, стряхнул пепел с сюртука, приподнял лист бумаги на доске, в правом верхнем углу, и покзал то, что было написано под ним. Там значилась та же сумма, что-то около миллиона. Он заранее записал ее.

Общее изумление и гром аплодисментов. Дети обомлели. «Каким образом ему удалось?» — допытывались они. Мы могли сказать только, что это трюк, объяснить который не так-то просто, иа то этот человек и фокусник. Теперь-то они уже знали, что такое вечер фокусов. Ведь это же и вправду чудеса — сначала у рыбака вдруг начались рези в животе, а теперь на доске очутился готовый итог; у детей блестяли глазенки, и мы с беспокойством выдвинули, что, несмотря на поздний час — почти

<sup>1</sup> Ноль (итал.)



половина одиннадцатого, — их нелегко увести домой. Слез тут не миновать. Между тем мы отлично понимали, что горбун отнюдь не занимается фокусами, что никакой ловкости рук тут нет и что все это представление не для детей. Не знаю, конечно, что обо всем этом думала публика; но вряд ли здесь имел место свободный выбор при названии слагаемых; может быть, тот или иной из опрошенных и называл первую пришедшую ему на ум цифру, но в целом было ясно, что Чиполла подбирает себе людей и весь процесс под давлением его воли направляется к заранее намеченной цели; тем не менее нельзя было не восторгаться его поразительными способностями к счету, хотя все прочее, как ни странно, не вызывало восхищения. И вдобавок ко всему еще патриотизм Чиполлы и его повышенное чувство собственного достоинства; возможно, что соотечественники кавалере чувствовали себя здесь в своей стихии и настроились на шуточный лад, но на человека со стороны вся эта путаница действовала удручающе.

Впрочем, Чиполла сам радел о том, чтобы его фокусы не вызвали сомнений у сколько-нибудь смыслящих в этом ремесле людей. Он не называл ни одного имени, ни одного технического термина. Вернее, он говорил и об этом, так как болтал без умолку, но только в самом неопределенном, напыщенном и хвастливом тоне. Некоторое время он следовал по проторенной дорожке, продолжая экспериментировать в том же духе, сначала усложняя вычисления с помощью других арифметических действий, а затем до крайности упрощая их, чтобы наглядно продемонстрировать, как это делается. Иногда он предлагал просто «отгадывать» числа, заранее написанные им и прикрытые листом бумаги. Это почти всегда сходило удачно. Правда, кто-то заявил, что он, собственно, собирался назвать другую цифру, но в это самое мгновение кавалере щелкнул хлыстом в воздухе, и у него с языка сорвалось именно то число, которое стояло на доске. Чиполла, смеясь, пожал плечами. Он притворился пораженным пронизательностью своих случайных ассистентов; но в его комплиментах было столько унижительной иронии, что участники опыта едва ли чувствовали себя польщенными, хотя и улыбались в ответ, приписывая себе известную долю успеха. Кроме того, мне казалось, что артист не завоевал симпатии зрителей. В публике чувствовалось какое-то недоброжелательство, скрытое сопротивление; однако, помимо обязывающих к одержанности приличий, публике импонировало мастерство Чиполлы, его суровая самоуверенность, и хлыст, по-моему, тоже немало способствовал тому, что мятеж так и не вырвался наружу.

После арифметических опытов он вынул из кармана две колоды и перешел к карточным фокусам. Насколько мне помнится, основной эксперимент заключался в следующем: он брал, не глядя, из одной колоды три карты, прятал их во внутренний карман куртки и затем предлагал любому желающему вытянуть из другой колоды те же карты, — надо сказать, что опыт не всегда удавался: случалось, что совпадали только две карты из трех, но в большинстве случаев Чиполла с торжеством открывал свои три карты и сдержанно благодарил за аплодисменты — невольную дань его искусству. Молодой итальянец с тонкими чертами гордого лица, сидевший в переднем ряду справа, изъявил готовность вытянуть карты, но, добавил он, только по собственному выбору и сознательно противясь какому бы то ни было внушению. Как Чиполла мыслит себе исход опыта в таких условиях, осведомился он.

— Вы несколько затрудните мою задачу, — отвечал кавалере. — Но ваше сопротивление не изменит конечного результата. Существует свобода, существует и воля; но свободы воли не существует, ибо если бы воля была свободна, она неминуемо сорвалась бы в пустоту. Вы вольны тянуть или не тянуть карту из колоды. Но, решившись, вы непременно вытянете ту, которая нужна мне, и тем верней, чем больше будете упорствовать.

Надо признать, нельзя было лучше подобрать слова, чтобы замутить воду и вызвать в душах смятение. Строптивый молодой человек, нервничая, медлил протянуть руку к колоде. Вынув карту, он пожелал тотчас же убедиться, имеется ли такая карта у фокусника в кармане.

— К чему это? — удивился Чиполла. — Зачем проделывать половину работы? — Но так как упрямец продолжал настаивать на предварительной проверке: — *E servito!*<sup>1</sup> — продолжал фигляр с несвойственными ему лакейскими ужимками и показав, не глядя, три карты, сложенные веером. Слева торчала та, которая требовалась.

Борец за свободу воли, рассерженный, вернулся на место под аплодисменты зрителей. Одному черту известно, сыграли здесь роль прирожденные таланты Чиполлы или же он был обязан своим успехом механическим трюкам и ловкости рук. Признав, что дело тут не обошлось без лукавого, зрители стали с любопытством смаковать редкостное развлечение, отдавая должное бесспорному профессиональному мастерству Чиполлы.

---

<sup>1</sup> К вашим услугам! (итал.)

Около нас то и дело раздавались возгласы: «Lavoga bene»<sup>1</sup>, свидетельствовавшие о победе чувства справедливости над антипатией и молчаливым возмущением.

После своего последнего успеха, неполного, но зато тем более впечатляющего, Чиполла снова подкрепился коньяком. Он и в самом деле много пил, и смотреть на это было как-то неприятно. Видимо, коньяк и сигареты были ему необходимы для поддержания и восстановления нервной деятельности, к которым, как он намекнул, сейчас предъявлялись многообразные и суровые требования. И правда, в промежутках между номерами он выглядел плохо, весь какой-то поникший, с глубоко запавшими глазами. Впрочем, рюмка коньяку немедленно взбадривала его, и он продолжал говорить дерзко и оживленно, в то время как сизый дым от сигареты вырывался у него, казалось, прямо из легких. Я хорошо помню, что после карточных фокусов он перешел к салонным играм, основанным на подсознании, интуиции и «магнетической» передаче мыслей, — короче говоря, на низших формах ясновидения. Не помню только, в каком порядке и в какой внутренней связи следовали один за другим отдельные номера. К тому же я боюсь наскучить вам описанием этих опытов; всем они известны, каждому доводилось принимать в них участие, искать спрятанные предметы, слепо выполнять сложные, последовательные действия, повинаясь таинственному импульсу, исходящему от окружающих. При этом каждый из нас, скептически покачивая головой, высказывал свои скромные соображения о нечистой двусмысленности и путаной сущности оккультизма, провозвестники которого в силу своей человеческой природы тяготеют к мистификации и надувательству, что отнюдь не ставит под сомнение все составные части этой своеобразной амальгамы. Скажу только, что эффект, естественно, усиливается и впечатление становится несравненно глубже и многогранней, когда распорядителем и главным лицедеем этой темной игры является такой человек, как Чиполла. Он сидел в глубине эстрады, спиной к публике, и курил, пока где-то там, в темном зале, мы уславливались о том, что ему предстояло выполнить, или же передавали из рук в руки предмет, который он должен был сначала найти, а потом молча проделать с ним предугазанные нами действия. Затем происходило все то, что обычно происходит на такого рода сеансах: чародей зигзагами двигался по залу, откинув голову и вытянув вперед руку, то останавливаясь и словно к чему-то прислушиваясь, то

---

<sup>1</sup> Чистая работа (итал.).

будто вслепую хватая воздух, а потом вдруг, точно по наитию, оборачиваясь в нужном направлении; при этом он держал за руку посвященного в секрет проводника, который должен был пассивно всюду следовать за ним, но в то же время мысленно сосредоточиться на задуманном. Казалось, роли переменялись, магнетический ток устремился в обратном направлении, и артист не раз подчеркивал это в своей безостановочной речи. Теперь страдающей, воспринимающей, повинующейся стороной сделался тот, кто так долго оставался властелином чужих желаний; его собственная воля была выключена, и он в свою очередь выполнял незримо нависшую над ним коллективную волю. Впрочем, он тут же объяснил, что это две стороны одной и той же медали. Способность отрешиться от своего «я», утверждал он, сделаться слепым орудием, повиноваться абсолютно и безоговорочно — это лишь обратная сторона умения хотеть и повелевать; по существу это та же сила; властвование и подчинение неразрывно связаны в своем единстве, основаны на одном и том же принципе: кто умеет повиноваться, тот способен повелевать, и наоборот, одна идея содержится в другой, как идея народа и вождя. Во всяком случае, на его, Чиоллы, долю выпала чрезвычайно суровая и изнурительная задача — одновременно играть роль начальника и подчиненного, когда воля переходит в послушание, а послушание становится волей; в его личности сочетаются в зародыше оба начала, а дается это очень и очень нелегко.

Он так часто и настойчиво утверждал, что ему приходится тяжело, как будто хотел объяснить публике свою потребность то и дело прикладываться к рюмке с живительной влагой.

Он двигался ощупью, словно лунатик, которого направляет и несет на крыльях тайная воля окружающих. Вытащив сверкающую камнями булавку из башмака одной англичанки, куда ее спрятали, он понес ее, спотыкаясь, останавливаясь и снова устремляясь вперед, к другой даме — синьоре Анджольери; став на колени, он вручил ей булавку, произнося при этом задуманные приятелями слова, правда, немудреные, но которые не так-то легко было отгадать, тем более что их нужно было сказать по-французски: «Примите сей дар в знак моего поклонения!» — и нам казалось, что в этом условии таился злой умысел. Жажда чудес боролась в публике с желанием, чтобы этот высокомерный человек потерпел поражение. Любопытно, что Чиолла, стоя на коленях перед мадам Анджольери, бился над заданной фразой, начиная ее то так, то этак. «Я должен что-то сказать! — твердил он. — И даже знаю, что именно. И в то же время

чувствую, что, начав говорить, произнесу не те слова. Остерегайтесь подсказать их мне! Ни одного жеста!» — вскричал Чиполла, хотя, без сомнения, именно на это он втайне и рассчитывал. «Pensez très fort!»<sup>1</sup> — воскликнул он вдруг на скверном французском языке и сразу же выпалил нужную фразу, правда, по-итальянски; вато последнее и наиболее важное слово он все-таки произнес на языке, видимо совершенно ему чуждом, ибо «venerazione» он выговорил как «vépération»<sup>2</sup>, да еще с каким-то немыслимым носовым звуком в конце слова. Публика приветствовала его бурными аплодисментами, теперь после ряда триумфов — после того, как Чиполла нашел булавку, угадал ее владелицу и опустился перед ней на колени, — эта частичная догадка произвела еще больший эффект, чем если бы то была полная победа.

Чиполла поднялся и отер пот со лба. Вы понимаете, что, рассказывая о булавке, я привел лишь образчик его работы, наиболее врезавшийся мне в память. Однако Чиполла много раз изменял основной фокус, затрачивая на это немало времени, и всякий раз сочетал его с новыми импровизациями, которым способствовал его непрерывный контакт с публикой. Больше других, казалось, вдохновляла его наша хозяйка: она внушала ему ошеломляющие откровения.

— От меня не укрылось, синьора, — обратился он к ней, — что у вас в жизни были особенные, славные годы. Тот, кому дано видеть, ясно различит над вашим прекрасным лбом сияние, в прошлом, если не ошибаюсь, еще более яркое, да, да, медленно угасающее сияние... Ни слова! Не подсказывайте мне! Рядом с вами супруг, не так ли? — обратился он к молчаливому господину Анджольери. — Вы муж этой дамы и наслаждаетесь неомраченным счастьем. Но в это счастье вторгаются воспоминания... царственные воспоминания. Прошное, мне кажется, играет в вашей жизни, синьора, большую, очень большую роль. Вы знали короля... В давно минувшие годы на вашем жизненном пути встретился король?

— Не совсем так, — чуть слышно пролепетала добрая фея наших супов и жарких; ее золотисто-карие глаза засияли на аристократически бледном лице.

— Не совсем так? Нет, не король, я говорил приблизительно, грубо. Не король, не князь, но все же царственная личность, властелин в высоком мире духа. Великий артист, и вы когда-то

---

<sup>1</sup> Думайте напряженней! (франц.)

<sup>2</sup> Venerazione (итал.) и vépération (франц.) — уважение, почтение.

рядом с ним... Вы хотите возразить мне, но не решаетесь, вы знаете, что я уже наполовину угадал. Вот! Великая, прославленная во всем мире артистка, чью дружбу вы знали в ранней юности и чья священная память давно осеняет и преобразует всю вашу жизнь... Имя? Нужно ли называть это имя, с давних пор неразрывно слитое со славой нашей родины и вместе с ней бессмертное в веках? Элеонора Дузе, — заключил он тихо и торжественно.

Маленькая женщина поникла, подавленная его прозорливостью. Зрители бурно зааплодировали, демонстрируя свои патристические чувства. Почти все в зале, и прежде всего постоянцы «Каза Элеонора», знали о почетном прошлом госпожи Анджелиери и, следовательно, могли оценить по достоинству интуицию кавалера. Теперь возникал вопрос, знал ли он сам об этой истории: ведь он мог услышать ее тотчас же по приезде в Торре, во время первого профессионального ознакомления с городком... Впрочем, у меня нет оснований подвергать рационалистическому сомнению его дар, тот самый дар, который на наших глазах сделался для него роковым.

Объявили антракт, и наш повелитель удалился. Признаюсь, что почти с самого начала своего рассказа я страшился подойти к этому моменту. Угадать человеческие мысли вообще не слишком трудно, а уж здесь и подавно. Вы, разумеется, спросите меня, почему мы все-таки не ушли, и я не сумею вам на это ответить. Я сам не знаю и никакого оправдания себе подыскать не могу. Был уже двенадцатый час, а может, и того больше. Дети уснули. Последняя серия опытов наскучила им, и природе нетрудно было вступить в свои права. Они спали у нас на коленях, девочка — у меня, мальчик — у матери. С одной стороны, это, конечно, было утешительно, но в то же время служило напоминанием, что пора сжалиться над детьми и уложить их в постель. Уверяю вас, мы хотели внять этому трогательному напоминанию, искренне хотели. Мы разбудили бедняжек, говоря, что теперь-то уж наверно время идти домой. Но малыши, едва очнувшись, принялись умолять нас остаться, а вы сами знаете, что увести детей до окончания какой-либо забавы можно только силой, уговорить их невозможно. Им так хорошо здесь, у волшебника, жалобно уверяли они, надо подождать, что будет дальше, ведь ужасно интересно, с чего он начнет после антракта, а пока они немножко поспят, только не надо домой, не надо в постель, пока продолжается этот чудесный вечер!

Мы уступили, уступили, как нам казалось, только отчасти, решив посидеть еще несколько минут — не больше. То, что мы

все-таки остались, было непростительно и... необъяснимо. Казалось ли нам, что мы должны быть последовательны до конца и, сказав «а», сказать также «б», раз уж мы все равно сделали ошибку, приведя сюда детей? Но я считаю такое объяснение недостаточным. Может быть, мы сами были увлечены? И да и нет. Кавалере Чиполла внушал нам в высшей степени противоречивые чувства; но, если не ошибаюсь, так было со всеми зрителями, и все же никто не уходил. Поддались ли мы колдовству этого человека, столь странным образом зарабатывающего свой хлеб, чарам, исходившим от него даже вне программы, в перерывах между номерами, и парализовавших нашу решимость? С таким же успехом можно было сказать, что мы остались просто из любопытства. Конечно, нам хотелось знать, как закончится этот столь необычно начавшийся вечер; вдобавок Чиполла, уходя, торжественно заверил публику, что у него припасено для нас еще много интересного и что мы увидим еще более эффектные номера.

Но все это не то, или, другими словами, это далеко не все. Вернее было бы сразу ответить на оба вопроса: почему мы сейчас не ушли домой с представления и почему мы раньше не уехали из Торре? По-моему, это один и тот же вопрос, и, чтобы выпутаться, я мог бы просто напомнить, что уже раз ответил. Здесь царил та же странная, напряженная, тревожно-унизительная и гнетущая атмосфера, как и повсюду в Торре; более того, в этом зале, как в фокусе, сосредоточились томление, жуть и нервная завинченность, которыми, словно электрическим током, было заряжено все вокруг; и человек, возвращения которого мы ожидали, казался нам живым воплощением этого злого начала. Итак, раз уж мы не уехали из Торре, нелогично было бы уходить с представления, то есть сделать то же самое, но как бы в меньшем масштабе. Так я понимаю наше нежелание сдвинуться с места; удовлетворяет вас это объяснение или нет — дело ваше!

Десятиминутный антракт растянулся почти на полчаса. Обрадованные нашей уступчивостью, дети больше не спали, а развлекались, перекидываясь словечками с местными жителями: с Антонио, с Гискарди, с лодочником. Сложив ладошки рупором у рта, они кричали рыбакам приветствия, перенятые от нас: «Дай бог завтра побольше рыбки!», «Чтоб в сетях было полным-полно!» Они через весь зал крикнули Марио, молодому официанту из «Эсквизито»: «Mario, una cioccolata e biscottiti!»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Марио, шоколад с бисквитом! (итал.)

На сей раз он откликнулся и с улыбкой ответил: «Subito!»<sup>1</sup> Впоследствии мы не раз вспоминали его приветливую, чуть рас-  
свинную и меланхолическую улыбку.

Так прошел антракт, раздался удар гонга, зрители, болтавшие в разных уголках, прервали разговоры и вновь заняли свои места, дети в жадном нетерпении выпрямились на стульях, сложив ручонки на коленях. Сцена все время оставалась открытой. Чиполла вышел своей ковыляющей походкой и немедленно взял на себя роль конферансье, ведущего второе отделение своей программы.

Теперь я объясню вам, в чем дело: этот самоуверенный горбун был самым сильным гипнотизером, какого я когда-либо встречал. Если он пускал пыль в глаза публике, выдавая себя за фокусника, то делалось это исключительно с целью обойти полицейские правила, категорически запрещающие заниматься этой профессией. Возможно, что в Италии в подобных случаях принята эта чисто формальная маскировка, и власти либо мирятся с ней, либо смотрят сквозь пальцы. Как бы то ни было, Чиполла с самого начала фактически даже не особенно старался скрыть подлинный характер своих номеров, а второе отделение программы было целиком и полностью посвящено специальным опытам обезличения человека и подчинения его чужой воле, хотя Чиполла прикрывал это ораторскими приемами. В целой веренице комических, волнующих, ошеломляющих опытов, которые к полуночи были в полном разгаре, нам продемонстрировали все феномены этого естественно-таинственного мира — от самого незначительного до чудовищного. Зрители, поработанные суровой, волевой личностью, жадно следили за всеми причудливыми подробностями со смехом и аплодисментами, качая головой, хлопая себя по коленям, хотя — так мне по крайней мере казалось — втайне и возмущаясь против того своеобразного унижения, которое несли всем и каждому триумфы Чиполлы.

Две вещи играли в этих триумфах главную роль: рюмка живой влаги и хлыст с рукояткой в форме когтя. Вино должно было вновь и вновь разжигать его демоническую силу, видимо иссякавшую без такого подкрепления; и мы могли бы по-человечески встревожиться за него, если бы не второй оскорбительный атрибут его власти. Свистящий хлыст, с помощью которого он нагло правил нами, возбуждал в нас отнюдь не сентиментальные чувства потрясенного и мятежного раба. Нуж-

---

<sup>1</sup> Сю минуту! (итал.)



дался ли Чиполла в чувствах более кротких? Претендовал ли на наше сострадание? Или хотел того и другого? В память мне врезалась одна его ревнивая фраза, сказанная в самый ответственный момент опытов, когда ему удалось с помощью пассов и дуновений привести в каталептическое состояние одного молодого человека, всецело и немедленно подчинившегося влиянию гипнотизера. Оцепенение, в которое впал этот юноша, было настолько полным и глубоким, что Чиполла смог уложить его ногами и затылком на спинки двух стульев и вдобавок еще и сам вагромоздился ему на живот, причем одеревенелое туловище нисколько не прогнулось. Вид этого злобного чудовища в вечернем костюме, скрючившегося на оцепенелом теле, казался чем-то до того неправдоподобным и омерзительным, что публика, представив себе, какие муки должна была терпеть злополучная жертва «научных» забав, возопила о милосердии.

— *Poveretto!* Бедняга! — кричали добродушно настроенные зрители.

— *Poveretto!* — с горечью передразнивал Чиполла. — Сказано не по адресу, господи! *Sono io il poveretto!*<sup>1</sup> Это я терплю все муки.

Мы выслушали поучение. Ладно, пусть так, пусть он несет на себе всю тяжесть своих опытов, пусть даже мучается воображаемыми желудочными коликами, от которых так жалобно гримасничал Джованотто. Но мы не могли не верить своим глазам, и среди нас едва ли нашлись бы охотники крикнуть «*poveretto*» человеку, который страдает ради унижения других.

Но я забежал вперед и пренебрег расписанием сеанса. Я и сейчас еще полон воспоминаний о мученических подвигах кавальере, но уже не представляю себе их очередности; впрочем, ничто от этого не меняется. Знаю только, что многие продолжительные и сложные опыты, имевшие успех у зрителей, произвели на меня меньшее впечатление, чем некоторые второстепенные и незначительные. Загадочный феномен — человек-скамейка — пришел мне на ум только в связи с вышеупомянутым поучением Чиполлы. Еще меньше поразил меня эпизод с одной пожилой дамой, которую Чиполла усыпил тут же на месте, внушив ей, будто она путешествует по Индии; в трансе она оживленно повествовала о своих приключениях на воде и на суше. Мне лично это все показалось менее безумным, чем случай после антракта, когда высокий широкоплечий военный оказался не в силах поднять руку только потому, что горбун, щелкнув в воз-

---

<sup>1</sup> Это я бедняга! (итал.)

духе хлыстом, внушил ему, что он не может это сделать. Я как сейчас вижу лицо этого усатого, представительного colonnello<sup>1</sup>, когда он, стиснув зубы и в то же время недоуменно улыбаясь, боролся за утраченную свободу движений. Конфузное происшествие! Он, видимо, хотел, но не мог, на самом же деле не мог хотеть, так как его поразила паралич воли, тщетно отстаивающей свою свободу, — иными словами, то самое, что еще раньше издевательски предсказывал господину из Рима наш укротитель.

И тем более я не в силах забыть фантастическую и трогательно смешную сценку с мадам Анджольери. Чиполла угадал ее хрупкую беспомощность перед его гипнотической силой с первого же бесцеремонного взгляда, которым окинул зал. Властью своих колдовских чар он буквально поднял ее со стула, провел по всему ряду и повлек за собой; при этом, желая поярче блеснуть своим искусством, он попросил господина Анджольери громко звать жену по имени: пусть тот бросит на чашу весов свои права и самый факт своего существования, — ведь голос мужа неминуемо пробудит в душе синьоры все, что могло бы встать на защиту ее добродетели против влого наваждения. Но сколь тщетно оказалось все это!

Хлыст Чиполлы издали щелкнул перед супружеской четой, и действие его было таково, что наша хозяйка, содрогнувшись всем телом, вперила взор в колдуна. «Софрония!» — вскричал господин Анджольери (а мы и не знали, что госпожу Анджольери зовут Софрония) и продолжал тревожно окликать ее, так как опасность становилась очевидной: взгляд его жены оставался прикованным к проклятому кавалере. Между тем Чиполла, повесив хлыст на руку, протянул к своей жертве десять длинных желтых пальцев и принялся проделывать перед ее лицом манящие и завлекающие пассы, в то же время шаг за шагом отступая назад. Тогда госпожа Анджольери, смертельно бледная, поднялась с места, повернулась всем телом к закинувшему и, казалось, поплыла за ним. Призрачное и жуткое зрелище! С видом сомнамбулы, не шевеля оцепенелыми плечами, чуть-чуть приподняв красивые руки и плотно сдвинув ступни, она медленно заскользила от своей скамьи вслед за увлекавшим ее соблазнителем.

— Зовите ее, сударь мой, зовите же! — настойчиво напоминал этот страшный человек.

И господин Анджольери крикнул отчаянным голосом: «Софрония!» Ах, он еще кричал ей вслед, приставив одну руку

---

<sup>1</sup> Полковник (итал.).

рупором ко рту, а другой маня жену к себе, хотя она ускользала от него все дальше и дальше. Но бессильно замирал жалкий голос любви и долга за спиной у обреченной, и госпожа Анджольери, околдованная и бесчувственная, по мановению горбуна, скользящей походкой лунатика уносилась вдаль к выходу. Создавалось полное и несомненное впечатление, что она готова следовать за своим повелителем, если он этого пожелает, хоть на край света.

— *Accidentel*<sup>1</sup> — не своим голосом крикнул господин Анджольери и вскочил с места, когда они были уже у самой двери.

Но в это мгновение кавалере, словно отказавшись от лавров победителя, прервал опыт.

— Довольно, синьора, благодарю вас, — обратился он к своей даме, словно свалившейся с облаков, и с галантностью комедианта предложил ей руку, чтобы отвести к господину Анджольери. — Сударь мой, — сказал он, отвечивая поклон, — вот ваша супруга! С глубочайшим уважением вручаю ее вам в целости и сохранности! Берегите всеми силами, как подобает мужчине, это сокровище, всецело преданное вам, и удвойте бдительность, памятуя, что есть силы более могущественные, нежели разум и добродетель, и эти силы лишь в исключительных случаях способны на великодушное отречение.

Бедный господин Анджольери, молчаливый, лысый! Ведь он едва ли был способен уберечь свое счастье и от менее демонического врага, чем тот, кто сейчас к вызванному им ужасу присоединил еще и насмешку. Важный и напыжившийся, кавалере вновь поднялся на эстраду под гром аплодисментов, с удвоенной силой приветствовавших его красноречие. Если не ошибаюсь, именно после этой победы авторитет его возрос настолько, что он мог заставить публику плясать, — да, плясать, в буквальном смысле слова. В этот поздний ночной час зрителями овладело какое-то странное извращение чувств, полное смятение умов, полный распад воли, так долго противившейся воздействию этого отталкивающего человека. Правда, ему пришлось еще жестоко побороться за абсолютное господство над залом: строптивость молодого римлянина, подавшего своей невосприимчивостью к внушению опасный пример публике, грозила подорвать могущество кавалере. Но Чиполла прекрасно понимал, как важно подать пример; поэтому он тактически сосредоточил огонь на наименее защищенном пункте противника и заставил открыть плясовую оргию именно того самого болезнен-

---

<sup>1</sup> Катастрофа! (итал.)

пого и склонного к обезличению юношу, которого уже раньше, по время сеанса, превратил в бесчувственный кусок дерева. Стоило только кавалюре взглянуть на этого молодого человека, как тот, словно громом пораженный, немедленно откидывал назад тело и, вытянув руки по швам, впадал в некий воинственный сомнамбулизм, так что невозможно было усомниться в его фактической готовности повиноваться любому приказу. Слепая покорность была ему по вкусу, и, видимо, он рад был избавиться от своего ничтожного «я», — то и дело напрашивался на роль «подопытного» и считал честью как можно быстрее и полнее поддаваться внушению, являя собою образец обезличения и утраты воли. И на этот раз, как только он взобрался на эстраду, достаточно было кавалюре разок щелкнуть хлыстом, чтобы заставить его протанцевать «step»<sup>1</sup> в каком-то блаженном экстазе, с закрытыми глазами и трясущейся головой, дрыгая из стороны в сторону тощими руками и ногами.

Очевидно, это было приятное занятие, так как вскоре нашлись и другие желающие: еще двое юношей, один скромно одетый, другой в элегантном костюме, принялись отплясывать «step» рядом с первым танцором. Тут опять выступил господин из Рима и с вызывающим видом осведомился, берется ли кавалюре обучить его танцам даже против его воли.

— Даже против вашей воли! — ответил Чиполла тоном, которого мне никогда не забыть. И сейчас еще звучат у меня в ушах эти страшные слова: «Anche se non vuole».

И тут начался поединок. Пригубив из рюмки и затянувшись сигаретой, Чиполла поставил римлянина в проходе, лицом к двери, а сам стал позади него и, замахнув хлыстом, приказал: «Ballal!»<sup>2</sup> Противник не сдвинулся с места. «Ballal!» — отчетливо повторил кавалюре и щелкнул пальцами. Все видели, что молодой человек двинул шеей под воротничком, одновременно рука его дернулась и пятка вывернулась наружу. Этими конвульсивными движениями, то усиливавшимися, то вновь замиравшими, долгое время дело и ограничивалось. Каждому было ясно, что Чиполле придется преодолеть твердую решимость сопротивляться, героическое упорство; его мужественный противник отстаивал честь рода человеческого, он весь дергался, но не уступал, и поэтому опыт настолько затянулся, что кавалюре пришлось делить свое внимание между сценой и зрительным залом; время от времени он оборачивался к пляшущим на эст-

<sup>1</sup> Шаг (англ.). В данном случае — название танца.

<sup>2</sup> Пляши! (итал.)

раде марионеткам и щелкал хлыстом, обуздывая их; при этом он объяснял публике, что, сколько бы ни бесновались эти одержимые, все равно они потом не почувствуют ни малейшей усталости, так как, собственно, пляшут не они, а он сам, Чиполла. Затем он снова вонзал сверлящий взгляд в затылок римлянина, устремляясь на штурм твердыни, которая грозила его владычеству.

Мы видели, как зашаталась эта твердыня под непрерывными ударами и повелительными окриками, — наблюдали это с дежовитым интересом, смешанным с какой-то злорадной жалостью. Насколько я понимаю, римлянин потерпел поражение из-за того, что стоял на позиции чистого нигилизма. Видимо, одно только нежелание не может быть источником душевной энергии; не хотеть сделать то или иное — этим жизнь не наполнишь; не хотеть чего-то или вообще ничего не хотеть и все же исполнить требуемое — понятия слишком близкие, чтобы в результате не пострадала свобода воли; именно об этом твердил кавалере между ударами хлыста и приказами; помимо своих обычных профессиональных секретов, он сейчас пользовался и более сложными приемами психологического воздействия.

— Balla! — говорил он. — К чему так мучиться? И это ты зовешь свободой — насилие над самим собой? Una ballatina! <sup>1</sup> Все члены твоего тела рвутся в пляс. А как было бы хорошо дать им наконец волю! Ага, да ты пляшешь! Борьба кончилась, теперь ты счастлив!

Так оно и было: дрожь и конвульсии во всем теле упрянца становились неудержимыми, его руки взметнулись кверху, колени вздернулись, все суставы задвигались, и он пустился в пляс, высоко вскидывая руки и ноги; в таком виде, под аплодисменты зрителей, кавалере вывел его на эстраду, к другим заводным куклам. Все видели теперь побежденного там, на сцене: наслаждаясь, он полузакрыв глаза, лицо расплылось в улыбку. Все-таки это было утешение — сознать, насколько лучше ему теперь, чем во времена его бывлой гордыни...

Можно смело сказать, что падение римлянина произвело сенсацию. Лед был сломан, Чиполла торжествовал, и жезл Цирцеи, этот свистящий кожаный хлыст с рукояткой в форме когтя, властвовал безраздельно. В момент, о котором я рассказываю — было, наверно, уже далеко за полночь, — на маленькой сцене плясало человек восемь-девять, да и в зале начиналось

---

<sup>1</sup> Только один танец! (итал.)

оживление; некая представительница англосаксонской расы, длиннозубая, в пенсне, выйдя из рядов, отплясывала в проходе тарантеллу, хотя маэстро и не помышлял о ней. Тем временем Чиполла, небрежно развалившись на плетеном стуле с левой стороны сцены, курил, приняв весьма вызывающий вид, и выпускал дым сквозь свои безобразные зубы. Притоптывая ногой и изредка с усмешкой пожимая плечами, он глядел на всеобщую разнузданность, воцарившуюся в зале, и порой, не оборачиваясь, шелкал хлыстом перед каким-нибудь уже почти выдохшимся плясуном. Дети, несмотря на поздний час, все еще не спали — я вспоминаю об этом со стыдом. Атмосфера в зале была нездоровая, особенно для детей, и, если мы до сих пор не увели их отсюда, я объясняю это только одним — мы тоже поддались развинченности, охватившей всех присутствующих. Конечно, теперь уже было все равно. Слава богу, что дети хоть не понимали всей двусмысленности этого вечернего увеселения. Их невинные души без конца упивались небывалым событием — такой спектакль, вечер мага и волшебника! Они нет-нет да и засыпали на коленях у нас, а потом, проснувшись, с разгоревшимися щеками и затуманенными глазками, от души хохотали над прыжками, которые делали зрители по повелению Чиполлы. Им и в голову не приходило, что здесь будет так интересно, и, как только в зале раздавались аплодисменты, они тоже начинали весело хлопать неумелыми ручонками. Но в каком восторге они запрыгали на стульях, когда Чиполла поманил их друга Марио из «Эсквизито», — и поманил именно так, как описывается в сказках, поднеся руку к носу и попеременно то сгибая указательный палец крючком, то разгибая его.

Марио повиновался. Я и сейчас вижу еще, как он поднимается по ступенькам к кавалюере, продолжающему все так же манерно манить его пальцем. На мгновение молодой человек заколебался — я точно припоминаю. Весь вечер он стоял у деревянного столба в боковом проходе налево, подле Джованотто с шевелюрой воина, скрестив руки или засунув их в карманы, и внимательно, хоть и довольно меланхолично, следил за происходящим, едва ли хорошо понимая, что здесь творится. Ему было явно не по сердцу, что под конец и его привлекли к участию. И все же вполне понятно, что он последовал знаку Чиполлы. Такая уж у него выработалась профессиональная привычка; к тому же невозможно представить себе, чтобы этот скромный малый посмел послушаться такого окрыленного успехом человека, каким был в этот вечер Чиполла. Волей-неволей Марио отошел от столба и, поблагодарив впереди стоящих, которые,

оглянувшись, освободили ему проход к сцене, поднялся наверх со скептической улыбкой на полных губах.

Представьте себе коренастого двадцатилетнего парня, коротко стриженного, с низким лбом и тяжелыми веками над туманно-серыми, отсвечивающими желтым и зеленым глазами. Я помню его хорошо, так как мы часто перекидывались с ним словечком. Верхняя часть лица с приплюснутым веснушчатом носом как-то ступеньвалась перед нижней, привлекавшей внимание толстыми выпяченными губами, между которыми при разговоре виднелись влажные зубы; эти губы эфиопа и глаза с поволокой придавали его лицу выражение какой-то наивной меланхолии, за что мы всегда симпатизировали Марио. Наружность его никак нельзя было назвать грубой; стоило только взглянуть на его необыкновенно узкие и тонкие руки, аристократичные даже для южанина, чтобы понять, как приятны были их услуги.

Мы знали его как человека, не будучи знакомы лично, если можно так выразиться. Мы виделись с ним почти каждый день. Нам нравились его задумчивый, мечтательный вид, его способность порой впадать в полную отрешенность от всего окружающего, и манера, с какой он, очнувшись, услужливо спешил загладить свою рассеянность. Держался он строго, ~~не~~ угрюмо, но и не угодливо, улыбаясь разве только детям, в манерах его не было и тени притворной любезности; вернее, он нарочно избегал быть любезным, из застенчивости, не надеясь понравиться людям. Так или иначе, он все равно запомнился бы нам, ибо незначительные путевые встречи нередко запоминаются глубже значительных. Мы мало знали об его семье; известно было только, что отец его служит мелким писарем в муниципалитете, а мать — прачка.

Его кельнерская форма — белая куртка — была ему больше к лицу, чем поношенный костюм из дешевой полосатой материи, в котором он поднялся сейчас на сцену; вместо воротничка он повязал вокруг шеи шелковый шарф с огненными разводами, а концы его запрятал под пиджак. Марио подошел к кавалере; но так как тот все еще продолжал манить его, двигая у себя под носом скрюченными пальцами, Марио вынужден был придвинуться еще ближе и стал у самого стула, почти вровень с ногами повелителя; и тогда Чиполла, растопырив локти, схватил его, повернул лицом к публике и смерил с головы до пят небрежно властным и веселым взглядом.

— Как это так, *ragazzo mio*<sup>1</sup>, — спросил он. — Мы только

---

<sup>1</sup> Мой мальчик (*итал.*).

сейчас знакомимся? Впрочем, поверь, я давно тебя знаю. Да, да, я сразу тебя заприметил и убедился в твоих исключительных достоинствах. Как же это я мог позабыть о тебе? Впрочем, всего не упомнишь... Скажи мне, как тебя зовут? Мне нужно твое имя, а не фамилия.

— Меня зовут Марио, — тихо ответил молодой человек.

— Ах, Марио, прекрасно! Что же, это весьма распространенное имя. И вдобавок античное, одно из тех, которые напоминают о героических традициях нашей родины. Bravo! Salve!<sup>1</sup> — И, подавшись кривым плечом вперед, он сделал древнеримский жест приветствия — высоко взметнул руку наискосок, ладонью вверх. Пожалуй, он немного опьянел, да это и не удивительно; но речь его лилась по-прежнему плавно и отчетливо. Зато в его манере, интонации, во всем его облике теперь появилось нечто напоминающее сытого тигра или турецкого пашу, какая-то заносчивость, высокомерие.

— Так вот, мой Марио, — продолжал он, — как хорошо, что ты пришел сегодня вечером да еще надел нарядный шарф, который тебе чудо как идет и от которого, верно, будут без ума все девушки, прелестные девушки Торре ди Венере.

Со стоячих мест, оттуда, где еще недавно Марио наблюдал за зрелищем, послышался смех — ха-ха-ха! Это Джованотто с шевелюрой воина, в куртке, накинутой на одно плечо, расхохотался грубо и язвительно.

Марио, как мне показалось, пожал плечами. Во всяком случае, он вздрогнул, но, возможно, это было почти бессознательное движение, вызванное желанием скрыть свои истинные чувства, притвориться, будто ему безразличны и шарф, и прекрасный пол.

Кавалере мельком взглянул вниз.

— Что нам до этого парня, — сказал Чиполла, — он, наверно, завидует твоему шарфу и успеху у девушек, а может быть, и тому, что мы так по-приятельски беседуем тут, наверху, ты да я... Если ему уж так хочется, я могу сразу же напомнить про колик в животе. Это мне ничего не стоит. Скажи-ка лучше, Марио: нынче вечером ты развлекаешься?.. А днем ты, кажется, служишь в галантерейной лавке?

— В кафе, — поправил его юноша.

— Ага, да-да, в кафе! Вот и Чиполла разочек промахнулся. Ты — самегиеге<sup>2</sup>, виночерпий, Ганимед, — это мне нравится,

---

<sup>1</sup> Привет! (лат.)

<sup>2</sup> Официант (итал.).



еще одно напоминание об античных временах, *salvietta*<sup>1</sup>— И кавалере, к вящему удовольствию публики, еще раз приветствовал Марио древнеримским жестом.

Марио тоже улыбнулся.

— Правда, раньше я служил приказчиком в Порто Клементе,— признался он. В этом замечании сказалось чисто человеческое желание помочь ясновидцу, дать ему наводящие указания.

— Так, так! В галантерейной лавке!

— Там торговали щетками и гребешками,— уклончиво отвечал Марио.

— Не говорил ли я, что ты не всегда был Ганимедом, с салфеткой под мышкой. Если Чиполла когда и даст маху, все же так можно на него положиться. Скажи, ты доверяешь мне?

Марио сделал неопределенный жест.

— Это уклончивый ответ,— заметил кавалере.— Нелегко, видно, завоевать твое доверие. Даже мне оно достанется с трудом. На лице у тебя печать тайной грусти, *un tratto di malinconia*<sup>2</sup>. Скажи,— и с этими словами он схватил Марио за руку,— у тебя горе?

— No, signore!<sup>3</sup>— ответил Марио поспешно и решительно.

— Нет, ты грустишь,— настаивал фокусник, властно подавляя сопротивление своего собеседника.— Разве могло это от меня укрыться? Не пытайся провести Чиполлу! Конечно, здесь замешаны девушки,— вернее, одна девушка. У тебя любовная печаль.

Марио энергично покачал головой в знак отрицания. И в тот же миг подле нас раздался грубый хохот Джованотто. Кавалере насторожился. Взор его блуждал где-то в пространстве, но все же Чиполла прислушался к смеху и затем, как уже не раз в разговоре с Марио, щелкнул хлыстом у себя за спиной, через плечо, чтобы подбодрить свою клоунскую команду! Но тут его партнер едва не ускользнул; вздрогнув всем телом, он неожиданно повернулся и бросился к ступенькам. Вокруг глаз у него выступили красные пятна. Чиполла едва успел его задержать.

— Стой, погоди! — вскричал Чиполла.— Вот тебе раз! Ты хочешь удрать, Ганимед, в самый интересный момент? Когда вот-вот все должно выясниться? Оставайся, и ты увидишь

---

<sup>1</sup> Салфетка! (*итал.*)

<sup>2</sup> След меланхолии (*итал.*).

<sup>3</sup> Нет, сеньор! (*итал.*)

чудеса. Обещаю исцелить твою печаль. Эта девушка твоя знакомая, ее знают и твои земляки — как бишь ее зовут? Постой-ка! Ее имя — я прочел его в твоих глазах. Оно вертится у меня на языке, ты и сам, я вижу, рвешься назвать его...

— Сильвестра! — крикнул снизу Джованотто.

Кавальере и глазом не моргнул.

— Бывают же такие наглецы! — заметил он и невозмутимо продолжал беседу с Марио, не устаивая зал даже взглядом. — Бывают же такие горланы-петухи, что кукарекают вовремя и не вовремя! Он у нас с тобой выхватывает имя на лету, да еще, пожалуй, воображает, этакое ничтожество, что у него есть какие-то особые права. Ну, да ладно, плевать нам на него! Но Сильвестра, твоя Сильвестра, да-да, признайся, вот это девушка, верно? Настоящее золото! Сердце играет, когда смотришь, как она ходит, дышит, смеется, — прелесть, да и только. А ее округлые руки, когда она стирает белье и, встряхнув головкой, откидывает со лба прядь волос! Ангел небесный!

Марио усталился на него, вытянув шею. Он, видимо, позабыл о публике и о том, где находится. Красные пятна вокруг глаз у него стали ярче и казались намалеванными. Мне редко случалось видеть что-либо подобное. Полные губы его были полуоткрыты.

— Этот ангел причиняет тебе огорчения, — продолжал Чиполла, — или, вернее, ты огорчаешься из-за него. Это разные вещи, совершенно разные, можешь мне поверить! Любовные ссоры — дело обычное. Кто же и ссорится, если не влюбленные? Ты скажешь, что может знать о любви этот Чиполла со своим маленьким физическим изъяном? Ты жестоко заблуждаешься, он поистине немало знает о ней, он владеет всеобъемлющим и проникновенным знанием ее тайн, и, право же, в любовных делах стоит прислушаться к его суждениям! Но оставим Чиполлу, позабудем его совсем и подумаем о Сильвестре, о твоей очаровательной Сильвестре! Как! Неужели она может предпочесть тебе какого-то ничтожного горлана, и он смеется, когда ты льешь слезы? Предпочесть другого тебе, такому сердечному, симпатичному парню? Невероятно, невозможно! Мы это знаем лучше, Чиполла и она. Вот видишь, я ставлю себя на ее место, и, когда мне приходится выбирать между таким вот олухом неотесанным, сонной рыбой, каракатицей, и Марио — рыцарем салфетки, который всегда вращается в высшем обществе, бойко обслуживает иностранцев и любит меня истинно и пылко, клянусь честью, моему сердцу нетрудно сделать выбор, я знаю, кому я должна подарить это сердце, кому давно уже, краснея,

втайне подарила его... Пришло время, чтобы он прозрел и все понял, мой избранный, чтобы ты меня увидел и узнал, Марио, мой любимый... Скажи, кто я?

Омерзительно было глядеть, как обманщик прихорапывался, кокетливо поводил плечами, томно шурил заплывшие глаза и скалил выщербленные зубы в слащавой улыбке... Ах, но что случилось с нашим Марио, увлеченным этими обольстительными речами? Тяжело рассказывать, так же как тогда тяжело было видеть это выворачивание наизнанку сокровеннейших недр его души, эту отчаявшуюся и охваченную блаженным безумием страсть, публично выставленную на осмеяние. Сгиснув руки, он поднес их ко рту, плечи его дрожали, поднимаясь и опускаясь в такт судорожным вздохам. Видимо, он от счастья не верил своим глазам и ушам, позабыв об одном — что им действительно не следовало верить. «Сильвестра!» — в изнеможении прошептал он сдавленным голосом.

— Поцелуй меня! — сказал горбун. — Поверь, я разрешаю тебе. Я люблю тебя, — и, оттопырив мизинец, он кончиком указательного пальца показал на свою щеку, у самого рта.

Марио нагнулся и поцеловал его.

В зале наступила полная тишина. То был миг жуткий, чудовищный, до предела напряженный, — миг блаженства Марио. В это злосчастное мгновение, когда все слилось в одной страстной мечте, воцарилось полное молчание; но после прискорбного и непристойно нежного прикосновения губ Марио к обманом подsunутой ему гнусной плоти всеобщее напряжение разрядилось громким смехом — это расхохотался Джованотто. В хохоте его, грубом и влорадном, как мне показалось, все же прозвучала нотка жалости к бедному ограбленному мечтателю — далекий отголосок того самого «proveretto», которому позавидовал маг, потребовавший сострадания к себе.

Но не успел еще замереть в воздухе этот смех, как тот, на эстраде, кого так страстно обласкали сейчас, щелкнул хлыстом у ножки стула, и пробудившийся Марио отпрянул. Он стоял неподвижно, уставившись в пустоту, всем телом подавшись назад и прижимая то одну, то другую руку к своим оскверненным губам; внезапно он ударил себя костяшками пальцев по вискам, повернулся и ринулся вниз по ступенькам; зрители зааплодировали, Чиолла, сложив руки на коленях, насмешливо пожал плечами. Уже внизу, в зале, Марио вдруг круто обернулся на бегу, рука его взметнулась, и два оглушительных, отрывистых выстрела — один за другим — прорвались сквозь смех и аплодисменты.

Тотчас же наступило безмолвие. Даже плясуны замерли на месте, вытаращив ошалелые глаза. Чиполла одним прыжком вскочил со стула. Он стоял, вытянув перед собой руки, как бы отстраняя кого-то, защищаясь, пытаясь крикнуть: «Стой! Тихо! Все прочь от меня! Что это?» Но уже в следующее мгновение грузно осел, голова его упала на грудь, и тотчас вслед за этим он боком рухнул на пол и остался лежать неподвижно — бесформенная груда одежды и искривленных костей.

Началась неопишуемая суматоха. Дамы, судорожно рыдая, прятали лицо на груди своих спутников. Требовали врача, полицию. Какие-то люди ринулись на эстраду, толкаясь, окружили Марио, чтобы отобрать у него оружие, вырвать из повисшей руки этот маленький тупой механизм, даже мало похожий на настоящий револьвер, этот крошечный, почти незаметный ствол, который столь непредвиденно и странно направила рука судьбы. Наконец-то мы забрали детей и повели их к выходу, мимо двух подоспевших карабинеров.

— Кончилось? Уже все? — допытывались дети, добиваясь полной уверенности.

— Да, это конец, — подтвердили мы. — Страшный, роковой конец. И все-таки конец, принесший освобождение, — так чувствовал я тогда, так чувствую и по сей день, и не могу чувствовать иначе.

## СЧАСТЬЕ

Чшшш!.. Мы хотим заглянуть в чужую душу, на лету, так сказать мимоходом, всего на нескольких страничках, ведь мы чрезвычайно занятые люди. Мы возвращаемся из Флоренции, из давно ушедших времен. Там речь шла о тягостных и смутных событиях. Они остались позади — а мы, куда пойдем мы? Быть может, ко двору, в королевский замок — кто знает? Странное, блеклое мерцание излучает возникающая пред нами история.

Анна, бедная, маленькая баронесса Анна, у нас так мало времени для тебя!

И раз, и два, и три — звон бокалов, чад, суета, напевное мурлыканье и танцующий шаг, — не скроем, есть у нас маленькие слабости. Не они ли влекут нас в те места, где жизнь справляет свои нехитрые празднества и скорбь глядит особо глубоким и алчущим взором?

— Прапорщик! — на весь зал крикнул барон Гарри, ротмистр, перестав танцевать. Правой рукой он продолжал обнимать свою даму, а левой подбоченился. — Это не вальс, а похоронный звон, старина! У вас в крови нет и намека на ритм! Вы попросту плаваете и барахтаетесь. Пусть лейтенант фон Гельбзаттель снова сядет за рояль, тогда мы хоть потанцуем как следует. Извольте удалиться, прапорщик! Лучше уж танцуйте, если вы на это способны!

И прапорщик поднялся, щелкнул каблуками, звякнув шпорами, и молча уступил место на эстраде лейтенанту фон Гельбзаттелю, который немедленно принялся барабанить по дребезжащему разбитому фортепьяно своими большими, белыми, растопыренными пальцами.

У самого барона Гарри в крови было достаточно ритма — вальс и маршевый шаг, веселье и гордость, четкий душевный строй музыки и победительность. Расшитая золотыми шнурами гусарская куртка превосходно шла к его молодому, оживленному лицу, на котором не было и следа забот или задумчивости. Загар его был того золотистого оттенка, каким отличаются блондины, хотя усы и волосы были темные, — дамы находили это пикантным. Красный шрам на правом виске придавал открытому лицу выражение дерзкой удали. Быть может, его оставил удар шпаги, возможно, падение с коня, — так или иначе, нечто исключительное. Танцевал он как бог.

Прапорщик же действительно плавал и барахтался, если позволено будет употребить иносказательное выражение барона Гарри. У него были такие длинные веки, что он никогда не мог хорошенько раскрыть глаза, да и мундир казался на нем каким-то неуместным, несуразно болтался на теле, и один бог знает, как его угораздило избрать военное поприще. Он неохотно принял участие в кабацком развлечении с «ласточками», но все же пришел, потому что и без того опасался вызвать недовольство, — так как, во-первых, был невысокого происхождения, во-вторых же, за ним числилась некая книжонка — ряд вымышленных историй, которые он сам написал, или, как говорится, выпустил в свет, и теперь всякий мог купить ее в книжной лавке. Разумеется, это вызывало некоторое недоверие к прапорщику.

Зал офицерского казино в Ховендамме, длинный и широкий, был, собственно, слишком обширен для тридцати господ офицеров, нынче вечером развлекавшихся здесь. Стены и возвышение для оркестра были украшены фальшивыми драпировками из красного гипса, а с безвкусно размалеванного потолка свисали

две изогнутые люстры, в которых, чадя и оплывая, горели свечи. Но пол танцевальной площадки еще с утра был основательно натерт семью откомандированными для этой цели гусарами, ведь в конце концов господа офицеры не могли требовать большей пышности от такого медвежьего угла, такого захолустья, как Хоэндамм. К тому же некоторый недостаток блеска в этом празднестве искупался своеобразным, острым душком, который придавало вечеринке чувство недозволенности, запретности, вызванной присутствием «ласточек». Даже несмысленные денщики втихомолку ухмылялись, погружая все новые бутылки шампанского в ведерки со льдом, рядом с накрытыми столиками, расставленными в три ряда по залу. Они переглядывались и усмехались, опуская глаза, как высколенные слуги, молча и безответно принимающие участие в непозволительной проделке господ.

«Ласточки, ласточки!» Ну, короче говоря, «венские ласточки»! Перелетные птички! Их было тридцать, они колесили по всей стране, кочевали из города в город и выступали в залах и варьете невысокого пошиба, развязно и непринужденно распевая чирикающими, веселыми голосами свою боевую песенку, свой коронный номер!

Когда ласточки возвращаются,  
Все их видят, все их видят!

Славная песенка, забавная и легко запоминающаяся; «ласточки» пели ее при шумном одобрении сочувственно настроенной части публики.

Так появились «ласточки» и в Хоэндамме. В Хоэндамме стоял гарнизон — целый полк гусар, — и, таким образом, живейший интерес, вызванный «ласточками», во влиятельных кругах был вполне закономерен. Они вызывали больше, чем интерес, — они вызывали воодушевление. Вечер за вечером просиживали неженатые офицеры у их ног, слушали «ласточкину» песнь и пили в честь девушек желтое гугельфинковское пиво. Вскоре к ним примкнули и женатые офицеры, а однажды вечером собственной персоной появился и полковник Руммлер, который весьма благосклонно прослушал всю программу, после чего везде отзывался о «ласточках» с непререкаемым одобрением.

Тогда-то среди лейтенантов и ротмистров созрел план познакомиться с «ласточками» покороче, поинтимнее, отобрать из них десять самых хорошеньких и пригласить в казино, на пирушку с шипучим вином, и... «черт побери!». В угоду свету высшие чины будто бы не знали об этой затее и были вынуждены

скрепя сердце остаться в стороне. Однако не одни холостые младшие лейтенанты приняли участие в этом развлечении, ротмистры и обер-лейтенанты также пришли, и (что было самым острожекоющим, собственно, гвоздем вечера) даже со своими женами!

Препятствия? Колебания? Лейтенант фон Левцан изрек золотые слова: «Для солдата препятствия и колебания существуют лишь постольку, поскольку он преодолевает их, подчиняет себе!» Пусть добрые хоэндаммовцы, проведая о том, что офицеры сводят своих жен с «ласточками», вознегодуют, они-то, разумеется, не могут позволить себе ничего подобного. Но существует иная жизнь, исполненная дерзаний, иные, высшие сферы, где дозволено то, что в низших сочли бы порочащим и бесчестным! И разве почтенные обыватели Хоэндамма не приучены своими гусарами ко всевозможным неожиданностям? Господа офицеры среди бела дня проезжали верхом по тротуарам, коль скоро это взбрело им в голову. Да, бывало и так. А однажды вечером на рыночной площади разве не стреляли из пистолетов, — надо полагать, и тут не обошлось без офицеров. А хоть кто-нибудь отважился заикнуться по этому поводу? И вот еще одна вполне достоверная история.

Как-то под утро, часов в пять, ротмистр барон Гарри с приятелями, в несколько приподнятом настроении, возвращались домой после ночного бдения; тут были ротмистр фон Хюнеманн, а также обер-лейтенанты и лейтенанты Ле Местр, бароны фон Трухсес, фон Траутенау и фон Лихтерло. Когда господа офицеры следовали через старый мост, им повстречался пекаренок, который свежим утром шел своим путем, неся на плечах большую корзину с хлебами и беззаботно насвистывая песенку. «Сдавайся!» — воскликнул барон Гарри, схватил корзину за ручку и с такой ловкостью, что не выпал ни один хлебец, описав корзиной три круга в воздухе, а затем одним рывком, говорящим о силе его рук, забросил ее по кривой далеко, далеко в мутные воды. Пекаренок, вначале оцепеневший от страха, увидев, как уплывают, идут ко дну его хлебцы, стал испускать жалобные вопли и весь извивался, в отчаянии поднимая руки к небу. Когда господа офицеры вдоволь налюбовались детским горем, барон Гарри бросил пекаренку монету, в три раза превышавшую стоимость содержимого корзины. Затем офицеры пошли дальше. Тут мальчик понял, что имел дело с важными господами, и умолк.

Эту историю вскоре подхватила молва, но никто не посмел возмутиться вслух. Люди улыбались или скрежетали зубами,

но от барона Гарри и его приятелей приняли и это как должное. Они были хозяевами! Господами Хозядамма! Вот так-то полковые дамы и встретились с «ласточками».

Видимо, прапорщик умел танцевать не лучше, чем играть на рояле, потому что, никого не приглашая, он, склонившись в поклоне, присел за один из столиков, подле маленькой баронессы Анны, жены барона Гарри, и, робея, обратился к ней с какими-то незначительными словами. Беседовать с «ласточками» молодой человек был не способен, он просто боялся их, убедив себя, что будет превратно понят девушками такого рода, если даже решится заговорить с ними; это огорчало прапорщика. Но так как его, подобно большинству вялых, недейтельных натур, даже самая плохая музыка приводила в молчаливое, душевно расслабленное, созерцательное настроение, да и баронесса Анна, которой он был совершенно безразличен, отвечала ему рассеянно, они вскоре замолкли, ограничиваясь тем, что с застывшей, немного вымученной улыбкой, странным образом, почти одинаковой у обоих, глядели на плавное кружение танцующих пар.

Язычки пламени в люстрах трепетали, и свечи оплывали так сильно, что теряли первоначальную форму, покрываясь шишковатыми, застывающими наростами стеарина, а под ними, повинуясь огневому ритму лейтенанта фон Гельбзаттель, кружились и скользили пары. Ножки семеняли, приподнимались на носки, делали плавный поворот и улетали дальше. Длинные ноги мужчин слегка сгибались, упруго отталкивались и стремительно уносились прочь. Вихрились юбки. Яркие доломаны гусар мелькали в круговороте. И дамы, в чувственном томлении склонив головки, изгибали стан в объятиях кавалеров.

Барон Гарри обнимал удивительно красивую «ласточку», пожалуй, слишком крепко прижимал ее к своей расшитой шнурами груди и, склонив голову, неотрывно смотрел ей в глаза. Улыбка баронессы Анны следовала за этой парой. Рядом элегантный лейтенант фон Лихтерло вертел маленькую, пухлую, круглую, как шар, и чрезмерно декольтированную «ласточку». А под одной из люстр госпожа ротмистра фон Хюнемани собственной персоной, предпочитавшая шампанское всему на свете, самозабвенно кружилась с третьей «ласточкой» — смазливym, веснушчатым созданием, чье лицо так и сияло от непривычной чести.

— Дорогая моя баронесса, — говорила позже госпожа фон Хюнемани госпоже полковнице фон Трухесс. — Эти девушки вовсе не так уж необразованны, они могут перечислить вам по пальцам все кавалерийские гарнизоны страны.



Танцевала она с «ласточкой» потому, что оказались две лишних дамы; увлекшись, они совершенно не обращали внимания на то, что остальные пары мало-помалу удалились, предоставив им возможность полностью проявить свои таланты. Наконец обе танцовки все же заметили это и, обнявшись, встали посреди зала, пожимая аплодисменты, смех и возгласы «браво!».

Потом пили шампанское — его разливали, бегая от столика к столику, денщики в белых перчатках. А потом «ласточки» должны были еще разок спеть, невзирая на то, что едва переводили дыхание.

Выстроившись в ряд, стояли они на эстраде, занимавшей узкую часть зала, и стреляли глазами. Их плечи и руки были обнажены, а платья — светло-серые вестоны и маленькие черные фраки — напоминали оперенье ласточек. На ногах у них были серые чулки со стрелками и очень открытые туфли на непомерно высоких каблучках. Были здесь блондинки и брюнетки, благодушные толстушки и девицы, отличавшиеся интересной худобой, у одних щеки были грубо и аляповато накрашены, у других набелены, словно у клеунов. Но самой красивой была маленькая брюнетка с детскими руками и миндалевидным разрезом глаз, — та, с которой только что танцевал барон Гарри. Продолжавшая улыбаться баронесса Анна тоже нашла, что она красивей всех.

Теперь «ласточки» запели, и лейтенант фон Гельбзаттель, откинувшись назад и повернув к ним голову, аккомпанировал, лихо стуча по клавишам далеко вытянутыми вперед руками. «Ласточки» стройно пели о том, что они перелетные птицы, повидавшие весь мир, о том, что, улетаю, они уносят с собой все сердца. Они пропели еще одну, чрезвычайно мелодическую песенку, начинавшуюся словами:

Да-да, душки военные,  
Мы их обожаем! —

и кончавшуюся точно так же. Но затем, по настойчивому требованию публики, они еще раз исполнили «ласточкину» песню, и господа офицеры, затвердившие ее наизусть не хуже самих «ласточек», с воодушевлением подтягивали:

Когда ласточки возвращаются,  
Все их видят, все их видят!

Зал дрожал от пения, хохота, звона шпор и топота каблучков, отбивавших такт.

И баронесса Анна тоже смеялась, глядя на этот разгул и необузданное веселье. Она столько смеялась в этот вечер, что у нее разболелись голова и сердце, и теперь охотнее всего она закрыла бы глаза в темноте и отдохнула бы, если бы Гарри не принимал столь деятельного участия в развлечениях. «Сегодня мне весело», — сказала она немножко раньше — в том мгновенье, когда сама верила этому, — своей соседке по столу, но та ответила ей только насмешливым взглядом, и Анна вспомнила, что в обществе не полагается говорить подобные вещи. Если тебе весело — веди себя соответственно, но оповещать, рассказывать об этом по меньшей мере странно, и несдержанно. Сказать же: «Мне сегодня грустно», — и вовсе недопустимо.

Баронесса Анна выросла в полном одиночестве и тишине приморского имения своего отца и до сих пор не могла усвоить прописные светские истины, хотя очень боялась оттолкнуть окружающих и страстно желала быть такой же, как все, чтобы ее хоть немножко любили. У нее были бледные руки и пепельно-белокурые волосы, слишком тяжелые для узкого хрупкого личика. Между светлых бровей залегла поперечная морщинка, придававшая улыбке что-то страдальческое, больное.

Дело в том, что она любила своего мужа. Не надо смеяться над этим! Она любила его даже за историю с хлебами, любила малодушной, унижительной любовью, несмотря на то что он обманывал ее и ежедневно с мальчишеской жестокостью ранил ее сердце. Она была больна любовью к нему, хотя презирала собственную нежность и слабость, как женщина, которая знает, что миром правят сила и грубое веселье. Зная это, она все же отдавалась своей любви, как безоговорочно отдалась Гарри, когда он в кратком порыве нежности посватался к ней. Мечтательное и одинокое создание, влекомое жаждой узнать жизнь со всеми ее страстями и бурями.

И раз, и два, и три — чад, суета, напевное мурлыканье и танцевальный ритм: то был мир Гарри, его царство, и то был мир ее грез, потому что там господствовали веселье, обыденность, любовь и жизнь.

Общительность! Бездумная праздность, расслабляющая, низменная и прельстительная отравка, полная бесплодных соблазнов, распутный недруг покоя и мысли — ты страшна!

Так просиживала она вечера и ночи, истязуемая резким несоответствием между пустотой, ничтожностью окружающего и господствующим здесь лихорадочным весельем, вызванным кофе, вином, чувственной музыкой и танцами, — сидела и смотрела, как Гарри обвораживал красивых веселых женщин, не от

того, что он находил их особо привлекательными, а потому, что его тщеславие требовало, чтобы люди видели, как ему везет, какой он баловень, не ведающий ни отказа, ни неудовлетворенного желания. Сколько боли причиняла ей эта суетность и как она ее любила! Как восхитительно было находить его красивым, юным, обольстительным! Как мучительно любовь других женщин распалая ее собственную! И когда все бывало кончено, когда после пирушки, которую она из-за него проводила в тоске и смятении, Гарри беззастенчиво и самовлюбленно бахвалился недавними победами, — наступали мгновенья, когда ее ненависть и презрение по силе были равны ее любви, и тогда в душе она обзывала его «фатом», «негодяем», пытаясь наказать смехотворным, жалким молчанием.

Мы не ошибаемся, маленькая баронесса Анна? Покуда «ласточки» поют, поговорим же о том, что таится за твоей бедной улыбкой. О том, как под утро ты, униженная и жалкая, лежишь в своей кровати, расходуя душевные силы на измышление шуток, забавных словечек и метких ответов, которые тебе следовало найти, чтобы слыть любезной, — и которых ты не нашла. О серых, предрассветных часах, когда в полусне, ослабев от горя, ты плачешь на его плече, а он утешает тебя одним из своих милых, пустых, незначительных словечек, и тебя внезапно пронизывает сознание нелепости твоих слез на его плече.

Если б он захворал, правда? Самого легкого, пустячного его недомогания было бы достаточно, чтобы перед тобой раскрылось целое царство грез; в своих грезах ты видишь его страждущим мальчиком — вот он лежит перед тобой, беспомощный, слабый, и наконец-то, наконец принадлежит тебе одной. Не стыдись! Не презирай себя! Горе подчас учит плохому, мы знаем это, мы видим это, бедная маленькая душа, не то еще повидали мы в своих странствиях! Но вот о юном прапорщике с чересчур длинными веками ты могла бы немножко позаботиться, он сидит рядом с тобой и охотно разделит бы твое одиночество — он сам одинок. Зачем ты пренебрегаешь им? Зачем не устаиваешь внимания? Потому что он из твоего собственного мира, а не из того, другого, где царят веселье и гордость, ритм и победительность? Да, горько быть чужим в одном мире, да и в другом тоже — это мы знаем! Но примирение здесь невозможно.

Шумные аплодисменты покрыли заключительные аккорды лейтенанта Гельббааттеля. «Ласточки» кончили петь. Минувая ступеньки, порхая и плюхаясь, соскакивали они с эстрады, а офицеры толпились внизу, помогая им. Барон Гарри помогал

маленькой брюнетке с детскими руками и делал это обстоятельно, с полным знанием дела. Одной рукой он обхватил ее бедра, другой талию и не спеша почти на руках понес к столу с винами, где, наполнив ее бокал шампанским так, что пена перелилась через край, медленно чокнулся с певичкой, все время с настойчивой, неопределенной усмешкой глядя ей в глаза. Гарри много выпил, шрам рдел на белом лбу, не тронутом загаром, резко отличавшемся от загорелой нижней половины лица, но он был подтянут, свободен в движениях, оживлен, отнюдь не омрачен страстью.

Их стол стоял на противоположной стороне зала, напротив того, за которым сидела баронесса Анна, и, обмениваясь пустыми словами о соседях, она в то же время жадно прислушивалась к смеху там, за тем столиком, и украдкой униженно подстерегала каждое их движение. Странное, мучительно-напряженное состояние, позволяющее, соблюдая общепринятые светские условности, механически поддерживать разговор с одним человеком, тогда как все душевные помыслы устремлены к другому, к тому, за кем наблюдаешь.

Несколько раз ей почудилось, что взгляд маленькой «ласточки» скрестился с ее взглядом, — быть может, она знает баронессу Анну? Знает, кто она? Но как хороша эта девушка! Как дерзко и бездумно жизнерадостна, как соблазнительна! Если бы Гарри полюбил ее, от страсти потерял голову, Анна простила бы, поняла бы, сочувствовала бы ему! И внезапно Анна ощутила, что ее собственное сочувствие к «ласточке» глубже, горячее, нежели то, что испытывает Гарри.

Маленькая «ласточка»! Бог мой, ее звали Эмми, и она была даже вульгарна, но как хороша! Прелестны были пряди черных волос, обрамлявшие широкое, чувственное личико, и миндалевидные глаза, обведенные синевой, и большой рот с белыми блестящими зубами, и мягко вылепленные, зовущие руки, но лучше всего были плечи, которыми она иногда поводила с какой-то невыразимой вкрадчивостью и женственностью. Барон Гарри был исполнен интереса к этим плечам. Он ни под каким видом не желал допустить, чтоб она закрыла их, и затеял шумную борьбу за шаль, которую «ласточка», заупрямясь, во что бы то ни стало хотела накинуть. И все же ни барон Гарри, ни его жена, ни одна живая душа вокруг не заметили, что маленькое, потерянное создание, расчувствовавшееся от вина, весь вечер тосковало об юном прапорщике, которого за недостаток ритма прогнали из-за рояля. Это сделали его усталые глаза, то, как он играл, — «ласточка» наделила его благо-

родством, поэтичностью, сочла человеком другого мира, тогда как все поведение, все выходки барона Гарри были ей уже давно знакомы, успели надоесть. И она была несчастна и опечалена оттого, что прапорщик не оказывал ей ни малейшего знака внимания.

Свечи тускло догорали в синих клубах табачного дыма, плававшего над головами людей. Зал был пропитан запахом кофе. Чад праздника, испарения разгоряченной толпы, тяжелая пошлая атмосфера, удушливо сгустившаяся от примеси двусмысленных «ласточкиных» духов, нависла надо всем — над белыми столиками, над ведерками с замороженным шампанским, над необузданно веселящимися людьми, над их смехом, шепотом, хихиканьем и любовными заигрываниями.

Баронесса Анна больше не разговаривала. Отчаяние и то ужасное сплетение тоски, зависти, любви и презрения к себе, что зовется ревностью и не должно было бы существовать, если бы мир был хорошим, легли ей на сердце таким непосильным грузом, что у нее не хватало больше сил притворяться. Пусть он видит, что происходит с нею, пусть стыдится за нее, пусть в его груди найдется хоть одно чувство и для нее.

Анна взглянула на столик Гарри. Игра у них зашла, пожалуй, слишком далеко, и все, улыбаясь, с любопытством смотрели туда. Гарри изобрел еще один вид нежного единоборства с маленькой «ласточкой». Он настаивал на том, чтобы поменяться с ней кольцами, и, упершись коленями в ее колени, не давая ей подняться со стула, с яростным, сумасбродным рвением охотился за маленьким, крепко сжатым кулачком, пытаясь раскрыть его. Наконец он одержал победу и под шумное одобрение присутствующих неторопливо стянул узенький обруч-змейку с ее пальца и заменил собственным обручальным кольцом.

Тогда баронесса Анна поднялась. Негодование, боль, стремление уйти, скрыть во тьме свою скорбь из-за ничтожества любимого, отчаянное желание наказать его скандалом, хоть как-нибудь привлечь внимание Гарри захлестнули ее. Бледная, она отодвинула свой стул и, пересекая зал, направилась к выходу.

Вслед за нею встали все. Люди, отрезвев, серьезно глядели друг на друга. Несколько офицеров окликнули Гарри по имени. Шум затих.

И тут произошло нечто удивительное. «Ласточка» Эмми с непоколебимой решимостью стала на сторону Анны. Побудил ли ее к этому инстинкт, извечное женское сочувствие к пору-

ганной, страждущей любви, определила ли ее поведение собственная тоска по юном прапорщике с усталыми веками, заставившая увидеть в баронессе Анне подругу, — она удивила всех.

— Подлец! — громко сказала она в наступившей тишине, отталкивая опешившего барона Гарри.

Одно только слово: «Подлец!» И мгновенье спустя она уже была рядом с баронессой Анной, взявшейся было за ручку двери.

— Простите меня, — сказала она так тихо, что никто вокруг ничего не услышал. — Вот кольцо.

Она сунула обручальное кольцо в руку баронессы Анны. И внезапно баронесса Анна ощутила прикосновение теплого, широкого личика девушки и мягкий пламенный поцелуй на своей руке.

— Простите меня, — еще раз шепнула маленькая «ласточка» и убежала прочь.

Баронесса Анна стояла за дверью в темноте, еще ошеломленная неожиданным происшествием, силясь осмыслить, осознать его. И тогда счастье — сладкое, жаркое и тайное счастье — заставило ее на мгновенье закрыть глаза.

Стоп! Довольно, не будем продолжать! Но посмотрите только, что за драгоценная маленькая подробность! Вот она стоит, восхищенная, околдованная тем, что маленькая, глупенькая бродяжка пришла и поцеловала ей руку.

Мы покидаем тебя, баронесса Анна, мы целуем тебя в лоб, прощай! Теперь ты заснешь! Всю ночь будет тебе сниться «ласточка», которая дала тебе немножко счастья.

Потому что счастье, трепетное веянье счастья, касается сердец, когда два блуждающих, тоскующих друг о друге мира сближаются на краткий, обманчивый миг.

# Бертари Келерман



## СВЯТЫЕ



ще до рассвета поднялся адвокат с постели. И в ту же минуту защебетало и зачирикало несметное множество птичек, обитавших в его комнате.

— Чуть свет, а вы уже не спите, пичужки мои! — прошептал адвокат. Он всегда разговаривал вполголоса. — Ну, здравствуйте! Тсс, да тише вы!

И вся стая птичек прочирикала что-то в ответ и послушно умолкла.

Адвокат — он вечно зяб — укутал толстым шерстяным шарфом шею, сунул ноги в теплые башмаки, натянул перчатки, надел подбитую мехом шапку на лысую голову и вышел из дому.

Была еще ночь, и все вокруг казалось призрачным и таинственным. Иногда трава рывком клонилась к земле, точь-в-точь человек, которому снится, что он падает; и тогда адвоката обдавало теплое дуновение ветра, уносившегося так же мгновенно, как он налетал. По небу, над головой, стремительно мчались обрывки черных и серых туч, а в зените горели три желтые звезды: они выстроились в одну линию и пронзали тучи, словно летящее копьё. Несколько минут адвокат внимательно рассматривал это копьё, а мозг его сверлила какая-то мысль. Потом он, стараясь ступать как можно тише, засеменял по песчаным дорожкам больничного сада.

— Тсс! Тше! — шептал он, проходя мимо кустов, из которых доносился едва уловимый шорох.

Там, где начинались огороды, стоял старый заброшенный колодец; тут адвокат и принялся за дело. Он подставил под трубу лейку и, по-прежнему стараясь не шуметь, налег на ручку. Колодец почти пересох, а так как адвокат качал медленно и осторожно, то вода текла тоненькой струйкой и лейка наполнилась лишь после получасовой работы. И вот маленький человечек уже тащит ее, кряхтя и покашливая, к цветочным клумбам; блаженно улыбаясь, он поливает цветы и тихо, ласково шепчет:

— Зачем так жадно, маленькие мои! Деточки мои, как они глотают! Доброе утро!

Но тут вдруг будто ожил большой сиреневый куст. Сотни птичек сразу высунули головки из листвы и что-то прочирикали адвокату.

Он испуганно поднял руку.

— Тше! Да замолчите бога ради! — взмолился он. — Всегда вы хотите быть первыми! Каждое утро. Тсс!

И куст мгновенно замер.

Адвокат бесшумно переходил от клумбы к клумбе и поливал цветы. Порой он останавливался и, вздыхая, смотрел на небо, где по-прежнему, так и не сдвинувшись с места, летело сквозь тучи золотое копьё. Он все думал о чем-то и покачивал головой. Из корпуса, где жили буйные, вырывался протяжный вой, который через ровные промежутки сменялся жалобным плачем. Но адвокат слышал только своих птичек: они отряхивали крылышки там, в кустах, да точили клювы.



Мимо прошла, дрожь от холода, ночная сиделка.

— Уже за работой ни свет ни заря? — проговорила она с улыбкой на бледном лице.

Адвокат отставил лейку, снял шапку и поклонился.

— А как же иначе? — прошептал он. — Малютки не ждут.

И он принялся поливать клумбы, разбитые вдоль главного корпуса, поливать истово и благоговейно. У распахнутых окон кухни, расположенных чуть повыше земли, он задержался и общарил глазами подоконники. А потом разочарованно и удрученно покачал головой. Ну, конечно, снова забыли высыпать хлебные крошки для его птичек! Вот поди-ка, положишься на этих судомоек!

Он отыскал несколько мелких камешков под ногами и, хихикая, швырнул их в темные окна: пусть привыкают быть повнимательнее! Уж он их приучит каждое утро выставлять за окно хлебные крошки! Чего-чего, а гальки на садовых дорожках предостаточно. И пусть жалуются сколько душе угодно!

Брежжил рассвет, когда адвокат с порожней лейкой пустился в обратный путь к колодцу.

Адвокат привязался к цветам и птицам после смерти жены. Умирая, уже в агонии, она все твердила:

— Надо поливать цветы. Птичек надо кормить.

Это были ее последние слова, и адвокат слышал их в каждом дуновении ветерка, в разговоре прохожих, даже в тишине они чудились ему. В спальне жены стоял массивный черного дерева бельевой шкаф, — странно, но он и по сегодня помнил его, — и этот огромный черный шкаф, не издавая ни звука, тоже повторял ему предсмертные слова жены. Адвокат, оставшись один, жил тихо, поливал цветы на окнах, кормил и поил птиц в клетках. Цветы увядали, птицы умирали одна за другой. Но адвокат ничего не замечал. Более того, ему все мерещилось, что птицы резвятся и щебечут вокруг него. Они высиживали птенцов, их становилось все больше и больше. И адвокат радовался, как ребенок. Вот уже сотни птичек с утра и до вечера щебечут над его головой; да что там сотни — тысячи! Они гнездятся в стенах, под потолком, всюду. И адвокат не понимал, как это никто не видит и не слышит их.

Когда взошло солнце, адвокат, уже изрядно наработавшись, отправился в свой корпус, словно дача утопающий в зелени.

На крыльце, прислонясь к дверному косяку и сияя улыбкой, стоял Михаил Петров, бывший офицер царской армии.

— Доброе утро, друг мой! — поздоровался он весело и певуче.

Адвокат, укутанный шерстяным платком, в кашне, в теплых башмаках, снял шапку и поклонился.

— Доброе утро, господин капитан!

Они церемонно раскланялись — в знак особого уважения друг к другу — и только потом обменялись рукопожатием.

— Хорошо спали, господин адвокат? — слегка нагнувшись, приветливо улыбнулся Михаил Петров.

— Спал? Да, благодарю вас.

— Я тоже великолепно провел ночь! — продолжал Михаил Петров, оглашая воздух своим звонким, радостным смехом. — Право же, великолепно. Мне снилось... — Прищулив правый глаз и посмеиваясь, он принялся разглядывать кусты и деревья. — Снилось, что... впрочем, заходите же в контору. Есть новости. Прощу! — И, положив руку на плечо маленького адвоката, он с легким поклоном пропустил его вперед.

Капитан Михаил Петров был стройный, высокий блондин с ясными серо-голубыми глазами; его светлые усики и шелковистые белокурые, расчесанные на пробор волосы начинали уже седеть. Он был подчеркнуто опрятен в одежде и тщательно выбрит. Округлый, прекрасной лепки подбородок был не по-мужски нежен, а мягкие очертания на редкость красивых губ напоминали рот мальчика.

— Прощу! — обратился к адвокату Михаил Петров, указывая рукой на диван.

— А я не помешаю? — прошептал, все еще стоя в дверях, адвокат.

— Ну что вы! Как вы можете...

И Михаил Петров подтолкнул адвоката к дивану. Маленький человечек робко присел, и глаза его затеплились благодарностью.

— Ведь вы так заняты... Я знаю... — кивнул он на письменный стол, заваленный документами, газетами, рукописями.

— Да, дел хватает! — ответил Михаил Петров с многозначительной усмешкой на красивых мальчишеских губах. — Но для друзей время всегда найдется. Так вот, послушайте-ка! Сегодня я набросал меморандум гессенскому правительству... — Посмеиваясь, Михаил Петров вертел в руках какую-то бумагу. — Я категорически, вы слышите, ка-те-го-рически предлагаю вышеупомянутому правительству пересмотреть дело учителя.

Тут Михаил Петров взглянул на гостя, и глубокие морщины прорезали его лоб.

— Этот учитель, — продолжал он, — приговорен к четырем годам, подумайте, к четырем годам тюремного заключения.

Он пошел на растрату, чтобы прокормить десять голодных ртов. Voilà tout! Что вы скажете, а? Ха-ха-ха, видите, что творится на свете! В меморандуме я не только требую пересмотра дела, но настаиваю также на повышении окладов для чиновников. Вот чего я требую, я, капитан Михаил Петров, и так я в своем «Нелицеприятной» и напишу. Уж вы посмотрите, друг мой!

Михаил Петров бросил задорный, торжествующий взгляд поверх лысины маленького адвоката, а тот слушал его, кивая, но никак не мог взять в толк, чего же он хочет.

— Сколько добра вы делаете! — прошептал он, и детская улыбка скользнула по его маленькому изжелта-серому безжизненному личику. Несколько подумав, он добавил: — Добрый вы человек, вот что!

Михаил Петров покачал головой.

— Я выполняю свой долг, — возразил он важно. Сверкнув ясными серо-голубыми глазами и прижав руку к сердцу, он добавил: — Мой священный долг!

Капитан Михаил Петров, бывший петербургский офицер, почитал делом своей жизни ратовать за справедливость на земле. «Судья неподкупный и справедливый» — так именовал он себя. Он выписывал две солидные утренние газеты и ежедневно выискивал в них сообщения о безвинно пострадавших. Недостатка в таких сообщениях не было. Произвол, сплошной произвол! Эти статьи капитан вырезал, подкалывал по числам и затем начинал обрабатывать.

Свою палату, где он нередко допоздна просиживал за письменным столом, Михаил Петров называл «конторой» или — в доверительных беседах с адвокатом — «редакцией». Каллиграфическим почерком писал он там заявления, протесты, меморандумы и каждый день в шесть часов вручал плоды пера своего главному врачу доктору Мэрцу, который раз навсегда взялся передавать их по назначению. Доктор Мэрц услужливо забирал всю эту писанину и складывал в отдельную папку, намереваясь при случае использовать в своем труде о графомании.

Защита обиженных и притесняемых поглощала почти все время Михаила Петрова, а немногие часы досуга он отдавал редактированию газеты. Вот почему для посвященных его палата была переименована в «редакцию». Газета выходила нерегулярно. Как правило, она появлялась один раз в год, а то и дважды когда капитан так нервничал, что лихорадочно работал круглые сутки.

Газета Михаила Петрова как две капли воды походила на любую утреннюю газету, начиная с шапки, где печатались ус-

ловия подписки и место издания, — его Михаил Петров выбирал совершенно произвольно, — до вымышленных имен редакторов и издателей. Как и всякая другая газета, она публиковала объявления (их Михаил Петров попросту вырезал из обычных газет), были в ней и передовица и подвал. На всех остальных полосах, за исключением немногих статей, вставленных для отвода глаз, обсуждался один вопрос: на каком основании интернирован капитан русской армии Михаил Петров? Год от года заголовки отдельных статей менялись: «Ультиматум русского правительства», «Послание царя главному врачу доктору Мэрцу», но содержание их, по сути дела, было одинаковым. Зато каждый год газета выходила под новым названием: «Всемирное око», «Совесть Европы», «Штык».

Из петиций и меморандумов Михаил Петров не делал тайны, но в дела газеты он посвящал только своего ближайшего друга — адвоката. Быть может, этот человек, — впрочем, от природы общительный и добродушный, — лишь потому так горячо привязался к маленькому адвокату, что мог о нем беседовать о газете.

— Минуточку, друг мой! — сказал Михаил Петров. — Есть новости. Я хотел бы сообщить вам самые свежие. Не уходите.

Он подошел к двери, прочистил горло, прислушался. Затем вышел в коридор, покашлял там и вернулся успокоенный. Выдвинув из письменного стола «редакционный» ящик, ключ от которого висел у него на шее, капитан весело и звонко рассмеялся:

— Самые свежие, слышите! Бьет без промаха. Послушайте только заголовок: «Доктор Мэрц арестован!»

— Доктор Мэрц арестован? — испуганно прошептал адвокат и, разинув рот, поглядел снизу вверх на Петрова.

Михаил Петров хохотал.

— Арестован? Разумеется, нет. Просто я доказываю здесь, что доктору Мэрцу не избежать тюрьмы, если он не поспешит освободить Михаила Петрова.

Адвокат кивнул.

— Понятно, — сказал он и улыбнулся, заражаясь радостным настроением друга. Однако статья вовсе не занимала его: он волновался, что до сих пор не поставил блюдце с водой для птичек. На лице его отражалось беспокойство, он порывался встать и уйти.

— Еще минуточку, прошу вас! — настойчиво усадил прилетевшего капитан. — Да, идея поистине великоленная, — продолжал

он, оживляясь, и румянец радости вспыхнул у него на щеках. — Доктор Мэрц, как я категорически утверждаю в моей статье, человек чести, высокоуважаемый, пользующийся широкой известностью специалист; именно поэтому его поведение в данном случае особенно изумляет всех. Я спрашиваю вас, друг мой, что сделает господин Мэрц, прочитав эту статью? Ха-ха-ха, вы глазам своим не поверите, милый друг. Я совсем не буду сердиться на него, ни капельки не рассержусь. «Наконец-то, дорогой доктор!» — вот и все, что я скажу, ха-ха! Но смотрите, что пишет «Нелицеприятный» дальше. Поглядите только на этот заголовок!

— На какой?

— Да вот на этот.

— Что это?.. Вопросительный знак?

— Да! Ха-ха, всего-навсего вопросительный знак. А под ним: «Где Михаил Петров? Негодующий вопль общественности!» Но главное — вот оно, вот этот небольшой подвал: «Михаил Петров, капитан русской армии, только что закончил шеститомный научный труд о падающих звездах. Все астрономы мира превозносят глубину и ясность мысли этого замечательного сочинения». Ха-ха-ха, ну не говорил ли я вам, друг мой, что у нас есть новости?

Адвокат, забившись в угол дивана и затаив дыхание, что-то напряженно обдумывал. Наконец он медленно покачал головой и шепотом сказал:

— Не понимаю.

— Что, собственно?

— Почему он задерживает вас.

Михаил Петров изумленно посмотрел на адвоката. Затем наклонился к нему и таинственно прошептал:

— Он подкуплен моими родными. Я ведь уже говорил вам.

— Подкуплен?

— Ну разумеется, — весело отвечал Петров. — Получает от них чудовищные суммы. Миллионы!

— О! — теперь адвокат все понял.

— Да, так уж повелось на этом свете, — добавил Михаил Петров и прищелкнул пальцами. Однако для адвоката это было непостижимо.

— Я не понимаю, — снова начал он, — доктор Мэрц такой добрый. Я здесь живу на всем готовом и не плачу ни гроша! Он ни разу не спросил с меня денег! У меня ведь нет денег, вы знаете, — закончил он совсем тихо и испуганно.

Михаил Петров с видом снисходительного превосходства опустил руку на плечо адвоката.

— Так ведь вы работаете в саду, — сказал он. — Поливаете цветы. Недостает еще, чтоб он с вас брал деньги. Все это проще простого. А может быть, у вас тоже есть родственники *там*, на воле, и они платят за вас?

— Родственники?

— Ну да. *Там*, на воле.

На красивых мальчишеских губах Петрова заиграла жестокая усмешка. Неужто он должен объяснять этому маленькому припущенному старикашке, что значит «на воле»? Объяснять этому старикашке со сморщенным землистым лицом, что за стенами больницы люди сейчас садятся в скорый поезд или, к примеру сказать, моют руки перед едой? Приподнявшись на носки и раскачиваясь, он внезапно перестал ощущать свою телесную оболочку; теперь он представлялся самому себе гигантской, уходящей под облака башней, которая смотрит вниз на маленького анского человечка с жидкими кустиками волос на висках. Ему вдруг захотелось довести адвоката до слез. Но неожиданно он слегка поклонился своему гостю: «Простите великодушно Михаила Петрова!», прошелся по комнате и, не меняя тона, спросил адвоката:

— Как вы думаете, погода не испортится?

— Полагаю, что нет... Впрочем, боюсь судить, — неуверенно отвечал тот.

— В таком случае сыграем в крикет после обеда. Вам холодно?

— Да, — прошептал адвокат и туже затянул кашне.

Михаил Петров искоса взглянул на него.

— Не понимаю, как можно мерзнуть сегодня. — Он радостно рассмеялся и продолжал: — Пойдемте, я хочу... — Он запнулся, ибо сам не знал, чего хочет. — Я хочу... ах да, я хочу навестить нашего друга Энгельгардта. Пошли! Сегодня ночью у него был врач, — заключил он таинственно.

— Врач?

— Да. Наш друг болен. Гм, гм.

Михаил Петров предусмотрительно запер в ящик рукопись газеты, нахлобучил на голову серый английский картуз огромных размеров, бросил взгляд в зеркало, и друзья вышли из палаты. Михаил Петров чуть слышно смеялся глубоким гортанным смехом. Подойдя к двери Энгельгардта, они остановились и постучали, прислушиваясь.

В году для Михаила Петрова было два знаменательных дня. Первый — день его рождения, 16 мая. Эту дату Михаил Петров

твердо помнил. С раннего утра он разгуливал с важным видом, окидывая пристальным взглядом всех встречаемых, и каждому говорил: «Сегодня день моего рождения. Благодарю за добрые чувства». В этот день в столовую неизменно приходил санитар и приглашал капитана к доктору Мэрцу, который желал его поздравить.

Михаил Петров легкими шагами направлялся в приемную доктора Мэрца, пожимал ему руку и благодарил за чудесный букет белых роз. Михаил Петров и не догадывался, откуда доктор Мэрц берет этот букет. Он был далек от подозрения, что за портьерой приемной скрываются его жена и дочь, которые ежегодно проделывают долгий путь, лишь бы его увидеть. В первые годы супруга капитана была еще блондинкой, затем в волосах ее засеребрилась седина, теперь же, будучи сравнительно молодой женщиной, она поседела как лунь. Раньше она приезжала одна, но вот уже три года, как ее сопровождает молодая дама, которая всегда горько рыдает при встрече и расставании. У молодой дамы нет одного уха, и она прикрывает это уродство локонами прически. Ухо отрезал ей Михаил Петров, когда она была еще ребенком, тогда-то и обнаружилось его безумие.

Михаил Петров болтал и весело шутил с главным врачом, а затем отдавал розы своему другу адвокату.

— Вот вам цветы. Мне они ни к чему, — говорил он.

С широко раскрытыми от восторга глазами адвокат бережно брал розы, точно хрупкий фарфор.

Второй великий день для Михаила Петрова был день выхода газеты.

Газета печаталась в городе. Михаил Петров заручился услугами больничного швейцара, чтобы отдавать ее в набор. Швейцар относил рукопись в типографию и доставлял Михаилу Петрову двадцать пять отпечатанных экземпляров. Тогда Михаил Петров приходил в величайшее возбуждение. Он посылал газету врачам и в первую очередь доктору Мэрцу, а затем с волнением ожидал, какое она произведет впечатление. В эти дни он не работал, а только с утра до вечера бродил по дому и саду. Повстречав кого-нибудь из врачей, он останавливался и с победоносной улыбкой окидывал его торжествующим взором. Выждав несколько дней, он спрашивал:

— Послушайте, вы не получали здесь газету?

— Газету?

— Да. Я тоже получил ее. «Штык»?

— Ах да, кажется, получил. Я погляжу.

— Поглядите, поглядите. Может статься, найдете там кое-что интересное. Ха-ха-ха!

Он хлопал собеседника по плечу и многозначительно смотрел на него.

Наконец он обращался к доктору Мэрцу.

— Да-да,— отвечал тот.— Разумеется, читал, дорогой капитан. Газета достойна всяческого внимания. Я немедленно навал справки, но, как ни старался, не мог отыскать издателей. Они вообще не существуют. Или перестали существовать. Не знаю, что и подумать, дорогой мой.

После этого разговора Михаил Петров несколько дней ходил как в воду опущенный, и подавленное настроение его переходило то в меланхолию, то в буйство. Но через несколько дней он остывал. Он здоровался с друзьями, просил у них прощения за резкость и немедленно усаживался за очередную газету. Уж на этот раз он своего добьется! Берегитесь, доктор Мэрд! Вы еще попомните Михаила Петрова, капитана русской армии!

Энгельгардт, седой мужчина лет пятидесяти, которого соби-  
рались навестить его друзья Михаил Петров и адвокат, лишь год назад попал в лечебницу доктора Мэрца.

По профессии сапожник, он всю свою жизнь, год за годом, сидел под стеклянным шаром и стучал молотком. Он был холост, жил очень замкнуто и благодаря трудолюбию и бережливости сумел сколотить порядочный капиталец. Так он и сидел под стеклянным шаром, заколачивал гвозди, шил сапоги, и ничто не нарушало однообразия его дней. Но вот мало-помалу этот стеклянный шар стал казаться ему все необычайнее. Он так сверкал, так ослеплял его, что порой, проходя мимо, Энгельгардт испытывал какой-то безотчетный страх. А потом шар начал расти, становился все больше и больше, и настал день, когда у сапожника волосы стали дыбом от ужаса.

И вот уже его терзает странный, чудовищный бред: будто он центр вселенной и на него возложена миссия уравнивать мироздание. В нем сосредоточивались неисчислимые, многообразные силы вселенной, и он постоянно, мучительно ощущал, как вокруг него обращаются по орбитам планеты и солнца, как они свистят и грохочут там, в космосе. Когда цепочка конькобежцев вертится вокруг стоящего в центре, как вокруг своей оси, то их бешеный вихрь увлекает и стоящего в центре, и он вынужден собрать все силы, чтоб не упасть. Точно такое чувство владело Энгельгардтом, и этот напряженный, неотступный бред так измотал его, что за один год он состарился на десять лет.



Конечно, говорил он, всемогущий творец создал вселенную столь совершенно, что она испокон века вращается по предначертанным кругам и спиралям, но он, Энгельгардт, все равно невыносимо страдает от любого потрясения там, в космосе. В ту зиму он добрых две недели не спал из-за небесного тела, которое, с грохотом низвергаясь на землю, увлекало его за собой; любопытно, что в это время действительно появилась комета, переполошившая всех астрономов. Тогда же при загадочных обстоятельствах скончался санитар Швиндт, и душа умершего — так по крайней мере утверждал сапожник — переселилась в него, Энгельгардта, придав ему свежих сил, которых хватило на весну и лето. Но сейчас он снова изнемогал под бременем своей миссии, и силы его иссякали с каждым днем. Падающие звезды и проносящиеся по небу метеоры мчались его за собой, так что голова шла кругом; но особенно страшную власть приобрела над ним в то время луна. Она высосала из него все соки, и Энгельгардт ждал, что вот-вот земля разверзнется у него под ногами, он полетит в бездну, а сверху обрушатся обломки вселенной.

Михаил Петров и адвокат долго и тщетно стучались; наконец они вошли в палату. Энгельгардт лежал в постели, бессильно опустив на подушки волосатые, костлявые руки. Он лежал, вперив глаза в какую-то точку на потолке и так закатив их, что виднелись белки. Его желтоватое лицо казалось фарфоровой маской, так обтягивала череп гладкая кожа. Лоб был ненормально высок для его маленького личика и крошечного рта; от губ, сложенных сердечком, словно он собирался засвистеть, разбегалась сеточка легких морщин. Сапожник страшно исхудал за последний год: между его тощей шеей и оттопыренным воротником пестрой рубашки можно было просунуть палец.

— Доброе утро! — негромко и весело поздоровался Михаил Петров. — Встречайте друзей.

Адвокат робко остановился в дверях.

Энгельгардт молчал. По его телу пробегала дрожь, а костлявые, волосатые руки то и дело подергивались, будто через него пропускали электрический ток.

Михаил Петров заулыбался и шагнул поближе.

— Как себя чувствуете, дорогой друг? — склонившись над Энгельгардтом, спросил он тихим, полным сострадания голосом. — Говорят, этой ночью вас посетил врач?

Энгельгардт метался по подушке. Бессонная ночь и успокоительные пилюли вконец изнурили его.

— Плохо мне! — невнятно проговорил он.

— Плохо? — Михаил Петров озабоченно насупил брови. — Нашему другу нездоровится, — пояснил он маленькому адвокату, все еще стоявшему в дверях. — Вам больно? — И, склонившись опять над больным, Михаил Петров приложил ухо к самому его рту.

— Да, — вяло и глухо отвечал Энгельгардт и тотчас забормотал что-то Петрову на ухо. Казалось, он молится.

— Наш друг говорит, что у него никаких сил нет. Ему необходима новая душа, как тогда, помните, зимой, после смерти санитара. — И, зачем-то повысив голос, он прокричал прямо в ухо страдальцу: — Я переговорю с доктором, друг Энгельгардт. Уж это его работа. Так или иначе, а душу он вам раздобудет.

Маленький адвокат плотнее закутался в свой шарф. Его знобило. Как правило, лишь немногие события оставляли след в его памяти, однако смерть санитара Швиндта он помнил отчетливо. В этот день Михаил Петров вбежал к нему в палату и таинственно прошептал на ухо: «Санитар умер. Энгельгардт набрал его душу, понимаете!» И вот теперь адвоката охватил ужас при мысли, что Энгельгардт, чего доброго, потребует наконец и его душу, а смерти он боялся больше всего на свете.

Смерть представлялась его помраченному больному воображению бесплотным призраком, у которого торчат лишь костлявые руки. Внезапно, ах, как внезапно очутится она вплотную возле него. Каким могильным холодом повеет от нее! Цветы покроются инеем и завянут, миллионы легкокрылых пташек, окоченев, упадут на землю, а сам он превратится в крохотный снежный комочек...

Адвокат втянул голову в плечи, так что его жидкая седая бородка взъерошилась над кашне, и, весь дрожа, уставился мышиными глазками на Петрова.

Михаил Петров с удивлением поглядел на него.

— Что с вами, дорогой? — протянул он и улыбнулся. — Вам страшно? Чего же тут, собственно, бояться? Я сейчас же пойду к доктору Мэрцу и изложу ему просьбу нашего друга Энгельгардта. Насколько я знаю доктора, он не замедлит принять меры, и все будет в порядке. Я охотно отдал бы в ваше распоряжение свою собственную душу, друг Энгельгардт, да мне она и самому пока что нужна: моя миссия на земле еще не выполнена, как вы знаете. Я Наполеон, я каждый день даю сражение, я...

Он внезапно запнулся и настороженно прислушался.

— А ведь это доктор! — прошептал он. — Сейчас придет сюда!

Доктор Мэрц вошел в корпус. Он разговаривал с кем-то в коридоре, и трое друзей в палате сапожника сразу притихли. Голос врача один имел власть над их умами, неизменно внушая надежду, смутную, но безграничную. Так действует отдаленное ауканье на путников, затерянных в безлюдной глуши. Между тем доктор Мэрц был немногословен. Скорее он отличался умением терпеливо слушать, научившись часами внимать жалобам, претензиям и бесчисленным просьбам своих пациентов. Однако скупые слова его обладали способностью подбадривать, утешать, радовать и на целые сутки заряжать больных хорошим настроением.

Адвоката перестал бить озноб, Михаил Петров возбужденно улыбнулся, а Энгельгардт оторвал взгляд от потолка и перевел его на полуотворенную дверь. Он так впился в нее своими сверкающими глазами, что, казалось, даже начал косить.

— «Раджа» говорит с ним! — воскликнул Михаил Петров и, подняв палец кверху, прислушался.

— Никто и не думает сторожить вас, дорогой друг, — раздался в коридоре спокойный голос врача. А еще более невозмутимый бас возразил:

— Я слышал, сударь, как часовой всю ночь ходил взад и вперед у меня под дверью! И как били в барабан при смене караула!

— Дорогой друг, вам это приснилось, — отвечал врач.

— Нет, не приснилось! — настаивал человек, которого Михаил Петров назвал «раджей». — Я охотно извиняю вас, сударь. Вы лишь выполняете свой долг, я знаю. Удивляюсь, однако, как элементарный такт не подскажет вам, что меры предосторожности не должны бросаться мне в глаза. Я дал вам честное слово не помышлять о побеге. Передайте это английскому правительству, чьим именем вы держите меня здесь. Никакого оружия я в своей комнате не прячу. А посему требую, чтобы вы немедленно сняли охрану.

— Я все это знаю, друг мой.

— Тем более я требую, чтобы вы сняли охрану.

«Раджа» не успокоился, пока врач не обещал ему тотчас отменить надзор. Разговаривая, доктор Мэрц, а вслед за ним и «раджа» дошли до палаты Энгельгардта и появились на ее пороге. Доктор Мэрц был низенький господин в светло-сером костюме, с бритым румяным лицом, с быстрым, испытующим, но добрым взглядом; «раджа» мрачным исполином высился

позади доктора, заполняя почти весь дверной проем. На бронзовом мужественном лице его, обрамленном длинной черной бородой, ослепительно сверкали белки глаз. «Раджа», обыкновенный школьный учитель, прослужил несколько лет в Индии, где обучал немецких детей. Тропическая лихорадка заронила в его мозг зерно бредовых идей, которые всецело овладели им по возвращении на родину. Он воображал себя индийским владетельным князем, которого изгнало английское правительство.

Очень тихий и замкнутый, больной этот никогда не разговаривал с другими пациентами. Его осанка была исполнена глубочайшего спокойствия и словно прирожденной гордости. Целыми днями он никого не удостаивал даже взгляда. Не спеша прогуливался он взад и вперед по саду, пренебрежительно скользил глазами по доревьям и клумбам, а вечером, если позволяла погода, усаживался поодаль на скамью и любовался выходом солнца, подставляя смуглое лицо последним лучам. Затасанная страстная тоска загоралась тогда в его черных глазах. В варахе заката ему чудились пальмы, — стволы их расплывались в воздухе, и видны были лишь очерченные огненными выжигами кроны; величаво шествовали слоны, неся на спинах маленьких смуглых погонщиков; сверкали золотом храмы; толпы полуголых бронзовых людей с цветущими ветками, вонючно крича и приплясывая, бежали куда-то... А вот и сам он вступает на борт океанского парохода, который увезет его в изгнание, и бронзовые люди на пристани с воплями повергаются ниц... Жгучая невыносимая боль наполняла душу «раджи», он искакивал и слегка горбил широкие плечи, словно нес тяжолую ношу. И он нес ее с достоинством! «Раджа» никогда не жаловался, никогда не докучал своим унынием, скрывая ото всех, как тяжело у него на душе.

В палате «раджи» всегда царил тишина. Лишь изредка он разговаривал сам с собой да издавал сквозь сон протяжный напевный крик — так кричат на Востоке уличные торговцы.

Когда вошел доктор Мэрц, маленький лысый адвокат поклонился, держа шапку в руке, и робко забился в угол. Он испытывал безграничную признательность к врачу, который, не требуя никакой платы, позволял ему мирно жить здесь, ухаживая за цветами и птицами. Вот почему он не осмелился попросить у доктора Мэрца хлебных крошек и не пожаловался на нерадивых судомоек, как собирался.

Зато на «раджу», мрачно и неприступно стоявшего на пороге, адвокат невольно глядел с опаской и даже с душевным трепетом. Желая выказать ему свою преданность, он низко

поклонился; «раджа» не обратил на это ровно никакого внимания, и адвокат повторил поклон, что-то беззвучно шепча. «Раджа», однако, не удостоил его даже взгляда. С минуту адвокат обдумывал, не подойти ли поцеловать «радже» руку. Он вспомнил случай, глубоко запавший ему в память: однажды вечером он повстречал «раджу» в коридоре и почтительно поклонился. Кроме них, в коридоре никого не было. Тогда «раджа» подошел к нему и, протянув руку для поцелуя, сказал низким глухим голосом: «Преданный друг!.. Подожди,— продолжал «раджа»,— я вручу тебе знак моего благоволения. Правда, сокровища, которые я захватил с собой, почти иссякли, но все же — на вот, возьми!» И «раджа» ткнул ему в руку маленький серый камешек.

Что касается Михаила Петрова, то он вежливо посторонился и вперил в доктора Мэрца испытующий взгляд, в котором вспыхивали веселые искорки. Голову он откинул назад, слегка склонив ее к плечу, и смотрел на доктора так, словно приготовился услышать из его уст исключительно важную новость, ни минуты не сомневаясь, что доктор только за этим и пришел. Итак, он смотрел на врача с несокрушимой надеждой, и на красивых мальчишеских губах его блуждала улыбка.

Энгельгардт же приподнялся в постели, наморщив от боли лоб, и принялся осыпать врача жалобами и просьбами. Быстрое неразборчивое бормотанье с хрипом вырывалось у него изо рта, напоминаая отдаленное тьяканье сторожевого пса среди ночной тишины.

Его силы на исходе, а луна все сосет! Ночью тысячи людей на коленях молили его не обрекать их на гибель. Только новая душа может придать ему бодрость. Он чувствует, как все больше и больше накрывается влево, так что мироздание может рухнуть каждую секунду! Все это он бормотал сбивчиво и едва внятно, устремив воспаленные молящие глаза на доктора Мэрца.

Доктор Мэрц внимательно слушал; слушал и Михаил Петров, и даже «раджа», переступивший наконец порог палаты. И так как слушали все очень серьезно, особенно «раджа», не сводивший горящих глаз с Энгельгардта,— то маленького адвоката снова обуял страх. Ноги его, казалось, погружались в зыбкое болото, но как раз в тот момент, когда черная пелена страха готова была поглотить его, на подоконник, щебеча, усе-лась птичка, и адвоката словно подменили.

— Сейчас иду,— прошептал он поспешно.

— Не уходите,— тихо сказал ему Михаил Петров, хватая друга за локоть.— Куда вы?

— Она зовет меня! — возразил адвокат и проворно выскользнул из палаты.

«Как он торопится!» — подумал Михаил Петров и рассмеялся в глубине души. А позднее он говорил доктору Мэрцу, доверительно положив ему руку на плечо: «Этот адвокат, разумеется, умный, образованный человек, но, представьте, он воображает, будто птицы с ним разговаривают! Между нами, доктор, вам никогда не приходило в голову, что у него не все дома?»

После завтрака большие доктора Мэрца, как обычно, гуляли в саду. Но двое, по трое бродили они вокруг большой цветочной клумбы и, погруженные в свои думы, молчали. Только «изобретатель», совсем еще юноша, временами останавливался, подбоченясь, приставлял указательный палец ко лбу и вперял глаза в землю.

А адвокат поливал цветы и упивался щебетом бесчисленных птичек, режившихся в листве. Что до Михаила Петрова, то он пребывал в великолепнейшем настроении. Как же, есть новости! (Слушайте, слушайте! Он курил папиросу, которую преподнес ему доктор Мэрц, и наслаждался каждой затяжкой. Капитан рывахиал папиросой, жеманно расставив пальцы, как будто идорояясь; потом, затянувшись, останавливался, выпускал струйку дыма вверх и долго следил, как тает голубой дымок в проливанном солнцем воздухе. Сегодня весь мир источал для него блаженство. Даже ходьба была радостью. Высоко вскидывая колени, едва касаясь пятками утрамбованной дорожки, он медленно печатал шаг и восторгался упругой ловкостью, с какой отскакивали от земли, слегка похрустывая, пальцы ног, обутых в легкие туфли. Когда же, останавливаясь, он втягивал колени и напрягал мускулы бедер, то опять радовался, что стоит на ногах незыблемо, точно статуя. Его не поколеблет ничто на свете, он был уверен в этом. Так он гулял, улыбаясь и сияя счастьем, раскланивался с каждым встречным, а знакомым сообщал о случившемся сегодня великом событии.

— Послушайте, друг мой! — окликнул он маленького адвоката, который стоял в траве и, вытянув лейку над клумбой тюльпанов, старался полить цветы в середине. — Да сойдите вы с этой клумбы! Есть новости! Ну, идите же наконец!

Со снисходительным нетерпением он дожидался, пока адвокат покончит с поливкой и сойдет на дорожку, направляясь с пустой зеленой лейкой к колодцу.

— Вы только послушайте, что сегодня случилось, — затараторил он, — его величество, король Саксонии, соблаговолиил...

— Простите, — шепотом перебил его адвокат и шагнул в сторону, — сегодня жарко, я спешу. Цветы не увяли бы.

— А я провожу вас к колодцу, — добродушно предложил Михаил Петров и торопливо пошел за семенившим адвокатом. — Могу и по дороге рассказывать. Так вот, сегодня я спрашиваю доктора: «Ну, как, доктор, чем меня обрадуете сегодня?» А он: «К сожалению, ничем, дорогой капитан». — «Так-таки и ничем? — говорю я и хватаю его за локоть. — Неужто за все это время ни единого ответа? Ни единого, доктор?» А он смотрит на меня и, видно, напоминает: «Ах да, представьте, ведь чуть не забыл. Есть тут одно письмо. Насчет подмастерья столяра. Вы, разумеется, помните это дело, дорогой капитан?» — «Столярный подмастерье, говорите вы? Ничего не понимаю», — и я вытаскиваю записную книжку, куда заношу всю исходящую корреспонденцию. «Откуда письмо? Из Саксонии? А, вот оно что, — спохватываюсь я, — так ведь это тот самый подмастерье мясника, которого приговорили к смертной казни». — «Да-да, — подтверждает доктор, — вы совершенно правы. Этот парень действительно был подмастерьем у мясника». Нет, вы только послушайте, дорогой друг, его величество, король Саксонский, сообразовали по моему прошению помиловать человека. Сегодня же сочиню ему благодарственное послание!

— Как оно жжет сегодня, это солнце, — выслушав рассказ Михаила Петрова, проговорил адвокат и налег на ручку колодца. — Цветы совсем поникли.

— Ха-ха-ха! — так и закатился Михаил Петров. — А он и не слушает меня! Каково!

Адвокат и вправду не слушал. Он следил, не наполнилась ли уже лейка.

Несколько минут Михаил Петров искоса поглядывал на друга, затем беззвучно рассмеялся и быстро пошел прочь. Взор его блуждал по саду, выискивая, с кем бы поделиться радостной новостью.

Вдруг в огороде он заметил «раджу», который расхаживал взад и вперед между двумя грядками с салатом. По своему обыкновению, «раджа» гулял один и в самом глухом уголке сада.

Раскачиваясь на цыпочках, Михаил Петров подумал было одним махом перескочить грядки, на целую сотню шагов отделившие его от «раджи». Смелый прыжок — и он окажется рядом с ним. Но, опасаясь оскорбить или, чего доброго, испугать «раджу», он передумал.

Как всегда гордый и величественный, «раджа» был сегодня лаволнован и задумчив. Слова Энгельгардта, который уравнивал мироздание, дабы оно не разлетелось вдребезги, не шли у него из ума. Он долго обдумывал их, и неумолимая логика подсказывала ему только один выход... только один...

Но тут к нему подошел Михаил Петров.

— Разрешите потревожить вас, — и он вежливо приподнял серый английский картуз. — Капитан Михаил Петров.

«Раджа» строго взглянул на него своими черными горящими глазами.

— Что тебе нужно? — спокойно спросил он.

Михаил Петров улыбнулся.

— Мне хотелось бы поделиться с вами радостной новостью, — начал он. — Итак, сегодня утром я говорю доктору: «Ну, как, доктор, обрадуете вы меня чем-нибудь сегодня?»

И, сияя радостью, он повторил все ту же историю, которую рассказывал сегодня чуть не в десятый раз.

«Раджа» молча слушал Михаила Петрова и задумчиво поглядывал на него. Наконец он сказал:

— Я хочу поговорить с тобой.

— К вашим услугам!

«Раджа» медленно и важно обвел глазами сад.

— Пойдем на ту скамью.

— С удовольствием.

Опустившись на скамью, «раджа» небрежно указал Михаилу Петрову на место рядом с собой.

— Ты вечно пишешь что-то... — начал он.

Михаил Петров учтиво приподнял картуз:

— Михаил Петров, капитан русской армии.

«Раджа» взглянул на него и продолжал все так же спокойно и величественно:

— Ты много пишешь, следовательно, много знаешь. И, разумеется, священные книги открыли тебе тайны бытия, поведомые всем другим смертным; а по законам твоей касты ты всю жизнь провел в созерцании. Так объясни же мне слова факира, который неисповедимой волею богов держит на плечах мироздание. Говори!

Польщенно улыбаясь, Михаил Петров поклонился. Он мало что понял из слов «раджи», но в его тоне почувствовал уважение и почтительность. И он решил, что просто даже обязан посвятить «раджу» в тайну своей газеты, однако неожиданно для самого себя спросил:

— Это вы о ком, о друге Энгельгардте?



— Ты слышал, что он рассказывал доктору?

— Да.

— Так говори же!

Оказалось, что «раджа» запомнил слово в слово жалобы Энгельгардта, Михаил же Петров почти все забыл и навлек этим на себя неудовольствие «раджи».

— Пардон, у меня голова так забита делами,— извинился капитан.

— Но что случится, если он так и не добудет новую душу?— все допытывался «раджа».

— О, уж это забота доктора!

— Ведь и факиры всего-навсего люди. Что же произойдет, если силы изменят ему? Неужели мироздание действительно рухнет?

— Обязательно рухнет!— расхохотался Михаил Петров.

Чему ты все смеешься? — спокойно спросил «раджа», и черные глаза его сверкнули.— А с тобой-то что будет, если оно рухнет?

— Со мной? — Улыбаясь, Михаил Петров кивнул на домик, выглядывающий из густой зелени.— Видите ли, когда вон тот дом зашатается, я дам стрелкача и вернусь на родину. Ведь я родился в России. Вы знаете эту страну? Вот Германию, ту и на ладони поместишь, а Россию вам даже на спину не взвалить. Такая она огромная!

«Раджа» напряженно обдумывал что-то. А потом проговорил медленно и словно забыв о Петрове:

— Если мир рухнет, значит, рухнет и мое царство? Храмы на горных вершинах, леса, города,— значит, все это будет разрушено?

Михаил Петров закивал, алородно усмехаясь:

— Полагаю, что так.

«Раджа» тоже наклонил голову. Он несколько раз медленно покачал ею.

— И все мои верноподданные погибнут?— спросил он, кивая. Потом встал, тряхнул волосами.— Нет,— произнес он сурово и посмотрел на капитана.— Не бывать тому! Мы не допустим.

«Раджа» ушел. Медленно и с достоинством шагал он по солнцепеку к корнусу.

Михаил Петров смотрел ему вслед. Он улыбался и покачивал головой.

— Этакий чудак! — рассмеялся он наконец. И, услышав свой смех, еще пуще расхохотался, громко и весело, да еще пальцами прищелкнул.— Ха-ха-ха!

Между тем «раджа» вошел в палату Энгельгардта и сообщил больному, что намеревается отдать ему свою душу. «Если только боги примут мою жертву», — добавил он.

Энгельгардт, трупом лежавший на постели, открыл глаза и уставился на «раджу».

— Это правда? — прохрипел он, и руки и лицо его задержались.

— Да.

— Три дня я еще продержусь, — снова прохрипел Энгельгардт.

Но «раджа» уже закрыл за собой дверь. В своей палате он принялся писать размашистым, порывистым почерком — все буквы словно разлетались в разные стороны — коротенькое письмо доктору Мэрку.

«Ваше высокоблагородие, — писал он. — Так угодно небесам. Мы никогда не увидим голубую реку. Мы никогда не увидим политые водой рисовые поля и белоснежных слонов, чьи клыки украшены золотыми кольцами. Так угодно небесам, и мы повинемся. Передайте английскому правительству, что мы возмущены над чувством мести и ненависти. Передайте английскому правительству, что мы решили спасти наших подданных и принесли в жертву свою душу, если боги примут ее».

«Раджа» позвонил санитару и спокойно, полным достоинства жестом вручил ему письмо. Потом он разделся, лег в постель и приготовился умереть.

Под вечер в палату Михаила Петрова ворвался взъерошенный адвокат. На сей раз он даже не постучался и не постоял, как обычно, под дверью.

— Помогите, капитан! — прошептал он, вцепившись в изумленного Михаила Петрова. Адвокат весь трясся от ужаса.

— Бога ради, что с вами? — удивленно и испуганно вскричал Михаил Петров.

— Он там, в коридоре! — прошептал адвокат.

— Кто он? Да что это с вами?

— Энгельгардт! Он стоит у палаты «раджи». Он пришел за его душой.

— Ерунда какая! — тихо рассмеялся Михаил Петров.

— Я своими глазами видел его там. Не подпускайте его ко мне, о боже милостивый!

— Да тише вы! Я сам сейчас посмотрю, — перебил его Михаил Петров.

Адвокат обхватил его колени.

— Он придет сюда, о господи, господи!

— Дорогой друг, — успокаивал его Михаил Петров, — возьмите же себя в руки. Он не войдет в мою палату. Даю вам слово. Но пойду взгляну сам.

Скорчившись на полу, маленький адвокат закрыл лицо руками. А Михаил Петров вышел в коридор. Через несколько минут капитан вернулся. Лицо его слегка побледнело, но он смеялся, подбадривая себя.

— Действительно, — глухо сказал он, — Энгельгардт стоит у «раджи» под дверью и прислушивается. Но почему вы так дрожите, дорогой друг?

— Не покидайте меня! — прошептал адвокат, не отрывая рук от лица.

«Раджа» неподвижно лежал на постели, устремив вдаль огромные, лихорадочно горящие глаза. Неземное спокойствие и какая-то отрешенность были разлиты по его бронзовому лицу. Он упорно отказывался от пищи и не вставал с постели. Температура у него, как нашел доктор Мэрц, была несколько понижена, а пульс слегка замедлен, но ни малейшего признака какой-нибудь болезни, ни намека на органические нарушения обнаружить не удавалось. Доктор серьезно, по-дружески уговаривал «раджу» встать с постели и поесть, но тот не отвечал ни слова, и пришлось оставить его в покое. Доктор Мэрц привык ко всяким причудам своих больных и знал, что они так же внезапно проходят, как и появляются.

Но за Энгельгардта он действительно очень боялся. Несмотря на ванны и успокоительные пилюли, сапожник был так возбужден, что снова всю ночь не сомкнул глаз. Лишь сейчас он задремал, весь дрожа и подергиваясь от напряжения, которого требовал от него чудовищный бред. Ему чудились голоса, крики несметных людских толп, простиравших к нему руки, умоляя спасти их от гибели, он слышал колокольный звон, торжественные песнопения, молитвы императоров и королей, епископов и пап. Его кожа высохла и потрескалась, пульс бился лихорадочно и неровно. Долго сидел доктор Мэрц у изголовья больного, наблюдал его, щурился и лихорадочно думал, призывая на помощь все свои знания и опыт. Когда он выходил из палаты, лицо его было задумчиво и растерянно.

Час спустя доктор Мэрц уже снова сидел у постели Энгельгардта.

Невероятная тревога охватила всех больных корпуса: так бывало всегда, когда частые визиты врача показывали, что кто-то тяжело заболел. Они ходили на цыпочках, разговаривали шепотом, а кое-кто вообще не переступал порога палаты. Малень-

кий адвокат боялся пальцем пошевелинуть и только умолял обитавших у него птичек не шуметь, когда ставил на стол воду и хлебные крошки. Какая-то таинственная сила снова и снова влекла его к замочной скважине. Он часами простаивал там, по-ребячьи прижав ладошку к левому глазу, а правым всматривался в выбеленную стену коридора. Стоило кому-нибудь промелькнуть мимо замочной скважины, как он испуганно отшатывался. Когда ему нужно было выйти в сад, к цветам, он медленно, бесшумно открывал дверь и, не сводя глаз с палаты Энгельгардта, пиялся по всему коридору. На крыльце он быстро поворачивался и сбегал вниз, дрожа от страха, как бы его вдруг не схватили за шиворот.

Один Михаил Петров не обращал внимания на всю эту сумятицу. Сидя за письменным столом, он вырезал происшествия, нумеровал, регистрировал, подклеивал, писал. Капитан посмеивался над страхом маленького адвоката, но все-таки обещал ему свою защиту.

— Будьте покойны, друг мой, — покровительственно сказал он, — пока я жив, у вас нет причин волноваться. — И добавил многозначительно: — Я только что от него. «Раджа», говорит он, обещал ему свою душу. Чего же еще надо? Voilà tout! А вы положитесь на Михаила Петрова.

— Благодарю, — прошептал адвокат, припадая к руке капитана.

— Полноте. Да что вы! — отбивался Михаил Петров, чувствуя себя, однако, польщенным.

Немного успокоившись, адвокат отправился к себе. Но ночью, услышав крики Энгельгардта, он, стуча зубами, с головой накрылся одеялом. Он едва дышал от страха: ему казалось, что он лежит в гробу, придавленный высокой горой. Вдруг он увидел несметную стаю птиц, которая стремительно неслась по небу. Он закивал им и закричал:

— Куда вы, куда?

— К нам иди, к нам! — зачирикали пташки. — Мы в Вену, в Вену летим!

И они исчезли за горизонтом. Адвокат посмотрел им вслед и заснул.

«Раджа» таял на глазах, несмотря на искусственное питание, назначенное доктором Мэрцем. Он угасал с каждой минутой, как гаснут сумерки тропического дня. Его смуглое лицо и ладони посерели, стали, как засохшая на садовых грядках земля. Могучая широкая грудь часто и беззвучно вздымалась под одеялом. Веки, еще более поблекшие, чем кожа щек, были

наполовину опущены, однако стоило кому-нибудь войти в палату, как они медленно поднимались, и расширенные горящие глаза вопрошающе устремлялись на посетителя.

Пульс стал редким, еле уловимым, и доктор Мэрц не отходил от кровати больного. Внезапный упадок сил «раджи» приводил его в недоумение; особенную тревогу вызывала необъяснимая, все нарастающая сердечная слабость. Сидя у постели, врач растерянно щурился, думал, сопоставлял; к вечеру, перебрав все способы лечения, он понял: спасти «раджу» не удастся.

— Как он себя чувствует, доктор? — указывая на дверь «раджи», спросил Михаил Петров, подстерегавший доктора Мэрца в коридоре.

— Да неплохо, — рассеянно ответил врач.

Михаил Петров тихонько засмеялся ему вслед. Затем он отправился к адвокату.

— «Раджа» умирает! — объявил он торжествующе.

Адвокат испуганно посмотрел на него снизу вверх и не нашел, что ответить.

— Да! — Михаил Петров уселся в плетеное кресло, слегка подтянув брюки на коленях. — Я сейчас спросил доктора. Он говорит: неплохо. Это значит, «раджа» умирает. Когда умер Генрих, — Генрих, тот, что пел веселые песенки, которые так смешили вас, друг мой, — что говорил тогда доктор? Неплохо! А Генрих умер. Меня эти врачи не проведут!

Маленький адвокат закутался в свой шарф. Его затряс озноб.

— Энгельгардт высасывает из него душу, — с видом посвященного продолжал Михаил Петров. — Он свое дело знает. Как он тогда принялся за санитару Швиндта? В точности так, я вам говорю!

И Михаил Петров ушел, радостно потирая руки. Он был возбужден ходом событий, он предвкушал сенсации. Есть новости! В превосходном настроении уселся он за письменный стол, чтобы отредактировать статью «Доктор Мэрц арестован!».

В ту же ночь, около трех часов, «раджа» скончался.

Ночь была теплая и тихая, луна светила так, что в саду можно было читать. Больные нервничали, то и дело слышалось их покашливание, они бродили по палатам из угла в угол и вслух разговаривали сами с собой. Но внезапно все затихало: это раздавался вопль Энгельгардта: «Сил моих нет!» Тут же в промежутках он произносил речи за королей и князей, на коленях моливших его о спасении.

Маленький адвокат не решался лечь в постель. Он сидел на диване, закутавшись поверх пальто во все свои одеяла, и тем

но менее стучал зубами от холода. Когда Энгельгардт начинал вопить, адвокат шептал молитвы и торопливо крестился.

Один Михаил Петров улегся спать как ни в чем не бывало. Он лежал, закинув руки под голову, и подбирал название для газеты. На этот раз он хотел огорошить доктора, прижать его к стене. Погоди ты у меня! А что, скажите на милость, говорит уму и сердцу: «Нелицеприятный»? Разве толстокожего доктора этим проймешь? Что? О нет, нет, тысячу раз нет! Заголовок должен пахнуть серой и адским огнем, разить, как взмах клинка, навстречу направлению на доктора дуло. Пусть доктор Мэрц содрогнется, прочитав этот заголовок! И после долгих раздумий Михаил Петров решил назвать газету «Меч архангела». Он отчетливо видел искаженное гневом лицо и грозно развевающиеся одежды архангела, который мчит по поднебесью, держа обеими руками занесенный высоко над головой меч. Широким и заостренным на конце лезвием меч наискось рассекал небосвод, оставляя за собой дымящийся кроваво-красный след. И эта багровая дымящаяся полоса наполнила душу Михаила Петрова сладострастным восторгом. Он приподнялся в постели со словами: «Обожди же, ха-ха!»

Но вдруг он закрыл глаза ладонью. Сердце его сжалось от безотчетной боли и тоски, почему — он и сам не знал.

— Михаил Петров? — спросил он тихо. — Михаил Петров? — И слезы выступили у него на глазах. Так он и уснул, прикрыв ладонью мокрые глаза, с ноющим от безотчетного страдания сердцем.

Стук в дверь пробудил его от глубокого сна.

— Не пугайтесь, это я, санитар.

— Что случилось?

Санитар вошел в палату и сказал вполголоса:

— Вас просит пожаловать господин доктор Мэрц. Учитель желает говорить с вами.

— Учитель?

— Ну, да, — «раджа».

— А вы не знаете, чего он от меня хочет?

— Нет, не знаю. Доктор Мэрц просил вас пожаловать.

— Хорошо, сейчас иду.

Михаил Петров встал. Он одевался долго и тщательно. Санитар снова пришел и просил его поторопиться. Михаил Петров старательно завязывал галстук.

— Сейчас, сейчас, — сказал он недовольно. — Не иди же мне с визитом одетому кое-как.

Наконец он был готов. Он кинул прощальный взгляд в зеркало, пригладил усы и вышел в коридор.

— Господин капитан! — прошептал в дверную щелку маленький адвокат, вконец перепуганный стуком и голосами в палате Петрова. — Умоляю вас!

— Мне некогда, — отозвался Михаил Петров и зашагал дальше. Он слышал, как Энгельгардт в своей палате декламировал: «Мы молим тебя, не предавай разрушению храм вселенной, да святится имя твое!» А затем, задыхаясь, хрипел: «Я борюсь, я борюсь!» Наверху во втором этаже кто-то шагал из угла в угол, безостановочно, взад и вперед, как работающий в отдалении механизм.

Наконец санитар отворил дверь в палату «раджи», и Михаил Петров вошел.

— Доброе утро! — проговорил он громко и весело, как будто на небе светило солнце, а «раджа» отнюдь не был при смерти. — Доброе утро, доктор! Вот и я. Доброе утро... князь! — добавил он, слегка понизив голос при взгляде на «раджу». — Михаил Петров, капитан русской армии.

Вид «раджи» поразил Михаила Петрова. «Раджа», выпрямившись, сидел на постели, обратив к нему огромные черные глаза. Палату освещал лишь ночник у изголовья, затененный абажуром, но, несмотря на полумрак, лицо «раджи», обрамленное черными волосами и бородой, сверкало, как темное золото, да, оно сияло. Это-то сияние и смутило Михаила Петрова настолько, что он понизил голос и употребил обращение «князь». До сих пор он никогда всерьез не задумывался над тем, кто такой «раджа». Правитель какого-то далекого царства, живущий в изгнании, — Михаил Петров принимал это на веру, не делая никаких выводов. Теперь же он вдруг понял, что «раджа» действительно князь, и все его поведение совершенно переменялось.

— Вам угодно было позвать меня? — с поклоном спросил он, робея и конфузясь.

«Раджа» повернулся к доктору Марцу.

— Сударь, — спокойно сказал он глухим басом, — благодарю вас. Я знаю, вы могли бы отказать мне в этой милости, ведь я ваш пленник.

— Дорогой друг... — начал было врач, но «раджа» уже не замечал его.

— Я велел позвать тебя, — обратился он к Михаилу Петрову, — чтобы ты записал мою последнюю волю.

— К вашим услугам, — с легким поклоном отвечал Михаил Петров.

— Ну так пиши.

Михаил Петров в замешательстве ощупывал карманы.

— Я сейчас, — сказал он, — мигом вернусь, — и побежал к себе за бумагой и карандашом.

— Михаил Петров? — умоляюще прошептал маленький адвокат. — Вы покидаете меня?

— Так повелевает «раджа»! — досадливо отмахнулся Михаил Петров и, оттолкнув протянутые к нему крошечные ручки дрожавшего адвоката, поспешил назад в палату умирающего.

— Прощу прощения, я готов, — пролепетал он задыхаясь.

— Так пиши же! — приказал «раджа».

Михаил Петров уселся поудобнее, и «раджа» начал:

— «Мы, раджа княжества Мангалор, изгнанные английским правительством, находясь на смертном одре и возвысившись ради блага наших подданных над чувством мести, возвещаем нашему народу: «Привет тебе, народ наш! Привет вам, пальмовые рощи, осонающие храмы наших отцов! Привет священной роще, утоляющей жажду нашей земли!»

Тут «раджа» сделал паузу, и Михаил Петров, усердно и самозабвенно писавший под диктовку, поднял глаза и взглянул на него. И он увидел, как из черных сверкающих глаз «раджи» выкатились две большие слезы, как они потекли по лоснящимся нилам щекам и затерялись в густой бороде.

«Раджа» величественно поднял руку. Затем он продолжал, до конца сохраняя достоинство и спокойствие:

— «Мы объявляем всеобщую амнистию! Да отверзнутся все тюрьмы и темницы, и да будут они сожжены дотла. Отныне да не прольется ничья кровь!»

— О господин... О князь! — прошептал Михаил Петров, продолжая писать.

— «Да не будет больше бедняков в нашей стране! Пусть никто не протягивает чашу за подаванием. Богатства наших сокровищниц мы повелеваем разделить поровну между всеми подданными. Да исчезнут касты и сословия, да будут все равны и все — братья и сестры друг другу!

Старцы да обретут кров, чтобы спокойно умирать, а детям отказываем мы луга для игр. Больным мы даруем здоровье, а несчастным — сон, глубокий сон. Мы повелеваем, чтобы не было впредь ни войн, ни ненависти между народами разных рас. Судьи да пребудут мудрыми и праведными, а кто совершит несправедливость, тому скажите: «Ступай и будь счастлив, ибо зло проистекает от горя».



Людам мы завещаем землю, дабы плодились они на ней и размножались, рыбам — моря, реки и озера, птицам — воздух, а диким тварям — леса и сокрытые между ними долины.

Тебя же, народ наш, благословляем мы и обнимаем перед смертью».

«Раджа» поднял руки для благословения и бессильно откинулся на подушки.

Все вокруг притихли и смотрели на умирающего. Он часто и беззвучно дышал, закрыв глаза, и веки выделялись на его лице светлыми пятнами.

Доктор Мэрц бесшумно подошел к постели.

И вдруг «раджа» улыбнулся. Он запрокинул голову и открыл рот, словно собирался запеть. Но с уст его сорвался лишь протяжный крик фальцетом, звучавший так, словно «раджа» кричит уже откуда-то издали.

То был крик уличных торговцев Востока.

«Раджа» скончался.

Михаил Петров встал на цыпочки и, полуоткрыв рот, смотрел на бледное, непостижимо прекрасное лицо, сиявшее в рамке черных волос. Ему стало стыдно. Столько времени прожил он бок о бок с покойным, не понимая, кто он такой. Ему хотелось преклонить колени у ложа мертвеца и шептать: «Государь, государь мой!» Но он не осмелился подойти ближе, ему стало страшно, и он украдкой выскользнул из палаты.

Через несколько часов, когда доктор Мэрц вышел в коридор, его поразила тишина. Кругом все замерло. На втором этаже стихли глухие шаги больного, безостановочно ходившего из угла в угол. Умолкли крики и стоны Энгельгардта.

Доктор Мэрц подошел к палате сапожника. В ней царил гробовое молчание. Он приоткрыл дверь, прислушался: Энгельгардт спал! Он дышал глубоко и ровно. Доктор Мэрц задумчиво покачал головой и вышел в сад. На крыльце он закурил, а затем поднял воротник пальто. Его знобило.

Итак, он спит, размышлял доктор Мэрц, идя по ночному саду, где деревья отбрасывали длинные сероватые тени. Неужели есть некая зависимость между его сном и смертью учителя? И он вспомнил знакомого врача, который наверняка умудрился бы найти здесь взаимную связь. «Вот бы сейчас чашку крепкого кофе», — продолжал думать доктор и, вздрогнув от испуга, остановился: в лунном свете двигалась маленькая закутанная фигурка. Это был адвокат.

Всю ночь маленький адвокат трясся от страха и холода в своей палате. Но с первыми петухами он уже прокрался в сад поливать цветы.

— Тсс! Тихе! — шептал он всем своим птичкам, которые чирикали, почуяв его приближение. — Поспали б вы еще, пичужки!

Он поливал цветы и улыбался, забыв ночные страхи, «раджу» и Энгельгардта с его мольбами о новой душе.

— Доброе утро, мои любимые, — тихонько здоровался он и кивал. — Вот и я. Я снова с вами.

В палате Михаила Петрова горел свет. Улыбающийся и жизнерадостный, капитан сидел за письменным столом и усердно строчил. Потрясение, вызванное смертью «раджи», прошло так же быстро, как быстро высохли слезы, которые он проливал над покойным. Сейчас он обрабатывал статью для своей газеты, статью — так считал капитан — неопределимой важности. Вот почему он был весел и доволен.

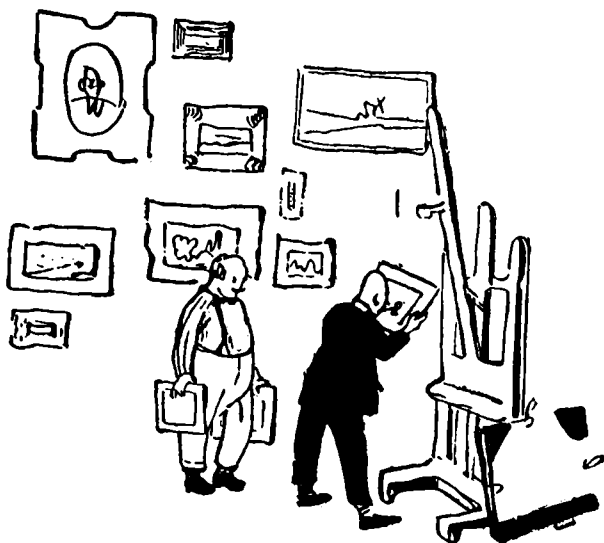
Каллиграфическим почерком он писал:

«Телеграмма! Сегодня в три часа пополудни мирно скончался раджа княжества Мангалор — в свое время мы предъявляли ультиматум английскому правительству в связи с его ингианием. Мы имели честь присутствовать при его кончине и написали последнюю волю высокого повелителя. Спешим сообщить ее нашим читателям:

«Мы, раджа княжества Мангалор, изгнанные английским правительством, находясь на смертном одре и возвысившись ради блага наших подданных над чувством мести, воздвигаем нашему народу...»

Только с первыми солнечными лучами прилег вздремнуть Михаил Петров.

# Арнольд Цвейг



## НЕ УНИЖАТЫ!



ел дождь, когда на одной из станций он с треском ввалился в вечерующий вагон и шлепнулся прямо напротив нас, эдакая жирная грязно-желтая личинка майского жука.

Румяный пухлощекий блондин с младенческим выражением лица, одетый в коричневатое-желтое, —

едва оперившийся птенец; такие среди наших попутчиков еще не попадались, а кто только не ехал в этом поезде из Гармиша! Посмотря на пышущий здоровьем вид, он казался беспокойным и извинченным, губы его непрерывно шевелились, и что-то беспомощное было во взгляде... А тут, как на грех, мой приятель Вильк сошел с поезда, бросив мне со смехом какое-то замечание. «Не унижай!» — крикнул я ему вдогонку, но, пока мы не встретимся, я так и не узнаю, попал ли мой намек в цель.

Упрямо склонив голову и с грохотом трамбуя землю, поезд снова вступил в ожесточенную схватку с дождем, а тот, фыркая, обдавал его со всех сторон потоками воды. И вдруг человек, сидевший напротив, заговорил, а я испугался — этот юнец и полтом был очень возбужден, волнение, казалось, наполнило его до краев; встреपнувшись, как майский жук перед полетом, он начал:

— Что вы сказали сейчас студенту? Откуда взялось ваше полное — «не унижай!»? Что это значит? Легко давать такие скороспелые советы; простите, но меня это бесит, особенно когда их преподносят, словно библейские заповеди. Может быть, мне не следовало вторгаться в ваше молчание сквозь холод высокомерия, которым такие ученые господа, как вы, превосходно умеют себя ограждать. А я? Ну разве я мог не унижать его, не втоптать в грязь? Разве он пощадил меня? Меня, который не тронул ни одного волоска в его козлиной бородке. Это был очень наглый старик, Циппедель, туземец *pur sang*; <sup>1</sup> как хотите, а я должен был задать ему встряску. И сколько бы вы ни становились в позу обличителя, имейте в виду: кто обличает — тот осуждает, но, не выслушав обвиняемого, не следует осуждать. С меня довольно беспощадных приговоров без суда и следствия и без снисхождения. Так поступила и она, эта женщина... А я вот еду за ней вслед...

У нас ведь есть еще время? Тогда я расскажу вам небольшую, но поселенькую историю, одну из тех, что нередко случаются в нашей обыденной жизни, в жизни людей на этом стремительно несущемся сквозь вселенную земном шарике, куда господь бог, наш творец, явил милость ниспослать своего единородного сына — ниспослать к людям и ради людей, как верят негры.

К людям! Как тут не возмутиться? Именно к людям. А почему не к улиткам, не к карпам, тлям или паукам? Было бы не хуже, поверьте, уж я-то знаю. Полагаю, вы немного потерпите, если не будете при этом тусклом освещении — видит бог,

<sup>1</sup> Чистокровный (франц.).

его изобрели для глазных врачей — читать газету, сочиняемую невеждами для таких же невежд. Ну, к вам-то это не относится! Послушайте лучше меня, эта история научит вас кой-чему, господин «Не унижай!». То, что произошло со мной, может в любую минуту случиться и с вами. Ведь в этом мире все так неустойчиво!

Недели две назад, утром, в погожий денек, я вместе с некой дамой сел в этот поезд. Трубку мою, эту самую, я решил докурить на платформе. Укладывая наш скромный багаж в сетку, я осторожно держал ее, зажженную, в зубах. Мы ехали в вагоне для некурящих, нельзя же заставить хрупкую женщину или меня дышать всяким срадом, но держать трубку во рту — бесспорное право каждой свободной личности, где бы она ни находилась... Дама сидит у окна, широко раскрытые глаза ее устремлены на море и горы, я же через несколько секунд пробираюсь к выходу; и вот уже стою на платформе, как вдруг из-за пахнущей краской газеты выглядывает пожилой субъект мужского пола, брызжет слюной и, оскверняя язык, данный нам для прославления всевышнего, заявляет, будто я курил в вагоне для некурящих! Я возмущен и хочу осадить его, но он уже подозвал чиновника в синем — по серебряным нашивкам я узнаю начальника поезда — и с яростным шипением, багровея, требует, чтобы на меня наложили штраф. Не успел я отвлечься от смены красок на его лице и вникнуть в суть дела, как железнодорожник отступил перед наглой угрозой этого субъекта: он-де, Циппедель, художник, проживающий в Штарнберге и известный в этих краях, сейчас же пожалуется начальнику станции; красная фуражка — это уже атрибут настоящей власти! Человек в нем, в этом железнодорожнике, — я вижу это по сгорбленным плечам, — понимает, что совершает несправедливость, но чиновник в нем трусит перед начальством. Железнодорожник вкрадчиво просит меня уплатить триста марок штрафа и для успокоения совести разъясняет: это можно обжаловать.

Я не выношу сцен, поэтому беру квитанцию и плачу ровно столько, сколько стоило, согласно почтовому тарифу благословенного 1922 года, отправка трех заказных писем. Смешно, не правда ли? Правление национальных железных дорог, предусмотрительное и мудрое, все еще хранит верность Бидермейеровским временам. Меня бросает в жар и в холод, я весь дрожу от непередаваемого возмущения. Я — жертва дикой и нелепой общественной несправедливости. А я-то скользил по жизни так осторожно, словно набил себе карманы сырыми яйцами. Знакомо вам это чувство беззащитности перед несправедливостью?

Были, наверное, солдатом, не правда ли? Желудок словно сжимается в кулак, а во рту отвратительный привкус. Нет, в эти времена искусственного понижения курса, когда на бирже замирает жизнь, а неприятности сыплются градом и все кругом гудит, как электрический ток в проводах, я хочу только одного, чтобы меня оставили в покое, покуда все эти политиканы не начнут наконец бить отбой.

Разве для того я свалил на своего компаньона газеты, биржу и всю эту кухню, чтобы какой-то Циппедель играл на моих нервах в присутствии молодой дамы, той, которая любит туманное море и нежным сиянием весенних облаков и синеющие дали горы, как бы выкопанные из серебра и поднятые над землей, — любит еще сильнее, чем я. Она сидела в купе у окна и сдержанно улыбалась, но в ее улыбке мне чудилось что-то насмешливое...

Есть такие женщины: вы можете быть с ней близки, если пожелаете, но при этом она два года раздумывает, выйти ли ей за вас замуж; она держит вас на почтительном расстоянии, сохраняя полную свободу, а вам это безумно нравится.

Но кто мог подумать, что последствия будут столь сокрушительны, что все случится так неожиданно, сразу, без промедления, — и всему виной какой-то Циппедель.

...Ах, если бы у меня на совести был такой грех, если бы после длительного безделья и пятидневной возни с глиной, дыханием или какой-то там душой я сотворил бы из этого сырья человека, уж я наделил бы его способностью предвидеть последствия своих деяний, хоть два-три ближайших последствия, не больше; я сделал бы это, раз уж люди непременно должны были появиться на свет и мне при моем всемогуществе ничего не стоило сотворить их...

...Сделал бы так, чтобы бедной твари — человеку — не пришлось ощупью блуждать по жизни...

А пока, казалось, все шло прекрасно: поезд уносил нас и укрывшегося за газетой господина Циппеделя все дальше. Я сидел рядом с моей дамой, и на душе у меня творилось черт знает что. О господи, до каких это пор наш брат будет в страхе сносить обиды и унижения? Мы — начинка вагонов для скота и пушечное мясо великой бойни, какие только щелчки и удары судьбы не сыпались на наши головы? И вот — сносить оскорбления на глазах у кроткой, нежной дамы. Она сидела у окна с печатью молчания на устах, бледная, обессиленная, утомленная переживаниями. Сначала, онемев от страха и сострадания, она чуть не плакала; ее поразила явная несправедливость, но

потом возмутило мое обывательское малодушие. Почему я не протестовал? Нужно отстаивать свои права, где бы ты ни находился, нужно пресекать несправедливость, защищаться, бороться. Ведь она видела, как этот старик злорадствовал, когда начальник поезда предложил мне уплатить штраф. Да ну? Злорадствовал? Вот старый осел! И я разоблачаю перед ней трусость этого обывателя; прячась за спину власти, за самую неповоротливую в мире государственную машину, обыватель нападает на соседа, потому что тот кажется ему безоружным и действительно безоружен, ибо, на свою беду, наделен проклятым даром быстро и точно предугадывать, чем ему придется заплатить за тот или иной поступок.

Мы едем дальше, и я вывожу на чистую воду этого художника — господина Цишпеделя. Бывают художники и фотографы, мастера и подмастерья. Вот Сезани был действительно художником. Подавив свою ярость и иронически улыбаясь, хоть я и жертва несправедливости, я стер Цишпеделя в порошок. Какой там старый осел? Просто мокрая курица, никчемный человечиска, который под удобным предлогом выливает на ближнего всю грязь своей души и с помощью государства старается раздавить его. Возможно, я просто подвернулся ему под руку и он сорвал на мне раздражение, вызванное домашними неурядицами, или недовольство жизнью и экономическим положением в стране, которое он не умеет использовать в своих интересах. Должно быть, он почуял во мне тихого, неприметного, но удачливого пловца; ха-ха? Может быть, его вывело из себя благополучие, окружающее меня: о, я, осторожный и незаметный еж, вовремя сказал себе «стоп» и спас таким образом пачку ценных бумаг за два дня до того, как по милости государственного банка перед нами разверзлась глубокая пропасть; а может быть, его разозлила моя спокойная веселость — результат долгого общения со смелой и гордой девушкой, согласившейся разделить со мной полную превратностей жизнь. Возможно, что ему пришлось не по вкусу элегантная одежда, желтовато-коричневая от ботинок до кепи, да и пенковая трубка, которая, вероятно, кажется ему неприменной принадлежностью «спекулянта». Почему это подобные типы считают своим врагом каждого, кто мешает отечественным титанам мысли, засевшим в парламентах и министерствах, довести нас своей злополучной мудростью до уровня обезьян? Бедняга Цишпедель, художник без имени и таланта, с беспокойным умишком жалкого чиновника, с выступающим щетинистым подбородком и шишковатым черепом, ты настоящий верленовский тип, хотя, конечно, тебе и слышать

но приходилось об этом поэте. Нелегко это, наверное, покрывать холсты масляными красками или бумагу акварелью, стараясь изобразить волшебницу-природу, ведь она жестоко глумится и не над такими талантами, как ты! А известно ли тебе, что, не усади меня отец твердой рукой за стол банковского клерка и не будь этой веселенькой истории с войной, я был бы твоим коллогой и прозябал бы подобно тебе? И я увековечил его убогий профиль секретаришки в моем блокноте, который всегда пригреваю в нагрудном кармане. То была маленькая месть, равновесившая мою подругу.

Полой-наполей нам пришлось поохать в город. Некий приятель, с которым и пол дела, подумал в узком заинтересованном кругу поведать о том, чем грозит нам искусственное понижение курса; а мне, бедняге, было поручено дополнить его сообщение. Как хорошо было бы остаться дома и читать вдвоем «Бабье лето» Штифтера... Как подумаешь только, чего бы я тогда избежал, впоору хоть локти кусать... И мы решили приехать попозднее — вряд ли этот приятель мог сообщить такое, чего бы я не продумав глубже, яснее, острее, чем он; итак, мы решили приехать попозднее, и самым добатом, а сначала поужинать и насладиться музыкой. Мы скоро нашли то, что хотели: Бах — сплошная немощанность, арии сопрано в сопровождении неизменной флейты, трио для скрипки, флейты и цимбал, соло для цимбал, а потом снова церковное пение; вот когда засветились ее серые глаза и оживилось милое лицо...

А потом мы ехидно посмеивались над собой: все эти пленительные творения подвергались настоящему истязанию, прямо-таки казни... Цимбалы галдели, как безмозглые светские дамы, не проникая в душу баховской музыки, флейта звучала глишком робко, скрипка — чересчур грубо, а певица... В конце балогот с золотом зала стояла высокая красивая женщина, обладательница громоподобного голоса, и детонировала, как бомба! Казалось, будто крылатые фигуры с пестрорасписанного потолка сейчас в ярости обрушатся на эту особу, чтобы загнать страшные звуки обратно в ее тренированную пасть, но певица ничего не замечала и свирепо сколачивала из громких плохо прилаженных друг к другу музыкальных фраз: «О, приди, желанная смерть!», а мы чувствовали себя соучастниками проступления.

— Ты только подумай, — в ужасе сказала Елена, — эти пожилые, как птичье щебетанье, арии она поет так оглушительно



потому, что справа на нее наступает скрипка, слева — флейта, а позади неистовствуют трескучие цимбалы, а она ничего не замечает, такая ошалелая дуреха, да она и права: публика в телячьем восторге.

По дороге из концертного зала в банкирский клуб я сказал:

— Видишь, как устроен мир: проект хорош, а здание никуда не годится — неровные стены, кривые проемы, но во всем этом своя внутренняя закономерность, которая вызывает такое же одобрение толпы, как и непристойные шутки.

— Значит, ты не подашь жалобу? — Так истолковала она мои слова.

Я тихо и вкрадчиво изложил ей свои соображения.

— В нашей упорядоченной жизни, — говорю я, уютно по-пыхивая трубкой, — сидеть в уголке купе, независимо и спокойно затягиваться, наслаждаясь куреньем, — это и есть нарушать порядок в вагоне для некурящих и держать в зубах вызов закону и всему свету. Разве я сделал что-нибудь дурное? Я только полминуты — пока выходил из вагона — сохранял в моей трубке огонь, а Циппедель просто наглая свинья. Но неужто после этого концерта, да и вообще, ты считаешь наше общество достаточно развитым, чтобы в этом разобраться? Ну к кому поступит подобная жалоба? К какому-нибудь старшему чиновнику, Циппеделю-второму, у которого малейшее недовольство действиями начальника автоматически вызывает разлитие желчи. Быть застигнутым в вагоне для некурящих с горячей трубкой в зубах — значит нарушить установленный порядок, а это вызов! Нет, не для того я рожден на свет, чтобы переделывать мир!

Но вот несколько дней спустя я по ошибке действительно закурил трубку в вагоне для некурящих — груда багажа заслоняла от меня табличку с запрещением — и на этот раз отделался только дружеским кивком господина нециппеделевского типа; он оказался к тому же кондуктором! Когда вечером я торжествующе рассказал ей о том, как мудро сама жизнь восстанавливает порой справедливость, она не без лукавства посмеялась надо мной... Ведь она, знаете ли, считает, что я трус, робею перед начальством, перед чиновниками

Позавчера ночью я видел сон: свѣчи, локомотивы, возвращение из плена — последние семь месяцев я провел в Англии за колючей проволокой, — и вдруг так и подскочил, точно тысячи огней вспыхнули в голове: Циппедель! Когда он вспоминает меня, он, наверное, смеется до колик в животе. Ну, думаю, плохо дело. Он уже врывается в мой сон, наглец. Это уж слишком.

В справочном бюро можно узнать любой адрес; и так как Циппедель не знал, как меня зовут, я письменно известил его о своем приезде. Дом его, сырой от близости озера, стоял посреди безрадостного пустыря; обитатели этого убогого жилища, окруженного конюшнями, обречены на томительную скуку подобную долгому дождливому воскресенью в современном мещанском аду. Это приободрило меня — я увидел своего недруга словно изнутри. Как и в тот раз, с головы до ног в светло-коричневом — такая первоклассная куница, — я позвонил у двери, трубка моя дымилась. Он отворил сам, застыл как вкопанный с округлившимися от удивления глазами, бросил на меня беглый взгляд, мгновенно залившись краской. Я изобрел деловой предлог: хочу, мол, купить акварель. Узнал ли я его? Это было ему еще не ново. Он пропустил меня, прошел вперед, потом остановился, не зная, куда себя деть; он заикался от волнения. Но его замешательство только придало мне смелости; конечно, и у меня настрел ком в горле, я ведь тоже не толстокожий, но теперь этот ком исчез, растаял, как масло. У кого из нас двоих было более сильное оружие в руках, самое сильное — да, да, — деньги? Глядя на меня, нельзя было ни черта заметить, я оставался любезным, упиваясь волнением Циппеделя, наблюдая, как смущение и стыд парализуют его.

Когда он протянул мне акварели, руки его дрожали. Бедные руки со вдувшимися жилами, думал я, ничем не могу вам помочь, не надо было нарушать мой сон...

Талантливый художник? Несомненно. Но талант противоречивый. Чувство, знаете ли, и композиция у него не в ладу. На каждом листе пять-шесть удачных деталей, целое же лишено единства, педантичная старательность лишает произведения жизни и придает им досадную скованность. О сравнении с мастерами, особенно с современными, и речи быть не может; рисунок Кокошки, синие тона Мюнixa вдохнули бы в его произведения свежее дыхание грозы. Но меня привлекает и старомодность, и вот наконец акварель, которая мне по вкусу. Скромный домик, какие у нас сдаются внаем, и близ него густо заросший овраг, где журчит горный ручей, — летом здесь настоящий рай, полный прохлады и цветов. Вот где оказалась уместной его беспокойная манера. Этот сюжет позволил разбросать множество красочных пятен по бумаге; здесь его нервозность нашла соответствие в трепетной прелести диких зарослей и воды.

Наконец-то, решил я. Вот это добыча!

У него стучали зубы, когда он назвал цену. Я не думал, дорого это или дешево; настал мой час.

Я выложил две крупные купюры.

— Триста марок, издержки нашего знакомства, прошу вернуть, — сказал я холодно, без тени улыбки на лице, и уставился в его потемневшие глаза.

Унижать, сказали вы. Унижать. Чепуха! Уничтожать — вот что нужно.

Циппедель разволновался, трясущимися руками он положил перед собой кошелек. Наступила пауза. Я видел, как он думает, негодует, неистовствует, как у него перехватывает дыхание, как его раздражают противоречивые чувства — не вышвырнуть ли меня вон вместе с моими деньгами, меня, самодовольного щенка, который предательски вонзил ему в сердце нож унижения, похитив к тому же, правда за деньги, его лучшую работу? Но что сильнее денег? Он наскреб в потертом кошельке три замасленных бумажки. Их и красивую акварель я отнес домой — ей. Когда я рассказывал, она сидела в тени нашего большого голубого абажура. Она рано ушла спать, а мне нужно было немного поработать.

А сегодня в обед прихожу с почты домой и не застаю ее. Сбежала. Да, сбежала, взяв с собой лишь смену белья. А на столе акварель и те три бумажки, вот, извольте... За что? Разве я поступил подло? Нет, то, что сделал я, не было подлостью, и в конце концов он ведь получил деньги. Я знаю, она думает, что я трус, — сначала покорился и лишь задним числом решил отомстить. А женщины, они до сих пор бредят рыцарями. Нам следует быть сильными, чтобы снять с них бремя забот, защитить от всего и вся... До сих пор она видела во мне сильную личность, потому что в эти тяжелые времена я локтями прокладывал себе дорогу... Слабый — сильный. Что это за противопоставление, пес его возьми? Как в детских играх — чет и нечет. Я думаю так: либо живешь вместе, либо не живешь, либо есть согласие, либо его нет, либо хочешь спать в одной кровати, либо не хочешь, а выбрал одно из двух, так уж держись. Да, да, конечно, она не приняла еще окончательного решения.

Наверное, она еще в городе — у Карлы Фридрихс или в гостинице «Энглишер Хоф». Поискать ее? Как вы думаете? Сама не святая, не Офелия, ведь правда? Наверное, станет утверждать, что я поступил подло. Честное слово, уважаемый сосед, подлость обнаружилась бы раньше, верно? Ведь вы тоже так думаете? Не можете вы думать иначе. Бедняжке Корделии не понадобилось бы целых два года, чтобы распознать подлость. Нет, этого я не боюсь. Я далек от такой мысли. Конечно, мы

с вами почти незнакомы. И все это бестактно, я понимаю. Но такт — выдумка бессердечных людей, которые ни при каких обстоятельствах не желают обременять себя чужим отчаянием. Правильно ли я поступаю? Ведь от этого зависит все, решительно все. Как я буду жить без нее? Этого мне не скажут самые тактичные люди на свете.

А что, если я ее сразу найду? Может быть, дать ей время на размышление? Но мне не хотелось бы оставаться одному даже сегодня вечером. Раз уж я вовлек вас в свои дела, не согласитесь ли вы отужинать со мной? Стакан сотерна у Шлейха? Нет? Жаль! Прошу прощения. Вы правы: сегодня я действительно не погужу в компаньоны.

Мы вышли из вагона, и его тревожный силуэт растворился в снежной дымке раннего мартовского вечера.

## СЧАСТЬЕ ОТТО ТЕМКЕ

Попробуйте поставить бочку на зеленый газон в вашем саду. Уже через два-три дня нежные травинки, лишенные света, пожелтеют и сморщатся. Так, под несравненно более тяжким общественным прессом, вянут люди на уродливых улицах с безликими стенами, глазастыми фасадами домов, серой каменной мостовой. Вот к такому существу, к пожелтелой былинке, задуманной и родившейся на свет в виде чудесного зеленого стебля, мы и присмотримся здесь поближе...

Что случилось бы с Отто Темке, если бы не событие, пережитое им в восьмилетнем возрасте? Впервые в Берлине с неслыханной до тех пор быстротой пронеслась электричка, она неслась под улицами, под домами, вырывалась на поверхность и мчалась то над зданиями и площадями, то пересекая линии железных дорог. Желтые вагоны, красные вагоны, гигантская неповоротливая гусеница. «Боже ты мой!» — думал Отто, радостно вбодораженный, восхищенный величественным грохотанием быстро несущегося чуда.

В одно из первых воскресений он заставил свою мать, вдову, прачку Альбертину Темке, ввериться этому чудовищному поезду: они собрались поехать с Лейпцигерплац в зоосад взглянуть на забавных медвежат. И хотя Альбертине Темке было

лестно, что ей предоставили новенькие, с иголки, пахнущие лаком вагоны, что скамьи сверкают, а медь начищена до блеска, все же она залилась на сына, оглушенная и растерянная. Ее начало, трясло, в ушах гремело, ей было страшно, а скорость и вовсе ошеломила вдову. Но рискованная затея кончилась хорошо и стоила дешево: очутившись за пятнадцать минут у цели, вместо того чтобы долго и терпеливо тащиться на конке, она была окончательно покорена. И Отто, которому мать втихомолку грозила надавать оплеух, получил прощение. Впрочем, ему было уже все безразлично; в это мгновение взойшла звезда его жизни. Он возмечтал в один прекрасный день стать машинистом или кондуктором на такой дороге, надеть форму и восседать в застекленной кабине.

Воля человека побеждает все препятствия. Через три года после окончания школы он уже ездил на отведенном ему участке пути. Он открывал дверь кабины, с деловым, официальным видом из-под форменной фуражки смотрел он на выходивших и входивших пассажиров, следил за посадкой и ждал, пока дежурный по станции не прокричит на другом конце поезда: «Готов!» Тогда он поднимал руку и подавал знак водителю, сидящему за стеклянной стенкой: «Вперед!» Вот уже включен мотор, и Темке неторопливо и изящно ставит ногу в движущийся вагон, протискивается мимо пассажиров на свое место и смотрит, как на поезд обрушивается грядущее, даль, как даль принимает его в свои объятия и как этот поезд, вечно неудовлетворенный, непрестанно меняет настоящее на милое улыбочивое будущее, будь то мрак туннеля или сияние электричества под сводами, пока ближайшая станция, плоский кафельный гроб, не примет его вместе с его огнями, людьми, скамейками, пестрыми плакатами и кабиной — с его техническим мозгом. Но смерть поезда длится всего лишь двадцать секунд, его воля требует воскресения, его основной закон гласит: «Вперед!»

Отто любил жизнь, она казалась ему прекрасной. После воню, опеки и неподвижного сидения на одном месте у его первого хозяина, слесаря, после десяти часов изнурительной работы в домике на задворках Коппенштрассе, после прислуживания пяти старшим ученикам и мастерам, доводившим его до отчаяния, до слез, до вспышек бессильного гнева, встречаемых громовым хохотом, — после таких двух лет он пребывал ныне в раю, где царил порядок; всегда в движении, всегда с людьми, всегда с новыми благоухающими и хорошенькими женщинами, переносясь с места на место и чувствуя себя как дома в маленьком пространстве движущегося вагона, где за пять минут мель-

кали тысячи людей. Ему доставляло удовольствие мчаться со станции на станцию — то над землей, то под землею — через весь громадный Берлин, где в каждом районе особые нравы, словечки, костюмы и свой особый воздух. Он снова мог носить опрятную одежду, стать славным малым. И ему, хилому юноше, уже не было надобности чахнуть на изнурительной работе.

Счастье сделало его дружелюбным и благожелательным. Во время дежурства на станции он охотно и подробно давал справки, которых от него требовали, и улыбался в ответ на «спасибо»; ведь в конце концов этим людям жилось гораздо хуже, чем ему: они, как затравленные, гнались за деньгами, раньше времени лысели, вечно куда-то торопились. Он задерживал отравление, чтобы тучные женщины в слишком узких юбках или запыхавшиеся старцы с палками в руках поспели на поезд; он заботливо вывешивал белые указатели, на которых черными буквами были напечатаны названия остановок поезда, для того чтобы низенький чернявый господин, спешивший на Кайзердам, в западный район, не очутился в Далеме, на Тильплац или посреди Груневальда. Как много людей к нему обращается, всем им что-нибудь нужно, а ему самому не нужно от них ничего; тысячи лиц — и все разные, разные голоса, ~~разный разрез~~ разрез глаз, особый цвет бровей, особая манера открывать рот.

Понадобилась глубокая житейская перемена, чтобы в этом пожилом юноше проснулся тиран, насильник и убийца, челоноконенавистник, тающийся в каждом ребенке, которого много и часто били и который не перестает мечтать о воле. Эта перемена называлась войной, что, впрочем, почти не имеет значения; дело тут было не в стрельбе или резне, не в снарядах и приказах, не в братских могилах и ежедневных победах. В той точке земного шара, где находились мы с Отто, все дело было в том, что исчезали мужчины. Если бы их вобрал в себя гигантский пылесос, опустошив весь город, картина была бы та же. А когда мужчин мало, мальчишки начинают задирать нос; Отто Темке в один прекрасный день начал готовиться к должности машиниста. Более мелкие должности теперь занимали женщины, далеко не такие красивые, как Минна, его милая, да вдобавок изуродованные стянутыми на прусский манер волосами и кондукторской фуражкой. Вот он и решил добиться, чтобы его повысили в должности. У старших, тех, кто обучал его, вид был порой озлобленный, — они ведь знали, что великий пылесос скоро втянет в себя и их. Отто Темке думал: «Так-то! Теперь пришел ваш черед». Он почему-то отождествлял их со

своими прежними мучителями, с подмастерьями слесарей. Ему было все-таки жалко этих рабочих, которым скоро придется сменить темно-серую куртку на серо-зеленый мундир и приноровить свои пальцы, привыкшие передвигать рукоятку реостата, к винтовочным и орудийным затворам. Потому-то, обучаясь новой профессии на своем испытательном участке, он был так сосредоточен и внимателен. Хорошее зрение, правильное чувство цвета, смекалка и твердые руки — из него, Темке, выйдет хороший машинист, и уж его не сместят, когда солдаты вернутся к прежним занятиям, как все надеются, в близком будущем.

— Ну, Темке, попробуем, как это у вас получится, — сказал начальник, возглавлявший все те инстанции, которым был подчинен Отто, — поработайте, пока пруссаки и вас не заберут. Броню мы, конечно, на таких юнцов затребовать не можем. Но годик-другой еще повозимся.

Пожилой швейцар, стоявший возле них, кивнул, изобразив на своем лице преданность. От носа к подбородку у него бежали две скорбные морщинки, прячась в короткой с проседью бороде.

Отто глядел на обоих с испугом, отразившимся в его по-детски больших глазах. Эти, кажись, готовятся к дьявольски длинной веренице побед! Его забреют в солдаты? Ну, некоторые не так уж горят желанием попасть в казарму. Учиться стоять навтыжку — это, может быть, неплохая тренировка, но... извините, вы ошиблись дверью. При первом же намеке на возможность призыва в нем крепко засела мысль — зубами и когтями удержаться на месте...

Вначале все шло хорошо. Открыть и закрыть дверь, впустить и выпустить людей, повернуть рычаг в одну или другую сторону. Фонари на участках, круги света, которые они отбрасывают, каменные стены, столбы, рельсы, выхваченные из темноты фарами и словно потухающие у него под ногами, — все это было ему близко и мило. И часто в нем вскипало радостное чувство: он так рано достиг цели своей жизни. Он был самым юным служащим на подземной и надземной железной дороге. В одной иллюстрированной газете даже появился портрет Отто. Его милая повесила этот портрет над своей кроватью. Огромная сила исходила от рычагов, которыми он как будто играл. Он чувствовал смерть вблизи, совсем рядом, многоликую, она была почти осязаема, реальна; но многим ли юношам дано серьезно относиться даже к смерти, к ее воплощениям? Страх, который он испытывал поначалу, особенно в учебном вагоне, давно уже

сменился спокойными, разумными навыками; осталось лишь ощущение власти, оно передавалось от рук голове и пронизывало его юное сердце. Он был капитаном и рулевым корабля, который беспрекословно повиновался ему; его пассажиры, господа и дамы, мужчины, женщины и дети, как только за ними затворялась стеклянная раздвижная дверь, располагали собственной волей в весьма тесных пределах. Они думали, что он везет их, куда они желают; но, с точки зрения машиниста, они ехали туда, куда он их вез. Правда, их драгоценную жизнь всячески охраняли, но лишь в определенных границах, — и все-таки внутри этих границ у человека хватает смелости сесть в вагон, влекомый бешеной энергией водопада, которая обернулась молнией, а в самой чувствительной точке приложения этой энергии работает некая рука. Да, власть была у него.

К сожалению, тогда даже воздух по всей стране трепетал от благоговения перед властью. Мужчины на улице приветствовали друг друга деревянными движениями, точно у них парализовало конечности, — ведь они напялили на себя мундиры. Жизнь отутлилась под прессом военного управления, но люди, чей долг, казалось бы, состоял в том, чтобы уметь кончить войну, прежде всего ощущали вес и значение своей власти над людьми и давали себе почувствовать в любых обстоятельствах. Эта власть навалилась на всех, сладострастно ощущалась всеми и в конце концов оказала роковое влияние и на жизнь юного Темке. Как ни мало жаждал он участвовать в войне, на него действовали изречения полководцев, пресмыкательство газетных писак перед героями, стоявшими во главе армий, и в особенности победоносные заявления и остроты его величества. На одной открытке Вильгельм II был изображен в клеенчатом шлеме и в морском плаще за штурвалом корабля, корпус которого не был виден и только угадывался. Внизу было написано, что курс взят правильный, кормчий намерен и впредь держаться его. Именно эти слова в точности выражали настроение Темке. Курс он взял правильный, он намерен держаться его и впредь. То обстоятельство, что курс этот — через рельсы, стрелки, расписания, проверки пути (и прочие предосторожности) — не зависит от его воли, казалось ему несущественным. Какое это имело значение в победные времена, когда в молодых людях так сильно было убеждение в могуществе личности!

А тут еще отношения с девушкой вдруг расклеились: своему неизменному другу Отто она предпочла унтера — приехавшего в отпуск краснощекого тылового вояку и хвостуна.



Пытаясь поставить на место охотника до чужих невест, Отто почувствовал себя беспомощным. В среду вечером, когда он зашел за Минной и снова застал у нее унтера, уютно расположившегося в ее каморке, у него в самом начале разговора, выражаясь образно, бессильно повисли крылья души. Солдат нагло усмеялся, а он, Отто, выдал из себя лишь несколько полувопросительных, полуугрожающих слов по адресу Минны. Он спросил: не стыдно ли ей? Подумала ли она о том, что солдат приехал только на побывку и скоро смоеется? Да и вообще, если бы на нем, Темке, не лежала такая ответственность, если бы от его рук и ног не зависело так много и ему не нужно было вечером отправляться на службу, то уж кое-кто узнал бы, где раки зимуют.

— Ох, уж ты со своей ответственностью! — непочтительно сказала хорошенькая крошка.

А унтер ухмыльнулся:

— Кто знает, может, скоро и тебя заберут, уж тогда тебе оттяпают руки-ноги!

Унтер опять ухмыльнулся, как бы подтверждая ее слова.

Отто Темке, хоть он и был занесен с некоторого времени в графу «ГГ» (на кровавом и неряшливом жаргоне того времени это означало, что по состоянию здоровья он годен лишь к несению гарнизонной службы), понял, что это вполне возможно. Шли слухи о переосвидетельствованиях. По заявкам предприятий с фронта отзывали ножиных рабочих, отцов семейств. Сильно потрепанные, они возвращались из сфер, где действовал великий пылесос, и снова занимали свои прежние места. Молодые холостяки были в незавидном положении.

Но к Отто Темке судьба еще была благосклонна. Чтобы подтолкнуть ее, он воспользовался странным путем, извилистым, как штопор. В тот вечер он был зол, как бешеная собака, выражаясь языком его сослуживцев. Улучив момент, он выпил водки, — надо сказать, что водка в то время особой крепостью не отличалась. Ему было страшно за свое место, в нем кипела ненависть к самому себе за пережитое унижение, по существу он был невменяем. Но, глядя со стороны, в нем нельзя было заметить ничего необычного. В таком состоянии он приступил к работе. Это было поздней осенью 1915 года, в среду вечером, в шесть часов.

Отто, как всегда, ездил с востока на запад и обратно; часов около семи на вокзале Кайзергоф произошла катастрофа. Генерал, видимо, подошедший с шикарной Вильгельмштрассе, генерал с головы до пят, от красных лампасов на брюках и до

красного румянца на щеках, с блестящей выставкой металлических побрякушек, сиречь орденов, на груди, с алым, шитым золотом воротником и толстыми красными отворотами на теплом пальто, — словом, заправский генерал занял место в вагоне второго класса для курящих и тотчас же углубился в газету, как и приличествует генералу. Поезда в то время ходили уже весьма нерегулярно; хотя коварная блокада вероломного Альбиона не могла причинить вреда Германии, как только что прочел генерал, все же из соображений бережливости, как опять-таки прочел генерал, потребление угля для невоенных целей было ограничено. Отто Темке заметил генерала, когда тот прошел и поездку мимо головного вагона, и в приливе бессмысленный ярости против этого ми и чем не повишного господина вдруг раскормил пубами. Он, Темке, тоже генерал! Сила против силы! Эти люди хотят превратить его в существо, чьи руки-ноги можно «оттяпать»? Это его-то, взявшего правильный курс, которого он намерен держаться и впредь! «Сила против силы!» — гремело в его мозгу. Плевать ему на расписания, инструкции, остановки, начальников станций. Чего они все хотят от него? Чего хочет от него весь мир? Дали сигнал к отбытию. И Темке отбыл. Но он отбыл с намерением показать им всем! В то время, как мы уже говорили, не было регулярного движения, и по счастливой случайности участок оказался свободным. Поезд сразу развил настоящую скорость, ввяв как бы единым махом расстояние между Кайзергофом и Потсдамерплац. Темке следовало начать тормозить, но он и не подумал. С бешенством глядя сквозь окно вперед, Отто мчался и мчался; вереница красных и желтых вагонов, словно поезд-стрела, неслась через ярко освещенную станцию, которая раскололась, точно коробка, надвое, и обе ее половины упали — одна на правую сторону, а другая на левую. Он не обратил внимания на махавшего руками начальника станции, на рев, пассажиры тоже ревели. Ведь в конце концов не для того его наняли, чтобы он вез их неведомо куда!

Со сладострастием прислушивался Отто к громам этой революции, глухо долетавшим до него сквозь пение моторов. Между тем его поезд поднялся вверх, пронесся от Потсдамерплац до станции Глейсдрейк, вырвался на простор, омываемый ночным воздухом, и на полном ходу прошел по виадуку. Огни фонарей и широкие пучки рельс на участке, где старомодные паровички с забавным усердием выдыхали дым, влились в ярко освещенную пасть пересадочного вокзала, которая проглотила поезд и снова выплюнула его. Ледяное молчание. Все сидят со стеклянными глазами, без слов, уцепившись за что

попало, ежеминутно ожидая рокового удара. Давно уже станции звонили в Центральное управление и взволнованно докладывали, что машинист такого-то поезда, видимо, сошел с ума и проезжает мимо станций не останавливаясь. За донесением с Глейсдрейке последовало донесение со станции Бюлова, где множество людей, стремившихся попасть домой, с удивлением и ужасом видели, что вместо знакомого поезда, на котором они ездили, мимо станции промчалось нечто вроде поезда-стрелы и исчезло в ночи, прорезанной молнией фар, где-то возле Ноллендорфплац. В Центральном управлении с облегчением вздохнули: раз Глейсдрейке пройден, ничего серьезного уже случиться не может; позвонили вдоль линии, предупреждая о происшедшем и подчеркивая, что на Виттембергплац стрелки следует поставить на «свободно». Если обнаружится, что не в порядке мотор или еще какая-нибудь серьезная неисправность, необходимо по всей сети выключить ток; но при данной скорости поезда это как раз и может привести к катастрофе. Шли совещания.

Между тем Отто уже оставил далеко за собой станцию «Зоо», с которой было связано его первое переживание на этой любимой им дороге. Удрученные пассажиры беспомощно смотрели друг на друга. Тем, кто посмелее, казалось необходимым совладать с обезумевшим машинистом, но с какого конца взяться за это дело? Они стучали в стенку, отгораживающую кабину машиниста от первого вагона, но на большее не решались. А если тебя ткнут головой в оконное стекло? А если ты навлечешь на себя по незнанию аппаратов ярость молнии в тысячу вольт? Никому это не улыбалось. А поезд, как стрела, с оглушительным грохотом, вопреки сигналам и телефонным звонкам, промчался мимо просторного вокзала Бисмаркштрассе, дальше уже было все равно. Дальше конечного пункта — Рейхсканцлерплац — поезд не мог идти и не пошел. Привычка, въевшаяся за одиннадцать месяцев, наконец снова схватила Отто за шиворот. Его ярость была утолена, его власть — доказана. Он их проучил! Медленно, как обычно, будто ничего не случилось, прибыл поезд № 3471 на вокзал Рейхсканцлерплац и остановился. И тут Отто сделал самое умное, что только мог сделать, — он упал без сознания в объятия чиновника, который хотел его арестовать. В руках у чиновника повис липкий от пота зеленовато-белый, дрожащий мелкой дрожью комок. Вместо того чтобы с бешеным накинуться на машиниста, который увез их неведомо куда, пассажиры толпились, вопрошали, смеялись: они увидели, что это мальчик, истощенный девятнадцатилетний паренек,

подавленный бог весть каким горем; и вот ему-то они и обязаны этой вынужденной экскурсией в такое безлюдное, пустынное место, как Рейхскандлерплац. У многих оказались сорваны планы на вечер. Женщины горевали, что дома остались без призора дети и мужья, мужчины досадовали, что опоздали к ужину или на совещание, у иных пропали билеты в театр или на концерт — зря они радовались, что услышат симфонию Грукнера под управлением Оскара Фрида или трио Геккинга в Шубертовском зале. Но ведь они люди и к тому же берлинцы. И, подчинившись неизбежному, они принялись острить. Наготове стоит поезд с новым машинистом, надежным, пожилым человеком, который отводит их без новых неожиданностей на ту станцию, куда они должны поехать. Адвокат, по фамилии Дым, объявил, что выщел с компании убытки, и обязался бесплатно защищать в суде интересы каждого из присутствующих. Но так как его фамилия была Дым, не многие вняли его словам, зато много любопытных толпилось в станционном зале, где Отто Томке, очнувшись после своего недолгого упоения властью, дремал в состоянии глубокой подавленности. Врач возмущенно заявил, что этот молодой человек переутомлен, это видно каждому, и если здесь присутствуют представители печати... Но начальник станции успокоил его. Конечно, будут приняты меры, чтобы поезд больше не вверялся таким юнцам. Компания давно уже ходатайствует о предоставлении брони взрослым машинистам, а то, что случилось сегодня, разумеется, тоже сыграет свою роль.

— Юношу нужно отправить в санаторий, — проворчал на прощанье врач, у которого было более мягкое сердце, чем положено врачу по нынешним временам.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОГАЗА

Это случилось в те давно минувшие дни, когда на Варшаву, Роттердам и Лондон еще не падали бомбы и некоторые европейцы надеялись, что, пожертвовав малыми государствами, они смогут предотвратить великое кровопролитие.

Не успел еще Генри Броун закрыть глаза и забыться перным сном, как его разбудили. Кто-то резко постучал к нему в дверь. В этот вечер Генри лег очень рано. Он был измучен событиями минувшего дня, когда над Европой неожиданно,

словно смерч, разразился грозный политический кризис. В Лондоне — на каждой улице, в каждой конторе и фирме — его ощутили с особенной силой. Вот и теперь владелец квартиры, у которого Генри снимал комнату, сокрушенно покачивая головой, сказал, что ему придется встать и примерить противогаз.

Стоял сентябрь 1938 года. Любого человека в случае служебной надобности могли до одиннадцати вечера вызвать опять на работу, и никто не имел права протестовать, тем более что это делалось для его же пользы. В гостиной Генри ждали две молоденькие девушки в мундирах и рослый приветливо улыбающийся юноша. Генри, сорокапятилетний невысокий человек, вышел, кутаясь в серый халат, накинутый поверх белья; он решительно не понимал, что все это означает. Но его уже усадили на стул и заставили дышать через противогаз.

Одна из девиц прижала кусочек картона к входному отверстию фильтра, и противогаз, сморщившись, словно воздушный шарик, проткнутый булавкой, так и прильнул к лицу Генри. Другая девица кивнула, видимо довольная. Противогаз сидел как влитой, не оставляя ни малейшей щелочки, даже очки и те не были ему помехой. Белокурый юноша вежливо и приветливо вручил Генри спасительный аппарат и сказал: «Бесплатно, мистер».

Вернувшись к себе в комнату, Генри положил маску противогаза на камин и вдруг почувствовал, как у него подкосились ноги. Он еле добрался до кровати и так и рухнул на нее. Вернулся, спустя двадцать лет, серый, резиновый призрак, с большими прозрачными надглазниками, чрезвычайно практичный... Сердце у Генри билось медленно и неровно. «Черт бы его побрал, — подумал он. — Вот уж по ком не стал бы плакать!»

Он снова лег в постель, выключил свет и попытался уснуть. Не тут-то было. Сквозь закрытые веки Генри видел свой последний блиндаж, коричневую плащ-палатку у входа.

Он лежал на мешке с соломой — один из миллионов солдат — в тяжелых ботинках, обмотках и бриджах, залепленных фландрской глиной. И память его превратила глухой звон стекла, дрожавшего под порывами ветра в окне спальни, в рев ураганного огня, бушевавшего мили за две отсюда. Нет, это невыносимо. Генри встал. Белый электрический свет залил его тихую комнату. Он оделся, взял шляпу, непромокаемый плащ и вышел. Перед ним простиралась безлюдная улица, ярко освещенная фонарями, и сентябрьский ветер играл листьями, которые сыпались с ветвей вязов, словно стреляные гильзы из винтовочного затвора.

Засунув руки в карманы, Генри брел по направлению к главной улице, но, выйдя на нее, сразу же свернул в переулок. Он даже не заметил, что заблудился и идет куда глаза глядят. Впрочем, он видел, что весь Лондон как-то вдруг изменился. Островерхие фасады Хэмстеда нисколько не напоминали английские коттеджи. Этот лондонский район скорей можно было принять за городок в Северной Франции, например Амьен.

Генри трясло от холодного бешенства. Значит, все было напрасно. Все... Миллионы убитых... Нищета, мучения, чудовищные усилия, горечь бессмысленной, безнадежной бойни. Человек никогда ничему не научится. Видеть, предвидеть — да ведь это просто недостижимая роскошь!

Бежать вперед под градом снарядов, бросаться наземь, вскакивать, втыкать штык в мягкое и упругое тело, бежать назад, дрожать, задыхаться в воронках от снарядов, швырять гранаты в последний миг... Все, все было напрасно. Вернулись. Немцы вернулись, даже их стальные каски вернулись.

Совсем как в девятьсот четырнадцатом. Его лучшие годы потеряны. Европа вновь превратилась в вагон для скота, и вместимость вагона — сорок восемь солдат или шесть лошадей.

Улица уткнулась в большой, заросший травой пустырь. Здесь росло несколько деревьев. Теперь Генри понял, где он находится. При свете уличных фонарей он увидел в отдалении какой-то отряд. Там что-то рыли. Окоп. Три старых дерева — Генри особенно любил их — были уже срублены. На их месте рыскал в небе, грозно вадымаясь, стройный стальной ствол невинного орудия; он был точно нацелен в облака, словно духовое ружье, из которого мальчишка собирается пальнуть по воробьям. «Воробышков», правда, еще не было, но скоро они прилетят. Уж в них-то недостатка не будет.

Генри подошел к землекопам и остановился возле них на самом свету, — за шпиона его, право, никак нельзя было принять. Землекопы были в превеселом настроении — видно, накупило сидеть без работы. Генри стоял, в раздумье засунув руки в карманы, и смотрел на копавших.

«Нет, как же это могло повториться? — спрашивал он себя. — Разве не похоронили мы все это навеки одиннадцатого ноября<sup>1</sup> тысяча девятьсот восемнадцатого года в одиннадцать часов утра? Разве мы, сплунув, не воткнули тогда штыки в землю и не воскликнули «наконец»?»

---

<sup>1</sup> День, когда весть о германской революции дошла до фронта.

Машинально повернувшись против ветра, Генри вытащил трубку, заслонил лицо шляпой и закурил. Трубка была до половины набита отличным английским табаком.

Дома, в Клайде, у Генри была молодая жена, он любил ее, и две маленькие девчушки. Что ж, очень хорошо. По крайней мере хоть будешь знать, ради кого таскаешь на себе винтовку и гранаты, если все начнется сызнова. Да неужто начнется? И почему же, черт побери? Только потому, что этим мерзавцам за Северным морем вечно мало земли, власти и верноподданных? Вот ему, например, власть не нужна. Он любит свою семью, жизнь, даже почтовые марки, он собирает их для своих девочек, для Рут и Лили. Но там, позади, в комнате, на каминной доске караулит противогаз и, глядя большими стеклянными глазницами, издевается над ним и над его бессильными мечтами. Дьявол, оборотень, ишь как роет землю своим свиным рылом в поисках трупов! Скорее забейте ему пасть проклятиями и землей! Генри казалось, что противогаз закрывает все небо, и небо становится тоже свинцово-серым, только вместо стеклянных глазниц на нем мерцает белесое облако.

Нет, не вина Генри, что над ними нависла катастрофа. Он сам жертва людей, для которых политика такое же дело, как для него торговля бумагой. Только они гораздо хуже разбираются в своем деле, чем он в своем. Иначе Лондон не оказался бы столь позорно безоружен в момент, когда разразился кризис. Вот они и вынуждены объявить себя банкротами.

Он стоял, прислонившись спиной к дереву, и ему казалось, что между лопатками у него растет второй позвоночный столб. Словно поднимаясь изнутри, из живота, стянутого ремнем, на котором, бывало, он таскал патронташ, им медленно овладевала мысль; к несчастью, она поднялась горлом, вызвала отрыжку и оставила горечь во рту, а потом изо всех сил сдавила ему изнутри затылок. Нет, нет! Он решительно отвергает эту мысль, пусть она и справедлива, пусть нашептывает ему, что все-таки здесь и его вина — безусловно, бесспорно. Он не смеет ни на кого пенять.

Незачем было так легкомысленно предоставлять другим заниматься печальным делом, которое они называют политикой. Но он отнесся к своим обязанностям спустя рукава и, позабыв весь свой опыт, полностью положился на мнение государственных деятелей, составивших себе определенное представление о развитии мировых событий. Им казалось, что они все еще имеют дело с солидными немецкими республиканцами, и они не заметили, а может, и не хотели замечать, что тем временем

успели вернуться гунны, те самые, образца 1917—1918 годов. Сомкнутыми рядами прошли они по поверженной в прах республике и истоптали ее. А потом пинками подняли уцелевших и тотчас же принялись муштровать их, готовя к новой войне. 11 ноября маячило теперь в далеком-далеком будущем — долг путь до Типперери. Нет, необходимо немедленно, пока еще есть время, высказать мерзавцу Гитлеру все начистоту и встать на защиту свободы и независимости по ту сторону пролива.

Один из рабочих швырнул лопату и отер пот с лица. Генри подошел к нему, скинул плащ и, словно обращаясь к усталому товарищу в окопах, сказал: «Пусти-ка меня, сейчас моя очередь». Рабочий посмотрел на него с удивлением, отрывисто засмеялся, навалился и отошел в тень.

Генри с размаху всадил лопату в землю. И все мускулы его тела сразу откликнулись на это движение. Он копал и думал, что будет зорко следить за всеми махинациями хитроумных дипломатов, этих соглашателей и правдоскрывателей, следить так же внимательно и настороженно, как следит сейчас за этой перекопанной землей — уж не залег ли за ней невидимый враг?

Пусть себе ухмыляется противогаз на каминной полке, Генри разбудили не зря — он будет действовать во имя добра, во имя жизни.

Бьет двенадцать! Что ж, можно вернуться домой и поспать.



# Леонгард Франк



## ОТЕЦ

*Порождения охидны!  
Кто внушил вам бежать  
от будущего гнева?<sup>1</sup>*



оберт служил кельнером в ресторане при гостинице одного немецкого города. Это был блондин заурядной наружности. Когда он, принимая заказ, стоял, застыв в почтительном поклоне перед посе-

<sup>1</sup> Евангелие от Матфея, гл. 3.

тителем, его сознание неизменно сверлила мысль: «Ни одна профессия так не унижает человеческое достоинство, как моя».

Брошенные ему чаевые действовали на него, словно пощечина, за которую приходилось благодарить. Человеческое достоинство Роберта сильнее всего бывало оскорблено, когда он получал чаевые от посетителя более бедного, чем он сам. Тогда в нем поднималось презрение, доходившее иногда до грубости и жажды мщения. Случалось, Роберт возвращал чаевые такому посетителю. Когда отпускал в долг знатым посетителям, он чувствовал себя как бы раскрепощенным.

В 1894 году его жена родила долгожданного сына. Роберт отдал всю силу своей любви этому ребенку. У него было все: детская, стерилизованное молоко, колясочка на рессорах, колыбель, покрытая белым лаком, картонные паяцы. Позже появились паровозики, железные дороги, воздушные шары, барабаны, сабли, ружья, оловянные солдатики. А еще позже — тросточка, матросский костюм и шапочка с надписью «Корабль его величества Гогенцоллерна», ранец из настоящей кожи, счеты с красными и белыми костяшками, полированный пенал.

Сын учился играть на скрипке и на рояле, он имел возможность посещать гимназию. Сын Роберта должен был учиться, чтобы не стать кельнером.

Уже в десять лет у мальчика был собственный велосипед, а в двенадцать он состоял членом патриотического союза молодежи.

Вся жизнь Роберта была заполнена сыном. И слова: «Место каждого труженика в жизни определяется заработком», — стали отныне его мировоззрением. Роберт бросался со всех ног выполнять заказы, кланялся, благодарил за чаевые, кланялся и опять благодарил, экономил, копил, высчитывал, выслуживался; стал старшим кельнером, затем — метрдотелем, предоставлял укромные номера парочкам для тайных свиданий на несколько часов, на все закрывал глаза; он целиком был поглощен любовью к своему сыну, послал его учиться в университет; поседел и был счастлив, что у него такая служба и такой сын. Роберт хранил его фотографии с самых ранних лет, детское платьице, шапочку с надписью «Корабль его величества Гогенцоллерна» и игрушки: сабельки, ружья, оловянные солдатики.

Сыну исполнилось двадцать лет. Однажды во вторник он получил повестку о призыве в армию, через полгода получил Железный крест.

А летом 1916 года Роберту пришло извещение, что его сын убит, пал на поле чести.

Весь мир рухнул для него.

Убитый горем отец вновь и вновь перечитывал: «Пал на поле чести». Извещение он носил в бумажнике между банкнотами.

Он перечитывал его, когда приезжий требовал номер, когда стоял около билльярда, в ожидании заказов, когда, услышав звонок, бежал по длинному коридору, он читал его перед тем, как войти в номер, и после того, как, держа в руках оплаченный счет и чаевые, вновь выходил в коридор. Он читал извещение в кухне, в винном погребе, в уборной. «Пал на поле чести». Честь! Это слово, состоящее из пяти букв, таило в себе ложь такой адской силы, что целый народ позволил этому слову из пяти букв взнуздать себя и сам же взвалил на себя бремя невероятных страданий.

Поле чести было чем-то невидимым, невообразимым и непостижимым для Роберта. Это было не поле, не пашня и не равнина. Не туман и не воздух. Абсолютное ничто. И это ничто должно было стать основой его жизни. Позади — пустота, и впереди — пустота. И посреди пустоты, лишенный всякой опоры, находился Роберт.

Его руки по-прежнему подавали кушанья, выписывали счета, получали чаевые. К чему? Банкноты потеряли цену, и сберегательная книжка стала для него полем чести. А оно было непостижимо.

Роберт сдавал за полцены лучшие комнаты, да еще при этом салон и ванную. Его разжаловали в кельнеры. Если посетителям ресторана счет казался слишком большим, он без возражения отпускал дорогие кушанья и вина по более дешевой цене. После этого его услугами стали пользоваться, только когда в большом зале гостиницы устраивались банкеты или собрания и там нужны были помощники.

Что может сравниться с таким состоянием, когда человеку совершенно безразлично, какое место в жизни он занимает? Все это было лишь поле чести. Абсолютное ничто.

Часто ему случалось забрести в комнату сына, где он во время войны собрал его фотографии, детские платяца, игрушки: сабельки, барабаны, ружья, оловянные солдатики, — и, оставаясь безразличным при виде этого пожелтевшего, поцарапанного хлама, он уходил отсюда так же машинально, как и входил.

Такое состояние, когда Роберт двигался, подобно автомату, продолжалось неделями, до тех пор, пока однажды не пробудился в нем человек, нашедший силы прямо посмотреть в глаза

страданию. Из его рук выпала фотография сына в форме пешотинца под ружьем, и Роберт, словно пораженный ударом молота, полетел в бездну, открыв свое сердце страданию. Роберт вскрикнул. Всего один раз, отрывисто.

Охваченный невыразимой болью, он не искал облегчения, таящегося в самом страдании.

Однажды жена попыталась его утешить словами: «Что ж, придется с этим примириться...»; она повторяла эти слова вслед за соседкой, булочником, бакалейщиком, переживавшим такое же горе. Увидев страшный взгляд Роберта, она отшатнулась и замолчала.

Молчал и Роберт, выполняя порученную ему работу. Так как он не раз отпускал посетителей, не оплативших счета, ему поручили разносить воду в кафе; он и на это согласился.

Роберт знал: что-то должно произойти, и только потому продолжал сохранять это опасное спокойствие. Возможно ли, чтобы он остался в бездействии, он, которому нечего терять, ибо все уже потеряно? За обликом кельнера, за этой внешней тонкой оболочкой скрывался человек, кричащий страшно, беззвучно от душевной боли. При малейшем прикосновении оболочка могла не выдержать. Тогда бы крик вырвался наружу.

Детские ружья и сабельки он отвес в гостиницу и спрятал за рояль, чтобы больше не видеть их. Стоило ему только посмотреть на эти игрушки, как сознание вины жгло его. Но если он обслуживал какого-нибудь украшенного боевыми орденами лейтенанта, он оставался спокойным.

И когда по улице мимо гостиницы проходили вооруженные мальчики-подростки — члены патриотического союза молодежи — с песней:

Я не могу подать тебе руки,  
Я заряжаю вновь ружье,—

то жгучее сознание вины вгрызалось в душу Роберта. И он ведь учил своего сына таким песням, разрешал другим учить его и слушал их с отцовской гордостью.

Однажды он стоял в подъезде гостиницы, — нервы были напряжены до предела, — сознавал, что, если он бросится на марширующих мимо него, введенных в заблуждение юнцов, это будет прыжок в пустоту. За юношами и их боевой песней скрывалось что-то неуязвимое: невидимый, бесплотный противник. Какая-то сила удержала его от прыжка. И Роберт понял, что эта сила сберегла его для той минуты, когда враг станет осязаемым.

Наступил день, и этого врага, скрывавшегося в самом человеке, а не где-то вне его, Роберт ощутил настолько ясно, что взгляд у него стал похож на взгляд убийцы, признавшего свою вину. На глазах у него выступали слезы неистового гнева, когда он видел, что девушка, потерявшая жениха, жена, потерявшая мужа, родители, потерявшие сына, еще могут улыбаться и даже, как обычно, заказывают кружку пива.

Когда женщина, единственный сын которой, ее опора в старости, средоточие ее любви, был растерзан на поле чести, сказала Роберту: «Что ж, придется с этим примириться», — он в испуге чуть было не схватил ее за горло, но та же сила коснулась рук кельнера и положила кротко на плечо матери его пальцы, затрепетавшие от любви. Нет, женщина не была виновата, не она была врагом и не ее слова, а то, что скрывалось за ее словами. Но это было нечто такое, чего не существовало. А не существовало — любви.

Убийственное сознание своей вины выжгло маленькую отцовскую любовь, и в его сердце зародилось первозданное чувство большой любви.

В глубочайшем смирении, в котором таилась неистощимая сила любви, он выполнял работу рассыльного: подавал посетителям воду, мыл стаканы, а когда его вызвал звонок, пошел в большой зал гостиницы.

Слесари, каменщики, плотники, кровельщики, обойщики, стекольщики — люди, изможденные трудом, походившие на ужасно безобразных косматых животных с человеческими глазами, — наполнили зал гостиницы: союз строительных рабочих проводил свое ежегодное собрание.

Роберт принес оратору, стоявшему на трибуне, графин с водой и стал слушать его, облокотившись на рояль, за которым были спрятаны сабельки и ружья.

Оратор сказал, что пособия безработным и больным членам союза в этом году выплачены не будут, потому что членские взносы почти не поступали. К тому же в первую очередь пособия посылались членам союза, которые находились на фронте. Запасы исчерпаны. Касса пуста.

Семьсот пар глаз угрюмо молчаливых и растерянных людей были устремлены на докладчика. Красными пятнами покрылись лица женщин, чьи кухонные горшки были пусты, чьи мужья находились на полях сражений или уже погибли.

В железных тисках войны, сжимавших в течение двух лет Европу, оказались и эти семьсот вялых животных, согнувшихся под тяжестью горя и нужды.

Какой-то мальчуган вытащил ружье из-за рояля, стоявшего на эстраде. Прижав приклад к худенькой щечке, мальчик стал целиться в семьсот оцепеневших мужчин и женщин, сидевших в зале. Их взгляды были прикованы к дулу ствола из белой жести.

А там, на полях сражений, прижав винтовку к щеке, миллионы людей, погрязшие в преступлениях и грехах, стояли против таких же миллионов преступных и грешных.

Тогда Роберт сделал прыжок. Это был неторопливый прыжок. Он пошел на мальчика с уверенностью лунатика, отнял у него ружье и приблизился к краю эстрады.

И в то время как оратор пил воду и складывал листки с текстом своего отчета, Роберт заговорил:

— Вот ружье. Его я... я сам купил своему мальчику. Он играл им. И, играя, он незаметно изгнал из своего сердца любовь. Так он научился стрелять. Я научил его стрелять, научил его убивать. Мой сын погиб. Он мертв. Я его убийца... Отцовская гордость, жажда славы, несерьезность и привычка превратили меня в убийцу. А я сделал лишь то, что сделали и вы. Многие из вас ведь тоже своих сыновей... потеряли.

Роберт переломил ружье о колено и спокойно положил обломки к своим ногам.

— Я должен был так поступить пятнадцать лет тому назад. Вы этого не сделали? Значит, вы тоже убийцы.

Наши мужья и сыновья убивают таких же мужей и сыновей. А те убивают наших мужей и сыновей. И каждый, кто остался дома, надеется: мой муж, мой сын вернется — пусть погибают другие.

Лишь сумасшедший может так рассуждать. Я спрашиваю вас: разве не убийца тот, кто так воспитывает невинного ребенка, что он становится убийцей прежде, чем убьют его самого? Разве не убийца воспитанный подобным образом невинный мальчик-подросток, убивающий невинного юнца, точно так же введенного в заблуждение. Сейчас в Европе нет ни одного человека, который не был бы убийцей! Мы ослеплены и стали убийцами, потому что ищем врага вне самих себя и думаем, что нашли его. Наш враг не француз, не англичанин и не русский, и для них не мы, немцы, враги, враг — в нас самих. И мы видим врага в других людях, потому что подлинный враг — это нечто такое, чего не существует. Отсутствие любви — вот наш враг и причина всех войн. Вся Европа плачет, ибо вся Европа не способна больше любить. Вся Европа обезумела, ибо она не может любить.

Разве это не безумие, когда вы радуетесь сообщению, что две тысячи французов убиты перед нашими позициями? Разве не сошли с ума жители Парижа, если они радуются сообщению: две тысячи немцев убиты перед французскими позициями?

Когда гибнет наш сын, мы кричим от боли или наши глаза остаются сухими от боли. Если мы точно так же не закричим от боли при гибели француза, значит, мы не способны любить. Если мы не понимаем, что погиб человек, который не сделал нам ничего плохого, значит, мы — безумцы. Ибо у этого человека, который погиб в бою или умер, есть мать, отец, жена, также кричащие от боли. Ведь это — человек. Он так хотел жить. А должен был умереть. За что? Почему? Мы его убийцы, мы виноваты в его смерти, потому что мы не любим.

Во время своей речи Роберт делал едва заметные движения рукой, отчего трепетала белая салфетка. Очень трудно внушить другим то, что прочувствовал и осознал сам. И в то же время все так просто и естественно. Но люди отвернулись от всего естественного. Они забыли о любви, как забывают где-нибудь зонтик.

— Ведь нужно только любить, тогда не раздается больше ни одного выстрела. Настанет мир. И тогда мы станем детьми нашей матери-земли. Люди целой части света плачут. Но ведь это говорит о том, что они способны любить. Всякая надежда была бы вовсе потеряна, если бы Европа смеялась над тем, что вся Европа истекает кровью. Но в Европе нет ни одного дома, где бы не лились слезы. Это любовь изливается из человеческих глаз, потому что она изгнана из людских сердец.

Что вы сделаете, если в эту минуту войдет в зал незнакомый вам человек и вонзит штык в живот кому-нибудь из вас, кого он никогда раньше не видел? Вам невозможно будет понять этого безумца. Но то же самое делают ваши мужья и сыновья, они также пронзают штыками мужей и сыновей, которых никогда не видели. И пронзенный штыком вскрикивает, корчится и падает. Что сделал он вашему сыну? А что сделал ваш сын тому, кто его проткнет штыком?.. Представили ли вы себе хоть раз, как умирал ваш мальчик, которому так хотелось жить, ах, так хотелось жить?

А ты, девушка, вообрази себе последний взгляд твоего жениха, который висел на колючей проволоке в течение шести часов в знойный летний день, раненный насмерть и томимый жаждой. Представь себе его последний мученический взгляд!

— Женщина! — обращается Роберт к побледневшей вдове, и потому, что в зале стоит мертвая тишина, его слышат все при-

сутствующие. — Что сделал твой муж, отец твоих детей, твой кормилец, которого ты любила, что сделал он тому, кто пронзил его штыком?

Вдова застонала, и ее голова упала на плечо соседки.

— Люди обезумели, по-настоящему обезумели, потому что забыли о любви. А забыв о любви, они вообразили, что все так и должно быть, как оно есть... Вы сами видите, что у нас остались одни калеки, истощенные дети, женщины и старики.

Представьте себе, что ампутированные руки и ноги, разорванные части тела, миллионы растерзанных трупов, а среди них ваши сыновья и мужья, перенесены с полей сражений на ваши улицы и вы все видите собственными глазами. Неужели вы и тогда сказали бы: что ж, придется с этим примириться? Когда же наконец вы осмелитесь любить, не задумываясь над тем, к чему это приведет? Скажете ли вы тогда наконец: я не хочу жить, если я не могу любить. Поймете ли вы тогда, что те, кто запрещает вам любить, — ваши враги? Враги человечества! Враги всех народов! Неужели вам не видны горы растерзанных человеческих тел? Они лежат у вас на глазах, они лежат на улицах, и ни одна машина не может проехать, и вы не можете сделать ни одного шага. Это ваши сыновья! Ваши мужья! Отцы! Они лежат окровавленные, растерзанные, обезображенные до неузнаваемости!

В середине зала раздался крик. У входных дверей послышался нечеловеческий вопль. Какой-то старик уронил голову на руки; девушка вышла в проход между стульями, глаза ее широко раскрылись, и она бросилась на колени.

— Мы не смеем больше обманывать себя, говоря, что виноваты только царь, кайзер и англичанин. — Роберт медленно прижал к груди руку, в которой держал салфетку. — Я виноват. Ты виноват. И ты, и ты... Потому что мы, как и царь, и англичанин, и кайзер, и миллионер, и миллиардер, забыли о любви. Возьмите вину на себя, чтобы вновь приобщиться к любви. Ибо только тот, кто сегодня чувствует себя виновным, сможет искупить свой грех и вновь полюбить.

А теперь знайте — любовь несет в себе суровую заповедь: «Кто не любит, тот грешен, в том кроется зло и тот должен освободить дорогу, чтобы у любви на земле не было больше преград». Мы пойдем на смерть ради того, чтобы Европой правила любовь.

Лица собравшихся в зале просветлели.

Продолжая говорить, Роберт сошел с трибуны. Все встали со своих мест, стараясь протиснуться к нему.



— Закон любви гласит: «Кто не чувствует себя виноватым, кто не хочет взять на себя вину, тот не любит, тот наш враг и должен посторониться». Это закон. Новый закон. Знайте об этом вы, которым нечего больше терять, потому что вы уже все потеряли.

Слова Роберта были подхвачены сотнями голосов: «Все потеряно. Мы уже все потеряли. Нам нечего больше терять. Нечего! Нечего!»

Когда они шли по улицам, широко разнеслась весть: «Они хотят добиться мира!» Впереди шел кельнер без шляпы, в застегнутом смокинге, с салфеткой в руках.

Продавщицы — осиротевшие невесты — оставили прилавки и присоединились к толпе. Двое стариков, которые протирали витрину, бросили лестницу и также присоединились. Вагоновожатый трамвая, услышав слово «мир», оцепенел на мгновение, затем выпрыгнул из вагона и присоединился к толпе. Пассажиры также присоединились. За несколько минут толпа увеличилась втрое. Она удесятилась, когда достигла площади, и Роберт, взобравшись на край фонтана, заговорил. Казалось, слова его пылают на небесах: «Уже и секира при корне лежит. Поэтому всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».

Молодая женщина, стоявшая тут же, все время улыбалась и без конца повторяла одно и то же слово — мир. Люди, прибывшие на вокзал, забыли обо всем и присоединились к толпе, когда она двинулась дальше. Клокочущая. Стремительная. Зажженная верой.

Снаряженные по-походному, с винтовкой через плечо, отпущники, в глазах которых застыл ужас сражений, присоединились к толпе. Старушки семенили ей вслед, едва поспевая. Дети были поражены этим зрелищем, они предчувствовали что-то грандиозное, необычное. Старый полицейский вахмистр с седой остроконечной бородкой и с траурной повязкой на рукаве тоже присоединился, словно одержимый.

Все, что шли навстречу шествию, поворачивали обратно, охваченные общим порывом. Велосипедисты неслись по улицам, выкрикивая: «Они хотят добиться мира!»

Опустели рестораны. Опустели мастерские, строительные площадки. Приводные ремни были выключены. Отряд вооруженных солдат был также подхвачен людским потоком. Песни, прославляющие любовь, звучали в темпе марша. Больные вставали с постели и плелись к окнам. Длинные вереницы женщин, беспорядочно двигаясь, сливаясь воедино, присоединились к шествию.

Двадцатилетний юноша, с одухотворенным лицом фанатика, выбежал из переулка, полного народа, бросился к кельнеру и поцеловал его. Навстречу горящему взору юноши раскрылись сердца людей.

Весь город в едином порыве поднялся на клич: «Мир!» И это слово превратилось в тысячеголосое, громкое пение. Во всех церквях звонили в колокола.

## В ПОСЛЕДНЕМ ВАГОНЕ

### 1

Моложавый банкир, посвежевший после месячного отдыха на горном курорте, медленно прогуливался по тропинке между ручьем, где водились форели, и отвесной скалой, сочившейся влагой; он направлялся к кафе, чтобы в последний раз посидеть на широкой террасе, насладиться ароматной лесной земляникой и послушать бодрящее постукивание машин на большом лесопильном заводе.

Жизнерадостно мурлыча какую-то песенку, он шел среди голубеющего воздуха и зелени и предвкушал восхитительную прогулку вниз, с горы, по переброшенному через долину виадуку, повисшему в воздухе на высоте пятисот двадцати метров, откуда открывался необъятный вид на горы и расстилавшиеся внизу поля. Вскинув прямо над головой свое кепи таким жестом, точно это был гантель, банкир благодушно ответил на приветствие коммивояжера галантерейной фирмы, описавшего широкий круг соломенной шляпой. Тот только что вышел из прилепившегося к скале магазинчика, явно довольный выгодно заключенной торговой сделкой.

— Какой воздух! Цветы! Какой здесь аромат, а?— воскликнул коммивояжер галантерейной фирмы.— А эта скала! Не правда ли, она словно олицетворяет мощь Германии?

— Потому что с нее всегда каплет?

— Нет. Ее упрямую мощь!

Они только накануне познакомились на площадке для солнечных ванн.

«Ну, нет, такой сухой щепкой, такой дряхлой клячей с отвислым дряблым животом я не стану никогда»,— думал про себя коренастый банкир, крепко упираясь в землю широко

расставленными ногами; он положил руки на бедра большими пальцами вперед; посмеиваясь над жалким видом коммивояжера, банкир безуспешно пытался заманить его под холодный душ.

— А теперь я буду делать наклон вперед.

— Что вы будете делать?

— Наклон вперед! Надо сгибаться. Руки... вверх! Руки... вниз! Колени... согнуть! Колени... выпрямить!

Он еще раз присел и при этом с такой силой выбросил вперед руки, что даже хрустнули плечевые суставы.

— Вот как, милостивый государь, сохраняется молодость!

— Все меняется,— как бы откликаясь на его слова, сказал рабочий, стоя у фрезерного станка в открытом сарае лесопилки.— Вчера одним махом уволили сто человек. И еще на очереди около двухсот. У нас ведь тут целый десяток управляющих.

— А хозяин где? — спросил банкир.

— Ну, этот... Он и побывал-то здесь всего один разок. Лет пять тому назад. Вздумал тогда покататься по горам в машине, да заодно заглянул и на завод... Он в Берлине живет. На днях я прочел в газете, что он пожертвовал сразу двести тысяч на... ну, на развитие культуры. На какой-то театр!

— Вы не поверите, но я уже много месяцев не могу выбрать-ся в театр,— заметил коммивояжер.— Как раз сейчас подъем в моей отрасли!

— Да, как будто начинается небольшое оживление... Ты что, ручкой попала в машину? — Банкир погладил светлую, причесанную на пробор головку девочки, у которой не было левой руки.

— Нет, я такая родилась,— быстро откликнулась девочка — ей, видно, уже не раз приходилось отвечать на этот вопрос,— и спрятала обрубок руки под фартук.

— Мать, наверно, загляделась во время беременности. В наших краях это не редкость, на заводе бывает столько несчастных случаев. Ограждения никуда не годятся,— пояснил коммивояжер.

— Теперь-то все наладится,— утешил его банкир.— Новые времена неизбежно поведут к переменам.

Коммивояжер взмахнул рукой.

— Ну, а вы были когда-нибудь в театре? Или же вы здесь... — Он огляделся, точно по вороху стружки или по крыше мастерской мог отгадать, ходят ли здешние жители в театр.

— Какой там театр! — Рабочий повернул рычаг: фрезерный станок загудел и окутал его облаком древесной пыли.

— Вот, деточка, передай своей маме.

Банкир сунул в руку девочки ассигнацию и упругой походкой направился к воротам, потом вдруг вернулся и потрепал ребенка по щеке.

— Как же тебя зовут? Бербельхен? Вот как!

Медленно, шаг за шагом, спокойно поднимался он вверх, к кафе, а коммивояжер, запыхавшись, следовал за ним.

Кельнер только что подал вторую порцию земляники, когда с обширного двора лесопильного завода, черневшего от множества людей, стали доноситься отдельные восклицания.

— Как видно, собрание по случаю увольнения ста человек, — пояснил кельнер.

Коммивояжер положил обратно на тарелочку полную ложку земляники.

— Среди бела дня! Неслыханно!

— В субботу после обеда все равно не работают.

— А почему не работают, разрешите спросить? Мне самому, например, пришлось сегодня, в день отъезда, посетить еще двух клиентов.

За столиком, поставленным на штабель досок, сидел председатель собрания, держа в руке колокольчик; рядом примостился секретарь окружной партийной организации; он как раз излагал собранию принципы социальной демократии: обещал конечную победу социализма путем постепенного завоевания большинства в парламенте.

Участники собрания — все рабочие завода и несколько лесорубов — стояли и сидели на штабелях досок. Многие пересчитывали деньги — был день получки — и ругались.

Коммивояжер то и дело оборачивался, прислушиваясь к крикам, доносившимся с лесопильни. Возмущение уволенных рабочих прорвалось.

— Только так мы сможем восстановить нашу экономику, — надрылся партийный секретарь, стараясь перекричать шум, — а также сохранить все завоевания нашей культуры и, так сказать, приобщиться к ним. Товарищи, оградим и в дальнейшем нашу мирную долину от азиатских методов. В долине нашей все идет...

— ...а девушка у водопада ждет! — бросил один из уволенных.

Многие вытащили носовые платки. Запахло потом. Жгучие лучи солнца падали отвесно на искрящиеся алмазами снежные вершины.

Пока первый выступавший в прениях оратор доказывал, что он, с одной стороны, не совсем согласен с партийным

секретарем, но, с другой, считает возглас о девушке у водопада неуместным, седой как лунь, сгорбленный рабочий лесничества показывал соседу свой башмак, рассеченный топором.

— Ходил бы я босиком, была бы только одна дырка. Такая сама бы зажила. А башмаку — конец, он уж не заживет.

Тут назвали его фамилию. Он протолкался вперед и вскарабкался на доски.

— Мы, старые члены партии, уже тридцать лет состоим в организации, и нечего нам толковать о тактике. Уж тактику-то мы знаем наизусть. Тактика правильная. Все развивается. И хозяйство, разумеется, необходимо восстанавливать. Но заработка не хватает даже на еду. А уж башмаков ни за что не купишь. И вот я вас спрашиваю, я говорю: очень мне бы хотелось послать своих двух мальчиков в реальное училище, пусть они там чему-нибудь научатся и чтобы им вообще жилось лучше, чем их отцу. Но кто заплатит, я вас спрашиваю? Тут ничего не поделаешь: как только мальчишки кончают школу, им приходится уходить от отцовских хлебов. Значит, парнишки не могут учиться. Я могу все высчитать до гроша. Если даже не мечтать о платье и обуви, и то мой заработок составит...

— Прошу оратора высказываться по существу. — Председательствующий улыбнулся. Осторожный звон колокольчика замер.

Настойчивый старик обернулся и растерянно взглянул на председательствующего.

— Вот это я и хотел сказать — по существу вопроса и насчет тактики. — Он продолжил стоять, потом вдруг добавил: — Это же самый важный вопрос! — и полез вниз.

К забору привалился кривоногий господин в желтых гетрах, с большим блокнотом в руках; его мечтательный взор был устремлен на далекие цепи гор, будто он сочиняет про себя стихи или рисует.

На штабель поднялся приезжий деятель рабочего движения, специально присланный сюда своей партией из столицы, известный агитатор, имя которого было всем хорошо знакомо по газетам. Как только он сказал, что, начав с повседневной борьбы, можно достигнуть той великой цели, во имя которой боролись многие поколения рабочих, председатель попросил агитатора не отвлекаться; видя, что рабочие энергично запротестовали, явно желая услышать то, что соответствовало их стремлениям, он предостерегающе звякнул колокольчиком.

У агитатора, — ему было всего лет тридцать, но стоял он на досках согнувшись, точно шестидесятилетний старик, —

толстая нижняя губа еще больше отвисла; ни на кого не глядя, он ждал, пока стихнет шум. Брюки пузырились на коленях, худые лопатки резко выпирали.

Сизые тучи висели над выходом из долины. Агитатор заговорил быстрее, без пауз и каждый раз, подходя к самому краю штабеля, подкреплял свои слова жестами. Рабочие сидели и стояли неподвижно и не сводили с него глаз.

Вот уже первая сухая молния прорезала все небо, словно одна вершина подала сигнал другой.

У забора, на прежнем месте, стоял с тем же мечтательным видом господин в гетрах.

На той стороне горизонта, откуда надвигалась гроза уже шел косой дождь, а терраса кафе все еще была залита солнцем.

— И — **правый**, крайний правый. Только так можно вновь **повеличить Германию**, — сказал коммивояжер.

— А я, знаете ли, демократ, — самодовольно улыбаясь, ото-являлся с глубоким спокойствием банкир. — Вождями народа должны быть способнейшие, то есть те, кто чему-нибудь **научился**.

Коммивояжер прислушался к аплодисментам, доносившимся с заводского двора, и ответил:

— Что ж, я не возражаю.

Редкие, крупные капли зашлепали по столу председателя, разлетаясь брызгами.

Прижав локти к бокам, банкир рысью побежал по извилистой тропинке вниз, во двор лесопилки.

— Теперь обойдуся и без собрания, — воскликнул, с трудом переводя дух, коммивояжер, видя, что многие участники собрания, подняв воротники пиджаков, выскочили из ворот.

Все небо затянулось иссиня-черными тучами. Молнии, как огненные змеи, сверкали непрерывно, сталкиваясь и переплетаясь, сопровождаемые ежесекундными оглушительными ударами грома.

Только теперь господин в гетрах, успевший промокнуть до нитки, оторвался от забора и торопливо зашагал прочь под отвесно низвергающимися потоками воды.

Банкир добрался до отеля. Двор лесопильного завода опустел.

Через несколько минут разорванные в клочья облака, похожие на вспугнутую стаю гигантских птиц, уже плыли высоко над долиной и скоро исчезли за снеговыми вершинами, кое-где уже сверкавшими под ярким солнцем. Воробы крикливо зачирикали. Все вокруг заблистало влагой.

Гости, покидавшие курорт, еще сидели за обедом, когда мимо проехал грузовик, нагруженный желтыми кожаными чемоданами этих господ; он проехал мимо медленно вращающегося новоротного круга, где стоял, блистая свежим лаком, последний вагон.

## 2

Пьяный сцепщик брел, так беспомощно пошатываясь между буферами, что подкативший последний вагон чуть не разможил ему руку, которой он размахивал в такт веселой песне. Даже сквозь лязг сомкнувшихся буферов был слышен его крикливый голос. Рука привычным движением ухватилась за сцепление. Затем сцепщик крикнул что-то машинисту, его крик, во сто крат усиленный горным эхо, прозвучал яростным воплем, и он, едва держась на ногах, опять поплелся в привокзальную пивную.

— Кажется, это тоже называется социализмом, — произнес какой-то офицер и вошел в последний вагон.

— Я, между прочим, даже не знал до нынешнего дня, что у господина председателя два сына. — Прокурор поклонился и пропустил агитатора вперед, в последний вагон.

— Искренне рад, что познакомился с вами. Какое совпадение!

Толстая нижняя губа агитатора отвисла, он подумал: «После революции он добился трехсот лет каторги для рабочих, представших перед судом, и, конечно, он имеет самые точные сведения обо всех руководящих товарищах; бесспорно также, что в его следственном архиве находится моя фотография, и он прекрасно знает, что все это мне известно. Зачем же он выдумал, будто у моего отца есть второй сын? Посмеяться он хочет надо мной, что ли? Ладно, побеседуем! Дорога предстоит длинная».

Чуть уловимым оттенком иронии в голосе прокурор дал понять, что знает о несуществующем втором сыне.

— Чем же вы объясните тот чудовищный факт, что ваш брат совершенно сбился с пути, хотя он, как и вы, получил в отцовском доме хорошее буржуазное воспитание? — улыбнувшись, спросил прокурор.

Агитатор помолчал несколько секунд с тем же спокойствием, с каким он ждал на штабеле досок, пока стихнет шум, и затем промолвил:

— Что ж, допустим, что у почтенного человека есть два сына от одной матери, их одинаково строго воспитывают те же

учителя, они с самой, так сказать, колыбели живут в одинаковых условиях.

— Ну и что же? — с интересом спросил прокурор, видя, что агитатор умолк. Оба сидели, откинувшись на спинку дивана.

— Пауль с детства принаравливается к требованиям жизни, взамен получает все преимущества своего класса, он становится таким же, как и его отец, и, подобно отцу, заслуживает всеобщего уважение; Эуген, напротив, с юных лет начинает бунтовать, не желает отказаться от своего собственного «я» и, наконец, покидает проторенный путь и переходит на сторону рабочего класса. Так мой брат объясняет свое и мое поведение. Видите, я не в слишком выгодном положении, хотя считается, что свихнулся он.

— Свихнулся! Если бы он просто сбился с пути, стал бы мутить, делать долги, не работал, лодырничал. Такая вещь может случиться в любой добропорядочной буржуазной семье. Но забыть свой долг культурного человека, все, чем представитель нашего круга обязан своему воспитанию, своему положению, примкнуть к людям, которые толкают наш народ в пропасть, — это поистине непостижимо для молодого человека из хорошей семьи. Вы уж меня простите, что я так откровенно говорю о нашем брате, господин доктор. Извините, вы ведь уже сдали все экзамены?

— Да, я доктор политической экономии.

— И брат ваш тоже, если не ошибаюсь?

— И брат мой тоже доктор политической экономии. Мы — близнецы.

— Между прочим, я недавно опять обсуждал с вашим отцом эту печальную историю, и господин председатель был...

— ...совершенно с вами согласен, могу себе представить. Мой брат, наоборот, — мы иногда еще беседуем с ним, — придерживается того мнения, что именно война столкнула наш народ в упомянутую вами пропасть и что войны неизбежно будут повторяться до тех пор, пока средства производства не станут общественной собственностью.

— А ваш брат не хочет присоединиться к тем, кто считает, что эту небольшую операцию можно провести более или менее мирно тогда, когда наступит подходящий момент, когда экономические условия, капитализм и рабочий класс созреют для этого, когда внешнеполитическое положение страны и еще с десяток всяких условий будут благоприятствовать этому маленькому эксперименту, — к этим людям ваш брат не хочет примкнуть, не правда ли? — с улыбкой спросил прокурор,



незаметным кивком предлагая удалиться кривоногому господину в гетрах, который стоял в дверях купе и весь обратился в слух.

«Этого длинноухого я уже где-то видел,— вспомнил агитатор.— Неужели лейб-шпик получил повышение и стал провокатором, а за мной теперь следит такой новичок?»—Он улыбнулся господину в гетрах той бодрой улыбкой, которая действует, как наведенный револьвер, на всех шпикив, не умеющих сохранять полное хладнокровие.

Шпик также бодро улыбнулся в ответ.

«Значит, не новичок?»

— Мы так любим друг друга, что ничто на свете не в состоянии серьезно поколебать нашу любовь. В нас, в нашей любви, заключен весь мир,— бережно ведя к последнему вагону свою молодую жену, которая была на последнем месяце беременности, говорил банкир.— Какое это счастье — работать, жить и умереть для тебя. Какое счастье!

Кроме этой супружеской четы, в том же купе последнего вагона разместились: высокое духовное лицо, офицер, профессор университета, главный редактор одной газеты и коммивояжер галантерейной фирмы, с величайшей готовностью уступивший беременной место у окна. Он предложил ей также свою дорожную подушку.

Она дружески поблагодарила его, достала из чемодана подушечку и опять устремила взгляд на мужа. Казалось, что она смотрит в себя и видит дитя, лежащее у нее во чреве.

— Для меня это было бы только удовольствием! — воскликнул коммивояжер, стараясь занять как можно меньше места, чтобы беременной было удобнее сидеть. У него был такой резкий голос, что агитатору, сидевшему в соседнем купе вдвоем с прокурором, показалось, будто рядом каркает ворон.

Профессор университета сидел, откинувшись на спинку дивана, в уголке возле двери, прикрыв колени шотландским пледом, приветливо выглядывая из-под шотландской дорожной шапочки, наблюдая сквозь поблескивающие стекла очков за обменом любезностями, теперь уже закончившимся. Хотя все теперь молчали, казалось, что профессор молчит как-то по особенному и что за всю дорогу он не раскроет рта.

Внимание, проявленное коммивояжером к молодой женщине, создало в купе приятную атмосферу какой-то общности, взаимопонимания. Даже офицер, при всей его положенной по чину сдержанности, изобразил на лице нечто вроде любезной улыбки, хотя присутствующие еще не были представлены друг другу. А скорбно-ласковое выражение священнослужителя

ясно говорило о том, что только взаимная любовь и доброта могут смягчить неизбежные тяготы жизни.

Банкир, вознамерившийся стать нежным отцом, хлопотал вокруг жены, которая должна была родить на следующей неделе, а она отводила от него глаза лишь для того, чтобы посмотреть на свой живот.

— Вероятно, в предстоящих сенсационных политических процессах я опять буду представителем обвинения. Вообразите же себе мое положение, если рабочие, подстрекаемые и руководимые нашим братом, опять начнут устраивать демонстрации и забастовки, грабить и затевать стычки с полицией или войсками. Тогда мне придется требовать строгой кары для него, для сына нашего высокочтимого председателя, возможно даже пятнадцати лет...

— ... или даже смертной казни?

— ... разумеется, в случае установления бесчестных побуждений, при известных обстоятельствах — даже смертной казни.

«Для меня! Вот это мило!» — подумал агитатор.

— Каково будет мое положение! Вы понимаете?

— Понимаю. Вас действительно можно пожалеть.

— Но прежде всего — господина председателя!

— И в конце концов моего брата тоже?

— Если хотите — и его тоже! Но революция — это борьба...

— То же самое всегда говорит мой брат.

— ... и тот, кто вступает на опасный путь, должен быть готов к тому, что на этом пути его ждет гибель... Ваш брат, насколько я его знаю, не станет прибегать к помощи психиатра; более того, он не преминет использовать зал суда как трибуну, чтобы произнести агитационную речь, не упустит последнюю возможность послужить своей идее.

— Видя перед собой возможность смертного приговора!.. И все же можно приписать бесчестные побуждения и уготовить мне смертную казнь?

— Да! Такие руководители, как вы, особенно опасны.

— И должны быть устранены, не правда ли?

— Да, конечно.

### 3

Поезд тронулся. Незадолго до его отправления с той же курортной станции, самой высокой горной в стране, ушел товарный поезд, груженный строевым лесом. На месте погрузки, между рельсами, еще валялись куски коры; прилипнув к

влажным скалистым стенам, висели длинные, узкие полосы дыма.

В коридоре одиноко стоял вечный студент-корпорант, мечтавший стать прокурором. Он смотрел то на отвесно вздымающиеся влажные скалы, то в глубь долины, где на зеленом бархате лежали крошечные голубые деревушки, словно высыпанные из ящика с игрушками. Студент то выпячивал, то втягивал нижнюю губу, почти в такт мельканию телеграфных столбов за окном. Он страдал слабостью мочевого пузыря. Поэтому он и стоял в коридоре.

Рабочий с лесопильного завода, по ошибке попавший в коридор вагона второго класса, грыз незрелое яблоко, прислонившись к соседнему окну. Это был один из ста уволенных рабочих, и ехал он теперь в столицу, надеясь там найти работу.

— Благословенные нивы!

— Но уголь! У нас не хватает угля,— сказал коммивояжер.

Священнослужитель отозвался:

— Если на то воля божья, у нас скоро опять будет уголь.

Упоминание о боге коммивояжер оставил без внимания. Он продолжал:

— Без угля нет промышленности. Без промышленности нет экспорта, а без экспорта не будет нового подъема. Это ясно. Уголь — это все!

Беременная закрыла глаза. Она жила двумя жизнями: своей и ребенка. Банкир сказал:

— Да, да, уголь. И еще долгосрочные, крупные кредиты. И труд, самой собой разумеется, только труд...

— ... может нас спасти. Ясно. Труд — это все.

— И возврат к прежней немецкой дисциплине,— неожиданно для всех вмешался профессор университета.

Офицер, как автомат, утвердительно качнул торсом, словно под действием электрического тока.

— Тогда мы скоро достигли бы довоенного уровня и смогли бы начать сначала. И мы показали бы себя всему миру. Работать-то мы умеем. Лучше любого народа.

— Это мы доказали.

— Да, это мы доказали.

«Но, пожалуй, трудно будет найти заработок, слишком много безработных,— подумал уволенный рабочий.— И что за вадор они там несут?»

— А почему именно меня назначают представителем обвинения во всех крупных сенсационных политических процессах,— я могу, если это вас интересует...

— Конечно, очень интересует.

— Пожалуйста, с удовольствием. Я вам охотно все объясню,— заверил прокурор, и в глазах у него блеснуло воодушевлением семнадцатилетнего юноши.

— Видите ли, подросток, скажем, интересуется только футболом. Для него вся жизнь — футбольное поле. Один стремится к вольной жизни на море и не может понять честолюбия другого, который, бог весть почему, захотел непременно стать лучшим литографом родного города и жениться на соседской Ленхон; и вдруг оказывается, что именно он поступил юнгой на судно, направляющееся в Индию, в то время как тот, кто мечтал о вольной жизни, работает писцом в канцелярии магистрата.

В дверях показался шпик и внимательно взглянул на сетку для багажа. Прокурор, открыто улыбаясь, сделал ему знак удалиться и продолжал:

— Юноша, живущий в первом этаже дома, целые дни мастерит модели паровых машин; а живущий этажом выше коллекционирует змей. Одни собирают все, что попадает в руки, другие принципиально коллекционируют только то, что находят на улице... Моей юношеской страстью было изучение политических процессов и революционных движений всех времен и народов. И вот я прокурор. В моей жизни не было ни одного срыва.

Поезд шел с опозданием и остановился всего на полминуты. Уже когда он медленно тронулся, какой-то крестьянин, держа перед собой косу, запыхавшись, на ходу вскочил на ступеньки и вошел в последний вагон.

— Я еще юношей располагал соответствующей литературой и изучал ее, читал и перечитывал без конца, возмущенный до глубины души дикой несправедливостью власть имущих, преисполненный страстной решимости отомстить за бедняков, стать таким революционером, какого еще свет не знал.

— Вы говорите так, будто изображаете не свою, а мою юношескую страсть.

— Но настал день, когда я понял, что я, так сказать, только коллекционировал все эти революции и попытки освобождения человечества.

— И тем не менее вы считаете, что в жизни вашей не было ни одного срыва.

Несколько секунд прокурор молчал. И в эти долгие секунды на лице его лежал отблеск прежнего, исчезнувшего «я»; оно как бы остановилось на пороге жизни и не могло вступить в ее поток.

Потом выражение его лица изменилось, оно сразу стало похоже на висащую на стене гипсовую маску, которая вдруг начинает улыбаться...

— Со мной случилось то же, что с тем необузданным юношей: он тосковал о морских просторах, а жизнь сунула его в канцелярию магистрата... Что поделаешь, немало людей в юности мечтают освободить весь мир. Даже здесь, в соседнем купе, возможно, найдется такой среди этих представителей нашего общества — церкви, капитала, армии, прессы. И кто знает, — может быть, даже этот шпик когда-то мечтал усовершенствовать наш мир.

— Но ты, очевидно, совершенно не представляешь себе, какие средства поглотит такая «Лесная трудовая школа с интернатом для одаренных детей рабочих», хотя это и звучит очень красиво, — шептал банкир. — Построить и обставить дома! Кормить и содержать длинноволосых учителей и барышень в сандалиях! И какую уйму провизии будут поглощать твои одаренные дети рабочих, проведя весь день на свежем воздухе!

Взгляд, которым супруга ответила на его слова, раздражал банкира. Он знал этот взгляд, ясно говоривший, что чистая совесть дороже всяких денег.

— Чему, собственно, твои «одаренные дети рабочих» должны научиться в лесной школе? Собирать урожай тыквы? Делать комоды?

— Всему, знаешь ли, всему!.. Разностороннее развитие всех способностей души и тела. Смотря по одаренности! Конечно, мы бы сами возделывали землю.

— Разумеется.

— Выращивали бы овощи и все остальное...

— Овощи, как же... Ничего там не будет расти, поверь мне. — И вдруг нежно прошептал: — Если родится мальчик, то я согласен на все.

Поезд спускался в долину по спирали, скрежеща тормозами, и давал контрпар, а ему навстречу, вверх по крутому склону, прополз поезд, переполненный новыми посетителями курорта; он шел так медленно, что маленькая собачонка легко могла бы бежать рядом; агитатор наблюдал, как пассажиры во встречном вагоне-ресторане намазывали маслом булочки и подносили к губам кофе в белых чашках, а кельнер, наклонившись, раз-

пошел руками и пожимал плечами, видимо выражая сожаление, что не может подать то, что заказано.

— Да, социализм — моя страсть... Вообще все, что связано с революцией! И сегодня не меньше, чем в дни моей юности!

— Почему вы, собственно, выставляете весь ваш цинизм напоказ именно передо мной? — равнодушным тоном спросил агитатор.

Прокурор удивленно покачал головой.

— Вы... вы же постоянно возились с такими вещами, как социализм, самопожертвование, идеализм, правда и прочие высшие материи, и, видимо, даже не можете себе представить, как благотворно действует на нас, грешных, возможность высказать хоть раз в жизни всю правду!

— Вы, во всяком случае, отличаетесь от остальных представителей своего круга тем, что сознаете всю подлость своего образа мыслей.

— Не очень-то вы вежливы! И по-моему, вы — тоже циник. Но крайней мере до сих пор я не замечал, чтобы вы возмущались моим подлым образом мыслей с точки зрения морали, а я в некоторых ваших словах подметил явный цинизм.

— «Цинизм заключается в вещах, а не в словах, выражающих эти вещи».

— ...пишет Маркс в своем превосходном труде «Нищета философии», страница семнадцатая, — не задумываясь, проговорил прокурор и, так как агитатор не мог скрыть своего удивления, добавил: — Мало кто из ваших товарищей так основательно, с такой страстью изучал труд всей жизни этого гиганта мысли, как я... в дни молодости! Понимаете?

— А вы, господа, полюбовались знаменитым виадуном, когда ехали сюда? — начал в соседнем купе банкир.

— Великолепная штука! — воскликнул коммивояжер. — И вид роскошный.

— Да, эта панорама напомнила мне картины старых мастеров на религиозные темы.

И, заметив, что растроганный священнослужитель с дружеским интересом взглянул на него, банкир продолжал:

— Приблизительно через час мы будем проезжать по виадуку. Вы непременно должны внимательно его рассмотреть. Представьте себе глубокую долину меж высоких гор, окруженную грозно вздыбившимися снежными горными великанами; во все стороны, до самого края широкого горизонта, разбегаются цепи гор, изрезанные романтическими ущельями, а в центре долины возвышается очаровательный зеленый конусообраз-

ный холм с острой верхушкой, — настоящая идиллия, точно как на старинных картинах.

— Право же, нет надобности, — улыбаясь, обратился прокурор к шпику, который, держа в руке блокнот, видимо, все время подслушивал у двери, а теперь, при внезапном толчке, неожиданно обнаружил свое присутствие.

— Да, это очень похоже! Вы превосходно описываете, — сказал главный редактор.

Он достал из чемодана бутылку вина и штопор и вопросительно взглянул на шпику, вздумавшего теперь сунуть ухо в их купе.

— Его послали специально для моей охраны на курорте. Но он не может иначе, он обязательно должен стенографировать все, что говорится. Более добросовестного человека я в жизни не встречал.

Прокурор вытащил из портфеля несколько исписанных листов блокнота.

— Желаете прочитать точный текст речи, произнесенной вами сегодня на лесопильном заводе? То, что он присочинил, я взял в скобки: «Капиталистов надо искоренять огнем и мечом, ядом и кинжалом. Каждого из них — на фонарь!» Ведь этого вы, наверное, не говорили?

— А может быть, как знать?

— Этот идиллический холм, или конус, наши инженеры гениально использовали как основу для железных опор виадука. Рельсы переброшены к верхушке конуса прямо по воздуху, над пропастью, на огромной высоте. Вы увидите, мы будем двигаться по очень узкому кругу — в действительности это спираль, — вокруг маленькой зеленой шапки холма, и так как мы сидим в последнем вагоне, а поезд очень длинный, то мы увидим, как паровоз нашего поезда будет словно наезжать на нас. Паровоз нашего собственного поезда! Удивительно, не так ли?

Главный редактор сказал таким тоном, будто он давно уже об этом писал.

— Американские инженеры специально приезжали к нам, чтобы познакомиться с этим чудом немецкого строительного искусства.

При этом он стал ввинчивать штопор в пробку.

— Зачем ты это делаешь? — спросил банкир, видя, что жена сняла с пальцев массивные кольца с бриллиантами, по два с каждой руки.

— Спрячь их. — На ее лице мелькнула знакомая ему рассеянная материнская улыбка.

Банкир всегда беспрекословно соглашался с подобного рода

поступками жены, если они каким-то необъяснимым образом были связаны с предстоящим рождением ребенка.

Он тщательно уложил кольца в маленький футляр из свиной кожи, где уже хранились другие драгоценные украшения — серьги, бриллиантовое кольцо и длинная нитка жемчуга, лежавшая витками на белом шелку. Попутчики молча наблюдали за ним. Затем он продолжал:

— Мы будем находиться на высоте пятисот двадцати метров от дна долины, когда будем проезжать по виадуку. Едешь, можно сказать, по воздуху. Склоны, образующие эту долину, настолько круты, что, пожалуй, только серпа могла бы спуститься по ним вниз, в долину, но человек — никогда. Зато все видно как на ладони, потому что круг или, вернее, спираль настолько мала, что поезд, для того чтобы не соскочить с рельсов и не свалиться в пропасть...

— Пятьсот двадцать метров — благодарю покорно!

— ...должен двигаться чрезвычайно медленно.

В конце концов священнослужителя охватила тревога. Все молчали. Все видели в своем воображении висящий над пропастью виадук и представляли себе, как их поезд медленно-медленно ползет по узкой спирали рельсов вокруг верхушки конусообразного холма.

Недавно съеденный обильный обед и равномерное постукивание поезда действовали усыпляюще на путешественников.

Задремавшему же профессору университета чудилось, будто поезд поет непрерывную монотонную песенку: «Когда пес... с колбасой... через тумбу скачет».

«Соус из каперсов сегодня за обедом был совершенно восхитителен,— подумал банкир.— Да, стремление людей к совершенству наблюдается во всех областях».

«...с колбасой... через тумбу скачет...»

А главный редактор проверял про себя,— все, кроме него, уже задремали,— правильность выраженного им прежде мнения, что в двадцатом веке пресса — дело не шуточное.

— Только труд может нас спасти и уголь,— в полусне пробормотал священнослужитель.

«...через тумбу скачет».

— Нет, этот народ... не погибнет.

«...Когда пес...»

Тем временем уволенный рабочий с лесопильного завода чинил в коридоре широкое окно, которое было полуоткрыто и, по словам кондуктора, не закрывалось с того дня, когда вагон покрыли свежим лаком.



К задней стенке вагона прислонился один из пассажиров. Всю дорогу он вносил в свою записную книжку какие-то цифры, потом пересчитывал деньги, сначала крупные кредитки, потом множество мелких, а затем сравнил полученную сумму с итогом в записной книжке.

Вдруг он рванул дверь и выскочил на ходу из вагона. Кубарем скатился он с высокой насыпи и посмотрел вслед последнему вагону, который отцепился от поезда и продолжал с умеренной скоростью двигаться дальше.

На этом участке линия пути шла ровно, даже с небольшим подъемом в гору, поэтому расстояние между отцепившимся вагоном и поездом быстро увеличивалось.

Поезд ушел. Он скрылся за выступом горы.

Когда поезд прошел мимо домика путевого обходчика и под усиливавшийся скрип тормозов на большом уклоне стал медленно спускаться по спирали в широкую долину, стрелочник спокойно перевел стрелку для шедшего вслед нового товарного поезда, груженного строевым лесом.

Поезда с лесом направлялись отсюда по зубчатой железной дороге через изрезанную ущельями очень узкую боковую долину к большому лесопильному заводу, расположенному под горой.

Стрелочник свистнул собаку и зашагал к домику. Он проверил состояние десятка жалких кочанов красной капусты в палисаднике с игрушечной изгородью из палочек, высотой до колен.

Вдруг стрелочник вскочил и обернулся: он еще успел заметить, как сверкающий на солнце свежим лаком вагон второго класса медленно миновал стрелку и, под собственной тяжестью, устремился с быстро нарастающей скоростью по крутому спуску в боковую долину. Стрелочник вскрикнул от ужаса. Собака залаяла. Вагон исчез.

Уволенный рабочий, выглянувший через окно в задней двери вслед выскочившему на ходу пассажиру, именно в эту секунду вспомнил, как давным-давно, когда он еще был мальчиком, ему ужасно хотелось дернуть ручку тормоза, но отец тогда строго запрещал к ней прикасаться; теперь он стремительно ринулся в купе — ноги еще были у входной двери, а руки уже у окна, — словно теперь отец, через тридцать лет, наконец разрешил ему дернуть тормоз.

Дремавшие пассажиры внезапно очнулись.

Протянув правую руку к тормозу, уцепившись левой за край открытого окна, он всем телом рванулся вперед. При этом

голова его высунулась в окно, и тогда он увидел, что вагон отцепился от поезда.

В дверях появился студент-корпорант.

— Там какой-то господин спрыгнул с поезда.

Ни секунды не размышляя, коммивояжер ответил:

— Если это доставляет ему удовольствие — его дело! Кроме того, он мой конкурент.

Эта меткая шутка развеселила попутчиков. Банкир был твердо убежден, что для беременной нет ничего полезнее веселого настроения, и, следуя этому правилу, он нежной улыбкой как бы попросил жену присоединиться к общему веселью; на ее лице промелькнула слабая улыбка, которая, едва возникнув, сразу растаяла и лишь мгновение еще трепетала на ее устах.

Профессор университета, уютно сидевший в уголке, скрестив руки, показал, что он может посмеяться даже над довольно плоской остротой.

Офицер своей военной выправкой напоминал манекен в мундире с неподвижными глазами, ртом, лбом и застывшей на лице улыбкой.

Коммивояжер опять сострил:

— Наш поезд наверстывает опоздание. Мчится, как черт к хорошенькой монашке!

Священнослужитель подтянул повыше плед, откинулся поудобнее на подушки, кротко и участливо произнес:

— Да хранит его бог! Почему же этот господин соскочил с поезда?

Лицо рабочего помертвело. Он медленно обернулся. Он так растерялся, что не мог вымолвить ни слова.

— Этот сомнительный субъект все время считал деньги, — заметил студент. — Разве узнаешь, почему такие люди выскакивают на ходу.

Банкир кинул быстрый взгляд на дорогой несессер с драгоценностями и убедился, что он по-прежнему стоит на столике.

Глаза рабочего остекленели. Маленькие запыленные усики дрожали, побелевшие губы произнесли:

— Наш вагон отцепился от поезда.

Страшный смысл этих слов не сразу дошел до сознания пассажиров. Коммивояжер, пораженный до глубины души, как бы уже почувствовав прикосновение смерти, визгливо крикнул:

— Как — отцепился?!

Вагон с сокрушительным грохотом мчался по зубчатой железной дороге вниз, в долину.

— Тут... тут... ничего не поделаешь. Тут... ничего не поделаешь. Все кончено.

Повернувшись боком так медленно, точно никогда в жизни у него не было столько свободного времени, рабочий протиснулся к двери.

— Что ж! Чем тут поможешь?

Профессор университета только теперь повернул голову:

— Что случилось?

Издали, со стороны, было видно: грандиозный горный пейзаж и что-то темное, совсем крошечное, не катится, не едет, не мчится, а стремительно низвергается с горы в пропасть по отвесно падающим в долину рельсам зубчатой железной дороги.

— Нет никакого способа остановить вагон,— рабочий еще раз оглянулся на сидящих в купе,— на всем свете нет такого способа.— Он вышел в коридор, губы у него побелели, сердце готово было остановиться.— Всем нам теперь смерть.

— Что же случилось? Случилось что-нибудь? Что произошло? — Профессор университета выпрямился.

Священнослужитель, все еще не веря, ответил:

— Говорят, наш вагон отделился от поезда.

Банкир, в эту секунду еще далекий от сознания грозящей им смертельной опасности, но уже очень бледный, гневно воскликнул:

— Но железнодорожная администрация должна...

Офицер и коммивояжер, одновременно высунувшиеся в окно, повернулись опять к пассажирам. На лице — ни кровинки. Страшная действительность поразила их, как удар молнии. Все стояли неподвижно. Коммивояжер, ни слова не говоря, слепо ища спасения, бросился в коридор.

На неплотном стыке рельсов мчавшийся вниз вагон подпрыгнул на метр, и стоявшие люди, ваясь друг на друга, как подкошенные упали на диван. При всеобщих криках ужаса вагон с грохотом встал обратно на рельсы.

На первом же повороте вагон неминуемо должен был сойти с рельсов, пролететь по воздуху некоторое расстояние и разорваться, как снаряд.

Шесть пар остекленевших глаз.

Только беременная старалась отогнать от себя мысль о страшном событии. Она все смотрела и смотрела нежным, но настойчивым взглядом, в котором запечатлевалось происходящее: если бы ребенок сейчас родился, то он появился бы на свет со следами железнодорожной катастрофы на коже.

Профессор университета совершенно преобразился. Он не

был больше профессором университета. Пенсне, дорожная шапочка, шотландский плед лежали на полу. Лицо стало маленьким и угловатым. Он все еще не верил в неминуемую смерть.

Никто еще не верил. Банкир сказал:

— Только не пугаться, не надо пугаться, а?

Какой человек, находясь в смертельной опасности, до последней секунды не верит в спасение?

Кто-то выкрикивал какие-то советы, сам в них не веря. Вагон надо во что бы то ни стало остановить. Из вагона надо выпрыгнуть. Никто не решился выглянуть из окна. От бешеной скорости все сливалось перед глазами.

Короткий, резкий треск, черная молния, через секунду снова небо,— вагон стрелой проскочил туннель.

Офицер, храбрый человек, который на войне не раз подвергал свою жизнь опасности, но всегда надеялся остаться в живых, еще не потерял своей выдержки. Он искал возможности что-нибудь предпринять: напрягая все мускулы, с вздувшимися на лбу жилами, искал он несуществующее средство спасения. Но здесь не видно было врага, которого можно было бы победить силой, решимостью, отвагой.

Беременная закрыла лицо руками. Медленно, поднимаясь снизу, из глубины ее чрева, нарастал крик,— никто не обратил на него внимания; он пронзил ее пальцы, перешел в горькую жалобу и сменился хрипом — женщина почувствовала, что надвигается конец ее жизни и жизни ребенка.

Она отвела руки от лица, которое еще не успело оцепенеть. Жалобно оплакивала она свою жизнь в полном цвету и еще не начавшуюся жизнь ребенка.

Но все это ни на миг не привлекло к беременной внимания ее мужа. Разве можно в такой момент раздваивать свое внимание,— надо готовиться к прыжку, иначе грозит гибель. Должна же быть какая-нибудь возможность спасения, нельзя же, немисливо так умереть!

Ось, разогревшаяся на ходу от трения, начала издавать свистящий звук. Промежутки между свистом становились все короче и короче и наконец совсем исчезли. Падение совершалось под этот заглушавший все другие звуки свист, похожий на крик человека, доведенного до крайней степени отчаяния.

Глухие, сильные удары о рельсы — вагон затрещал и подскочил.

Профессор университета то и дело хватался за виски: они леденели от ужаса; из-за смертельного страха он обманывал себя, гнал прочь этот неодолимый страх, мысленно входил в свою

виллу, в свой уютный рабочий кабинет, садился в кресло за письменным столом, включал свет под зеленым абажуром.

В бессильной тоске по жизни банкир представлял себе, как он выходит из точно пришедшего по расписанию поезда на конечной станции в долине.

По временам жизнь как будто совсем покидала старика священника, и тогда лицо его застывало, как у мертвеца. Но снова и снова в нем пробуждалась воля к жизни, и его терзал мучительный страх.

У дверей стоял студент-корпорант и вытаращенными тусклыми глазами вопросительно смотрел на старших, которые должны же знать лучше, чем он, что надо сделать для его спасения. Ответа он не получал.

У главного редактора изо рта текла слюна.

Услышав тихий плач беременной, коммивояжер метнулся к окну, кинулся обратно в коридор, затем в соседнее купе, стал бегать из одного купе в другое, от передней стенки вагона к задней, взад, вперед. Выхода не было нигде.

Прокурора, агитатора и пшика, вцепившихся в багажную сетку и друг в друга, бросало из стороны в сторону.

Лицо беременной позеленело. Начались родовые схватки. На своем плече она все еще чувствовала руку мужа, которая, казалось, не была связана с телом банкира и независимо от него обнимала плечо жены, ибо банкир внутренним взором все время видел конечную станцию в долине, к которой каждый раз точно по расписанию, подходил поезд.

Он будет финансировать лесную школу для детей рабочих. Он давал в этом обет.

Обеты давал каждый. Все уже дали, повторили и умножили свои обеты.

Рабочий всю жизнь работал, чтобы есть, и ел, чтобы работать. Вот его мать отбеливает на траве господское белье. Господская кухарка дает сидящему тут же пятилетнему сынишке прачки кусок белого хлеба, густо намазанный маслом.

Самое прекрасное воспоминание детства возникает все вновь и вновь — белое белье, белый хлеб, белое масло, блеск солнца, — все это возникает и вновь исчезает. А вагон несется в бездну.

Что-то пролетело мимо. Что это — вокзал? Избушка на горном пастбище? Станция?

Зеленые луга. Скалы. Пенящийся водопад. Бурный ручей. С оглушительным треском вагон проносится по маленькому железному мосту. Лес. Опять мост. Зеленые луга. Что-то желтое — стадо пасущихся коров.

К ритму поезда можно подобрать любую мелодию. Ритм полета этого снаряда не укладывается ни в одну мелодию. Все вокруг рушилось. Купе опустело. Все пассажиры были в коридоре. В поисках спасения они, громко крича, бегали взад и вперед. Пронзенная болью беременная стонала, всеми покинутая, полулежа на скамье.

Рабочий еще был способен слышать. Он прислушивался к пронзительному свисту. Он еще был способен думать. Он думал: «Вагон может каждую секунду загореться, вспыхнуть ярким пламенем!»

И вдруг смерть ворвалась в мчавшийся вагон и уничтожила надежду — огромную, как сама жизнь, и ничтожную, как пылинку, — перед мысленным взором банкира возник виадук. Он зарычал: «Виадук! Виадук!» Упал ничком и пополз на четвереньках, испуская хриплые звериные вопли.

И все сразу увидели словно озаренный блеском голубой молнии виадук, который повис в воздухе над долиной, на высоте пятисот двадцати метров, — гибельный узкий круг, с которого бешено мчащийся вагон неминуемо должен сорваться.

— Виадук! Виадук!

— Виадук!

Это были последние членораздельные звуки, уже заглушаемые криками смертельного ужаса, для которых нет слов ни в одном языке.

Исчезли в беге человеческой жизни последние остатки обычных масок, которые уже стали лицами; маски были сброшены, обнажилось первобытное лицо человека. В стремлении уйти как можно дальше от виадука, они натывались друг на друга, с остервенением боролись между собой, рычали в смертельном страхе, старались прижаться к задней стенке вагона, чтобы быть на восемь метров дальше от падения в смерть.

Даже офицер потерял мужество перед лицом неизбежной смерти. Его виски похолодели.

В коридоре на полу валялись золотые часы с разорванной цепочкой, а рядом — блокнот шпика. Шотландская шапочка профессора университета была прижата к стенке у окна.

Ни бога, ни Христа, ни божией матери, всемогущество которых сорок лет прославлял священнослужитель, уже не существовало. Церковь беззвучно рухнула.

— Пресвятая дева, мать божия, заступись за нас, грешных, ныне и в наш смертный час, аминь! — молился на коленях верующий крестьянин.

Роженица сползла со скамьи и выгибалась на полу, согнув

ноги в коленях. Ее пронзительные крики заглушали общий шум. Мужа у нее больше не было.

Рабочий стоял, вцепившись в край отремонтированного им окна; он уже заметил, что рядом с ним одна жизнь борется за появление другой, новой жизни. И когда его снова отбросило в купе, он так же естественно и просто, как и ранее взялся за починку окна, теперь приступил к другому неотложному делу: он стал на колени и принялся помогать: «Тужься! Тужься!» Упершись левой рукой в грудь женщины, он правой вытащил ребенка.

Агитатор полулежал в дверях, прижав кулаки к глазам, оцепенев от ужаса в ожидании бессмысленной смерти; мимо него, к прижавшимся к задней стене вагона пассажирам, пробирався прокурор, которого с силой бросало из стороны в сторону между стенками коридора.

Профессор университета лежал плашмя на животе, касаясь ртом пола, содрогаясь от судорожного крика.

Над ним повисла, раскачиваясь, длинная нить слюны, вытекавшая из уголков широко разинутого рта главного редактора, остекленевшие глаза которого, подобно глазам всех остальных, видели перед собой неизбежное крушение. Владелец карусели (она в это время кружилась где-то в далекой горной деревне) совсем обезумел. Он выскочил из первого купе, промчался через коридор к задней стенке вагона, рванул дверь и выпрыгнул. Он вылетел наружу.

Прижавшиеся к стене пассажиры увидели, как тело владельца карусели оторвалось в плечевом суставе от руки. Только через секунду пальцы разжались и выпустили ручку двери, а рука, описав огромную дугу, упала на свежеспаханное поле, врезалась в землю и стала вертикально, растопыренными пальцами вверх. Дверь, с огромной силой прижатая давлением воздуха к наружной стенке, осталась открытой.

Зелень, мрак, солнце, мрак, синева небес.

Перелетевший через рельсы воробей не заметил эту небывалую скорость приближавшегося вагона. Он пулей влетел через открытую дверь, ударился об обшивку красного дерева и замертво упал на пол.

Люди теснились, отодвигаясь как можно дальше от готовой их всосать открытой двери; шипя и оскалив зубы, они боролись кулаками и ногами за самое безопасное место, падали в свалку на колени, на руки.

Никто из них больше не в силах был встать на ноги, как стоит человек.

На диване, оголенная, лежала роженица, держа в руках ватикшего младенца; он шевелил губками и пальчиками, испачканными в крови. Вагон бешено неся, а рабочий стоял на коленях в луже крови около несессера для драгоценностей, среди разбросанных колец и ниток жемчуга, и женщина не стыдилась своей наготы, ибо перед лицом смерти и новой жизни человек не испытывает стыда.

Прокурор лежал ничком, прижав руки к лицу, и с жалобными стонами твердил свой обет: отныне поступать так, как он решил, еще будучи юношей-идеалистом, — до конца жизни бороться за угнетенных.

Вдруг на фоне светлой дали агитатор увидел едва заметную, как бы нанесенную черным карандашом черточку, выросшую через несколько секунд до размеров тросточки, она медленно двигалась в горизонтальном направлении; он понял, что это груженный строевым лесом товарный поезд, выпедший со станции курорта раньше пассажирского.

Краска сбежала с лица роженицы. В руках у нее музыкальный инструмент. Смеркается. Звучит неведомая чудесная тихая музыка. Смерть — маленький человечек в длинном одеянии — беззвучно и быстро выходит на середину комнаты.

«Неужели смерть?» — И, как на сцене, опустился занавес — роженица потеряла сознание.

Мозг агитатора заработал вновь: «Если бы поезд шел быстрее, если бы он летел!.. Если машинист не даст полный пар, мы налетим на поезд, мы разобьемся». Он изо всех сил стал реветь в открытую дверь в передней стенке вагона.

Внезапно все стихло. Разогревшаяся ось перестала свистеть. Вагон беззвучно неся по воздуху. Мертвая тишина, нарушаемая криками ужаса. Вагон продолжал парить в воздухе. Безжизненно вытаращенные человеческие глаза уже видели кровавое месиво из дерева, рук и ног, железа, костей, мяса.

Вагон опять громко застучал по рельсам.

— Пресвятая дева, мать божия, заступись за нас, грешных, ныне и в наш смертный час, аминь! — молился на коленях крестьянин.

Агитатор изо всех сил ревел, стоя у открытой двери. Воздушная стена, о которую бился неистовый рев, отбрасывала его назад в вагон.

Машинист ничего не слышал. Все тормоза товарного поезда скрежетали. Держа трубку в зубах, машинист удобно опирался голыми до локтей руками о железную боковую дверцу и любовался проносящимися мимо пейзажами.



Рельсы с молниеносной быстротой вонзались в вагон. По обе стороны с грохотом, громоздясь друг на друга, мчались назад скалы, телеграфные столбы, деревья, сараи. Двигалась даже самая отдаленная горная цепь. Гора медленно вращалась вокруг крохотного снаряда.

Машинист выпрямился и только тогда на расстоянии полукилометра увидел стремительно приближающийся вагон. Размышлять было некогда. Эта боковая линия была однопутной. Выключить тормоза. Полный пар. Все же расстояние между снарядом и поездом еще в течение нескольких секунд быстро уменьшалось. Но спуск был крутой, а поезд с лесом во много раз тяжелее вагона.

Никогда еще поезд не мчался с такой скоростью в долину.

Через бесконечно долгие полминуты оба снаряда, отделенные расстоянием в два-три вагона, неслись с одинаковой скоростью.

Тормоза неслышно коснулись колес летящего поезда, осторожно и незаметно, словно рука карманного вора. Прошло долгое время, тормоза все еще не шипели. Потом раздался постепенно нарастающий скрежет, оглушительный, поглотивший в конце концов все звуки, сопровождающие ход поезда, заполнил всю долину: поезд остановился.

## 5

В тишине стучал дятел. Новорожденный уснул, устав от крика. Он лежал, поджав ножки, между еще не очнувшейся матерью и спинкой дивана. Буфера бешено мчащихся вагонов так мягко коснулись друг друга, что люди, валявшиеся на коленах и на четвереньках у задней стенки, еще ждали страшного события, в то время как они уже были спасены.

Их затуманенное сознание не воспринимало тишины и жизни, оно продолжало воспроизводить оглушительный грохот и свист, подобно тому как веками звук живет среди гор, тысячекратно повторяемый горным эхо.

На лугу, в десяти метрах от них, лежала и смотрела на них корова, жующая жвачку.

Шелест трав, журчанье самых отдаленных ручьев и шум водопада, жужжание мириадов мошек — все это подхватывалось и передавалось дальше вибрирующей мембраной отвесных скал и ущелий, вновь и вновь подхватывалось и отражалось в дрожащем воздухе над долиной, рождало великое звучание, ве-

ликую живую тишину гор, в которой мелодичное щебетание птички казалось единственным голосом жизни.

Корова не мчалась назад, она лежала неподвижно. Это не сон. Корова — это действительность, это жизнь. И вот опять защебетала птичка.

Оглушенные страхом, спасенные от смерти люди возвращались к жизни. Они вновь обрели чувствительность — они испытывали боль и радость. Онемевшие члены не повиновались. Их тела бессильно соскользнули по ступенькам вниз. Они сидели и лежали темной кучкой на поле.

Спасенные, избавившись от безмерного мучительного страха смерти, вновь вдыхали теперь безмерность бытия, которое с огромной силой и слишком неожиданно обрушилось на них в своем необъятном и сложном многообразии. Они не могли сразу охватить мыслью поля, солнце, небо, сооружения, животных, жизнь, для постижения которой человеку и дана его собственная жизнь. Даже агитатор повалился на траву.

Вдоль черного состава, нагруженного от тендера до последнего вагона оструганными, позолоченными солнцем стволами слей, медленно шел кругленький и низенький машинист; этот человек, только что приложив всю свою энергию, выполнил тяжелую работу и в эту минуту был равнодушен к окружающему миру. Глядя в землю, он вытирал красным носовым платком свое пылающее, потное лицо.

Раздался захлебывающийся крик ребенка. Роженица очнулась от обморока. Как бы вопрошая о чем-то, она глядела по сторонам. Потом нащупала рукой тельце ребенка и опять сомкнула веки.

Банкир, прислушиваясь, повернул голову. Он мысленно увидел жену и тотчас же отвел взгляд.

— Сцепление в порядке, он, вероятно, забыл накинуть крюк, — сказал машинист, который стоял, согнувшись, между буферами. Он накинул крюк и предложил всем войти в вагон.

— Что ж, я не прочь, — сказал коммивояжер, тем самым первый обретя дар речи.

У всех вновь заработала мысль. Колени все еще дрожали. Они помогали друг другу влезть в вагон. Во взгляде студента-корпоранта можно было прочесть: остальные должны лучше знать, что делать, — и он поднялся в вагон последним.

Машинист вытер платком шею и подошел к паровозу. На траве, сгорбившись, сидел рабочий, он подпер голову правой рукой и смотрел на паровоз, с которого капало масло. Котел был покрыт каплями влаги.

— Сейчас едем дальше. Садись. Остаток пути можешь проехать со мной.

Крестьянин-поденщик с косой на плече уже шагал полем в гору, направляясь к помещицкому лугу, раскинувшемуся выше, в большой долине. Вместе с десятью другими батраками он взялся скосить этот луг во второй половине дня и в течение ночи, потому что ожидалось, что она будет прохладной и лунной. Его губы шевелились, левой рукой он загибал пальцы правой, подсчитывая потерянный заработок.

«Наш ребенок!.. Мы были так близки. Так близки! — думал банкир. — А теперь?.. И все это только потому, что пьяный спешник не накинул крюк!»

И когда он наконец вошел в купе, где среди разгрома, в крови лежала его жена, держа в испачканных кровью руках испачканного кровью младенца, он попытался ее утешить.

— Ну вот, все и кончилось. Ты так боялась родов. А теперь все прошло, и у нас есть ребеночек.

Она опустила веки, ее рука, державшая ребенка, дрогнула. «Разве ничего не случилось? Разве не произошло что-то решающее, в чем ты должен признаться, если не хочешь, чтобы вся наша дальнейшая жизнь стала сплошной, непрерывной ложью?» — спросила взглядом обессиленная женщина.

Он заботливо прикрыл ее колени пледом, подобрал с пола драгоценности и запер в несессер из свиной кожи.

«Разве это могло бы случиться, если бы его жизнь еще до нашей поездки не была сплошной, непрерывной ложью?» — думала она. И только в промежутке, на четверть часа, обнажилась правда, его правда: каждый за себя.

Она мысленно представила себе рабочего, будто именно он был ее мужем.

— Скоро мы приедем. Тогда я немедленно позабочусь обо всем: будет акушерка, врач, цветы. Все!

Казалось, одна планета обратилась к другой, но та ее не слышит.

Машинист дал пар, дернул так, что загрохотали буфера, толчок передался всем вагонам и пассажирам, и жизнь началась снова: поезд с лесом медленно полз в долину, со стуком, скрежетом и стоном, как работают приводные ремни, молоты и резцы в заводском цехе.

Спасенные стояли в коридоре и смотрели в окна. Какой красивый пейзаж! Богатые поля и скудные поля! Телеграфные провода густо усеяны птицами. Птицы улетаются, прилетают, разевают клюв, щебечут, только ничего не слышно.

Банкир вышел из купе в коридор и сказал, это он, банкир, сказал:

— Крепкий малыш!

— А главное — как скоро, верно? — сострил коммивояжер.

Студент-корпорант поднял с пола свои золотые часы, приложил их к левому уху, потом к правому. Они еще тикали.

Шпик уже держал в руках свой блокнот. Он вытряс из него пыль и разгладил два исписанных листа.

Агитатор взглянул на него:

— Вы что, уже готовы к исполнению своих обязанностей?

— У сцепщика незадолго до конца войны были убиты два сына. Жена умерла с горя. С тех пор он пьет, — рассказывал машинист, протягивая рабочему синюю эмалированную кружку, в которой осталось еще немного кофе.

— Теперь они его наверняка выставят. — Рабочий выпил немного кофе и вернул машинисту кружку. — Тогда ему крышка.

— Да, тогда ему конец. — Машинист допил остатки кофе.

— Не накинуть крюк! Этого бессовестного сцепщика необходимо немедленно уволить, — проговорил банкир.

— Разумеется!

— К тому же он, кажется, социалист, — прибавил офицер.

— Мы все так тщательно подготовили — детскую с ванной и пеленальным столом. Все покрыто белым лаком! Эмали! Трогательное детское белье! Только колыбель, изумительная вещь шестнадцатого века, — темная. И вдруг такая неожиданность! Какая-нибудь нищенка в сыром подвале, даже не знающая, сможет ли она прокормить своего ребенка, рождает в лучших, более удобных условиях.

Священнослужитель кротко и серьезно сказал, что пути господни неисповедимы.

— Один пассажир погиб, новый прибавился — итог тот же, — заявил коммивояжер, — счастье, что ваша супруга не видела, как оторванная рука висела на ручке двери, когда тела уже не было.

Но тут профессор университета с изумлением спросил:

— Где же, собственно, виадук?

— Виадук, — это я сообразил уже потом, — находится на главной линии, — объяснил банкир, — а наш вагон ворвался в эту долину по боковой ветке. Но и без виадука — покорно благодарю!

Когда товарный поезд медленно подходил к лесопильному заводу, в разгрузочном дворе которого кончалась ветка, священнослужитель произнес:

— А теперь возблагодарим все господа, который нас спас!

Через десять минут роженица лежала на чистой постели. Тут были цветы, и врач, и акушерка. У нее было все—все, кроме доверия к мужу.

Священнослужителю, который поинтересовался, не будет ли ему поручено окрестить новорожденного, она велела передать, что она — еврейка.

Банкир стоял у ее кровати. Он говорил:

— Мне так хотелось бы остаться с тобой. Но, к сожалению, это невозможно. Именно завтра на общем собрании акционеров, — а ведь я один владею сорока процентами общего капитала, — будет обсуждаться давно задуманный план слияния. Создаваемый нами концерн, наиболее крупный в данной отрасли промышленности, будет обладать капиталом и силой, необходимыми, чтобы поглотить другие предприятия. Мы сможем, понимаешь ли, диктовать цены!

Она ничего не ответила.

Прокурор и агитатор, сопровождаемые шпиком, были уже на пути к вокзалу, расположенному в большой долине. Прокурор несколько минут молчал, наморщив лоб, словно размышляя, как выразить свою мысль. Наконец он сказал:

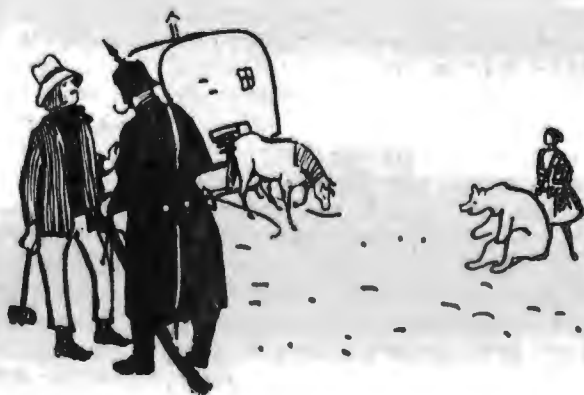
— Наше стремительное падение в вагоне было чем-то вроде революции. Теперь должны опять воцариться спокойствие и порядок.

— Иначе вы потребуете пожизненного заключения или смертной казни? Ведь так?

— Совершенно верно, — ответил прокурор.

Уже смеркалось. В час угасания яркого дня, когда на землю спускались первые вечерние тени, все звуки и краски в долине казались особенно отчетливыми. Стрекотание кузнечиков и голоса животных звучали громче в вечерней тишине. Вдали чернела кучка рабочих, они шли через поле к деревне; вместе с ними возвращались домой, позвякивая колокольчиками, коровы. Еще кое-где в поле, стоя на коленях, работали крестьяне; запоздалый пахарь медленно спускался домой в долину, и силуэт его, четко выступавший на фоне белых спокойных гор, постепенно расплывался в темноте.

# Классик



## МЕДВЕДЬ



Начало этой истории напоминает сказку братьев Гримм. Однако это не сказка, но и не настоящая повесть, где благополучная развязка обязательна, где все просто и ясно как стеклышко, а мораль так и бросается в глаза.

История эта, в общем, правдива и повествует о том, что произошло в городке, в котором я недавно

гостил. Это всего лишь печальная и нелепая арабеска на фоне ужасных событий войны, разыгравшихся где-то там, далеко (в маленьком городке не знали даже, где именно).

В тот самый день, когда Германия объявила войну России, в городок прибыл всемирно известный фокусник Франциско Саландрини, который собирался продемонстрировать здесь великое искусство магии. Он умел превращать воду в вино и вино в воду. Во время представлений в деревнях и маленьких городишках в его черный лакированный цилиндр так и сыпались, звеня, талеры, которые он извлекал из ушей и носов крестьянских парней, изумленных мальчишек и хихикающих от смущения барышень, хотя всем было ясно, что у него самого вряд ли найдется хоть одна серебряная монетка. Разбив с полдюжины сырых яиц в вышеупомянутый цилиндр, безусловно обладавший волшебными свойствами, он в этом самом цилиндре приготавливал без огня и сковороды настоящую аппетитную яичницу.

Фургон синьора Саландрини, выкрашенный в кирпичный цвет и снабженный маленькими оконцами, погромыхивая, катился по Верхнему мосту в город. Его тащила унылая старая кляча. Вместе с синьором Саландрини ехали его жена — Бэлла, она же женщина-змея, летающая женщина, таинственный медиум, а также некое существо, носившее обыкновенное немецкое имя Гуго.

Синьор Саландрини, который никогда не интересовался ни мировыми событиями, ни политикой, да и не помышлял о них, хотя бы потому, что не имел ни желания, ни возможности стать налогоплательщиком, очень удивился, застав городок в полном смятении. Жители сновали туда и сюда, дети кричали и пели песни, а женщины с озабоченными лицами выглядывали из окон.

Нисколько этим не смущаясь, синьор Саландрини спокойно и невозмутимо катил в своем фургоне прямо на Зальцплац, где обычно во время ярмарок красовались пестрые балаганы и весело крутились карусели. Там решил он раскинуть свой «Увлекательный театр чудес».

Едва Саландрини успел с помощью летающей женщины вбить в землю первый колышек, закрепить на нем веревку и привязать Гуго, как к ним пружинистым шагом подошел толстый полицейский Нейман и предупредил Саландрини решительным, хоть и любезным тоном, что он может не трудиться и не сооружать «Театр чудес»: «Объявлена война, и бургомистр из-за чрезвычайных обстоятельств не может разрешить назна-

ченное на сегодня представление: сейчас не до яичниц в цилиндре и отгадывающего мысли медведя. Кому охота глазеть на подобный вздор? Придется отложить представление «Театра чудес» до лучших времен». С этими словами полицейский Нейман удалился, все такой же решительный и любезный.

Синьора Саландрини словно обухом по голове хватило. Ему на ум не приходила возможность международного конфликта, который лишит его профессии и куска хлеба. Да и Гуго, ясновидящий, отгадывающий чужие мысли медведь, не только не предупредил его об этом, но и сам, казалось, не подозревал, что над его головой сгустились темные тучи и ему грозит беда. Он сидел, маленький и голодный, около колышка, совсем как ребенок, сосал лапу и неподвижно смотрел перед собой с тем выразительно тупоумным видом, который может с одинаковым успехом рассмешить и привести в ужас.

Синьор Саландрини уселся на дышло своей повозки и целый день раздумывал о том, что же ему теперь делать. Как прокормить себя и семью?

На самом деле звали его Георг Краутвикерль, и был он родом из Бамберга. На войну его уж не погонят, для этого он слишком стар, но одно ясно: теперь никому не интересны чудесные карточные фокусы и поразительные таланты отгадывающего мысли медведя Гуго.

Так прошло несколько дней. Наконец Саландрини отправился в магистрат попросить, чтобы ему дали любую, хоть самую черную работу. Летающая женщина и медведь в тоске ждали его возвращения. Бэлла по-братски поделилась с медведем черствой коркой хлеба.

Вернулся синьор Саландрини с радостным известием: он получил работу истопника на городской газовой станции. Это было достижением, хотя и очень скромным. На жалованье синьора Саландрини мог с трудом прокормиться лишь один человек (спрос на истопников и в мирное-то время не велик). Теперь летающая женщина была с грехом пополам обеспечена, к тому же она надеялась найти в городе поденную работу. Но что будет с маленьким и без того изголодавшимся медведем, их любимцем, кумиром да и кормильцем?

На следующий день в газете появилось объявление: «Добрых господ просят отдавать обеды ясновидящему медведю фокусника Саландрини...» С тех пор медведь Гуго стал питаться обедами со стола сострадательных людей. Но обедков не хватало на то, чтобы его насытить. Медведь сидел на площади, привязанный к колышку, под присмотром летающей женщины,



тут же чинившей белье, и осенний дождь без конца поливал его шкуру. Наступила поздняя осень, и медведь стал зябнуть. Он трясся от холода, а усталые глаза со страхом смотрели вверх на свинцовое небо. Летающая женщина плакала.

Но вот синьору Саландрини пришла в голову счастливая мысль: ведь он истопник на газовой станции, — значит, можно попросить в магистрате разрешение устроить медведя там, в пустовавшем теплом помещении рядом с огромной печью. В магистрате уже давно убедились, что полуголодный, слабый, маленький медведь совершенно безобиден, и поэтому дали согласие. С этого времени медведь сидел за деревянной решетчатой дверью и не отводил грустных глаз от красного пламени пылающей печи. Время от времени к нему приходили дети инспектора станции и приносили ему кусок плохого хлеба или кухонные объедки. Медведь с жадностью поедал все, что ему совали.

Однажды утром его нашли за решеткой мертвым. Красные отблески огня плясали на его темно-коричневой облезлой шкуре.

Синьор Саландрини был потрясен, но он не мог долго предаваться горю: печь не ждала. Летающая женщина с рыданием упала на труп медведя. Сцена напоминала картину в стиле Пилоти<sup>1</sup>.

Кто знает, отчего погиб медведь: от истощения ли, а может быть, он отравился газом? Этого так и не узнали.

Шкуру медведя вместе с головой купил у синьора Саландрини адвокат К. Дело в том, что господин К. собирается перебраться в город Х. и там заново начать адвокатскую практику. Он повесит шкуру ученого медведя Гуго на стену своего кабинета. И всякий раз, как соберутся у него друзья, он с важным видом укажет на шкуру медведя и, страхнув небрежным жестом пепел с сигары, медленно начнет рассказ: «Когда я еще охотился в горах на медведей...»

---

<sup>1</sup> Карл фон Пилоти (1828—1886) — немецкий живописец, представитель позднего академизма. Ему принадлежит картина «Нерон после пожара Рима» и другие. Несмотря на живость изображения, в его картинах много театральности и внешней патетики.

# Альфред Деблин



## СУД ФЕМЫ



одному человеку — звали его Хаслау, и жил он в Вюртемберге — повадилась в дом воровская братия. Небольшого росточку, пузатенький, с ежиком темных волос на круглой, как шар, голове, Хаслау с утра до ночи хлопотал в своем трактире. Приветливый и радушный, похаживал он вирихромочку

среди крестьян, набившихся в его заведение; облокотившись на стойку, обозревал комнату, поводя глазами из стороны в сторону. То и дело заглядывали к нему бродячие торговцы и подмастерья, то и дело останавливались во дворе повозки. Дважды пришлось Хаслау проехаться в город на арестантской подводе, оправдываться перед судом по обвинению в пристанодержательстве и укрывании краденого добра. Когда в последний раз он заявил в сельскую управу, что его опять обокрали, и уже повернулся, чтобы выйти, язвительная ухмылка появилась на лицах старосты и писаря, сидевших за своими конторками; а длинноносый, очкастый писарь, нацелившись большим пальцем в Хаслау, прошипел: «Стало быть, и ворон ворону глаз выклюет? Занятно, занятно!» И оба снова заскребли перьями по бумаге, собрав лоб в жирные поперечные складки, меж тем как Хаслау все еще стоял в дверях и сверлил их лютым взглядом, потирая свой большой, похожий на сливу нос.

Весною вывеску на трактире перекрасили наново; имя Хитцингер легло золотом по голубому полю поверх имени Хаслау. Четыре крытых фургона, минуя часовню деви Марии, выехали из деревни на большую дорогу. Последним правил сам Хаслау. Он глянул исподлобья в раскрытую дверь трактира, мрачно кивнул. На выезде из деревни, перед сараем, где ютилась пожарная команда, он сплюнул, подстегнул гнедка и звонко прищелкнул языком: «Н-но, пошел!»

Ближе к Эслингену равнина стала волнистой. Цветут сливы и вишни. Лошади в поту. Опрятенький домик на взгорке. К воротам, улыбаясь и приседаая в книксене, вышла рослая женщина в синем клетчатом платье, взяла у Хаслау кнут. Волосы у нее были такие же вихрастые, как и у него, лицо красное: его сестра Катрин.

Два года Хаслау разводил в домике бельгийских кроликов и свиней, выращивал тыквы, был почетным старшиной мужского хора и членом гимнастической группы; временами у него останавливались переночевать тихие гости, которые наутро исчезали со своими свертками.

Как-то в субботу взяла Катрин большой кухонный нож, схватила за задние лапы откормленного кролика, забила и освежевала его. В воскресенье утром хватилась — нет тушки, хоть и искала по всему погребу, как пришла от обедни, покуда не встал брат. С недоверчивым видом спустился он, прихрамывая, с лестницы, посветил между ящиками, почесал за ухом: «Недостает шести бутылок вина, да две пустые». Не в силах разжать губы, Катрин трижды перекрестилась, дрожащим

голосом прошептала: «Господи Иисусе», — втащи́лась наверх, отсиживалась все утро у соседки. Брат облачился в зеленую куртку, слушал своих певцов; весть о краже пошла из уст в уста, горячо обсуждалась и лихорадочно запивалась. У торговца колониальными товарами был сын, военный; он зашел к Хаслау и посоветовал ему обратиться в полицию.

— Мои болячки — моя забота! — профырчал Хаслау. — Никаких ветеринаров мне не надо. Я не хочу сказать о полиции ничего худого — тыфу-тыфу! — но, не в обиду будь сказано, к чему ее впутывать в это дело?

Отныне Хаслау перестал запирать дверь на ключ, а лишь легонько притворял ее. Сестре он привез из города ядреную девку-служанку. Когда Катрин изумленно воззрилась на нее, он погладил сестру по спине, потеревил туго накрахмаленные завязки ее передника:

— Это я потому, Катрин, что одышка мучит, одышка. Старимся мы. Ну да, зачем же еще? Она будет тебе подсоблять. Старанье стараньем, только теперь на нем уже недалеко уедешь... Так, полегоньку, и пойдет. Теснение у тебя в груди. Одышка. — На цыпочки привстал он, поднимая указующий перст и нашептывая: — Приманка для канальи. Уж тут-то клюнет. Как пить дать клюнет. Наживка лакомая, сестричка, кусочек что надо.

В середине лета служанка принесла запечатанное письмо от Хитцингера и серый пакет с двумя окороками, — вертится перед Хаслау и больше ни слова. Он вынул изо рта трубку, выругался: как это понимать? Девчонка заскулила: она, мол, знать ничего не знает. Трубка громко стукнулась о скамеечку для ног; схватив девицу за руку, Хаслау потащил ее в сени, к лестнице в погреб:

— Катрин, свету!

Среди ящиков, мешков и бочек он чертыхнулся. На деревянной перегородке под лестницей стояло двенадцать пустых бутылок, среди них пять больших из-под вина. Катрин не постеснялась спуститься вниз, на весь дом голосила она по двум мешкам картошки и фунтику коринки. Хаслау стоял под лестничной площадкой, его круглое лицо налилось кровью. Наконец он схватил бутылку, ни слова не говоря, яростно трахнул ее о каменные плиты.

— Там еще осталось! — взвизгнула Катрин.

Хаслау молча вжал под мышкой с десяток бутылок, одну за другой двинькал их об-пол в темном закутке под лестницей. Когда дылда Катрин попыталась унять одержимого, он с такой

силой рванул сестру за коралловое ожерелье, что она грохнулась оземь да так и осталась сидеть в луже, среди битого стекла, судорожно хватая ртом воздух. Потом потянулась босой ногой к туфле, выудила ее из красной жижи.

Вечером Хаслау сидел, сутулясь, за столом, писал, широко расставив локти: «Милый Хитцингер, загляни ко мне. Твоя ветчина превосходна. Катрин тебе кланяется. Мост у Рейтберга едва держится, переезжай полегоньку. Твой верный друг Оскар Хаслау».

Они прохаживались под фруктовыми деревьями. Хитцингер, в длинном сюртуке с медными пуговицами и в черной жилетке, прижмуривая глаз, считал каштаны, яблони и груши:

— Я-то думал, Эслинген болото, а выходит, вы тут крепехонько на земле стоите!

На голове у него набекрень сидела матросская шапка; казалось, всем своим гладким, квадратным лицом он подмигивает Хаслау, медно-красные щеки и ноздри которого досадливо вздрагивали. На перекрестке двух дорог они присели на камень передохнуть. Хаслау вылавливал камешки из башмаков:

— Бродяга-то мой, видать, продувной мальчонка. Ему одно только — пожрать да попить, а чтоб с девчонкой покрутить — ни-ни.

Хитцингер огляделся вокруг, уткнулся носом в колени, зашептал в траву:

— Мерзавец он неблагодарный, вот он кто. Ты-то для них стараешься, из кожи лезешь... Мы всегда стояли друг за друга. Хо! Тут и я перекокал бы все свои бутылки! А может; это из новеньких какой? Застукать его, дать ему взбучку.

— Уж я б его приголубил,— проурчал Хаслау,— вот только кто бы это мог быть? Минцель Алоис — в Штуттгарте, женился, Францэле-музыкант — плавает по морям, Фабиан — часовщиком в исправилке.

Человек с медными пуговицами качнулся всем корпусом.

— Уж я бы знал, как повернуть это дело, Оскар. Отец мне рассказывал: в старые времена, если кто выкидывал такую штуку с родными или с товарищами, они собирались вместе, судили его судом Фемы, — так это тогда называлось, — и дело с концом. Возьми лист бумаги, напиши красным карандашом: «Брат», а внизу три черных креста, — и оставь в погребке.

Хаслау облизнул языком губы.

— Он мне нравится, этот мальчонка. Я все думаю, кашкан или крысиный яд? Верное средство.

— Сперва предупредить!

— Этот скот неграмотный, ему бы только винище жрать.

— Все равно. Он свое получит, только законным порядком, дружочек, законным порядком. Стало быть, так и напишешь: «Брат», — и три креста. Черные, твердой рукой, Оскар. А дальше уж наплевать.

Неделю спустя, в среду, в шесть часов утра, среди глубокой тишины на весь дом разнесся истошный визг, срывающийся женский визг. Вопли, возня на лестнице. Спальня захлестнута этим шумом. Хаслау, в халате и деревянных сандалиях, отворил дверь, схватил за руку служанку, с мычанием ввалившуюся в комнату:

— Он хотел тебя обидеть? — Затем сорвал со стены плетку, выволок ревушую, ополоумевшую девицу в сени, на лестницу в погреб: — Да не ори ты, ну! Полегче, полегче! Ты мне со всей округи народ соберешь! — Оцепенев от ужаса, она бессмысленно всплескивала руками, икала, отплевывалась. — Дверь за ним ты закрыла?

Из погреба пробивалась узкая полоска света.

Среди опрокинутых бутылок, в широком разливле блевотины лежал, скорчившись, мертвый человек.

Хаслау тихо запахнул халат на животе; он как будто что-то понял, кивнул:

— Так, так, так... Ну, вон отсюда!

Девица перемахнула через зловонную лужу и верещала снаружи не переставая. Сверху загрохали тяжелые шаги. Покачивая головой, Хаслау склонился над своей запиской. Когда двое незнакомцев подошли вплотную, Хаслау посветил на загаженную бороду мертвеца, его плотно сжатый рот:

— Фабиан — драпанул из каталажки. Вот мы и свидетелись опять.

Один из пришельцев, возчик с обвислыми, мочалистыми усами, спросил, что тут делается; Хаслау раздумчиво перевел взгляд с него на мертвеца и обратно, присвистнул.

— А вы как, собственно, попали сюда, господа?.. Да, это друг Фабиан. Мой старый, добрый знакомый. Случится же такое с человеком. Поневоле утратишь веру в человеческий разум. Застукал чертилу у себя в погребе. Стреляный был воробей. Из Штуттгарта. Ну, сдалась ему моя картошка? — И он принялся подбирать с полу бутылки. — Полторы бутылки сегодня. Последки не по губе пришлось.

Те двое переглянулись, перешептываясь, поднялись по лестнице. Хаслау подхватил труп за ноги, выволок по ступенькам из дома, завалил на загорбок, — коротко остриженный

затылок покойника глухо стучал по каменным плитам двора, — швырнул к садовой ограде. Затем проделал в деревянном заборе дыру, двумя яростными пинками в зад спихнул труп под откос, на дорогу. Минуту спустя труп обвил рукой придорожный столб, мягко опустился на колени, свесил голову в траву промеж ног, словно высматривая что-то у себя за спиной.

Вернувшись в дом, Хаслау вымыл руки, почистил жилетку и брюки, тяжело сопя, сел писать записку своему другу: «Должно быть, за последнее время Фабиан здорово разожрался: никак не мог сдвинуть его с места. Теперь мы снова обречены пской, и можно будет рассчитать девчонку».

Жандарм рванул шнурок звонка; возчик был тут же. В ответ на рыканье человека в каске Хаслау озадаченно спросил, неужто он должен был оставить такую вонючку у себя на участке.

— Заберите его, господин хороший. Я, с вашего позволения, держу свой дом в чистоте.

Они вцепились в него. Затравленно озираясь, он наугад пнул ногой и угодил кучеру по ляжке. Тот взвыл.

В зале суда Хаслау возбужденно жевал табак. Хитцингер в небрежной позе стоял у барьера.

Первым делом Хаслау проурчал:

— Господин судья, он хватанул цианистого калия для мышей, который я держу у себя в погребе.

— Есть сведения, что вы предумышленно хранили яд в бутылках с вином.

— Давайте послушаем людей, господин судья.

Он категорически отказался отвечать на вопросы и беспокойно заерзал на скамье. Затем, выкатив глаза, перегнулся через перила и неожиданно для всех заявил протест против незаконного лишения его свободы.

Когда судьи после краткого совещания снова взопли на возвышение, он желчно оглядел их, разразился бранью:

— Чего они там делают втихую, эти черные законники! Господа ученые! Господа ученые! Да какое им дело до всей этой истории между мной и Фабианом!

Председатель хватил кулаком по столу. Хаслау фыркнул:

— Вы хотите учить меня правилам поведения, да? Меня, старого человека! В этом деле, да? Да что вы вообще-то знаете? А?

Брызжа слюной, он потрясал кулаками; перед глазами у него плыли зеленые круги, его шатало, как пьяного.

— Я требую допросить Фабиана и выпустить меня. Фабиан — мой человек. Если с Фабианом обошлись несправедливо, пусть он сам об этом скажет.

В зал суда в качестве свидетельницы устало втащилась сгорбленная старушенция.

— Да, да, с вашего разрешения, Фабиан говорил, что, когда он в следующий раз заберется к Оскару Хаслау, может быть много шуму.

Председатель зашипел на нее через стол. Хаслау задрожал, заурчал:

— Вот видите! Вы отпустите меня, когда узнаете, как все было! Дело решено, слажено, и концы в воду. Я тоже ведь не суюсь в ваши споры. Вы отпустите меня!

Судья громыхнул:

— Извольте вести себя поспокойнее!

Неузнаваемо изменившись в лице, отвратно кося водянистыми пустыми глазами, трактирщик потоптался у барьера ограждения, тяжело плюхнулся на скамью, что-то хрюкая себе под нос; его грудь ходила ходуном; иссиня-красная нижняя губа вздрагивала. Хитцингер подстрекательски шептал ему что-то на ухо. Хаслау только отмахнулся. Доказывать ничего было нельзя. Его приговорили к десяти дням отсидки за преступную неосмотрительность.

— Карл, — сказал он Хитцингеру на улице, — эти типы хотели сжить меня со свету. Если б я не проглотил все их наглости, они бы меня закатали.

Верзила Хитцингер успокаивал его. Дома, при виде зеленой бутылки с коньяком, принесенной Катрин, Хаслау разразился горькими рыданиями. Плотнo задернув клетчатые занавеси, он некоторое время сидел молча, пил и наконец мрачно пробультал:

— Карл, неужто порядочный человек и свинья для них одно и то же? Из-за брюхача Фабиана, из-за скота, который выжрал мое вино, мне же идти в каталажку?

— Знай он об этом, он бы животики себе надорвал со смеху. Хаслау взвился:

— Животики надорвал! Он еще хуже Минцеля Алоиса был!

Когда Хитцингер удрученно потащил к себе бутылку, толстяк хозяин, сидевший, подперев голову руками, хлопнул ладонью по столу, сказал решительно:

— Нет, я не из таковых. Есть еще на свете справедливость. Я им не мальчик дался, Карл, не мальчик, говорю я тебе, чтобы всякие заезжие стрикулисты потешались надо мной в суде.



Неужто я таков? — И подошел вплотную к Карлу, подтягивая пояс брюк.

— Ну, ну, Оскар?

— Он будет жрать мое вино, и я же иди за него в каталонку?

— Ну, ну, Оскар?

— Я свел счеты с Фабианом, как мы с тобой и решили. Если ты теперь пойдешь со мной на пару — ладно. Не пойдешь — буду работать сам по себе, Карл. — Хаслау открыл комод, вытащил битком набитый коричневый чулок, стал расковыривать деньги по карманам. Ключи он бросил на стол перед Хитцингером.

— Будь осторожен, Оскар. Мы все, вместе взятые, и то ничего не можем поделать со стрикулистами. Это такие проидохы, что ой-ой-ой, целая банда.

— Посмотрим, Карл. Посмотрим.

Двадцать четыре часа спустя вилла участкового судьи сгорела дотла; пожар начался на чердаке, спавшая в мансарде нянька и множество голубей погибли в огне. Хаслау исчез.

Он воровал скот у богатых, поджигал стога. Лютовал по всей округе. Через полтора года двум погонщикам гусей удалось схватить его неподалеку от трактира Хитцингера, когда с помощью веревочной лестницы он пытался проникнуть на задворки сельской управы. Его скрутили ремнями по рукам и ногам; загорелый, порядком исхудалый, он был слегка на взводе и в наилучшем расположении духа. Своему врагу, здоровенному жандарму, державшему его, он сказал, осклабившись:

— А, жив курилка! То-то рад небось, что спалал меня. Дождался-таки и на своей улице праздника.

Из низеньких дверей домов в серую утреннюю рань с шумом повалил народ. Односельчане тянулись руками к связанному Хаслау, тыкали ему под вздох, с блянем щелкали рейкой по икрам. С трудом держась на ногах, он ревел:

— Теперь делайте со мной что хотите, вы, шелудивые. Теперь вы до меня дорвались. Выпотрошите меня. Оближите глину с моих сапогов, вы, свинячье отродье, вам это слаще сладкого.

В конце концов, когда он хотел плюнуть в них, жандарм схватил его за плечо и швырнул наземь, на навозную кучу. Один из крестьян крикнул:

— Теперь тебе нечего больше утаивать, утайщик!

Другой ковырнул вилами навоз:

— Не угодно ли отведать, господин трактирщик! Говядина — пальчики оближешь, ягнячье жаркое, жирная ветчинка с соусом!

Хаслау запрокинул голову:

— Держал бы я еще трактир, уж я б вас попотчевал вином, уж оно бы прожгло вам насквозь и глотку и кишки, оно бы вам еще на этом свете запалило в брюхе геенну огненную. Завистники вы, воры все, как один, подлое племя.

Верзила Хитцингер, едва из кровати, стоял со спадающими штанами на ступеньках под сверкающей золотом вывеской. Подвода с Хаслау, который без удержу сыпал ругательствами, горланил и свистел, протарахтела мимо и выехала из деревни. Хитцингер подтянул брюки, сплюнул вслед крестьянам, которые, яростно размахивая руками, бежали вприпрыжку за повозкой, и с проклятием переступил порог трактира.

# Пауль Цех



## ДЕРЕВНЯ БЕЗ МУЖЧИН



деревне Чакобобо всего лишь семь глинобитных хижин. Перед каждой дверью застыл, как истукан, черный скелетообразный куст кактуса. Узкие тропинки заросли буйными побегами дикого ананаса. И каждый раз, как нарядная бабочка надолго замирает на кусте, распластав блестящие голубые крылья

и забывая о дальнейшем полете, кажется, будто этот отвратительный сорняк задумал украсить себя ярким переливающимся цветком.

Поля позади деревни выжжены и блестят на солнце. А ведь долгое время зеленели они, колыхаясь, как озеро, в тени вековых кебрачо. За последние три года вся земля вокруг превратилась снова в пустыню, какой она и была более сотни лет назад, до того, как сюда пришли монахи-миссионеры, обратили в христианство индейцев, привыкших кочевать по необъятным диким просторам, и заставили их обосноваться оседло, чтобы самим кормиться поборам с этих племен. И вот индейцы повсюду в здешних краях засеяли землю пшеницей и маисом, развели табак и бататы и посадили деревья, плоды которых были слаще меда и горели в темной листве, как шары из чистого золота. И еще пятьдесят лет назад у подножья горы под сенью гигантских эвкалиптов видны были развалины монастырской церкви, сохранившиеся после того, как монахи, не сумевшие надолго утвердить здесь свою власть, были вытеснены завоевателями-креолами. Те, в свою очередь, смотрели на народ как на своих крепостных, не мешали ему верить в его бога, но платить налоги монахам запретили. Год от году мраморные плиты ветшали, источенные корнями сорняков и роями муравьев-термитов. Их поглощала земля. Индейцы же говорили: дыхание бога Тупа до тех пор разрушало их, пока Тупа не остался один на один со своими деревьями и мог снова играть на их ветвях, как на органе, и завлекать души своих краснокожих детей. Ведь христианство индейцы надели на себя как пестрый наряд, а в глубине души остались прежними. Как и раньше, обычаи их подчинялись заветам предков, а вся жизнь зависела от перемен окружающей их природы.

В те дни, о которых пойдет речь, в семи хижинах Чакобобо не осталось никого, кто был бы достаточно силен, чтобы всаживать плуг в побуревшую, твердую, как камень, землю, сеять и убирать хлеб, который необходим, когда в лесах нет большие дичи и нечем утолить голод. В стране шла война, и война эта пожирала мужчин, как червь, который обгладывает на дереве лист за листом и оставляет лишь ствол и голые сучья. Женщины испуганно сновали как тени, а дети лежали в сыром полумраке под кактусами. Все они лишь прозябали день за днем, пока им не стало совершенно безразлично, погибнуть ли от войны или сеять маис.

Деревня Чакобобо находится в узкой ложбине. Можно подумать, что река, протекавшая здесь много тысячелетий

назад, вдруг иссякла, остановившись посреди, между двух холмов. А на оставленных ею иле и грязи буйно разрослись дикие травы, которым нужен лишь дождь, ветер, немного солнца и разные живые твари под землей и на земле, чтобы расти и плодоносить в круговороте времени. Но и от этого теперь ничего не осталось на полях, кроме маленьких темно-серых ящериц, предки которых, наверное, были некогда крокодилами.

Долина эта так удалена от всего мира, что деревню Чакобобо чуть-чуть не позабыли включить в число селений, подчиняющихся властям этой провинции. Может быть, о ее существовании и знал один только синьор Арейо, который заставлял сеять здесь маис еще три года назад, когда не было войны и все мужчины от шестнадцати до шестидесяти лет еще не были солдатами. Но синьор Арейо служил на войне офицером и, не получая столько солдат, сколько требовалось ему для замены тех, что гибли у него под носом в огне винтовок и пушек, естественно, вспомнил наконец об этой деревне, прилегавшей к его маисовым полям. Сперва он забрал из семи хижин трех самых сильных мужчин, а на маисовых полях остались помогать мальчишки. Еще через шесть недель он увел из семи глинобитных хижин Чакобобо последних четырех мужчин, и мальчикам пришлось самим обрабатывать поля вместе с матерями и сестрами. А еще через шесть недель он забрал из семи хижин всех, кто хоть мало-мальски напоминал мужчину и мог носить винтовку. Забрал он также весь рабочий скот, а о маисе и полях даже и слышать не хотел, так как одна война занимала теперь все его мысли. Воевать важнее, чем сеять и убирать маис и пшеницу, говорил синьор Арейо. Война способствует славе божьей на земле. И пусть женщины и дети постараются сами справиться со всем, что нужно для поддержания жизни. Кстати, женщин и девушек — что воды в море. А мужчину встретить в полях теперь так же трудно, как пуму или серого муравьеда.

И вот женщины и дети в семи хижинах Чакобобо узнали, что это значит, когда одна страна ведет войну с другой, а мужчин для того, чтобы воевать, не хватает. Но они никак не могли поверить, что такая война способствует славе божьей на земле. И откуда синьору Арейо известно, что бог тоже, как солдат, участвует в сражениях и почему же тогда ему не суждено погибнуть в огне пушек и винтовок, как всем остальным мужчинам.

Женщины ничего больше не слышали о своих мужьях и о сыновьях своих мужей, зато они часто слышали в тихие, безветренные ночи, как в долине глухо грохочет гром. Однако на

небе не было ни облачка, и неоткуда было прийти грозе. Не видно было также, чтобы молния разрывала темноту ночи. В поросших лесом горах, на деревьях теперь не заметно было ни одного черного коршуна. Не осталось ни одной хищной птицы. Все они улетели в поля, где легче было раздобыть пищу.

Женщины Чакобобо на собственном опыте узнали, что маис на полях сам не родится. Они видели, как вначале росли сорняки, а потом почва становилась все жестче и каменистее и в конце концов самые неприхотливые растения совсем спеклись в комки под ослепительным солнцем. А то, что еще хоть слегка зеленело, уничтожали стаи саранчи.

Женщинам оставались лишь плоды, падавшие с деревьев. Ими и питались они вместе с детьми. Иногда к этому прибавлялась еще какая-нибудь живность: кролик или косуля, попавшие в расставленные силки.

Когда синьор Арейо вновь явился за пополнением, один только мальчик по имени Санчес Окантес показался ему достаточно сильным, чтобы носить в его роте винтовку. Но тут женщины окружили синьора Арейо плотным кольцом и стали кричать, что не выдадут мальчика. Ведь тогда некому будет расставлять силки для дичи и бросать лассо. А чем же питаться? Ведь поля опустели, а с неба еще не сыплется манна небесная для лепешек. Синьор Арейо, который не собирался воевать с женщинами, заявил:

— Вам дадут маиса для лепешек и в придачу еще соли и сушеного мяса. Но Санчес может носить винтовку, а больше мне уже не найти мужчин, чтобы заполнить огромные потери в моей роте. Да и вообще это божья милость для всей деревни, когда мужчина идет солдатом защищать свою родину.

Он написал записочку комиссару Червино, ведавшему в этом округе распределением маиса и сушеного мяса среди женщин, мужа и сыновья которых служили в армии, вместо того чтобы работать на мансовых полях или собирать травы.

И он увел с собой Санчеса Окантеса, хотя тот был еще слишком слаб, чтобы носить ружье. Он и в седле едва мог держаться прямо — такие у него были тонкие ножки.

И четыре женщины собрались и пошли к комиссару Червино. Три дня и три ночи шли они, то поднимаясь на кручи, то спускаясь в долину. И эта долина тоже была пустынная. И здесь на полях были только комья земли, а в хижинах — только женщины и дети.

Он был очень приветлив, этот комиссар Червино. И когда он прочитал записку синьора Арейо, то поерзал в кресле жир-

ным задом и в конце концов заявил: транспорт с майсом и сушеным мясом прибудет не раньше чем недели через две. Вот пусть они и придут к нему еще раз через две недели, но при этом пусть не забывают, что солдаты, сражающиеся за родину и за благодать божью на земле, иногда и вовсе не видят мяса и майса. И еще трижды проделали четыре женщины этот тяжелый и долгий путь, туда и обратно, прежде чем получили свою долю майса, а вместо сушеного мяса — червивую камбалу.

И все это время они ничего не слышали ни о своих мужьях, ни о сыновьях своих мужей. Зато каждые шесть недель приходил синьор Арейо и выискивал, не подрос ли за это время в семи хижинах какой-нибудь мальчик настолько, чтобы стрелять из винтовки в его роту. Но в деревне действительно не было никого, кто годился бы в роту синьора Арейо, особо отмеченную смертью. А уж если бы такой и нашелся, женщины обязательно спрятали бы его от синьора Арейо. Они знали теперь, чего стоит слава божия на земле, — деревья в этом году дали мало плодов, а дикие звери в лесах на горной круче становились все пугливее и норовили не попадаться в силки. А все потому, что не было мальчика, который умел правильно расставлять лубяные силки.

Однажды утром, когда синьору Арейо пришлось опять покинуть деревню не солоно хлебавши, так как он не нашел ни одного подростка, способного носить даже легкое ружьецо, приполз в деревню Санчес Окантес. Но у него уцелела лишь одна рука. Другую ему оторвало осколком гранаты во время жестокого сражения, разгоревшегося за много километров отсюда под сожженными деревьями кебрачо. Обрубок руки был завернут в тряпки и вату. А под повязкой кишели насекомые. Страшная рана не хотела заживать. С трудом дотащился Санчес до хижины своей матери и там упал без сил. Девять дней и ночей добирался он до дома, а внутренности его пожирал опасный огонь лихорадки. Тогда мать побежала в соседнюю хижину и позвала древнюю как мир старуху по имени Цуема Туиу. Та пришла, сорвала с метавшегося в лихорадке Санчеса повязку и положила ему на зловонную рану кашицу из коры дерева Турино. Сверху она привязала полоски листа дикого банана и все это обвязала мочалом. Уже на пятый день начала образовываться молодая кожаца, опухоль опала и лихорадка прошла.

Теперь Санчес снова мог бродить возле хижины. А когда солнце бывало в зените, он располагался под тенью большого, в человеческий рост кактуса; женщины подсаживались к нему, и все старались узнать, как же на самом деле обстоят дела в

роте сеньора Арейо и почему не возвращается никто из тех многих, кого сеньор уже увел из Чакобобо, чтобы они стреляли из винтовок в его роту.

Тогда Санчес слегка повернул голову и сказал:

— От гор, где гремят пушки, жужжат, как москиты, пули, а земля, кажется, вот-вот разверзнется, до наших мест очень, очень далеко. И вернуться оттуда может только тот, кому смерть оставила обе ноги, чтобы ходить.

А сеньор Арейо очень умный человек. Он всегда стоит там, куда не залетают пули. И когда он привел меня туда, где в густом и высоком кустарнике залегла его рота, то из наших людей уже никого не было. Вообще из всей его роты осталось всего двадцать или тридцать солдат. А солдат, который должен был научить меня заряжать ружье, целиться и стрелять, рассказывал, что не раз уже в роте бывало по пятьдесят солдат, а один раз осталось и вовсе лишь семь... Всех, кто уже побывал там и не вернулся, потому что, упав, не имел силы сам подняться, и вовсе не сосчитать — кто же умеет ворочать такими числами. «О твоём отце, мальчик, я ничего не знаю. А о других мужчинах из Чакобобо и подавно. Я всего лишь третью неделю здесь, а уже стал самым старым солдатом в роте». Так говорил мне солдат. И я очень быстро выучился стрелять из винтовки. Но сеньор Арейо пожелал, чтобы я на первое время только носил патроны из лагеря. А после патронов — воду. А после воды — консервы для кухни. Ведь каждую ночь, когда в зарослях становилось тише, и не слышно было пуль, и не казалось, что земля, того и гляди, разверзнется, мы готовили себе еду. И сеньор Арейо ел с нами и старался воодушевить нас рассказами о героических сражениях в зарослях, в каких ему довелось побывать за эти три года со своей ротой.

У каждого из нас был гамак для сна под деревьями, но мы не могли спать из-за москитов, которые жужжали по ночам еще ужаснее, чем пули днем, и иногда казалось, что мы в сетке из роя движущихся насекомых. Сроду на меня не падало столько москитов. Они прилипали к коже, как черная пыль, а когда мы пытались стряхнуть эту пыль, вся рука была в крови. Я смотрел на месяц, и часто он был красен, как кровь у меня на руке, да и вообще чудо, что я еще видел месяц, до того у меня застилало глаза. Зато в другой раз месяц был белый, как бинт, которым мне пришлось перевязывать сеньору Арейо руку, когда пуля, жужжа, как огромный жук, содрала у него кусок кожи. А в ярком белом свете месяца несъедобные орехи, которые падали с деревьев, были похожи на головы,



отрубленные головы каких-то неведомых людей. И от дикого ужаса мы несколько минут крепко сжимали обеими руками собственную голову. А однажды я увидел, как месяц выходит снизу, из глубины долины. Он уселся на вершину дерева, изрешеченного пулями и напоминавшего скелет. Долго-долго месяц сидел на дереве и ухмылялся мне в лицо. В конце концов я закричал, потому что дерево с желтой ухмыляющейся рожей надвигалось на наш лагерь.

Своим криком я разбудил синьора Арейо. В наказание меня заставили всю ночь бегать в соседнюю роту за патронами и обратно. Сотня патронов, тысяча патронов, не знаю, сколько их было на самом деле. И когда я уже четыре раза сбегал туда и обратно и только собрался ввалить себе на спину мешок с новой порцией патронов, как вдруг опять засвистели пули. Но теперь они не жужжали звонко и пронзительно, как москиты, они гудели, как шершни у нас вокруг головы, а в листве деревьев слышалось шуршанье, как будто саранча перемалывала листья в пыль. Мне пришлось на некоторое время задержаться в соседней роте. Солнце между тем взошло, и лес выглядел как во время пожара. Над нами кружили ястребы, а еще выше, немногим крупнее ястребов, кружили аэропланы. Сначала мне и в голову не приходило, что в этих летательных машинах — люди. Это объяснили мне солдаты соседней роты. Солдаты эти были не многим старше меня. До того, как они собрались сюда из Чеспадос и Уриквица, их отцы уже отбыли здесь свое, в зарослях, с винтовками. И они пели ту же песню, что пели их отцы, когда лежали здесь в гамаках, освещенные луной:

Долог путь до Уриквица,  
где желтая луна,  
                    желтая луна  
проплывает над маисовыми полями.  
И все чернее становится лес перед нами,  
и нет ему конца,  
когда мы ищем любимую  
                    в маисовых полях  
под желтой луной.

И вот, когда аэропланы оказались как раз у нас над головой, оттуда сверху стали стрелять по нас из пушек. Сначала ядра ложились далеко и валили старые кебрачо, и манго, и саумабас. Солдаты рядом со мной поднимали ружья и стали наугад стрелять в голубое небо. В небе вновь началось жужжание, словно пели цикады или квакали древесные лягушки и ядовитые жабы после дождя. Казалось, лес полон ночных обевьян и

гигантских лягушек, но на самом деле это со всех сторон летели пули. И повсюду, впереди меня, и позади, и со всех сторон, падали могучие старые деревья, а в воздухе носились комья земли, листья и осколки железа. Я больше не видел поблизости ни одного солдата из соседней роты. Они разбежались кто куда, в разные стороны, я уже теперь не помню: вперед, назад или в сторону. Тогда на меня напал страх, и мне захотелось вернуться в мою роту. Я совсем забыл, что должен захватить мешок с патронами. Я бросился бежать и бежал, не зная куда. Я стукнулся головой о дерево и упал. А с дерева повалилась целая куча листьев, плодов и даже сучья. Это была, наверное, пальма Ассэ, потому что у меня все лицо было засыпано твердыми, жесткими, точно камушки, ягодами. И когда я захотел подняться, то не мог опереться о правую руку. Я присмотрелся к ней внимательнее и увидел, что она залита кровью. Полежал еще немного и все думал только о руке, которая висела без движения и была вся залита кровью.

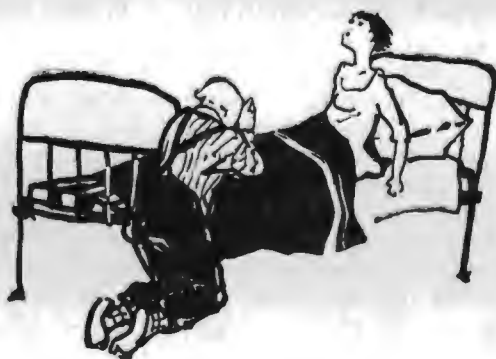
Я не знаю, сколько я пролежал там, но очнулся уже на соломе, в палатке. А когда вспомнил о руке, то увидел лишь этот обрубок, ни на что не годный. Прошло еще очень много времени, пока я смог подняться с соломы. Должно быть, мы отъехали очень далеко, куда гром пушек уже не достигал. Мы лежали по восемь на телеге и медленно ехали через кустарник то в гору, то под гору. Однажды телега перевернулась посреди леса, и вдруг деревья и все кругом показалось мне очень знакомым. И я подумал: не полезу обратно. Я спрятался за большим кактусом, а потом пополз все глубже в заросли кустарника, пока не перестал слышать остальных солдат. Мне пришлось идти долго, день и ночь, и вот я увидел наконец старые апельсиновые деревья и поле, где раньше рос маис и где мы потели на солнце после того, как отцы наши ушли, чтобы стрелять из винтовок в роте синьора Арейо. Пусть злой Ана возьмет этого убийцу, потому что он один виноват в том, что рота стала как большое решето, через которое выливается все, что в него попадает. И я очень рад, что у меня одна только рука провалилась сквозь это решето. Наконец я увидел наши семь хижин и понял, что я дома, в Чакобобо.

Простреленная рука скоро совсем перестала ныть, а через некоторое время Санчес смог уже понемногу двигать обрубком. Но расставлять силки он больше не мог. И еще долгое время он все сидел под кактусом и рассказывал детям о пулях, которые падают в листья, как какады, протягивают стальные нити и плетут из них сеть. Каждый, кто попадет в нее, узнает, что

такое благодать божия на земле. И он рассказывал об этом до тех пор, пока его вновь не затрясла лихорадка, а кожа у него огрубела и на ней словно выросли красные грибы. В конце концов и Цуема Туиу не знала, что делать. Она, правда, знала, что одно растение хорошо помогает против этой страшной лихорадки. Но не было в Чакобобо человека, который мог бы его достать. Ведь растение это росло в болотистой дельте большой реки. И поэтому Санчес должен был умереть. Впрочем, он и так уж не был годеи ни на что. И женщины Чакобобо похоронили его под кактусом, там, где он рассказывал детям о сражении и о желтом месяце, который торчал, как череп мертвеца на вершине изрешеченного пулями дерева. Никто из мужчин и из сыновей этих мужчин не вернулся в деревню Чакобобо. И каждый месяц женщины идут к комиссару Червину за майсом и сушеным мясом, которые полагаются им по распоряжению властей. А синьор Арейо охотно забрал бы к себе в роту еще несколько мальчиков из Чакобобо. Но самому старшему из них всего лишь тринадцать лет. Он должен расставлять силки для дичи, а иногда с помощью лассо ловить нанду, который забредет на каменистое, выжженное майсовое поле в поисках крысы или ядовитой жабы. Это он наловчился делать, пожалуй, лучше, чем его отец. Он очень ловкий и рослый мальчуган. И девушки и женщины — все кормят его досыта майсовыми лепешками. И живет он почти как королевич среди женщин и девушек, которым до скончания века суждено ожидать своих мужчин.

Стены семи глинобитных хижин в Чакобобо иногда сотрясаются по ночам от грохота, доносящегося со склонов лесистых гор. Но при этом в воздухе вокруг нет ни малейших признаков грозы и дождя. Иногда бывает чуть ли не светлее, чем днем, и луна, точно солнце, восходит над пустыней, где когда-то колыбался майс. И может быть, вновь потечет из земли река, оросит и напитает сожженную землю, чтобы могли расти майс, бататы, йерба. Но случится это после того, как перестанут наконец греметь пушки и все люди не только здесь, в Чакобобо, но повсюду разоблачат величайшую ложь о том, что благодать божью надо искать на полях сражений. К тому времени и синьор Арейо либо переселится на небо, либо превратится в колючий дикий ананас, и ему не нужны уже будут солдаты для его роты.

# Рудольф Леонгард



## ЕВРЕЙСКИЙ МАЛЬЧИК



ту историю мне рассказал мой друг Готфарштейн. Надо сказать, что Готфарштейн еврей, и к тому же еврей из восточных районов. Став эмигрантом, он немало скитался по свету; его чувствительные нервы и сердце поэта помогали ему чутко улавливать все происходившее вокруг, а ум оказался

достаточно пронизательным, чтобы делать правильные выводы: он стал борцом. Готфарштейн по-немецки означает «понимать бога», но с тех пор, как он многое сам пережил и видел столько горя вокруг, с тех пор, как он узнал на опыте, какова жизнь в действительности, он перестал понимать бога.

Готфарштейн жил в тех маленьких гостиницах, которых так много в Париже и где находят себе приют люди, лишенные собственного угла. Чем глуше улица и чем меньше такая гостиница, тем больше уютится в ней безымянных людских несчастий. Соседями Готфарштейна оказалась семья еврейских беженцев. До эмиграции эти люди не знали нужды. В одном из небольших немецких городов у них был магазинчик, дела шли хорошо, и они жили, как живут обычно коммерсанты средней руки. Муж торговал, жена помогала ему и содержала в порядке свою уютную и скромную квартирку. Интересы их не выходили за пределы семьи и магазина; но это было неправильно, это было роковой ошибкой: если бы людей их круга, как, впрочем, и всех остальных людей, заботили судьбы всего человечества, то их жизнь, как части всего человечества, сложилась бы иначе и многого тогда бы не произошло. Но эти люди жили именно так, как живут коммерсанты средней руки.

Их старший сын Якоб учился в школе. Ему едва исполнилось девять лет, когда Германия подпала под власть гитлеризма. И маленький Якоб первый из семьи испытал на себе, что такое гитлеризм. Все учителя в школе вдруг оказались нацистами. Учитель Якоба стал штурмфюрером; он отлично усвоил, в чем заключаются теперь его обязанности и какую власть это звание ему дает. Потому он заставлял детей петь все вновь и вновь одну песню, где были такие слова: «Пусть брызнет кровь еврея, когда всажу я нож! Тогда мы скажем снова,— сегодня день хорош!» Господин учитель, штурмфюрер,— кстати, если отцу Якоба доведется когда-нибудь прочесть эту историю, очень прошу его сообщить мне фамилию этого человека,— требовал, чтобы маленький Якоб — еврейский мальчик — пел песню вместе со всеми, притом особенно громко и внятно выговаривая именно эти слова.

А песня производила на мальчика сильное, с каждым разом все более сильное, неизгладимо страшное впечатление. Ведь он сам еврей, и родители его, которые были так добры к нему и ко всем окружающим, тоже евреи, и вот почему-то из-под ножа должна брызнуть еврейская кровь, его и их кровь? Почему же? Почему же именно еврейская кровь? И для чего эти ужасные ножи?

Мальчик был потрясен. Он только и думал что о ножах, с которых капает еврейская кровь; только и говорил о них, без конца повторяя страшные строки, и все время спрашивал родителей, у которых к тому времени тоже было достаточно горя и забот,— почему же, почему это должно случиться? В отчаянии, родители без конца думали, как помочь своему мальчику. И наконец, ценой невероятных усилий,— за последнее время, из страха перед нацистами многие в городе стали относиться к ним неприязненно,— они сумели раздобыть у одного врача справку, что у их сына Якоба большое горло и ему вредно петь.

Учителю-штурмфюреру пришлось уступить. Якобу уже больше не надо было петь вместе со всеми о ножах, из-под которых брызжет еврейская кровь. Но родители не подумали, они даже представить себе не могли, к каким последствиям это приведет. Если прежде само пение, старания воспроизвести мелодию хоть немного отвлекали Якоба от смысла страшных слов, то теперь, когда он вынужден был молча слушать песню,— учитель заставлял его присутствовать при пении,— теперь в его сознании ожили детали, отдельные жуткие детали; они были словно удары ножа, да, словно удары ножа, и этот нож вонзался ему в уши, в голову, в сердце. Сверкание острых ножей, покрытых буроватыми пятнами крови, острые лезвия, из-под которых брызжет струйками кровь,— все это он постоянно видел перед собой. Маленький Якоб уже не мог говорить ни о чем другом, когда вообще о чем-нибудь заговаривал. Он потерял аппетит, побледнел, осунулся и все больше терял силы.

Наконец родители решили уехать из этого города, покинуть Германию. Это было для них нелегко: они ведь любили свой дом, свой родной город, свою страну; здесь жили их предки, их родители; здесь жили они сами, трудились и отдыхали; и раньше у них было здесь много друзей. Нелегко оказалось ликвидировать дела: пришлось все распродать, а так как продажа была вынужденной, то все пошло за бесценок. Ни один нотариус не соглашался помочь им в оформлении сделки,— то ли потому, что многие стали теперь враждебно к ним относиться, то ли из страха перед жестокими властями. Их обманывали на каждом шагу, при каждой возможности даже те, кого они еще совсем недавно считали своими друзьями; и они почти все потеряли. Но в своем родном городе они больше жить не могли, они решили спасти своего маленького мальчика от строгого господина учителя, от всемогущего штурмфюрера.

В Париже на первых порах Якобу стало как будто бы лучше. Вначале чужая речь пугала его; ужасные строки песни не смогли убить в нем любви к единственному языку, на котором он говорил, к его родному немецкому языку; но немного позже, когда он постепенно освоился с тем, что, кроме близких, всюду, дома и на улице, люди говорят на совершенно непонятном для него странном языке,— он ожил; теперь, когда он больше не слышал песни о ножах, оближенных еврейской кровью, чужой язык стал его даже занимать. Несмотря на все возрастающие заботы, родители были счастливы. Они радовались, глядя на него, ласкали его. Они верили, что он преодолел пережитый им кошмар и что все уже забыто.

Но тут произошло нечто, после чего мой друг Готфарштейн, которому рассказали о маленьком Якобе, сам стал очевидцем описываемой истории. Однажды ночью, когда мой друг еще работал, он вдруг услышал за стеной, в соседней комнате, пение. Пел ребенок,— странным, тонким, срывающимся голосом. Он пел, непрерывно повторяя лишь две строки: «Пусть брызнет кровь еврея, когда всажу я нож! Тогда мы скажем снова, —сегодня день хорош!» Готфарштейн вскочил из-за стола и прислушался, вытянув шею и опираясь кулаками на разбросанные по столу листы: ведь там, в соседней комнате,— он знал это,— живут еврейские беженцы, эмигранты; кто же поет там, у них в комнате, эту гнусную песню?

Да, так действительно и было. В два часа ночи спокойно спавший ребенок вдруг поднялся и, сидя в кровати, начал петь слабым, тонким, звенящим голосом две строчки песни, которая так и не изгладилась из его памяти; не смолкая, он повторял без конца только эти две строчки. Разбуженные, перепуганные насмерть родители кинулись смачивать водой его лоб, робко и нежно его успокаивали; им казалось, что перед ними Лунатик. Но все их старания были напрасны. Глубокий сон, как плотная незримая преграда, отделял ребенка от родителей; словно острым ножом, рассекал его тонкий голосок эту преграду и уносился сквозь ветхие облупившиеся стены, замирая вдали. Ребенок не слышал родителей. Примерно через час мальчик свалился, словно подкошенный, на постель и заснул как убитый.

Когда на следующее утро вконец измученные родители стали расспрашивать сына, оказалось, что тот ничего не помнит; наавтра все повторилось. Он снова начал петь примерно в те же часы, от двух до трех ночи, нечувствительный ко всему окру-

жающему, потом свалился и заснул. И так повторялось теперь каждую ночь.

Родители повели ребенка к врачу. Тот постукал его молоточком по коленям, поднес яркую лампу к глазам, осмотрел, пощупал, помял, произнес несколько латинских слов, многозначительно пожал плечами и сказал, что он помочь не в силах. Это, по его мнению, редкий, исключительно редкий случай душевного заболевания у ребенка...

«Душевнобольной», — тихо прошептали родители. Они теперь часто повторяли это слово, всегда очень тихо, и, охваченные горем, сразу постаревшие, не переставали думать о нем целый день, в страхе ожидая наступления ночи. Ибо каждую ночь их мальчик, лежавший рядом на кровати, садился и пел слабым звенящим голоском песню гитлеровцев, повторяя без конца две строчки все из той же проклятой песни.

И вот однажды ночью отец упал на колени перед кроватью и, обливаясь слезами, ломая руки, прокричал, словно лишившись рассудка, своему сыночку: «О Якобле, неужели ты хочешь, чтобы я покончил с собой?» И, рыдая, принялся перечислять сидевшему в кровати худенькому мальчику все возможные способы самоубийства: он готов повеситься, застрелиться, броситься в воду, отравить себя, он готов... он готов... И тогда неподвижно сидевший на постели мальчик, с таким изможденным и старым лицом, словно он был отцом рыдающего у его ног человека, из глубины своего забвения сказал: «Не надо, отец, не делай этого! Ведь я стану тогда сиротой. Я же не виноват, я не хочу петь, что-то само поет во мне».

Для Готфарштейна на этом история и закончилась. Но она не кончилась для Якоба и его родителей, которым вскоре пришлось покинуть гостиницу. Ведь жизнь эмигрантов нелегка и полна перемен, — а потому так и не удалось разузнать, что произошло с родителями и душевнобольным ребенком.

Но мальчик был прав: он не был виноват, а потому история эта не должна так кончиться. Ребенок был прав, совершенно прав: пел не он, что-то пело в нем; весь гитлеризм пел в больном мозгу девятилетнего еврейского мальчика, — тот гитлеризм, который опустошил прекрасную страну и довел многих до состояния Якоба.

Но именно потому, что история эта не должна сойти безнаказанно для проклятых извергов, которые опустошили страну и разум людей, которые сделали душевнобольным девятилетнего ребенка, — редкий случай, по мнению ученого врача, исключительно редкий случай, — именно потому, что это по



должно кончиться так просто для тех, кто превратил учителей в штурмфюреров, а штурмфюреров в учителей и дал им возможность сделать душевнобольным девятилетнего ребенка, именно потому, что история эта не должна так просто и безнаказанно кончиться, необходимо всем и каждому ее передавать дальше, пусть все люди, те, кому угрожает опасность, знают, что принес нацизм. Что он означал для Германии, что он принес Германии и что принесет всем другим странам.

Каждый должен услышать эту историю и верить, что это не выдумка, что каждое слово в ней — правда; и те, кто разберется в ней лучше, чем в свое время удалось разобраться несчастному, плачущему отцу Якоба, — те ее никогда не забудут, а кто ее запомнит, — тот будет действовать.

# Фридрих Вольф



## ОГОНЬКИ НАД ОКОПАМИ



и один из нас, саперов, провалявшихся в ту зиму 1916 года в окопах и деревнях под Дуэ, не смел и думать о близости с Жерменой. Эта крепкая двадцатилетняя девушка в короткой шахтерской куртке и мужских синих штанах, застрявшая здесь с матерью среди шахтных отвалов, с недвусмысленной

прямой держала далеко не робких солдат на почтительном расстоянии. Но в каждом движении Жермены было столько очарования, что сердца охватывало опасное волнение даже тогда, когда девушка подогревала нам гуляш с сушеными овощами. Разумеется, офицеры тоже заглядывались на Жермену. Однако мы считали ее членом солдатского братства, и как только лейтенанту нашего взвода случалось остаться с девушкой наедине, кто-нибудь из нас приносил ему срочное донесение или обращаясь с просьбой об отпуске по случаю смерти какого-нибудь родственника. На всякий случай у нас были припасены нужные бумаги.

Первое место в свите нашей девушки принадлежало Шоршу Виртгену, нескладному верзиле с мальчишеским лицом. Обычно он был нем как рыба. Но стоило Жермене запеть «Trois jolis tambours»<sup>1</sup>, как он приходил в восторг и неистово вопил: «O mademoiselle, je vous adore!»<sup>2</sup> (этому мы его научили). Он теперь без конца распевал для нее свою любимую песню: «Я спустился с гор, откуда ползут лавины».

Так и жили мы в ту зиму между гигантскими, чуть запорошенными снегом терриконами Дуэ и высотой Лоретто, неделю на отдыхе в деревне, другую неделю в окопах вместо пехоты. Однажды ночью долговязый Шорш ввалился в блиндаж, пытаясь от волнения. Он стоял в секрете в конце подкопа, метрах в тридцати от постового французских траншей. Шорш стал нас уверять, что француз почти непрерывно выкрикивал: «Жермена Дюветтр!» Мы подняли Шорша на смех, уверяя, что он спятил, раз желанная девушка мерещится ему повсюду.

На всякий случай, однако, двое пошли с ним. И в самом деле, какой-то француз крикнул нам: «Camarade allemand, est ce que se trouve là-bas mademoiselle Germaine Duvettre au village?...»<sup>3</sup>

Я по-французски спросил кричавшего, кто он такой.

— Друг Жермены! Пьер, друг!

— Да не ори ты! Брось винтовку! И подойди к нашим заграждениям.

Он тотчас же вылез из окопа, безоружный, и, четко вырисовываясь на белой пелене только что выпавшего снега, прошел двадцать метров ничейной земли и остановился у наших за-

---

<sup>1</sup> «Три красивых барабанщика» (франц.).

<sup>2</sup> «О мадемуазель, я обожаю вас!» (франц.)

<sup>3</sup> «Немецкий товарищ, нет ли у вас в деревне мадемуазель Жермена Дюветтр?...» (франц.)

граждений. Я и верзила Шорш тоже вылезли наверх. Мы потребовали, чтобы француз описал нам Жермену. Все сходилось точь-в-точь. Но Шорш вдруг стал придирчив, как прокурор. Мне пришлось переводить ему каждое слово Пьера, маленького коренастого солдата лет двадцати пяти. Однако, когда я при описании фигуры Жермены перевел «bien potelé»<sup>1</sup>, как сказал Пьер, словами «жирненькая» или «полногрудая», Шорш негодуя прервал меня: «Она стройна как тополь!» В конце концов пришлось все-таки признать, что приметы Жермены француз описал правильно.

Что же делать дальше?

И тут Пьер попросил ни больше, ни меньше, как привести его невесту, ведь она штатская. Мы объяснили французам, что решить это мы можем только вместе со своими товарищами. Пусть придет сюда же завтра ночью. Пьер стал обещать за невесту золотые горы. Это заставило нас более внимательно прислушаться к словам французам. Но ведь и для нашего отделения Жермена значила немало. Молчаливое раздумье двух немецких солдат заставило Пьера увеличить выкуп: он даст брюссельскую консервированную ветчину, табак, теплые носки...

Когда мы возвращались в свои окопы, он крикнул нам вдогонку!

— Des saucisses de Francfort...<sup>2</sup>

— Что говорит этот пес? — глухо спросил Шорш.

— Он дает еще франкфуртские сосиски.

Всю ночь напролет отделение совещалось в блиндаже. Дело оказалось вовсе не таким простым. К рождеству — через два дня — нас должны были сменить. По счастью, отделению полагалось выделить ротного почтальона. Мы решили, что он воспользуется темнотой и приведет Жермену. Необходимо было договориться с правофланговыми соседями по окопам, чтобы они были с нами заодно. Это значило, что им достанется часть выкупа, то есть табак Пьера придется делить на шестнадцать человек.

Следующей ночью мы сообщили обо всем этом Пьеру и его товарищу, которого он привел в качестве свидетеля.

И вот в назначенный час вместе с почтальоном к нам пришел солдат в шинели и с капюшоном на голове. Это была Жермена. Мы спрятали ее в уголке нашего блиндажа, при-

---

<sup>1</sup> «Пухленькая» (франц.).

<sup>2</sup> Франкфуртские сосиски... (франц.)

крыв одеялами. Шорш сидел на соломе и тихо насвистывал: «Я спустился с гор». Он терял свою избранницу, избранницу сердца.

Наконец наступила торжественная минута. Шорш и я провели Жермену к месту свидания. Подкоп пролегал под нашими проволочными заграждениями, в мерзлой земле. Идти было нелегко. Согнувшись, пробирались мы вперед. Наконец вот она — ничейная земля, здесь царило мертвое безмолвие, мягко мерцала снежная пелена. Ночь была безветренной.

Вдруг из французского окопа выскочила знакомая фигура. Пьер рванул к себе Жермену. Мы, два немца, не шевельнулись. Все казалось неправдоподобным. Неожиданно Пьер бросился к нам, обнял обоих и поцеловал. «Товарищи, товарищи», — повторял он. Тут и Жермена тоже стала целовать нас в щеки, губы, ее руки гладили наши лица. Из окопа вылез второй француз. Он тоже обнял нас.

— Adieu, mes amis!<sup>1</sup> — сказала Жермена.

— Au revoir, Germaine! Bonne chance!<sup>2</sup> — сказал я.

Шорш не проронил ни слова. Он прыгнул в подкоп. Я последовал за ним. Нас догнал второй француз:

— Camarades!<sup>3</sup>

Он протянул нам тяжелый сверток. Бог мой! От волнения мы забыли самое главное!

И попиrowали же мы этой ночью в блиндаже. Не отставали от нас и соседи справа. Французы действительно не поскупились: красное вино, ветчина, сосиски, шоколад, табак, сигареты! Мы пели и пили за здоровье Жермены.

Внезапно одному саперу пришло в голову, — понятно, после крепкого и пряного красного вина, — что наверху следует зажечь свечи. Ведь каждый из нас в рождественской посылке получил из дому пакетик со свечами. Но на изрытой воронками земле не сохранилось ни единого дерева. Тогда мы попросту накололи свечи на шипы колючей проволоки, и в безветренной ночи возникли дикийинные немигающие огненные точки. К нам подошли солдаты из боевого охранения.

— Что здесь происходит?

Потом они отправились дальше, предупредив:

— Только не шумите! Если французы не откроют стрельбу, можете не тушить огни.

---

<sup>1</sup> Прощайте, мои друзья! (франц.)

<sup>2</sup> До свиданья, Жермена! Желаю счастья! (франц.)

<sup>3</sup> Товарищи! (франц.)

Повсюду над окопами вспыхнули маленькие язычки пламени... Вдоль всей линии. Казалось, огоньки пляшут на колючей проволоке.

Скоро мы увидели, что и на той стороне, над французскими окопами, тоже возникли крошечные пламенные точки, хотя и не так много, как у нас, ведь у французов большой праздник не рождество, а Новый год. Их огни казались нам ответными сигналами.

А мы в своем блиндаже пировали, говорили и пели до рассвета. Только долговязый Шорш тихо и молчаливо вытянулся на соломе в углу, где еще вечером лежала Жермена.

В ту ночь и весь следующий день не раздалось ни одного выстрела. Война на этом участке фронта приобрела свой обычный облик лишь с того дня, когда позицию заняли новые батареи и, пристреливаясь, открыли сильный огонь, немедленно получив в ответ благословение французских батарей.

# Бертольд Брехт



## ПЛАЩ ЕРЕТИКА



жордано Бруно, родом из Нолы, которого римская инквизиция в 1600 году приговорила к сожжению на костре как еретика, все почитали великим человеком не только за его смелые, впоследствии подтвердившиеся гипотезы о движении небесных тел, но и за его мужественный отпор судьям инквизиции

которым он сказал: «Вы с большим страхом произносите мне приговор, чем я его выслушиваю». Достаточно прочесть книги Бруно и познакомиться с рассказами о его выступлениях на ученых диспутах, чтобы понять, сколь заслуженно его называют великим; но сохранилось одно предание, которое, быть может, заставит нас уважать его еще больше.

Это история о его плаще.

Расскажем о том, как Бруно попал в руки инквизиции.

Некий Мочениго, венецианский патриций, пригласил ученого к себе в дом, чтобы тот посвятил его в тайны физики и мнемоники. Несколько месяцев Бруно жил и кормился у него, давая взамен обещанные уроки, но вместо искусства черной магии, которым Мочениго надеялся овладеть, он преподавал ему только физику. Мочениго был весьма недоволен, так как не видел в этих занятиях никакого проку. Ему досаждала мысль о том, что он зря потратился на своего гостя.

Неоднократно призывал он его поделиться наконец теми знаниями, тайными и прибыльными, коими должен был, несомненно, обладать человек, столь знаменитый.

Когда же это не помогло, он донес на Бруно инквизиции. Он написал, что этот недостойный, неблагодарный человек хулил в его присутствии Христа, называл монахов ослами, говорил, что они дурачат народ, а кроме того, утверждал, будто есть не одно солнце, как сказано в Библии, а бесконечное множество солнц, и так далее, и так далее. А посему он, Мочениго, запер этого человека у себя на чердаке и просит как можно скорее прислать за ним стражу, чтобы увести его.

И действительно, в ночь с воскресенья на понедельник явилась стража и отвела ученого в тюрьму инквизиции.

Это случилось в понедельник 25 мая 1592 года, в три часа утра. И с того дня и до 17 февраля 1600 года, когда он взмог на костер, поланец оставался в заточении.

Восемь лет тянулся ужасный процесс, и Бруно мужественно боролся за свою жизнь, однако самой отчаянной была борьба, которую он вел первый год в Венеции против выдачи его Риму.

На это время и приходится история с его плащом. Зимой 1592 года, еще живя в гостинице, он сшил себе у портного Габриэля Цунто теплый плащ. Когда Бруно арестовали, он не успел еще расплатиться за него.

При известии об аресте своего заказчика портной бросился к дому господина Мочениго в приходе св. Самуила, чтобы предъявить свой счет. Но было уже поздно. Слуга Мочениго указал ему на дверь.



— Мы достаточно потратились на этого обманщика,— орал он, стоя на пороге, да так громко, что прохожие начали оборачиваться.— Ступайте-ка в трибунал священной коллегии и расскажите там, что у вас были дела с этим еретиком.

Портной стоял ни жив ни мертв. Привлеченная криком толпа уличных мальчишек окружила его, и какой-то изукрашенный болячками оборвыш запустил в него камнем. И хотя из соседнего дома выбежала бедно одетая женщина и наградила мальчишку оплеухой, однако старик сразу же понял, как опасно оказаться тем, у кого «были дела с этим еретиком». Пугливо оглядываясь, он свернул за угол и побежал задом к себе домой. Жене он ничего не сказал о своей неудаче, и она всю неделю дивилась его подавленному настроению.

Однако первого июня, выписывая счета, она обнаружила, что один плащ не оплачен, и как раз тем человеком, чье имя было у всех на устах, ибо о ноланце говорил весь город. Повсюду передавались самые ужасающие слухи. Он-де не только в своих книгах поносил таинство брака, но и самого Христа обзывал шарлатаном и невесть что говорил о солнце.

Не удивительно, что такой человек не заплатил за плащ. Однако добрая женщина не хотела терпеть убытки.

Поскандалив с мужем, семидесятилетняя старуха облачилась в праздничное платье и отправилась в священный трибунал, где сердито потребовала, чтобы ей вернули тридцать два скудо, которые задолжал им арестованный еретик.

Чиновник, с которым она говорила, записал ее жалобу и обещал разобраться. Вскоре Цунто получил вызов и, трясаясь от страха, отправился в это ужасное место. К его изумлению, его не стали допрашивать, а лишь уведомили, что, когда займутся денежными делами заключенного, будет принято во внимание и это требование. Впрочем, чиновник дал ему понять, что вряд ли можно рассчитывать на значительную сумму.

Старик был счастлив, что легко отделался, и только униженно благодарил. Однако жена его не унималась.

Чтобы покрыть убыток, недостаточно было ее мужу отказывать себе в вечернем стаканчике вина и просиживать за работой до глубокой ночи. Они задолжали за сукно, а торговец не станет ждать. Старуха кричала в кухне и на дворе, что просто стыд и срам сажать преступника в тюрьму прежде, чем он расплатится с долгами. Чтобы получить свои тридцать два скудо, она, если потребуется, и до святейшего отца в Риме дойдет. «На костре еретика плащ не понадобится»,— кричала она.

Она рассказала про их беду своему духовнику. Тот советовал ей потребовать, чтобы им по крайней мере возвратили плащ. Обрадовавшись, что даже церковь вынуждена признать справедливость ее притязаний, старуха заявила, что не удовольствуется плащом, он, верно, уже надет, а кроме того, спит по мерке. Она хочет получить наличными. Но так как в своем рвении она повысила голос, священник попросту прогнал ее. Это немного вразумило старуху, и на несколько недель она уgomонилась.

Между тем из застенков инквизиции никаких новых слухов о деле арестованного еретика больше не просачивалось. Однако повсюду шептались о том, что на допросах открылись ужасающие преступления. Старуха жадно прислушивалась к этим сплетням. Для нее было пыткой узнавать, что дела еретика обстоят так плохо. Никогда он не выйдет на свободу и не расплатится с долгами. Она потеряла сон и в августе, когда жара окончательно доконала ее нервы, весьма красноречиво стала изливать свои горести в лавках, где делала покупки, а также заказчикам на примерке.

Старуха намекала, что святые отцы совершают грех, столь равнодушно отклоняя справедливые требования мелкого ремесленника. И это при нынешних налогах и когда хлеб опять подорожал.

Однажды в полдень страж инквизиции отвел ее в священный трибунал. Здесь ей настоятельно посоветовали прекратить вредную болтовню. Не стыдно ли, сказали ей, из-за каких-то несчастных скудо вести безответственные речи о таком важном процессе. Вместе с тем ей дали понять, что она рискует нажить себе немало неприятностей.

На некоторое время предостережение помогло, хотя при мысли о «несчастных скудо», которыми попрекнул ее этот раскормленный монах, вся кровь бросалась ей в голову.

Но в сентябре заговорили о том, что великий инквизитор в Риме требует выдачи иоланца и что с Синьорией ведутся переговоры.

Горожане оживленно обсуждали требование о выдаче, и все были возмущены. Цехи не желали покориться римскому суду.

Старуха была вне себя. Неужто еретика отпустят в Рим прежде, чем он уплатит свои долги? Этого еще не хватало! Едва она услышала эту невероятную весть, как тотчас же, не дав себе даже времени надеть юбку получше, помчалась в здание священного трибунала.

На этот раз она была принята чиновником поважнее и, как ни странно, более предупредительным, чем все, с кем она имела дело раньше. Он был почти ее ровесник и выслушал ее жалобы спокойно и внимательно. Когда она кончила, он после небольшой паузы спросил, не хочет ли она поговорить с Бруно.

Она тотчас же согласилась. Свидание было назначено на следующий день.

Назавтра в тесной камере с решетками на окнах ее встретил маленький худой человек с реденькой темной бородкой и вежливо спросил, что ей угодно.

Она видела его раньше на примерке и все время помнила, но сейчас не узнала. Очевидно, это допросы так измучили его.

Она сказала торопливо:

— Плащ. Вы же не заплатили за него.

Несколько секунд он смотрел на нее с удивлением. Потом вспомнил и спросил тихим голосом:

— Сколько я вам должен?

— Тридцать два скудо,— сказала она,— ведь вы получили счет.

Он повернулся к высокому толстому чиновнику, присутствовавшему при свидании, и спросил, неизвестно ли ему, какие деньги были сданы в священное судилище вместе с его вещами. Тот не знал, но обещал выяснить.

— Как поживает ваш муж? — спросил узник, снова обращаясь к старухе, как будто дело уже улажено и теперь вступают в силу нормальные отношения хозяина с гостьей.

Старуха, смущенная приветливостью этого щедедушного человека, пробормотала, что все в порядке. Муж здоров, сказала она и даже добавила что-то про его ревматизм.

Считая, что учтивость требует дать заказчику время для выяснения вопроса, она только два дня спустя снова отправилась в священный трибунал.

И действительно, ей еще раз было разрешено поговорить с Бруно. Она прождала его в маленькой комнатке с решетчатыми окнами более часу, — он был на допросе.

Он пришел и казался очень измученным. Так как в комнате не было стула, он слегка прислонился к стене. Тем не менее он сейчас же заговорил о деле.

Он сказал ей очень слабым голосом, что, к сожалению, не может заплатить за плащ. Среди его вещей денег не оказалось. Но не все еще потеряно: подумав, он вспомнил, что с одного человека, который издавал его книги в городе Франкфурте, ему

еще причитаются деньги. Он напишет во Франкфурт, если только ему разрешат. Он будет завтра же просить об этом. Сегодня во время допроса настроение показалось ему не слишком благоприятным, и он не хотел просить, чтобы не испортить дело.

Пока он говорил, старуха смотрела на него острыми, пронизывающими глазами. Ей были знакомы уловки и отговорки неаккуратных должников. Они ни в грош не ставят свои обязательства, а когда их прижмешь, делают вид, будто готовы перевернуть небо и землю.

— Зачем же вы заказывали плащ, если вам нечем за него платить? — спросила она резко.

Узник кивнул в знак того, что он понял ее мысль.

Он ответил:

— Я всегда зарабатывал достаточно писанием книг и преподаванием и думал, что буду зарабатывать и дальше. А плащ был мне нужен, я ведь не собирался садиться в тюрьму.

Он сказал это без капли горечи, просто чтобы ответить ей.

Разгневанная старуха смерила его с головы до ног, однако от новых выпадов ее что-то удержало. Не говоря ни слова, она выбежала из камеры.

— Кто же станет посылать деньги человеку, которого преследует инквизиция? — сердито сказала она мужу вечером, лежа в постели.

А он, не опасаясь больше неприятностей со стороны духовных властей, все же не одобрял настойчивых попыток жены получить деньги.

— У него сейчас другие заботы, — заметил он.

Она ничего не сказала.

Следующие месяцы не внесли ничего нового в это неприятное дело. В начале января стало известно, что Синьория склоняется исполнить желание папы и выдать еретика. И тогда чета Цунто получила новое приглашение в здание священного судилища.

Так как точного времени не было указано, старуха Цунто направилась туда однажды на склоне дня. Она пришла не к стати. Узник ожидал прокуратора республики, которому Синьория поручила подготовить заключение по вопросу о его выдаче Риму.

Ее принял тот самый важный чиновник, который разрешил ей первое свидание с ноланцем. Старик сказал, что заключенный выразил желание поговорить с ней, но не лучше ли отложить

свидание на другое время? Заключенному сейчас предстоит в высшей степени важная беседа.

Она ответила коротко, что об этом лучше спросить его самого.

Один из служителей ушел и вернулся с заключенным. Разговор состоялся в присутствии важного чиновника. Прежде чем ноланец, который уже в дверях улыбнулся ей, успел что-либо сказать, старуха воскликнула:

— Если вы не собирались садиться в тюрьму, зачем же вы так вели себя?

Одно мгновение маленький человек казался озадаченным. За эти три месяца он отвечал на столько вопросов, что конец его последнего разговора с женой портного едва ли сохранился в его памяти.

— Я не получил денег,— сказал он наконец,— я дважды писал, но денег не получил. Я думал, не возьмете ли вы обратно плащ?

— Так я и знала, что этим кончится,— сказала она презрительно.— Плащ сделан по вашей мерке и будет для другого слишком мал.

Ноланец посмотрел на старую женщину страдальческим взглядом.

— Об этом я не подумал,— ответил он и повернулся к монаху.

— Нельзя ли продать мое имущество и отдать деньги этим людям?

— Это невозможно,— вмешался в разговор чиновник, который его привел, высокий толстяк.— На ваше имущество притязает синьор Мочениго. Вы долго жили на его средства.

— Я жил у него по его приглашению,— ответил ноланец устало.

Старик поднял руку.

— Это к делу не относится. Я полагаю, что плащ нужно вернуть.

— А на что он нам сдался? — упрямо возразила старуха. Лицо старика слегка покраснело. Он медленно сказал:

— Милая женщина, иметь немного христианской снисходительности вам, право бы, не помешало. Обвиняемому предстоит разговор, который означает для него жизнь или смерть. Едва ли вы вправе требовать, чтобы он особенно интересовался вашим плащом.

Старуха неуверенно посмотрела на него. Она вдруг вспомнила, где находится. Она уже подумала, не лучше ли ей уйти, как вдруг услышала позади тихий голос заключенного:

— Я считаю, что она вправе этого требовать.— И когда она обернулась к нему, он добавил: — Вы должны меня извинить за все, что случилось. Не думайте, что мне безразличен ваш убыток. Я заявлю об этом в ходе процесса.

Высокий толстяк, по знаку старика, покинул комнату. Теперь он вернулся и, разводя руками, сказал:

— Плащ вообще не был нам доставлен. Мочениго, должно быть, задержал его.

Было заметно, что ноланец испугался, затем он сказал решительно:

— Это несправедливо. Я буду жаловаться.

Старик покачал головой.

— Подумайте лучше о разговоре, который вам предстоит через несколько минут. Я не могу больше допускать, чтобы здесь препирались из-за каких-то несчастных скудо.

Кровь бросилась старухе в лицо.

Пока говорил ноланец, она молчала и, жуя губами, смотрела в угол комнаты. Но теперь она снова потеряла терпение.

— Несчастных скудо! — крикнула она.— Это наш месячный заработок! Легко вам быть снисходительным. Вы-то ничего не теряете!

В эту минуту на пороге показался монах высокого роста.

— Прокуратор приехал,— сказал он вполголоса, с удивлением глядя на кричащую старуху.

Толстяк взял ноланца за рукав и увел его из комнаты. Пока заключенный шел к порогу, он все время оглядывался через узкое плечо на женщину. Худое лицо его было очень бледно.

Растерянно спускалась старуха по каменной лестнице. Она не знала, что и думать. В конце концов этот человек сделал все, что мог.

Она не вошла в мастерскую, когда неделю спустя толстый монах принес им плащ. Но она стояла у двери и слышала, как он сказал:

— Заключенный и в самом деле все последнее время волновался из-за плаща. Дважды между допросами и переговорами, которые вели с ним городские власти, он делал заявление и все добивался беседы с нунцием. И он настоял на своем. Мочениго пришлось отдать плащ. Хотя, по правде сказать, плащ очень бы пригодился теперь самому узнику; вопрос о выдаче решен, и на этой же неделе его повезут в Рим.

И в самом деле, стоял конец января.

## СОЛДАТ ИЗ ЛА-СЬОТА

После первой мировой войны, во время народных гуляний по случаю спуска на воду нового корабля, в маленьком портовом городе Южной Франции Ла-Сьота мы увидели на площади бронзовую статую французского солдата. Вокруг нее толпился народ. Мы подошли ближе и обнаружили, что это живой человек, который неподвижно стоит на каменном постаменте под жарким июльским солнцем. На нем желтовато-коричневая шинель, на голове стальной шлем, в руках винтовка со штыком, лицо и руки отливают бронзой. Он стоит навывтяжку, и ни один мускул не дрогнет на его лице.

К его ногам на постаменте прислонен кусок картона со следующим текстом:

### ЧЕЛОВЕК-СТАТУЯ

*(Homme Statue)*

*Я, Шарль-Луи Франшар, солдат энского полка, контуженный под Верденом, получил чудесную способность сохранять полную неподвижность, пребывая сколько угодно времени как бы статуей. Это мое искусство проверяли многие профессора, усмотревшие в нем необъяснимую болезнь. Подайте, пожалуйста, сколько можете безработному отцу семейства!*

Мы бросили монету на тарелку, стоявшую рядом с плакатом, и пошли дальше, качая головой.

Вот он стоит, думали мы, вооруженный до зубов, неистребимый солдат многих тысячелетий. Стоит тот, кто делал историю, тот, кто помог свершиться всем великим деяниям Александра Цезаря, Наполеона, о коих мы читаем в школьных учебниках. Это он стоит смиренно, и ни один мускул не дрогнет на его лице.

Он — и лучник Кира, и возникший боевой колесницы Камбиза, не окончательно погребенный под песками пустыни. Он — легионер Цезаря, он — вооруженный пикой всадник Чингис-хана, он — швейцарец на службе Людовика Четырнадцатого и гренадер на службе Наполеона Первого. Он обладает способностью — не столь уж редкой — стоять не дрогнув, когда на нем испытывают орудия уничтожения — все, какие только можно придумать. Он остается тверд как камень (если верить ему), когда его посылают на смерть. Его изрешетили

пики всех веков — каменного, бронзового, железного; давили боевые колесницы времен Артаксеркса и времен генерала Людендорфа; топтали слоны Ганнибала и эскадроны Атиллы; рвали на части куски железа, извергаемые орудиями, которые совершенствовались из века в век, не говоря уже о камнях, выброшенных катапультами; пробовали ружейные пули, большие, с голубиное яйцо, и маленькие, как пчелы. И вот он стоит — неистребимый, покорный командам на всех языках и, как всегда, не ведающий, за что и почему. Он не становится хозяином завоеванных территорий, как каменщик не становится хозяином построенного им дома. Даже его оружие и обмундирование не принадлежат ему. Вот он стоит, поливаемый смертельным дождем с самолетов, кипящей смолой с крепостных стен; под ногами у него мины и волчьи ямы, он дышит ипритом и чумой; он — одушевленное чучело для кавалерийских шашек, живая мишень. Против него — танки и газометы, впереди у него — враг, а позади — генерал!

Нет числа рукам, что ткали для него мундир, ковали латы, тачали сапоги! Нет счету богатствам, которые благодаря ему текли в чужие карманы! Каких только нет команд на всех языках мира, чтобы воодушевить его! Нет бога, который не благословил бы его! Его, изъеденного свирепой проказой терпения, пораженного неисцелимой болезнью бесчувственности!

Так что же это за контузия, которая вызвала такую болезнь, такую ужасную, чудовищную, заразную болезнь?

И мы спрашиваем себя: а может быть, она все-таки излечима?

## РАНЕННЫЙ СОКРАТ

Сын повивальной бабки Сократ, который умел исподволь, пересыпая разговор меткими шутками, подводить друзей к рождению вполне законченных мыслей и таким образом незаметно помогал им обзаводиться кровным потомством вместо тех пасынков, каких навязывают своим ученикам другие учителя, славился не только как мудрейший, но и как храбрейший из греков. И действительно, когда мы читаем у Платона, как легко и беззлобно он осушил чашу цикуты, которой был награжден властями за все свои заслуги перед соотечественниками, мужество Сократа не вызывает у нас никаких сомнений. Однако



многие почитатели превозносили его и за храбрость на поле брани.

В самом деле, известно, что Сократ участвовал в битве при Делионе в рядах легкой пехоты, поскольку ни по своему ремеслу сапожника, ни по своим доходам философа он не мог быть зачислен в привилегированный и дорогой род войск. Однако храбрость его, как легко представить, была особого рода.

Все утро перед боем Сократ, готовясь к кровавой сече, усердно жевал лук — любой солдат скажет вам, что это незаменимое средство для поддержания мужества. Будучи скептиком в одних вопросах, Сократ выказывал тем большее легковерие в других. Он был за практический опыт против умоарения и поэтому не верил в богов, а вот в лук верил.

К сожалению, на сей раз лекарство не оказало действия, во всяком случае — моментального действия, и Сократ, мрачно настроенный, шагал в растянувшемся цепочкой отряде мечников, который должен был занять позицию на каком-то сжатом поле. Впереди и позади шагали, спотыкаясь, какие-то юноши из афинских предместий. Между прочим, они обратили внимание Сократа на то, что щиты, поставляемые афинскими цейхгаузами, явно не рассчитаны на таких толстяков, как он. Нечто подобное приходило уже в голову и самому Сократу, но он называл это *солидностью*: дурацкие щиты и наполовину не прикрывали мало-мальски солидного человека.

Не успел разговор о крупных прибылях оружейников перейти к маленьким щитам, как раздалась команда: «Привал!»

Люди валились прямо на жнивье. Сократ хотел было присесть на щит, но получил замечание. Однако его встревожил не столько начальственный окрик, сколько то, что он был сделан вполголоса: очевидно, неприятель находился где-то недалеко.

Белесый утренний туман скрывал местность. Но топот ибряцанье оружия указывали, что долина занята.

С раздражением вспомнил Сократ свой вчерашний разговор с молодым аристократом, которого он когда-то встречал за кулисами. Теперь этот оболтус командовал конницей.

— Замечательный план! — объяснял он Сократу. — Пехота строится и мужественно и стойко, как полагается пехоте, принимает на себя удар противника. А тем временем конница устремляется в низину и заходит ему в тыл.

Низина, вероятно, где-то правее и дальше, в тумане. Там сейчас разворачивается конница.

Тогда Сократу показалось, что план хорош, во всяком случае — не так уж плох. Впрочем, самое простое — это

строить планы, особенно если противник тебя сильней. А потом все неизбежно сводится к драке, вернее, к резне, и продвигаешься вперед не там, где намечалось планом, а там, где враг отступает.

Теперь, в тусклом свете занимавшегося дня, вчерашний план представлялся Сократу совершеннейшей бестолковщиной, чепухой. Как понять, что пехота принимает на себя удар противника? Ведь обычно каждый рад избежать удара, а тут вся премудрость в том, чтобы принять его на себя. Хуже нет, когда полководцем назначают всадника!

Этак на базарах скоро не хватит луку, сколько его требуется простому человеку.

А разве не противно человеческой природе в такой ранний час, когда бы еще нежиться в постели, сидеть где-то в поле, на голой земле, по меньшей мере с десятью фунтами железа на плечах и с ножом в руке? Бесспорно, город нужно защищать, раз на него напали, иначе потом не оберешься неприятностей. Но спрашивается, почему напали?

Судовладельцы, виноградари и работорговцы Малой Азии, видите ли, стали поперек дороги персидским судовладельцам, виноградарям и работорговцам.

Хорошенькая причина!

Вдруг все насторожились. Слева из тумана донесся глухой гул голосов попережку со звоном металла. Рев быстро нарастал и становился все явственнее. Атака персов началась.

Весь отряд вскочил на ноги. Каждый воин, напрягая зрение, всматривался в туман. Кто-то шагах в десяти от Сократа упал на колени и коснеющим языком взывал к богам. «Не поздно ли?» — подумал Сократ.

И, словно в ответ, где-то дальше вправо раздался отчаянный вопль. Крики о помощи захлебнулись в предсмертных стогах. В мглистом воздухе промелькнуло что-то маленькое, блестящее. Дротик!

Вслед за дротиком, еще неясные в тумане, обозначились фигуры воинов: неприятель.

Сократ, потрясенный мыслью, что он, пожалуй, упустил время, неуклюже повернулся и побежал. Тяжелый панцирь и пожные латы сильно мешали ему. Они были куда опасней, чем щит: их не бросишь сразу.

Задышавшись, бежал философ по жнивью. Все зависело от того, удастся ли ему удержать преимущество. Может быть, храбрые юноши там, за его спиной, примут на себя удар и на время остановят противника.

Внезапно он вскрикнул от адской боли. Левая нога горела, это было нестерпимо. Со стоном повалился он на землю и тут же подскочил от нового приступа боли. Сократ повел во-круг мутным взглядом и понял все: он попал в заросли терновника! Кругом, куда ни глянь, тянулись кусты, усаженные острыми шипами. В ноге торчала, должно быть, такая же колючка.

Сократ, сдерживая слезы боли, поискал местечка, чтобы сесть. Он запрыгал на одной ноге и, сделав полный круг, осторожно опустился на землю. Необходимо было немедленно вытащить занозу.

Весь насторожившись, прислушался он к шуму битвы, распространившемуся на оба фланга; от центра до него все еще было около сотни шагов, однако шум приближался медленно, но верно.

Сандалию никак не удавалось снять. Заноза, проткнув тонкую подошву, глубоко вошла в пятку. Можно ли снабжать солдат, защищающих родину от врага, такой тонкой обувью! Малейшее прикосновение к сандалию вызывало невыносимую боль. У бедного философа опустились могучие руки.

Что делать?

Затуманенный взор его упал на меч, валявшийся рядом. Мысль, более счастливая, чем когда-либо в споре, обожгла философа. Меч вполне заменит нож! Он схватил его.

В эту минуту раздались глухие шаги. Через чащу кустарника пробирался небольшой отряд. Слава богам, это были свои! Заметив Сократа, они на миг остановились, и он слышал, как кто-то сказал: «Это сапожник». А затем отряд двинулся дальше.

Но вот донесся шум слева. Оттуда слышались слова команды на чужом языке. Персы!

Опираясь на меч, который был для этого коротковат, Сократ старался встать на ноги, то есть на здоровую ногу. В просвете между кустов он видел теперь клубок сражающихся, слышал стоны и удары тупого железа о железо или о кожу.

В отчаянии он запрыгал прочь, но тут же, ступив на раненую ногу, со стоном повалился на землю. И даже когда кучку сражавшихся, человек двадцать — тридцать, отделяло от него всего несколько шагов, философ все еще сидел между двумя кустами терновника, беспомощно глядя навстречу врагу.

Двигаться было невозможно. Что угодно, лишь бы не испытать еще раз эту ужасную боль в ноге. Не зная, на что решиться, он вдруг завопил что есть мочи.

В сущности, он не чувствовал, что кричит, а только слышал собственные крики. Его могучая грудь издавала трубные звуки: «Третий отряд, сюда! Задайте им перцу, ребята!»

Словно со стороны, он увидел, как схватил меч и стал размахивать им вокруг; перед ним, вынырнув из кустов с копьем в руке, появился вражеский солдат. От удара меча копье полетело в сторону, увлекая за собою перса.

И Сократ снова услышал свой рев:

— Ни шагу назад, ребята! Наконец-то они у нас в руках! Кранол, с шестым — вперед! Нулос, заходи справа! В порошок сотру, кто задумает бежать!

К своему удивлению, Сократ увидел рядом двух своих, они испуганно уставились на него.

— Кричите, черт вас дери, кричите! — сказал он им тихо.

У одного от страха задрожала челюсть, другой принялся кричать что-то бессвязное. Перс между тем с трудом поднялся и исчез в кустах.

Со стороны поляны подошло еще с десяток обессиленных греков. Персы, очевидно, бежали, заслышав крики, — они опасались засады.

— Что здесь такое? — спросил Сократа, все еще сидевшего на земле, один из его земляков.

— Ничего, — ответил тот. — Только не сбивайтесь все в кучу и не пяльтесь на меня. Лучше бегайте взад-вперед и командуйте, чтобы там не заметили, как нас мало.

— А не убежать ли нам? — колебался солдат.

— Ни шагу назад! — заорал философ. — Что вы, трусы, что ли?

Но ведь солдату мало одного страха, нужна еще и удача: откуда-то издалека, но вполне отчетливо донесся конский топот и яростные возгласы на греческом языке. Всем известно, сколь полным было поражение персов в этот день. Оно-то и решило исход войны.

Когда Алкивиад во главе своих всадников подскочил к зарослям терновника, он увидел, что кучка пехотинцев несет на плечах какого-то толстяка. Узнав в нем Сократа, Алкивиад задержал коня, и воины рассказали ему, что этот человек своим несокрушимым мужеством остановил дрогнувшие ряды бойцов.

Сократа с триумфом отнесли в обоз и, несмотря на его протесты, усадили в повозку. Окруженный потными, возбужденно орущими солдатами, философ возвратился в столицу и был доставлен на руках в свой маленький домик.

Жена Сократа Ксантиппа поставила варить для него бобовую похлебку. Стоя на коленях перед очагом, она раздувала огонь, не жалея щек, и время от времени поглядывала на мужа. Он все еще сидел на стуле, на который его посадили товарищи.

— Что это с тобой? — подозрительно спросила она.

— Со мной? — пробормотал он. — Ничего.

— Почему же все кричат о каких-то твоих подвигах, хотелось бы мне знать?

— Преувеличивают, — сказал он. — А вкусно пахнет.

— Как может пахнуть, да еще вкусно, когда я и огня-то не развела! Ты, верно, опять дурачком прикидывался? — сказала она зло. — Представляю, как меня засмеют завтра, когда я пойду за хлебом.

— Я вовсе не прикидывался дурачком. Я сражался.

— Спьяну, что ли?

— Да нет! Я остановил солдат, когда они начали отступать.

— Где тебе! Ты сам себя не можешь остановить, — сказала жена, поднимаясь с колен: огонь уже горел. — Подай-ка мне солонку со стола.

— Пожалуй... — медленно, словно раздумывая, произнес Сократ. — Пожалуй, не стоит мне сегодня есть. У меня что-то желудок не в порядке.

— Я же говорю, что ты пьян. Ну-ка встань, пройдишь по комнате, тогда увидим.

Хотя ее несправедливые попреки и раздражали его, он ни при каких обстоятельствах не встал бы, ибо не хотел показать ей, что не может ступить на ногу. Ксантиппа была чрезвычайно догадлива, когда нужно было разузнать о нем что-нибудь нелестное. А ведь не больно лестно, если обнаружится истинная причина его храбрости.

Ксантиппа продолжала хлопотать у очага и между делом выкладывала все, что было у нее на душе.

— Уверена, что твои знатные друзья устроили тебя в безопасное местечко, где-нибудь поближе к полевой кухне. Все это одно надувательство.

Сократ хмуρο смотрел в окно. По переулку проходили люди с белыми фонарями в руках. Афины праздновали победу.

Его влиятельные друзья и не пытались что-нибудь для него сделать. Да он и не согласился бы, во всяком случае так открыто.

— А может быть, они решили, что раз ты сапожник, так и топай со всеми. Они и пальцем для тебя не шевельнут! Сапожник, говорят они, сапожником и останется. Стали бы мы иначе

ходить к нему в его вонючую дыру и часами спорить, слыша со всех сторон: посмотрите, сапожник или не сапожник, а только эти знатные господа не брезгают садиться с ним рядом и разговаривать с ним о философии? Сволочи!

— Это называется филофобией, — равнодушно сказал философ.

Жена бросила на него сердитый взгляд.

— Можешь не учить меня! Сама знаю, что необразованная. Но если бы не я, не было бы кому тебе воды подать ноги вымыть.

Он вздрогнул: нет, сегодня ему ни в коем случае нельзя мыть ноги; но она, кажется, не заметила и, хвала богам, продолжала строить свои догадки.

— Стало быть, ты не был пьян и тебе не удалось попасть в обоз: ты держался, как настоящий рубака! У тебя, может быть, и руки в крови, что? А стоит мне раздавить паука, как ты из себя выходишь! Я, конечно, не верю в твою храбрость, но, чтобы так похлопывали по плечу, ты все же должен был что-то сделать. Тут что-то не так, и я доберусь до правды, будь спокоен.

Похлебка сварилась. Теперь от нее действительно шел чудесный запах. Ксантиппа взяла горшок, поставила на стол, поддерживая подолом, и принялась хлебать.

Сократ раздумывал — может быть, и ему поужинать? Но мысль, что придется сесть за стол, вовремя остановила его.

На душе у него было скверно. Он чувствовал, что дело этим не кончится. Скоро начнутся всякие неприятности. Нельзя выиграть у персов сражение и остаться в стороне. В первые минуты ликования, естественно, не думают о тех, кому обязаны победой: все превозносят до небес свои подвиги. Но завтра или послезавтра, когда люди увидят, что каждый норовит всю заслугу приписать себе, вспомнят, пожалуй, и о Сократе. Многие будут рады случаю сбить кое с кого спесь, объявив сапожника героем. Алкивиада и без того недолюбливают. С каким удовольствием ему будут кричать: «Алкивиад, ты выиграл сражение, а врага побил сапожник!»

Боль от занозы усилилась. Если не удастся скоро снять савдалию, может быть заражение крови.

— Не чавкай! — рассеянно сказал он, думая о своем.

Жена так и застыла с ложкой во рту.

— Что такое?

— Ничего, — испуганно поправился он. — Я задумался.

Вне себя от обиды, жена отставила горшок на очаг и выбежала из комнаты.

Он тяжело перевел дух и, быстро поднявшись со стула, запрыгал к своему ложу, пугливо оглядываясь на дверь. Вернувшись, чтобы взять праздничную шаль, Ксантиппа подозрительно посмотрела на мужа, неподвижно лежавшего в своем кожаном гамаке. На мгновение она подумала, не заболел ли он, и даже чуть не спросила его — она ведь была преданной женой, — но одумалась и, ворча что-то, вышла: вместе с соседкой они отправились смотреть на торжества.

Сократ спал плохо и проснулся озабоченным. Сандалию он снял, но занову так и не вытащил. Нога сильно распухла.

Утром он нашел жену несколько сговорчивее. Накануне она сама слышала — весь город говорил о ее муже. Рав все в таком восторге, значит, действительно что-то было. Но что он задержал боевой отряд персов, никак не уместилось у нее в голове. «Куда ему, — думала она. — Задержать своими вопросами целое собрание — да, это он может, но только не боевой отряд. Что же все-таки произошло?»

Она была в таком замешательстве, что подала ему козье молоко в постель.

Он, видимо, не собирался вставать.

— Ты не хочешь пройтись? — спросила она.

— Не желаю, — буркнул он.

Заботливой жене так не отвечают. Но Ксантиппа намеренно не заметила его грубости: он, верно, не хочет, чтобы люди на него глядели.

С раннего утра пришли гости — несколько молодых людей, сынки богатых родителей, обычное его общество. Они обращались к нему как к своему учителю и даже записывали, что он им говорил, словно это была невесть какая мудрость.

Они тотчас же доложили Сократу, что слава его гремит в Афинах. Для философии это историческая дата. (Значит, это и вправду вовется философией, а не как-нибудь иначе.) Сократ доказал миру, что великий мыслитель может стать и великим деятелем.

Сократ слушал их без обычных насмешек. В звуках их речей ему чудился, словно раскаты далекой грозы, неистовый хохот, хохот всего города, всей страны, — он еще далеко, но неудержимо приближается, нарастает, увлекая каждого: прохожих на улицах, кушцов и политиков на площадях, ремесленников в их лавчонках.

— Все, о чем вы тут толкуете, — чепуха, — заявил он с внезапной решимостью. — Ничего я не сделал.

Они, улыбаясь, переглянулись. Один из них сказал:

— Мы говорили то же самое! Мы знали, что ты будешь рассуждать именно так. «С чего это вы подняли такой крик? — спросили мы Эвзопулоса, повстречав его у гимназии. — Десять лет Сократ совершал подвиги духа, а никто его и знать не хотел. Но стоило ему выиграть сражение, как все Афины заговорили о нем. Неужели вы не видите, — сказали мы, — как это недостойно?»

Сократ застонал.

— Да я же и не выигрывал его! Я защищался, потому что на меня напали. Меня это сражение не интересовало. Я не торговец оружием, и за стенами города у меня нет виноградников. Я даже не знал, за что воюю. Да и вокруг меня были достаточно умные люди, жители предместий, и у них не было интереса сражаться. И я сделал то же, что и они, разве только на мгновение раньше.

Друзья его были озадачены.

— Не правда ли! — вскричали они. — То же самое и мы говорили: он ничего не делал, только защищался. Это его способ выигрывать битвы. Ивини, мы поспешим в гимназию. Мы как раз спорили на эту тему и только заглянули к тебе поздороваться. — И они ушли, увлеченные горячим спором.

Сократ лежал, закинув за голову руки, и молча смотрел в закопченный потолок. Мрачные предчувствия не обманули его.

Жена наблюдала за ним из угла комнаты, рассеянно зашивая свою старую юбку.

Вдруг она тихо сказала:

— В чем же тут дело?

Он вздрогнул и неуверенно посмотрел на нее.

Изнуренное работой существо с плоской, как доска, грудью и печальными глазами — его жена. Он знал, что может положиться на нее. Она бы заступилась за него, даже если бы его ученики начали говорить: «Сократ? Это не тот ли презренный сапожник, что не признает богов?» На горе себе она встретилась с ним, но не жаловалась никому, кроме него. И не было еще случая, чтобы его не ждал дома кусок хлеба и сала, когда он голодный возвращался поздно вечером от своих состоятельных учеников.

Он спрашивал себя, не сказать ли ей все. А потом подумал, что ведь придется без конца изворачиваться и лицемерить в ее присутствии, если люди будут приходить, как сейчас, и толковать о его подвигах. И он не сможет это делать, если ей будет известна правда, так как слишком ее уважает.



Поэтому он ограничился тем, что сказал:

— Вчерашним супом так разят, что хоть из дому беги!

Она смерила его недоверчивым взглядом: ведь он прекрасно знает, что они не могут себе позволить выбрасывать остатки. Он просто ищет, чем бы ее отвлечь.

В ней росло убеждение, что с ним что-то случилось. Почему он не встает? Он всегда вставал поздно, но потому, что поздно ложился. Вчера же он лег очень рано. А сегодня весь город с утра на ногах по случаю празднования победы. В переулке закрылись все лавки. Часов в пять утра вернулась часть конницы, преследовавшей неприятеля, и всех переполошил конский топот. Шумные сборища — его страсть. В такие дни он бегаёт с утра до вечера и со всеми заводит разговоры. Почему же он не встает?

Дверь скрипнула, и вошли четверо должностных лиц. Посреди комнаты они остановились, и один из них официальным, но очень вежливым тоном сказал, что ему поручено сопровождать Сократа в ареопаг. Сам полководец Алкивиад предложил воздать ему почести за его ратные успехи.

С улицы доносились приглушенные голоса, — значит, перед домом собрался народ.

Сократ почувствовал, что вспотел. Он знал, что должен теперь встать и, если даже откажется пойти с ними, стоя сказать несколько учтивых слов и проводить их до дверей. Он знал, что не сделает и двух шагов. А тогда они посмотрят на ногу и все поймут, и поднимется страшный хохот — здесь, сейчас, на этом самом месте.

И он не встал, а опустил на свою жесткую подушку и недовольно сказал:

— Мне не нужны почести. Передайте ареопагу, что мы условились с несколькими друзьями встретиться в одиннадцать часов и обсудить один интересный философский вопрос. К великому моему сожалению, я не могу прийти... Да и вообще я не гожусь для публичных церемоний и крайне устал.

Последнее Сократ добавил, потому что тут же пожалел, зачем он припутал сюда философию, а первое сказал, потому что надеялся избавиться от них грубостью.

Городские власти поняли его и, повернувшись на каблуках, вышли, наступая на ноги толпившимся снаружи любопытным.

— погоди, тебя еще научат уважать власть, — в сердцах сказала жена и ушла на кухню.

Он подождал, пока она скроется за дверью. Тогда, быстро повернув свое тяжелое тело и косясь на дверь, он сел на край

постели и с бесконечными предосторожностями попробовал наступить на больную ногу. Нет, это безнадежно. Обливаясь потом, он снова лег.

Прошло полчаса. Сократ взял книгу и стал читать. Когда он держал ногу спокойно, то почти не замечал боли.

Вскоре явился его друг Антисфен. Не снимая верхней одежды, он стал в ногах ложа и некоторое время глядел на Сократа, судорожно покашливая и почесывая заросшую лохматой бородой шею.

— Ты еще лежишь? А я думал, что застану одну Ксантиппу. Я только для того и вышел, чтобы справиться о тебе. Угрозилось же меня простудиться, вот я и не мог участвовать вчера в деле.

— Садись, — односложно ответил Сократ.

Антисфен принес из угла стул и подсел к другу.

— Нынче вечером я снова начинаю занятия. Нет основной откладывать дальше.

— Да, конечно.

— Я, разумеется, сомневался, придут ли мои ученики, ведь сегодня повсюду пируют. Но по дороге сюда я встретил юного Фестона, и когда я сказал ему, что вечером даю урок алгебры, он возликовал. Я сказал, что он может прийти и в шлеме. Протагор и другие от злости подпрыгнут до потолка, когда станет известно, что у Антисфена в первый же вечер после сражения изучали алгебру.

Отталкиваясь ладонью от слегка покосившейся стены, Сократ тихо покачивался в гамаке. Он испытующе смотрел на друга своими большими, слегка навывкате глазами.

— А больше ты никого не встречал?

— О, множество людей!

Мрачно задумавшись, Сократ разглядывал потолок. Но открыться ли Антисфену? Он был достаточно уверен в нем. Сам он никогда не брал денег за обучение и не был, следовательно, для него конкурентом. Может быть, стоит посоветоваться с ним в этом трудном деле?

Искрящиеся, как у стрекозы, глаза Антисфена с любопытством смотрели на друга. Он рассказывал:

— Георгий ходит по городу и говорит каждому встречному, что ты, вероятно, пустился наутек, да с перепугу ошибся направлением — побежал вперед. Кое-кто из нашей избранной молодежи собирается его поколотить.

Сократ, неприятно пораженный, повернулся к нему.

— Вздор! — сказал он с досадой.

Ему вдруг стало ясно, какое оружие он даст своим врагам, если раскроет карты.

Ночью, под утро, ему пришло в голову, что, пожалуй, все это можно представить как опыт: ему, мол, захотелось узнать, насколько легковверны люди. «Двадцать лет я на всех перекрестках учил пацифизму, и вот достаточно пустого слуха, чтобы мои собственные ученики объявили меня каким-то извергом» и т. п. Но тогда не надо было выигрывать сражение! Очевидно, сейчас и впрямь плохие времена для пацифизма. После поражения даже верхи становятся на некоторое время пацифистами. После победы даже низы — сторонники войны, по крайней мере пока не обнаружится, что для них победа не слишком отличается от поражения. Нет, пацифизмом сейчас трудно щеголять.

В переулке послышалось цоканье копыт и смолкло перед домом. В комнату своей стремительной походкой вошел Алкивиад.

— Здравствуй, Антисфен. Как философские делишки? Наши старшины вне себя, Сократ, — вскричал он, сияя от удовольствия. — В ареопаге из-за твоего ответа форменная буря. Шутки ради я изменил свое предложение наградить тебя лавровым венком и предложил наградить пятьюдесятью палочными ударами. Это их явно задело, потому что я выдал их тайные мысли. Но ты все же должен пойти. Мы отправимся вместе, пешком.

Сократ вздохнул. Они были друзьями с Алкивиадом и частенько выпивали вдвоем. Похвально, что друг навестил его, и, конечно, он сделал это не из одного желания позлить ареопаг, хотя и это заслуживает одобрения и всяческого содействия.

Продолжая рассказываться в своем гамаке, Сократ рассудительно сказал:

— Спешка — это такой ветер, который может сорвать паруса. Садись-ка!

Алкивиад засмеялся и придвинул стул. Прежде чем сесть, он дружески поклонился Ксантиппе, которая стояла в дверях кухни и вытирала о юбку мокрые руки.

— Вы, философы, странный народ, — сказал он нетерпеливо. — Возможно, ты даже раскаиваешься, что помог нам разбить персов. Антисфен, разумеется, доказал тебе, что для этого не было достаточных оснований.

— Мы говорили об алгебре, — поспешил откликнуться Антисфен и закашлялся.

Алкивиад усмехнулся:

— Так я и думал. Тебе противен весь этот шум? Но как никак ты проявил мужество. По-моему, в этом нет ничего особен-

ного; ну разве горсть листьев лавра — это что-то особенное? Сгисни зубы, старина, и съеси это с должным терпением. Все кончится быстро и безболезненно. А затем мы выпьем по стаканчику.

Он с интересом смотрел на коренастое, крепкое тело Сократа, которое теперь раскачивалось довольно сильно.

А тот ломал голову, перебирая, что он может сказать. Он мог бы сказать, что этой ночью или этим утром вывихнул ногу. Например, когда солдаты ссаживали его с плеч. В этом даже есть свой резон. Подобные случаи показывают, как легко человек может пострадать от восторгов своих соотечественников.

Не переставая раскачиваться, Сократ приподнялся и сел; потер голую левую руку правой и медленно проговорил:

— Дело в том, что у меня с ногой...

Но тут взгляд философа, не слишком твердый, ибо он готовился соврать — до сих пор он только отмалчивался, — упал на Ксантиппу, по-прежнему стоявшую в дверях.

И он сразу осекся. У него мгновенно пропала всякая охота сочинять какие-то истории: ведь он не вывихнул ногу!

Гамак остановился.

— Послушай, Алкивиад, — начал Сократ решительным и бодрым тоном, — ни о какой храбрости и речи быть не может. Как только началось сражение, вернее — как только я увидел персов, я бросился бежать, да, да, и туда, куда следует, — назад. Но там рос терновник! Я сразу же засадил себе огромную колючку в пятку и не мог сделать ни шагу. Тут я стал как бешеный рубить мечом, чуть ли не по своим. В отчаянии закричал я что-то насчет других отрядов, чтобы обмануть персов. Сдуру, конечно: они ведь не понимают по-гречески. А персы, видно, тоже не знали, на каком они свете. Им и так досталось при наступлении, и они просто не выдержали моих криков. На какую-то минуту они растерялись, а тут подоспела наша конница. Вот и все.

Несколько секунд в комнате было очень тихо. Алкивиад пристально смотрел на Сократа. Антисфен кашлял, прикрыв рот рукою, — на этот раз непритворно. В дверях кухни громко смеялась Ксантиппа.

Алкивиад холодно сказал:

— И ты не мог, конечно, пойти в ареопаг и там ковылять по лестницам, чтобы получить лавровый венок. Я понимаю...

Алкивиад откинулся на спинку стула. Прищулив глаза, он смотрел на философа, распростертого на своем ложе. Ни Сократ, ни Антисфен не глядели в его сторону.

Он нагнулся и обхватил руками колено. Его еще по-детски узкое лицо чуть подергивалось, но не выдавало ни чувств его, ни мыслей.

— Почему ты не сказал, что у тебя какая-нибудь другая рана? — спросил он.

— Потому что я занозил себе пятку, — сердито отозвался Сократ.

— А, поэтому?.. Понимаю.

Алкивиад вскочил и подошел к постели.

— Жаль, что я не захватил свой венок, — я отдал его подержать одному человеку. А то я оставил бы его тебе. Поверь мне, ты больше, чем я, заслужил его своей храбростью. Я не знаю никого, кто при подобных обстоятельствах рассказал бы то, что рассказал ты.

И он поспешно вышел.

Обмыв ногу и вытащив занозу, Ксантиппа угрюмо сказала:

— Могло быть заражение крови.

— По меньшей мере, — подтвердил философ.

## ИЗ РАССКАЗОВ О ГОСПОДИНЕ КОЙНЕРЕ

### *Господин Койнер и насилие*

Однажды, когда господин Койнер, мыслитель, произносил речь против насилия в зале, где собралось множество людей, он заметил, что слушатели его вдруг отпрянули и начали расходиться. Он оглянулся и увидел, что позади него стоит насилие.

— О чем ты говоришь? — спросило оно.

— Я держу речь в защиту насилия, — ответил господин Койнер.

Когда господин Койнер вышел, ученики упрекнули его в бесхребетности. Господин Койнер ответил:

— Мой хребет существует не для того, чтобы его поломали. Ведь я должен жить дольше, чем насилие.

И господин Койнер рассказал следующую историю:

«Как-то раз, в нелегальные времена, в квартиру господина Эгге, который научился говорить «нет», пришел некий агент и предъявил удостоверение, выданное теми, кто правил городом. Согласно этому удостоверению, агенту принадлежал всякий

дом, куда ступит нога его, и всякая пища, какую он пожелает, а всякий человек, на которого упадет его взгляд, должен служить ему. Агент сел на стул, потребовал еды, умылся, потом лег и, повернувшись лицом к стене перед тем, как заснуть, спросил: «Ты будешь мне служить?» И укрыл господин Эгге агента своим одеялом, и отгонял от него мух, и оберегал его сон, и, как в этот первый день, служил он ему семь лет. Все исполнял господин Эгге, одного только остерегался: произнести хоть слово. И прошли семь лет, и стал агент толстым от того, что много ел, спал и отдавал приказы. И умер агент. И завернул его тогда господин Эгге в грязное одеяло и выволок из дому, и вымыл господин Эгге кровать и побелил стены, вздохнул и ответил: «Нет».

### *Слуга целесообразности*

Господин К. спрашивает:

— Каждое утро мой сосед заводит граммофон. Для чего он заводит граммофон? Мне отвечают: для того, чтобы делать гимнастику под музыку. А для чего он делает гимнастику? Чтобы стать сильным, отвечают мне. А для чего ему нужно стать сильным? Чтобы победить своих врагов в городе, говорит он. Для чего ему нужно победить своих врагов? Чтобы есть, отвечают мне.

Когда господин К. услышал, что его сосед заводит граммофон, чтобы делать гимнастику под музыку, а гимнастику делает, чтобы стать сильным, а сильным хочет стать, чтобы победить своих врагов, а своих врагов победить — чтобы есть, он задал один из своих вопросов:

— А для чего он ест?

### *Любовь к родине и ненависть к националистам*

Господин К. не считал, что человек должен жить в какой-нибудь одной определенной стране. Он говорил: голодать я могу повсюду.

Как-то раз случилось ему идти по городу, захваченному врагами той страны, в которой он жил. Шедший навстречу офицер, один из этих врагов, принудил его сойти с тротуара. Господин К. сошел с тротуара и почувствовал, как в нем вспыхнуло возмущение против этого человека, и не только против

этого человека, а, главное, против страны, которую тот представлял, да так, что он пожелал ей провалиться сквозь землю.

— Почему я в эту минуту стал националистом? — спросил господин К. — Потому что я встретил националиста. Значит, мы должны искоренять глупость, ибо она делает глупыми и тех, кто с ней встречается.

### *Голод*

Господин К. ответил на вопрос о родине: голодать я могу всюду. Какой-то дотошный слушатель спросил его, почему он говорит, что голодает, ведь в действительности у него есть чем питаться. Господин К., оправдываясь, сказал:

— Вероятно, я имел в виду, что могу жить везде, раз я согласен жить на свете, когда господствует голод. Я признаю, что одно дело голодать самому, а другое — жить, когда господствует голод. В извинение я смею прибавить, что для меня жить на свете, когда господствует голод, если не столь тяжело, как голодать самому, то, во всяком случае, немногим легче. Не так важно для остальных, чтобы я голодал сам; важно то, что я против господства голода.

### *Вопрос о том, существует ли бог*

Однажды некто спросил господина К., существует ли бог. Господин К. ответил:

— Подумай, изменится ли твое поведение от того, какой ответ ты получишь на этот вопрос. Если оно не изменится, можно оставить вопрос без ответа. Если же оно изменится, то я могу тебе помочь только тем, что скажу: ты сам дал ответ — тебе бог нужен.

### *Беспомощный мальчик*

Господин К. рассуждал о том, как дурна привычка молча проглатывать нанесенную обиду, и рассказал следующую историю:

«Прохожий спросил тихо всхлипывающего мальчика, почему он плачет.

— Я скопил две монетки на кино, — ответил мальчик, — а потом пришел вот тот парень и одну вырвал у меня из рук. — И он указал на видневшуюся в отдалении фигуру.

— Что ж ты не позвал на помощь? — спросил прохожий.

— Я звал,— ответил мальчик и заплакал громче.

— И никто тебя не услышал? — допытывался прохожий, ласково погладив его по голове.

— Нет,— прорыдал малыш.

— Значит, громче кричать ты не можешь? — снова спросил тот.

— Нет,— сказал мальчик и посмотрел на вопрошающего с надеждой, ибо тот улыбался.

— Так давай сюда и вторую,— сказал человек и, отобрав у мальчика последнюю монетку, беззаботно зашагал дальше.

### *Вопросы, которые убеждают*

— Я заметил,— сказал господин К.,— что многих мы отворачиваем от нашего учения тем, что у нас готов ответ на все вопросы. Может быть, нам стоило бы в интересах пропаганды составить список вопросов, которые кажутся нам неразрешимыми?

### *Дружеская услуга*

Как пример того, какой способ оказывать услуги друзьям он считает наилучшим, господин К. рассказал следующую назидательную историю:

«К старому арабу пришли трое молодых людей и сказали ему:

— Наш отец умер. Он оставил нам семнадцать верблюдов и завещал, что старший сын должен получить половину, средний — одну треть, а младший — одну девятую часть всех верблюдов. И вот теперь мы никак не можем их разделить. Так реши, как нам быть.

Поразмыслив, араб сказал:

— Как я вижу, вам недостает еще одного верблюда, чтобы правильно разделить их. У меня есть всего один-единственный верблюд, он к вашим услугам. Возьмите его и поделите верблюдов между собой, а мне отдайте то, что останется.

Братья поблагодарили араба за дружескую услугу, взяли верблюда и разделили теперь уже восемнадцать верблюдов таким образом, что старший получил половину, то есть девять верблюдов, средний — одну треть, то есть шесть, а младший — одну девятую, то есть двух верблюдов. К их изумлению, после того как каждый отвел своих верблюдов в сторону, остался



один лишний. Они вернули его своему старому другу, присовокупив к прежним хвалам новые».

Господин К. назвал подобную дружескую услугу наилучшей, потому что она не требовала особых жертв.

### *Форма и содержание*

Господин К. рассматривал картину, где отдельным предметам была придана весьма своеобразная форма. Он сказал:

— Порой с некоторыми художниками, когда они наблюдают окружающее, случается то же, что и со многими философами. Сосредоточась на форме, они забывают о содержании.

Я работал как-то у садовника. Он дал мне садовые ножницы и приказал подстричь лавровое деревцо. Это деревцо росло в кадке и выдавалось напрокат для торжественных случаев. Поэтому оно должно было иметь форму шара. Я тотчас же начал срезать дикие побеги, но, как ни старался, мне долго не удавалось придать ему форму шара. Я все время отхватывал слишком много то с одной, то с другой стороны. Когда же наконец деревцо приняло форму шара, шар этот оказался очень маленьким.

Садовник проговорил разочарованно:

— Допустим, это шар. Но где же лавровое деревцо?

### *Разговоры*

— Мы больше не можем разговаривать друг с другом, — сказал господин К. какому-то человеку.

— Почему? — испуганно спросил тот.

— В вашем присутствии я не способен сказать ничего разумного, — пожаловался господин К.

— Но мне это не важно, — утешил его собеседник.

— Охотно верю, — проговорил господин К. с ожесточением. — Но это важно мне.

### *Господин К. в чужом жилище*

Вступив в чужое жилище, господин К., прежде чем ложиться спать, осмотрел все выходы из дома и ничего более. Когда его спросили о причине, он ответил смущенно:

— Это старая прискорбная привычка. Я стою за справедливость, а в таких случаях лучше, чтобы квартира имела второй выход.

### *Если господин К. полюбит кого-нибудь...*

Господина К. спросили:

— Как вы поступите, если кого-нибудь полюбите?

— Я создам эскиз этого человека и постараюсь, чтобы он стал похож на него.

— Кто? Эскиз?

— Нет, человек.

### *Любимое животное*

Однажды господина К. спросили, какое животное он ценит больше всех. Он ответил — слона, и обосновал это так:

— Слон соединяет в себе хитрость и силу. Это не та жалкая хитрость, достаточная лишь для того, чтобы избежать преследования или украдкой раздобыть какую-нибудь пищу. Нет, это хитрость, которая опирается на силу, необходимую для большого дела. Слон прокладывает широкий след. Однако он добродушен и понимает шутку. Он добрый друг и достойный враг. Он велик и грузен, но очень подвижен. Тело его огромно, а хобот способен подбирать самые мелкие съедобные предметы, например орехи. У него удачно устроены уши, он слышит только то, что хочет. Он живет до глубокой старости. Он очень общителен, и не только по отношению к слонам. Везде его любят и боятся. В его облике есть что-то комичное, что привлекает к нему сердца. У него грубая кожа, о которую ломаются ножи, но зато нежная душа. Он может быть грустным, может быть гневным. Он охотно танцует. Умирать он уходит в чащу. Он любит детей и других маленьких зверушек. Он весь серый и бросается в глаза только своей массивностью. Он не съедобен. Он умеет хорошо трудиться. Он любит выпить и тогда становится веселым. Кое-что он делает и для искусства — поставляет слоновую кость.

### *Что является отцом мысли*

Господина К. однажды упрекнули, что у него слишком часто отцом мысли становится желание. Господин К. ответил:

— Никогда не существовало мысли, отцом которой не было бы желание. Какое именно желание — вот о чем можно спорить. Не следует подозревать, что у ребенка вообще нет отца, на основании того, что установить отцовство затруднительно.

### *Удачный ответ*

Рабочего спросили в суде, какую форму присяги он предпочитает — церковную или светскую.

«Я безработный»,— ответил тот.

— Это не просто рассеянность,— заметил господин Койнер.— Своим ответом он дал понять, что в его положении подобный вопрос, да, пожалуй, и вся судебная процедура как таковая, не имеет больше никакого смысла.

### *Сократ*

Закончив чтение одной из книг по истории философии, господин К. весьма неодобрительно высказался о попытке философов представить вещи и явления принципиально непознаваемыми.

— Когда софисты утверждали, что знают многое, ничему не учившись, софист Сократ выступил с дерзким утверждением, что он знает только то, что ничего не знает. Можно было ожидать, что он продолжит свою мысль: «...ибо и я ничему не учился». (Чтобы узнать что-нибудь, надо учиться.) Но Сократ, по-видимому, больше ничего не сказал; возможно, впрочем, что бурные аплодисменты, раздавшиеся после его первой фразы и длившиеся две тысячи лет, заглушили последующее.

### *Если бы акулы стали людьми...*

— Если бы акулы стали людьми, они были бы добрее к маленьким рыбкам? — спросила господина Койнера маленькая дочка его хозяйки.

— Конечно,— ответил он,— если акулы станут людьми, они построят в море для маленьких рыбок огромные садки, где будет вдоволь корма и растительного и животного. Они позаботятся, чтобы в садках была свежая вода, и вообще будут проводить все необходимые санитарные мероприятия. Если, к примеру, какая-нибудь рыбка повредит себе плавник, ей немедленно сделают перевязку, а то она, чего доброго, умрет раньше времени и ускользнет от акул. А чтобы рыбки не предавались мрачным размышлениям, время от времени будут устраиваться грандиозные водные праздники: ибо жизнерадостные рыбки лучше на вкус, чем меланхолические.

В больших садках устроят, конечно, и школы. В этих школах акулы будут учить маленьких рыбок, как правильно вплывать в акулю пасть. География, например, понадобится для того, чтобы найти те места, где лениво нежатся большие акулы. Но главным, разумеется, будет моральное воспитание рыбок. Их научат, что для маленькой рыбки нет ничего величественнее и прекраснее, чем радостно принести себя в жертву, что маленькой рыбе нужно верить акулам, особенно когда те говорят, что заботятся о прекрасном будущем. Маленьким рыбкам внушат, что это будущее будет им обеспечено только, если они научатся послушанию. Особенно должны остерегаться маленькие рыбки всяческих низменных, материалистических, эгоистических и марксистских влияний. Если одна из них проявит подобное вольномыслие, другие должны немедленно донести об этом акулам.

Если акулы станут людьми, они, разумеется, начнут воевать друг с другом, чтобы захватить чужие рыбки садки и чужих рыбок. Сражаться они заставят своих собственных рыбок. Они внушат своим рыбкам, что между ними и рыбками других акул огромная разница. Они провозгласят, что хотя, как известно, все рыбки немые, но молчат они на разных языках и потому не могут понять друг друга. Каждой рыбе, которая убьет во время войны несколько вражеских рыбок, молчащих на другом языке, припилят орден из морской травы и присвоят титул героя.

Если акулы станут людьми, у них, конечно, появится искусство. Появятся картины, на которых зубы акул будут написаны великолепными красками, а пасти ни дать ни взять — увеселительные сады, где можно отменно порезвиться. Театры на морском дне покажут, как героические рыбки с энтузиазмом плывут в акулю пасть; музыка играет так красиво, и под ее звуки рыбки, предшествуемые оркестром, убаюканные самыми приятными мыслями, мечтательно устремляются в пасть акул.

Конечно, возникнет и религия, если акулы станут людьми. Она будет учить, что подлинная жизнь для рыбок начинается в животе акулы. Ну, и то равенство, которое сейчас существует между рыбками, исчезнет, если акулы станут людьми. Некоторые из них получат чины и возвысятся над остальными. И те, кто немного покрупнее, получат даже право поедать мелкоту. Акулам это будет только приятно, потому что тогда им самим будут чаще доставаться куски побольше. Крупные, чиновные рыбки позаботятся о порядке среди остальных. Они

будут учителями, офицерами, инженерами по строительству садков и так далее. Короче говоря, только тогда и появится истинная культура в море, когда акулы станут людьми.

### *Незаменимый чиновник*

Господин К. услышал, как о некоем чиновнике, давно уже занимавшем свою должность, отзывались лестно и в том духе, что он незаменим, такой он хороший чиновник.

— То есть как незаменим? — спросил господин К. сердито.

— Без него все дело станет, — ответили хвалившие его.

— Как же он может быть хорошим чиновником, если без него все дело станет? — сказал господин К. — У него было достаточно времени так наладить свое дело, чтобы и без него можно было обойтись. Чем же он, в сущности, занимается? Я вам скажу: шантажом!

### *Чувство справедливости*

Некий человек, у которого гостил господин К., имел собаку. Однажды эта собака приползла, показывая всем своим видом, что провинилась.

— Она что-то натворила, поговорите с ней сейчас же строго и огорченно, — посоветовал господин К.

— Да ведь я не знаю, что она сделала, — запротестовал хозяин.

— Но этого в свою очередь не знает собака, — настойчиво продолжал господин К. — Покажите скорее свое изумление и неодобрение, не то будет задето ее чувство справедливости.

# Лион Фейхтвангер



## БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»



этот ранний час, когда одни кинотеатры Берлина еще закрыты, а другие почти пусты,— здесь столпотворение: машины, полицейские, зеваки. Фильм «Броненосец «Потемкин» демонстрировался уже тридцать шесть раз по четыре сеанса в день, его видели уже тридцать шесть тысяч зрителей. И все же люди

взволнованы, как будто сегодня им первым покажут то, чего ждет весь мир.

Баварский министр Кленк (он на голову выше всех вблизи него сидящих) и не думает поддаваться всеобщему волнению. Он ведь читал: фильм слаб по композиции, в нем нет ни женщин, ни интриги; занимательность подменена тенденциозностью. Но уж раз ты в Берлине — посмотреть надо. Нет, не удастся этим киноделам-евреям его одурачить искусственно созданной вокруг фильма шумихой.

Несколько тактов фортиссимо резкой, сумбурной музыки. Секретные документы морского архива: такого-то числа из-за плохого довольствия взбунтовался экипаж броненосца «Потемкин» под Одессой. Ну, ладно, бунтовали так бунтовали. Подобные вещи бывали и раньше. Мальчишкой он зачитывался такими историями. Все это интересно для детей школьного возраста. Министр Кленк ухмыляется.

Кубрик, где спят матросы. Пригнанные одна к другой подвесные койки. Между тревожно спящими матросами шныряет начальник. В целом смонтировано, пожалуй, даже талантливо. Прямо-таки чувствуешь спертый воздух битком набитого помещения. А тут еще эта приглушенная, гнетущая музыка.

Утро. Матросы толпятся вокруг подвешенного на крюк куска мяса. Они возмущенно разглядывают его. Подходят все новые и новые. Не надо долго припихиваться, чтобы почувствовать, как это мясо воняет. Тот же кусок мяса крупным планом. Он кишмя кишит червями. Видно, уже не раз приходилось команде есть такое мясо. Брань. Это понятно. Приводят врача. Маленький, плюгавый. Он надевает пенсне; выполняя свою обязанность, исследует мясо и находит его вполне пригодным для употребления. Из него варят суп. Команда отказывается есть. Брань. Тривиальные события, изображенные примитивно и бесцветно. Кусок тухлого мяса, матросы, офицеры. Офицеры на взгляд не слишком одаренные, но и не совсем бездарные. Материалец средненький. Да, собственно, и у нас в Баварии не лучше. Удивительно, что Кленка начинают трогать эти простые люди и события, развертывающиеся вокруг них.

Возмущение на корабле растет, но сказать точно, как это происходит, трудно. Просто чувствуешь, что добром дело не кончится, это чувствует каждый зритель. Господа на экране относятся к этому недостаточно серьезно. Они должны были бы вмешаться, принять решительные меры. Что ж они, слепы? Но ведь и мы чувствовали приближение событий в последний год войны и тоже спохватывались слишком поздно. Правда, мы

не слышали этой угрожающей, бьющей тревогу музыки. Отвратительная музыка, но вы все время в ее власти. Надо бы просто запретиť этот дурацкий фильм! Ведь это рафинированная агитка, сплошное безобразие! Ну, разве какой-то кусок протухшего мяса, в самом деле, может быть причиной, чтоб нарушать дисциплину?! В войну, дорогой мой, нам приходилось жрать еще и не то! И все же Кленк не на стороне офицеров, скорее, он на стороне матросов.

Бьющая тревогу, угрожающая музыка продолжается; брожение усиливается. Капитан вызывает команду на палубу. Спрашивает, кто недоволен питанием. Замешательство. Несколько матросов выходят вперед. И вдруг, даже не поймешь каким образом, лучшие из команды, отважившиеся выразить недовольство, зачинщики, отрезаны. Теперь их отделяет от остальных большое опасное расстояние. Чертовски ловкие молодчики — эти офицеры: они в один миг захватили зачинщиков и бунтовщиков в свои руки. Остальные матросы испуганно жмутся друг к другу. Небольшая кучка главарей отрезана канатом, отсечена в угол. Вот они! Только что возмущенно горланили, а теперь стоят маленькой, дрожащей кучкой. Их уже накрыли брезентом. По брезенту пробегает тень от каких-то жалких беспомощных движений. Туда направлены дула винтовок. Равнодушно, сухо звучит команда. Тогда кто-то из основной массы матросов, разжав стиснутые зубы, кричит во всю глотку. Его крик разносится по всему судну. Раздается команда — «огонь!». Но за командой ничего не следует. Винтовки молчат.

Какой-то вихрь захватывает людей на экране и перед экраном. Зачем столько ждали? Наконец-то! Наконец-то отважись! Теперь дело будет!

Зрители ликуют. Они аплодируют тем, кто на экране. Их аплодисменты сливаются с торжествующей, режущей, отвратительной музыкой; а в это время те, что на экране, начинают бешеную, неистовую охоту на офицеров, они вытаскивают их из нелепых укрытий, они бросают их за борт в весело пенящееся море, бросают одного за другим, заодно и плюгавого судового врача, а за ним и его пенсне.

Кленк сидит неподвижно. У него захватило дыхание. Этот великан сидит притаившись, не шелохнется. «Нет никакого смысла запрещать такие вещи, — проносится в его мозгу, — ведь это сама жизнь. Это чувствуется во всем. Да, это жизнь, но другая жизнь, и безумие ее отрицать. Видеть все это необходимо, слушать такую музыку необходимо, и запретить этих вещей нельзя».



Старый флаг спущен. На мачту поднимается новый флаг — красный. Матросы выполняют обязанности офицеров, и дело от этого нисколько не страдает. С развевающимся красным флагом корабль входит в одесскую гавань.

С трепетом встречает город красный флаг, разевает рот, радуется, начинает легче дышать, ликует, большой, освобожденный. Горожане приближаются к судну, на мачте которого развевается красный флаг, сначала поодиночке, затем все большими группами, весь город совершает паломничество к телу одного убитого матроса, труп которого доставлен на сушу; в лодках, вокруг судна с красным флагом, кишит народ, он делится с матросами своими скудными припасами.

Кленку становится не по себе. А что-то те — другие? Неужели они это стерпят? Он вовсе не на стороне других, он просто слишком живой человек по натуре, чтоб остаться равнодушным к такой стремительности событий. Ему только досадно, что в основном правдивый ход дела становится неправдоподобным из-за этого упущения. Тут что-то не в порядке!

Нет, постой! Все в порядке! Вот они, те — другие! Они, оказывается, не сидели сложа руки, вот они!

Лестница. Огромная широкая лестница. Кажется, что нет ей конца. По лестнице непрерывным потоком движется народ, чтоб выразить свое сочувствие матросам. Но это продолжается недолго, потому что на лестнице появляются те — другие. Отряд казаков спускается по ступеням с ружьями наперевес, спускается медленно, неуклонно, угрожающе, занимая всю ширину лестницы. В народе волнение. Одни ускоряют шаг, бегут, мчатся. Другие ничего не замечают, не понимают, изумленные, все еще медлят. Видно, как огромные сапоги солдат спускаются очень медленно по лестнице, ступенька за ступенькой, затем из винтовок вырывается небольшое облачко дыма. Теперь люди уже не бегут по лестнице, теперь они несутся во весь опор. А некоторые скатываются, но скатываются не по своей воле, летят не на своих ногах, а ими управляет сила тяжести и закон инерции, оттого что они мертвы. По-прежнему ровным шагом ступают сапоги казаков, и все больше и больше тел скатывается с лестницы. Женщина, которая везла коляску с ребенком, больше ее не везет, кто знает, где она, — ее уже нет; а коляска продолжает свой путь по инерции, перекачивается со ступеньки на ступеньку, вот перескочила еще одну, вот шестую, вот десятую, затем останавливается. А за ней очень медленно следуют огромные сапоги казаков.

Но и на море тем временем не бездействовали. К броненосцу

стянули другие суда, большие, мощные. Они окружают «Потемкина». Судно с красным флагом приведено в боевую готовность. Гигантские стволы его орудий блестят, как зеркала. Их направляют на цель; они ворочаются вверх и вниз, словно страшные сказочные чудовища; мечутся стрелки измерительных приборов. Со всех сторон подплывают железные чудовища, предназначенные для уничтожения, мощные, до мелочей продуманные организмы. «Потемкин» держит на них курс. Его преследователи — корабли того же класса, они его гонят, окружают, шесть, восемь, десять гигантов, таких же, как и он. Нет никакой надежды прорваться, его орудия той же дальности, что и у противника. Он не сможет одержать победу, он только может, погибая, потянуть их за собой. На экране и перед экраном атмосфера все более сгущается, напряжение доходит до предела.

И вот обреченный корабль начинает подавать сигналы. Маленькие пестрые флажки поднимаются, опускаются. Взмах. «Потемкин» сигнализирует: «Не стреляйте, братцы!» Медленно подходит он к своим преследователям, подавая сигналы: «Не стреляйте!» Слышно учащенное дыхание зрителей, ожидание становится нестерпимым. «Не стреляйте!» — молят, надеются, жаждают всей силой своего сердца восемьсот зрителей, сидящих в берлинском кинотеатре. Неужели и министр Кленк тоже кроткий, миролюбивый человек? Едва ли! Он бы просто расколотался, если б кто-нибудь счел его таким; он человек необузданный, воинственный, неспособный на жалость. Что ж он испытывает, когда корабль восставших плывет навстречу заряженным орудиям? Он тоже всеми силами своего необузданного сердца жаждет: «Не стреляйте!»

Бурная радость переполняет сердца, когда круг преследователей пропускает «Потемкина» и дает ему возможность войти в нейтральную гавань.

Накинув на плечи непромокаемый плащ и надев на свою огромную голову фетровую шляпу, министр Кленк направился к выходу; когда он вышел из тесного, темного кино на светлую, просторную улицу, его охватило незнакомое ему до сих пор чувство какой-то растерянности. Что ж это такое? Неужели он не отдал бы приказ стрелять в мятежников? Разве такой человек, как он, мог желать: «Не стреляйте!»? Итак, факт остается фактом; запретить эти вещи можно, но бесполезно, они есть и будут, и нет никакого смысла закрывать на это глаза.

Проходя мимо витрины, он видит свое лицо. Видит на нем совершенно незнакомое ему выражение беспомощности. Он

похож на зверя, попавшего в западню. Что бы это значило? Он совсем не похож на себя. Кленк чуть смущенно улыбается. Подает знак шоферу, набивает свою трубку, закуривает. И вот уже он преобразил свое лицо, придав ему прежнее, хищное, самодовольное выражение.

## ВЕРНЫЙ ПЕТЕР

Маршал был очень, очень стар. Его ратные подвиги прославлялись во всех хрестоматиях, тысячи улиц и площадей, множество городов носили его имя — это была личность историческая. Но вот уже восемь лет жил он в тиши своего поместья, недостижимый для политических дряг и суеты.

И случилось так, что над отечеством нависла грозная опасность, и среди тех, кто был помоложе, среди шестидесяти- и семидесятилетних, не нашлось человека, чья популярность была бы столь велика, чтобы спасти страну от гибели и анархии. Тогда обратились к маршалу, умоляя его взять кормило власти в свои испытанные, негнувшиеся стариковские руки. Отечество предстало перед маршалом в образе трех своих почтенных граждан, его уверили, что все понимают, как велика жертва, которой от него ждут. Но она необходима, эта жертва: страна пропала, если маршал не защитит ее.

Старец стоял перед ними, как древнее изваяние, в которое вдохнули жизнь. В нем совсем было угасли надежды. Он уже никого не любил, немногих ненавидел и всех презирал. Для него уже не существовало обычных радостей жизни. Но сладостное ощущение власти, памятное с той поры, когда он в последний раз держал в руках бразды правления — это было восемь лет назад, — все еще трепетало в нем. О! Становишься крепче, моложе, сильнее, когда сознаешь, что от росчерка твоего пера зависят судьбы сотен тысяч людей.

Итак, в глубине души маршал твердо решил откликнуться на зов отечества. У ворот дома его ждали журналисты; телефонисты заброшенной в глуши маленькой деревушки получили подмогу. Маршал знал, что весь мир затаив дыхание ждет его решения. Но пятьдесят три года назад он совершил один необдуманный шаг. С тех пор для него стало железным законом ни при каких обстоятельствах не торопиться с ответом. И вот своим скрипучим голосом маршал объявил отечеству:

— Вы требуете от меня очень многого. Свое решение я смогу сообщить только завтра.

Что бы ни случилось, ровно в десять часов маршал удалялся спать. Так было заведено у него вот уже четверть века. Только во время войны он девять раз нарушил это правило. Ну, а сегодня он пошел спать ровно в десять.

Камердинер Петер раздел его, помог надеть ночную рубашку, сказал:

— Значит, утром, ваше превосходительство, я подам вам к завтраку два яйца всмятку.

— Так ты и впрямь считаешь, Петер, что нам следует снова вернуться во дворец?

— История ждет этого от вашего превосходительства, — ответил Петер, взбивая подушки. — Последний переезд во дворец пошел вам на пользу.

— Но я начинаю уставать от этих бесконечных выстаиваний на приемах, — рассуждал маршал вслух. — Не прошло и трех недель с тех пор, как я принял господ из легиона, и мне уже не под силу стали дальние прогулки.

— Лично я устраивал бы приемы не чаще двух раз в месяц и не больше, чем по четверть часа. Выступать по радио не так утомительно, да и во всех отношениях лучше, — заметил Петер. — Ведь как вы говорили в день четырехсотлетия, ваше превосходительство! Все были потрясены, даже в тех странах, где ничего не поняли.

Петер опустил зубы маршала в стакан с дезинфицирующей жидкостью, заткнул ему кусочками ваты уши и, наконец, пододвинул записную книжку, куда маршал, едва пробудившись, имел обыкновение записывать высокие мысли, осенявшие его ночью.

Тем временем маршал улегся на правый бок.

— Ты и в самом деле думаешь, что они не смогут обойтись без меня? — спросил он, пока Петер укутывал его ноги.

— Не обойдутся, ваше превосходительство, — подтвердил тот. Маршал выдохнул, свернулся калачиком, словно младенец во чреве матери, и сказал:

— Так, значит, завтра ты приготовишь мне на завтрак два яйца всмятку.

Петер был на пятнадцать лет моложе маршала. За время, пока его хозяин прошел путь от капитана до маршала, Петер тоже сделал карьеру — из денщика стал камердинером. В мар-

шале уже давно угасла жизнь, он стал изваянием, изваянием всадника, а лошадью был Петер.

После бога никто не знал маршала лучше, чем Петер. Он помнил, как рождалась в маршале та жажда власти, которая сделала его исторической личностью. Этим он был обязан каменной непроницаемости и спокойной властности своего большого лица и непоколебимому спокойствию, с каким изрекал скупые слова. Слова его были словно отлиты из бронзы. Никому и в голову не приходило, что маршал может в чем-нибудь сомневаться. Никто не рискнул бы возражать ему.

Жизнь сталкивала маршала со множеством людей, но в его сердце царил только он сам. Петер знал жестокое сердце маршала. Он знал, что возможны такие обстоятельства, при которых даже человек самый гуманный, окажись он на месте маршала, вынужден будет послать на смерть сотни тысяч людей. Однако то, что хорошему человеку давалось ценой огромных усилий, маршалу не стоило ничего. Они не интересовали его — эти сотни тысяч. Спокойствие, с каким он посылал их на смерть, не было показным. Если дело кончалось плохо, он только пожимал плечами, а в случае удачи именно он принимал благодарность отечества. И неизменно в десять вечера маршал ложился в постель и спокойно засыпал. Петер был не раз тому свидетелем.

Маршал не был глубоким мыслителем. В военной академии он усвоил правило: в сомнительных случаях лучше действовать неправильно, чем совсем не действовать. Так он и поступал. Маршал был фаталистом. Его дело — принимать решения, а последствия его не интересуют.

Вероятно, этот поразительный фатализм и был причиной того, что он обсуждал с Петером решения, определявшие судьбы страны и всего мира. Оба были родом из одной сельской местности. Предки маршала много столетий были там господами, предки Петера обрабатывали их поля. Петер был частицей той земли; когда маршал говорил с ним, он обращался как бы к самому себе. Иногда он и в самом деле говорил с самим собой, с годами это повторялось все чаще.

Петер и маршал придерживались совершенно разных взглядов и мнений. Петер считал, что в сомнительных случаях лучше уж ничего не делать, чем поступать неправильно. Петер любил свою страну, его глубоко волновала судьба сотен тысяч посылаемых на смерть людей. Он не был фаталистом и верил в то, что, действуя с умом, можно помешать злу и делать добро. Маршал был исторической личностью, Петер был разумным

человеком и патриотом. Маршал обладал властью, Петер — силой разума.

Петер не хотел, конечно, чтобы маршал отгадал его дерзкие мысли. Он прикидывался простачком. А то, что он говорил, было полно лукавой народной мудрости человека, знающего и любящего свою страну. Он сыпал пословицами и поговорками, вспоминал истории из хрестоматии, рассказывал анекдоты о своем отце и деде с явным расчетом повлиять на решения маршала, который был глубоко равнодушен к судьбе страны.

Постепенно вокруг образа отца и деда Петера возник некий сказочный ореол, они стали казаться маршалу хранителями народной мудрости, легендарными героями патриархальной старины. С их помощью Петер руководил маршалом и страной. И то, что, по обыкновению, маршал вписывал по утрам в свою книжку, было рождено под мудрым воздействием деда и отца Петера, было мыслями Петера.

В те дни, когда маршал снова стал у кормила власти, страна оказалась беззащитной перед лицом грозной опасности. Граждане изнемогали под бременем послевоенной разрухи и репараций. И просто поразительно, с каким искусством маршал в эти первые недели и месяцы (при помощи предков Петера) управлял государством. Даже его политические противники вынуждены были признать, что человек, которому вверены судьбы отечества, глубоко чувствует нужды народа и отнюдь не выжил из ума.

У маршала были железные нервы, он легко переносил беды, выпавшие на долю его народа, его не тяготило бремя государственных забот; ровно в десять он ложился в постель и спокойно засыпал. Петеру спалось куда хуже. Тяжелые обязанности отнимали у него все силы, решения, которые предстояло принять во дворце, разрывали ему сердце; хотя он и был на пятнадцать лет моложе маршала, но и он был все же очень стар. И вот однажды утром, вскоре после переезда во дворец, он не смог уже принести маршалу завтрак, — отец и дед призвали его к себе.

Маршал испытал даже некоторое удовлетворение. Этот Петер всю свою жизнь только и делал, что исполнял нехитрые обязанности камердинера. Он же, маршал, нес на своих плечах бремя забот о целом государстве. И все же он пережил своего слугу, хотя был старше на целых пятнадцать лет.

Однако радость оказалась недолгой. Новый камердинер Франц взялся за дело с необычайным рвением. Он обращался

со старцем так заботливо и бережно, словно это немощное тело было какой-то реликвией; однако Франц казался маршалу страшно неуклюжим, и он с трудом выносил его услуги. Ему недоставало Петра. Этот недалекий малый был хранителем народной мудрости, помогавшей государственному деятелю принимать важнейшие решения. Маршал не мог привыкнуть даже к имени нового слуги. Он чаще называл его не Францем, а Петером, но, увы, Франц ничем не походил на Петера, и маршал ревниво следил за тем, чтобы он не прикасался к заветной записной книжке, в которую записывались мысли, осенявшие маршала ночью.

Маршал привык к вечной, как волны, смене удач и неудач. Они затрагивали его неглубоко, но он ощущал их.

Со смертью Петра удача покинула маршала. Его решения все чаще шли вразрез с желанием народа; речи по радио не производили уже бывшего впечатления; фимиам не окутывал его густой пеленой, как прежде, — повсюду нарастал протест.

Однажды вечером, когда Франц удалился, маршал повернулся на бок, продолжая по привычке что-то бормотать беззубым ртом.

— А что бы сказал ты, Петер? — спросил он, как спрашивал уже много раз.

Петер отозвался: «Вот как-то пришел к моему деду...» — и рассказал одну из своих историй. Маршал был удивлен. Ведь Петер умер, а сейчас он стоит здесь, как всегда подтянутый и скромный, и что-то рассказывает. И все же это не очень поразило маршала. Ведь он частенько беседовал с теми, кого уже не было на свете, и все чаще не мог бы сказать точно, спит он или бодрствует. В сущности, нет ничего особенного в том, что Петер и теперь продолжает ему служить: после той чести, какую маршал оказал ему, принимая его услуги в течение десятилетий, — это вполне естественно; верность — душа чести, и что это была бы за верность, если бы она не могла устоять против смерти.

Теперь маршал каждый вечер беседовал со своим верным слугой. С тайным нетерпением ждал он, пока уйдет Франц и его место займет Петер. И когда Франц уходил, появлялся Петер. Он рассказывал простые и мудрые истории из жизни отца и деда, а на следующее утро, как было заведено, маршал заносил угловатым старческим почерком его мысли в записную книжку. Впрочем, маршалу и теперь не везло. Его решения уже не были так популярны в народе, как в те дни, когда его советчиком был живой Петер.

Наступил день, когда те, кто представлял злые силы в стране, сочли маршала уже недостаточно покладистым и гибким. Они потребовали, чтобы он назначил канцлером человека, который был бы слепым орудием в их руках.

Тогда он решил посоветоваться с теми немногими, кого еще допускал к себе. Никто из них не осмеливался ясно высказать то, что думал. И хотя маршал не отличался особой проницательностью, он понял — они хотят, чтобы он сложил с себя полномочия. И это, очевидно, было бы разумнее и достойнее, чем оставаться во главе государства и прикрывать позорные действия навязанного ему канцлера.

Маршал слушал эти осторожные намеки с неудовольствием. Доживать свои дни в поместье в обществе Франца! Нет, это вовсе не входило в его планы. Не так уж много лет осталось ему жить, и какими пустыми будут эти годы без упоительного ощущения власти. Ему вовсе не хотелось назначать своим канцлером субъекта, навязанного ему низким насилием, но еще меньше хотелось ему возвращаться в свое поместье.

В тот вечер маршал просто не мог дожидаться, пока уйдет Франц. Наконец постылый прикрыл за собою дверь, и Петер оказался здесь.

— Как ты думаешь, Петер, — должен я назначить такого человека? — спросил маршал. — Ведь это полное ничтожество.

В ответ Петер рассказал историю о своем деде. В ней фигурировали какой-то дом и злая собака. Без злой собаки приобрести этот дом было нельзя. Конец был довольно неясен. Получалось так, что дед счел за лучшее отказаться от дома. Но маршал, который и слышать об этом не хотел, нетерпеливо перебил:

— Что он сделал? Только говори яснее. Мямлишь так, что ничего не поймешь. Ты уже здорово состарился.

Но Петер продолжал мямлить, и маршал истолковал эту историю в том смысле, что дед приобрел дом, несмотря на злую собаку.

И маршал назначил канцлером этого типа, это ничтожество, и остался главою правительства. Страна была возмущена. Вечером Петер не пришел. Маршал ворчал себе под нос что-то о неблагодарности и вероломстве черни.

Когда на следующее утро он, как обычно, взялся за свою записную книжку, оказалось, что почти все страницы уже сплошь исписаны. Он дошел до последнего листа. Но и тот был исписан, на этот раз чужой рукой, рукой Петера. «Беда, когда все решает такой злой, старый дурак», — стояло здесь.

Маршал испугался.



Он не удивлялся тому, что умерший с ним разговаривает. Но то, что покойник может писать,— это не умещалось в его голове. «Теперь-то он и показал себя,— думал маршал, полный обиды.— Теперь, когда он мертв, он показал себя во всей красе, несчастный трус». Но запись сразила его, впервые со времени вступления во дворец он не встал утром с постели, и неотложные дела пришлось отменить.

Позже он решил, что все можно объяснить очень просто. Петер дал волю своей наглой холопской натуре еще при жизни. Негодяй рассчитывал на то, что вовремя спрячет книжку. Он просчитался. Маршал прожил достаточно долго для того, чтобы обнаружить вероломство.

Однако это было слабым утешением. Тяжелый замогильный вздох Петера сделал то, что было не под силу событиям, которые разбили бы сердце любого человека. Уверенность покинула старика, а с нею и жизненные силы.

Он остался на своем месте, но его совершенно подавил этот субъект, которого ему навязали, это ничтожество.словно призрак, бродил он по дворцу, и весь мир понял, что эта историческая личность всего лишь мундир, увешанный орденами.

# Людвиг Ренн



## ПОЛЕ БОЯ



о время войны 1914 года в одной французской деревне завязалась рукопашная схватка. Лейтенант Хаберланд с тремя рядовыми своего взвода ворвался в деревню и за углом какого-то дома неожиданно наткнулся на отряд французов, который как раз собирался оставить деревню. Один из французов поднял

винтовку и всадил штык лейтенанту в грудь. Другой, не целясь, выстрелил какому-то немцу в лицо. Остальные, не вступая в бой, бросились бежать. Тогда мушкетер Вагнер снова обрел мужество и выстрелом уложил одного из убежавших французов.

Час спустя, когда все успокоилось, в деревню явился капитан со своими ординарцами.

— Что вы здесь делаете? — зарычал он на Вагнера. — Прячетесь, да?

— Господин лейтенант убит, господин капитан. Они закололи его у меня на глазах. Я никак не мог прийти ему на помощь, — неуверенно добавил Вагнер. — Один из них как раз набросился на меня.

— Где он лежит?

Вагнер указал на труп в серой форме, лежавший в неестественной позе; пальцы его левой руки в перчатке были раздвинуты. Не шевелясь, все молча глядели на убитого. Солдаты любили лейтенанта.

— Там, у ручья, лежат раненые французы, — доложил, вытянувшись перед капитаном, ординарец. — Мы...

— Расстрелять! Они убили господина лейтенанта!

Капитан скривил губы в высокомерной улыбке. Солдаты увидели эту улыбку, она им не понравилась. Но затем они решили, что за смерть лейтенанта следует отомстить, и, уже забыв о капитане, пошли к ручью. Французы сидели, привалившись к ивам. Завидя немцев, они стали что-то говорить, стараясь выразить свое дружелюбие.

Но один из немцев вскинул винтовку и направил дуло одному из сидевших прямо в лицо. Тот неуверенно улыбнулся, как будто это была только шутка. Раздался выстрел. Француз повалился набок.

К ним подбежал ефрейтор.

— Что вы делаете?! Это же не разрешается!

— Капитан приказал.

Грянуло еще два выстрела. Французы даже не вскрикнули. Онемев от ужаса, они смотрели в направленные на них дула винтовок — и, сраженные, валились наземь.

Ефрейтор отвернулся. «Это же противоречит международному праву!» — подумал он, устремив растерянный взгляд на поросший лесом холм, но ничего не сказал.

— Сбор! — крикнул кто-то.

Не успев прикончить последних французов, солдаты взяли винтовки на плечо. Один француз лежал плашмя на траве, другой сидел, прислонившись к серому стволу ивы.

Проходивший мимо немецкий санитар взглянул на них.

— После, ребята! Сначала нужно перевязать наших.

Они смотрели на санитаря не мигая, боясь чем-нибудь рассердить его. Ведь у него был пистолет, а того, что он сказал, они не поняли.

Затем все стихло. Прошло несколько часов. У того, который сидел, прислонившись к дереву, кровь сочилась через сапог и стекала медленно, густой струей.

В сумерках снова появились солдаты. Они несли раненых.

— Друзья! — позвал тот, что сидел подле ивы.

— Мы не можем! Ты же видишь... — Они тащили на плащ-палатке какой-то бесформенный, стонущий комок мяса.

Стемнело. Поднялся туман. На небе замигали звезды.

Мучил голод.

Ночной холод пронизывал тело.

На рассвете сидевший под ивой заснул. Ему приснилось, что какой-то немец сверлит и буравит ему ногу и бок. Он пытается заколоть немца. Но тот, видимо, не чувствует боли и продолжает свирепо сверлить и буравить.

Наконец он проснулся с ощущением тяжести в голове, сразу пришел в себя и почувствовал, что голоден. Солнце светило другому раненому прямо в глаза, но он лежал неподвижно, и только дыхание показывало, что он жив. Вдали громыхали повозки. В ноге сверлила тупая боль. Ныл левый бок.

Проходили часы. Второй француз все еще дышал. Но сколько он протянет?

— Хочешь пить?

Тот ничего не ответил, только чуть кивнул головой.

Фляжка была пуста, сахарный мешок тоже. Доползти до воды? Дорогу преграждал труп. А несколько левее, в воде, лежал другой. Из воды торчал зад в намокших темно-красных штанах. Это был — когда-то — Жан!

Прошли еще часы. Вдалеке, через определенные промежутки времени, кто-то начинал кричать.

Неужели нет никого, кто был бы в силах ходить?!

Воздух над лугами дрожал. Вот закричал еще кто-то! Но никого не было видно, кроме двух трупов и того, кто дышал.

Раненый непроизвольно водил языком по небу. Страх охватил его. Необходимо добраться до воды! Но как быть с ногой? Задержав дыхание, он приподнял ее и переложил немного левее. И тут же застонал от боли. Он медленно пополз к воде мимо того, который дышал, стараясь держаться подальше от трупа. Неужели он уже смердит? Только не надо приножи-

ваться. Все же раненый не удержался и понюхал воздух. А вдруг у того есть что-нибудь в сухарном мешке? Надо проверить. По мешку пробежал муравей. Ничего нет! Но теперь по крайней мере он может достать до воды. Вытянув руку, он горстью зачерпнул воду рядом с намокшими штанами. Потом неподвижно остался лежать, вытянувшись во весь рост.

Завтра трупы начнут разлагаться, стоит такая жара. А потом, конечно, появятся черви, пожалуй, переползут и на него, — а он еще будет жив! Это же невозможно! Не могут немцы оставить нас здесь!

Но кругом все было тихо.

Спустя два дня к шоссе с урчаньем подъехала автомашина. Из нее вышли двое уполномоченных Красного Креста с мальтийскими крестами на груди и направились вдоль ручья в сторону лежавшего француза. Тот с волнением следил за ними: сейчас они подойдут к нему!

Но они свернули от ручья в сторону и стали подниматься по откосу на луг. Здесь был убит сын командующего, и тот послал уполномоченных на розыски тела, чтобы похоронить сына в семейном склепе с подобающими его званию почестями. Они искали долго, наконец нашли труп и потащили его вниз по откосу.

— Мосье! — крикнул француз, замирая от страха.

Уполномоченные взглянули на него и, подавив смущение, пошли дальше. Машина тронулась.

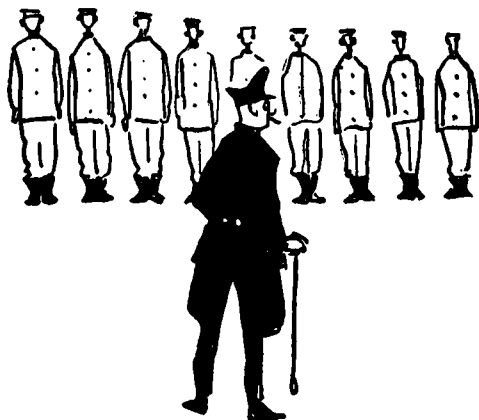
Второй француз все еще дышал, но дыхание его уже стало неровным. На следующее утро он умер.

Через неделю пришла этапная санитарная колонна и стала подбирать раненых с поля боя. Некоторые еще были живы, в том числе и француз у ручья. Санитары отвернулись, такая от него шла вонь. Один из них разрезал французу сапог: «Тут уже полно червей!» Француза положили на носилки. По дороге он умер.

В тот же день французский врач ампутировал пленному немцу руку, хотя знал, что в этом нет необходимости. Он считал, что таким образом исполняет свой долг перед родиной.

•

# Эрих Кестнер



## ДУЭЛЬ ПОД ДРЕЗДЕНОМ

28

октября 1927 года, в лесном заповеднике под Дрезденом, неподалеку от уллердорфской мельницы и широкого шоссе, пересекающего лес, должна была состояться дуэль на пистолетах. Прибыли дуэлянты: ассессор земельного суда, по фамилии Кинне, сорока лет от роду, длинный как жердь, и молодой химик,

по фамилии Графф. С ними приехали приятели и врач из городской больницы, знакомый Граффа.

На перекрестке Радебергского шоссе и уллердорфской проселочной дороги ожидали три автомашины. Шоферы играли в карты. Им велели уклончиво отвечать на расспросы любопытных. Но расспрашивать оказалось некому: никто не проходил мимо — ни помощник лесничего, ни молочник, развозящий на тележке масло, ни экскурсанты. Шоферы захватили с собой несколько бутылок пива. По крышам машин прыгали зяблики, улетали и садились снова. Небо медленно светлело и становилось прозрачно-голубым.

Но вот четверо мужчин вынесли из леса тело химика. Их сопровождал врач. Ассессор Кинне, замыкавший шествие, нес ящик с пистолетами и курил сигару. Шоферы бросились по местам. Спустя несколько минут автомобили уже мчались к городу.

Дуэль так и не состоялась. Не успели еще отсчитать шаги, как вдруг Графф упал. Он умер от разрыва сердца. Когда врач сообщил о своем заключении ассессору, Кинне потер руки, словно мыл их, и произнес: «Ну что ж... так или иначе, господин Графф добился своего».

Графф был жертвой войны, но жертвой не явной — таких, как он, не включали в списки потерь. Тот факт, что он умер через десять лет после заключения мира, не меняет дела. Его призывали в армию, когда старые фронтовики, которых отправляли в четвертый раз на передовую, спорили — вернутся они домой через неделю или только через две. По дороге на фронт — чаще всего в Брюсселе — они отделялись от командира эшелона, какого-нибудь нерасторопного кандидата в офицеры, продавали полевое обмундирование, шатались по кабакам, облюбованным военными, посещали девиц и, наконец, объявлялись, пожимая плечами, в родном городе, на сборном пункте резервистов; перспектива отсидеть несколько недель под арестом ничуть их не пугала.

Вот тогда-то верховное командование осенила идея о крепостном походе детей; Граффа и его сверстников призывали на военную службу. Выстроившись в длинные колонны, они шагали к пустым казармам. Играл жиденький оркестр. А матери смотрели из окошек на этот парад пушечного мяса. После обеда юношам нахлобучили пропотевшие каски, кое-как подогнали непомерно широкую форму, и на следующий день началась муштра. Их учили отдавать честь, стоять «смирно», печатать шаг, приседать, — словом, всему, что считалось необходимым, чтобы умереть за отечество.

Графф попал в резервный пехотный артиллерийский полк вместе с другими гимназистами и банковскими учениками. Их было так много, что пришлось сформировать роту одногодичников<sup>1</sup>. Подбором воспитателей занимался командир роты, кавалер Железного креста 1-го класса, обер-лейтенант запаса Кинне. Выбирал он придирчиво: ни один сержант не был в его глазах достаточно жесток. Казалось, детские лица новобранцев вызывают у Кинне острую ненависть и он не успокоится, пока не сживет их со света. Когда обер-лейтенант, облаченный в зеленый парадный мундир, обходил строй, усы его, нафабранные и закрученные, как у кайзера, сладострастно подрагивали; если ругань унтер-офицеров была, по его мнению, недостаточно циничной, Кинне с полным знанием дела подсказывал им подходящие выражения.

Одного из ефрейторов, неодобрительно относившегося к «системе воспитания», принятой в роте (до войны он был учителем), Кинне отправил на фронт. После этого остальные ефрейторы и унтер-офицеры распоясались всюю. Как злые демоны, терзали они своих подопечных, старались перещеголять друг друга, изобретая подлые каверзы и наказания. На учениях, перетаскивая ящики с гранатами, новобранцы часто падали без чувств. После прививок тифа или холеры Кинне всякий раз заставлял одногодичников делать по двести пятьдесят приседаний и следил, чтобы приседали по всем правилам, как можно ниже. Одного из новобранцев, пытавшегося было обратиться с жалобой к полковнику, заставили под каким-то предлогом бегать и ползать по учебному плацу три часа подряд. С ним случился солнечный удар, и его отправили в лазарет.

Если у кого-нибудь не хватало решимости выполнить в высоких и тяжелых сапогах так называемый соскок с турника через перекладину — опасный прыжок, при котором колени должны быть поджаты к груди, — его громогласно объявляли дерьмом. На дежурстве в конюшне полагалось убирать навоз только голыми руками. Граффу для обучения верховой езде досталась злая лошадь. Она брыкалась словно ошалелая и кусала кого попало; каждый день Графф возвращался весь в ссадинах и в изодранной рубашке; каждый день лошадь, неистово лягаясь, швыряла его на землю, в проход за стойлами. Однажды она так его лягнула, что Графф полчаса не мог прийти

---

<sup>1</sup> В кайзеровской армии одногодичниками назывались военнослужащие со средним или высшим образованием, которым после года обучения присваивался офицерский чин.



в себя и, лежа на земле, тихо стонал. Обступив его, унтер-офицеры отпускали злорадные шутки. Все просьбы Граффа заманить лошадь ни к чему не привели.

Правой рукой обер-лейтенанта Кинне был некий Аурих. За отчаянную храбрость в боях этого субъекта назначили исполняющим обязанности офицера, но за невероятную жестокость разжаловали. Теперь он был сержантом. По вечерам Аурих набивался в компанию к сынкам богатых родителей, принимал от них денежные подарки, но в отместку за попытку задобрить его терзал новобранцев с удвоенным рвением.

У Граффа начало сдавать сердце. Однажды во время штрафных занятий ему стало дурно. Сержант Аурих приказал дежурному ефрейтору арестовать одногодичника Граффа — за недисциплинированность. Тогда Графф поднялся на колени, встал, опираясь на карабин, и поплелся вслед за колонной.

На обратном пути скомандовали петь. Графф, едва волочивший ноги, не запел. К нему подошел Аурих и, ехидно усмехаясь, спросил: «А ну-ка, Графф, признайся: ты пристрелил бы меня нынче утром, окажись у тебя в руках револьвер?» Графф вскинул голову и крикнул во все горло, напугав товарищей: «Так точно, господин сержант!»

Вечером, дома, — его отпустили на час из казармы, — юноша истерически разрыдался. Он метался по кровати, бил кулаками подушки и повторял: «Пристрелю этого пса! Пристрелю!»

Мать стояла возле него.

На следующий день она тайком от сына принесла сержанту коробку сигар и просила пощадить ее мальчика. Аурих взял сигары и рассмеялся ей в лицо.

Графф не мог теперь уже подняться по лестнице без одышки и болей в сердце. Он тщетно заявлял, что нездоров, и когда штабной врач еще раз признал его годным к строевой службе, потребовал освидетельствования главной медицинской комиссией. Врачи, заседавшие в этой комиссии, направили Граффа на месяц в госпиталь в Вейсер Хирш<sup>1</sup>. По возвращении в роту он узнал, что Аурих только что отбыл на фронт. Его миссию взял на себя обер-лейтенант и за несколько дней добился того, что Граффу стало хуже, чем когда бы то ни было. Но юноше уже все было нипочем. Он утратил всякий страх перед наказаниями, не повиновался приказам и открыто выражал обуревавшую его ненависть к обер-лейтенанту, а Кинне, невзирая ни на что, упорно продолжал свое разрушительное дело.

---

<sup>1</sup> Вейсер Хирш — район Дрездена.

Графф снова потребовал освидетельствования в главной медицинской комиссии, и его отправили в какой-то заштатный батальон, где живые трупы, собранные из всей саксонской армии, коротали свои дни за чисткой картофеля. Перед тем как покинуть роту одногодичников, Графф отвел душу в разговоре с обер-лейтенантом. Между прочим, он сказал ему тогда: «Вы погубили меня совершенно сознательно, с наслаждением. Вы обращались с нами, как со скотом. Я надеюсь встретить вас после войны».

Война кончилась. Графф вернулся в гимназию тяжело больным. Он сдал все экзамены, учился в высшей школе, снова сдавал экзамены, нашел скромное место в лаборатории пищевой химии, но был не в состоянии выполнять свою работу так, как ему хотелось, и не имел возможности восстановить здоровье с помощью длительного отдыха. В двадцать пять лет Граффу предстояло только медленное умирание, и он это понимал. Он старался выглядеть веселым и скрывал от матери, которая жила вместе с ним, сердечные приступы и горькую меланхолию. Он не курил и не пил. Он не встречался с женщинами и делал вид, что они его не интересуют. Лишь оставаясь наедине с собой, Графф не противился более желаниям, и они душили его. Тогда он садился к окну и смотрел на улицу, на дома, где жили чужие люди, смотрел так, словно сам находился где-то за пределами мира живых.

У него хватало сил на одну-единственную страсть: ненависть! Годами он тренировался в стрельбе — в саду одного из своих приятелей — и стал отличным стрелком. С любого расстояния он попадал прямо в сердце мишени, нарисованной им: это был офицер в зеленом мундире, с закрученными вверх усами. Приятель — судебный чиновник — регулярно сообщал ему о местонахождении и образе жизни ассессора Кинне, которого встречал в суде. Графф ожидал удобного случая.

Случай представился. Это было в конце сентября. После обычной прогулки в Большом саду Графф с матерью вошли в трамвай. Вагон был переполнен, и они остались на задней площадке. Вдруг кто-то заговорил с ним: «Мы, кажется, знакомы?»

Графф вздрогнул и взглянул на говорившего, а тот без всякой видимой причины вдруг побледнел. Госпожа Графф схватила сына за руку. Графф вырвался — его била дрожь — и сказал: «Мама, это он!» — и, прежде чем успели вмешаться окружающие, ударил Кинне по лицу. Ассессор стоял неподвижно и даже не пытался увернуться от пощечин, словно

сама судьба скомандовала ему «смирно». А Графф бил кулаками, молча и сосредоточенно, будто выполняя важную и срочную работу. Мать оттаскивала его. Стоявшие рядом пытались вмешаться. Кондуктор, ругаясь, остановил трамвай и вытолкал Граффа на улицу. Мать вышла вслед за ним.

Некоторые пассажиры решительно требовали составить протокол, но Кинне отер с губ кровь и сказал раздраженно: «Не суйтесь не в свое дело».

Дуэль состоялась через месяц. Отсрочки пожелал Графф, боясь, как бы мать чего-нибудь не заподозрила. Исход дела известен: жизненные силы молодого химика иссякли прежде, чем он успел отомстить. А может быть, судьба уберегла Граффа от худшего — не позволила мучителю, пристрелив его, увенчать свое черное дело.

# Танс Фарада



## Я НАШЕЛ РАБОТУ

1



лиже к осени большой город наводнили безработные, цены повысились, и наши надежды заработать хоть несколько марок стали еще ничтожнее. Тогда мы с Вилли решили отправиться в какой-нибудь городок поменьше: наш выбор пал на Альтхольм. Там была деревообделочная фабрика, на которой Вилли

когда-то работал сдельно — сколачивал ящики. Вилли тогда хорошо заработал и охотно вспоминал о том времени; он надеялся, что и на этот раз ему повезет. Мои дела обстояли похуже, для физического труда я определенно не годился, но рассчитывал, что какая-нибудь работа все-таки и для меня найдется.

Вещи мы упаковали в старую корзину и отправили вперед багажом, а сами двинулись в стопятидесятикилометровый поход. Стояла чудесная, солнечная осень с частыми ветрами, и эта семидневная прогулка по свежему воздуху без судорожных поисков работы нам явно пошла на пользу. Еда почти ничего не стоила. Яблок было сколько угодно на деревьях, а хлеб Вилли добывал в сельских булочных. Мы всегда улучали минуту, когда в лавке оставалась одна хозяйка, тогда Вилли входил и приступал к осаде. У него была забавная манера смотреть на женщин, слегка наклонив круглую, словно тюленью голову; женщины смеялись и давали ему сколько угодно хлеба. Денег мы никогда не просили, ведь дела наши обстояли не так уж скверно; синие костюмы выглядели еще вполне прилично, кроме того, у меня был прорезиненный плащ, а у Вилли — спортивная куртка.

На яблоках и хлебе прожить можно, — мы и так вот уже полгода обходились без горячего и при этом чувствовали себя вполне прилично. Ночевали мы за десять пфеннигов на сеновалах у крестьян. Прежде чем хозяева пускали нас переночевать, они обыскивали наши карманы и отбирали спички и курево. Утром они все возвращали, а один как-то даже подарил нам несколько сигар. Так мы через семь дней добрались до Альтхольма и на Штаренштрассе сняли комнату за шесть марок в неделю. В комнате не было ничего, кроме стола, стула и кровати, одной на двоих; впрочем, ночи уже стали прохладными, так что это было даже кстати. Вилли и вправду повезло — на третий день он получил работу на той же деревообделочной фабрике. Теперь он мастерил загоны для кур, также сдельно, и приносил домой двадцать пять, а то и тридцать марок в неделю. Это была небольшая фабрика, на нее брали только неквалифицированных рабочих и при этом платили сущие гроши, совершенно не считаясь с расценками. Мы знали, что нас обманывают, но мы слишком долго голодали, чтобы быть разборчивыми.

В газетах объявлений о подходящей для меня службе, увы, не оказалось, а потому я целыми днями бегал по городу и искал, где бы подработать. Если в каком-нибудь магазине был большой наплыв покупателей, я входил и спрашивал, не надо ли помочь. Изредка мне поручали заворачивать покупки, и тогда я приносил домой полмарки. Первое время я часами торчал на вокзале; ведь люди, отправляясь в путешествие, становятся щедрее, и мне в самом деле изредка давали нести чемодан. Но как-то меня заметил дежурный, он побежал следом и принялся честить меня на все корки. Называл штрейкбрехером, каторжником, предателем и с этого дня, едва меня заведя, начинал ругаться. Я изо всех сил старался не попадаться ему на глаза, а потом совсем перестал ходить на вокзал.

Основной моей обязанностью было заботиться о Вилли. По утрам я подымался первым, готовил ему кофе, делал бутерброды и только тогда будил его. Когда он уходил на фабрику, я убирал комнату, стирал белье, затем отправлялся на поиски работы. В три часа я должен был вернуться домой и готовить ему обед. Теперь, когда Вилли снова имел работу,\* он желал есть горячее, и чтобы мяса было побольше. Я же сидел на прежней диете: хлеб и маргарин, а в обед — копченая селедка, но иногда бывало чертовски трудно жарить ему мясо, и вот, не устояв перед искушением, я, случалось, съедал кусочек. Однако Вилли трудно было провести, он на глазок точно определял, есть ли в жарком полфунта мяса, и тогда мы ссорились.

Мы ссорились гораздо чаще, чем прежде, когда оба были без работы. Происходило это, конечно, потому, что он чувствовал себя моим кормильцем, и у него появилась постоянная потребность придирается ко мне, привередничать. По пятницам, это были дни получки, он не раз возвращался домой в подпитии, тогда кровать, понятно, становилась слишком тесной для двоих, и он спихивал меня на пол. Я также был издерган и раздражен безуспешными поисками работы, поэтому не оставался в долгу, и мы иногда ругались целыми часами.

Больше всего его злило, что я пошу стоячие крахмальные поротнички. В этом он был точно ребенок и не понимал, что я никогда не получу места в конторе, если на мне не будет крахмального воротничка. Послушать его, так воротничок носят лишь по воскресеньям, надевать же его в будни пристало лишь фату. Сам я, понятно, не умел крахмалить и гладить воротнички, а Вилли ни за что не хотел давать мне на это деньги.

И я тащил их у него из кармана, когда он бывал пьян. Но стоило мне надеть свежий воротничок, как он догадывался обо всем, и тут начинался скандал.

Однажды, когда у меня не осталось ни одного чистого воротничка, я надел его единственный — воскресный. Я почему-то думал, что в этот день непременно найду работу. Работы я, правда, не нашел, но зато я и воротничок попали под дождь, а в тот вечер Вилли как раз собрался на свидание с одной девушкой и вдруг увидел, что воротничок его совершенно размок. Он пришел в неопишемую ярость, мы грубо наорали друг на друга, и Вилли вышвырнул меня из комнаты. Он вопил, что сыт по горло и чтобы я убирался вон. В конце концов меня приютил сапожный мастер; он уложил меня на диване, а сам лег с женой на кровати.

На следующее утро я, как обычно, варил для Вилли кофе, он не произносил ни слова, мы оба молчали. Уже уходя, он остановился в дверях и сказал, что мне все же стоит обратиться к священникам: у них на фабрике работает один парень, которого попы устроили. Потом он ушел. Это была его манера предлагать мир, да в конце концов я и не мог сердиться на него. Ведь и вправду нелегко кормить другого, да еще совершенно постороннего человека, когда сам только-только начал зарабатывать на хлеб.

### 3

Адреса священников я раздобыл в редакции газеты. В городке выходило две газеты, большая и поменьше. В редакцию большой газеты я зашел всего лишь раз, сотрудники там ужасно важничали и прямо-таки облаивали всякого, кто обращался к ним с вопросом. В другой газете сотрудники были любезны, у них всегда находилось время для беседы, и они изъявляли полную готовность помочь вам советом. В городке было пять пасторов, и я целый день потратил только на то, чтобы обойти их и изложить свою просьбу. Все они выслушивали меня весьма дружелюбно, расспрашивали о том о сем, но, видимо, эти люди привыкли иметь дело с совсем иными горестями, чем мои. Поэтому они и старались как можно быстрее спровадить меня. Никто из них не мог мне предложить ничего подходящего.

Когда я рассказал Вилли о своей неудаче, он мне очень посочувствовал и, желая утешить меня, даже взял с собой в кино; преисполненный благодарности, я не надел воротничка. Вечером, ложась спать, Вилли посоветовал мне все же

сходить завтра к католическому священнику: католики-де сейчас в силе. Я не стал возражать, мне и самому хотелось попытать счастья. И вот я достал нужный адрес. Секретарь редакции снова встретил меня очень любезно, я вынужден был рассказать ему обо всех пяти пасторах и обещать, что на следующий день дам полный отчет о моем визите к пастору.

В доме патера дверь мне открыла, должно быть, монахиня; ее белое лицо почти целиком было скрыто под большим чепцом; наконец явился и сам патер. Это был высокий, плотный человек, совершенно седой, наверняка из крестьян с побережья, там они все такие же молчаливые крепыши; говорил он тихо и неторопливо. Он долго слушал меня, задавал вопросы, и чувствовалось, что он понимает, каково приходится нашему брату, когда вот уже больше четырех лет безуспешно ищешь работы. Наконец он проронил:

— Я дам вам записку к управляющему кожевенной фабрики. Не обещаю, что записка поможет. Но все-таки я вам ее дам.

Он сел и стал писать, потом поднял голову и спросил:

— Вы нашего вероисповедания?

С Вилли мы договорились, что, если он спросит об этом, я совру, но, когда он взглянул на меня, я все же сказал правду. Он произнес лишь: «Хорошо», — и продолжал писать.

Я отправился с письмом на квартиру к доверенному, и мне велели прийти на следующий день. Когда я снова явился, служанка сунула мне тридцать пфеннигов и сказала, что приходит больше незачем. Точно прибитый, стоял я на лестничной площадке; услышав, что служанка снова начала возиться на кухне, я бросил тридцать пфеннигов в прорезь почтового ящика и, когда монеты звякнули, быстро сбежал вниз.

#### 4

Я пошел к своему приятелю в редакцию и все ему рассказал. Тот ответил, что другого и не ожидал, и предложил пойти к нему на квартиру и помочь жене передвинуть мебель. Жена его делала генеральную уборку, я старательно помогал ей, выбивал ковры, мыл, чистил, натирали полы; вечером пришел сам секретарь редакции, и я удостоился чести отужинать с ними. Он сообщил, что говорил обо мне с владельцем газеты, и если я возьмусь вербовать подписчиков, шеф примет меня на работу. Я так обрадовался, что согласился, даже не спросив об



условиях. Затем он объяснил, что мне выдадут квитанционную книжку. Первый месяц я должен был производить расчеты на месте, и деньги мне разрешалось оставлять себе в качестве комиссионных. С каждого подписчика я получал полторы марки. Первым делом мой новый приятель посоветовал мне обойти хозяев мастерских, ведь газета каждую неделю помещала статью своего юриста, в которой разбирались интересующие их вопросы. Дамам я должен говорить, что романы, помещаемые в «Хронике», несомненно интересней тех, что печатаются в «Новостях». Новый роман он советовал мне прочитывать заранее. Еще я должен был иметь в виду, что тем, кто сразу выпишет газету больше чем на две недели, последние дни месяца ее будут доставлять бесплатно. Я решил, что это замечательно, домой вернулся в полном восторге и рассказал обо всем Вилли. Тот сначала изругал меня за то, что обед не приготовлен, но в конце концов и он нашел, что все получилось здорово и что я буду теперь загребать уйму денег.

На следующее утро я чуть свет отправился в «Хронику», так называлась моя газета, чтобы получить адреса владельцев мастерских.

Но идти к клиентам было еще слишком рано: секретарь предупредил, что до половины десятого не следует беспокоить людей. Поэтому я прочитал статью юриста, показавшуюся мне весьма скучной, и отрывок из романа, действие которого происходило в высшем обществе. В половине десятого я начал свой обход.

Когда я стоял перед дверью моего первого клиента, сердце у меня громко колотилось, я ждал, пока оно успокоится, прежде чем нажать кнопку звонка, но оно билось все сильнее. Наконец я позвонил, и мне открыла молодая девушка.

— Могу я видеть хозяина малярной мастерской?

— Пожалуйста, входите, — и, — папа, тебя спрашивают.

Я вошел в большую комнату; за столом сидела симпатичная пожилая дама и резала капусту. Хозяин беседовал с каким-то господином, стоя у окна.

— Что вам угодно? — спросил он меня.

Я с достоинством поклонился сначала хозяину, затем его супруге и, наконец, гостю.

— Добрый день, господа. Я из редакции «Хроники», пришел узнать, не пожелает ли господин Биерла выписать газету, может быть, сначала на один месяц, для пробы.

Я приготовил целую речь, вроде того, что мы-де всегда боремся именно за интересы ремесленников, что в эти тяжелые

времена ремесленники должны сплотиться, затем упомянул о юристе, о его ценных статьях и, наконец, бросив быстрый взгляд на хозяйку дома, заговорил о наших, всеми признанных увлекательных романах.

Но настала минута, когда мое красноречие истощилось, и я не знал, о чем говорить дальше. Наступило общее молчание. Такое глубокое молчание, что я было начал свою речь сначала, но тут же сбился, запнулся и опять умолк. Тогда хозяйка дома сказала:

— А не рискнуть ли нам подписаться, отец?

— Сколько же это стоит? — спросил он.

Теперь настала моя очередь; я пустил в ход все свои козыри: тут была и бесплатная доставка, и месячный абонемент. Я выписал квитанцию и протянул ее хозяину, но тот указал мне на жену и снова заговорил с гостем. Я получил свои деньги — полторы марки за пятиминутную речь! На улице я первым делом перешел на другую сторону и стал разглядывать дом. Хороший дом, добротный. Я преисполнился к нему искренней симпатией. Дом был красиво покрашен, что, впрочем, не удивительно, ведь хозяин его владел малярной мастерской. В нижнем этаже помещалась табачная лавка Иогансена. На минуту у меня мелькнула мысль зайти и к нему, но я решил действовать строго по порядку и обойти сначала ремесленников. Я еще раз взглянул на дом и пошел дальше.

В следующей мастерской я не застал ни хозяина, ни его жены. Третий был зол на юриста, — по его словам, этот юрист просто болтун и ни за что получает от мастерских большие деньги. Очередной клиент был очень доволен моим приходом: он, оказывается, уже давно хотел подписаться на «Хронику». А то «Новости» совсем превратно осветили случай, когда с него, хозяина, незаконно содрали штраф за то, что его ученик переработал какие-то несколько лишних часов.

Так я ходил от одного к другому. Мне пришлось отшагать по городу не один километр. Солнце еще светило вовсю, но с деревьев уже опадали последние листья.

В половине второго я закончил обход. Теперь я чувствовал себя совсем не таким бодрым, как вначале, и, словно шарманщик, устало повторял заученные фразы. В довершение всего я попадал к клиентам как раз во время обеда. За четыре часа, обойдя двадцать человек, я завербовал шесть подписчиков.

— Неплохое начало, — заметил секретарь, которому я вручил адреса новых читателей с тем, чтобы они с завтрашнего же дня получали газету.

Потом я купил кое-что на обед и принялся варить и жарить — на сей раз и для себя. Когда Вилли пришел, все было готово. Он порадовался вместе со мной.

— Так ты сможешь заработать до шестидесяти марок в неделю! Здорово! Просто здорово!

Мы долго строили грандиозные планы, а затем вымылись и вместе отправились в кино.

## 5

Второй день был не таким удачным, как первый, а третий — значительно хуже второго. Я понял, что самый удачный день позади и больше не повторится. Дело было не в том, что я уже побывал у всех маляров и теперь обходил кузнецов и булочников — людей совсем иного склада. Секрет заключался в том, что я потерял вдохновенный дар убеждения и лишь повторял унылым голосом одно и то же. Вербовщиком нужно родиться, и пятидесятого клиента надо уметь уговаривать с тем же пылом, что и первого. Нужно самому верить в то, что говоришь, или по крайней мере заставить людей поверить в это. Когда мне возражали: «Но позвольте, вот уже десять лет, как мы читаем «Новости», и они лучше «Хроники», так почему мы должны менять газету?» — я в душе соглашался с этим. Мои возражения мне самому казались жалкими. В сущности, я сам не мог понять, почему люди выбирают «Хронику». В «Новостях» всегда было на четыре, иногда на восемь, а подчас и на двенадцать полос больше, они верстались в четыре колонки и выглядели куда более привлекательно, чем наша сверстанная в три колонки газетенка. В каждом номере «Новостей» помещалась брачная хроника и в три раза больше, чем у нас, рекламных объявлений. Страницы «Новостей» набирались красиво и всегда были словно отутюжены; наша же газета чаще всего приходила из Берлина в матрицах. Все это я научился замечать, так как клиенты находили в газете уйму всяких недостатков. Когда я потом говорил об этом секретарю, он сердился: «Будь мы «Новостями», нам незачем было бы посылать вас для вербовки».

Я уже не обходил за день двадцать клиентов, иногда мне удавалось побывать у десяти, а иной раз всего лишь у трех. Если с самого утра меня постигали две неудачи подряд, я не решался продолжать свои попытки. Однажды я долго ходил мимо кузницы, внутри раздавался грохот молотов, пламя отбрасывало яркий отсвет на окна; наконец я решился и вошел.

Кузнец срезал лошади мозоли и примерял подкову, а двое подручных чинили колесо. Я стоял у двери и ждал. По опыту я уже знал, что нельзя мешать людям, когда они работают, надо стоять у двери и терпеливо ждать. Пока я смотрел на рассыпающиеся во все стороны искры и прислушивался к шипению мехов, я понял, что говорят обо мне.

— Шляются тут всякие, — сказал один из подручных, обращаясь к кузнецу. — Опять какой-нибудь бездельник. Гуляет себе. Нет чтобы поработать, — добавил другой.

А мальчишка-ученик закричал пронзительным голосом:

— Покупайте пуговицы, подтяжки, английские булавки! Покупайте, покупайте!

Наконец они утихомирились и снова занялись колесом, а кузнец положил подкову на наковальню и начал бить молотом, чтобы придать ей правильную форму. Ученик щипцами держал подкову, кучер высоко поднял копыто лошади, крепко зажав ей ногу. Эти люди трудились, они зарабатывали свой хлеб. И я представил себе, как сам в точно назначенное время входил в красивую, чистую контору и садился за приятную, чистую работу. А теперь вот бегаю по городу и докучаю людям. В первый день работы я был еще способен заниматься новым делом с вдохновением, тогда я вошел в мастерскую маляра как великодушный монарх, как посланник великой державы, имя которой Пресса, но теперь я был на это уже не способен. Теперь я был жалким коммивояжером, который пытался навязать людям совершенно ненужную им вещь.

Вдруг дверь позади меня отворилась, и в мастерскую кто-то вошел. Я обернулся: это был еще один коммивояжер. Он поставил возле себя чемоданчик, громко сказал: «Доброе утро», — и при этом испытующе поглядел на меня — не конкурент ли. Я отрицательно покачал головой. Подмастерья снова начали являть:

— Пусть постоят, хозяин, скоро их наберется целый десяток, и тогда прогони их всех скопом. Надоели!

К нам подошел хозяин:

— В чем дело?

Не дав мне произнести и двух слов, он прервал меня:

— Подписаться потому, что вы заступаетесь за ремесленников? А вы позаботились о том, чтобы снизили налоги? Ваш юрист — просто курам на смех, что он пишет! Он ведь закадычный дружок советника из финансового управления. Нет. Хватит. И незачем попусту тратить слова. Покорно благодарю. — Он повернулся к моему коллеге: — А вам что угодно?

Если такое повторялось два раза подряд, я в этот день больше не решался постучаться ни в одну дверь, а часами бродил по городскому парку. И тогда я мечтал о том, что найду деньги, много денег. Взгляд мой упорно был устремлен вниз, и я внимательно разглядывал дорожки, но за все время не нашел ничего, кроме носового платка и нескольких пуговиц. Часто я возвращался домой без единого гроша; с некоторых пор Вилли снова начал ворчать.

Неизменной надеждой для меня оставался хозяин булочной на Лоптштедтштрассе. Он никогда не говорил окончательно «нет», а лишь: «Заходите еще как-нибудь. Я подумаю».

А когда я приходил снова, то оказывалось, что он должен еще немного подумать. Он всегда встречал меня приветливо и, похлопав по плечу, говорил:

— Ну как, молодой человек, придумали новый довод в пользу «Хроники»? Прежние меня не совсем убедили. Почти, но не совсем.

Тут я вымучивал из себя еще какой-нибудь довод. Прошло немало времени, прежде чем я понял, что являюсь для него просто «придворным шутом» и помогаю ему коротать время. У этого булочника наверняка было много шутов, которые таким же образом развлекали его, ведь нашего брата бегало по городу видимо-невидимо.

Но большинству клиентов вовсе не нравилось, что их осаждают столько коммивояжеров, для них мы были прямо-таки стихийным бедствием. Иногда, входя в дом, я уже слышал звонок и до меня долетал голос коммивояжера, то бойкий, то униженно-просительный. Тогда я ждал, пока мой коллега спустится вниз, и мы некоторое время шли вместе, возмущаясь и проклиная все на свете. Возмущались все: и ловкие продавцы пылесосов, и жалкие лоточники, пытавшиеся всучить лейкопластырь и бельевые пуговицы. Мы искренне возмущались тем, что с нами так плохо обращаются, а уже через минуту соглашались, что клиенты, собственно говоря, правы — слишком много разных людшек ходит по домам, среди них немало таких, которые только ищут случая что-нибудь стянуть.

Мне бывало особенно обидно, когда меня принимали за одного из этих молодцов. Иной раз позвонишь и, стоя у дверей, ждешь; вот раздаются шаркающие шаги, и в глазок тебя начинает разглядывать чей-то глаз. Зрачок очень темный, никак нельзя понять, смотрит ли на тебя мужчина или женщина. Так вот и стоишь, пока тебя разглядывают в щелку, и кажется, будто прошла целая вечность; затем раздается легкий щелчок

завдвижки, и шаркающие шаги снова удаляются. Иногда же дверь открывается, но цепочки не снимают и начинают разговаривать с тобой через щелку, потом дверь неожиданно снова захлопывается, а ты стоишь, и последние слова комом застревают у тебя в горле; потом тихо спускаешься вниз.

Иной раз мне казалось, будто все эти унижения накапливаются в груди, что я никогда с ними не справлюсь, рано или поздно они меня задушат. Я все яснее понимал, что почти каждый коммивояжер когда-нибудь да срывается: сжав кулаки, он с проклятиями бросается на особенно оскорбительно захлопнутую перед самым носом дверь и в ярости барабанит по ней или осыпает оскорблениями грубую хозяйку дома. Я это хорошо понимал, но думал, что со мной этого не случится, ибо моя работа представлялась мне чем-то временным: я был уверен, что в конце концов все-таки буду сидеть в светлой чистой конторе.

## 6

Однако пришел и мой черед. Я как раз начал обход владельцев швейных мастерских. Среди них была и женщина, девица Рейдинг. Секретарь «Хроники» предупредил меня:

— Это не женщина, а сущий дьявол. Самая зловредная баба в Альтхольме. Лучше не ходите к ней.

Но я все же пошел: все-таки развлечение после стольких разговоров с мужчинами.

Лестница вела прямо в мастерскую. Перед самым моим приходом тут, видимо, что-то случилось: одна швея плакала навзрыд, остальные сидели мрачные и не знали, что им делать. Хозяйка бегала по мастерской и, лишь заметив меня, перестала браниться.

— Что вам угодно? — вполне дружелюбно спросила она.

Собственно говоря, я был разочарован: для сущего дьявола у нее были слишком хорошие манеры и внешность, нос длинный и прямой, глаза светлые, на лице румянец. Пока я произносил свои заученные фразы, она стояла, заложив руки за спину, и смотрела на меня. Она была одной из тех женщин, которые умеют слушать; только раз она встала:

— Ах, наш юрист пишет в вашей газете? — и добавила: — Конечно, ремесленники должны поддерживать друг друга.

Когда я кончил говорить, у меня стало одним подписчиком больше. Все шло гладко, и я уже принялся выписывать квитанцию. Девица Рейдинг стояла чуть сбоку от меня. Выписы-

вая квитанцию, я бросил взгляд на заплаканную мастерицу. Девушка была прехорошенькая. Она улыбнулась мне сквозь слезы. В ответ я тоже улыбнулся ей.

Вдруг я услышал рядом какое-то шипение, сдержанный хрип ярости; я взглянул на хозяйку. Она побелела от гнева. Ей явно не понравилось, что я переглядывался с ее работницей. Я осторожно протянул девице Рейдинг квитанцию:

— Вот, пожалуйста, одна марка пятьдесят пфеннигов.

Она взяла квитанцию, посмотрела на нее.

— Разве это квитанция? — сказала она. — Такие бумажки может сделать каждый.

— Это квитанция «Хроники», — сказал я. — Они все такие.

— Ах, они все такие, — повторила она с язвительной усмешкой, все более и более распаляясь. — Эти бумажки вы делаете сами, чтобы обирать честных людей, а газету так никогда и не получишь. Где ваше удостоверение?

— У меня нет никакого удостоверения. Квитанция — вот мое удостоверение, — сказал я.

— Покажите мне ваше удостоверение коммивояжера! — Она уже перешла на крик. — Вы обязаны иметь удостоверение, если шатаетесь по домам!

У меня не было никакого удостоверения, я даже не знал, что мне следовало его иметь.

— Вы — мошенник! — крикнула она. — Но не на такую напали. Эльфрида, сейчас же беги к вахмистру Шмидту! Скажи — здесь мошенник.

Заплаканная девушка испуганно встала и пошла к двери.

— Сударыня, — сказал я, — вот моя квитанционная книжка. Смотрите, фамилии на корешках должны вам быть знакомы.

— Ступай же, Эльфрида! — крикнула она. — Что же ты стоишь как истукан?! Тебе, конечно, хочется, чтобы этот бродяга и мошенник удрал?

Мастерица побежала.

— Верните мне квитанционную книжку. Не нужны мне ваши деньги. Дайте мне уйти.

— Ну уж нет! — завопила она. — Позволить вам удрать, так, что ли? Тони, запри дверь на ключ.

Я закричал:

— Вы — низкая женщина. Я отлично понимаю, почему вы все это затеяли: я улыбнулся вашей мастерице. Вы не смеете доводить до слез всех хорошеньких девушек только потому, что на вашу долю не досталось ни одного мужчины!

Тут началась такая перепалка, что вахмистр Шмидт не понял ни слова, но на всякий случай отвел меня в участок. Позже, сидя там на нарах, я быстро отрезвел. Я раскаивался в том, что так вспылел. Ведь я должен был вербовать подписчиков, а не улыбаться девушкам, так что эта Рейдинг, собственно, была права.

## 7

Установив в полиции мою личность, вахмистр отпустил меня. Медленно плелся я в «Хронику», на душе у меня было прескверно. Я не удивился, когда узнал, что хозяйка мастерской уже побывала в редакции и нажаловалась.

— Плохи ваши дела,— сказал секретарь.— Если я вас оставлю, эта особа восстановит против нас всех ремесленников. Вам не следовало ходить туда, я же вас предупреждал.

Он дал мне еще пять марок; он всегда был порядочным малым. Когда я вернулся на Штаренштрассе, Вилли еще не было дома. Меня заранее мучило при мысли о его упреках. Я сложил свои вещи в чемодан и отдал хозяйке на хранение. Сказал, что потом напишу, куда его выслать. Вышел из дома и, миновав город, побрел по шоссе. У меня еще оставалось девять марок. Было начало декабря, стоял легкий морозец, землю чуть запорошило снегом. Теперь я шел в город побольше, чтобы посмотреть, не найдется ли там для меня хоть какого-нибудь местечка.



# Анна Зегерс



## ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ КОЛОМАНА ВАЛЛИША



то было спустя десять недель после того, как в Леобене повесили Коломана Валлиша; в один из обычных будних дней я поехала из Граца в город Брук, что на реке Мур. Вся австрийская земля — в цветении сирени и каштанов. В разбитых снарядами домах Вены, отстроенных муниципалитетом, на всех

комодах, в которых еще торчали осколки снарядов, стояли стаканы с букетами сирени. Если бы не эти железные осколки, можно было бы подумать, что праздничные сюртуки мужчин в шкафах побиты гигантской молю. Дома отремонтировали только с фасадов, внутри все оставалось как было: у муниципалитета не хватило денег.

В нашем купе душно, оно полно народу — здесь крестьяне, лесоторговец из Брука, два коммивояжера и я. Коммивояжеры расспрашивают лесоторговца, как идут у него дела. Он медленно поворачивается, толкая всех своим толстым задом в кожаных штанах. Лесоторговец ругается. Ему-де до сих пор еще не заплатили компенсацию за повреждения лесопилок при обстреле. Правда, они и раньше стояли без дела; одна надежда, что благодаря договору с Италией их снова удастся пустить.

Остановка во Фронлейтене. Тишина залитых солнцем зеленым горных склонов как бы входит в наше купе и трогает даже лесоторговца. Он говорит:

— Какой теперь везде покой! А до чего же было беспокойно.

— Этот Валлиш орал, пока ему не заткнули глотку, — замечает долговязый коммивояжер. — «Свобода!» — вот что орал этот Валлиш, пока не выдавили ему эту свободу из глотки и не забили глотку песком.

— Одного у него нельзя отнять, — вставляет коммивояжер ртом поменьше: — Смерть он принял храбро.

Лесоторговец начинает злиться:

— Как же им не быть храбрыми перед смертью, когда они подстрекали других умирать; проклятый подстрекатель, вот кто он был, этот Валлиш, коммунист проклятый, большевик.

Соседи по купе смотрят на лесоторговца хитро прищуренными глазами: одни одобрительно, другие зло; одни с усмешкой, другие угрюмо.

(Сегодня утром в Граце мы сидели у моего товарища-коммуниста на кухне, побеленной на деревенский лад. Покуда его жена намазывала нам на хлеб повидло, мы разыскивали старую газету. «Гиены рабочего движения», вот как писал про нас Валлиш, вспоминали товарищи, в кухне которых я сидела. Это было, когда в Граце состоялось последнее собрание Общества друзей новой России. Ох, и люто же ненавидел коммунистов этот Валлиш.)

Лесоторговец рассказывает, как к нему пришел католический священник из Брука, — решил заказать забор для кладбища — и не вокруг него, а поперек, чтобы отделить покойников-католиков от покойников-протестантов. Он, священ-

ник-то, не знал, что самому лесоторговцу предстоит обрести место вечного упокоения среди протестантов по ту сторону заказанного забора. Лесоторговец прикинул все на бумаге и заломил непомерную цену. Священник перепугался и предоставил покойникам лежать вместе. Все пассажиры, в том числе и крестьяне-католики, хохочут.

Мы с лесоторговцем выходим в Бруке.

Валлиш обещал людям из Брука, что, как только дело примет серьезный оборот, он из Граца придет к ним на помощь. Была объявлена всеобщая забастовка. Валлиш сказал, чтобы жена собиралась, и они поехали. В Бруке забастовка действительно стала всеобщей: электростанция не работала, жители Брука еще в январе попрятали оружие по погребам и квартирам, создали вооруженные отряды, перед Пернеггом выросли баррикады.

При входе в город нужно перейти через необычайно быструю и шумную горную реку, которую кое-где расчесывают на ровные пряди водяные мельницы.

На главной улице я еще раз вижу лесоторговца со спины, его грузную фигуру, кожаные вставки на локтях его куртки, вырезанные сердечком, как на детских куртках. Он присоединяется к небольшой группе людей, которая, смеясь, смотрит, как какие-то парни огромными метлами подметают улицу. Улыбающиеся жандармы — ружье к ноге — наблюдают за уборкой. Незачем спрашивать, в чем дело. Такую картину можно увидеть во многих провинциальных городах: парни выметают листовки со свастиками, которые сами разбросали накануне.

Большое красное здание за каштанами — это Народный дом. Снова жандармы — на этот раз без улыбки, — ружье к ноге. Они заставляют меня сойти с тротуара; близко к зданию подходить не разрешается. Народный дом превращен в тюрьму для тех, кто был арестован в Бруке в феврале. Широкие и простые фасады народных домов уверенно вдвинулись в кварталы роскошных особняков, церквей, театров и судебных учреждений. Этого им не могут простить. Теперь в Леобене, в Бруке и во всех провинциальных городах мелкая буржуазия запирает своих пленников в народные дома.

Изрешеченные жандармские казармы свидетельствуют о том, что в Бруке отдавались иные приказы, чем в других городах: наступление, а не оборона! Но дрянные старые ружья стреляли плохо. Лакнер, единственный, кто знал, где спрятано оружие, сидел в тюрьме во Фронлейтене; шуцбундовцы истекали

кровью в атаках. На церковных дверях — большие листы объявлений: «Католики Брука! Все как один примыкайте к папаникам, идущим в Марицеллы! В нынешнем году у вас больше, чем когда-либо, причин возблагодарить бога».

Над крышами Брука возвышается гора с замком. Тот, в чьих руках она находится, контролирует город и подступы к нему. В ночь на среду 14 февраля ее атаковали войска и отряды хеймверовцев — пушки против винтовок. Валлиш собрал своих людей на левом берегу Мура. Он решил обходным маневром выйти в тыл артиллерии.

Я покупаю карту Верхней Штирии. «Зловещий вдохновитель всех событий», — справляясь с картой, читаю текст обвинительной речи. За ним следует сообщение о том, что приговор приведен в исполнение, — злой дух Верхней Штирии — Коломан Валлиш вел переговоры с военным руководителем шугбундовских отрядов Русом и условился, что он, Валлиш, стянет в Брук отряды из других мест. Рус, поддерживаемый Валлишем, приказал, чтобы один отряд атаковал казарму жандармерии, другой — здание школы лесничих, третий — дом служащих фирмы «Фельтен и Гийом», в котором были размещены жандармы... Когда обстановка осложнилась, Рус и Валлиш утром 13 февраля перешли с шугбундовцами на левый берег Мура и начали отход через Учграбен на горные пастбища.

Валлишу с женой и четырьмя сотнями шугбундовцев пришлось идти этим путем, потому что дорога на Капфенберг была под обстрелом. На горах лежал снег толщиной в метр. Валлиш не умел ходить на лыжах; по-настоящему здешним жителем он так и не стал, хоть и приехал сюда в двадцать первом году.

«Его идеалом была диктатура Советов, очевидцем которой он был в Венгрии и каковую он пытался установить в двадцать седьмом году в Бруке». Так думал прокурор. (Но думал ли так Валлиш?)

Я перехожу железнодорожную насыпь и попадаю на кладбище, о котором говорил в поезде лесоторговец. Утром, когда все на работе, одна я не могу тут разобраться, а сторожа не нахожу. В провинции еще труднее, чем в Вене, отыскать могилы тех, кто был убит в феврале. В Граце их по двое зашивали в мешки, бросали в неглубокие ямы, могилы утапывали сапогами, запрещали ставить дощечки с надписями и приносить цветы.

Одна я никак не могу определить, могилы ли эти зеленые холмики или нет.

На шоссе я спрашиваю у первого встречного велосипедиста, как пройти к Учграбену. Оказывается, что нам по пути, и он

слезает с велосипеда. Малорослый прихрамывающий парень в заношенной рубашке и промасленных штанах рассказывает, что он сын железнодорожника, безработный. Он откровенно признается, что последние дни февраля отсиживался в лесу. Да и сейчас он еще не перебрался в Брук, а живет где-то на хуторе. Ему повезло.

— Мой отец — порядочный человек, но он ни в чем не принимал участия, потому что не верил во все это. Как раз перед этим железнодорожники проиграли большую забастовку. Ну, он и говорит: «Нас предали соглашатели, и нас опять предадут соглашатели». Валлиш, что ж Валлиш? Мы наседали на него целый год, мы требовали, чтобы он наконец выступил, а он все не хотел проливать кровь. А кровь все равно пролилась, только не вовремя и не та. Мы ему говорили: «Послушай, ты же отродясь не был соглашателем, чего ты держишься за их соглашения? Товарищ Валлиш, ты должен первым нанести удар, а вышло так, что первыми начали эти — из Брука». Вот и оказалось, — говорит он и останавливается, — что у нас в Бруке больше всего процент убитых.

Дорога поднимается в гору. Людям Валлиша бил в лицо резкий ветер, им было жарко от поклажи. Они еще не дошли до Учграбена, когда стало ясно, что гора с замком взята. Тогда они решили пробиться к Фронлейтену, освободить Лакнера, получить новое оружие и продолжить бой.

— У Валлиша в нашей округе были сторонники даже среди крестьян, а это всегда трудно для партии, — продолжает мой спутник. — Интересно, что бы он сейчас стал делать, Валлиш, если бы он имел в запасе еще одну жизнь? Сидел бы тоже в Брюне вместе с остальными или начал бы из Брюна вести переговоры о соглашении? Не думаю. В нем было много нашенского, в этом человеке.

Здесь внизу снег был еще не таким глубоким; люди Валлиша еще могли совладать с ним, они шли походным шагом, утапывая его.

— Вы спрашиваете о нацистах? Было у нас несколько таких типов, которые теперь переметнулись к ним, кучка глупых парней. У нас они были какие-то непутевые ребята; ну, к примеру, гимнасты, и перешли они к нацистам, потому что у тех есть спортивные залы. А наши-то залы закрыли. Нацисты и пустили их к своим турникам да брусьям. А другие думали так: если начнутся события, только бы дать Дольфусу по башке, а с кем идти, — это, мол не важно. А ведь нацисты утром для вида откроют тюрьмы, чтобы вечером уже всерьез

запереть тех, кого они выпустят утром... Зато те, кто был нашим ядром, те сдвинулись влево. У нас уже давно многие резко выступали против венского руководства. Сорок — пятьдесят, вот сколько коммунистов было до этого в Бруке. И знаете, что меня все время мучает? Я все думаю, не будь с Валлишем его жены, он бы остался жив. Что поделаешь! Привыкла — куда он, туда и она, на всех собраниях вместе, вот и хотела быть с ним до конца. Нет чтобы спрятать жену где-нибудь у нас. Из-за нее он под конец не смог пешком перебраться через горы, из-за нее ему пришлось нанять машину.

Миновав большие штабеля леса, я начинаю подниматься вверх вдоль ручья, который впадает здесь в Мур. С этого места люди Валлиша впервые почувствовали, что такое подъем в горы. Им пришлось идти по колено в снегу. Ни за что не соглашались они бросить три свои пулемета. Они подталкивали и тянули их ослабевшими от холода и голода руками, а за спиной были уже целые дни и ночи боев.

При входе в Учграбен лежит вытянувшись вдоль дороги деревня. Перед красивым, свежеекрашенным домом сидит под сиренью и курит трубку крепкий старик. Над дверью написано изречение:

Я построил этот дом,  
Но жить мне не придется в нем.  
Тот, кто за мной в него войдет,  
Себя от смерти не спасет.  
Уйдет и третий навсегда,—  
Чей будет этот дом тогда?

Не очень-то поддаваясь страху предстоящей ему в этом доме смерти, владелец наслаждается утренним солнцем, трубочкой и сиренью.

Я спрашиваю, где гостиница. Но в этой гостинице в будний день нет ни молока, ни пива, ни хлеба, ни масла. Зато в конце деревни, около бездействующей мельницы, есть дом, где крестьянка продает хлеб и сыр. В горнице — шестеро мужчин, хозяйка и ее красивая, довольная своей красотой и длинными косами сестра. На стенах — олени рога, зеркало, олеография, изображающая богоматерь.

Один из мужчин спрашивает:

— Что там делается, в Германии? Болтают разное. Там побывал один из наших, говорит, что все в точности, как в Библии: имущему дается, а у неимущего отнимается... Валлиш? А как же, он проходил через наш Учграбен. Да, и с ним было человек четыреста. И жена тоже.

Больше он ничего не говорит. И в этом непроницаемом молчании нет ни одной щелочки, через которую можно было бы разглядеть, что же за ним скрывается. Крестьянка довольна тем, что ей хорошо заплатили. Она даже выходит за дверь и, обернув фартуком руку, указывает мне дорогу.

Люди Валлиша шли по пояс в снегу. Казалось, горы, за которые они цепляются, стремятся их спихнуть. С губ, сведенных стужей, в первый раз сорвалось: «Это невозможно». Валлиш рассмеялся и сказал: этот поход единственное, что им еще остается. Оказалось, что всей жизни их не хватило, чтобы закончить этот марш.

После часового подъема в горы по лесной дороге, — от самой деревни мне встретился всего один большой крестьянский двор, — высоко над головой, на горном уступе среди искривленных ветром плодовых деревьев в белом цвету, показывается небольшой домик на обнесенной забором зеленой лужайке. На вольном воздухе вокруг стола сидят рыжебородый крестьянин, мужчина в охотничьем костюме, мужчина в форме и с револьвером в кобуре, молоденькая женщина в белой городской блузке. Это не трактир, но меня тут же приглашают к столу. Из погреба приносят рейнвейн, разливают его в фарфоровые штирийские кружки. Видно, у хозяев хороший винный погреб. Рыжебородый крестьянин всего лишь управляющий. Владелец домика, тот, что угощает, сегодня ночью был на венгерской границе, охотился на глухарей.

— Тихо у нас, слава тебе господи, повсюду в горах тихо. Этот городской сброд внизу, эти проклятые безбожники оставили нас наконец в покое. Подумать только, даже здесь, в деревнях, и то появились социал-демократы! Стоит посмотреть хотя бы, как здороваются дети, и это сразу становится заметно. Да что там! Это видно, даже если посмотришь мужику в спину. Наверху, на пастбищах, сразу узнаешь по человеку, из какой он деревни поднялся в горы — из той, где в силе христианские социалисты, или из социал-демократической. По этой самой дороге, по которой поднялись вы, сударыня, прошел в феврале Валлиш со своей женой и своими людьми. Вот здесь на снегу, где теперь растёт трава, они побросали свое оружие. Его жена прилегла отдохнуть, а Валлиш, этот проходимец, — подумайте, он и выпить-то не умел, — попросил молока. Потом они пошли дальше вверх. У сторожки, где раньше была статуя богоматери, по дороге на Фронлейтен, на горных пастбищах и в самом Фронлейтене — всюду уже были карательные отряды; ему пришлось удирать, этому Валлишу, а многие из его людей

попрятались в горах. Кто знает, может, некоторые из них прячутся там до сих пор. Но зато он, этот поджигатель Штирии, сам погорел.

— Да, погорел, — говорит жандармский капитан. Довольный, чуть подвыпивший, он тискает свою молодую жену. — Я сам видел в Леобене, как его вздернули на виселицу. Храбрый был парень, — вдруг добавляет он удивленно, будто это только сейчас пришло ему в голову. — Конечно, он шел против меня и таких, как я. Но, господи боже, и откуда только у него взялась такая храбрость? Я даже не поверил, что он мертв, ведь он только что крикнул: «Свобода!» А тут уж справа и слева у него на плечах повисло двое парней. Они, понимаете ли, делают это, чтобы прибавить тяжести. Словом, для того, сударыня, чтобы веревка затянулась как следует. Так ему и надо, этому садисту, этому Валлишу, этому большевику! Вот у Гитлера в Германии — там великолепно! Блестяще идут дела у Гитлера в Германии. Но — молчок, не проговоритесь, что я, официальное лицо, так говорю.

Я поднимаюсь выше вдоль ручья. Люди Валлиша шли по пояс в снегу. Многие откололись от отряда — кто ушел в Брук, кто в соседние деревни. Приходилось то и дело вытаскивать три пулемета из заснеженных впадин. Валлиш убеждал своих людей любой ценой держаться вместе, говорил, что восстание в Вене развивается, что главное — пробиться к Фронлейтену и, получив новое оружие и подкрепление, продолжать борьбу.

Уже давно мне не попадается ни одного дома; только порой издалека доносится стук топора, но здесь, на горных склонах, лесорубы уже не работают. Огромные стволы поваленных елей лежат на склонах, срезы ослепительно блестят на солнце, отбрасывают на горы ни на что не похожие своеобразные отсветы. Потом лес отступает, ручей катит все больше щебня и гальки. Начинаются пастбища, загоны преграждают дорогу. На склоне горы, заваленном каменной осыпью и поросшем травой, стоит убогий, покосившийся крестьянский дом без лестницы. Вхожу.

В большой полупустой комнате главное — стол и печь. Пол земляной, посыпанный песком. На хозяйском малыше одна только фланелевая рубашка. За столом, держась за руки, сидят жених и невеста. Мы все играем с ребенком. Потом я прошу показать, как устроена печь с наружной топкой. Трое взрослых говорят о паломничестве, к которому призывают объявления на дверях церквей в Бруке. Женщины сговариваются идти вместе. Откуда я пришла? Так, значит, проходила мимо охотничьего домика. Так он, значит, подстрелил глухаря.



Я говорю:

— Внизу в охотничьем домике рассказывают, что в феврале Валлиш останавливался у них и что они дали ему молока.

— У них? — быстро восклицает женщина. — Нет уж, от них он не получил ни капли. Уж эти-то ему ничего не дали, не таковские. Это мы ему дали молока.

Сидящий за столом жених добавляет:

— Молока и три буханки хлеба. Они пропадали с голоду. Но они заплатили, заплатили прежде, чем откусить кусочек: положили деньги на стол, а уж потом взялись за хлеб.

— Если вы переночуете на горном пастбище, — говорит крестьянка, — то завтра увидите, как погонят скот в горы.

Я поднимаюсь выше к Эйзенпассу. Отряд Валлиша таял, у этого места осталось едва ли человек сто.

Завтра утром на всех склонах зазвонят колокольчики. А сейчас дарит нерушимая тишина. Над хижинами пастухов еще поднимаются дымки. Местами на лугу возле леса еще лежит снег. На самом склоне тепло. Через некоторое время меня нагоняет пешеход: это жених из крестьянского дома. Он тоже идет на горное пастбище, чтобы помочь завтра, когда погонят скот. Его братья — лесорубы, у отца есть клочок земли и несколько голов скота под Фронлейтеном. Да, он тоже был в феврале в этих краях. Как Валлиш сумел найти общий язык с крестьянами? Да все благодаря закону о защите арендаторов. Издавна большая часть пастбищ вокруг Брука — общинная земля. Валлишу удалось в свое время провести закон о защите прав арендаторов и не допустить никаких отступлений от него. Арендатора нельзя прогнать с земли, нельзя повысить установленную арендную плату. Прямо-таки юрист, этот Валлиш! Придешь к нему за советом, у него все статьи закона как на ладони. Знал такие статьи, которые не позволяют сдирать шкуру с бедного человека. Теперь они, конечно, уничтожат законы, где есть еще такие статьи.

Перед нами открытая сторожка. Налево вверх идет дорога к горному пастбищу.

За горным пастбищем долина замыкается густым лесом. Справа — спуск к Фронлейтену, всего часа три-четыре пути.

Рус вызвался пойти в разведку. Остальные переводили дух, ждали его, им нужно было отдышаться. Рус не вернулся. Окольными дорогами он пробрался в Грац, явился к шефу полиции и дал подробные показания. Шуцбундовцы, оставшиеся в горах, выслали новых разведчиков. Теперь они узнали все: и про измену Руса, и про поражение, и про то, что введены

полевые суды. Но Валлиш упорно внушал веру в победу, не в немедленную, а в будущую, окончательную победу.

— Каратели долго разнюхивали здесь вокруг, — говорит мой спутник, — где Валлиш останавливался на ночь. Он ночевал в хижине, вон той, что внизу в долине, а каратели были на горном пастбище. Они и спрашивают, чья это хижина там внизу. А чьей ей быть-то, говорим, наверняка какого-нибудь крестьянина. Мы не сказали, что ее арендовал партийный казначей для лыжных экскурсий. Уж мы постарались не выносить сор из избы.

Обходим долину. Лес кончается, мы опять идем по лугам. Дом, стоящий на горном пастбище, неожиданно приблизился к нам вплотную. На противоположном склоне, складки и неровности которого сглажены сейчас вечерним освещением, и произошли первые стычки Валлиша и его людей с жандармами из Фронлейтена. Крошечная кучка, оставшаяся к этому времени от отряда, против сорока человек.

Хозяин дома ждет моего спутника. Он удивляется, что мы пришли вдвоем. Нам дают суп и хлеб. Кроме нас, в горнице сидят еще несколько пожилых лесорубов.

— За голову этого Валлиша посулили пять тысяч шиллингов. Кому бы не сгодились такие деньги! Но мы сказали своим женам и дочерям: и не заглядывайте в долину, чтобы случайно не увидеть его и потом не терзаться. Коли получишь те деньги и купишь себе пару штанов, натянешь их на задницу, обязательно примерещится виселица. Купишь себе на эти деньги одеяло на постель да ляжешь под него с бабой, померещится виселица.

Рано утром мы с хозяином отправляемся навстречу стадам в сторону Брука. Присаживаемся на траву. Даже в этот час земля уже нагрета. Слабый перезвон колокольчиков слышен далеко внизу в лесной чаще.

— На первое мая бруковцам запретили идти в лес. А в день рождения Гитлера нацисты зажгли в горах костры. Но уж мне-то голову не заморочишь. Чего только не рассказывали про Италию! Тогда я в прошлом году сам спустился в эту самую Италию. В первый день я не нашел ни одного человека, который согласился бы мне рассказать все как есть. Но потом я такого нашел. Он взял меня за руку, увел далеко, посадил на скамейку, рассказал все и показал то, что никому не показывают. Нет уж, мне очки не вотрешь. Теперь я коплю деньги и в будущем году отправлюсь в Германию. Я не стану глядеть туда, куда они мне будут показывать. У меня своя голова на плечах, куда захочу, туда и погляжу.

Спускаясь вниз, я встречаю стада. От Брука до горного пастбища извивается лента коричневых коровьих спин. Кое-где попадаются свиньи. На лето все живое со скотных дворов перегоняют в горы.

Проходит несколько часов, — и я стою перед зданием вокзала в Леобене. Могучие горы остались далеко позади; в пропыленных вокзальных помещениях затхлый провинциальный дух.

Вечером 17 февраля, то есть примерно десять недель назад, из здания этого вокзала вышел молодой человек, чтобы сговориться с шофером такси о поездке в воскресенье утром в Оберрайх. Быть может, мелкий железнодорожный чиновник, оказавшийся предателем, наткнулся по дороге к трактиру на плакат, обещавший награду в пять тысяч шиллингов. Он еще не знал, как скоро его собственная жизнь окажется связанной с жизнью того, кого он предал, и как скоро ей тоже будет положен конец. Его предательство недолго оставалось неотмщенным.

В воскресенье после обеда по Леобену уже двигалась триумфальная процессия хеймверовцев, которые смаковали свое торжество, не пропуская ни одной улицы. В открытом автобусе, закованные в кандалы, сидели Валлиш и его жена; спереди и сзади ехали жандармы и солдаты; обыватели стояли шпалерами на тротуарах. Они показывали своим женам закованную в кандалы пару. Женщины тупо глазели на женщину в кандалах, одетую в зеленое платье, на жену, которая последовала за своим мужем в бой, а потом была его спутницей в многодневном бегстве через горы.

Когда я вхожу в город, часовой перед большим домом на углу сгоняет меня с тротуара. Из выходящих на панель подвальных оконцев, забранных решетками, доносятся крики. Люди, арестованные в Леобене в феврале, находятся в подвале палаты по делам рабочих и служащих.

Перед зданием суда, в котором помещаются и другие официальные учреждения, безработные рассказывают:

— Приговоры здесь, в Леобене, выносят беспощадные. Мы были заперты тут, когда они притащили Валлиша и его жену. Непокойная была эта ночь. Мы, арестованные, сразу заметили, что происходит что-то необычайное, но нам и в страшном сне не могло привидеться, что они повесят нашего товарища Валлиша. Два раза раздался отчаянный крик, который был слышен во всем здании. Первый раз, когда они привели Паулу Валлиш к мужу, и второй раз, когда они тащили ее от него...

А палачом был мясник из Вены...

Когда шел суд, все улицы вокруг были оцеплены альпийскими стрелками. Из одиннадцатого полка, который стоит в Клагенфурте. Между прочим, в клагенфуртский полк берут только окончивших гимназию.

— Незадолго до начала суда присяжные стояли вот здесь, потому что их отсюда вводят в здание. Вдруг подъехал мотоциклист, каждому сунул в руку письмо и укатил. Письмо было от МОПРа. В нем было написано: «Присяжные должны проявить свою солидарность с обвиняемыми».

С некоторым трудом удается добиться разрешения посмотреть из окна канцелярии во двор. Виселица разобрана. Уголовников заставили вырыть для столба виселицы яму трехметровой глубины. С высоты этого столба видны далеко вокруг равнина и за нею горы. Грязный двор завален дровами и соломой. Уголовники набивают мешки. Кое-где на мостовой бесконечной, раскаленной солнцем улицы, которая ведет к кладбищу, нарисованы свастики. На дощатых заборах и на стенах домов изображения серпа и молота. Начиная с того дня этих изображений на заборах, на лесных дорогах, на шоссе становится все больше и больше.

Я хожу по раскаленному солнцем кладбищу и ищу людей, которые выглядели бы так, будто они пришли на чью-то могилу. Как и в Вене, за кладбищем в Леобене наблюдают шпики. Могила Валлиша втоптана в землю. Она поросла травой. На ней два-три растоптанных одуванчика.

— Они топтали могилу сапогами, — говорит посетитель кладбища, который, как и я, неожиданно оказался у могилы.

Он долго смотрит на раздавленные одуванчики, словно это надгробная надпись, и на его лбу вздуваются жилы.

— Каждого, кто приносит цветы, они сажают на две недели под арест.

Я подумала: «Здесь кончился путь Валлиша». Но посетитель кладбища говорит:

— Ходят слухи, что здесь лежит только его тело. Валлиш участвовал в революции в Венгрии, и поэтому Дольфус послал его голову Хорти.

Вечером мы сидим вшестером в саду маленького рестораника недалеко от главной улицы. Над столом нависают белые и розовые ветви цветущих каштанов. Их лепестки падают в стаканы. Сегодня Леобен ожидает итальянских офицеров, которых Дольфус пригласил в Вену на первое мая. Здесь состоится переименование квартала Маттеотти в квартал Джино. (Это тот самый Джино, который был убит антифашистами в

городском совете Болоньи.) Народ для встречи гостей посыпал гвоздями все шоссе: им до Земмеринга десять раз придется менять шины.

В саду ресторана живые спорят о мертвом:

— Свобода, как мы ее понимаем, — это совсем не та свобода, о которой рассуждал Валлиш.

— Как ты можешь так говорить о покойном!

— Но ведь он был соглашатель! Конечно, ему пришлось пролить кровь, но ведь так всегда бывает, что соглашения приходится подписывать своей кровью.

— То, как вы говорите о покойном, на вас очень похоже, да, да, именно на вас. Да разве вы знаете, какой он был, этот Валлиш? С малых лет он боролся! Еще дома, когда он был учеником у каменщика, потом в союзе строительных рабочих, молоденьким пареньком. Перед войной он принимал участие в большой забастовке строителей в Триесте, потом был партийным секретарем в Сегедине, потом сражался за Советскую Венгрию. Ничего-то вы о нем не знаете.

Нас прерывает гудение итальянских машин. Над реденькой шпалерой обывательниц поднимается в приветствии несколько увядших рук.

— А о таком покойнике, который так жил и так умер...

— Нет, постой, не настолько уж он мертв и не так уж навсегда он похоронен, этот Валлиш, нет, не такой уж он совсем мертвый покойник, чтобы с ним и поспорить нельзя было и разобраться нельзя, где и когда он был бойцом, а где и когда соглашателем, где и когда он был прав, а где и когда ошибался. Я и без тебя знаю, что этот человек был плоть от той плоти рабочего класса, которую терзают. Его шея, которую стянули петлей, это была наша шея, и на шее каждого из нас остался красный след. И именно потому, что это было так, и потому, что мы знаем, что это так, этот человек не стал для нас мертвым и святым. Мы его помним с его ошибками. Для нас он живой.

## КВАДРАТ

После ареста отца Марию отправили к родственникам в деревню. Много месяцев спустя, когда, держась за руку матери, она снова вошла в свою комнату, ее взгляд сразу же упал на тот квадрат.

Квартира совершенно изменилась. Всю мебель переставили. Исцарапанный пол натерли заново. Большой шкаф, который гестаповцы взломали и в котором все перерыли, был починен и покрашен. Вместо книг за его стеклами виднелись теперь старые и новые безделушки из фарфора. На то место, где стояла кровать отца, подвинули комод. А на то место, где стоял сам отец в ту последнюю минуту, когда Марию выволокли из комнаты и заперли в кухне, поставили часы. Все освежили, квартира была теперь как новая. Но квадрат на стене остался.

Во время ареста отца они сорвали со стены и картину и сунули ее в печь. Мать уничтожила все следы. Но она забыла про квадрат на стене там, где раньше висела картина, он выделялся темным пятном на выгоревших обоях. Как только взгляд девочки упал на него, она поняла: ее хотели обмануть, чтобы заставить все забыть.

В перекрашенном платье матери Мария вдруг узнала прошлогоднее пестрое летнее платье. И тогда она поняла, что отец умер.

Она попохала пирог, внимательно осмотрела часы, — все для того, чтобы скрыть свое лицо. Позже, за столом, когда пили кофе, она набила полный рот пирогом, чтобы нельзя было говорить. У пирога был вкус песка.

В последующие недели Мария аккуратно ходила в школу. Она была послушна и прилежно занималась. На рождество они с матерью убрали елочку. А на пасху покрасили яйца. Мать была довольна, потому что теперь Мария стала такой, как все дети.

Но квадрат на стене не стерли. Его и нельзя было ничем стереть — ни праздниками, ни музыкой, ни нежными словами матери. И если бы вдруг на его месте возникла яркая картина, более пестрая и бросающаяся в глаза, чем та, которую сорвали и разодрали на клочки, квадрат и тогда не был бы ей подвластен. Тишина в сверкающей чистотой комнате была обманчива. В ней продолжали звучать шаги демонстраций, которые строились в Люстгартене. Выступал Тельман, — из квадрата на стене вырывалась его рука, он бросал слова, как камни. Отец доверил тогда ребенка товарищу Альбрехту. Тот посадил девочку на плечо. Высоко над головами плыла вместе со знаменами Мария. Они парили на одном уровне с лицом оратора.

«Отец умер. Но этот Альбрехт, конечно, жив, — думала Мария. — Я буду искать его, пока не найду».

Ее взгляд снова и снова скользил поверх накрытого белоснежной скатертью стола над лицами матери и гостей и останавливался на квадрате посреди стены.

## СОРОК ЛЕТ МАРГАРЕТЫ ВОЛЬФ

Недавно я заночевала в небольшом тюрингском городке. Там на машиностроительном заводе один из моих друзей сделал доклад об Октябрьской революции. Задавали вопросы, выслушивали ответы, и доклад затянулся до позднего вечера.

Мне предоставили комнату в заводском клубе.

Хотелось выпить чего-нибудь горячего, но буфет уже оказался закрытым. Только на кухне горел свет. Я пошла на огонек и застала там женщину лет шестидесяти—семидесяти, которую заметила еще во время доклада. Она сидела в переднем ряду и внимательно слушала. Пока шла дискуссия, она не делала попытки уйти, но и не вмешивалась в беседу.

На мой вопрос, не слишком ли я поздно, старушка ответила:

— Нет. Почему же? Я не тороплюсь. Поджидаю своего зятя. Он на совещании и придет не скоро.

Она подала мне чай на кухонный стол.

После взволновавшего меня вечера я постепенно начала приходить в себя и даже почувствовала себя уютно в пустой просторной кухне. То ли женщина была так сердечна, то ли мне понравилось, что я поздней ночью сижу за кухонным столом, как частенько случается со мной дома, но уж никак не в поездке. Когда я, поблагодарив, встала, женщина спросила, откуда я родом. А на мой ответ: «С Рейна», — кивнула и без улыбки ответила: «Я так и думала».

Выяснилось, что и она родом из тех же мест. Но в начале тридцатых годов переехала в Мангейм с мужем, матерью и ребенком.

— Это недалеко от моего города, однако в Мангейме я никогда не бывала, — заметила я.

— Да и я жила там не по своей воле, — ответила женщина и скупой улыбнулась.

Улыбка не придавала приветливости ее суровому лицу. Но я увидела, что она не так стара, как показалось мне вначале. Глаза у нее были светлые, взгляд твердый, морщин почти не видно, но кожа на лице — точно дубленая — имела странный оттенок.

— Вот уже несколько лет, как я поселилась в этом городе, — сказала она. — Я, как это здесь называется, заведующая хозяйством. А мой зять — чертежник на заводе. И все-таки я никак не могу привыкнуть к тому, что здесь мне не надо держать

язык за зубами. Мы, понимаете ли, переехали в Мангейм для того, чтобы люди, хорошо знавшие нас в нашем городе, потеряли нас из виду. В то время в Мангейме жил мой брат. Он был лучшим другом моего мужа. Мы тогда еще не подозревали, чем это может для всех нас обернуться. Мать моя даже радовалась переезду: дети и внуки в одном городе. Она сказала: «Успокойтесь наконец сами,— может, и вас тогда оставят в покое».

Я, бывало, как погляжу на Густава, своего мужа, вижу — этот не успокоится; но и он научился держать язык за зубами.

И так как я наперед все знала, то долгие годы сохраняла хладнокровие, долгие годы и позже, когда к нам внезапно нагрянуло гестапо. Нас снапали обоих, Густава и меня. Я опасалась, не провалилась ли пятерка. Но нет, оказалось другое: подозрение в содействии побегу. От этих мерзавцев я узнала, что мой брат бежал из концлагеря. Негодяи разнюхали, что мой муж и брат были друзьями и что я тоже Валлау. Я, Маргарета Вольф,— урожденная Валлау. Почему вы стоите? Садитесь, ведь у нас с вами есть время.

Я села. Женщина продолжала:

— Имел ли муж какое-нибудь отношение к побегу моего брата? Возможно, что да, возможно, что он привлек к организации побега еще какого-нибудь человека, снабдил его деньгами и тот спрятал моего брата. А потом был пойман, на допросе спасовал и выдал. Правды я так и не узнала, потому что ни мужа, ни брата больше не видела живыми. Когда погиб Густав, меня выпустили из тюрьмы.

Весть о смерти мужа мне по возвращении домой преподнесла жена дворника, скорчив при этом злобную и коварную рожу. Но ее гнусную физиономию мне больше видеть не пришлось. Ибо квартира была уже не моя. В ней поселили чужих людей, а наши пожитки, испорченные и загрязненные, свалили в котельную. Часть вещей гестаповцы реквизировали, а остальное разворовали.

— Мне было больно, — продолжала она, — что не осталось ни одной фотографии моего Густава. Все карточки при нашем аресте гестаповцы забрали с собой. Даже самую старую, я хранила ее еще с первой мировой войны — на ней были сняты вместе Эрнст и Густав. Да, эта карточка стала уликой, она показала негодяям, что мой муж и мой брат еще в то время были дружны и оба шли в огонь за общее дело.

Да, эта карточка была доказательством, что ни один из них не дрогнет, не пошатнется. На ней были сняты русские и немец-



кие солдаты под красным знаменем. На фронте это было, после Октября. Ящик, в котором лежала фотография и многое другое, мы, как нам казалось, надежно спрятали. Могли ли мы думать, что придет день, и эти звери перевернут нашу квартиру вверх дном.

— Эта фотография мне знакома, — воскликнула я, — кто-то показывал ее всем окружающим, может быть, даже вы сами?

— Возможно, — ответила фрау Вольф. — А может быть, моя подруга, Хильда Бергер. Позже она вышла замуж за моего брата Эрнста Валлау. Мы работали на заводе в одном цехе. Получали ядовитые газы, вот почему у меня такая кожа. След этот остался на всю жизнь.

«Да, — подумала я, — это, конечно, была она, Маргарета!»

Я вспомнила зиму семнадцатого — восемнадцатого годов. Резкий ветер дул на трамвайной остановке, вдали от города. «Как же мерзнут, должно быть, наши ребята в окопах!» — развязно сказал какой-то господин в добротном пальто. Из ворот завода высыпал целый рой молодых рабочих. Одни смеялись, другие бранились. У некоторых были зеленоватые лица. Не только от голода и холода. Казалось, кожу на их лице выдубили, придав ей какой-то особенный оттенок. Кто-то заметил: «Это нелегко сходит. Это от работы!» Я с испугом смотрела не столько на фотографию, которую одна из них с улыбкой показывала окружающим, сколько на лица рабочих.

«Ее следовало бы арестовать», — ворчал господин в пальто, уже сидя в трамвае.

— Это удовольствие ему доставили, — сказала Маргарета Вольф, когда я ей напомнила о давнишней встрече. Она подседала ко мне поближе. Губы у нее стали узкими и строгими, глаза тоже сузились и посуровели. Она продолжала: — Хильда вскоре перешла в другой цех. Лицо у нее осталось нежным и белым.

Надо вам сказать, что братанье проходило не так легко и просто, как можно было бы судить по карточке, которую, сдается вам, вы тоже видели. На самом деле в братающихся стреляли.

Наши двое, Густав и Эрнст, предвидя, что им грозит военнополовой или гражданский суд, вовремя скрылись. Мы, домашние, месяцами ничего о них не знали. Они прятались где-то в Берлине. На мать мою в полиции ужасно орали. Дескать, ее муж, тот храбро сражался на фронте, а вот сын — дезертир.

Я не рассказывала матери того, что было известно мне и Хильде. Кто-то прислал Хильде весточку о наших. Я вам уже

говорила, что Хильда, моя подруга, выглядела беленькой и нежной и я часто завидовала ей. Но какой она была смелой! И тогда и позже. Такая беленькая, тихонькая и такая мужественная! Если забастовку на нашем заводе подавили, то уж никак не по ее вине. Она, это нежное существо, вскочила на стол и крикнула: «Мы должны сделать то же, что сделали русские! Нам так же, как и им, нужен хлеб и мир!» Ее стащили со стола и увели.

Тогда вслед за ней на стол вскочила я, а за мной — другие. Но надо честно сказать: Хильда всегда и во всем была первая.

Заводчик, которому принадлежал наш завод, наживался бедно; он раньше нас проведаль, что на военных заводах в Берлине началась забастовка, и испугался, как бы она не перекинулась на наш завод, тогда — прощай барыши! На этот случай он просил у своего приятеля, начальника полиции нашего города, — полицейских, а у другого приятеля, генерала, — солдат.

Целую зиму и лето все шло по-прежнему.

Но осенью на Рейн пришли революционные матросы из Килля. Вы в то время были там? Вспоминаете?

Из года в год мы каждую ночь слышали, как солдаты распевают на улицах свои песни: «На родине...» или «Был у меня товарищ...» И вдруг они запели: «Вставай, проклятьем заклейменный!»

В ноябре вернулся из Берлина мой Густав. Кожа у меня на лице была уже не такой зеленой, но меня пугало, что я утратила былую свежесть. Густав только посмеялся, и мы поженились. Мы надеялись, что Эрнст, брат мой, придет на это торжество и, может быть, мы сыграем двойную свадьбу. Об этом мечтала и Хильда Бергер.

И вот какая она была — Хильда: в Берлине Эрнста выбрали в Совет солдатских и рабочих депутатов. Он и не думал о приезде. «Мы здесь отпраздновали другую свадьбу», — писал он. Хильда объяснила: «Этим он хочет сказать, что в Берлине основана Коммунистическая партия Германии». Я в то время еще плохо разбиралась в политике. А Густав, тот все понял.

Отец мой сказал: «Кайзера прогнали, власть принадлежит нам, неужели вы и теперь будете баламутить?» А Густав возразил: «Мы — нет! Мы попросту хотим получить то, что нам причитается. Власть и землю». Моя мать разрывалась на части между мужем и детьми.

Хильда понимала, что ее Эрнст не придет, пока на берлинских улицах идут бои. Неожиданно она узнала, что в одной из уличных стычек Эрнста арестовали и на четыре года посадили

в тюрьму. Он писал ей: «Дорогая Хильда! Как тяжело, что я не участвую в борьбе. Ты должна меня заменить».

Сколько стен тогда мы расписали лозунгами: «Руки прочь от Советской России!» Хильда однажды ночью сама написала эти лозунги на многих домах. После чего полиция решила, что это сделано руками многих, и обыскала дома.

В то время у меня был уже ребёнок — наша Анна-Мари. Мы называли ее Анни. Мой отец и муж вместе работали на заводе «Котлы и трубы». У них была тяжелая работа. Слишком тяжелая для отца, уже пожилого человека, сильно потрепанного войной. Он никогда не говорил о моем брате, только хмурился, когда у нас бывала Хильда. Иногда он ужасно ссорился с моим мужем. Отец кричал: «Разве вы одни прогнали из Берлина Каппа и его банду?» Мой муж кричал в ответ: «А вы послали эту банду на Рур и натравили ее на нас».

Когда Густав повесил в нашей комнате портрет Ленина, отец закричал: «В моей квартире я этого не допущу!» На что Густав ответил: «В таком случае мы уезжаем отсюда!»

У нас дома всегда толпился народ. Люди верили Густаву больше, чем газетам. Все, что он им рассказывал о Советском Союзе, они повторяли у себя дома и на заводе. Некоторые вымыслы были разоблачены в нашем городе. Некоторые истины стали ясны всем.

Это было с двадцатого на двадцать первый год. С каждой весной к нам являлись неожиданные гости. Наш дом был своего рода постоянным двором между Руrom и Мансфельдом. Люди находили у нас приют.

Однажды в дверях появился Эрнст. Он сильно изменился и показался мне тверже и решительнее. Он сидел в тюрьме с учителями — в обычной жизни он вряд ли встретился бы с ними. В тюрьме он много читал и учился.

Вскоре после его приезда домой пришло известие — умер Ленин. В то время Коммунистическая партия у нас была в подполье. Траурную демонстрацию власти запретили. Мы собрались на пяти разных улицах и соединились в единый поток на Дворцовой площади. Никто не мог нас разогнать.

После демонстрации мой муж был уволен с завода «Котлы и трубы». За квартиру платить было нечем, и нам пришлось переехать в жалкую лачугу. В то время я родила второго ребенка, мальчика. Зима выдалась холодная, и он прожил всего лишь несколько дней. Я впала в отчаяние и, хоть и не говорила об этом вслух, про себя думала: не потеряй Густав работы из-за участия в демонстрации, мы бы жили в тепле. Позже я стыди-

лась своих мыслей. Да и неверные это были мысли. Но удивительно, что как ни много я пережила с тех пор,— а младенца я все еще вспоминаю часто, и сердце начинает щемить.

Вскоре мы с Хильдой и Эрнстом,— они наконец поженились,— переехали в соседний город. Густав получил там работу на строительстве канала. Народ подобрался хороший, да и старший мастер тоже. Он говорил: «Я догадываюсь, кто вы, меня вы не проведете. Об одном прошу: не попадитесь!»

Хильда родила сына. К нам часто приезжала в гости моя мать, но тайком от отца — он запрещал ей навещать нас. Она не могла вынести жизнь вдвоем с угрюмым отцом в пустой квартире.

Мы, молодые, снова были бодры и веселы, словно жили невесты как хорошо. И всех вокруг заражали своей молодостью. Нам казалось, что мы неуязвимы для пуль и полицейских дубинок. Раз Советский Союз крепко стоит на ногах, то и нас, думали мы, никакая напасть не возьмет.

Мы были твердо уверены, что зло к нам не пристанет. Но именно в это время к нам пришла беда, и какая! Густав снова остался без работы, как только закончили строительство канала.

«Теперь,— сказал он,— я наконец смогу учиться, как Эрнст в тюрьме. Пожалуй, даже лучше. Ведь им там тоже нечего было есть».

Эрнст и Хильда с двумя сыновьями переехали в Мангейм. Старший мастер — его звали Альвин,— взявший наших мужей на постройку канала, уехал туда же и устроил на работу моего брата Эрнста.

Я была рада, когда Густава снова приняли на завод «Котлы и трубы», так как завод обязался выполнить в срок большой заказ. В то время уже начались увольнения. Густава предупредили: «Помни, на твою работу найдется немало охотников». Но Густав посмеивался. «Этот заказ,— отвечал он,— дал Советский Союз, там люди не боятся, что их вышвырнут на улицу. Сделайте и у нас то же, что сделали они, и вы избавитесь от страха безработицы».

Он так часто и горячо говорил об этом, что его выставили с завода еще до окончания заказа. В конторе заводууправления ему с издевкой сказали: «Жалуйтесь на нас Советскому Союзу. Может быть, он желает, чтобы его заказ выполняли только вы!» На это Густав ответил: «Конечно, лучше бы мне выполнять его!» Он так убедительно и горячо объяснял, почему он безработный, что чужие люди по-прежнему приходили к нам послушать, кто виноват в увольнениях, кризисах, жестоком голоде.

Теперь и отец мой стал безработным. Он был слишком слаб и утомлен, чтобы понимать Густава. Отец даже перестал браниться. Иногда он играл с нашими детишками. Зимой он умер.

С тех пор как Цергибель<sup>1</sup> расстрелял нашу демонстрацию в Берлине, нацисты распоясались. Они нагло и открыто показали себя во всей своей подлости. Нападали на наших мужей. Стреляли по нашим окнам. Рвали в клочья портреты наших вождей, знамена. И у нас в городе господа с гладкими невинными физиономиями — мы-то их знали, а они не знали нас — разъезжали днем в своих автомобилях с хорошенькими девочками, а по ночам науськивали на нас всякое отребье, попавшее к ним в сети. По утрам эти гладкие господа, как ни в чем не бывало, снова усаживались в свои автомобили, а потом однажды утром они появлялись одетые во все черное, с черепами на рукавах. Партия послала нас в Мангейм. Альвин снова устроил Густава на работу. Но Эрнста мы уже там не застали. Незадолго до поджога рейхстага брат перешел в подполье. На второй год существования Третьей империи его арестовали. До ареста он ездил из одного города в другой. Он старался вдохнуть мужество в тысячи людей по всей Германии.

Хильда с ее двумя мальчиками осталась такой, какой была, когда Эрнст Валлау ушел на войну: тихой и мужественной. И когда пришла весть о том, что Эрнст арестован, мужество не изменило ей. Нам всегда казалось, что с нами расправятся не так быстро, как с другими.

И вот мы лежали в постели, тесно прижавшись друг к другу, и, пряча под периной приемник, ловили голос Москвы, все, что творилось в Германии, представлялось нам дурным сном и только этот едва слышный голос — реальностью.

Как только Эрнст сбежал из лагеря, сразу же арестовали Хильду. А когда Эрнста снова поймали, Хильду упрятали в концлагерь. Брата моего убили, а ей сказали: «И ты отсюда живой не выйдешь». Мой Густав, я вам уже говорила, умер спустя десять дней после ареста. Только я одна вышла на свободу. Меня же выпустили потому, что эти собаки хотели пронюхать, кто со мной встречается, существует ли еще Партия и МОПР. Они думали, что я попросту глупая бабенка. На допросах я действительно старалась прикинуться дурочкой. Я получила работу в Людвигсхафене, но нацисты и туда совали свой паршивый нос.

Промышленность работала ускоренными темпами. Люди думали, что это просто чудо.

---

<sup>1</sup> Полицей-президент Берлина.

Я была совершенно одинока. Хильда сидела в концлагере, мать — в доме для престарелых, довольно далеко отсюда. Дочь моя жила в семье сестры Густава, и нацисты говорили, что для моей девочки это благодеяние. Ибо они были нацистами, сестра Густава и ее муж.

Однажды по дороге на завод я встретила мастера Альвина. Мы не решились заговорить друг с другом. Мы хорошо знали, как следят за мной, — только поэтому я и была на свободе. И оба думали: Густав Вольф умер потому, что никого не выдал. Поэтому и Альвин жив. Проходя мимо, мастер чуть заметно подмигнул мне. Не могу вам передать, что это для меня в то время значило, сердце бешено заколотилось от радости.

Прошел год. «Чудо» уже не казалось таким чудесным. Было ясно, что промышленность работает на войну.

Однажды в мою дверь постучали. Это был Ганс, младший сын Эрнста Валлау.

До той минуты я считала, что парень этот — законченный нацист, — на лучшее он не способен. Я знала, что он давно ушел из воспитательного дома, куда поместили мальчиков Валлау. Он жил в семье матерых нацистов. Я собственными глазами видела, как Ганс маршировал с барабаном и дудкой.

Позже он рассказывал нам, будто считал, что его мать умерла. Что отца его наказали поделом. Что фюрер по праву фюрер и нацисты по праву хозяева страны. Он был горд-их похвалой и изю всех сил старался побольше выжать для себя из этих похвал. Своего брата он почти забыл. А если когда-нибудь и думал о нем, то считал, что Карлу живет так же, как и мне. Образ Карла потускнел в его памяти.

Но Карл ничего не забыл. Все в нем бурлило и горело, как и раньше. Вот почему в воспитательном доме так старались выжечь в его душе все следы прошлого. А Карл ни о чем другом, кроме побега, не помышлял. Перебраться через Рейн, переплыть на французский берег — он слышал, как товарищи, принимавшие участие в Рурских боях, рассказывали об этом его отцу.

И так как Карл считал, что Ганс остался таким же, как и он, что брат готов пойти за него в огонь и в воду, то добрался до того города, в котором и поныне живет Ганс. Карл подкараулил его и сказал ему все, так как считал, что Гансу можно сказать правду без утайки.

«Я знаю, с какого места надо отплыть, — сказал Карл. — Но, чтобы попасть туда, нужны деньги. Дostaнь мне их. Попроси у Вольфов».

Позже Ганс рассказывал мне, что ему показалось, будто раскрылась какая-то дверь. Из этой двери выскочил Карл, одинокий и отчаявшийся. Ганс хотел крикнуть: «Нет!» — он не хотел верить брату, но почувствовал, что Карл в отчаянном положении. И если он, Ганс, привязан к брату, то обязан помочь ему. Но вся его легкая веселая жизнь может полететь к черту. Или он должен донести на брата. Нет, этого он не сделает. Ганс ничего не ответил. Он исполнил просьбу Карла.

Я не могу вам сказать, почему я поверила, почему решила, что все это правда. В такие времена научаешься видеть в темноте. И отдала Гансу весь свой недельный заработок.

Конечно, когда он ушел, я начала раздумывать, верно ли поступила, поверив ему.

Ганс помог Карлу. И одновременно начал расспрашивать брата, не сразу, постепенно. Действительно ли умерла его мать? По праву ли нацисты стали хозяевами в стране? Хорошо ли это, когда тебя хвалят нацисты, или этого надо стыдиться?

Карл переплыл через Рейн во Францию, потом уехал в Испанию и вступил в Интернациональную бригаду. После разгрома Испанской республики он вынужден был вернуться во Францию, и его там сдавали фашисты. Его перебрасывали из одного лагеря в другой, пока не пришло Освобождение.

О младшем я очень долго ничего не слыхала. В начале войны с Россией Ганса призвали в армию. Он ушел на войну. Но мне известно, что, приехав в отпуск, он пришел к Альвину, другу своего отца. И сказал ему: «Мне приказывают воевать против русских, а мой отец всегда, всегда был на их стороне. Теперь я вынужден идти против них. Я или погибну, или перейду к ним. Клянусь тебе в этом, Альвин. Пусть об этом знает хоть один человек».

Во время войны нацисты глаз с меня не спускали. К нам на завод пригнали русских девушек. Я ломала себе голову, как им помочь, как доказать, что и в Германии есть люди, которые всем сердцем с русскими. Я была не единственная. Мы нашли путь. Около барака за колючей проволокой чернела яма. Ее прикрывало несколько досок. Ежедневно каждая из нас просовывала сквозь щель куски сбереженного хлеба, а из этой же щели в знак благодарности «вырастал» листик или одуванчик. Мы отдавали все, что могли. Мне становилось горько, когда я думала о страданиях, перенесенных этими девушками. Но в эту щель я просовывала не только куски своего хлеба, но и куски своей жизни. Ведь лучшее я уже отдала — брата и мужа.

Мне было жаль в то время своего зятя Вилли, того самого,

которого я сейчас поджидаю. Он был в 999<sup>1</sup>, и моя дочь Анни давно о нем ничего не слыхала.

Как я тосковала о своей дочери после убийства Густава! Меня терзала мысль, что моя девочка растет у родственников, этих нацистских проныр и лизоблюдов. Вилли заботился о ней, когда узнал, что ее отец — Густав Вольф, которого убили нацисты. В то время она была еще ребенком. А когда выросла стала красивой девушкой.

Ганса взяли в плен и отправили за Урал. Там в антифашистском лагере ему объяснили то, чего уже не мог объяснить ему отец. Другие учителя стали на место отца. После работы пленные учились и читали. Не хватало бумаги и чернил, и первое время они писали на березовой коре.

Густав, мой муж, и Эрнст, мой брат, никогда не бывали в Советском Союзе, а ведь это была их самая заветная мечта. Всегда они об этом думали, хотели хоть разок туда съездить, всегда говорили об этой стране; они вырезывали все картинки, попадавшиеся им, и вешали на стену. Обоих волновало все, что там происходило: они даже знали все подробности о первой пятилетке. Мечтой об этой стране они жили, о ней думали, умирая.

Мы догадались о победе под Сталинградом, когда в бараке русских работников зазвучали песни. За это полагалось тяжелое наказание. Мы тут же услышали хриплую брань надзирателей, топот, побой. Но каждая победа Советской Армии светила в глазах девушек.

После победы русских под Сталинградом для меня наступила пора надежд и новых тревог. Нацисты бушевали. Они тряслись от страха, ибо «тысячелетняя империя» трещала по всем швам. Мне казалось, что после гибели Густава я окаменела. Жизнь и смерть мне стали безразличны. Но теперь мне снова захотелось быть сильной. Я хотела пережить гестапо, воздушные бомбардировки, любую смертельную опасность. Только бы дожить до победы Советской Армии.

Мы не понимали, почему приходится так долго ждать второго фронта на Западе. Да и как мы могли понять, что есть люди, которые ждут, чтобы русские в борьбе с немцами истекли кровью?

Нацисты считали, что навечно упрятали в лагерь мою подругу Хильду, жену Эрнста Валлау. Но я вам уже говорила — она была не только нежна, но и вынослива. На этот раз мы

---

<sup>1</sup> Штрафной батальон.



не просчитались. Нацистам пришел конец раньше, чем нам. Мы с Хильдой еще прожили вместе несколько славных лет. И рассказывали друг другу о пережитом, как рассказываю вам я.

Когда Хильда умерла, я переехала сюда, к своим детям. Ганс и Карл со своими семьями остались на Рейне. Они там нужны. Иной раз обстоятельства там складываются так, что может показаться, будто все начинается сначала. Да, начало такое же: Карл сейчас сидит в тюрьме за работу для запрещенной партии, как когда-то сидел его отец, но дальше все будет по-другому.

Когда я оглядываюсь вокруг, то вижу многое из того, что предсказывал Густав. Он жизнь свою отдал за то, чтобы у нас произошли такие перемены. Мы сами не достигли бы этого. Нам помог Советский Союз. Иной раз я думаю — был бы теперь с нами Густав, видел бы нашу жизнь. Он удивился бы, потому что между его могилой и той частью нашей страны, за которую он погиб, проведена граница. В той, другой части все можно запретить, даже партию, что мы, впрочем, уже не раз переживали. Но нельзя запретить молодым Валлау жить, а Густавам — отдавать жизнь за наше дело.

— Ну, хватит,— сказала она,— я уж вам достаточно рассказала. По сравнению с тем, что сейчас происходит на свете и в Германской Демократической Республике, и на нашем заводе, и в Китае, и в Советском Союзе, по сравнению с маленькой русской луной, которая вертится вокруг земли,— ничего особенного тогда не происходило. Но есть в этом и наш небольшой вклад. Мы все-таки выстояли, не опустили рук.

На улице раздался свист. Женщина подошла к окну, выглянула наружу. Воздух был еще мглистый от тумана или от предутреннего света, поглотившего звезды. Она еще раз обернулась ко мне и сказала:

— Возможно, что одна из нас показывала вам тогда, зимою, фотографию. Конечно, Эрнст и Густав были на ней. Потому что они с первого же дня находились в гуще событий.

# Танс Мархвица



## ПРИЗРАЧНЫЙ СВЕТ

*У жавнятов, которым принадлежали шахты, сундуки ложились от золота, а рудокопы жили впроголодь.*



то произошло в Верхней Силезии, примерно в 1905 году, когда мне было лет пятнадцать. Я еще был тогда подсобным рабочим в шахте Бухац и помогал грузить уголь на участке, где высота угольного пласта доходила до четырех метров. Разработку пласта обычно начинали с конца проложенного штрека,

длина которого достигала двухсот метров, а то и больше; затем поднимали весь массив пласта, продвигаясь к началу штрека. В то время выработку еще не закладывали пустой породой. Через каждые четыре-пять метров ее крепили, подводя деревянные подпорки на небольшом расстоянии друг от друга, но подпорки подгнивали, порода обрушивалась и заполняла выработанные участки. Если же порода оказывалась более крепкой, то за этими выработками со временем образовывались пещеры глубиной более сорока метров, куда редко кто-нибудь заглядывал. Треск надламывающихся креплений каждый раз отдавался громким и в то же время глухим эхом, напоминая выстрел в дремучем лесу. Но нередко проходили целые месяцы, пока крепления не обрушивались частично или полностью, и это сопровождалось обычно громовыми раскатами и ураганами пыли. Вот в какой обстановке приходилось мне работать. Каждый раз, **заступая в свою смену**, я видел перед собой широко разверстную **пасть** подземелья, и она пугала меня своим зловещим скрежетом и хрустом.

**Забойщики, с которыми я работал, были людьми суеверными, да я и сам не уступал им. Вот почему, сгребая уголь, я, сам того не желая, частенько всматривался в хищный мрак лабиринта.**

**«Того гляди Он вынырнет!»** — с опаской приговаривали иной раз грузчики. **От этих слов у всех захватывало дух, и обычно кто-нибудь из старших предостерегал: «Хватит дурака валять — напорочите!»**

Все ожесточенно гнались за углем; грузчики работали без передышки, чтобы как можно скорее доставить вагонетку на площадку; а там все толпились в ожидании порожних вагонеток, чтобы захватить их с боя. Нам платили сорок пфеннигов за вагонетку. Эту сумму делили между собой два забойщика, два грузчика и я (мне, как подсобному, полагалось восемьдесят пфеннигов за весь день), да из них еще удерживали за спецодежду.

В нашем стопятидесятиметровом «бремсберге» работали четыре партии; каждой партии требовалось в смену примерно шестьдесят вагонеток. Если случался обвал в главном откаточном штреке или наступали перебои, оттого что загнанные лошади вставали на дыбы, то тогда, в ожидании работы, мы ложились наземь друг подле друга. Но как только после продолжительного перерыва прибывал обоз с углем, все вскакивали и наперебой старались захватить порожние вагонетки.

От этой погони люди зверели. Среди грузчиков и забойщиков были даже такие, которые не стеснялись мошенничать, они подменяли номера на груженных вагонетках и тем самым обкра-

дывали своего же брата, лишая его даже такого ничтожного заработка.

Одно время в этом подозревали забойщика Климека из второго промежуточного штрека. Однажды его накрыли и избили до полусмерти. Климек умолял простить его, он уверял, что не мог вернуться домой, почти ничего не заработав. И его нельзя было не пожалеть, ведь он был кормильцем четырнадцати душ. Вот почему и в этот раз над ним сжалились и отпустили. С тех пор он как будто не попадался.

В нашем длинном бремсберге мы торчали дольше всех, и даже в условиях своевременной, бесперебойной откатки нам все же не хватало вагонеток. Нашим парням едва удавалось нагрузить за смену сорок вагонеток, а иной раз и того меньше.

Но вот и другие партии, работавшие ниже, столкнулись с непредвиденными препятствиями.

Где-то далеко, в глубине подземелья, они видели уже несколько раз странный, почти неподвижный свет, и никто не мог понять, что бы это значило. Никто из шахтеров не спускался еще в эту жуткую пропасть. Одинокaя лампа, излучавшая красный свет, не давала людям покоя, они с трудом продолжали работу. Огонек то блуждал, то замирал там, где, как известно, от малейшего дуновения все рушилось. «Да вы спятили! — орал штейгер, когда ему об этом рассказывали. — Скорее всего, это гнилушка, — говорил он. — Гнилая древесина светится, а когда на нее падает луч лампы, она отливает красным». В то время мы еще ходили с открытыми керосиновыми лампами.

Работа не спорилась, всех словно пришибло. Вот и на нашем участке мелькнул призрачный свет. Я первый увидел этот огонек, и все во мне замерло. Когда я сказал об этом остальным, они сразу же бросили работу. Все в ужасе уставились в одну точку. «Непонятное дело... — говорили более пожилые. — Если это человек, то что же ему там нужно, что он там ищет. Нет, не похоже, лампа не движется, словно повисла в воздухе. Нет, это не человек!»

Временами свет неожиданно исчезал, и при этом решительно ничего не было слышно, кроме потрескивания подпорок и шороха осыпающейся породы. Но, как только мы начинали работать, свет появлялся снова. «Нет, тут дело нечисто!» — заявил наконец наш старший грузчик Антон Пшибилла, который был убежден, что это появляется Он (Он — легендарный горный дух). Почувяв недоброе, Пшибилла перестал грузить; он бросил вагонетку и ушел на площадку. Там он пролежал битый час.

В эту смену мы нагрузили всего двадцать вагонеток. На сле-

дующий день мы ожидали снова увидеть огонек, но он больше не загорался. Зато шахтеры, работавшие ниже нас, уверяли, что видели его в старом забое. И они тоже из-за этого почти ничего не выработали. Удивительно, что никто из работавших в партии Климека еще ни разу не видел таинственного огонька. Показатели их выработки, стоявшие на самом верху доски, оставались неизменно самыми высокими.

В одну из следующих смен, когда я уже готов был поверить, что это светится гнилушка, я снова увидел призрачную лампу. «Опять свет!» — воскликнул я, испугав всех остальных. Наш старший — Вицек Шпира поспешно сошел с лесенки и перекрестился. «Больше я здесь не останусь ни минуты», — сказал Антон Пшибилла и убежал. На этот раз мы все последовали за ним. Улегшись на площадке, мы стали ждать штейгера. «Разве может человек забраться в такую пропасть и остаться в живых?» — спрашивали мы себя. Мне даже почудилось, будто я вижу едва заметную тень, заставшую между креплениями. Я готов был в этом поклясться.

«Надо все-таки приниматься за дело», — говорили забойщики, вспомнив о том, как мало они в эту смену нагрузили вагонеток. Наконец старший неуверенными шагами побрел на свое рабочее место. Мы затаили дыхание и немного успокоились только тогда, когда он нам оттуда крикнул, чтоб мы шли, что никого и ничего там нет. Собравшись с духом, мы вернулись. Но едва грузчики приступили к работе, как лампа зажглась снова. Опять мы все побросали, и на этот раз Вицек Шпира не смог бы нас вернуть ни уговорами, ни угрозами. Мы лежали до тех пор, пока не явился штейгер. Он заорал на нас: «Это еще что?! Вот уже больше двух часов, как от вас не поступает ни одной вагонетки!» Тогда Антон Пшибилла рассказал ему о таинственной лампе. «Да вы что, спятили, что ли?! — рассвирепел штейгер и побежал в глубь лабиринта; оттуда он крикнул: — Вадор! Что это вам все мерещится? Ничего, ровно ничего не видно!» И чтоб нас окончательно успокоить, он стал пробираться между перегородками еще глубже, осветил своей большой лампой все вокруг и закричал: «Когда же вы наконец образумитесь? Только нагоняете страх друг на друга!»

После этих слов мы снова приступили к работе. Каждую минуту я поглядывал то направо, то налево, но света нигде не было видно, и он не появлялся до конца смены.

В тот день мы не нагрузили даже двадцати вагонеток, и, если б дело так пошло дальше, нам бы пришлось сидеть на одном хлебе.

Когда я, озабоченный завтрашним днем, спускался с нашими в бремсберг, кто-то из бригады Климека вдруг остановил нас:

— Стойте! Погодите! Наш Климек пропал!

— Как так пропал?

Тут забойщик стал сыпать проклятиями и завопил:

— Ах, дурак, дурак, вот теперь за дурость свою и рас-  
плачивается...

Все еще не понимая, Вицек Шпира спросил:

— А что с ним случилось?

— Что случилось? Да! лежит где-нибудь под обломками! —  
продолжал тот.

Мы не могли понять, о каких обломках идет речь. Наконец Вицек Шпира понял. Он впился взглядом в наши лица и перекрестился. Потом перевел взгляд на доску выработки Климека, на которой было выведено мелом семьдесят черточек, и с трудом вымолвил:

— Неужели из-за нескольких порожних вагонеток? Ну, если он из-за этого полез туда, так пусть теперь сам оттуда и выбирается, — и без тени сожаления пошел дальше.

Лишь пройдя метров сто, он остановился, одумался и охрипшим от волнения голосом крикнул:

— За мной, ребята! Вернемся: как-никак, а четырнадцать голодных птенцов!

И, следуя за ним, мы стали карабкаться по склону.

Конечно, это было безумием — облазить все штреки снизу доверху, то, что Климек, видимо, проделывал три-четыре раза в смену. Мы искали его, рискуя жизнью, пробираясь куда только было возможно, звали его, но ответа не было. Несомненно, он находился где-то здесь, в этом скрипящем и грохочущем лабиринте. После нас продолжала искать дневная смена: облазили все места крупных обвалов, обшарили все закоулки, проползая под круто нависшими слоями породы, и в конце концов должны были приостановить поиски, чтоб не пришлось вытаскивать еще мертвецов.

Никогда больше не видели мы того огонька, не видели больше и Климека.

А когда однажды утром мы пришли на работу, то не нашли ничего. В нашей шахте — обиталище призраков — произошел обвал, все рухнуло до последней подпорки.

# Адам Шаррер



## ХОЗЯИН В ДОМЕ



обротный двухэтажный дом с прекрасным фруктовым садом да гектаров тридцать земли — таким было хозяйство Тинтера. Что ни говорите, — один из лучших крестьянских дворов в Унтерлойтене. В хорошие времена владение это приносило солидный доход, но когда число безработных в стране перева-

лило за миллион и при всей голодухе денег на мясо и молоко у них не было, крестьянам стало труднее сбывать продукты, хотя цены сильно упали. Вот почему пришлось и Тинтеру влезть в долги. И задолжал-то он какие-то шесть тысяч марок — для такого хозяйства сумма незначительная, — как раз столько составляла та доля, которую Тинтер при разделе имущества должен был выплатить старшему сыну Конраду.

Но для Тинтера такой оборот дела означал нечто гораздо более глубокое, серьезное. А ссора с Конрадом только подтвердила это.

Беда в том, что Конрад вздумал жениться. Но его избранница пришлось Тинтеру совершенно не по вкусу. Она была дочерью кузнеца из Оберлойтена, и эта женитьба, по мнению Тинтера, не могла кончиться добром. Во-первых, при кузнице было мало земли, во-вторых, Конрад же не кузнец, а отцу будущей невестки уже за шестьдесят. Невестка не понравилась Тинтеру и по другой причине: она во всеуслышанье заявляла, что не видит радости в том, чтобы от зари до зари гнуть спину в поле, а в воскресный день, в виде единственного развлечения, ходить в церковь. Она любила потанцевать и посмеяться, любила ездить с Конрадом в город на ярмарку, носила хорошо сшитые, обтягивающие фигуру платья, а фигура у нее была такая, что редкий мужчина не оглядывался на нее. «Легкомысленная, взбалмошная бабенка», — решил Тинтер. Он понять не мог, почему Конрад отказывался от богатых, гораздо более выгодных невест.

Но еще больше злился Тинтер от того, что Конрад не желал отнестись серьезно к его поучениям. А мать только сокрушалась: «Ну прямо околдовали его». Так гнев Тинтера все накапливался, пока однажды не разразился ужасный скандал. Тинтер мог объяснить поведение Конрада только тем, что и он заражен всеобщим легкомыслием и жаждой легкой жизни, которые так широко распространились по свету, почему теперь все и пошло кувыркром и жизнь никак не может наладиться. Эта зараза, по мнению Тинтера, проникла и к нему в семью, и было бы преступно потакать сыну, проявляя столь вредную уступчивость. Он выплатил Конраду его долю и навсегда запретил сыну переступать порог родного дома.

Тинтер был упрям, и его не смягчило даже то, что Конрад зажил с женой дружно, хоть и по-своему, не как все. В свои двадцать пять лет Конрад стал учеником у тестя-кузнеца и был в отношениях с тестем настолько покладистым, насколько он был строптив с отцом. Вскоре Конрад уже стал самостоятельно



выполнять несложные работы, а так как он был из тех, в ком живет любознательность и у кого каждое дело спорится, он радовался удачам в работе, а жена и тесть были довольны не меньше него, и когда орудовать большим молотом стало старику не под силу, Конрад мог уже сдать экзамен не только на кузнеца, но и на каретника, и сдал его.

Но и это не повлияло на Тинтера, — гораздо важнее, что сын восстал против отца. Неповиновение родителям в семье Тинтера считалось преступлением. И лишь Маргарита и Кристоф — дочь и второй сын Тинтера, — еще жившие с ним, служили для него утешением.

Кристоф, по своему складу, был полной противоположностью брату. Тупой, наделенный медвежьей силой парень после нескольких кружек пива становился необузданным и свирепым, как дикий зверь. И когда штурмовики бесчинствовали в деревне, жители Унтерлойтена больше всего на свете боялись его. Кристоф, несомненно, стал бы штурмфюрером СА, если бы годился хоть на что-нибудь, кроме мордобоя. Он хвастал тем, что без труда переломает ребра кому угодно, и это не было пустым бахвальством: «массаж ребер» стал для него настоящим спортом и принес ему громкую славу среди штурмовиков.

Маргарита была еще слишком молода, и хотя она стояла на стороне Конрада и его жены и иногда тайком навещала их, заступиться за них перед родителями не смела. Так без всякой причины в душе Тинтера разрасталась злоба на Конрада и его жену. Эта злоба жадно искала себе все новую пищу и находила ее. В деревне много болтали об этой ссоре, а Тинтер и не пытался узнать, действительно ли Конрад с женой намекаются над ним. Он верил всему, впитывал все слухи, словно чистейшую правду, и при каждом удобном случае срывал злобу против старшего сына на младшем, что приносило свои плоды.

Конрад не был штурмовиком. Собственно говоря, он испытывал отвращение к этому «движению» по тем же причинам, по каким порвал с отцом. Конрад не мог признать, что каждый, живущий иначе, чем предписывает какой-либо «фюрер», непременно подлец или, как теперь говорили, изменник фатерлянду и место ему на виселице. Пример многих жителей из Оберлойтена лишь подтверждал мнение Конрада. В большинстве они были настроены иначе, чем люди из Унтерлойтена.

В Оберлойтене находился большой кирпичный завод. Его владелец платил рабочим нищенское жалованье и, загребая

кучу денег, душой и телом был предан нацистам и агитировал за них. Это внушало рабочим недоверие, и среди них немало таких, которые в спорах неизменно одерживали верх над нацистами. К тому же одним из нацистских главарей в Оберлойтене был владелец пивоварни Хольцапфель, которого крестьяне хорошо знали. Последние тридцать лет он не без задней мысли ссужал деньгами под высокие проценты тех крестьян, которых эти новые долги наверняка должны были разорить. Он рассчитывал, что рано или поздно сможет наложить лапу на их жалкие участки. Таким путем да еще с помощью бесконечных тяжб Хольцапфель прибрал к рукам несколько тысяч гектаров пашни и леса. Не удивительно, что к подобным вожакам крестьяне относились с недоверием.

Но в Унтерлойтене оказалось еще немало таких людей, как Тинтер,— деревня находилась в часе ходьбы от станции, поэтому рабочих там было мало, и штурмовикам легко удалось запугать непокорных. Нацисты из Унтерлойтена считали, что штурмовикам в Оберлойтене не удастся достичь успеха потому, что им еще чужд истинный дух СА. И вот в одно из воскресений штурмовики Унтерлойтена решили сделать вылазку в Оберлойтен, чтобы показать своим тамошним единомышленникам, как нужно воспитывать «красный сброд».

Следует отметить, что для штурмовиков Унтерлойтена это выступление кончилось плохо. Нет, их не победили в драке пивными кружками, ножами и револьверами. До этого не дошло, но результат оказался еще позорнее, чем поражение в бою. Просто в трактире «Новый почин» не было никого, с кем можно было затеять потасовку. Уже изрядно подвыпив, штурмовики отправились к гостинице «Силач». Там, как и каждый год, объединение фабричных рабочих устраивало в это воскресенье свой традиционный летний праздник. Насколько хватало глаз, пустошь вокруг трактира была полным-полна народом, так что штурмовикам не удалось даже развернуться. Стоило кому-нибудь из них слово сказать, как его сразу же окружало грозное кольцо рабочих. Все говорило о том, что в случае драки штурмовикам нечего рассчитывать на победу, ибо презрение к ним было всеобщим. Поэтому им ничего не оставалось, как выпить побольше и ретироваться через час-другой во-сво-яси.

Кристоф был вне себя от того, что ему не удалось испробовать свою силу. В ярости он так нализался, что брел, спотыкаясь и пошатываясь на каждом шагу, а коричневая рубаша облипла его как мокрый мешок. Отряд из Унтерлойтена маршировал

вдоль железнодорожного пути, как вдруг Кристоф с возгласом: «Держи его!» — выскочил из рядов и вознамерился перебежать через рельсы. Ему показалось, что на той стороне идут Конрад с женой и что они смеются над ним. Кристоф рывкнул: «Я отучу вас смеяться, паршивцы». В тупой ярости он не обратил внимания на маневрировавшие товарные вагоны, не слышал окриков и предостережений, а когда какой-то штурмовик попытался оттащить его в сторону, Кристоф сбил того с ног ударом кулака и, ничего не видя перед собой, метнулся навстречу катившемуся на него вагону. И все с ужасом увидели, как Кристоф, подхваченный буфером вагона, стукнулся головой о рельсы, глухо застонал, захлебнулся рвотой и испустил дух, прежде чем подоспели носилки.

Маргарите в ту пору исполнилось девятнадцать лет, и хотя она была единственной наследницей хутора, никто к ней не сватался. Тинтер стал относиться недоверчиво и к Маргарите. Он опасался, что она откажет угодным отцу и негодным ей женихам и преподнесет ему в один прекрасный день какой-нибудь сюрприз. Недоверие Тинтера возросло, когда Маргарита принялась расхваливать усердие их молодого батрака, с подозрительным старанием занялась починкой его белья и застлала полки в его шкафу чистой бумагой. Когда она отправлялась с батраком на полевые работы, Тинтеру чудилось, что она полна какой-то тревожной радости. Тинтер тяжело переживал недавнюю беду и, увидев однажды из сарая, как батрак и Маргарита уходят со двора, почувствовал приступ страха перед новым несчастьем; тогда он решил во что бы то ни стало помешать их сближению. Походка и жесты Маргариты вызывали в нем неприятное воспоминание о жене Конрада. Батраку было двадцать четыре года; стройный, широкоплечий, он фигурой и манерами удивительно походил на Конрада.

Советоваться с женой о семейных делах было не в обычае Тинтера. Он считал, что в таких вопросах женщины слишком мягкосердечны и ненадежны. В этом настроении и застал его Кантор, который в ту пору приехал к нему. Кантор был единственным человеком, с которым Тинтер иногда советовался. С приходом нацистов к власти Кантор пошел в гору. Раньше он был только представителем фирмы по продаже сельскохозяйственного инвентаря и машин, но благодаря активному участию в ликвидации евреев ему удалось захватить старинное прибыльное дело фирмы Кацман. Теперь он торговал рисом и манной,

кофе и водкой, сигарами, табаком, мылом, минеральными удобренными, хмелем, колесной мазью и вином — словом, всем, что нужно крестьянину.

Когда Тинтер рассказал ему о своих заботах, Кантор взглянул на приятеля своими хитрыми водянисто-голубыми глазами и сказал:

— Да, молода... ядреная девка. Пришло, видно, время, а перегретому пару нужно дать отдушину, не то он сам ее найдет. Тут надо не упустить минуту и действовать с толком.

Тинтер со смаком затянулся сигарой и выпустил дым через ноздри; трудно было угадать, думает ли он о дорогой сигаре, об ответе Кантора или о погоде, так как в это время начал накрапывать дождь. Дождь пошел сильнее, и Кантор спросил, не найдется ли у Тинтера места для его лошади и повозки, а то ведь о деле они еще не поговорили.

— Ну конечно! — ответил Тинтер. — А потом зайдите ко мне, выпьем кофе.

У Кантора тоже были дети, но радости он от них не видел. Уже давно тянулся бракоразводный процесс его дочери, муж которой оказался не «чистокровным арийцем». Другой зять обанкротился, потерпев при этом огромные убытки, и лишь с трудом его удалось пристроить в отряд СА. Обо всем этом Кантор уже рассказывал Тинтеру раньше. Не раз сживали они зимними вечерами в маленькой комнатке у теплой печки. После кофе Кантор, бывало, всегда угощал Тинтера водкой. Так случилось и сегодня.

Тинтер и Кантор быстро сошлись на том, что Маргарите пора стать хозяйкой усадьбы. Но ей нужен и хозяин. И, уж конечно, не кто попало. Кантор много ездил по стране и многое повидал на своем веку, он знал немало случаев, когда в результате, так сказать, «любви с первого взгляда» заключались необдуманные браки. Конечно, подходящего жениха найти можно, но иной вдруг оказывается неловким с женщинами, что наблюдается нередко у людей серьезных и практичных; многим крестьянам Кантор уже помогал в подобных делах.

И Кантор назвал человека, который, по его мнению, подошел бы Маргарите. Его зовут Густав Хершке, родом он из села Габхорн в соседней округе. Есть у него несколько тыщенок наличными да несколько гектаров земли. Ему тридцать лет, это бережливый, сильный, работающий человек.

Тинтер молчал. Кантор понял причину. Трудно их познакомить друг с другом. Но Кантор нашел выход. До уборки хлебов

осталось несколько недель, а Тинтеру нужны работники. Вот случай узнать этого человека в работе и в домашнем быту.

— Возьми-ка его старшим работником,— предложил Кантор.

Помедлив, Тинтер согласился:

— Пусть зайдет, если хочет.

Пора было ужинать. Кантор не отказался от копченого мяса и пива. Тинтер оплатил какие-то счета, кое-что заказал; Кантор преподнес Тинтерше плитку шоколада, а Маргарите флакон духов. Потом он запряг лошадь, распрощался и уехал.

Густав Хершке явился точно к началу уборки. На смену тихим крестьянским будням пришла страдная пора. Пока погода стояла ясная, на обед отводился час, а на завтрак и полдник не более получаса. В это время работники и работницы отдыхали в тени. Но когда голод и жажда были утолены и разгоряченные тела успели остыть, начинались шутки и смех.

Только Хершке не шутил и не смеялся. В этом человеке чувствовался какой-то внутренний холод, и если он, бывало, засмеется, то не от души, а как будто насмехаясь над глупым ребячеством других. С таким же неподвижным лицом и той же педантичностью, с какими он отбивал, точил, обкашивал и проверял косу, прежде чем ею замахнуться, отрезал он перочинным ножом большие ровные куски хлеба и колбасы и на конце лезвия подносил их ко рту. И всегда первым опять брался за работу. С таким же тупым усердием он маршировал в строю штурмовиков.

Когда сено и хлеб были убраны и большая часть жнецов получила расчет, оказалось, что Хершке нанят не только на время жатвы. Проржавели и ослабли петли у ворот, и он укрепил их. Потом починил выбитые ступени крыльца, побелил курятник. Раньше, когда в соломорезке притуплялись ножи, их обычно отвинчивали и посылали в городскую точильню. Теперь же, когда батрак собрался их отвинтить, Хершке заявил, что ножи можно наточить и дома. Но точильный камень у Тинтера был весь в зазубринах, и точить ножи стало сущим мучением. Батрак вращал точило, а Хершке с таким ожесточением прижимал ножи к камню, что батрак весь вспотел и руки у него онемели. Хершке снова привинтил ножи и велел батраку вращать соломорезку. При этом Хершке все время делал вид, будто ему давно следовало прийти в усадьбу Тинтера, чтобы навести порядок.

Усердие Хершке пришлось Тинтеру по душе.

Хершке сделал новые тормозные колодки на повозках и несколько новых перекладин к дробинам, починил забор со стороны ручья, чтобы деревенские гуси не забирались в фруктовый сад, укрепил в бороне несколько распатанных зубьев, а к телеге сделал новое дышло.

Как-то Тинтеру предложили выделить двух людей на общественные работы. Тинтер сообщил об этом Хершке. Если Тинтер и батрак уйдут, а Маргарита будет косить клевер, то кто же будет вывозить его?

— Я могу возить,— предложил Хершке.

— Посмотрим,— сказал Тинтер.

Хершке прямоком отправился в конюшню, чтобы узнать у батрака, какая нужна упряжь и где что висит.

— Тебе-то какая забота? — спросил его батрак, а Хершке сухо ответил:

— Сегодня после обеда ты пойдешь на общественные работы, а я помогу Маргарите — буду возить клевер.

— Ты будешь возить? — удивленно спросил батрак.

— Конечно,— ответил Хершке, не глядя на него. Он взял кнутовище и стал сгибать и разгибать его.

Это «конечно» и все поведение Хершке совсем разозлили батрака.

— Пусть сам хозяин мне прикажет,— сказал он,— тогда я буду знать, что делать, а пока что проваливай.

Хершке выпрямился и сказал с притворным удивлением:

— Да ты что? Ссориться захотел ни с того ни с сего?!

В конюшню было темно, иначе Хершке увидел бы, как батрак вдруг побледнел, и поспешил бы убраться подобру-поздорову. «Ссориться? С тобой?» — услышал Хершке. И в тот же миг Хершке уже лежал посреди двора.

Тинтер шел в конюшню, чтобы поговорить с батраком, и в недоумении остановился: он сразу же все понял по лицу Хершке. Оно было белым, как известка, а в серых, кошачьих глазах сверкала едва сдерживаемая ярость. Тут батрак вышел из конюшни и сказал, обращаясь к Тинтеру:

— Отдайте мне деньги и документы. Вам ведь на руку будет, если я уйду сегодня же до положенного срока.— И батрак отправился в дом, в свою каморку.

Тинтер последовал за ним. Он нагнал его в сенях.

— Смотри, захочу, и ни гроша ты у меня не получишь,— сказал он,— ты ведешь себя так, будто ты здесь хозяин, и не больно толковый хозяин.

— Не к лицу вам так говорить, — возразил батрак. — С тех пор как пришел этот парень, не поймешь, что здесь творится. Только он, видно, знает, чего хочет, да, может быть, и вы это знаете.

— Получай свои деньги, и дело с концом, — отрезал Тинтер.

Он пошел к себе, достал деньги и документы. Через час из каморки вышел работник со своим сундучком.

— Желаю тебе всего хорошего, — сказал Тинтер и отдал батраку деньги и документы.

Затем батрак простился с хозяйкой и с Маргаритой. Кроме «до свидания», они не сказали друг другу ни слова.

О случившемся скоро узнала вся деревня. На место батрака Тинтер нанял Хершке, и это послужило пищей для новых разговоров: Хершке-де прочат в мужья Маргарите, он-де ее «суженый».

Между тем стало известно, что Хершке пошел в работники не из-за денег. Кантор рассказывал это всем и каждому и любой разговор умел перевести на эту тему. Он оценивал состояние Хершке в десять тысяч марок, сообщил, что братьев и сестер у него нет, отец умер, а мать уже в годах. Десять тысяч марок — это ведь изрядная сумма, а в руках человека, который знает счет деньгам, этот капитал быстро удвоится. Уж такому человеку вполне можно доверить усадьбу Тинтера.

— Чего только не болтают люди, — сказала однажды Маргарита матери.

— А что? — заинтересовалась мать.

— Говорят, будто Хершке станет моим мужем.

— Может, они завидуют? — сказала мать.

— Завидуют? — Вытаращив глаза, Маргарита посмотрела на мать. — Завидуют? Чему же? — ответила она вопросом на вопрос.

Лицо матери стало серьезным.

— Немного найдется на свете мужчин с честными намерениями, — сказала она, — для многих усадьба служит приманкой. Приятно ли знать, что льстятся на хозяйство, а не на невесту. А когда дело доходит до женитьбы, надо все взвесить. Хершке уже спрашивал отца, подходит ли он нам, родителям, как зять. Отец навел справки насчет прошлого Хершке, и по всему видно, что он работающий, бережливый, положительный человек. Да и в дом он придет не с пустыми руками, так что стариковский надел не будет для хозяйства слишком большим бременем.

Мать замолчала и посмотрела сквозь очки на свои натруженные морщинистые руки.

— Подумай, Маргарита,— сказала она напоследок и пошла в сад.

Через неделю был день рождения Маргариты. Тинтер спросил ее, можно ли пригласить и Хершке. Хершке уже не раз оказывал ему услуги, и если его не позвать, он решит, что они загордились.

— Мне все равно,— ответила Маргарита.

Без радости наблюдала она за приготовлениями матери, без радости принимала поздравления гостей. Кантор прислал две бутылки вина и бутылку ликера заграничных марок в золотых станиолевых обертках.

Хершке пришел в форме штурмовика, все на нем было такое новое, что даже топорщилось. Он купил Маргарите золотые часы в синем бархатном футляре под номером 585.

— Я не могу этого принять,— сказала Маргарита.

— Не ломайся, Маргарита! — важно сказал Хершке. — Не вернешь же ты их, если внутри уже выгравировано твое имя.

Маргарита стояла в смущении, не выказывая ни радости, ни благодарности.

— Садитесь,— пригласила мать. — Я сейчас подам кофе. Пойдем, Маргарита, помоги мне!

Маргарита помогла накрыть на стол, налила Хершке кофе и села в конце стола на скамейку рядом с матерью.

— Ты даже не сказала, понравились ли тебе часы,— заметила мать.

— Понравились,— ответила Маргарита. — Почему же они должны мне не нравиться?

Кофе пили молча, затем поговорили о погоде, работе, урожае, об истреблении евреев и марксистов, о ценах на зерно и мясо. Мужчины перешли в сад, осмотрели и одобрили созревающие плоды.

В это время по мосту проехала повозка, в которой восседал Кантор, собственноручно правивший лошадьми. Он громко поздоровался через забор. Тинтер поспешил распахнуть ворота. Кантор вылез из коляски, подошел к Маргарите и сказал:

— Нашей новорожденной троекратное ура!

Он одобрительно и удивленно разглядывал Маргариту.

— Ого-го, девочка! — сказал он. — Будь я лет на двадцать моложе, ни за что бы не поручился.



Кантор не скупился на шутки. Зазвенели стаканы. Затем Кантор достал из своей коляски патефон и пластинки и завел:

Кто спешит сюда опять?  
Посмотрите сами —  
То идет влюбленный зять  
Быстрыми шагами!

Первыми пошли танцевать Кантор и Маргарита. Затем Кантор танцевал с матерью Маргариты. Налили по второй стопке водки и еще по кружке пива, выпили вина. Теперь с Маргаритой танцевал Хершке, осторожно, торжественно и как-то деревянно.

Вскоре родственники собрались домой. Тинтер проводил их на станцию. Потом Кантор, Тинтер, Хершке и еще несколько штурмовиков пошли в трактир. Мать села с Библией у стола. В следующее воскресенье в городе была осенняя ярмарка. Утром, встретив Маргариту в саду, Хершке спросил:

— Пойдем вместе на ярмарку?

Маргарита испуганно взглянула на него.

— Слушай, Маргарита, — продолжал Хершке, — ты уже, наверное, поняла, куда я клоню. Не обижайся, что я рублю сплеча. Но должен же я тебе сказать: не могу я жить без тебя!

— Ну, это ты хватил, — ответила Маргарита.

Она не захотела пойти с Хершке на ярмарку, но Хершке не унывал.

— Помнишь, о чем я вчера спрашивал тебя, Маргарита, — сказал он на другое утро. — Что же ты не ответишь на мой вопрос?

Это было в сарае, они собирались выкатить телегу.

— Не так это просто, — сказала Маргарита.

— Я никогда долго не жду, — пригрозил Хершке и хотел обнять девушку.

Она вырвалась от него, ухватила за дышло, и лошади тронули.

Конрад тайно прислал Маргарите письмо, он просил ее подробно написать, как идут дела в семье и на усадьбе.

И вот Маргарита сидела уже над вторым письмом к Конраду; первое она разорвала, недописав. Она решила сообщить ему, что дома скоро все пойдет по-другому, но боялась его встревожить, не хотелось писать, что сама-то она совсем этого не желает. Вышло путаное послание, написанное плохо и сбивчиво. В камере было душно. Маргарита устала, в душе она ощущала

тревогу, внутри что-то жгло. Она сняла блузку и начала снова: «Дорогой брат... ты будешь удивлен... Мне о многом надо тебе написать... Так вот...»

Вдруг Маргарита в испуге вскочила. Не мигая, она уставилась в лицо Хершке и стала отступать, прикрывая руками грудь.

— Что вам надо? — спросила она растерянно.

Хершке подошел ближе.

— Я буду кричать! — пригрозила Маргарита. Но она уже почувствовала на груди и на шее жесткие руки Хершке, а на губах — его колючие усы. Хрипя и задыхаясь, она пыталась вырваться, но позади нее была постель. Колени ее подогнулись.

— Теперь-то я уже ни за что не буду ждать, — прошипел Хершке, — ни за что.

Через три месяца в доме Тинтера отпраздновали свадьбу. На Маргарите был миртовый венок, символ девичьей чести, — этого потребовала мать.

И вот Хершке стал хозяином в доме Тинтера. Он всюю пользовался своим новым положением. Может быть, старик Тинтер прожил бы дольше, но уж больно несправедливым показалось ему, что Хершке выделил старику только тесную каморку, где он должен был доживать свой век. Он не мог освоиться и не мог примириться с тем, что в судейских документах было черным по белому сказано, будто бы Хершке имеет на все это право. Старик Тинтер стал быстро дряхлеть. Наконец его хватил удар, и он умер, а через год за ним последовала и жена.

Маргарита безропотно работала от зари до зари. В страду, будучи на сносях, она косила траву в сырой низине. У нее родилась тройня. Потом ее пришлось поместить в больницу для душевнобольных. Через два месяца она вернулась. Ни одному человеку не говорила она о своем муже ни худого, ни доброго слова.

Однажды деревню облетела печальная весть: Тинтерова Маргарита перерезала себе горло.

Судей больше всего интересовал вопрос о том, может ли человек сам себе перерезать горло до позвонков. Эксперты утверждали, что при помрачении рассудка это возможно. Так как у Маргариты еще при ее жизни были признаки психического расстройства, Хершке оправдали.

# Оскар Мария Граф



## НЕПРАВЕДНЫЕ ДЕНЬГИ

1



Всякий раз, когда я вспоминаю детство, в памяти возникает трогательный образ двух странников; каждый год после рождества богородицы они приходили к нам в деревню с шарманкой и назидательными картинками. То был маленький, тощий, словно высушенный моряк из неведомых краев и его сгорбленная

слабенкая жена. Он крутил шарманку, а она вешала картинки на шест и пела тихим дребезжащим голосом стих за стихом, водя камышовой тросточкой по рисункам. Иногда она предостерегающе, но вовсе не грозно, поднимала свой скрюченный палец, окидывала нас, ребятишек, добрым-предобрым взглядом и покачивала головой, как бы говоря: «Вот видите, что бывает с дурными людьми».

Мы стояли тут же, кружком, словно замороженные, ловили каждое ее движение, тараща глаза и ахая в самом страшном месте баллады; замирая от страха, смотрели мы то на кровавую картину Страшного суда, то на старушку и облегченно вздыхали, когда начинался заключительный стих.

Человеку не пристало век свой к золоту, стремиться.  
Деньги — дьявольское зелье — радости не принесут.  
Знай, когда ты их добьешься, жизнь твоя уже промчится,  
Будет ждать тебя могила и суровый божий суд.

О, я вижу ее как сейчас, милую моему сердцу старушку, я часто слышу ее голос, он звучит где-то в вышине над нашей глупой и суетной жизнью, и тогда я снова чувствую себя по-настоящему счастливым.

У старика была редкая бороденка клинышком и усы, придававшие ему отдаленное сходство с Наполеоном Третьим. Его темное худое лицо обрамляли редкие белоснежные волосы, завитками падавшие на угловатые плечи. На коротком толстом носу торчали круглые очки, сквозь которые смотрели веселые, выцветшие, чуть раскосые глаза. Круглую, как шар, голову венчала некогда белая матросская фуражка, окаймленная рыжевато-коричневой лентой с выцветшей неразборчивой надписью; закрученные концы ее болтались на шее. Еще живописнее был костюм. Старик всегда носил короткий, распахнутый на груди, порывевший от времени матросский бушлат с медными пуговицами, а под ним тельняшку с широкими красными полосами. Узкий, туго стянутый пояс поддерживал поношенные синие штаны, непомерно широкие внизу. Обут он был в пыльные, стоптанные сандалии на босу ногу.

Но самым примечательным у старика было не это, а один удивительный изъян, происхождения которого никто не знал. Прямо над кадыком у него зияла дыра, и оттуда торчала серебряная пробка толщиной в палец, прикрепленная с обеих сторон кожаными ремешками; не то что громко говорить, даже шептать старик мог лишь с огромным трудом. Для этого ему приходилось нажимать на пробку пальцем, и все же понимали его

лишь немногие. Тронут его за руку — он наклонится, приветливо улыбнется, спросят о чем-нибудь — он торопливо выдавит из горла несколько хриплых звуков, как-то смешно сложит губы, посмотрит на жену, взмахнет при этом правой рукой, и старуха за него ответит.

От нее любопытные и узнали, что старик участвовал в морском сражении, был ранен, и вот уже много лет, как и другие ни на что уже не годные калеки, скитается по стране. В ее словах не было ожесточения, она говорила добродушно и только время от времени поглаживала мужа по голове, лицу, смотрела на него преданным любящим взглядом да целовала в щеку.

— Не тужи, старик!.. Мы никому не сделали зла, и господь никогда не оставлял нас, — так чаще всего кончала она на своем альгейско-тирольском диалекте. — Ведь с нас довольно и охапки сена на ночь. Так неужто господь не припасет нам хорошее местечко на небесах...

Они были всюду желанными гостями, но мы, дети, радовались им больше всех. Казалось, к нам пришли герои удивительных сказаний, таинственные, но чем-то очень родные и близкие. Конечно, мы побаивались их, но с их появлением в нашу деревню вторгался целый мир, неведомый и красочный, — и как это будоражило детское воображение! Мы выдумывали про стариков удивительные истории. Они доставляли нам такую же радость, как рождественский Дед-Мороз или крашенные яйца на пасху. Да и взрослые относились к старикам почтительно и втайне даже побаивались их, потому что старуха очень хорошо гадала на картах и уж многим в деревне напророчила такое, что потом точь-в-точь сбылось. Не удивительно, что им подавали больше, чем другим, и каждая семья рада была залучить их к себе, на ночь. Но старушка брала только самое необходимое, так что, говоря про охапку сена, она несколько не кривила душой.

Старики всегда останавливались в нашем доме. Им всякий раз отводили постель, а они укладывались спать на сене в хлеву за коровами.

Какой это был праздник для нас! После обеда в дом битком набивалось народу, все усаживались за стол, какое-то время шел общий разговор, потом старуха вытаскивала карты, старательно тасовала их и не спеша водружала на нос очки в заржавленной оправе.

— Ну, кто первый? — спрашивала она притихших селян. Все боязливо поглядывали на нее, а отец торопил:

— Ну, кто всех храбрее! Да не ломайтесь же, как невесты на выданье. Скорее, скорее. Кому хочется узнать правду? Тебе? Ну вот, мамаша, Гансу уже не терпится. Начинай. Скажи-ка ему все как есть. Да так, чтобы у него мурашки по спине забегали.

Все усаживались потеснее, и старуха принималась раскладывать карты. Всякий раз, когда надо было сказать что-то особо важное, она в упор смотрела на того, кому гадала, а муж — он сидел рядом с ней — дергал себя за волосы у виска, как-то странно пыхтел, одной рукой нажимал серебряную пробку, а другую то и дело поднимал вверх. «Ай, ай, тсс, тсс», — быстро-быстро выговаривал он и при этом забавно жмурил свои косые глаза. Должно быть, это означало: «Ай, беда, большая беда». Но от его забавных ужимок все, что говорила гадалка, казалось уже не столь страшным.

Как-то в один из таких вечеров к нам забрел Пешель из Штарнберга — продавец календарей и лотерейных билетов — и с довольно мрачным видом стал наблюдать за происходящим. День-деньской он ходил по домам, безуспешно пытаясь всучить кому-нибудь крестьянский церковный календарь, календарь для ветеранов войны и билеты Ансбахской церковной лотереи. Билет стоил три марки, что даже при всем уважении к душеспасительным целям лотереи было уж слишком дорого. Но вот Пешель заинтересованно поднял голову. Старушка гадала Раммингеру.

— Деньги! Деньги! — сказала она. — У тебя будет много денег.

— Так послушай же, Раммингер, возьми у меня билет, — тут же предложил Пешель, вытащив из кожаного кошелька толстую пачку билетов и мигом разложил их по столу. Гадание прекратилось. Все повернулись к Раммингеру.

— Да говорю же тебе, бери билет. Выиграешь! Она же нагадала тебе деньги! — нажимал Пешель. Раммингер растерянно обернулся к нему. — Ну тащи билет! Не упускай своего счастья. — Пешель перешел на крик.

— Как же вот так сразу! Три марки — это ведь куча денег. — Раммингер уже опомнился и устремил вопрошающий, полный сомнений взгляд на гадалку.

— Что же мне делать, матушка?.. Значит, вот эта лотерея и принесет мне денежки?

— Да, да.

— Так это точно? — допытывался он, все еще обуреваемый всяческими сомнениями.

— Точно,— подтвердила старуха и пристально посмотрела ему в глаза.

В доме стало тихо, тихо.

— Ну, ладно! — решил наконец Раммингер и тяжело вздохнул.— Так и быть!.. Отыщи-ка мне верный билет, матушка! Только бы выиграть, а там я уж знаю, что сделаю.

Снова мертвая тишина. Старуха отложила карты, склонилась над столом и стала медленно водить дрожащей рукой над билетами то туда, то сюда, будто слепая. Вдруг она показала пальцем на гладкий пестрый листок и молниеносно вытянула его. В тот же миг Раммингер схватил билет и, не переводя дыхания, прочел: «2-2-4-6-6-7».

Наконец-то напряжение спало.

— Ну, хорошо,— сказал Раммингер и лукаво посмотрел на старуху.— Теперь мне досмерти хочется знать, верно ли ты нагадала и на этот раз.

Он еще долго разглядывал свой билет, потом сложил его, дрожащими руками вытащил кошелек, отсчитал Пешелю три марки и уже бодро выкрикнул:

— Что же, теперь можно и продолжать.

Но такое происшествие выбило всех из колеи. По лицу старухи было видно, что и с нее достаточно. Тогда вмешался наш отец:

— Я думаю, что самое интересное она тебе уже сказала. С тебя хватит.

И так как все молчали, а значит, были с отцом заодно, Раммингер решил подняться.

— Уже одиннадцать,— пробормотал, зевая, Мартерер.

Все не спеша встали, попрощались со стариками и разошлись.

Наутро странники тронулись в путь, и мы провожали их далеко за околицу.

## 2

Что было дальше — об этом нетрудно догадаться.

Вот почему я и не стану тянуть. В середине ноября состоялась розыгрыш Ансбахской церковной лотереи и на номер «2-2-4-6-6-7» пал самый крупный выигрыш. Тайком от всех получил Раммингер в Мюнхене, в главной конторе, что в мясных рядах, свои тридцать тысяч марок. В деревне так никто ничего и не узнал бы, если бы не сообщение в мюнхенской газете, а затем в Земельном и Морском вестниках. Волнующая весть мгновенно

облетела всех, она передавалась из деревни в деревню, и наконец о ней заговорила вся округа.

Раммингеру все это было не по нутру.

В первые дни он просто прятался от людей. Будто его подменили. Может статься, что неожиданное счастье застигло его врасплох. Это было как во сне, внезапно и невероятно. Вчера еще бедный крестьянин — сегодня, не шевельнув для этого и мизинцем, зажиточный хозяин! Чтобы прийти в себя, нужно было время.

Черт бы подрал этих нахалов, охочих до всяких новостей. Они ходили за ним по пятам, а он встречал их злобно и недоверчиво. Но нельзя же вечно торчать дома. Будто он стеснялся своего счастья или его мучила нечистая совесть.

Покойный Шмальцерханс — бывший ночной сторож — недаром говорил: «Пропавши они пропадом, деньги! Куда бы лучше стало без них на этом свете!» Поразмысли Раммингер над этими словами, он бы с ними согласился. Стоило только упомянуть о его выигрыше, как в каждом доме и на каждом углу, за спиной Раммингера, да и в его присутствии начинали шуткуаться: «Ну разве это он вытянул билет? Честный человек отдал бы свой выигрыш старухе. Он принадлежит ей по праву».

Подумать только, как бескорыстны и благородны люди, когда другой, им на зависть, отхватит большой куш. Они прямо-таки переполнены жалостью и сочувствием.

— Бедные старики! В их-то годы просить милостыню и не иметь даже крышки над головой, ничего, кроме нужды и горя! Не может быть, чтобы господь терпел такую несправедливость.

Так рассуждал и наш отец.

— Ну и повезло же тебе, сосед,— заговорил он как-то с Раммингером.— Правду нагадала тебе старуха. А?.. Вся деревня только о тебе и говорит... Но я-то верю, что память у Раммингера не отшибло, не мог же ты забыть свое обещание. На твоём месте я отдал бы старикам половину, и все бы успокоились. Ведь верно? Иначе не будет тебе счастья. Ну не выиграй ты, ведь тоже с голоду не пропад бы.

Отец мой, видит бог, не был завистлив, он высказал, что думал, беззлобно и по-приятельски, но Раммингер сначала как-то не нашёлся, что ответить, запнулся, а потом вдруг разорвался на всю лавку!

— Я же не сую нос в чужие дела. Проваливайте к чертовой матери! Сам знаю, что мне делать! Эти бабы сплетни у меня вот где. Но от тебя, Макс, я этого не ожидал. Никак не думал, что и ты на меня напустишься.



Что и говорить, наш отец мог донять кого угодно, и горе тому, за кого он возьмется! Но тут он ничего не добился. Раммингер выскочил на улицу и так хлопнул дверью, что стекла зазвенели.

Короче говоря, получилось так, что все в деревне ополчилось на Раммингера. А он становился все угрюмее, беспокойнее, злее. При встрече отводил взгляд, бегал от людей, стал придирчив и груб со своими домашними.

В кабачке он теперь не бывал, зато стал усердно посещать церковь, и все решили, что богомольным он стал от нечистой совести. Дни шли за днями, проходили недели, месяцы, зима сменила осень, лето весну, и это означало... Но стоп... Куда я тороплюсь...

Вражда и зависть, разгоревшись, затухают, сходят на нет. Немного поутихли страсти и вокруг Раммингера. Но на исходе августа во всех домах затараторили дети: «Мама, папа! Слышали, скоро придут странники. Вот будет здорово... Но уж на этот раз пусть останутся подольше. Они не уйдут так скоро, правда? Правда ведь, папа? А?»

И снова начался весь этот ад.

«Да, да, да», — успокаивали нас родители. А нетерпение нарастало, приближался день рождества богородицы. Вот уже почти неделю моросил дождь, но все знали, что странники придут, это так же верно, как то, что день сменяет ночь.

Теперь-то мы узнаем, хозяин ли своему слову Раммингер. Тут уже ему не отвертеться. Ага, ага, петля уже затягивается. Чего только не городили, причем каждый прибавлял что-нибудь от себя.

— Он удерет в тот день, когда придут старики, — нашептывала ядовитая Фридль-Мария. — Сбежит, скотина!

Страсти разгорались.

— Почему он не купит себе участок в других краях, — любопытствовала Меснер из Ауфкирхена. — Здесь же земля горит у него под ногами.

Словно сильный ветер налетел на чуть тлеющие головешки. Злоба и зависть обернулись тупой мстительностью. А к ним, как на грех, примешалась и корысть — их духовный близнец. Уже не раз то один, то другой тайно ездили на велосипеде в Штарнберг к Пешелю, чтобы пригласить его в деревню на тот день, когда придут старики. Будет замечательно, если он захватит с собой выигрышные билеты разных лотерей. Пусть принесет все билеты, чтобы старуха вытянула побольше крупных выигры-

шей. Каждый из них, само собой, и словом не обмолвился о том, зачем ему вдруг понадобилось в Штарнберг.

Может быть, эти поездки проходили незамеченными и потому, что все были слишком взбудоражены.

Люди так кипели ненавистью, что стоило старикам появиться, как их тотчас же окружили, захлебываясь от злости, рассказали все об этой скотине Раммингере и вслед за ними двинулись на деревенскую площадь.

— Сегодня вам не нужно будет играть и петь, — угрожающе выкрикнул Виндель. — Сегодня попляшет другой.

Он и бургомистр решительно направились к дому Раммингера, подошли к забору и потребовали, чтобы вышел хозяин.

— А ну-ка выходи, Раммингер. Странники уже здесь!

Толпа держалась угрожающе.

— Выходи, счастливчик! — проревел кто-то под гул одобрения, и тут, к счастью, Раммингер вышел из дому, угрюмо посмотрел вокруг, быстро овладел собой и мужественно пошел прямо на толпу.

Жена и дочки, насмерть перепуганные, боялись высунуться за дверь, двое мальчуганов недоуменно таращили глаза через забор.

— Ну, вот я здесь, — сдержанно сказал он и решительно добавил: — Пусть будет по-вашему. Пустите меня к старушке.

Все опешили, расступились; Раммингер прошел вперед и поздоровался со стариками. Дождь за это время усилился, поэтому он сказал:

— Зачем нам тут мокнуть, зайдемте лучше ко мне в дом... Такие дела на улице не решаются.

Бедные старики совсем растерялись, они беспомощно, прямо-таки страдальчески озирались вокруг, их бил озноб.

— Ну нет, — крикнул Виндель. — Это должно быть у всех на глазах. Лучше пойдемте ко мне в кабачок. Там и разберемся.

Удачнее нельзя было придумать. С этим согласились все.

— Ну, вот и хорошо. Мне бояться нечего, — сказал Раммингер, взяв мокрую шарманку и прошел вместе со стариками вперед. Все двинулись за ними, и скоро в кабачке уже негде было яблоку упасть. Когда все наконец разместились, в дверь протиснулся Пешель, насквозь промокший, с ног до головы залепанный грязью.

— Ого, — озадаченно процедил он сквозь зубы. — Что это здесь стряслось? — спросил он и стал стягивать насквозь промокшее коричневое грубошерстное пальто. — Я пришел как раз вовремя, верно?

Некоторые воровато поглядывали на него, краснели. Сам того не ведая, Пешель внес сюда какое-то чуждое, нехорошее настроение. Должно быть, в каждом пробудились алчные помыслы: «О, бог ты мой, он притащил сюда свои билеты, так, может, старуха вытянет и мне мое счастье».

Но вот здоровенный Раммингер встал почти торжественно между двух стариков, крикнул Пешелю, чтобы тот сел да попридержал язык, а затем спросил притихших крестьян:

— Теперь говорите, что вам нужно от меня, только начистоту!

Было ясно, что сейчас перевес на его стороне. Все боязливо косились на него.

— Старуха выиграла твои деньги!..

— Это ее, и только ее деньги, — злобно пробурчал Мартерер и развязал тем самым языки остальным.

— Так оно и есть, это сущая правда, — поддержали его и другие. — Что ты на это скажешь?

Вот уже год, как Раммингер слышал подобные речи, но сейчас мутная волна вражды надвинулась еще грознее и неотвратимее. У него уже давно был четкий план, и он тщательно продумал, что говорить, но на мгновение растерялся, и на него обрушился злобный, kloкочущий поток:

— Отвечай! Что же ты молчишь?.. Докажи, что держишь свое слово, коль ты честный человек! Отвечай, отвечай. Только чистую правду!

Он побледнел. Несколько раз он протягивал руку, пытаясь унять этот гам, а на него нападали все яростнее и злее. И в этот угрожающий момент ловкий Пешель прибегнул к спасительному маневру. В одно мгновение вскочил он со своего места и взобрался на лавку.

— Люди, — крикнул он своим звчным фельдфебельским голосом. — Так дело не пойдет! Успокойтесь и внимательно выслушайте меня! — Ему на самом деле удалось сдержать натиск толпы, и тогда он повернулся к Раммингеру и сказал: — Честно говоря, дело обстоит так: билет купил Раммингер. Он рисковал тремя марками.

— Подумаешь, это сделал бы каждый, — гнусавила свое назойливая Фрида Ксаверль.

— Но только, если бы точно знал, что выиграет. — Пешеля не так-то легко было сбить с толку, он продолжал: — Если у Раммингера добрая душа, то по совести он должен был бы отдать двум несчастным старикам половину, по закону же с него полагается всего-навсего десять процентов, но...

— Он вообще ничего не хочет давать!

— Чтоб он подавился этими деньгами, скряга.— На этот раз Ксаверль встретила всеобщую поддержку.

— Да успокойтесь, вы! Дайте же мне договорить! — пытался унять их Пешель.— Вот вы здесь горланите, вопите, чуть не передрались, а тех, кого это больше всех касается, их вообще никто не спрашивал! А ведь первое и последнее слово в этой истории за стариками, только за ними.

Это мгновенно придало делу совершенно иной оборот. Озадаченные крикуны притихли и обернулись к старикам, а Пешель, довольный собой и преисполненный усердия, спрыгнул с лавки, выбрался из-за стола, подскочил к старухе и, прежде чем кто-нибудь успел разинуть рот, выпалил:

— Ну, что же вы растерялись?.. Ведь вы уже знаете, Раммингер по вашему билету получил самый большой выигрыш! Это тридцать тысяч марок! Что же вы с него потребуете? — Все повскакали с мест и, вытягивая шеи, старались пробраться к ним поближе.— Матушка! — не унимался Пешель.

Тогда старики подняли наконец головы и смущенно посмотрели на него.

— Ну, говори же, матушка. Тебе нечего бояться... Что же ты молчишь? — повторил Пешель и наклонился к ней.— Поднимишься и подойди сюда. Я помогу тебе!

Он подхватил старуху под руку, но та продолжала сидеть, только отвела его руку.

— Ай, ай! Тсс! — зашептал старик и сердито замотал головой. — Ай, ай! Тсс! Тсс! — повторил он и вытянул руки так, словно хотел оттолкнуть от себя что-то гадкое. Он страшно покраснел и задыхался от кашля.

— Ничего нам не нужно! Мы хотим остаток наших дней прожить в покое,— неожиданно сказала старуха и кивнула Раммингеру. — Пусть эти деньги принесут тебе счастье!.. А для нас господь приготовил теплое местечко—это уж я точно знаю.

— Совсем ничего... Это вам-то, старым и нищим?— не отступал Пешель, но старуха продолжала спокойно сидеть, только посмотрела на него твердо и решительно:— Мы хотим уйти отсюда.— Она окинула взглядом всех собравшихся.— Такая злоба адесь — это все из-за дурных, бесовских денег.

Стояла такая мертвая тишина, словно стряслось чудо или несчастье. Мужики, которых ничем уже не проймешь, и те опустили головы.

— Но вы останетесь навсегда у меня, матушка! — Это сказал Раммингер, и слова его прозвучали странно, почти страдальчески. Он был бледен, взволнован.

Старушка подняла свое кроткое, доброе лицо и покачала головой:

— Нет, хозяин, нет! Мы не останемся! — и обернулась к мужу: — Пора в путь...

Она медленно выпрямила свою сторбленную спину. Старик взял шарманку и перекинул ремень через худое плечо. Все молча расступились, и старики вышли из дома. Дождь перестал, прояснилось небо. Удивительная тишина стояла на деревенской площади. А в трактире все боялись взглянуть друг на друга, словно стыдясь чего-то.

Никому больше не было дела до Раммингера, и он ушел, не сказав ни слова. Но какое озадаченное лицо было у Пешеля.

— Хм, хм, чудно как-то! Ей-богу, чудно! — пробурчал наконец Виндель, качая головой. — Эти двое точно с луны свалились.

Все оживились. С площади донеслись, как обычно после прихода стариков, монотонные звуки шарманки и знакомый дребезжащий голос старухи, а мы, ребятишки, стояли возле нее, боясь отойти хоть на шаг, и все впечатления дня теснились в наших возбужденных головах. В кабачке же по-прежнему царил уныние. У Пешеля и наших деревенских были все еще кислые физиономии.

— Как же это? — шепотом спросил садовник Керн и недолго оглядел остальных. — Как это мы позабыли, что старуха должна вытянуть билеты и для нас...

— До чего же все обошлись!

До каждого уже дошло, что он потерял, и каждый думал про себя: «Ну, что нам за дело до Раммингера и его денег. Черт с ней, со справедливостью! Заботились бы лучше о себе!»

— Тьфу, вот идиотская история! — пробурчал Пешель и досадливо передернул плечами, потом растерянно посмотрел на Керна и вдруг замолчал...

— Да, идиотская история, — это ворчал уже Мартерер.

— Мы сами все себе испортили... Теперь старуху ни за что не уговоришь.

С площади донеслись знакомые слова: «Знай, когда ты их добьешься, жизнь твоя уже промчится».

— Выйдем-ка отсюда, — скомандовал вдруг Пешель, и все последовали за ним. Когда они пришли на площадь, старики уже

сворачивали свои картинки и собирались сразу же уходить. Никто не решался их удерживать.

Еще больше прояснилось. Два старых человека смотрели на небо, и чувствовалось, что на душе у них спокойно и радостно. А мы не унимались:

— Дедушка, бабушка, останьтесь у нас хоть на сегодня, ну останьтесь.

— Нет, нет, сегодня нет,— Старушка улыбалась, но была неумолима.

— Храни вас господь, детишки.

Она потрепала всех нас по головкам, не обращая внимания на стоящих вокруг взрослых.

— Сегодня мы отправимся дальше.

— Мы с вами, мы с вами,— и вся орава затопала вслед за уходящей парой.

Крестьяне молчали, тупо глядя нам вслед. Лишь некоторое время спустя, ворча и переругиваясь, они стали расходиться. А Пешель, как только остался один, вдруг устремился по улице. У пригорка он перешел на бег и вскоре догнал нас.

— Матушка, матушка,— кричал он, запыхавшись, и, словно жандарм, схватил старушку за руку. Мы испугались.— Подождите минутку, подождите минутку, я хочу сказать что-то очень важное!

Странники остановились, повернулись одновременно, будто два оловянных солдатика, и неприязненно посмотрели на Пешеля.

— Я специально купил целую кучу билетов, матушка!.. Каждый хотел бы, чтобы ты вытянула ему выигрыш!.. У меня три разных лотереи... Идем, ну помоги же мне, помоги! — все время твердил он, но старики отрицательно качали головой. Тогда он стал просить, умолять, заклинал их, сулил бог весть какие блага и, так как ничто не помогало, прикинулся богомольным и понес что-то о небе и госпде нашем Иисусе Христе.— Если вы не хотите спускаться с горы, тогда можно будет попробовать там, в Ауфкирхене. Тогда уже весь приход будет знать, как здорово ты угадываешь,— ухватился он за последнюю возможность.— Я отдам тебе половину моей выручки, решено?

Но у старухи был тот же странный, непостижимый взгляд.

— Нет, ни за что! Мы не станем сеять вокруг несчастья!

Старушка была непреклонна, да и старик отчаянными жестами выражал свое возмущение. Они двинулись дальше, а Пешель остался на дороге, скрежеща зубами от злости.

Опечаленные, возвращались мы в деревню. Как мы злились на Пешеля! Испортить такие замечательные проводы! Мы уже дошли до первых домов деревни, а взбудораженный торговец все еще стоял на дороге и, качая головой, смотрел вслед странникам. А тех уже почти не было видно, и вскоре они совсем скрылись за домами Ауфкирхена. Мы словно предчувствовали, что больше их не увидим. Кое-кто из нас вдруг расплакался. А почему? Кто его знает почему.

С тех пор старики больше не приходили. Должно быть, умерли. А Раммингер богатеет и богатеет. Все беды обходят его стороной. Дом его ломится от добра. Что поделаешь! Жизнь идет своим путем и вовсе не так, как хотелось бы моралистам.

# Франц Карл Вайскопф



## МЕЧТА ПАРИКМАХЕРА ЦИМБУРЫ

### 1



огда Ладислаус Цимбура задумывался над тем, как бы он в дальнейшем устроил свою жизнь, то всякий раз вспоминал покойного отца.

Его отец слыл «старым мошенником, но порядочным малым», из тех, кто умеет и невинность соблюсти, и капитал приобрести.



Он не утруждал себя работой, никогда ни о чем не заботился, был ловок в обхождении со всеми и каждым, умел найти выход из любого положения и ухитрялся всегда раздобыть несколько пфеннигов на последнюю кружечку пива или на последнюю «Виргинию».

Одним словом, он научился искусно лавировать «в этом водовороте». А водоворотом была жизнь.

В дни молодости, в 1878 году Цимбура-старший участвовал в оккупации Боснии, будучи тогда сверхсрочным унтер-офицером санитарной службы. Под Дольним Туцла его сбросил испугавшийся чего-то мул, и при падении он разбил затылок.

По окончании военной кампании, ссылаясь на это ранение, Цимбура как «ветеран и инвалид» стал добиваться государственной службы и получил место мастера по плаванию при императорской и королевской военной купальне и школе плавания у старого пражского Кеттенштега.

С тех пор во время летнего сезона он обучал плавать и пить пиво «по военной команде» гражданское население, допущенное (до особого распоряжения) в военную школу. Кроме того, он давал напрокат лодки и байдарки, так называемые «дшегубки», спасал утопающих, вылавливал утопленников. Спасательные работы приносили чаще всего лишь жалкие чаевые, попытки помешать самоубийству в большинстве случаев не приносили решительно ничего, за утопленников же он получал от речной полиции вознаграждение в двадцать крон за штуку. Прокат лодки стоил десять—пятнадцать пфеннигов в час, на целый день лодка стоила гульден.

Зимой папаша Цимбура охранял штабеля сложенных на берегу бревен от разобранного плота, принадлежащего школе плавания, ремонтировал лодки и пил вместо пива ром.

Даже смерть не доставила ему больших неприятностей. Смерть застигла его врасплох: не успел он выругаться, как отдал богу душу.

Случилось это так.

Однажды вечером, уже собираясь идти домой, Цимбура выловил двух утопленников-самоубийц, которые, связав себя за руки, бросились в воду. Он и она... Вероятно, от несчастной любви.

А так как за речной полицией ехать было уже поздно, то Цимбура решил привязать утопленников к одному из бревен плота. Затем он направился, как обычно, в пивную «Понедельник», где был завсегдатаем.

На этот раз он задержался там несколько дольше обычного;

предвкушая двойное вознаграждение, он заказал в кредит двойную порцию.

Когда Цимбура вышел из пивной, было уже за полночь, однако он сделал обычный крюк мимо школы плавания, чтобы посмотреть, все ли в порядке.

Наклонившись над краем плота, Цимбура с огорчением обнаружил, что кто-то перерезал веревку, которою утопленники были привязаны к бревну!

От подобного открытия этого бодрого шестидесятилетнего мужчину, которому каждый пообещал бы еще пятнадцать—двадцать лет жизни, внезапно хватил удар.

Члена союза ветеранов и бывшего участника войны проводили в последний путь со всеми подобающими воинскими почестями; его похоронили, как говорится, по первому разряду.

После Цимбуры остались жена и двое детей: четырнадцатилетний сын Ладислаус и дочь Лидунька вдвое старше его.

Собственно говоря, мальчик вовсе не был его сыном, но в семье этому не придавали большого значения, ведь и дочь была у него не от брака с фрау Цимбура!

Жена и дочь продолжали свое безмятежное житье-бытье: как это было заведено еще при жизни супруга, жена продавала летом «сахарный снежок» в городских парках, а зимой жареные каштаны на улицах пригорода; дочь, надежно пристроившись на почте, ждала ребенка и бракосочетания с неким кондитером, который с нетерпением дожидался, когда дед его протянет ноги, и он сам станет самостоятельным и женится.

Зато Цимбуру-младшего смерть отца совершенно выбила из колеи.

Раньше он помогал старику в школе плавания. Мальчик приносил весла из сарая, отвязывал лодки и байдарки, отмечал время для каждой лодки. Кроме того, он охранял щиток, где висели ключи от кабин постоянных посетителей, и вообще готовился к своей будущей профессии.

К сожалению, у преемника отца был сын, которому тот стремился обеспечить карьеру мастера по плаванию. К тому же он заявил, что Цимбура-старший никогда не был владельцем лодок, которые давал напрокат; лодки эти — казенные, а он лишь брал их в аренду; но ведь казна, разумеется, и не подумает передать аренду кому-нибудь иному, кроме него, мастера по плаванию.

Итак, надежды мальчика сдавать лодки напрокат лопнули как мыльный пузырь.

Ладислаус поступил учеником к одному парикмахеру.

Эту профессию он избрал по совету кондитера, который из личного опыта знал, что более или менее прочное будущее может обеспечить только профессия, имеющая «какое-нибудь отношение либо к любви, либо к желудку».

Ремесло парикмахера было связано, по его мнению, с первой.

## 2

Ладислаус стал учеником господина Венцела Вейростека, одного из братьев его умершего отца по союзу ветеранов. Господин Вейростек был владельцем «Парижского салона гигиены и причесок», что на Козьей площади, в старом городе; «специальность: локоны штопором для балов и приемов».

У него Ладислаус учился всему, что полагается для этой профессии.

Прежде всего: принести сигареты, быстро слетать за бутылкой пива, выполнять различные поручения клиентов, шефа и его помощников.

Затем: подметать, колоть дрова, топить печку.

Затем: почтительно приветствовать клиента. Например: «Честь имею, господин советник! Ваш покорный слуга! Не угодно ли вам будет присесть! Ваша честь, сейчас ваша очередь!» Или: «Мое почтение, господин инспектор! Разрешите пожелать доброго утра! Будьте здоровы и благополучны!»

Затем: вовремя ловко подать пальто, чтобы клиент сразу нашел рукава; левой же рукой ловко одернуть под пальто пиджак и, наконец, изящным движением три раза провести щеткой по плечам и спине.

Затем: чистить гребни, щетки, ножницы, править бритву.

Затем: искусно намыливать щеку клиента и, наконец, брить и стричь.

По вечерам, после закрытия салона, Ладислаус учился стричь волосы на сынишках швейцаров, отцам которых было решительно наплевать, если их отпрысков подстригали лесенкой, зато они сами могли побриться за полцены.

В искусстве бритья он упражнялся «на прилично выглядевших» нищих, которым совал мелкую монету со словами: «Так часиков в одиннадцать, когда уже не будет клиентов, зайдите, дядюшка, еще раз, мальчик снимет вам бороду...»

И, наконец, его обучили искусству рекламировать помаду, эмульсию для волос и другие косметические средства. Господин Вейростек сам обучал его этому:

— Реклама — не такое простое дело. Нужно быть очень ловким! Клиент часто напоминает больного ребенка; он не должен замечать, что глотает пилюли. Поэтому нужно действовать осмотрительно! Не сразу налетать на клиента, а сначала вызнать, кто он да что он! И только потом уже приступать к делу! Но и то как бы между прочим; так, чтобы клиент сначала и не понял, чего от него хотят. Понятно?!

— Конечно, господин Вейростек!

— Да-а...а? В таком случае мы сейчас же прорепетируем; итак, начнем!

И Ладислаус должен был принять соответствующую позу и постараться навязать господину Вейростеку, изображающему знатного клиента-новичка, флакон с эмульсией для сухих волос «Portugal» или банку помады на ореховом масле «Old England».

Господин Вейростек в роли знатного клиента держался с безукоризненной светскостью.

Если бы сам он это вечно не подчеркивал, то никому бы и не пришла мысль, что владелец «Парижского салона гигиены и причесок», глава союза ветеранов и председатель ремесленной палаты, достигший солидного положения, вышел из низов...

«Своими собственными руками», — не преминет добавить он, потому что Вейростек всегда стоит за лозунг: «Дорогу деловому человеку», — словом, за американскую предприимчивость.

В юности Вейростек чуть не эмигрировал за океан, но, к сожалению, при посадке попал не на тот пароход и в результате был извлечен из своего убежища не в Нью-Йорке, а в Рагузе.

Он остался в Европе. Американская предприимчивость могла и здесь найти себе применение. Вначале он был ассистентом одного шарлатана-лекаря, с ним переезжал с ярмарки на ярмарку, затем помогал сторожу из Южной Моравии, который между делом рвал зубы «с помощью нитки» и лечил закупорку вен, и, наконец, стал учиться парикмахерскому делу у одного сельского брадобрея в Словакии, который брил своих крестьян, запихивая клиенту за щеку круглую деревяшку, чтобы кожа натягивалась.

Теперь это прошлое ничем не напоминало о себе.

Теперь он смог послать своего сына учиться и располагал кругленькой суммой в банке.

Ладислаус преклонялся перед ним.

Если уж ему не суждено стать мастером по плаванию, как его покойный отец, то он непременно добьется такого же положения, как господин Вейростек.

Он был прилежным и делал большие успехи.

Кто знает, может быть, и ему удастся... Ведь молодой господин Вейростек, конечно, не захочет взяться за дело своего отца. К тому же господин Вейростек был собратом его отца по союзу ветеранов. Тогда не исключено... Короче говоря, вполне может случиться, что когда-нибудь Ладислаус сам станет владельцем «Парижского салона гигиены и причесок».

Он видел уже себя в элегантном хозяйском халате (в желтом, а не белом, как у помощников), скользящим по салону и приветствующим постоянных клиентов.

Но ему еще нужно было научиться этой плавной походке и изящным манерам! И вообще настоящему светскому обращению!

— Да,— говорила фрау Вейростек,— мой супруг понимает толк в обращении, особенно с женщинами. Стоит только появиться какой-нибудь вертихвостке, так он уж, хоть ему и стукнуло пятьдесят, сумеет к ней подъехать.

Фрау Вейростек появлялась в салоне редко, но каждый раз, когда она приходила, ее охватывало раздражение против клиентуры дамского пола.

— Да, это он умеет, но только не со мной. Вот именно! — раздраженно добавляла она каждый раз. На что господин Вейростек неизменно возражал:

— Ах, брось, пожалуйста! Ты ничего не смыслишь; ведь этого требует дело. Не могу же я допустить, чтобы барышни с Кастульской улицы перешли к моим конкурентам?! У тебя нет абсолютно никакого кругозора!

К сожалению, одна из барышень с Кастульской улицы тоже не обладала широким кругозором и из ревности плеснула господину Вейростеку в лицо пол-литра медного купороса. Это стоило господину Вейростеку обоих глаз и почетных мест в палате ремесленников и в союзе ветеранов. Он вынужден был также отказаться от «Парижского салона гигиены и причесок». Пришлось продать его какому-то дальнему родственнику и уехать в провинцию.

Цимбура как раз закончил учение. Однако новый шеф ему не понравился. И шеф расстался с ним!

### 3

Ладислаусу, избалованному светским тоном, царившим в «Парижском салоне гигиены и причесок», было нелегко найти подходящее место.

Наконец, после долгих поисков, он нашел что-то мало-мальски приемлемое. Ладислаус прочел в газетах: •

«Предприятие, пользующееся издавна отличной репутацией, в лучшей части города по улице Суконщиков, ищет молодого помощника, в совершенстве владеющего парикмахерским искусством».

Для толкового претендента с хорошими рекомендациями и скромными притязаниями открывалась возможность получить постоянную должность.

Цимбура отправился на улицу Суконщиков и предложил свои услуги.

В первую минуту ему там понравилось, правда, позже, внимательнее присмотревшись, он увидел разницу между Козьей площадью и улицей Суконщиков. Здесь все сверкало чистотой, все было добротным, всюду царил порядок: столики с мраморными досками, зеркала в рамах орехового дерева, клиенты благовоспитанные, однако чего-то не хватало, да, не хватало...

Одним словом, это был магазин, а не салон! О «Париже и гигиене» не могло быть и речи! Вместо специального патентованного прибора мыльная пена и сбритая растительность снимались с лезвия просто тыльной стороной руки, а специальность по локонам штопором вообще не было в помине. (Впрочем, это было Цимбуре на руку — после несчастного случая с раствором медного купороса он испытывал недоверие к клиентуре прекрасного пола.)

Но если оба эти заведения можно было еще кое-как сравнивать, то шефы не шли ни в какое сравнение.

Шефу с улицы Суконщиков, маленькому, невзрачному, не было еще и тридцати лет; в его движениях чувствовалась неуверенная торопливость. В довершение всего он обладал рыжей шевелюрой.

Друзья называли его «красный перец». Настоящее его имя было Винценц Каливода.

Ему Цимбура пришелся по душе.

Каливода же не слишком пришелся по душе Цимбуре... Но как выразился Лидкин кондитер, с которым Ладислаус советовался, прежде чем занять новую должность: «Эти хозяева — все одинаковый сброд, не доверяйся им! Но ведь голову тебе там не снимут, ведь тебя к этой должности не веревкой привязали!»

Но это было поспешное заключение!

Не прошло и пяти месяцев, как Ладислауса крепко привязали.

Виновицей оказалась Амалия, младшая дочка господина Пацоурека, которому раньше принадлежала парикмахерская

на улице Суконщиков и чье имя, написанное мелким шрифтом и помеченное на конце крестом, еще значилось на вывеске:

ВИНЦЕНЦ КАЛИВОДА

Ранее Эмануэла Пацоурек

Опытный парикмахер

Бритье, стрижка, прически, парики

Однажды Цимбура имел неосторожность остаться наедине с дочкой покойного за кофе в задней комнате, и тогда это случилось.

Собственно говоря, ничего не случилось.

Девушка была непривлекательна и бесцветна; Ладислаус же, несмотря на молодость, отличался осторожностью и не имел склонности к каким-либо приключениям, но они оказались одни в комнате, и при данной обстановке что-то непременно должно было произойти. Кроме того, Ладислаусу не хотелось ни за что на свете показаться невоспитанным или неопытным.

Итак, он встал и приблизился к Амалии.

Мать, вдова Пацоурек, появилась в нужный момент.

Правда, Цимбура только прикоснулся к девушке, но этого для вдовы уже было достаточно.

Умудренная опытом, она отлично знала, как вести себя в подобных случаях; примерно два года тому назад она при таких же обстоятельствах выдала замуж свою старшую дочь... за Каливоду. Правда, он метил на парикмахерскую и поэтому позволил себе несколько больше, чем Ладислаус, но сдержанность Цимбуры не смутила вдову. Она воинственно вытянулась перед ним и процедила сквозь зубы:

— Ах, в...о...о...от вы какой!.. Скажите пожалуйста. Молоденькую девушку... да еще в доме ее матери... Неслыханно!

Цимбура ничего не возразил на это.

Он поднял руку и сделал движение, словно собирался поймать муху, хотя заранее знал, что она все равно улетит.

Потом он опустил руку и глупо захихикал.

— Что тут смешного! — завопила вдова. — Еще смеется... Но не на ту напали, мой дорогой! Знаете ли вы, молодой человек, чем это пахнет? Женитьбой... и без промедления! Молчать, ничего не желаю слушать!

Но Цимбура был другой человек, чем, например, Лидкин кондитер.

Тот, хоть и получил наконец наследство от деда, однако Лидку оставил с носом,

— Знаешь, если бы Лидка была помоложе, — сказал он Ладислаусу по-приятельски, — я бы, конечно, не расстался с ней; все-таки у нее хороший характер!..

Чего о самом кондитере сказать было нельзя,

Зато Цимбура был похож на свою сестру,

И Цимбура женился на Амалии,

#### 4

Цимбура был отнюдь не Адонис. У него были водянисто-голубоватые глаза, каштановые волосы, вздернутый нос, большие уши и, кроме веснушек и плоскостопия, пожалуй, ничего примечательного.

Цимбура был не Адонис, но он, безусловно, мог бы найти себе более завидную подругу жизни, чем Амалия,

Амалия же уродилась дурнушкой. В отца пошла, «А он всегда походил на слизняка, — говорили в семье, — настоящий заморыш!»

Он страдал чахоткой и в сорок пять отправился к праотцам. Теперь он покоился под пышным ковром из плюща и папоротника, что требовало неусыпного ухода его супруги. (Он доставлял ей всегда столько хлопот!)

Слава богу, Амалия напоминала отца лишь внешне: легкими она не хворала и вообще была вполне годным человеком.

Об этом позаботилась ее мать, которая была вполне скроена, чем покойный супруг, — во всех отношениях иначе! Когда утром она шла по фруктовому базару за покупками, уличные мальчишки кричали ей вслед: «Сударыня, не помочь ли вам? Одной тяжело!» При этом они держали руки у груди, слегка подрагивая ими, словно несли нечто студенистое. Они выкрикивали это на почтительном расстоянии и моментально разбегались врассыпную, ибо вдова не отличалась робостью и миролюбием покойного супруга, которому можно было безнаказанно пропеть вслед:

Бедный паук,  
Скоро ль тебе каюк, —

вдова же не скупилась на пощечины.

Она была энергичной особой. И если обстоятельства того требовали, а они всегда требовали, фрау Пацоурек могла прошибить головой стену.

В доме она хозяйствовала полновластно, и в парикмахерской хозяином была она. Каливода существовал только на фирмен-



ной вывеске. За кассой сидела она! Даже чаевые должны были заноситься в счет.

О вещах и людях у нее были свои определенные суждения: «Газеты читать нечего: это сплошное надувательство, все равно там каждый день написано что-нибудь другое», «Детей нужно воспитывать шлепками — это полезно для здоровья!», «Мужей нужно держать в черном теле, иначе они зажиреют!»

Амалия оказалась достойной ученицей своей матери. Цимбуре пришлось испытать это на себе в их супружеской жизни...

Газет в доме не водилось.

Ребенок — хилый семимесячный недоносок — уже познакомился с системой «бабушкиного» воспитания. Самого Цимбуру явно держали в черном теле: в еде, в отношении карманных денег и во всем остальном.

Что касается «остального», то это его не очень беспокоило: в этом он был целомудрен, однако же полуголодное существование его удручало.

Он любил жирное, например, шкварки или жаркое из свинины, и к этому кружечку пильзенского. Но это были деликатесы, которых в доме у него не водилось. Их нужно было раздобывать окольным путем.

Этот путь указал ему Каливода; он стал брать свояка на вечера союза, членом которого состоял.

«Там всегда много народу, — говорил он теще, — среди них, безусловно, можно заполучить несколько клиентов. Цимбуре нужно пойти со мной и посмотреть, как это делается. Что посеешь, то и пожнешь!»

Довод убедительный. Цимбуру стали посылать вместе с Каливодой на вечера союза: по вторникам на заседания похоронной кассы «Надежда» при союзе взаимопомощи и по пятницам на репетиции 1-го алыштетского гражданского мужского хора «Ли́ра». Оба союза заседали в трактире «Образ девы Марии», находившемся напротив городского вокзала.

В этом трактире всегда имелась знаменитая грудинка домашнего приготовления, сочная, мягкая и с достаточной проростью. Каждый раз Цимбура был бы не прочь съесть три порции грудинки; к сожалению, денег не всегда хватало даже на одну порцию. И он вынужден был ссылаться на больной желудок и смотреть, как едят другие.

Иногда Каливода угощал его, однако родственная щедрость ограничивалась лишь парой колбасок и кружечкой светлого пива. Сам же «красный перец» уплетал за обе щеки и с каждой

кружкой пива выпивал рюмку сливовицы. Черт его знает, откуда у парня столько денег! Вероятно, он обманывает тещу, сдавая ей утреннюю выручку; однако это не могло составить такой крупной суммы, ибо вдова отлучалась за покупками в часы затишья в парикмахерской. Наверняка у Каливоды есть какие-то другие источники дохода, но какие?! У него нельзя было ничего выведать; когда Ладислаус делал намеки, тот многозначительно пожимал плечами и говорил:

— Да, мой милый, нужно только постараться! Ведь без труда не выловишь и рыбку из пруда. Понятно?!

Ладислаусу было не совсем понятно, но он старался. Он действовал тайно и осторожно, чтобы Амалия и теща не смогли ни о чем догадаться; он старался добросовестно и настойчиво. Но, к сожалению, безуспешно. «Рыбки из пруда» он так и не выловил. Он уже совершенно пал духом, но тут неожиданно представился удобный случай. Ладислаус ухватился за него обеими руками. Собственно говоря, случай ухватился за него, — это был господин Вюрфель, один из постоянных клиентов парикмахерской.

Однажды, когда Цимбура намыливал его, господин Вюрфель спросил:

— Скажите-ка, господин Цимбура, вы, кажется, не прочь подзаработать, не так ли?!

Ладислаус испугался. От испуга он попал кисточкой в рот господину Вюрфелю. Откуда этот человек мог знать, что он?.. Уж не выдал ли он себя чем-нибудь? Цимбура искоса посмотрел в сторону кассы, но вдова возилась с непокорным китовым усом, подшитым к воротничку ее блузки.

Тогда он набрался смелости и пролепетал:

— Откуда вы знаете?.. Откуда...

Господин Вюрфель усмехнулся. Затем с назидательной благосклонностью и профессиональной любезностью в голосе он сказал:

— Но, господин Цимбура! Кому же другому это знать, как не нам?!

Господин Вюрфель служил штатским агентом третьего класса оперативной службы при государственной полиции, впрочем, был вполне порядочным человеком. Он пользовался льготой и мог позволить себе побриться три раза в неделю, а по субботам освежиться настоящим одеколоном. Время от времени он покупал для «предмета своих воздыханий» туалетное мыло за две кроны и для личного пользования зубной эликсир марки «Peppermint Aromatic».

Каливода был с Вюрфелем на дружеской ноге, однако близкие знакомые и друзья судачили между собой, уверяя, что отношения их носят скорее деловой характер, нежели приятельский. (Отсюда, должно быть, и побочные заработки «красного перца»?) Но определенно никто ничего не знал.

По долгу службы господин Вюрфель привык действовать быстро и энергично, идти напролом, невзирая на возражения и сопротивление со стороны «объектов», которых он себе наметил. Вот и теперь господин Вюрфель коротко и решительно объявил ошеломленному Цимбуре, что уже нашел для него побочный заработок, прекрасный заработок, единственно возможный заработок, и даже слушать не желает о каких-либо возражениях или сопротивлении.

Но Цимбур и не думал возражать. Цимбур вообще ни о чем не думал. Он все еще не мог прийти в себя и покорно, с тупым взглядом выслушивал все, что ему твердил Вюрфель.

Такого случая больше никогда не представится, работа словно создана для Цимбуры! Фирма солидная, Вюрфель лично знаком с шефом, Золотой человек! Но это все между прочим. Главное — условия. А о них можно одно сказать: «Здорово, черт побери!» Работа не пыльна, да денежна. Несколько раз в месяц небольшая прогулка по городу — вот и все...

— И за это платят, ну, сколько вы думаете за это платят?! Не менее трех с половиной гульденов в месяц, по самым скромным подсчетам!.. Ну что вы скажете на это, господин Цимбур? Славное дельце, не правда ли? Вы не находите, что вам чертовски повезло?! Я дал уже согласие от вашего имени. Можете завтра же...

Только теперь Ладислаус отважился возразить. Он съезжился, словно ожидая, что его окатят ледяной водой, и сказал:

— Да, но...

Больше он не успел произнести ни слова, ибо господин Вюрфель, видимо недовольный тем, что его перебили, резко оборвал:

— Ну что?!

Цимбур еще больше съезжился. Однако продолжал начатую фразу:

— ...Не могу же я...

— Что вы не можете?!

— Не могу же я, мне кажется, я должен все-таки...

— Что должен? Никаких должен! Что это вообще за фокусы, господин Цимбур? Я не понимаю вас, Что вы не можете?! Что вы должны?!

— ...Да должен же я... как-никак мне кажется... я должен сначала узнать, какую работу...

— Ах, вадор, господин Цимбура! Разве можно быть таким мелочным?! Пусть это будет для вас неожиданностью; не пожалеете!,,

## 5

Уже на следующий день Цимбура имел то, что хотел: солидный побочный заработок. Он стал помощником распорядителя погребальных церемоний при фирме «Marianum», христианское похоронное бюро, — гробы, эксгумация, перевозка покойников, погребение по всем разрядам.

На новой должности он был занят не более одного раза в неделю: на похоронах по первому разряду или особо торжественных похоронах, когда требовалось больше четырех факельщиков и носильщики венков. За каждые похороны Цимбура получал девяносто крейцеров да вдобавок двенадцать крейцеров проездных и свою долю чаевых, в общей сложности от гульдена двадцати и до полутора гульденов.

По специальной договоренности он получил право не участвовать в похоронах, происходивших на улице Сукошников или где-нибудь поблизости.

Это было занятие, лучше которого он не мог и желать, — несложное, прибыльное, удобно совместимое с основной профессией, а главное, этим можно было заниматься, не опасаясь, что пронюхают жена или теща.

Раз в неделю всегда находилась уважительная причина, чтобы улизнуть на «часок».

Каливода, посвященный в его тайну, всячески помогал ему.

Как только на улице раздавался свисток посыльного фирмы «Marianum», Каливода говорил свояку:

— Кстати, Ладислаус, поди узнай у торговцев мылом, почему они до сих пор не прислали нам крем для бритья; просто безобразия, сколько это может тянуться!,,

Или:

— Как только закончишь с этим господином, придется сбегать к старшему советнику строительного комитета; мне кажется, господин советник намерен побриться сегодня дома,..

После этого Цимбура моментально исчезал, встречал на следующем углу улицы посыльного и узнавал от него адрес дома, откуда должна была тронуться похоронная процессия,

Затем он направлялся в уборную городского вокзала, находившуюся неподалеку (все было организовано как нельзя лучше!), где брал у служительницы, тетке посыльного, ключ от кабины первого разряда и сверток с формой для погребальных церемоний: сюртук, обшитый серебряным галуном, брюки с широким кантом и серебристый с черным высокий цилиндр (а для особо торжественных похорон — головной убор с султаном).

Через десять минут Цимбура уже ехал к дому покойника, его коллеги и музыканты уже были возле катафалка. Некоторое время приходилось ждать, пока не появлялось его преосвященство; потом гроб выносили из квартиры, и наконец под звуки пения:

Еще преставился одип твой раб,  
Трам, там, та-та! —

погребальная процессия медленно трогалась.

Достигнув черты города, траурный поезд останавливался. Музыканты вновь исполняли:

Прими усопшего раба,  
Трам, там, та-та!

Затем на гроб возлагались венки, четыре постоянных распорядителя забирались на козлы и заднее сидение катафалка, его преосвященство, близкие родные и друзья рассаживались в пролетках и каретах, после чего вереница экипажей отправлялась дальше. Оставшиеся же помощники распорядителей похорон, музыканты, полицейские, специально приглашенные гости и зеваки поворачивали обратно и под звуки популярного марша или знакомой песни в исполнении оркестра шли окрыленные к центру города.

К своему величайшему огорчению, Цимбура ни разу не мог принять участие в этих веселых шествиях. Он не располагал временем. Стоило ему избавиться от венка или факела, как он сейчас же прыгал в первый попавшийся трамвай и мчался к городскому вокзалу. Уже за две остановки он расстегивал ворот сюртука, на предпоследней — отстегивал помочи. Переодевание продолжалось не больше пяти минут. Служительница каждый раз предусмотрительно складывала его «штатскую одежду» так, что ему оставалось только надеть ее на себя. В знак благодарности он коротко, насколько позволяло время, рассказывал через стенку кабины о «сегодняшних похоронах»: были ли молоденькие девушки в белых платьях и сколько их было, какой шел за гробом священник, многие ли плакали и т. д.

На улицу Сукоянщиков Цимбура возвращался не торопясь, словно прогуливаясь

— Ну как, Ладислаус?

— Не говори. Старик советник опять меня надул. Сначала он заставил меня прождать битый час, а затем вышел и сказал, чтобы я лучше заглянул вечером...

Все шло как по маслу,

## 6

Для Цимбуры началась жизнь, о которой он всегда мечтал: теперь и у него побрякивали в кармане (конечно, не слишком звонко) гульдены; теперь и он мог вволю поесть в трактире «Образ деви Марии» и не ссылаться больше на больной желудок; теперь и у него рядом с кружкой пива стояла рюмка сливовицы.

Однако райская жизнь продолжалась недолго.

Вдруг наступил крах, и все пошло насмарку: сливовица, вкусная еда, вечера союза, побочный заработок... И не потому, что теща открыла его замыслы и наложила руку на тайно получаемые доходы, и не потому, что христианское похоронное бюро внезапно обанкротилось, — нет, несчастье пришло совсем с другой стороны. Это несчастье принесла война.

Война разразилась вопреки всем предсказаниям вдовы Пацоурек, которая до последнего момента утверждала, что войны не будет, а то, что люди болтают о Сербии и России и об ультиматуме, это они взяли из газет, а все, что написано в газетах, как известно, — надувательство, и баста!

Но когда все случилось так, как предвещали газеты, вдова приняла это за личное оскорбление. В отместку она с холодным равнодушием отнеслась к войне и всему, с ней связанному. Эта грязная война не существовала для нее. Фрау Пацоурек просто не замечала ее. Война не импонировала ей!

Но тем больше она импонировала ее первому зятю — господину Каливоде.

К войне он относился с интересом, вполне благожелательным. Уже потому, что из-за недоразвитой грудной клетки и слишком маленького роста он был признан «негодным к военной службе» и поэтому его не могли мобилизовать в армию, и затем — а это главное — его дела шли так блестяще, как никогда. Все, что война отняла у него, лишив его клиентуры в штатском, она возместила ему клиентами в военной форме, и «приработка» у него было больше, чем когда-либо. Господин Вюрфель засыпал его поручениями. Почти каждый второй был

на подозрении, каждый третий или четвертый «не благонадежный элемент». За всеми необходимо было установить слежку.

На мгновение Каливоде пришла мысль: что, если бы привлечь к этой работе свояка? Однако он сейчас же отбросил ее.

«Нет, для этого Ладислаус недостаточно ловок. Хоронить мертвецов еще куда ни шло, а вот следить за живыми людьми — для этого требовалось немножко больше смекалки. Жаль, ведь парень мог бы заработать уйму денег... Впрочем, и похороны должны были теперь приносить больше дохода. Определенно! Безусловно! Стоит лишь...»

Но видел ли Ладислаус эту благоприятную возможность?

Конечно нет. Придется опять Каливоде ткнуть его носом.

И он сказал ему:

— Ты, Ладислаус, поразмыслил бы хорошенько: ведь идет война, неужели для тебя не найдется теперь дела? Скажу тебе, война совсем уж не такая плохая штука, тут нашему брату можно кое-чем поживиться... Нужно только за что-нибудь взяться... ну, например, занялся бы ты своими похоронными делами.

— Похоронными делами?.. Что ты имеешь в виду? Я не совсем понимаю...

Господи, да этот Ладислаус просто тупица! Все ему нужно разжевывать! Каливода был доволен, что не привлек его к работе для Вюрфеля. Да, тут можно было здорово влипнуть, нет уж, спасибо!..

Он объяснил Цимбуре суть дела: так, мол, и так... на войне люди умирают скорее и чаще, не правда ли?.. А между тем погребальщиков сейчас меньше, чем в мирное время; многих призывали в армию... Значит, можно потребовать, чтобы увеличили жалованье или перейти к конкуренту. Ну как?!

Казалось, Цимбура наконец понял.

Действительно ли он ухватил суть дела?

Конечно, это как раз то, что ему нужно. Ведь у Каливоды всегда блестящие идеи. Как это у него получается? Толковая голова. Всегда попадет прямо в точку...

Правда, на сей раз он промахнулся.

На сей раз он ошибся.

Действительно, число похорон значительно увеличилось, однако Цимбуре это ничего не давало: все это были военные похороны, и в качестве погребальщиков использовались исключительно солдаты.

Позже, когда наконец число гражданских похорон увеличилось, Цимбуре это не дало никакой прибыли. Наоборот: чем

больше хоронили людей, тем хуже шли похоронные дела. Торжественных похорон совсем почти не устраивалось, а похороны по первому разряду вряд ли заслуживали этого названия: не было хороших лошадей, не было факелов, свечей, музыканты — плохие и брали дорого, венки — тоже не лучше. Это было настоящее банкротство. В довершение всего Ладислауса еще призывали, несмотря на его плоскостопие и хорошие связи свояка, который лично знал двух членов отборочной комиссии. Правда, Цимбуре признали лишь «годным к нестроевой службе».

Вначале как «квалифицированный ремесленник» он попал на склад с провиантом, позже стал укладчиком железнодорожных шпал. И, наконец, его откомандировали в один из госпиталей, совершенно случайно, а совсем не потому, что там могли бы быть использованы его профессиональные познания.

В госпитале уже обосновался один парикмахер, рангом выше Цимбуры. Он обслуживал раненых, способных платить за услуги. Остальных же и мертвецов приходилось скрестить Цимбуре.

Дело в том, что мертвецов здесь брили всех подряд, не взирая на чины, не так, как в других госпиталях, — от фельдфебеля и выше. Комендант госпиталя был тайным пацифистом и придирой, он строго следил за соблюдением «равноправия». И только недостаток в мыле заставил его согласиться на привилегию военным чинам: мертвецов в чине ниже фельдфебеля брили без мыла; здесь в ход шла только вода. А иногда и просто плевков, что, однако, не было предусмотрено «инструкцией» и имело место лишь из-за особой спешки или чрезмерной загруженности в работе.

(После войны, когда революционное прошлое времен Республики считалось заслугой, Цимбура божился, что даже для бритья одного майора дворянского происхождения из драгунского полка фельдмаршала Виндиггрэца пустил в ход плевков вместо воды. Правда, его друзья утверждали, что это был всего лишь обозный лейтенант из мещан.)

На третий год войны Цимбуре удалось получить более приятную работу. Совершенно случайно один каптенармус открыл его способности по части погребений и взял Ладислауса в канцелярию. Цимбура получил звездочку ефрейтора, и ему поручили регистрировать умерших. При каждом смертном случае он выписывал необходимые бумаги, из личного имущества госпитального склада выдавал картонный гроб, рубашку из бумаги, бумажный лавровый венок. Он следил за тем, чтобы выдан-



ные казенные вещи «находили применение согласно инструкции», и давал необходимые указания о погребении списанных из рядового состава.

Никогда до сих пор ему не приходилось быть участником столь многочисленных похорон, да еще в такой руководящей должности. Между тем эта прекрасная должность не давала ему ни гроша.

Это и то обстоятельство, что война слишком затянулась, озлобили такого спокойного и выдержанного человека, как Цимбура, настолько, что в последний год войны и он в свою очередь стал разделять широко распространившееся мнение: «Только бы поскорее покончить с войной — бог с ней, с победой...»

## 7

Наконец был объявлен мир.

Однако этот мир оказался не слаще войны. Все шло вверх дном, в делах начался застой, не хватало продовольствия, перспективы на будущее были неприглядными. Демобилизованные брились дома и могли позволить себе похороны лишь по третьему разряду.

Это было настоящее бедствие. Лишь немногим удалось найти тепленькое местечко.

И к этим немногим принадлежал, конечно, Каливода, представлявший теперь благодаря своим деловым знакомствам, которые он завязал во время войны (он спекулировал мылом), «партию мелкой промышленной буржуазии» при муниципалитете.

К этим немногим принадлежал также господин Вюрфель, ему удалось после переворота вовремя примкнуть к Республике, и он вновь (как и в старой Австрии) продолжал служить в государственной полиции.

Ладислаус Цимбура к этим немногим не принадлежал.

Что бы он ни предпринимал, все было безуспешно. И даже тогда, когда жизнь, казалось, вошла в прежнюю колею и чистая публика вновь привыкла пользоваться услугами парикмахера и могла позволить себе более или менее пышные похороны.

При первых же признаках вновь налаживающегося порядка Цимбура немедленно отправился в старую фирму «Magianum», однако узнал там, что помощники распорядителей погребальных церемоний больше не нужны. Ни теперь, ни на будущее!

Технический прогресс, воплощением которого явился элегантный похоронный автомобиль с электрическими факелами различного образца (в зависимости от разряда похорон), посеребрёнными крючками для венков, устранил надобность в факельщиках и носильщиках венков, так же как и в лошадях, которые до сих пор тащили катафалк.

Все это Цимбуре объяснили подробно с учтивым сожалением. Потом ему показали новый похоронный автомобиль, и ему ничего больше не оставалось как уйти. Перед этим Ладислаусу подарили две сигары.

Выйдя на улицу, он схватился за голову.

Как это может быть? Торжественные похороны без лошадей и факелов?.. И от музыкантов тоже отказались, потому что, видите ли, медленные похоронные процессии якобы тормозят уличное движение?! Что это за смешные отговорки?! Что это за глупые выдумки?!

Цимбуре не поверил ни одному слову из того, что сказали ему служащие фирмы «Magianum». С раздражением он сунул сигары в карман и отправился к конкурентам.

Но всюду слышал один и тот же ответ: «Очень сожалеем. Как ни обидно... однако ничего не поделаешь... новая техника...»

Цимбуре был нетребователен. Его желания отличались умеренностью, мечты — скромностью. Он не витал высоко в облаках. Цимбуре примирился бы с половиной, с третью, четвертью своего довоенного побочного заработка, но похоронный автомобиль не оставил ему даже этого. Он отнял у Цимбуры все.

Ладислаус возненавидел его. Глубоко и сильно. Его ненависть росла с каждым днем. Черная лакированная повозка постепенно превратилась для Цимбуры в огромное насекомое, стала олицетворением всех зол. Она была виной всех невзгод, посланных ему судьбой: виной смерти отца, несчастного случая с господином Вейростеком, его женитьбы на Амалии, войны, — виной всего...

Цимбуре проводил бессонные ночи, изобретая планы мести. Сперва ему пришла мысль поджечь христианское похоронное бюро, но потом он решил, что адская машина будет действеннее. Однажды он даже забрел на собрание коммунистов, устроенное в знак протеста против существующего строя; Ладислаус слышал, что коммунисты за коренное изменение господствующих порядков. Но когда после окончания собрания его избили, а потом арестовали господина в синих костюмах и черных котел-

ках (слишком поздно он узнал в одном из них господина Вюрфеля, который его потом великодушно отпустил), у него пропала всякая охота осуществить свою месть. И тогда Цимбура стал размышлять, как отомстить, не прибегая к насилию.

Он долго не мог придумать ничего подходящего, потом наконец его осенила неплохая мысль: когда вспыхнет красный свет светофора, он бросится на перекрестке под похоронный автомобиль и, вопреки правилам уличного движения, даст переехать себя ненавистой колыхаге!

Да, так он и решил: при красном свете светофора броситься под мчащийся со свистом автомобиль. Тогда он, кому жизнь уже ничего не обещала, хотя бы смертью уязвит врага...

Долго поджидал он благоприятного случая, чтобы осуществить свое намерение, — по не успел, так как отравился колбасой.

С легким гудением подъехало черное насекомое и забрало его...

# Людвиг Турек



## ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МОЕГО БРАТА РУДОЛЬФА



пишу о моем брате Рудольфе только потому, что не хотел бы остаться в долгу перед ним. О житье-бытье остальных моих братьев и сестер я уже как-то писал; а вот о брате Рудольфе упоминалось лишь в двух официальных документах. Первый раз — в свидетельстве о рождении, и второй раз — три недели

спустя — в свидетельстве о смерти. Весть о рождении маленького Рудольфа ошеломила меня. Тогда мне было всего одиннадцать лет, и я даже не подозревал, что моя мать ждет ребенка. Однажды, когда я возвращался из школы, ко мне подбежал мой приятель, пропустивший в тот день занятия, и сообщил, что у меня родился брат. Я не поверил; и когда он, всячески стараясь убедить меня в этом, пристал ко мне да еще обозлился, я здорово отлупил его. Войдя в кухню, я увидел на плите большой горшок с водой. Всегда, возвращаясь из школы, я прежде всего подбегал к плите и заглядывал во все кастрюли. Это обследование было необходимо, чтобы установить, чего можно поесть и досыта ли. На этот раз, кроме горшка с водой, на плите ничего не было. Очень испугавшись, я сунулся было в комнату, но оттуда шел сильный запах лизола, и это испугало меня еще больше. Когда я попытался все же туда пробраться, отец решительно остановил меня: аист-де клюнул мать в ногу. Эта ложь возмутила меня; я понял, что приятель был прав, и, взяв из кухонного шкафчика кусок хлеба, побежал на улицу мириться с товарищем. Поздно вечером голод снова пригнал меня домой. Теперь мне позволили поглядеть на братишку. На одну лишь минутку отдернули полог кровати. Я же разглядывал брата только четверть этой минутки, до того меня поразил жалкий вид матери. Этот крохотный чудной человек, казалось, совсем не стоил того, чтоб мать так тяжело из-за него болела. Рудольф был в семье пятым ребенком, и из прежних разговоров матери с отцом я узнал, что она скорей готова умереть, чем иметь еще ребенка. «Можешь не бояться, Лиза, — убеждал ее тогда отец, — тебе уже за сорок, вряд ли у тебя еще будут дети». Так что рождение маленького Рудольфа было неожиданностью и для самих родителей. Может быть, поэтому был он до странности тих, словно боялся стать еще нежеланнее. Три дня его не было слышно совсем; потом он заболел и стал кричать, хоть и слабо, но почти не переставая день и ночь. У него начался понос со рвотой. Хорошо помню, как я упрекал мать, что вот она накормила малыша скисшим молоком и что от этого-то он и заболел. А она сказала только, чтоб я оставил ее в покое и не лакал бы то и дело молоко. Отцу же она велела поставить коляску, в которой лежал Рудольф, подальше, оттого что не в силах больше выносить этот непрерывный плач. «Он долго не протянет, Лиза», — сказал отец. Отец был безработный и делал все по дому. Через неделю мать поднялась с постели. Она выглядела совсем больной, просто страшно было на нее смотреть. Плач, доносившийся из коляски, становился все слабее, но еще продолжался, и скоро

мы к нему привыкли. Если два-три часа малыш не плакал, отец и мать подходили к коляске, чтобы посмотреть, не умер ли он. Установить это было, видимо, очень трудно. Не один раз родители считали, что все уже кончено, а через несколько часов снова раздавался слабый, едва слышный плач. Когда однажды в течение четырех часов из коляски не донеслось ни звука, отец взял две марки, отложенные на случай смерти малыша, и пошел за гробом. Должно быть, минут десять бежал я за ним со всех ног, чтобы сказать, что Рудольф жив и кричит снова. Должен сознаться, что я ни на минуту не терял надежды, и ждал крика, склонившись над коляской. Два дня Рудольфа не купали. Он был до того худ, что мать боялась к нему прикоснуться. Я хотел искупать его сам, но она не позволила, заявив, что я не сумею. А когда я спросил, почему до сих пор не зовут врача, отец резко ответил, что это дело не мое, он, мол, безработный и нет у него на это денег. Зная, что у моего учителя был «Медицинский справочник», я тайком стащил его и прочитал там, что против поноса рекомендуется яичный белок. Тогда я принес из соседнего курятника три яйца и отделил белки в чашку. Пока мать возилась на кухне, я скормил братишке пять ложек белка. Сначала я хотел было дать ему только три ложки, но, зная, что он весит всего два фунта, а с рождения потерял четыре, я рассудил, что не будет вреда, если я дам ему все пять ложек белка сразу. К тому же я был убежден, что человек не может существовать на одной укропной воде, а укропная вода, которой поил его отец вот уже несколько дней, была его единственной пищей. Чашку с белком я старательно запрятал под кровать. Вечером отец вернулся с поисков работы позже обычного. Я уже был в постели, но не спал и слышал, как он спросил у матери, не умер ли мальчик. Мать ответила вопросом на вопрос: «Ты работу нашел?» — «Нет», — ответил отец. Тогда мать, вздохнув, сказала: «Хоть бы уж скорей он умер, хватит с меня этой муки!» А отец добавил: «Да и на что нам этот заморыш, когда и остальным-то жрать нечего!» Тогда я решил про себя, что на следующий же день уйду из дому. Затем снова стал думать о чашке с белком, спрятанной под кроватью. Размышляя о том, что же предпринять, я уснул. Видимо, Рудольф не кричал ночью совсем, потому что, когда я проснулся, отец заглядывал в коляску, проверяя, не умер ли он. Для меня его смерть была бы ударом, потому что я решил в виде опыта все время давать ему по пять ложек белка. На этот раз мне помешали выполнить задуманное: в комнату вошла акушерка; она хотела не столько поглядеть на ребенка, сколько получить причитающееся ей воз-

награждение. Но у матери не было денег, и она обещала отдать их через некоторое время. Тут появилась приятельница матери, и акушерка тотчас же распрощалась. Разговор обеих женщин был для меня совсем непонятен. Я стал смутно подозревать какие-то странные вещи. Когда приятельница сказала: «Я тебе в свое время советовала избавиться от него», — я поклялся, что не сделаю шага, пока эта старая ведьма не уберется. Но я испугался еще больше, когда мать удивительно спокойно ответила: «Ну, а если б это дело вскрылось — что тогда? Вон Шнейдериха с Миттельштрассе до сих пор сидит». Хотя я и не промолвил ни слова, обе женщины, вероятно, заметили, как я отчаянно волнуясь. Мне приказали выйти из комнаты, но я упирался; я твердо решил не отступать, чего бы мне это ни стоило. Мать была еще слишком слаба, чтобы вышвырнуть меня из комнаты, а старой ведьме мне хотелось показать, какой я решительный парень. «Мальчишка совсем спятил», — сказала мать, и с этими словами они ушли сами, чтобы продолжать разговор в кухне. Оставшись один, я решил дать Рудольфу вторую порцию белка. Но каково же было мое огорчение, когда я обнаружил, что белок съели мыши. «Как только приятельница матери уйдет, — сказал я себе, — пойду опять в соседский курятник за яйцами». Но не успела уйти приятельница, как явилась тетя с двумя моими братьями и сестрой, которых из-за болезни матери тетка взяла к себе. Сестренка и оба брата потребовали, чтобы им показали малыша, и очень обрадовались, увидев маленького Рудольфа. Сестра хотела непременно взять его на руки. Мать не давала: «Тебе будет тяжело, ты не удержишь его», — сказала она. Сестренка расплакалась и не хотела ложиться спать, пока ей не дадут малыша. Тогда мать пообещала дать ей его на следующее утро, но только, если она будет умницей. На другой день чуть свет нас разбудил голос сестры, настойчиво требовавшей, чтобы ей дали малыша. Мой двухлетний брат Артур тоже стал просить об этом. Оба сползли с кровати и упрашивали мать и отца позволить им подержать братишку. Родителям еще не хотелось вставать. Они велели мне взять Рудольфа из коляски и осторожно передать его сестре. Младенец был обернут перинкой, поэтому короткие ручонки моей четырехлетней сестрички едва смогли обхватить его. Сестренка была неописуемо счастлива. Держа на руках брата, она сновала из угла в угол и ликовала. «Ну-ка, покажи братишку!» — вдруг сказала мать. И мне сейчас же пришлось отобрать его у сестры, потому что Рудольф был мертв. Он умер, видимо, еще ночью, и маленькое тельце уже успело окоченеть. Мы никак не могли объяснить

сестре, а тем более братьям, что маленький Рудольф умер. И только когда мы сказали им, что он очень болен, они притихли. Три дня лежал маленький труп на столе в нашей комнате, а братья и сестра все еще надеялись, что малыш выздоровеет. Под вечер пришел какой-то человек и, попросив у отца марку, предложил похоронить брата. Это был знакомый отца. Ненадолго заметив, что вообще-то берет за это дело больше, он обвязал гроб ремнем и, продев под ремень указательный палец, направился к выходу. Так как отец велел мне идти с ним, то мы и отправились вместе хоронить брата. Но вскоре наше шествие было прервано из-за того, что старый знакомый отца пожелал сначала утолить жажду в ближайшей пивнушке. Через два часа наше погребальное шествие возобновилось, хотя и не без трудностей. Моего спутника качало из стороны в сторону. Один раз, когда ему понадобилось справить свою нужду, он поставил гробик в нишу окна. Я хотел было нести гроб сам, но он решительно воспротивился, заметив, что я, должно быть, считая его пьяным и, видимо, сомневаюсь в том, что он справится с порученным ему делом. Затем добавил, что может выпить гораздо больше и все-таки не будет пьян. В подтверждение своих слов он взял из следующей пивной бутылку водки, не преминув пропустить, кроме того, стаканчик-другой на месте. Я сильно сомневался в том, что погребение состоится. Чтоб предотвратить несчастный случай, я шел сзади, почти вплотную за ним, рассчитывая в случае чего подхватить гроб. То, чего я так опасался, случилось примерно через десять минут после того, как мы вышли из последней пивнушки. К счастью, человек этот был не очень грузный, так что я, правда, с большими усилиями подхватил одновременно и его и гроб. Очень меня беспокоила бутылка водки в его кармане. Это была ни больше, ни меньше как поллитровка. Вскоре он о ней вспомнил. Я умолял его больше не пить. Тут он рассвирепел, стал отчаянно браниться, кричал, что он во много раз старше меня, потому-де неслыханная дерзость с моей стороны делать ему, взрослому человеку, замечания! В знак протеста он единым духом опорожнил бутылку. До кладбища оставалось минут десять ходьбы, но при таком положении вещей мы могли не добраться и за полчаса. Я чувствовал, что долго не смогу поддерживать моего спутника. Гроб был совсем дешевый, непрочный и, упав, мог разлететься в щепки. Чтоб завладеть гробом и самолично предать земле тело брата, я пошел на хитрость. «Дядя, а дядя! — сказал я. — Ты на меня сердись?» — «За что?» — пробурчал он. «За то, что я не даю тебе пить». И, не дожидаясь ответа, я обещал ему



принести еще водки, если он немножко посидит. Он согласился, по всей вероятности, потому, что сам был не прочь отдохнуть. У меня же было тайное намеренье, пока он сидит в канаве, похитить у него гроб. Отдавая мне бутылку из-под водки, он грозился меня прибить, если я тут же не вернусь. Взяв бутылку и протянутую монету, я для видимости сделал несколько шагов. Стоя в сторонке, я ждал подходящей минуты, чтоб осуществить задуманное, затем крадучись вернулся. Я видел, как его несколько раз вырвало и как он при этом, к моему ужасу, опирался на стоявший рядом с ним гроб. В этом положении он оставался целых полчаса. Понятно, что в таких условиях мой план не мог быть выполнен. Дорога на кладбище шла полем. Уже темнело. Я готов был позвать на помощь первого встречного. И вот на дороге показался человек. Не успел я обратиться к нему, как он заговорил с пьяным: «Что, Карл, опять пропил заработанные денежки?» Тогда мой спутник поднялся. «А тебе-то что? — кричал он. — Твое дело рыть ямы, а мое — класть в них покойников; а как я своими деньгами распоряжаюсь — тебя не касается. Понятно?» С этими словами он взял гроб под мышку и двинулся в путь. К моему удивлению, теперь он держался на ногах куда тверже, чем раньше. После того как его вытошнило, он немножко протрезвел. Подошедший к нам, по-видимому, могильщик, закончивший к этому времени свою работу, обратился к нему снова: «Смотри, Карл, не перепутай ямы, а то положишь младенца, куда надо класть взрослого». Была уже ночь, когда мы опустили моего брата Рудольфа в холодную землю. В темноте на кладбище мне было очень страшно. Знакомый отца, выполнив поручение, тут же ушел. Несмотря на ужасный страх, я пробыл там еще несколько минут. На соседней могиле лежало очень много венков. Я стащил оттуда один венок и положил его на могилу брата. И тут я заплакал. Было темно, слезы застилали глаза, и я не мог разглядеть номера могилы, помеченного на камне величиной с кирпич. Кажется, могила моего брата была за номером 36-а.

# Бруно Траверси



## ОБРАЩЕНИЕ ИНДЕЙЦЕВ



днажды к испанскому монаху Бальверде, миссионеру в Мексике, проповедовавшему свет истинной веры, пришел индейский вождь Черное Перо.

Случилось это в те времена, когда в Мексике еще попадались католические миссионеры, которые не заботились об укреплении могущества церкви на

земле, а искренне, от чистого сердца стремились обратить индейцев в христианство, снять с них грехи и братски помочь им войти в царствие небесное.

Они несли индейцам не только святое учение, но и то, что тем было полезно уже здесь, на земле, и давало большинству из них некоторую экономическую свободу. Монахи обучали индейцев многим ремеслам и искусствам; взять хотя бы разведение шелковичного червя, красивые вышивки, гончарное дело...

И не было ничего удивительного в том, что подчас индейцы по своей воле приходили к монахам послушать о новой вере.

— Своими богами, особенно главными, — сказал вождь индейцев, — мы вполне довольны, но младшие боги частенько доставляют нам немало хлопот. Когда нужен дождь, бог дождя не посылает нам ни капли; нужна сухая погода, — как мы ни бьемся, — бог сухого ветра к нам и не навевывается. Вот как бывает иногда с нашими домашними богами. Поэтому старейшины моего племени посоветались и решили послать меня к тебе, проповеднику новой веры, чтобы узнать, не дашь ли ты нам лучших богов. Если мы увидим, что твои боги лучше наших, то согласимся принять их и забыть своих. Так расскажи же нам — мне и моим советникам — о твоей вере. Мы выслушаем тебя со вниманием и все, что ты поведаешь нам о своих богах, расскажем у себя нашему народу и потом, когда настанет время, объявим тебе свое решение.

Отец Бальверде просто, без лишней пышности, рассказал главные события, описанные в Евангелии, ничего не приукрашивая, как если бы он пересказывал их детям, опуская все, что могло сбить с толку его собеседников. Он поступил правильно, показав этим, что умеет обращаться со столь неискушенными людьми.

Да у него и не было выбора, ему приходилось говорить на языке этого племени, а его познания в их языке были ограничены.

Вождь долго слушал, не перебивая монаха.

Когда монах закончил, вождь сказал:

— Добрый друг мой, я понял все, что ты рассказал мне и моим спутникам, и мог бы ответить теперь же. Но ты говорил так прямодушно, что сердцу моему было бы больно — ответить я сейчас же, так как я мог бы слишком поспешным суждением огорчить тебя и твоих богов. А мне этого, конечно, не хочется. Сегодня я заночую здесь и перед сном хорошенько обдумаю все сказанное тобою. А завтра приду и скажу, что надумал и на чем

порешил. И решение это будет не поспешное, а хорошо продуманное, и слова чистосердечные. Тогда они не обидят ни тебя, ни твоих богов, так как будут правдивым плодом неторопливых раздумий. А если прямо высказать то, что хорошенько обдумал,— никакой бог не станет гневаться, ибо сам бог и открывает истину моему сердцу. Согласен ли ты, друг мой?

— Конечно, брат мой,— ответил монах,— я, безусловно, согласен с этим. Господь и дева Мария да направят помыслы твои и да приведут тебя и всех твоих к единственной истине. Иди с богом.

На следующий день, когда монах, отслужив обедню в храме, приступил к трапезе, пришли вождь и оба его советника.

Монах хотел тут же начать беседу, но вождь сказал:

— Я вижу, ты собираешься принять пищу. Лучше тебе спокойно поесть— ты ведь голоден. Это заставит тебя торопиться. А вера не терпит поспешности — ни моя, ни, разумеется, твоя. Ешь, и когда хорошенько насытишься — поговорим.

Поев, монах вышел к гостям: вождь и оба советника сидели под деревом, росшим вблизи храма. Монах ни о чем не спрашивал и не торопил их. Он спокойно ждал, пока вождь заговорит.

И вождь сказал:

— Я хорошо взвесил в сердце моем сказанные тобою слова. Твой бог позволил себя бичевать. Так ведь?

— Да, чтобы принять на себя грехи всего мира,— ответил монах.

— Он позволил оплевывать себя, поносить и забрасывать грязью, позволил надеваться над собой, как неразумный царь, позволил хулителям надеть на себя венец из терний. Так ведь?

— Да, чтобы принять на себя грехи людей,— снова ответил монах.

— Он позволил пригвоздить себя к бревну и умер там позорно, как больной пес. Так ведь?

— Да, чтобы снять с людей все грехи,— сказал монах.

— Вот что бог вложил ночью в сердце мое,— спокойно ответил монах: — Тот, кто не способен внушить людям достаточное уважение к себе, чтобы они не смели его оплевывать, поносить, глумиться над ним и забрасывать его грязью, не может быть богом индейцев. В том, кто не умеет защитить себя и не хочет себя защитить, течет не алая кровь и у него нет мужества. Он не может быть богом индейцев. Кто не может и не хочет освободиться от бревна, к которому пригвожден, тот не в силах спасти людей и не может быть богом для индейцев. Кто

пригвожден к бревну и скулит и причитает, как старуха, тот не может быть богом для индейцев.

Вождь хотел продолжать, но монах был не в состоянии хранить такое же глубокое спокойствие, какое вчера выказал вождь во время речи монаха. Он перебил индейца:

— Мой бог сделал все это ради спасения людей. Он пожелал принять муку, чтобы пострадать за всех смертных.

— Ты говоришь, что он, твой бог, божество всемогущее, божество безграничной любви. Так?

— Истинно так.

— Если он, твой бог, поистине всемогущ, почему же он не принял все грехи и злодеяния людей без мучений, без жалобных причитаний, позволяя глумиться над собой? И если он действительно бог безграничной любви, зачем же он заставляет людей страдать, погрязая в грехах, почему вообще позволяет творить зло? Только ради того, чтобы разыграть это пышное, но столь постыдно закончившееся представление? Шут не может быть богом индейцев.

— Но бог поступил так, — снова перебил его монах, — чтобы люди добрыми делами и верой заслужили себе жизнь вечную.

— Зачем же такой окольный путь, друг мой, — спокойно сказал индеец. — Почему нужно заслужить то, что бог безграничной любви и неограниченного могущества мог дать людям даром, как моя мать, которая давала мне все даром, просто из любви, не допытываясь, заслужил ли я это, верю ли я в нее, поклоняюсь ли ей. Из любви она дала бы мне все, не считая и не торгуясь, даже если бы я, — да избавят меня боги от такого, — если бы я ее поносил, глумился над нею или даже побил. Моя мать выше твоего бога: у нее больше безграничной любви, больше всепрощения, она требует меньше веры и уговоров, чем твой бог.

Монах уклонился от ответа. Он перевел беседу на другую часть вероучения, которая — он знал это по опыту — всегда производила большое впечатление на индейцев, встречавшихся ему до тех пор.

— Но мой бог не умер, как ты думаешь, — сказал он. — Ты, по-видимому, вчера прослушал это. Мой бог воскрес через три дня после смерти и в ослепительном сиянии вознесся на небо.

— И часто это бывало? — коротко и сухо спросил вождь.

— Разумеется — единожды, — отвечал несколько удивленный монах.

— А с тех пор он, я имею в виду твоего бога, хоть раз возвращался? — спросил вождь также отрывисто и сухо.

— Нет, — сказал монах, — с тех пор он не возвращался, но обещал, что придет во благовремении, чтобы вершить суд и...

— ...и осудить, — договорил индеец, прервав на этот раз монаха.

— Да, — в волнении воскликнул монах, — да, чтобы осудить всех и вся, кто не уверовал в него, кто извращает слова его и не хочет признать истины его святого учения, когда оные подносят им щедрою десницею, ничего не требуя взамен.

Но возбуждение монаха не передалось вождю. Когда монах окончил, вождь спокойно сказал:

— Вот что бог вложил мне в сердце, как свое последнее слово: для нас, его индейских детей, мой бог умирает ежевечерне, чтобы дать нам прохладу, покой и мир. Он умирает в золотом великолепии, не посрамленный, не оплеванный, не заброшенный грязью. Он умирает прекрасно, как воистину великий бог. Поутру он снова встает из мертвых, неторопливо сбрасывая покровы смерти. Блеснув по голубому своду небес золотыми копьями, появляется он наконец, великий, сверкающий, могущественный, источая свет, тепло, красоту, плодородие; даруя цветам ароматы и краски; обучая птиц сладким песням; наливая початки кукурузы силою и здоровьем; вдыхая в плоды сладость и целительные соки; играя с облаками в лазури воздушного океана. Мой бог подобен дорогой моей матери: он дает, дает и дает. Он не требует никаких молитв, не ждет никаких молитв, не принуждает к вере в себя и не предаёт проклятию. И когда наступает вечер, он снова умирает в багряном великолепии, не посрамленный, не хныкая, но со спокойной улыбкой, суля глубокий мир, благословляя своих индейских детей последним сиянием утомленного взора. А утром он опять там, на небе, вечно юный, вечно сияющий, вечно дарующий, вечно вновь рождаясь, вечно возвращаясь — великий золотой бог индейцев. И вот последнее слово, которое бог вложил мне в сердце: не меняй бога твоего на другого бога, милый сын мой, ибо нет бога выше, нежели твой бог, бог улыбающийся, поющий и ликующий в лучах своих; нет бога прекраснее и благороднее во всем мире, чем твой бог, купающийся в волнах золота, лучезарный, сверкающий бог индейцев.

Сказав это, вождь поблагодарил отца Бальверде за его доброту. Потом скатал одеяло, на котором сидел, перекинул его через плечо и пошел назад к своему народу в сопровождении своих спутников.

Придя к себе, он созвал мужчин племени, чтобы рассказать о путешествии к миссионеру. Индейцы не привыкли промзно-

сить и выслушивать длинные речи. Но на этот раз даже они были изумлены тем, что столь кратким может быть рассказ о таком долгом пути и такой длинной беседе с мужем, проповедующим новую веру. Однако краткость эта не вызвала сомнений у слушателей.

Вождь Черное Перо обвел взглядом круг мужчин и спокойно проговорил:

— Мужи, не меняйте ваших корзин, наполненных спелым зерном кукурузы, на закрытую корзину, о которой вы не знаете, что в ней. Я все сказал.

Племя живет в северной половине Сьерры Мадре. Оно и поныне остается непросвещенным истинной верою.

При стремительном и неудержимом разложении католической церкви, церкви уверяющей, что она носительница мира, но не могущей принести человечеству мир в течение двух тысячелетий, исчезла всякая надежда когда-либо лицезреть это племя и пятьдесят других индейских племен в сонме крылатых небожителей, перебирающих сладкозвучные струны лютни и трубящих в трубы.

Мы перенесем это с полным смирением и глубокой кротостью, как и подобает истинным христианам. Аллилуйя!

# Види Бредеръ



## ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ



олодным февральским утром на деревянной скамье перед рестораном аэропорта, среди белых молодых березок, сидел странный человек: низенький, тощий, в длинном темном пальто и узеньких полосатых брюках. Серая в клетку дорожная кепка была глубоко надвинута на морщинистое, испитое лицо. Голову



он втянул в воротник пальто, и только руки, которыми он нервно водил по своим бокам и коленям, мелькали как светлые пятна на его черной бесформенной фигуре. В широкие окна ресторана были видны посетители, сидящие за белыми накрытыми столиками. Маленький человечек, очевидно, был сильно напуган и, казалось, совсем замерз; он боязливо озирался по сторонам и время от времени украдкой поглядывал на мачту аэропорта, где развевался большой флаг со свастикой. Только оторвав глаза от мачты, он спохватился, что так и не знает точно, который час, и еще раз взглянул наверх. Секундная стрелка торопливо бежала по циферблату. Осталось двенадцать минут. Может, самолет запаздывает. Он долго колебался, сотни раз все передумывал, но теперь, под угрозой смерти, каждая минута ожидания была мучительна.

Арно Тальборн, сидевший здесь на деревянной скамье, дрожа от страха и холода, знал, что в полдень он будет в Амстердаме, то есть спасен. Оттуда он поедет в Америку. Никогда, никогда больше не вернется он сюда. Увидит ли он когда-нибудь своего сына Бруно, — бедняга вот уже два года сидит в тюрьме, и кто знает, где он будет еще долгих шесть лет. А выпустят ли его еще через эти шесть лет? Точно сказать нельзя... Через шесть лет сыну будет тридцать. С двадцати двух лет до тридцати просидеть в тюрьме, страшно подумать! Лучше и вовсе не думать об этом... Два года тому назад, вскоре после ареста Бруно, когда стало известно, как его истязали, а затем поползли слухи, будто его убили и похоронили в Айленриде, жена Тальборна выбросилась из окна, а он, он тогда проклял сына. Зачем нужно было мальчишке ввязываться в политику! Да еще быть заодно с коммунистами! Еврей и к тому же коммунист, — конечно, нацисты были обозлены вдвойне. Сам он всегда был в стороне от политики, никогда не выступал публично. А если после переворота он и голосовал за социал-демократов, так ведь этого никто не знал. Он был торговец, а торговцы должны держаться нейтрально. Покупатели часто и не догадывались, что он еврей. Большинство были арийцы и многие из них антисемиты, он это знал. Но он-то торговец. А что общего между торговлей мукой, пивом в бутылках, сахаром и консервами, что общего между всем этим и политикой?

Когда Бруно вступил в коммунистический союз молодежи, Тальборн примирился с этим только после того, как сын торжественно обещал ему не быть на виду. До поджога рейхстага он держал слово. А в самые тяжелые дни, когда, по мнению Арно Тальборна, следовало быть вдвойне осторожным, Бруно не

только не покинул тех, кого преследовали, а даже стал играть руководящую роль, и вот, после недолгого тревожного существования в подполье, наступил этот неизбежный конец. Старый Тальборн сразу лишился и жены и сына. Большинство покупателей он потерял еще раньше. Затем стали угрожать ему самому. Родственники в Америке предложили свою помощь. И вот теперь он сидит на аэродроме, билет на самолет в кармане; билет на пароход ждет его в Амстердаме. Ни одного дня больше не может он задерживаться в Линдене, не подвергаясь опасности линчевания. Решение далось ему нелегко, и не только из-за сына. Сорок лет прожил он в Германии, из них более тридцати лет в Ганновере, в предместье Линден. А теперь пятидесяти шести лет от роду нужно отправляться одному на чужбину, имея в кармане немногим более, чем на дорогу.

— Кто такой?

Арно Тальборн испуганно вскочил. Перед ним стоял долго-вазый эсэсовец. Прежде чем Тальборн успел ответить, тот продолжал:

— Почему сидите на улице в такой холод?

— Мне же нельзя туда, — ответил Тальборн.

Эсэсовец, не поняв почему, рассматривал бледного, трясущегося человечка.

— Ваше имя?

— Арно Тальборн — еврей!

— Ах, вот оно что! — Эсэсовец презрительно поморщился и хотел уже пройти, но спохватился. — Ты, вероятно, собрался за границу?

— Да, сударь...

— Деньги в чемодане?

— Нет.

— А что же тогда у тебя в чемодане? — заорал эсэсовец. — Валюта, драгоценности?

Арно Тальборн, трепеща от страха, смотрел на внезапно рас-свирепевшего верзилу. Почему он так разъярился? Ведь ответы Тальборна были кратки и точны. Он взял себя в руки и, стоя навзятжку, отвечал по возможности твердо и определенно.

— Нет, сударь, немного нижнего белья, мыло, зубная щетка.

Рот эсэсовца скривился в насмешливой гримасе. Он прищурился и зло уставился на еврея.

— Мыло? Будто ты, свинья, моешься! Зубная щетка? Да у тебя такая вонь изо рта, что просто тошнит... — Он задумался. Один, без свидетелей, он не имел права производить осмотр

вещей. Еще, чего доброго, этот поганец станет потом повсюду говорить, что его обворовали.

Арно Тальборн заметил взгляд эсэсовца, устремленный на его чемодан.

— Проверка уже была.

— Тебя разве спрашивают, олух? А ну, покажи свои шмотки! Быстрей, быстрей!

На площадку аэродрома в это время опустился самолет. Пассажиры вышли из ресторана. На тележке повезли вещи. Арно Тальборн ничего этого не видел; неловкими от волнения руками он пытался открыть свой чемодан.

— Быстрей! Ах ты свинья, копаешься еще? — кричал эсэсовец.

Наконец крышка чемодана открылась, и у Арно Тальборна вырвался вздох облегчения.

— Смотрите, сударь! — Он рылся в рубашках, кальсонах, показывал носки, домашние туфли. — Может быть, вы хотите просмотреть все сами?

— А что засунуто там? — Эсэсовец показал на матерчатую подкладку чемодана и метнул на еврея испытующий взгляд.

— Где? — удивился Тальборн, не видя ничего, кроме крышки чемодана, на которой не было даже маленького карманчика.

— Где?! — заревел эсэсовец. — Вот здесь, за подкладкой! — Он нагнулся, одним махом рванул подкладку и просунул в дыру руку. Там ничего не было.

— Тальборн! — позвал кто-то.

— Здесь! — ответил он.

— Что вы там делаете? Идите же скорей!

Только теперь Тальборн увидел, что самолет стоит на площадке и пассажиры поднимаются по трапу. Он жестом показал на свой чемодан и эсэсовца.

— Проверка, сударь! Я сейчас! Одну минуточку!

— Молчи, скотина! — прошипел эсэсовец, увидев бегущего к ним чиновника. — Собирай свое тряпье!

— Разве ваши вещи не просматривали? — спросил чиновник.

— Да, проверяли, но вот господин...

Эсэсовец оборвал его на полуслове:

— Этот человек вел себя подозрительно.

— Так, так... — Чиновник, избегая смотреть на эсэсовца, протянул Тальборну паспорт и нетерпеливо крикнул: — Потопитесь же, а то вы останетесь.

Арно Тальборн зажал под мышкой свой еще не запертый как следует чемодан и побежал к самолету. Чиновник бежал за ним. Когда Тальборн поднялся на лесенку, тот потянул его за рукав:

— Ничего из вещей не пропало?

— Да нет, нет,— испуганно проговорил Тальборн, словно его обвинили в преступлении.

В самолете он нашел себе место около двери и был очень рад тому, что перед ним были только затылки,— ему не хотелось видеть лица пассажиров. Кроме него, в самолете находилось семь человек: пять мужчин и две женщины. Четыре места были свободны. Им никто не интересовался; взглянули мельком, и то потому, что опоздал.

Итак, он летит. Никогда он не вернется сюда. А в тюрьме Целле сидит его сын. Четыре голые стены, окно, забранное решеткой, нары, параша. Сидит уже два долгих года, а впереди еще в три раза больше! Гертруде на кладбище у линденской горы, пожалуй, лучше! Может быть, и ему нужно было последовать за ней? Америка! Он не представлял себе, что ждет его там. С таким же успехом можно было полететь на луну. Америка! Шурин, которого он едва помнит, имел в Тобеке гостиницу. А что ему делать там? Взглянув на окна, он увидел светлый металл крыла, а под ним мощный фюзеляж с медленно вращающимся колесом. Нагнувшись, он разглядел внизу деревни, тонкие, как нитка, прямые проезжие дороги, резко обозначенные прямоугольники земли, темные пятна лесов. Мимо проплывали гонимые ветром легкие облака, на секунду скрывая все вокруг.

Тальборном овладела бесконечная грусть. Как преступник, должен он спастись бегством. Всякий, кто бы захотел, имел право унижить его и обидеть. Что нужно было этому эсэсовцу? Действительно ли он подумал, что Тальборн хотел увезти за границу ценности? Вспомнились все обиды, причиненные ему за последние годы, жестокие обиды, без всякого повода, без всякого смысла, забавы ради. Унижать, оскорблять людей, причинять им вред стало для многих своего рода спортом, развлечением. Почему именно в Америку? Почему? Не лучше ли было остаться и повеситься, как, например, Натан Рот, ювелир с Гетештрассе, или отравиться газом, как семья Гольдшмидт с Вальдерзее? Меня хотели убить, но я бежал. Куда я бегу? Что нужно мне в Америке? Я бегу, а Бруно сидит в тюрьме...

— Сударь, вот карта маршрута, не угодно ли?— Стюард открыл сложенную продолговатую карту.— Видите, вот здесь слева Минден. Скоро будем над ним.

Тальборн смотрел не на карту, а на человека, который говорил ему это. Так редко теперь к нему обращались приветливо. Так редко!

— Не угодно ли вам чашку кофе? — спросил стюард.

— Да, да, пожалуйста, — ответил Тальборн, преисполненный благодарности. Минден. Тальборн взглянул в окно. Красные крыши и башни в обрамлении темных лесов. Они с Гертрудой бывали в Миндене в пансионе и в Тевтобургском лесу. Бруно тогда был совсем маленьким. Это был озорной, своенравный ребенок. Гертруда постоянно твердила, что он допрыгается до беды... Но нет, настоящая беда пришла позднее. А ведь мальчик не совершил никакого преступления. Он называл себя коммунистом, он и его товарищи крепко держались друг друга даже тогда, когда это было запрещено. И за это он должен потерять лучшие свои годы, годы юности.

Что подумает сын, когда ему скажут, что я улетел в Америку. Бруно до сих пор не знает, что мать из-за него лишила себя жизни...

Стюард вышел из камбуза, который находился сразу же за местом Тальборна.

— Пожалуйста, сударь, вот ваш кофе!

Крохотный молочник и сахар были тут же.

— Благодарю вас.

«Какой симпатичный человек, — подумал Тальборн, — необыкновенно приятный по теперешнему времени». Он отхлебнул кофе и немного приободрился.

Стюард, проходя с пустым подносом, сказал:

— Мы как раз сейчас пролетаем границу, сударь.

— У вас нет разрешения на въезд, а срок особой отметки в паспорте истекает через три недели. Куда вы, собственно говоря, едете?

— В Америку! — тихо ответил Тальборн. Предчувствуя беду, он втянул голову в плечи и испуганно смотрел на чиновника амстердамского аэродрома. Во взгляде его больших темных, слегка выпуклых глаз было что-то невыразимо жалкое.

— Есть у вас деньги?

— Да, конечно, — прошептал он.

— Сколько?

— Двадцать пять долларов.

Чиновник с удивлением и досадой посмотрел на него: дурака валяет, что ли?

Тальборн улыбнулся робкой просящей улыбкой. Чиновник, на беду его, считал эту улыбку за насмешку; лицо его мгновенно приняло строгое, деловое выражение:

— Вы должны вернуться.

— Как?.. Что вы сказали? Послушайте, сударь!.. — Тальборн кричал вслед уходящему, но его голос уже не достигал рассерженного чиновника.

Два часа спустя Арно Тальборн снова сидел в самолете; он летел тем же путем в обратную сторону. Вошел стюард и стал раздавать карты маршрута. Тальборна спросили, хочет ли он кофе, но он отказался. Теперь ему все было совершенно безразлично. Он сойдет в Ганновере, вернется в Линден к своей погибшей жене. В сущности, таможенный чиновник был прав: что нужно ему, Тальборну, в этой самой Америке? Всконечное множество людей живет там, а его, конечно, никто там не ждет. Вся эта затея с переездом — просто глупость. Он — частица Ганновера, Линдена, где лежит его умершая жена, куда через шесть лет вернется его сын. Он бы, конечно, так опрометчиво не продал свой магазин, если бы не письмо с угрозами. Какой прок ему от полученной суммы?.. Деньги взять с собой в Америку он все равно не мог. Банк по кредитованию розничной торговли из чистого великодушия согласился сохранить этот вклад для сына. Свой магазин он подарил, нет, вернее, его просто у него украли.

«Они грозили меня убить, если я немедленно не исчезну. Может быть, этот Хейдеман, так сказать, купивший магазин, сам написал письмо? Ну и пусть они меня убьют... пусть». С тех пор как он стал бояться жить, ему не страшна была смерть.

Арно Тальборн опять сидел, съездившись, на последнем месте. Он много перестрадал. И должно же было случиться, что именно ему, который сам недолюбливал многих евреев, суждено было столько страдать из-за того, что он еврей! Эугена Винкельштейна, например, ни один порядочный человек не мог уважать. Тальборн знал его особняк с огромным парком в окрестностях Берлина. Думая об этом парке, он не видел ни деревьев, ни посадок, ни крытых беседок и фонтанов. Вместо всего этого в его воображении вставало большое солдатское кладбище; ряды деревянных крестов, а в центре возвышался дворец Винкельштейна. На солдатских могилах выросло это богатство. Можно ли уважать такого человека? Разве не чудовищно, что он — еврей?

Но при чем тут я, торговец бакалейными товарами, который был солдатом, воевал за Германию и всю свою жизнь честно

трудился? Шурин из Тобека советовал обратиться к Винкельштейну: тот мог бы помочь, у него были большие связи. Такого-то, конечно, не тронут, хоть он и еврей, и дворец его построен на немецких костях! Богатые люди из всех передраг выходят целы и невредимы, мелкому торговцу Тальборну это было совершенно ясно, иначе он себе никогда этого и не представлял. То, что несчастье миновало Винкельштейна, раньше показалось бы Тальборну вполне нормальным явлением, но теперь эта несправедливость возмущала его.

Самолет резко снизился. Тальборн увидел, как проплыла мимо колокольня, приблизилась широкая лужайка, потом пролетели прямо над кустарником... толчок... он приземлился на ганноверском аэродроме.

— Вы? — недоуменно спросил дежурный.

— Моей визы там не оказалось, хотя здесь меня уверили, что все в порядке. Очевидно, какая-нибудь ошибка или оплошность, — скороговоркой проговорил он. — Я отложу поездку и наведу справки.

— В экспедиции вы получите обратно ваш паспорт, — сказал чиновник, — вон там, в маленьком здании.

Тальборн охотнее оставил бы документы при себе и немедленно же ушел, так как боялся встретиться с тем грубияном эсэсовцем, который обвинил его в спекуляции валютой. Но что он мог сделать! Взяв свой чемоданчик, он поплелся к длинному строению, где над входом была надпись: «Экспедиция». Сердце его сильно стучало, голова кружилась. Он понимал, что добром это не кончится. Несмело — рука его дрожала, когда он взялся за дверную ручку, — он вошел. И, еще не успев как следует осмотреться, услышал радостный возглас:

— Мой еврей! Идет мой еврей!

Арно вадрогнул — он узнал молодого эсэсовца. Он задрожал всем телом, не в состоянии вымолвить ни слова, не решаясь сделать ни шага дальше. В миг его окружила кучка гитлеровских солдат. Долговязый эсэсовец, уже знакомый Тальборну, подошел к нему. Лицо его выражало неподдельное удовольствие, он алорадствовал, ухмыляясь во весь рот.

— Ах ты, товар без цены, тебя там не принимали? — спросил он. — Ты что, контрабанду перевозил? — Вагляд его стал еще более грозным.

— Нет, нет, — крикнул Тальборн, — нет, сударь!

— А почему же тебя отправили назад? Отвечай!

Тальборн растерянно посмотрел вокруг. Что сказать, не рискуя еще больше восстановить против себя этих людей?

Один эсэсовец крикнул:

— Ну, видно, там, за границей, стали умнее и благодарят покорно за евреев. Истребить бы все это отродье!

— Моей визы там не оказалось...

— Это почему же, интересно узнать? — спросил эсэсовец и выжидающе прищурился.

— Ошибка, сударь, — прошептал Тальборн. — Вероятно, ошибка, а может быть... — Он испуганно запнулся.

— Что, что еще может быть? — допытывался эсэсовец.

— Может быть... может быть, упущение, — выдавил Тальборн.

— Что такое? — крикнул эсэсовец. — Ты, собака, хочешь нас обвинить? Упрекнуть нас за упущение? — Он выпрямился во весь рост и скомандовал: — Руки по швам!

Тальборн выронил чемоданчик и вытянул руки по швам.

— За такую дерзость ты будешь наказан, — сказал эсэсовец и наотмашь ударил стоявшего навтыжку дрожащего старика по лицу.

Тот покачнулся, от сильного удара отлетел назад и, защищаясь, закрыл лицо руками.

— Рукам волю давать! Ах ты собака, — закричал грубиян. — Я же приказал тебе держать руки по швам! — Он продолжал бить Тальборна, и в чью бы сторону тот ни отшатнулся, каждый из солдат отталкивал его от себя. — Дерзкий, непристойный наглец, пьявка на теле немецкого народа, насильник, детоубийца, шакал!

Каждый удар, каждый толчок сопровождался бранью. Наконец Тальборна швырнули в угол. Эсэсовцы, громко смеясь и разговаривая, разошлись. Кто-то крикнул ему, чтобы он встал лицом к стене. Несчастный с трудом поднялся и привалился к стене. Два часа пришлось ему простоять так.

И вот опять, во второй раз, сидит он в самолете, направляющемся в Амстердам. Стюард раздает карты, только Тальборну не дает. Он спрашивает пассажиров, не желают ли они кофе, только Тальборна не спрашивает. Мимо него стюард проходит так, словно его вообще нет. Эсэсовцы на ганноверском аэродроме предупредили, кто такой Тальборн. Опять Тальборн вынужден был заплатить десять долларов за второй билет и немного чаевых отсчитать эсэсовцу, который купил билет, так как Тальборну не разрешили покинуть его место у стены.

На этот раз он сидел не на самом последнем месте, а среди пассажиров. Не в состоянии овладеть собой, он неожиданно за-



лился слезами, они хлынули по его мертвенно-бледному лицу, маленькое худое тело его сотрясало от рыданий. Пожилая дама, сидящая сзади, предложила ему кофе из своего термоса. Он взял и жадно выпил. Потом она протянула ему бутерброд с ветчиной. Мокрое от слез лицо Тальборна улыбнулось благодарной улыбкой. Вдруг кто-то крикнул:

— Сударыня, да ведь он еврей!

— Поэтому я и помогаю ему, — проговорила дама и добавила: — Я, слава богу, не подчиняюсь варварским законам вашей страны.

Пассажиры молчали. Женщина раскрыла свою сумочку, достала оттуда карточку и протянула ее Тальборну.

— Если за границей вам нужна будет помощь, — сказала она громко, чтобы каждый мог слышать, — то обратитесь ко мне.

Тальборн, не рискувавший до этого есть бутерброд с ветчиной из страха вызвать новый скандал, теперь принялся лепетать слова пылкой благодарности, одновременно испытывая жестокий страх перед человеком, сидящим на три кресла дальше по другую сторону прохода.

Все же он облегченно вздохнул, когда самолет приземлился. Он считал себя спасенным. Он не знал, что дело с визой по-прежнему не было закончено и что эссовцы, потехи ради, послали его в эту бессмысленную поездку. Ночь Арно Тальборн провел в караульном помещении амстердамского аэродрома. Несмотря на все просьбы, к нему никого не пускали. К тому же этим делом уже занимались высшие органы. Ганновер обещал по телефону испросить нидерландского консула в Берлине разрешение на въезд. До урегулирования этого вопроса ничего иного не оставалось, как отправить Тальборна обратно. Нельзя же допускать, чтобы немцы безнаказанно переправляли нежелательные элементы через границу.

— Лучше убейте меня, — взмолился Тальборн, — только не отправляйте обратно!

— У нас никого не убивают, — ответил голландский чиновник.

Полный безнадежности, уверенный, что вереница страданий и унижений этим еще далеко не исчерпана, безучастный и безразличный ко всему, сидел Арно Тальборн в самолете. Комендант амстердамского аэропорта дал ему письмо к коменданту ганноверского аэродрома. В корректных выражениях он просил вновь отправить переселенца Арно Тальборна только при нали-

чин визы. Так как речь идет о лице, едущем в Соединенные Штаты Америки, то достаточно иметь транзитную визу, которую без труда может выдать представитель Нидерландов в Ганновере. Тальборн не знал содержания письма. Ему это было безразлично. Ему вообще все было безразлично.

— Летучий еврей опять здесь! — ликовали эсэсовцы, с триумфом увлекая Арно Тальборна в свое экспедиционное бюро.

— Ну ты, паршивец, все от тебя отказываются!

— От таких, как он, весь мир отказывается, — крикнул кто-то насмешливо. — А мы должны их терпеть!

— Потихе, подождите, пока пассажиры уйдут с аэродрома, — сказал тот эсэсовец, который первый увидел Тальборна. Кто-то из солдат заметил письмо в его руках.

— Это еще что такое? — прошипел эсэсовец, грозно сверкая глазами, приблизив к Тальборну свое искаженное от ярости лицо. Тот в ужасе отпрянул.

— Коменданту аэропорта, — пролепетал он.

— Кому?

— Коменданту...

— Кому?

Тальборн отступал все дальше, пока не уперся в стену.

— Кому, безмозглая скотина?

Наконец Тальборн понял:

— Господину коменданту!

Но пощечины он все равно не избежал. Мучитель взял у него из рук письмо и распечатал.

— Представьте себе, — сказал он своим любопытствующим собратьям, — комендант амстердамского аэропорта рекомендует нам держать еврея у себя.

— Ага! Видно, ему тоже противно стало, — крикнул кто-то из толпы. Но эсэсовец с распечатанным письмом в руке возмутился:

— Вот еще, тоже лезет не в свое дело! Мы хозяева у себя в доме. Вечно вмешиваются в чисто немецкие дела... Я ему вправлю мозги! — Он повернулся к Тальборну: — А ты, свинья воюющая, марш на свое место! Туда, в угол! Обезьяньей мордой к стене, и горе тебе, если пошевельнешься!

Эсэсовцы — караульные аэропорта — с упоением продолжали измываться над «летучим» евреем. Чтобы оградить себя от возможных неприятностей, они составили акт о происшедшем и передали в соответствующие органы. Пока прибудет от-

вет, времени предостаточно. Это они знали. Арно Тальборна вновь заставили заплатить десять долларов за билет на самолет до Амстердама. Бедяга тихо заплакал: только не в Амстердам! Ему было стыдно появиться там еще раз без визы. Эсэсовцы обступили его и, держась за животы, умирали со смеху, так как лицо старика от плача смешно исказилось.

— Не надо в Амстердам, отпустите меня домой.— Он хотел вырваться из рук своих мучителей. То его охватывал трепет при одной мысли, что они могут спросить о сыне, то — дикая, безумная жажда мести, граничащая с неистовством. «Хоть бы у меня было оружие! — думал он.— Стрелять, стрелять в этих скотов, пока смерть не положит всему конец». При этом кулаки его незримо сжимались. Но он был стар и слаб, а его мучители молоды и сильны, они имели оружие и законное право его применять. «Ах, почему я не покончил с собой, как Натан Рот и Гольдшмидт», — думал он в смертельной тоске.

— В два часа пятьдесят пять минут отправляется самолет в Амстердам. С ним ты полетишь! Смирно! Кто приезжает из Германии, должен обладать выправкой. Пусть за границей с первого взгляда видят, что здесь царят дисциплина и порядок.— При этом эсэсовец едва сдерживался от смеха. Все вокруг разразилось гомерическим хохотом.— Вот твой билет. Поклонись своему голландскому другу. Скажи ему, если ты ему очень противен, пусть преспокойно присылает обратно, мы с нетерпением будем ждать!

Вся банда вновь покатила со смеху.

В сопровождении двух эсэсовцев Тальборн был в третий раз посажен в самолет, отправлявшийся в Амстердам. Он занял крайнее место в ряду, втянул голову в плечи и, покорный судьбе, закрыл глаза.

— Послушай-ка, Гергард,— крикнул один эсэсовец,— повесить, что ли, плакат? Ведь они непременно сегодня же пришлют его обратно.— Прикрепив над входом в экспедицию плакат и гордясь своей выдумкой, он огляделся по сторонам,

Неожиданно слышались испуганные крики. Служащие аэродрома бежали по летному полю. Один из них кричал:

— Кто-то выбросился из самолета!

На берегу Лейны лежало маленькое искалеченное тело.

— Еврей! — крикнули эсэсовцы, прибежавшие к месту происшествия.

Труп Арно Тальборна принесли к зданию экспедиции, где над входом висел увитый гирляндами плакат: «Добро пожаловать!»

## СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА МОРО

Утром 27 августа 1813 года, на второй день сражения под Дрезденом, бывший французский полководец, старый соперник Наполеона, генерал Моро был смертельно ранен на поле боя. Ядром французской пушки ему оторвало обе ноги. Изрешеченная осколками лошадь грузно осела под ним, а он, обливаясь кровью, упал на землю, что-то прохрипел (слов его никто не понял), но сознания, как оказалось, не потерял и, когда к нему подбежали, потребовал сигару.

Нужна была срочная операция. Чтобы не оставлять тяжело раненого на раскисшей от дождя земле, из казачьих пик наскоро соорудили подобие носилок и до прихода хирурга уложили на них генерала; он жевал сигару и тихо стонал. Прошло всего несколько дней, как он вступил на берег Европы, которую оставил почти десять лет назад. В те времена он был одним из самых непобедимых полководцев и сражался на стороне французов, во главе республиканской армии.

В ближайшей крестьянской лачуге ему кое-как сделали перевязку, но домишко непрерывно обстреливала французская артиллерия, и генерала пришлось перенести в соседнее селение Нотнитц.

Здесь, находясь в полном сознании и не выпуская из рта сигары, он дал себе ампутировать обе ноги выше колен. Во время операции потребовал чая и еды. В тот же вечер его отправили дальше в Пассендорф и поместили в доме лесничего. Он признался, что терпит невыносимые мучения, но никто не слышал от него ни единой жалобы.

Ночью он лежал без сна, глядя немигающими глазами в потолок, губы его шевелились, но он молчал.

На рассвете французы двинулись в наступление, и раненого пришлось переправить в другое место. Русские солдаты перенесли его в коробе зарядного ящика в Дипольдский лес. Здесь Моро узнал, что в Лауне назначен военный совет, и потребовал доставить его в ставку союзного командования.

Военачальники союзных войск сочувствовали Моро и сокрушались по поводу такой потери для армии. Смертельно раненный генерал сердито оборвал их:

— Почему потеря? Не хороните меня раньше времени. Поскорее к делу!

— Вы очень ослабли, генерал!

— Вздор! Начинайте военный совет!

Так у носилок безногого командующего началось совещание русских, австрийских и прусских генералов. Они были подавлены. Наполеон выиграл эту битву. Дальнейший ход кампании, видимо, не предвещал ничего хорошего. И Моро, которого уже коснулось дыхание смерти, ободрял присутствующих, поддерживал в них мужество.

— Да, французы победили, но не впадайте в уныние, — говорил он. — Дела Наполеона вовсе не так блестящи, как может показаться. Его солдаты не понимают, за что они должны умирать вдали от Франции. Скоро все изменится в нашу пользу, я твердо верю в это. Если вы сохраните единство и будете стойки — эта победа Наполеона окажется его последней победой.

Моро было трудно говорить. Лицо его то пылало лихорадочным румянцем, то покрывалось смертельной бледностью. Он торопился наметить план дальнейших действий.

— Не следует оттягивать войска к Боймену, — настойчиво повторял он, — лучше обойти наполеоновскую армию и продвигаться к Лейпцигу, чтобы отрезать врагу пути отступления.

Раненому явно становилось хуже, и генералы попросили его поберечь силы, не изнурять себя; он сможет и завтра сообщить им свои планы и дать распоряжения.

— Завтра?.. Завтра будет уже, пожалуй, поздно, — чуть слышно проговорил Моро, провожая взглядом генералов, которые потихоньку, один за другим, выходили из комнаты. Остался лишь полковник Рапатель — его соотечественник, друг и ровесник: ему тоже было за пятьдесят.

Генерал потребовал перо и бумагу. Он хотел написать письмо жене. Конец был близок. Моро знал это.

Он прожил еще пять суток. Пять невообразимо долгих дней и ночей, в лихорадочном жару, но с болезненно ясным сознанием.

Днем он лежал, «являя собой возвышенный образец человеческой стойкости, спокойствия и выдержки», как писали хроникеры. По ночам, правда, бывал беспокоен, начинал бредить, заговариваться. «Спорил с воображаемыми противниками, стоял и жаловался, как будто упрекал себя за что-то», — рассказывали друзья, день и ночь не отходившие от смертного ложа.

Полковник Рапатель склонился над генералом: он услышал лихорадочный шепот и тихие стоны. На маленьком, обтянутом восковой кожей, вдруг точно ссохшемся лице торчал заострившийся нос. Казалось, генерал спит, но лицо его подергивалось. Рот кривился гримасой боли.

— Под уклон... Под уклон. А-а-а!

«Нет, это не страдание, его что-то необычайно радует», — подумал Рапатель, который ловил каждое движение, каждое слово умирающего. «Le General des victoires <sup>1</sup> под уклон, под уклон». — Рапатель не мог ошибиться, он ясно слышал эти слова.

Это была его первая ночь у постели раненого. Накануне дежурил русский полковник Свиныин.

— Только под утро затих, — доложил Свиныин, — стонал, говорил, бранился, метался, делал даже попытки подняться.

Но как Свиныин ни напрягал слух, он не мог разобрать ничего, кроме бессвязных слов — Морле и Пишегрю.

Рапатель был доволен. Он недолго любил Свиныина, — ведь именно тот уговорил Моро вернуться из Америки в Европу.

Моро, лежавший с закрытыми глазами, вздохнул, узкие бескровные губы его зашевелились. Словно почувствовав близость друга, он зашептал: «Пишегрю виновен! Слушай, Пишегрю виновен!» Ничего больше. Только эти слова. И так несколько раз кряду. Потом лицо его застыло, он умолок. «Нет, виновен не Пишегрю, а Свиныин», — подумал Рапатель. Он поднялся, он смотрел не на умирающего, взгляд его был устремлен куда-то в пустоту...

«Пишегрю... О нем генерал говорил уже вчера. Пишегрю. Он давно мертв. В чем же генерал винит покойника? Разве кто-нибудь еще помнит этого человека, который так блистательно начал и так позорно кончил? Может быть, судьба Пишегрю каким-то образом напоминала Моро его собственную?»

Рапатель вспомнил, как после первого свидания с императором Александром генерал прямо и честно, как всегда, заявил ему: «Нет, Александра не интересует французский народ, он смотрит на него, как на зверя, которого нужно укротить. Он хочет, чтобы на французском престоле сидели Бурбоны. Так кому же мы, собственно, служим?»

«Кому же хотел служить Моро? — подумал Рапатель. — Только своему народу».

Бескровное лицо вновь оживилось. Губы приоткрылись. Явственно, почти громко генерал выкрикнул:

— Ни шагу назад!.. Ни шагу назад! Ради бога, только не отступать!

Он хотел поднять голову с подушки, но не смог. Рапатель не шевельнулся. Он стоял, смотрел и слушал. Моро потребовал кавалерию.

---

<sup>1</sup> Непобедимый генерал (франц.).

— В атаку! — закричал он. Потом застонал, снова попытался приподняться, словно забыв, что стал безногим обрубок.

Полковник внимательно смотрел на этого сражающегося со смертью человека. Глаза его были закрыты, но лицо, застывшее в выражении отчаяния и боли, время от времени судорожно подергивалось. Наконец губы перестали шевелиться, по лицу медленно разлился покой, оно постепенно разгладилось, побелело и стало как у мертвого.

Пишегрю, думал Рапател, даже в смертный час мысли о нем терзают Моро. Неужели генерал участвовал в заговоре? Никогда и никому он в этом не признавался. Даже ему, Рапателю. А Рапател верил Моро, несмотря на все наговоры, верил слепо и без оглядки... Пишегрю был начальником Моро, и Моро знал, что он замышляет переворот, никогда этого не отрицал. Но он не выдал Пишегрю, во всяком случае, выдал не сразу, он молчал. До сих пор полковник уважал Моро за этот достойный солдата поступок, — ведь Пишегрю был старшим по чину. Может быть, Моро раскаивается в том, что смолчал? Рапателя опять мучил этот вопрос, все прошедшие годы, даже в изгнании, он гнал его от себя.

Солдат по призванию, смельчак и сорвиголова, как и Моро, он не слишком интересовался сложными военными и политическими интригами и коварными происками честолюбцев, его не волновали их взлеты и падения — он безоглядно связал свою судьбу с судьбой друга и товарища по оружию, которого боготворил. Да, связал в полном смысле этого слова и прошел вместе с ним весь его путь, вплоть до смертного часа, даже ссылку. И вот теперь это имя, всплывшее из небытия, имя Пишегрю, сорвавшееся с уст умирающего, вновь все всколыхнуло в нем. Неужели Моро всю жизнь лгал? Моро, самый чистосердечный, прямой и искренний из всех, тот, в ком весь мир видел жертву наполеоновского произвола, кого французские республиканцы считали своим, а Бернадот, как равного, прижимал к груди? Сомнение закралось в душу Рапателя. Совесть забила тревогу. Если жизнь Моро была ложью, ложь отравила и его жизнь. К тому же старый воин был не чужд суеверия. Действительно странно, что, вернувшись после десятилетнего отсутствия в Европу, в первой же битве на европейской земле один из величайших полководцев Франции был смертельно ранен ядром французского орудия. И Рапател спросил себя: как это случилось? Что же, собственно, тогда произошло? Где жизнь Моро впервые дала трещину и каким образом эта трещина превратилась в зияющую пропасть? Почему победитель под Гогенлиндемом

стал советником объединившихся врагов Франции? Да, как это могло произойти, спрашивал себя Рапатель, словно вовсе не он, а другой прошел вместе с Моро этот извилистый путь со всеми его радостями и горестями.

Раненый затих, даже дыхание его стало спокойным, — казалось, он крепко спит. А полковника терзали беспокойные мысли, точно умирающий звал на него все муки своей советности. Он размышлял, сопоставлял, взвешивал, пытался восстановить в памяти важнейшие события. И наконец вспомнил, как они познакомились, при каких обстоятельствах увиделись впервые. Это было в тот день, когда захватили транспорт австрийского генерала Клинглина и среди трофеев обнаружили почтовый мешок. В нем и находились те письма... С них все и началось. Он, Рапатель, был тогда капитаном и первый со своим эскадром переправился через Рейн. Моро вызвал его к себе. Да, именно так все и началось. Это была секретная переписка, важнейшие документы.

— Капитан, вы умеете молчать? — спросил Моро.

— Когда нужно, я нем как рыба, гражданин генерал.

— Так вот, сейчас нужно.

Само собой разумеется, он сдержал слово. Лишь позднее стало известно, почему нужно было молчать. Эти письма изобличали Пишегрю, главнокомандующего французской армии. У него была длительная тайная связь с австрийцами. По собственному почину он вступил с ними в переговоры, задумал государственный переворот с целью свержения Директории, поддерживал претендента на французский престол. Да, это он, Пишегрю, главнокомандующий республиканской армии, стал участником заговора против Республики. А Моро молчал, Моро не захотел отправить эти компрометирующие письма в Париж. Может быть, Моро был соучастником заговора? Нет, это невозможно, сам себе возражал Рапатель. Так почему же он скрыл предательство Пишегрю? Это была опасная игра, ведь Республика безжалостно расправлялась с генералами-изменниками. Кто-нибудь из нас, из тех, кто знал, мог сообщить в Париж, Директории. Но никто этого не сделал. Неужто мы были плохими республиканцами? Этот вопрос, раз возникнув, требовал немедленного ответа. И полковник вынужден был признать: армия потеряла доверие к Директории. «Продажные интриганы», — называли офицеры ее членов. Только и говорили что о парижских скандалах. Многие мечтали о временах Неподкупного, тайно преклонялись перед Сен-Жюстом. Но другие, и таких было большинство, хотели, чтобы во главе Республики



стоял генерал. Вот почему офицеры не выдали Пишегрю. И почему удивляться, это даже вполне естественно, что Моро знал о двойной игре Пишегрю. Франция была уже обреченной республикой, государственный переворот назрел. А Моро был тогда кумиром не только армии, но и народа.

Так все-таки почему, спросил себя Рапатель, после ареста Пишегрю Моро отвернулся от него и даже разоблачил его, поспешно передав Директории трофейные письма? Нет, Моро не стал бы таким способом спасти собственную шкуру. Или все делалось по указанию Пишегрю? В это трудно поверить, Моро растерялся, он еще не был подготовлен к мятежу против Директории, но от старой преданности не осталось и следа. Ему помогла не изворотливость, думал Рапатель, он оказался непричастным из-за своей растерянности и нерешительности, Моро сам признавал это позднее.

«Многие письма написаны шифром, но мы нашли к нему ключ и прочли их,— писал он Директории, отсылая секретную переписку, после того как узнал об аресте Пишегрю.— Никто не подписывает подобные письма своим истинным именем, поэтому лиц, состоявших в связи с Клинглином, Конде, Викгамом и другими, уличить трудно, однако доказательства, которыми мы располагаем, не оставляют никаких сомнений. Я намерен был скрыть от всех эти документы, имеющие целью восстановление монархии, скрыть потому, что близость мира устранила для Республики всякую опасность, да и заговорщиков была лишь ничтожная горстка».

«Слабая отговорка! — про себя воскликнул Рапатель.— Нет, Моро был не мастер писать, шпагой он владел куда лучше!»

В послании к Директории Моро с готовностью разоблачил своего арестованного начальника и друга Пишегрю. «Заверяю вас, что мне бесконечно тяжело сообщать вам об этом предательстве,— писал он,— тем более что изменник, которого я должен назвать, был моим другом и остался бы им навсегда, не узнай я всей правды».

Да, именно так он и писал... Обвинял ли он себя теперь за это? Может быть, в этот последний час его мучила совесть? Едва ли. Ведь после всего он вновь сблизился с Пишегрю. Он, как и прежде, оставался другом Пишегрю, а позже вместе с ним участвовал в заговоре против первого консула, против этого «General des victoires», когда тот 18 брюмера свергнул Директорию и встал во главе государства.

Рот раненого приоткрылся, он жадно глотнул воздух, словно боялся упустить последние крохи жизни. Видимо, ему хоте-

лось что-то сказать, но он не издал ни звука. «Он говорит с умершими,— подумал Рапатель,— но кто знает, проклиная он их или просит прощения». Этой ночью полковник так и не нашел ответа на терзавшие его вопросы. Как ни старался он, как ни анализировал прошлое, факты путались в обратном движении его памяти, безнадежно меняли последовательность, и то, что он узнал позднее, придавало давним событиям иной, совершенно новый смысл.

Рано-рано, едва забрезжил рассвет, явился русский полковник, чтобы сменить Рапателя. Взглянув на спокойно спящего генерала,— тот дышал с чуть слышным присвистом,— Свиный сказал, скорее утверждая, чем спрашивая:

— Ночь он провел спокойно?

— Спокойнее, чем можно было ожидать,— вернее, не всю ночь, а после полуночи.

— Вы бы прилегли! — С этими словами Свиный занял место Рапателя у изголовья походной кровати.

Проводив взглядом француза, он стал размышлять о донесении, которое составил и отправил этой ночью царю. Его величество настаивал на получении самых точных сведений. Опытный офицер и дипломат Свиный был доволен собой: именно такое донесение послал он царю. Свиный по-своему истолковал раскаяние, сожаление и душевные муки, терзавшие Моро. Он понял больше, чем предполагал тяжелолюб Рапатель. За несколько недель путешествия из Америки в Европу он хорошо узнал Моро, к тому же они были знакомы еще в Соединенных Штатах. Свиный знал, что Моро смертельно ненавидит Наполеона, но и Бурбонов презирает. И ему казалось, что именно он понимает генерала. «Моро прельщает путь Бернадота, — решил Свиный,— но только во Франции. Если уж быть монархии, то он сам хотел бы ее установить». На шведском бриге, который после свидания с Бернадотом доставил их из Истеда в Штралзунд, Моро заодно, как юноша, заявил: «В пятьдесят лет карьера Бонапарта идет к концу, я в пятьдесят лет только начинаю».

«Вы слишком скромны, ваше превосходительство,— возразил с улыбкой Свиный,— начало вашего пути овеяно всемирной славой, ваш путь начался на полях сражений на Дунае, Рейне и По».

И Моро, смеясь, ответил: «Ну что ж, это будет началом нового пути!»

Свиный присутствовал при встрече генерала Виктора Моро с императором Александром. Он был свидетелем их беседы. Когда

император заявил, что порядок во Франции воцарится лишь после того, как ее законные правители, Бурбоны, возьмут власть в свои руки, Свиный испытующе посмотрел на генерала. Тень явного разочарования пробежала по лицу Моро. Но он быстро взял себя в руки и вскользь заметил: «Это будет зависеть и от других,— он запнулся,— от других факторов». Полковнику показалось, что Моро хотел сказать что-то другое. Его уверенная улыбка говорила: «Мы тоже еще кое-что значим». Конечно, так ответить он не решился... В лихорадочном бреде Моро говорил не только о Пигмэю, он вспоминал и Бурбонов, причем в самых нелестных выражениях. Об этом Свиный не рассказывал французскому полковнику, но зато сообщил в донесении царю.

Полковник Свиный был искренне расположен к генералу Моро... Он ценил его живой ум, уважал за прямоту, даже несколько наивную в таком возрасте, преклонялся перед его талантом полководца. Но как офицер он имел свои твердые понятия о чести и долге, вот почему он и слал эти добросовестные донесения. Не следует, однако, думать, что полковник был раболепным прислужником самодержца. Это не так. Напротив, он принадлежал к самым независимым и честным офицерам из царского окружения, он придерживался либеральных взглядов и считал поучительными для своей страны уроки недавнего прошлого — революцию во Франции и наполеоновские войны. И он прямо высказывал это царю.

Неожиданно взгляд Свиного упал на лицо человека, у постели которого он сидел, и он испугался. Широко раскрытыми глазами генерал в упор смотрел на него. Свиный невольно приподнялся. Можно было подумать, что он собирается выйти из комнаты. Однако он лишь склонился над генералом и тихо, но настойчиво спросил:

— Ваше превосходительство что-нибудь желают?

На лице больного не дрогнул ни один мускул. Невидящим, безжизненным взором он неотрывно смотрел на полковника, и тому вдруг показалось, что генерал умер. Однако Моро вдохнул, отвернулся и уставился в потолок.

Свиный вдруг рассердился. «Он жив и мог бы сказать что-нибудь или подать знак, а он ведет себя так, будто всех презирает». Но тут же Свиный пристыдил себя. Перед ним лежал всего лишь обрубок — то, что осталось от человека, которого он много лет знал и высоко ценил. В хорошие времена он называл его другом, и именно он уговорил Моро вернуться в Европу. Какую злую шутку сыграла с ним судьба! В самом начале

нового пути он был сломлен, повержен одним-единственным ударом, как подрубленное под корень дерево...

Санитар принес чай и печенье; вместе с ним в комнату вошел прусский майор. Он отдал честь Свиныну и попросил разрешения взглянуть на его превосходительство.

Свинын поднялся и подал майору руку. Он был доволен, что посетитель поможет ему скоротать унылые часы дежурства.

Пруссак, его звали Арнольд Грюндтнер, оказался профессором из Грейфсвальда; он заговорил по-французски, хотя с первого взгляда понял, что полковник Свинын — русский.

Прежде чем сесть на складной табурет, поставленный в ногах больного, майор приблизился к постели, рассматривая смертельно бледное лицо генерала. С излишней аффектацией, как показалось Свиныну, Грюндтнер воскликнул: «Какое благородство черт! Что за величие и красота! Поистине это Эпаминонд нашего века!» Затем он уселся и, обратившись к Свиныну, спросил, где здесь офицерский буфет, — он-де смертельно проголодался. Свинын улыбнулся. Этот человек с пухлыми и румяными щеками и тремя шрамами на подбородке казался ему смешным.

«Наверняка пивная бочка, любящая пофилософствовать», — подумал он. Но скоро ему пришлось убедиться, что пруссак к тому же и обжора.

— Вам принесут завтрак, но пока что попробуйте печенье. — Свинын пододвинул майору поднос. Затем вышел позвать санитара. Когда Свинын вернулся, последнее печенье уже исчезло во рту пруссака; продолжая жевать, тот рассматривал умирающего. Прошло несколько минут, пока подали завтрак, а майор Грюндтнер успел уже весело и довольно подробно рассказать Свиныну на ломаном французском языке о том, как он юным лейтенантом сражался под Иеной.

— В те дни никто в Пруссии не хотел войны, — уверял он, — никто, кроме королевского дома и генералов. Нет, — поправился он, — даже королевское семейство не желало войны, только одни генералы. А теперь, напротив, мы, простые люди, заставляем императора и большинство генералов воевать. Многие генералы предпочитают спокойно доживать свой век в ожидании пенсии. Они считают Наполеона сверхчеловеком, дьяволом и, так сказать, олицетворением рока. Но ваш народ, ваш удивительный народ доказал, что даже сверхчеловеки могут быть повержены! — воскликнул он с воодушевлением. — Столь сильный духом народ при желании победит любого врага, сам же он непобедим.

Русский поклонился. Трудно было понять, согласен ли он с майором или только благодарит за доброе мнение о своих соотечественниках.

Пруссак кивнул в сторону Моро.

— Что это был за союзник! И какая потеря! Это куда хуже проигранной битвы!

Свиньин приложил палец к губам, он боялся, что умирающий услышит.

Вошел санитар. Он принес кувшинчик с чаем и тарелку, полную бутербродов. Разговор не возобновился и после его ухода, ибо майор набросился на бутерброды.

Свиньин, сын видного петербургского сановника, офицер дипломатической службы, — в сорок лет он был еще строен, а тонкое и умное лицо выглядело совсем молодым, — Свиньин удивленно смотрел на этого чавкающего неотесанного субъекта в прусской военной форме, и тот казался ему просто дикарем.

Но вот могучий аппетит был, видимо, утолен, и майор заговорил снова.

— Для Европы началась новая эра, — заявил он, продолжая жевать. — Это должны понять все, даже венценосцы. Народы осознали свои права, а тем самым и свою силу.

Свиньин про себя улыбнулся, он вспомнил русскую поговорку: «Видит медведь дупло, думает, меда полно».

— Он спит? — спросил вдруг пруссак, мотнув головой в сторону генерала.

— Надеюсь, — ответил полковник.

И тогда профессор в прусском военном мундире продолжал:

— Своеобразно развивается политическая жизнь на нашем континенте! Революция во Франции пробудила и укрепила национальное сознание французского народа, революционные события и наполеоновские войны всколыхнули и другие народы. Но необузданный национализм породил во Франции консульскую империю, которая по своему характеру не могла не быть враждебной свободе и независимости других наций. И теперь пробудившийся национальный дух других народов, их стремление к гражданским свободам заставляет их вступить в борьбу с французским государством, которое так недавно было родиной свободы.

Свиньин никогда не поверил бы, что у этого заплывшего жиром человека с таким пошлым лицом могут быть подобные мысли.

— Почему я все это говорю? — продолжал пруссак. — Конечно, тут нет ничего нового, но я считаю, — он нагнулся к пол-

ковнику и продолжал, понизив голос, — я считаю, что именно генерал Моро понял все это и, будучи человеком действия, сделал правильные выводы.

— Как вы додумались до этого? — невольно вырвалось у Свинына.

Не успев проглотить кусок, майор ответил:

— Это же ясно как божий день, господин полковник! — Он смачно жевал. — Десять лет назад генерал Моро был народным героем. Теперь он опять стал бы им. Тогда это был герой возрожденной французской нации, нации революционных идеалов, нации, которая сбросила гражданские права. А теперь он стал бы героем в борьбе за те же идеалы, в борьбе против узурпатора, который солдатскими сапогами растоптал пламя революции во Франции и хотел затоптать его повсюду.

Майор Грюндтнер сказал это так громко, что больной заметался по постели и застонал. Он мотал головой, словно ему мешали подушки, и что-то бормотал. Свинын знаком попросил майора замолчать. Нагнувшись, он приложил ухо к губам раненого, пытаясь разобрать отрывочные слова.

Но майор Грюндтнер понял знак полковника как просьбу удалиться и на цыпочках вышел из комнаты.

Как ни старался Свинын, ему так ничего и не удалось расслышать. Он оставил свои безнадежные попытки и огляделся вокруг: Грюндтнера уже не было. Прусский майор покинул лазарет и усакал в свой эскадрон. Это огорчило Свинына. Он с удовольствием послушал бы еще рассуждения словоохотливого толстяка пруссака.

Около полудня, как было условлено, вернулся Рапатель. Свинын мог несколько часов отдохнуть. Но он не спешил уходить. Он отвел Рапателя в сторону и попросил его рассказать, что же, собственно, произошло на судебном процессе, тогда, после покушения на Бонапарта. Как может объяснить Рапатель, что Моро, уличивший в 1797 году Пишегрю в измене, снова сближился с ним несколько лет спустя, когда Пишегрю бежал из Кайенны и начал из Англии вести тайную борьбу против первого консула?

И как понять тот факт, что Пишегрю примирился с человеком, который донес на него, и пошел с ним на соглашение? Этот период в жизни Моро покрыт тайной. Что может полковник Рапатель, старейший друг почтенного генерала, сказать по этому поводу?

Рапателю не хотелось отвечать, тем более что он и сам тут ничего не понимал, но признаться в своем неведении русскому

полковнику он не желал. Поэтому Рапатель сделал вид, что знает все, однако вынужден хранить доверенную ему тайну.

— Это был торжественный показательный процесс,— пояснил он. — Первый консул, жаждавший императорской короны, пытался склонить общественное мнение на свою сторону и заодно избавиться от опаснейшего соперника, каким был генерал Моро.

Но такой ответ не удовлетворил полковника Свинына.

— Вы, без сомнения, правы, но Моро...

— Нет, Моро никак не был связан с Пишегрю,— перебил его Рапатель,— он заявил об этом сам до начала процесса.

— Верно,— подтвердил Свинын,— он так заявил, но это было ложью. Я очень внимательно изучал материалы процесса и в основном помню их. Моро вынужден был признать, что он встречался с Пишегрю, встречался несколько раз.

Рапатель даже подскочил:

— Всего два раза, уважаемый, всего два раза! Обычно он получал сведения от Пишегрю, как вам должно быть известно, через связанных, через генералов Лажолэ и бывших офицеров Давида и Роланда.

— Вот именно,— согласился Свинын,— я это и имел в виду. Но, видите ли, тут-то и кроется загадка! Может быть, вы разгадаете ее и объясните, каким образом эти два человека опять оказались заодно? Ведь они должны были стать смертельными врагами — доносчик и его жертва?

Раненый тяжело застонал. Что-то дрогнуло в уголках его рта, но губы, как и глаза, оставались крепко сомкнутыми.

— А что, если он слышит нас? — шепотом спросил Рапатель.

Русский покачал головой:

— Это невозможно.

Словно сговорившись, оба поднялись и стали шагать по небольшой палате мимо постели больного: несколько шагов в один конец, потом столько же в другой. Начало пути генерала Моро занимало их настолько, что они совершенно забыли о конце этой жизни, а она угасала у них на глазах. Несколько раз они слышали стоны, но даже не обернулись в сторону умирающего.

Полковник Свинын, как он выразился, восстановил историческую обстановку.

— В тысяча семьсот девяносто седьмом году Пишегрю, главнокомандующий одной из республиканских армий Франции, в разгар войны вступил в тайный сговор с врагами Республики — Австрией и Англией — и стал на путь государственной измены. Генерал Моро командовал тогда дивизией и случайно узнал об

этом предательстве. Но сначала не выдал высокопоставленного изменника — тот был его другом. Прошло некоторое время. Пишегрю был отозван в Париж и арестован. Тогда-то Моро и переслал в столицу опасные письма.

Несколько дней спустя Моро, также вызванный в Париж, должен был дать объяснения правительству Республики. Его показания никого не удовлетворили. В воззвании к армии Моро назвал Пишегрю изменником родины и торжественно заявил о своей верности Республике. Но Директория приняла решение об его отставке. Моро отправился в свое небольшое поместье Пасси, близ Парижа, где и зажил тихо, в полном уединении.

Свиньин остановился и спросил Рапателя:

— Так, в общих чертах, развивались события, не правда ли? Рапатель утвердительно кивнул.

— Последуем дальше. — И Свиньин продолжал почти с удовлетворением: — Республике, теснимой всеми европейскими монархиями, нужны были опытные военачальники, прежде всего ей были нужны способные генералы, умеющие побеждать. Моро уже доказал, что он талантливый полководец. Ровно через год после отставки, в тысяча семьсот девяносто восьмом году, его назначили генерал-инспектором итальянской армии. Обращенный этим назначением, он отправил Директории благодарственное письмо, в котором писал: «Пишегрю и я были друзьями до тех пор, пока защищали общее дело, но наша дружба кончилась, когда я убедился, что он стал врагом французской республики». Это была неправда, но послание произвело впечатление на членов Директории. Как и следовало ожидать, Моро успешно действовал в Италии. В это время Баррас и Сийес задумали государственный переворот, им нужен был популярный генерал, и их выбор пал на Бонапарта, который пронес трехцветный флаг Республики до египетских пирамид. Бонапарт бросил в Египте свою армию на произвол судьбы и вернулся во Францию. Девятого ноября тысяча семьсот девяносто девятого года, или восемнадцатого брюмера по республиканскому летоисчислению, гвардейцы Бонапарта упразднили конституцию, принятую Директорией, и Бонапарт, Сийес и Роже-Дюко стали консулами Республики.

Рапатель удивленно смотрел на русского. Тот рассказывал об исторических событиях так, будто сам был их свидетелем. Как бы размышляя вслух, он продолжал:

— Говорят, что генерал Моро в эти дни тоже был в Париже, он познакомился с Бонапартом, но участия в государственном перевороте не принимал. Когда же переворот был совершен,



Моро одним из первых поздравил Бонапарта. Результаты не замедлили сказаться — Бонапарт тоже ценил талантливых генералов. Моро назначили главнокомандующим Рейнской армии. Победа над австрийцами, одержанная в тысяча восьмисотом году в битве под Гогенлинденом Рейнской армией, которой командовал Моро, решила весь ход войны. Моро понял это, так как в тот же вечер, после боя, заявил своим офицерам: «Сегодня мы не только одержали победу, мы завоевали мир».

Рапатель даже приостановился.

— Полковник, — воскликнул он, — я поражен! Откуда вам все это известно?

Русский улыбнулся, взял Рапателя под руку и снова зашагал по комнате.

— Подождите, самое главное еще впереди. — Он взглянул на походную кровать. Правая рука раненого свесилась с постели, но полковник, занятый своими мыслями, не обратил на это внимания. — Как известно, первый консул носился с мыслью напасть с несколькими кораблями на Англию (со стороны Северной Франции) и высадиться на британский берег. Своими военными планами он свел с ума чуть не всю Францию. Один лишь Моро не дал себя одурачить. И вот ему-то Бонапарт и предложил командовать так называемой Английской армией. Моро наотрез отказался и в особом докладе, поданном им в тысяча восемьсот третьем году, изложил свои соображения. Это касалось не только вооруженной высадки в Англии — он высказал опасения по поводу моральной неустойчивости армии, подчеркнул, что честолюбие у солдат постепенно уступило место стяжательству. В письме первому консулу говорилось дословно следующее: «Все мы с сердечным беспокойством замечаем, как день ото дня слабеет пламя высокого боевого духа, которое в доблестные дни нашей военной славы поддерживалось лишь чувством чести, любовью к родине и, я осмелился бы сказать, преклонением перед свободой; если бы порожденные ею беды не были так свежи в памяти, стоило бы напомнить о нанесенных ею ранах. Но такой боевой дух невозможен на войне, где от солдат требуется только нерассуждающая смелость, а победа используется в неподобающих целях». Это было крепко сказано. Бонапарт вернул Моро послание и заявил, что забудет о нем. Тут же он вызвал Моро к себе. Об этой беседе двух великих мужей мы знаем очень мало. Известно только, что они расстались, так и не примирившись. Моро поселился в своем новом имении Орсей, близ Парижа, он часто принимал у себя гостей, жил шумно и весело. Он не привык держать язык за зубами и не скрывал своего мнения о

генерале и консуле Бонапарте. Спустя несколько месяцев после свидания с первым консулом Моро был схвачен и заключен в тюрьму Темплъ.

— Удивительно! Совершенно удивительно! — Рапателъ был искренне восхищен столь подробным, дельным и ясным анализом событий, предшествовавших аресту Моро. — Итак, вы считаете, что арест был актом личной мести первого консула?

— Нет, — ответил Свиньин, — не думаю. Этого не могло быть ни в коем случае. Ведь Моро, собственно говоря, никогда не был его настоящим соперником. Никто этого и не считал. Но он играл очень своеобразную роль. Мне кажется, что, всегда решительный и целеустремленный на поле боя, Моро терял уверенность и становился беспомощным на политическом паркете. Я, как видите, внимательно изучил весь ход событий. Если французский народ так быстро забыл своего любимца, то это вина самого Моро: народ разочаровался в нем.

Раздался не стон, а почти крик. Офицеры испуганно обернулись. Глаза раненого были открыты, и в них стояла нестерпимая мука. Рапателъ и Свиньин подошли. Моро прерывисто дышал, рот его ввалился и находил на узкую щель. Невидящий взгляд был устремлен в пространство. Он не пошевелился даже тогда, когда Рапателъ нагнулся и заглянул ему в глаза. У русского полковника мелькнуло подозрение, что Моро слышал их разговор, слышал каждое слово. Но он не решился поделиться с Рапателем своей догадкой. Однако и тот, очевидно, заподозрил то же самое.

— Прервем этот разговор, пока он не уснет, — шепнул француз Свиньину.

И пока Рапателъ хлопотал возле больного, русский вышел из комнаты.

Как ни измучен был Моро, покой не приходил к нему. Бывают люди, чья смерть не достойна их жизни. Так случилось и с Моро. Жизнь его была полна крайностей и противоречий. Пожалуй, немецкий майор прав, и Моро действительно национальный герой! Если бы не несчастный случай, он, быть может, снова стал бы народным кумиром, но все равно кончил бы трагически. «Моро, — подумал полковник, — не умел долго удерживать удачу, только на поле боя он становился господином положения, мог повелевать событиями. — И про себя добавил: — Если бы восемнадцатого брюмера Сийес избрал вместо Бонапарта генерала Моро, он, наверное, достиг бы цели, к которой стремился: ведь Моро только солдат, он никогда не был государственным деятелем».

Следующую ночь больной провел так беспокойно, что окружающие послали за врачом. Свиньин и Рапатель каждые три часа сменялись у постели генерала. Температура у него повысилась, но с лица не сходила смертельная бледность. Его бил нервный озноб, он бредил, даже громко смеялся. То был, как уверял Рапатель, жуткий, потрясающий смех, от него кровь стыла в жилах. На рассвете Моро впал в забытие. И когда пришел Свиньин, Рапатель решил остаться. Убедившись в том, что больной крепко уснул, они возобновили разговор.

— Вы считаете, что Моро неумно держал себя на суде? — спросил Рапатель.

— Он запутался, был уличен во лжи, короче говоря, произвел на всех не слишком хорошее впечатление. Многие были готовы пожертвовать всем ради него и его освобождения — ведь его любили и в него верили. Но после суда у него не осталось приверженцев. Бонапарт мог быть доволен.

— Вы преувеличиваете, полковник, — не выдержал Рапатель, — Бонапарта любили только его солдаты, а Моро был любимцем всего народа.

— Почитайте протоколы суда, — холодно возразил русский, — я не признаю гипотез, когда налицо факты. На первом же допросе Моро заявил: «Пишегрю был в Кайенне, а бежав отсюда, жил в Германии и Англии, я с ним связи не поддерживал». Когда же связной офицер Роланд сознался на допросе, что, по заданию Пишегрю, установил сношения с Моро, тот подтвердил: «Я сказал Роланду, что охотно предоставил бы Пишегрю убежище в своем доме, если бы не боялся, что мои слуги его узнают. Но мне доставило бы радость оказать Пишегрю услугу». Подумайте только: Пишегрю во Франции — вне закона, он сбежал из Кайенны. Пишегрю — участник покушения на первого консула! А когда обвинитель спросил Моро, почему генерал не выдал этого врага народа властям, — Моро ответил: «Поступив так, я, конечно, не сидел бы в тюрьме Темплъ, но как доносчик, предавший своего старого командира, заслужил бы общественное презрение: Пишегрю немало содействовал моему успеху на воинском поприще». Согласитесь, дорогой друг, это было уже слишком.

— Нет, почему же? — горячо возразил Рапатель. — Я вас просто не понимаю. Поведение Моро мне кажется достойным уважения. Он не мог стать доносчиком.

— Позвольте, — от удивления Свиньин даже остановился. — Что я слышу? Ведь генерал уже предал своего старого начальника в тысяча семьсот девяносто седьмом году. Тогда он испугался за свою шкуру.

— Вы не друг генералу, вы не любите его, и ваша преданность показная, говорю вам это прямо в глаза! — воскликнул Рапатель.

Свиньин присел у постели больного, замолчал и опустил глаза. Рапатель продолжал быстро шагать по комнате. Молчание длилось долго. Наконец русский заговорил, не поднимая головы:

— Зачем вы оскорбляете меня? Разве это имеет отношение к делу? Я люблю генерала и уважаю его искренне и глубоко... Конечно, прежде всего как солдата... Но в его характере столько противоречий... Я убежден, что он никогда в жизни не сделал сознательно ни одной подлости, — всегда старался...

Он посмотрел на Рапателя, стоявшего у постели больного, Рапатель не сводил глаз с умирающего, и в его взгляде было что-то, отчего и Свиньин сразу же повернулся к Моро. Тот не спал, он лежал с открытыми глазами.

Рапатель склонился над ним и спросил: не хочет ли он чего-нибудь? Больной отвернулся и с глубоким вздохом закрыл глаза. Рапатель схватился за голову и бросился вон из комнаты: не могло быть сомнений — Моро все слышал.

Моро умирал. Умирал тяжело и медленно. Рапатель и Свиньин по-прежнему дежурили у его постели, но говорили они только о самом необходимом, о делах, связанных со службой. Полковник Свиньин, как и прежде, писал ежедневно донесения царю. О своих разговорах с Рапателем и прусским майором он не упоминал. Для Рапателя дежурить у постели больного друга становилось с каждым днем все тяжелее; особенно невыносимо было по ночам, когда Моро метался от боли и муки, вздыхал и стонал. Нет, Рапатель не желал больше, чтобы жизнь его старого соратника подвергали хитроумным и, как он считал, бесполезным исследованиям. Он не был ни историком, ни юристом, он был солдатом. А Моро? Как воин на поле боя он неизменно побеждал, но в борьбе с юристами и законниками, жонглирующими словами и понятиями, он всегда терпел поражение. Так утешал себя Рапатель, так он оправдывал умирающего.

Три десятилетия смерть ходила по пятам за генералом. Три десятилетия судьба хранила его от пули. Три десятилетия Моро и Рапатель были братьями по оружию и друзьями. Полковнику припомнился день прорыва к Рейну — там, в Голлентале, был смертельно ранен капитан Декруа. Моро, — ему было тогда немногим больше тридцати, жизнь была в нем ключом и слава кру-

жила голову,— сидел у постели друга, пока тот не испустил дух. Он скрасил ему последние минуты.

«Старина, — воскликнул он задорно, хлопая себя по ляжкам. — Помнишь, как мы гнали этих зайцев в красных шинелях под Иперком и Ньюпортом? Мы с тобой первыми ворвались в Менин. А потом Брюссель. Ты не забыл еще веселые денечки в Брюсселе, старый греховодник? Ты держался молодцом, когда мы наводили порядки в этом борделе. Не отходил от той светловолосой фламандки, из-за которой тогда все чуть не перестреляли друг друга. Ну и горяч же ты был, настоящий дикий кабан! Господи, до чего же славное было время! А в Париже, у мадам Лихновской? Постой, постой, а как звали ту крошку, которая гонялась за тобой, с ума по тебе сходила? Постой-ка...» Умирающий кивал головой, и глаза его горели, но он не мог произнести ни слова — осколок снаряда ранил его не только в грудь, он пробил ему подбородок и гортань. Но каким ярким, живым огнем засветился его взгляд, когда генерал воскресил в его памяти былые безумства их юности...

«Так, именно так должен был умереть когда-нибудь и сам Моро, — думал полковник. — Веселый и беззаботный, каким был всегда, до последнего вдоха должен был он благословлять жизнь, которая дала ему так много и так высоко вознесла его над людьми».

На второй день — это было 2 сентября — Моро, измученный тяжкими страданиями, обессиленный бессонными ночами и все же спокойный, лежал в своей палате, когда снаружи слышалось какое-то движение. Вдруг в палату ворвался полковник Свињин:

— Его величество, государь император Александр!

Русский царь приехал, чтобы узнать о здоровье генерала Моро. Моро поискал глазами Рапателя и остановил на нем твердый пронзительный взгляд, так что полковнику стало не по себе.

Барабанная дробь, отрывистые слова команды, возгласы... Взгляд Моро был неотступно устремлен на Рапателя, а тот, чтобы скрыть смущение, суетливо наводил в комнате порядок.

Царь Александр, одетый в великолепный военный мундир, окруженный рослыми, блестящими генералами в орденах, вошел в низкую комнатку и, увидев больного, снял с головы шляпу с плюмажем.

— Как вы себя чувствуете, дорогой друг? — обратился он к генералу, чье неподвижное мертвенное лицо было повернуто

к нему. — Вы не должны нас покидать, вы так нужны нам. Благодарение богу, врачи полны надежды.

Моро не обнаружил желания отвечать. Он был слишком слаб, чтобы подать императору руку. Монарх снова заговорил. Моро молчал. Внезапно умирающий тяжело вздохнул, Александр испуганно поднялся и вышел из комнаты.

Рапатель сопровождал его до ворот госпиталя. Там царь обратился к сбежавшимся офицерам и солдатам и сказал громко, чтобы слышали все:

— Его место среди бессмертных!

Когда Рапатель вернулся, Моро лежал неподвижно, как покойник, устремив взгляд в потолок. Полковник хотел было тихо удалиться, но вдруг Моро отчетливо проговорил:

— Дай мне мундир, дорогой друг!

Рапатель остолбенел. Боже милостивый, оказывается, генерал способен разговаривать. Мундир? Он ничего не мог понять. Зачем генералу мундир? Его походная одежда в лохмотьях и залита кровью.

Моро заметил растерянность Рапателя.

— Ну, знаешь, мой мундир из большого сундука? Я был в нем под Гогенлинденом.

Полковник стоял ошеломленный. За последние три дня больной не произнес ни единого слова.

— Конечно, только сюртук, — прошептал Моро.

Полковник направился к двери. Моро сделал попытку подняться и, задыхаясь, крикнул ему вслед:

— И шляпу. Да и шпагу тоже.

Рапатель принес французский генеральский мундир, треуголку и шпагу. С неожиданной живостью руки Моро скользнули по мундиру. Кончиками худых, костлявых пальцев он ощущал шпагу.

— Помоги мне, друг мой!

Полковник не успел ничего сказать, как Моро с поразительной легкостью поднялся на постели. Рапатель подложил ему под спину подушку, затем помог надеть сюртук, треуголку с трехцветной кокардой и вложил в его обессилевшие желтые руки шпагу.

— Рапатель, мой лучший друг! — Генерал говорил удивительно твердым и ясным голосом. — Вот теперь ты видишь перед собой настоящего Моро. Я только такой и никогда другим не был, понимаешь?

У полковника ком подступил к горлу. «Все он слышал, — мелькнуло опять у него в голове, — каждое слово. Ничего от

него не ускользнуло». Рапатель сел на край постели и, обняв друга, чтобы его поддержать, заплакал...

Так, в мундире генерала французской республики, умер Виктор Моро.

## ОТПУСК НА РОДИНУ

Летом 1943 года, в момент вынужденной посадки после воздушного боя с советскими летчиками, за линией немецкой обороны разбился вдребезги Ю-88; трое членов экипажа погибли, и только стрелок, ефрейтор Карл Камбергер из Кельна, отделался двойным переломом руки. Четыре недели рука пролежала в гипсе, и Карл поправился настолько, что мог уже вставать. Однако врач сказал, что для окончательного выздоровления ему понадобятся еще четыре недели. И вот он получил отпуск на родину, которого ждал уже больше года.

Камбергер добыл две буханки солдатского хлеба; потратив много хороших слов с приложением небольшой суммы денег, он добыл несколько банок мясных консервов и купил у одного раненого товарища четыре плитки трофейного шоколада. С такими великолепными дарами и с трофейным русским револьвером в ранце, заранее предвкушая радость предстоящего отпуска, ефрейтор ехал в грузовой машине по Белоруссии; он направлялся к ближайшей польской железнодорожной станции. Ему повезло: прождав всего лишь два дня, он нашел место в санитарном поезде, который шел в сторону родины.

В пассажирском поезде Берлин—Кельн ефрейтор попытался разговаривать со своими спутниками. Но люди были странно скупы на слова. Они украдкой присматривались к нему и на его вопросы отвечали сдержанно и немногословно. Не только с ним были они так замкнуты, но и между собой предпочитали играть в молчанку. Неожиданно один гражданин спросил:

— Вы с Восточного фронта?

Но и тот, беседуя с Камбергером, вставлял лишь время от времени два-три слова: «Да-да! Хм! Что и говорить!»

Одна дама пожелала узнать, хорошее ли питание получают солдаты на фронте.

Камбергер ответил, что питание на фронте удовлетворительное, хотя порою бывают перебои в снабжении, при больших трудностях — понятные. В общем, жаловаться не приходится. Дама кивнула, повернулась и пошла в соседнее купе. «Настро-

ние у них какое-то похоронное, — думал Камбергер. — Должно быть, в тылу плохо с питанием. Хорошо, что я-то везу с собой кое-что съестное. Фрида, конечно, обрадуется».

Карлу Камбергеру не исполнилось еще и тридцати лет, а жена его была на шесть лет моложе. Работал он на заводе точной механики. И он и она, во всем себя урезывая, сделали кой-какие сбережения и купили маленький домик на окраине города. Не прошло и года со времени женитьбы Карла, как началась война, и его призвали.

Больше года они не виделись. Пожалуй, она очень изменилась, стала более зрелой, возмужала; он сам за эти годы тоже стал другим: годы войны считаются вдвойне, нынешней войны — втройне. Он уже участвовал в военных действиях во Франции, на Балканах. Особенно тяжелыми были дни над Критом: много товарищей разбилось и потонуло в море. Но трудности воздушной войны на Восточном фронте превзошли все. Красных недооценивали, особенно их летчиков: это настоящие воздушные дьяволы. Ему еще не приходилось встречаться с таким отлично подготовленным и бесстрашным противником — ему, который побывал почти на всех фронтах! К тому же здесь произошло то, чего тоже никогда не случалось прежде, — машина его эскадрильи добровольно перелетела к противнику; он знал перебежавших летчиков: они были не из самых плохих. И невольно, как часто бывало в последнее время, пришла мысль: «Чем же кончится война на Востоке? И что вообще будет с Германией? Уже четыре года тянется война, а конца все еще не видно».

Когда поезд проходил над Рейном и стали показываться колокольни кафедрального собора, мрачные мысли отступили. Еще немного, и он будет с женой, будет проводить спокойные тихие дни в садике, примыкающем к дому, не слыша ни приказов, ни выстрелов, не видя трупов, — ведь у него отпуск, отдых — отдых от смерти и ужасов. Он может снова быть человеком.

Карл Камбергер втиснулся в переполненный трамвай, приветствуя его, как старого знакомого. Весь последний счастливый год мирного времени он совершал на нем свой маршрут: утром — на работу, а вечером — домой. Пассажиры видели перевязанную руку и Железный крест на военном мундире. Старушка, стоявшая позади него, тихонько спросила:

— Из России?

Он кивнул, и она прошептала:

— У меня там два сына. Может быть, вы их знаете? Уже три недели нет вестей. Хакбарт их фамилия. Пауль и Эрнст Хакбарты. Они в танковой части.



Камбергер взглянул в морщинистое, изможденное лицо, пристально и пытливо смотрели на него широко открытые глаза. Он с улыбкой покачал головой:

— Нет, дорогая, их я не знаю. Я ведь летчик.

Тихий вздох.

У ефрейтора защемило сердце, и он обрадовался, когда подъехал к своей остановке. Большими шагами, дрожа от радости, шел он по своей улице. Вот уже маленький, утопающий в зелени домик, о котором он так часто думал. Что-то скажет Фрида? Она уже знает, что он в пути, ведь он послал телеграмму из Варшавы. Стараясь не шуметь, он открыл калитку, которую сам смастерил. В дверях дома стояла его мать, безмолвно плача.

— Мама!

Когда они обнялись, старуха заплакала еще сильней. Он спросил:

— А Фрида? Работает?

— Милый мой мальчик!

Она погладила его лицо.

— Где Фрида, мама?

— Идем, я все скажу тебе, мой мальчик!

Он сидел на маленькой веранде и слушал, порывисто дыша, рассказ матери. Она взяла обе его руки в свои.

— Побольше мужества, родной мой! Все выяснится! Все еще будет хорошо!

Три дня тому назад Эльфриду Камбергер арестовали. Матери удалось пока узнать, что причиной ареста было посланное ему письмо. Что было в письме, она не знала.

— А где она? — наконец выдавил из себя Карл Камбергер.

— Сначала она была под следствием в предварительном заключении; теперь она, должно быть, в концентрационном лагере, как сказал мне один чиновник.

Ефрейтор поднялся.

— Куда ты?

— В гестапо!

«Пусть идет!» — подумала мать.

— Может быть, пока немного отдохнешь или поешь?

— Нет!

Ефрейтор Камбергер снова сидел в трамвае и ехал обратно в город. Он не мог понять того, что произошло. «Он — на фронте, она — в концентрационном лагере. Это же безумие. Это же... Это... непостижимая подлость, вот это что!» Его точно варом обдало, он задрожал. «Я ее оттуда вытащу. Им придется держать ответ передо мной».

— Вы с Восточного фронта, товарищ?

Камбергер напряженно смотрел перед собой невидящим взглядом.

— Вы из России? — повторил свой вопрос гражданин, стоявший рядом с ним.

— Оставьте меня в покое! — крикнул Камбергер.

Все пассажиры взглянули на него. Он же не обратил внимания на удивленные и растерянные взгляды: ему виделась жена в тюремной камере. Припомнились рассказы о том, какая участь постигала коммунистов, брошенных в концлагерь. Их заковывали в кандалы. Держали в темном карцере. Били. Значит, это все еще продолжается? Все еще... Гестапо бросает людей из народа в концентрационные лагеря. В том числе — жен фронтовиков.

В главном полицейском управлении с ним были любезны. Тщательно одетый молодой человек, главный следователь, ведающий заключенными концлагерей, попросил его сесть и заверил, что немедленно все выяснит. Он затребовал по телефону дело Эльфриды Камбергер. Карл не спускал с него глаз.

— Как вам показалось на Востоке, камрад? — спросил гестаповец. — Дело будет сейчас принесено! Вы были тяжело ранены? Когда мы покончим с большевиками?

«Мы, — подумал Камбергер. — Да, на фронте пригодился бы вот такой молодой парень. А он сидит тут в кабинете и расслабляется».

— И долго вы пробыли на передовой, камрад? — продолжал спрашивать чиновник, не получая ответа. — Вы летчик?

Камбергер ответил:

— Был над Англией. И над Критом. С первого дня — в России.

— Какое разнообразие! — воскликнул гестаповец. — За что получили Железный крест?

— За Крит!

— Феноменально!

В комнату вошел чиновник постарше и вручил следователю папку.

— Так-с! Теперь мы посмотрим, в чем тут дело... Хорошо, вы можете идти!

Чиновник ушел. Следователь начал листать папку. Что-то прочел, на миг бросил взгляд в сторону Камбергера, произнес: «Хм!», стал читать дальше, наконец захлопнул папку.

— Хм! Плохо дело... Ваша жена совершила непонятную глупость!

— Не может быть! — закричал Камбергер. — Что она сделала?

— Она написала вам письмо, которое...

— И что же?

— Вот, читайте сами!

Камбергер схватил письмо. Да, это был почерк его жены. «Мой дорогой, вот уже больше года, как мы не виделись...» Камбергер пробежал глазами несколько строчек и прочел фразы, подчеркнутые красным карандашом: «...Последние бомбардировки были ужасны. Когда я представляю себе, что ты делаешь то же самое в других странах вот уже почти два года, я могу лишь проклинать эту войну и тех, кто ее затеял».

Было еще другое место, подчеркнутое красным: «В который раз я думаю: какое нам, собственно, дело до этой сумасшедшей войны? Во имя чего погибать невинным людям? Карл, мой дорогой Карл, с этой войной нужно скорее покончить. Вы обязаны с ней покончить, и вы это можете...»

Камбергер почувствовал тупую тяжесть в голове. Он поднял глаза, и главный следователь, неотрывно наблюдавший за ним, спросил:

— Ну, что скажете?

— Я... Я не понимаю свою жену!

— Верю вам. Теперь вы поймете, что мы должны были взять вашу жену под стражу, не правда ли?

— Как? — спросил Камбергер. — Нет, этого я тоже не понимаю. Я, знаете, в отпуске, я хочу поговорить со своей женой. Я буду...

— Это, к сожалению, невозможно, — прервал его гестаповец. — Смотрите, ваша жена пишет: «Я разговаривала со многими людьми, которых и ты хорошо знаешь, и все такого же мнения!» Ваша жена не хочет назвать нам этих лиц.

— Чтобы она стала доносить?

— Да, конечно, нам ведь надо знать, кто является врагом государства!

— Она не может доносить! — вскипел Камбергер. — Ведь это было бы подло!

— Но, камрад, теперь я не понимаю вас. Вы...

— Не называйте меня камрадом, — закричал Камбергер, — я вам не камрад!

— Теперь мы все — представители народа, и если...

— Вы — нет! — рычал Камбергер. — Вы — нет! Отправляйтесь на фронт, тогда вы мне будете камрад. А если ваше занятие — губить людей, — вы мне не камрад!

— Позвольте, как вы смеете!

— Освободите мою жену! И притом немедленно!

— Чего вы требуете от меня?!

— Я требую, чтобы моя жена была освобождена!

— Послушайте, вы ничего не можете требовать. Прежде всего извольте держать себя в руках, этого требую я!

— Вы? — Камбергер поднялся. — Вы? — повторил он. — Вы, тыловая крыса!

— Поскольку вы ведете себя неблагоразумно, я и вас прикажу арестовать! Поняли?

Камбергер бросился вон из комнаты, побежал по длинному коридору главного полицейского управления, потом по улице мимо многих людей. «Этакий сброд! Слоняются в тылу. Арестовывают женщин... «Камрад»! Если меня одолевают такие думы, почему же им не быть у тебя?.. «Могу только проклинать эту войну... Неужели и ты...» А этот лстыивый негодяй сидит в своем кабинете и говорит «камрад», говорит «мы»!..»

Камбергер остановился перед развалинами одного дома. По пути к главному полицейскому управлению он видел много развалин, но этот разрушенный дом... Жилые помещения, расколотые взрывом надвое, висели, как театральные кулисы, на каменных стенах. На этот дом он стал вдруг смотреть совсем другими глазами. Может быть... может быть, Эльфрида имела в виду именно этот дом? Он стоял перед зданием, разрушенным бомбами, словно до этой минуты не видел таких. Здесь было когда-то жилище. Жильцы, быть может, погибли, убиты... «Как подумаю, что и тебя мучили те же мысли... «Мы — представители народа!..»

Вскоре после этого он снова вошел в комнату к главному следователю гестапо. Тот взглянул на него и спросил холодно, высокомерно:

— Что вам угодно?

— Вы же знаете!

— Ваша жена останется в заключении. Уезжайте обратно на фронт!

— Я?.. Что?

— Уезжайте на фронт! — повторил следователь.

— Это говорите вы?

— Еще одно слово, и я прикажу вас арестовать!

— Вы не будете больше арестовывать! Вы не...

Щелкнули три выстрела. Гестаповский чиновник подскочил и вдруг рухнул на письменный стол.

При выходе из комнаты Камбергер столкнулся с вбежавшими чиновниками и, машинально подняв свой револьвер, нажал на курок. В коридоре он выпустил последний заряд в эсэсовца; затем отбросил в сторону револьвер и дал себя арестовать.

# Бодоузе



## МОТОЦИКЛ



врач предложили мне позаботиться о Гельмуте, который был тяжело ранен, когда штурмом брали церковь в Квинто.

Ежедневно, в послеобеденное время, мы выкатывали его кровать на освещенную солнцем террасу, и я усаживался рядом с ним.

С нашего места была видна часть взморья с чистенькими белыми виллами — бывшими летними резиденциями андалузских помещиков и барселонских коммерсантов. Теперь маленький приморский курорт был превращен в госпиталь для интернациональных бригад. Раненые, одетые в тиковые куртки военного образца, расположившись на молу, грелись в солнечных лучах, некоторые из них купались в спокойных водах синего моря. Каждый день в послеобеденные часы можно было наблюдать ту же картину. Но как только солнце за нашей спиной пряталось за горную цепь, море становилось беспокойным. Иловцы выходили из воды, а Гельмут натягивал серое шерстяное одеяло до самого подбородка: его знобило.

— Почему я был вынужден покинуть Германию? — повторил он мой вопрос. — О, это целая история!..

Я сбоку взглянул на него. Его худое лицо в это мгновение, казалось, светится резкой белизной.

— Устал? — спросил я.

Он повернул ко мне голову, и меня снова поразило выражение его спокойных карих глаз. В них светилась особая твердость, не только твердость воли, но и всей его сущности. О том, что он улыбается, можно было догадаться только по морщинкам, появившимся в уголках глаз, так как рот его был закрыт одеялом. Из-под этого одеяла голос звучал словно издали.

— Устал? Нет. Я вообще чувствую себя намного лучше. Уже три дня нет температуры. Замечательно, правда? И врачи решили подождать с ампутацией. Они говорят, может быть, еще удастся спасти ногу.

— Так!.. — Вот все, что я ответил, и мне стало стыдно за сомнение, прозвучавшее в моем голосе.

— Если все пойдет хорошо, — шутиливо продолжал Гельмут, — я в конце концов смогу даже снова играть в футбол.

— Для тебя это так важно?

— Прежде, — вымолвил Гельмут, — я был отчаянным футболистом. И теперь — ты должен это понять — мне иногда кажется, что больше всего на свете я хотел бы снова начать играть в футбол. Ты не думай, что я был уж таким выдающимся игроком. В крупных спортивных обществах я ведь никогда не играл. До этого мне было еще далеко. Но в Штуттгарте, в своей заводской команде, я считался неплохим левым крайним. Вот поэтому-то мне и пришлось впоследствии покинуть Германию.

— Поэтому?

— Ну, не совсем. Но когда я начинаю размышлять, как одно влекло за собой другое, то с этого, собственно, все и началось,

с того, что в отборочном матче на первенство района я забил три гола. Руководство нашего клуба — настоящие спортивные деятели, должен тебе сказать, — совсем ошалело от радости. Победу решили отпраздновать в тот же вечер. Меня усадили рядом с нашим председателем — Борнекампом. Он работал мастером в формовочном цехе. Мы звали его «Зобатым», оттого что под подбородком у него висело некое подобие мучного мешка. К тому же он был пьянчуга, каких свет не видал. Каждое утро он закладывал за галстук от восьми до десяти бутылок пива. Ученику приходилось варывать бутылки в формовочный песок, чтобы спрятать их от инженеров.

В этот вечер, однако, Борнекампу незачем было таиться, и он не остановился на десяти бутылках. Он не просто пил, он хлестал пиво. Под конец — не знаю, как это получилось, — я остался с ним вдвоем. Другие были, видно, умнее и вовремя смылись. Волей-неволей пришлось доставить пьяного мастера домой. Это была — должен тебе признаться — не очень-то приятная задача. Он был настоящий великан, а живот его был словно бочка. Самым трудным делом оказалось тащить его по лестнице. Я едва не задохся, когда наконец добрался с ним до третьего этажа. Не успел я нажать кнопку звонка и смотаться, как дверь открылась. Передо мной стояла девушка, еще почти ребенок. Но до чего же она была хороша!

Я забыл о своей злости на товарищей, предоставивших мне одному расхлебывать это дело, забыл о своей злости на старика, которого мне пришлось целые полчаса волочить по улицам. Я понимал только, что эта девушка стоит передо мной. Я видел только ее, и у меня возникло ощущение, что мир в этот миг преобразился. Я уже любил ее. Конечно, это такое слово... Его произносишь, и все же оно ничего не выражает. И если бы я захотел тебе описать, что творилось со мной, когда я смотрел на нее и в то же время вынужден был поддерживать рукой пьяного старика, чтобы он не упал...

Гельмут умолк, и на лбу у него залегли морщины. Видимо, он размышлял. Он взглянул на меня, как бы требуя, чтобы я, именно я, нашел слова, способные выразить то, что он пережил. Я же по блеску его глаз понял, что у него снова поднялась температура, и предложил:

— Ты ведь можешь досказать мне остальное завтра.

— Нет, нет! — воскликнул он, и по его голосу я почувствовал, как необходимо ему закончить свой рассказ не откладывая.

— Она была дочерью Борнекампа, и они жили только вдвоем. Я помог ей уложить старика в постель. Это была нелегкая

работа, и, кроме того, я испытывал чувство неловкости: в конце концов это же была девушка. Потом мы уселись в кухне и стали пить горячий кофе. На столе лежала клеенка в синюю и красную клетку. Я дул на свой кофе и смотрел на девушку. Дожидаюсь возвращения старика, она, видимо, уже приготовилась ко сну. Ее светлые волосы были распущены и покрывали плечи. На ней было зимнее пальто, а под ним только ночная сорочка. Ноги были босы. Я сказал ей, что она может простудиться, оттого что пол в кухне из каменных плиток, а окно она оставила открытым. Она пожала плечами. Кроме этого, мы почти не разговаривали и только смотрели друг на друга. Уже после мне пришло в голову, что в тот вечер я даже не разглядел, какого цвета у нее глаза. Это случилось значительно позднее. Сейчас, вспоминая о ней, я вижу ее глаза — они были серые, отливавшие жемчужным блеском. Когда я положил свою ладонь на ее руку, она не отдернула ее. И я остался до утра. Старик еще не проснулся, когда я потихоньку вышел из квартиры.

В темном небе над морем загорелись первые звезды. В голосе Гельмута внезапно прозвучала особая уверенность.

— Я вспомнил кое-что, — продолжал он, — благодаря чему тебе, может быть, все станет понятным. Ты должен учесть, что в то время у меня на уме были совсем другие мысли. Я вбил себе в голову купить мотоцикл. Будучи формовщиком, я ведь неплохо зарабатывал. По дороге на завод я проходил мимо магазина, в витрине которого была выставлена такая машина. С двумя цилиндрами на семьсот пятьдесят кубиков, с четырехходовой передачей, с баком, выкрашенным в синюю и белую полосу, и блестящими никелевыми частями. Каждое утро я останавливался перед витриной. Мотоцикл сверкал, словно рождественская елка. Когда я смотрел на него, мне казалось, что я слышу музыку. На такой машине можно одолеть любую гору, скорость ее определенно была не меньше девяноста — ста километров в час. И хотя в это утро я шел на завод не из дому и мог бы выбрать более короткий путь, я все же не в силах был удержаться: я чувствовал neodолжимую потребность пройти мимо магазина. Как и всегда, я уставился через стекло на блестящую, сверкающую машину; но вдруг я почувствовал, что нет больше ни рождественских огней, ни музыки, ни всего прочего. Я больше не ощущал свиста ветра в ушах, как это бывает, когда несешься вперед на такой штуковине. Я даже не видел и самого мотоцикла, который ведь по-прежнему заманчиво красовался на своем месте. Из зеркального стекла витрины на меня смотрело ее лицо, такое, каким я видел его ночью, когда мы сидели друг



против друга за кухонным столом, покрытым клеенкой в красную и синюю клетку.

Я еще раз подсчитал — это тоже вошло у меня в привычку, — сколько мне удалось отложить на покупку мотоцикла. Сумма составила примерно три четверти стоимости машины. Недостающие деньги я смог бы скопить в течение ближайших недель. Однако, прикидывая в уме, я уже знал наперед, что ничего из этого не выйдет.

Так оно и случилось. Кэтэ забеременела — с той первой ночи. Многие считают несчастьем, когда это происходит так скоро. Для нас это не было несчастьем. Мы же любили друг друга, и у меня ведь были деньги, отложенные на покупку мотоцикла. И вот я снял небольшую квартирку и приобрел необходимую мебель, заодно уж и колыбель, и детскую коляску.

Мы поженились. По этому случаю старик Борнекамп налился как сапожник. Мы с Кэтэ, как и в первую ночь, уложили его в постель и затем пошли к себе на квартиру. Остаток денег, отложенных на покупку мотоцикла, ушел на оплату врача и акушерки. У нас родилась девочка, и мы назвали ее Кларой. В общем, все шло очень хорошо. Я имею в виду не только роды — у нас у обоих тоже все обстояло замечательно.

Гельмут сделал паузу. Стемнело. Мы слышали, как волны набегают на узкую полосу берега и с шумом разбиваются о мол.

— Как, — проговорил Гельмут нерешительно, — как мне описать тебе Кэтэ, нашу жизнь, нашу совместную жизнь с ней?

По его непривычно робкому тону я понял, до чего взволновало его воспоминание об этом чудесном прошлом. И не столько слова, сколько его тон и то, что он, сясь выразить свою мысль, внезапно начал запинаться, помогли мне представить себе эту женщину, которая была его женой.

— Отношения наши были отличные, пока все не пошло по-другому, — бесстрастным тоном продолжал Гельмут свой рассказ. — Наверно, ты слышал о тяжелых потерях, которые мы понесли в тридцать пятом году в Штуттгарте. Два раза подряд арестовывали руководство нашей подпольной организации. В то время лично я делал немного. Искредка мне удавалось пронести на завод пачку листовок. Примерно раз в две недели я участвовал в каком-нибудь совещании. А на производстве беседовал с людьми, которым можно было доверять.

Через несколько недель после разгрома нашего подполья один из наших, которого я знал еще по работе в молодежной организации, подстерег меня, когда я возвращался с завода домой. Просто потеха! Он увлек меня в какую-то церковь, и мы

уселись рядом на скамью. Молитвенно сложив руки и глядя прямо перед собой на алтарь, он заговорил. Ты, верно, сам знаешь, как это бывает в таких случаях. Когда кто-то неожиданно говорит тебе правду, проклятую правду, которую ты сам ощущал все это время, но только не хотел ее видеть, — тут отступать уже некуда. Тогда задача, возложенная на тебя, внезапно предстает пред тобой, словно бездонная пропасть или вершина, упирающаяся в небо. Что бы тебя ни ожидало — падение в бездну или головокружительный подъем, — все равно тебя влечет идти напролом. Я согласился участвовать в этом деле. И я гордился тем, что обратились ко мне, понимаешь? Не думай, что я не знал, на что иду. Я вспомнил друзей и знакомых, погибших в концентрационных лагерях, тюрьмах, домах заключения. Я знал также нескольких, кому за такие дела отрубили голову. И все же я дал согласие. Я чувствовал неудержимую потребность принять участие в этом деле, помочь движению снова стать на ноги.

Когда я в тот вечер вернулся домой, в квартире носился запах подгоревшей жареной картошки. С дрожащими губами Кэтэ выслушала мои придуманные наспех неловкие оправдания. Глаза ее потеряли свой жемчужный блеск, потускнели, стали серыми, как хмурое ноябрьское небо. У меня защемило сердце. В первый раз я солгал ей, и она тут же поймала меня на этом. Но что я мог поделать? Я не имел права сказать ей правду.

Работа наша подвигалась медленно, протекала в трудных условиях и, конечно, была сопряжена с опасностью. Приходилось с большим трудом соединять порванные нити. Запуганным и недоверчивым членам организации нужно было снова внушить бодрость и доверие. Нелегкое это было дело в то время. Использовалось все: секретные пути, тайные встречи, переданные шепотом слова. Убедить недоверчивых иногда бывало легче, чем приободрить малодушных. Сплошь и рядом в такие разговоры я вкладывал все свои душевные силы и приходил домой измученный и опустошенный, утратив собственную бодрость духа. Труднее всего было с теми, кто говорил: «Ты ведь знаешь меня. Знаешь, что на меня можно положиться. Если действительно начнется, я непременно приму участие». Обо всем этом я, конечно, не мог сказать Кэтэ ни слова. Когда я поздно возвращался домой или же убегал тотчас после обеда, мне приходилось придумывать все новые отговорки. Ну, это еще куда ни шло. Но чем я мог объяснить ей изменчивость своих настроений, свое возбуждение после того, как мне, например, посчастливилось избежать западни, которую поставила мне полиция, свое

подавленное состояние, когда дело не удавалось сдвинуть с мертвой точки, или же радость по поводу какого-нибудь маленького успеха? Кэтэ чувствовала, что в мою жизнь вошло что-то другое, что было сильнее ее. Это заставляло ее страдать.

Однажды, в знак протеста против какого-то мероприятия дирекции, мы провели на нашем заводе десятиминутную забастовку. В то время это было нелегкое дело. Я испытывал такое радостное возбуждение, что пел и насвистывал в течение всего вечера. Кэтэ, видимо, была удивлена столь внезапным приступом веселого настроения. Это обострило ее ревность сильнее, чем мое молчание и замкнутость.

Вскоре после этого, как-то вечером, когда я был на совещании у моих друзей, полиция оцепила наш район. Я не мог вернуться домой, и друзья спрятали меня на крыше. Мне повезло, меня не поймали.

Когда на следующий день я пришел после работы домой, Кэтэ стояла в кухне у плиты и держала на руках нашу дочку. Она не сказала ни слова, но я никогда не забуду того взгляда, каким она меня встретила. Я тоже не мог выдать из себя ни слова. Войдя в нашу комнату, я бросился на кровать и закрыл глаза. Я видел в ее взгляде муку, отчаяние и укор, и сердце мое сжалось. Ведь я любил ее, и мне было очень больно причинять ей страдания. Я не мог больше мириться с тем, чтобы скрытность и недоверие отдаляли нас друг от друга. В этот вечер я был готов сказать ей все. Но когда, позднее, она легла рядом со мной на кровать, меня внезапно снова охватил ужас прошедшей ночи, страх перед преследованием, тюрьмой, пыткой и смертью, — страх лишиться жизни. И самым прекрасным в этой жизни была она, та, что лежала рядом со мной, ее серые глаза и полуоткрытые губы. Я судорожно припал к ней, я сжал ее в своих объятиях. Напрасно она сопротивлялась моей страсти, полной отчаяния и жажды жизни. Думается, именно в эту ночь ее любовь ко мне превратилась в ненависть. Но и это ведь только слова. На самом деле она продолжала меня любить, как и я любил ее. Беда заключалась совсем в другом. Тот факт, что я был готов рассказать ей все, внушил мне недоверие к самому себе. Я понял, что должен остерегаться Кэтэ. И я стал еще более замкнутым и холодным, между нами легла еще более непреодолимая отчужденность. Это время было, пожалуй, самым тяжелым. От напряжения я потерял душевное равновесие и уверенность. Сон мой стал тревожным, меня мучили кошмары. Иногда Кэтэ будила меня, ибо мои стоны и крики не давали ей уснуть. И я почувствовал даже облегчение, когда она принесла из квартиры

отца матрац и с этого дня стала спать в кухне. Она, как видно, примирилась с тем, что наши жизни потекли по различным руслам, подобно тому как разделяется надвое, натолкнувшись на преграду, течение реки. Но это было не так.

Однажды, выполняя одно из поручений, я шел по улице. Внезапно у меня возникло такое чувство, что за мной следят. Я обернулся, прошел кусок пути обратно, но не обнаружил ничего подозрительного. Я снова пошел вперед, и снова мной овладело чувство, будто за мной следят. Рассердившись на самого себя, я повернулся и пошел домой. Квартира была заперта, маленькая Клара сидела одна в постельке и плакала. Через некоторое время пришла Кэтэ. Она не сказала о том, где была.

Примерно неделю спустя мне предстояло встретиться с курьером, посланным из Швейцарии для передачи инструкций и нелегального материала. Встреча была назначена в большом кафе около вокзала. К моему удивлению, курьером оказалась женщина. Пока мы разговаривали друг с другом, мне показалось, что в людском потоке, движущемся перед широкими окнами кафе, промелькнула Кэтэ. Но я тут же успокоил себя, что это мне только почудилось: уж слишком часто мои мысли были заняты ею. Неужели ей удалось теперь разжечь ревность во мне? С трудом заставил я себя снова слушать то, что говорила женщина. Сообщив мне все необходимые сведения, она передала мне квитанцию на чемодан с литературой, сданный ею в камеру хранения на вокзале. В эту минуту дверь распахнулась, и в кафе ворвалась Кэтэ. Ее серые глаза были устремлены на меня, взгляд их был холоден, неподвижен и жесток. Что она кричала, я не разобрал, я видел только, что все присутствующие подняли головы и уставились на меня и на товарища за моим столиком. Кэтэ стремительно подбежала к нам и, продолжая кричать, ударила женщину своими маленькими кулачками. Люди окружили наш столик. Кельнер с развевающимся белым фартуком выбежал на улицу и позвал полицейского. Я схватил Кэтэ за руки. Борясь с ней, я успел заметить, что женщина быстро пробирается сквозь толпу. Внимание полицейского было устремлено на нас, и женщине удалось незамеченной добраться до выхода и скрыться. Тогда я отпустил Кэтэ. На ее руках, там, где я сжал их пальцами, остались синяки. Ее глаза были полны слез. Такой я увидел Кэтэ в последний раз. Я выбежал из кафе. Багажную квитанцию я успел засунуть в рот, чтобы проглотить ее, если полицейский меня задержит. Но до этого дело не дошло.

Еще два дня я оставался в городе. Затем товарищи решили, что мне надо уехать, потому что Кэтэ не утомится и поставит

под угрозу не только меня, но и всю нашу работу. Больше я Кётэ не видел. Я никогда ничего о ней не слышал, хотя и написал ей однажды из Парижа, где я жил некоторое время. Что стало с нашей дочкой, я тоже не знаю...

Я поднялся и попросил сестру, чтобы она помогла мне задвинуть кровать Гельмута обратно в комнату. Свет лампы ослепил его, и он зажмурился. Когда я попрощался с ним, он задержал мою руку и добавил:

— Я перебрался в Швейцарию. Товарищи одолжили мне мотоцикл, двухцилиндровый, четырехходовой, точь-в-точь такой, как я собирался когда-то купить. Машина была почти новая, во всяком случае, в очень хорошей сохранности. Никелевые части сверкали, а бак был выкрашен в белую и синюю полосу. Поднимаясь по гористой дороге к швейцарской границе, я добился на ней скорости в сто десять километров в час...

## СЕНТЯБРЬСКИЙ МАРШ

Солдат вернулся домой только под утро. Он бросился на кровать и крепко заснул. Часов около восьми в дверь постучала мать. Он не проснулся. Мать дала ему поспать еще полчаса, хоть и была очень встревожена телеграммой. Потом вошла в комнату и начала его расталкивать. У него были такие бицепсы, что двумя руками не обхватишь.

— Вставай, Герман!

Солдат приоткрыл глаза и кивнул головой.

— Да, вставай же, — сказала мать, — телеграмма!

— Чего тебе? — спросил он тихо.

На заспанном лице солдата отразилось недоумение, потом он недоверчиво улыбнулся, вздернув брови, и глаза снова закрылись.

С тяжелым вздохом мать раздвинула занавески на маленьких оконцах, чтобы впустить в комнату свет. Мужчина, лежавший на кровати, потянулся, грудь его была покрыта светлыми волосами. Когда старуха вышла, он вскочил, прошел, шлепая босыми ногами, в угол, где на железной подставке стоял кувшин с водой. Поднял кувшин и отпил воды: его мучила жажда, — ночью он крепко выпил.

«Лучше бы пива, — подумал он, — нет ничего лучше пива, когда хочется опохмелиться!»

Опуская на место кувшин, он недовольно посмотрел на себя в зеркало: лицо его было немного припухшим. Потом поставил на пол таз, встал в него обеими ногами и опрокинул кувшин себе на голову. Почти вся вода пролилась мимо. Она растеклась по короткому листу линолеума и побежала в широкие щели между половицами. Ощущение влаги было ему приятно, и он не спешил одеваться.

Мать снова открыла дверь, но испугалась голого мужчины, который был ее сыном. Герман быстро натянул брюки и закричал:

— Да входи же, входи!

— Ты, видно, вчера совсем забыл, на каком ты свете,— сказала она, укоризненно покачивая головой, но вдруг заметила лужу на полу.— Надо потереть, не то протечет насквозь,— проворчала она и принесла из кухни тряпку. Сын смотрел, как она, ползая на коленях, вытирала пол.

— Нечего было беспокоиться из-за такой малости,— произнес он.

Мать швырнула мокрую тряпку в таз и, подняв голову, взглянула на него.

— Что там написано, в телеграмме-то? — спросила она.

— А ты ее куда дела? — строго спросил Герман.

— Да на столе же она, на столе! — вспыхнула мать.— Совсем уж ничего не видишь, глаза залыли, что ли?

Грубые солдатские пальцы развернули бумагу; она громко зашуршала.

Старуха все еще стояла на коленях и смотрела на сына, на его широконосое лицо, на голую грудь, поросшую светлыми волосами. «Вот он какой, мой парень», — думала она. Она гордилась сыном, и ей стало неловко за свои спутанные волосы и грязный платок, накинутый на плечи. Во взгляде ее маленьких серых глаз отражались нежность и страх.

— Выходит, мне еще вчера надо было ехать! — медленно проговорил Герман. Он смотрел поверх телеграммы прямо перед собой, на комод, где под стеклянным колпаком красовался свадебный убор матери. Шелковая подушечка, на которой лежал венок, была изъедена молью.

— Но ты же здесь всего два дня, — сказала мать.— А отпустили тебя на целую неделю.

Солдат пожал плечами.

— Отпуск полетел ко всем чертям, — проворчал он. Свернул телеграмму трубкой. Насупись.

Тяжело вздыхая — это уже вошло у нее в привычку, — мать поднялась на ноги.

— Пойду сварю-ка я кофе, — успокоительно сказала она, — от него и отцу твоему всегда, бывало, полегчает.

Солдат все еще стоял у стола. Он выпятил нижнюю губу и хмуро уставился куда-то в пространство.

— Значит, надо ехать.

Он злился. Злился, что пропьянствовал всю ночь. Лучше было остаться после кино с Эммой. Но ему хотелось выпить, и он проторчал до утра в пивной, хоть и пообещал Эмме, что придет потом к ней. Одна кружка следовала за другой; сколько же раз их наполняли? Пять, шесть? А в промежутках пили еще шнапс, отдающий землей. Никуда Эмма не денется, подумал он тогда. Толстяк провозгласил тост: «За наш вермахт, которым мы вправе гордиться». Так и не попал Герман к Эмме.

— Ничего хорошего и быть не могло, — сказала мать и поставила кофе на стол. — С чего бы это нам вдруг телеграммы получать? Вот и надо тебе ехать.

Он взял со стола ломоть хлеба. Были и соленые огурцы. Потом налил кофе в большую жестяную кружку и присел к столу. Мать неподвижно стояла рядом. Она придвинула к нему кувшин с молоком и смотрела, как он ест.

— Едешь, значит, — повторила она.

Солдат жевал, в углах рта у него ходили желваки.

— Так и не успел ты мне печку починить, — снова завела она разговор. — Дымит все время, уголь совсем не горит. И у шкафа дверца сломалась. Не закрывается. Теперь-то все так и останется.

Солдат продолжал жевать, уставившись на стол.

— Да, — сказал он, — видно, теперь все так и останется.

— И как раз сейчас, когда наступают холода, — сокрушалась мать. — Как же мне управиться зимой, если в печке нет тяги? Ведь на нее будет уходить вдвое больше угля.

Воцарилась тишина. Потом старуха сказала:

— Что-то я никак в толк не возьму! дали отпуск, а теперь вызывают. Это непорядок.

— Видно, понадобился я им, мать, — разъяснил он и засмеялся, ему сразу стало как-то не по себе.

— Вот еще, один ты у них там, что ли? — запальчиво возразила мать и стукнула костяшками пальцев по столу. — С чего это они вызывают тебя? — спросила она подозрительно. И, глядя, как он допивает кофе, повторила недоверчиво: — С чего это они вызывают тебя?

Герман отодвинул пустую чашку; он не решался взглянуть на мать,

— Да почему я знаю, — ответил он наконец, когда она в третий раз задала ему этот вопрос. Старуха внезапно подняла руки и, растопырив пальцы, вытянула их перед собой.

— Будет война, — сказала она сначала шепотом, а потом закричала: — Война, война!

— Ерунда, — сказал Герман, — все это ерунда,

Он выехал ближайшим поездом. Осень в эту пору еще была красива. Деревья стояли в пестром уборе, голые поля казались чисто подметенными, а в садах на железнодорожных станциях цвели астры величиной с детскую головку.

Фельдфебель, к которому Герман по возвращении в роту явился с рапортом, даже не стал его распекать, а сразу же отослал в казарму. Ребята уже готовились к походу. Ничего другого он и не ждал. Но все-таки ему это показалось странным. Цыпленок — его настоящее имя было Алоиз Хун<sup>1</sup>, но за безобидный нрав его прозвали Цыпленком, — затыгивал пряжки ранца; Штакельбергер начищал сапоги, а длинный Франц Ланге — он был родом из Вюрцбурга — застегивал и оправлял портупею.

Когда он вошел, ребята крикнули ему: «Привет, Герман!»

Иначе, разумеется, и быть не могло. Он подошел к своему шкафу, вытряхнул вещи, переоделся, уложил ранец. А думал все время о матери и об Эмме.

Неразбериха была полнейшая. Выступили не сразу: сначала в двенадцать часов пообедали, потом еще час отдыхали. Герман устал, и ему хотелось поспать, но остальные так галдели, что об этом нечего было и думать.

— Тебе повезло, — сказал Цыпленок, — дома побывал!

— Всего два дня, — проворчал Герман, — можешь не заговаривать.

Штакельбергер писал письмо, но дело у него не ладилось. Вюрцбуржец заглянул через его плечо и язвительно произнес:

— Но ты же форменный идиот! Кто это пишет «браток» через два «т»?..

— Фельдфебель обещал мне отпуск, как подойдет время картошку копать, — проговорил Штакельбергер.

— Отвяжись от него, пусть пишет, как умеет, — сказал Цыпленок вюрцбуржцу, — а ты и в самом деле свинья, Франц!

---

<sup>1</sup> Х у н — в переводе означает «курица». Х ю н х е н — курочка, цыпленок.



Длинный мгновенно обернулся. Цыпленок взглянул на Германа, чтобы набраться смелости, потом встал и подошел вплотную к Длинному.

— Определенно ты свинья, — повторил он. — Ведь мы уговорились держаться всем вместе, из строя не выскакивать. А ты то и дело вылезал вперед: хотел показать, что ты сильнее всех, мускулатурой своей похвастаться!

Теперь Длинный поглядел на Германа, поднявшегося с койки. Не будь Германа здесь, вюрцбуржец — Франц Ланге — просто-напросто отколотил бы Цыпленка. Но в присутствии Германа не решился.

Герман сказал:

— Стоит только отвернуться, как сразу начинается представление. Ты и вправду свинья, Франц.

Он снова прилег, твердо решив заснуть. Черт его знает, что еще уготовил им этот день.

— Слыхал? — торжествовал Цыпленок. — Герман тоже говорит, что ты свинья.

— Оставь меня в покое, — проворчал вюрцбуржец и снова принялся подтрунивать над Штакельбергером. — Ну как, браток, у вас картошка-то, говорят, огромная уродилась?

Цыпленок бросился на койку рядом с Германом. Он громко сопел, кашлял и жаловался:

— Ужасный я насморк схватил: вчера, понимаешь, битых два часа топали под дождем. Промокли до нитки. Старик выехал было на машине, но поглядел на нас с минутку и укатил домой. А мы остались там, промокли до нитки.

Но Франц Ланге решительно не мог утихомириться.

— Какой деликатный наш Цыпленок, — пропел он, сложив губы трубочкой, — он у нас маменькин сыночек.

— Да заткнитесь вы наконец, — закричал Герман, — я спать хочу.

Но тут настала очередь Цыпленка.

— Ты сам — маменькин сынок, — приподнявшись на койке, крикнул он длинному вюрцбуржцу, — это тебя вскормили на белых сухариках. Будь мой отец булочником, я бы добился в жизни большего, чем ты!

— Дети, будьте осторожны в выборе родителей, — насмешливо произнес вюрцбуржец.

Цыпленок покраснел.

— Мой отец пал... на поле боя, — робко сказал он.

— Твой отец? — удивился Длинный, покатываясь со смеху в предвкушении остроты, которая просилась у него на язык. —

Ты, наверное, имеешь в виду свою мать, — прокричал он, хохоча до слез. — Да, да, свою мамашу. Ты ведь ублюдок, незаконно-рожденный. Все мы это отлично знаем.

Стальное перо Штальбергера громко царапало бумагу.

— Ну что ж особенного, — тихо сказал Цыпленок и закрыл глаза, словно засыпал.

Бюрбуржец насвистывал что-то, Штакельбергер, широко расставив локти, пригнулся к столу и время от времени кричал или ругался. Это было очень важное для него письмо.

Как ни устал Герман, заснуть он не мог. Все время думал о матери и об Эмме, больше всего об Эмме. Она думала, что Герман женится на ней. По профессии Герман был формовщиком. Работа, конечно, тяжелая, зато платят хорошо. Можно заработать шестьдесят марок в неделю, а когда работы много, и все семьдесят. Из них, конечно, еще и вычеты делают. И все-таки заработок хороший. Вот только к выпивке привыкать нельзя, не то кончишь, как старый Шумахер, который представлял Германа, когда он был учеником, прятать бутылки с пивом в формовочный песок, чтобы их ненароком не увидел мастер. Как-то раз Герман забыл закрыть бутылки. Еще и сейчас его смех разбирает, когда он вспомнит, как Шумахер понапрасну рылся в песке. Но и отколотил же он потом Германа, как его больше никогда в жизни не колотили, и с тех пор Герман уже ни разу не забывал о бутылках. Впрочем, все это пошло лишь во вред старому Шумахеру; когда Герман выучился, старика, обрюзгшего, с гноившимися глазами, выставили вон. У него в руках уже не было прежней силы, и сделанные им формы лопались, когда в них выливали металл. Он пошел работать в гавань, подсобным рабочим, и в конце концов совсем опустился. Выходит, надо остерегаться алкоголя. Герман хотел жениться на Эмме. Размах у него был немалый. Ему хотелось иметь квартиру из двух комнат и кухни. Он думал, что у них скоро пошли бы дети. Его ужасно злило, что он не остался тогда с ней. Эмма девушка рослая и крепкая; уж она-то получит, что ей требуется, где-нибудь в другом месте.

А что теперь будет, никому не известно. В ушах Германа раздавался шепот матери: будет война. Эмма, наверное, найдет к ней, чтобы справиться о нем. Надо бы матери написать, да ему недовко.

— Герман, — тихо сказал Цыпленок, лежавший рядом, — здорово тебе все-таки повезло, домой съездил. А какая она из себя, твоя-то?

— Очень рослая, — прошептал, преодолевая усталость, Гер-

ман и подивился самому себе,— у нее совсем светлые волосы и темные брови.

— Красивая, должно быть,— сказал Цыпленок,— в нашем городе тоже есть две такие девушки, они сестры,

— Нет,— возразил Герман,— им до нее далеко.

В коридоре с грохотом захлопнулась дверь. Со двора донесся пронзительный свист. Штакельбергер вскочил на ноги и, держа в руках письмо, стоял, растерянный, посреди комнаты, а кругом суетились товарищи. Наконец он сунул письмо в карман, застегнул пряжку и побежал вслед за ними.

Целый час простоял батальон на казарменном дворе. Офицеры уже скомандовали ротам разойтись, но не успели солдаты войти в казарму, как снова приказали строиться; они построились и ждали во дворе. Солдаты чувствовали, что офицеры сами ничего не понимают. Когда наконец подошли грузовики, солдаты стали взбираться в них очень нерешительно. Небо между тем заволокло. В пасмурный предвечерний час покатали они «вах Остен».

Франц Ланге запел было песню; он отчаянно фальшивил, а так как никто ему не подтягивал, умолк и он. Потом начал рассказывать, что уже разъезжал так по стране, со штурмовыми отрядами.

— Не разъезжали бы вы тогда, не пришлось бы сегодня ехать и нам,— сухо сказал Герман.

— Ясное дело,— проговорил вюрцбуржец, явно не поняв его замечания. Но все остальные отлично поняли Германа, даже и те, что не разобрали слов, а только слышали звук его голоса.

Они поняли его, потому что все было так, как оно было, и потому, что они знали: вот-вот начнется война. Они вовсе не находили, что так уж необходимо воевать, у каждого из них есть дела поважнее.

Штакельбергер размышлял, как это его брат справится без него с уборкой картофеля; Герман думал, что надо было переложить у матери печь; Цыпленок, часовщик, вспоминал о своей байдарке: недурно было бы теперь спуститься вниз по Майну; на склонах как раз созревает виноград. Но вместо того, чтобы плыть вниз по Майну, он ехал в гору через Баварский лес, на встречу войне.

Один лишь вюрцбуржец был в хорошем настроении, он махал рукой девушкам в пестрых юбках, стоявшим вдоль улицы, и даже изрек: «Теперь флаг со свастикой воссияет над Богемией».

— Заткнись,— буркнул кто-то.

Солдаты смотрели со своего грузовика вниз, на раскинув-

пийся перед ними край с четко размежеванными прямоугольниками участков и светлыми силуэтами каркасных домиков. В ранних сумерках светились белые оштукатуренные стены.

От земли поднималась тоска. У каждого был на свете свой маленький участок, но вот приходилось его бросать и идти на войну. Никто из них не знал, зачем это нужно. Нет, у них не было никаких оснований идти на войну.

Они сидели на скамьях, зажав между колен ружья, крепко прижавшись спиной к бортам. Их швыряло из стороны в сторону, стальные шлемы плясали на головах, они глядели в темноту, опускавшуюся на землю, и пытались понять, что происходит с ними. В конечном счете это не было неожиданностью, разве все они не свыклись с мыслью о том, что «наступит день, когда грянет война». Вот этот день и наступил.

Цыпленок спросил Германа:

— А ты на ней женишься?

— Конечно, — ответил Герман и хлопнул ладонью по колену.

— Но не жениться же на всякой... — нерешительно заметил Цыпленок.

— Ясно, не на всякой! — заявил Герман.

— А ребенка ты ей сделал? — полюбопытствовал Цыпленок, Герман покачал головой.

Рядом с ним сидел Штакельбергер; письмо все еще было у него в кармане. Когда проезжали по какой-нибудь деревне, он высовывался из машины, разглядывал дома и дворы и прикидывал, сколько на каждый придется пахотной земли и сколько у хозяев скота. Чем выше поднимались они по Баварскому лесу, тем меньше становились дома и теснее дворы. Господи помилуй, какая нищета лезла здесь из всех щелей! Штакельбергер покачал головой.

— Словно бы это уже не у нас, — сказал он.

Через некоторое время колонна остановилась посреди дороги. Унтер-офицеры, сидевшие впереди, на удобных местах, рядом с водителями, соскочили на землю и скомандовали: «Слезать через правый и левый борт!»

Оставалось время на перекур. Двое офицеров, начальственно печатая шаг, направились вверх по улице. Оба они были еще очень молоды.

— Дня через три будем пить настоящее пильзенское, — смеясь, сказал один из них.

Второй ответил сумрачно:

— Придется еще обломать зубы на укреплениях.

Младший весело рассмеялся, словно над остроумной шуткой.

— Эти молодчики бросятся врассыпную от первого же выстрела,— проговорил он.

Поравнявшись с группой Германа, офицер остановился, чтобы прикурить.

— Ну, как, довольны, что дело идет к развязке? — спросил он.

— Так точно, господин лейтенант,— поспешил поддакнуть вюрцбуржец.

Но остальные молчали. Молчание было красноречиво, и лейтенант, словно принюхиваясь, поднял свой заборно вздернутый нос.

— Эй вы, погребальные клячи,— закричал он звонким голосом,— совсем раскисли, что ли?

Подозвав унтер-офицера, он отчеканил:

— Приказываю немедленно петь.

Унтер-офицер принялся было распекать солдат, но, заметив, как серьезны и равнодушны их лица, замолчал. Они снова погрузились в машины и передали друг другу, что приказано петь.

— Так вам и надо,— сказал вюрцбуржец и сразу же затянул песню.

Время от времени, сквозь рокот моторов и гроыхание колес, с других машин доносились обрывки песен, лишь отдельные фразы, по которым мелодию разобрать было невозможно. И каждый раз там слышалось что-то другое. Слиться в единой песне голоса их не могли.

Герман спросил у Штапельбергера:

— Ты когда-нибудь перекладывал печку?

— А то как же! — ответил крестьянин. — Чего только не приходилось делать! Когда мы погорели, страховое общество отстроило дом. Но в печке не было тяги. Три раза перекладывали, и все без толку.

— Что же так? — спросил Герман.

— Да они замуровали в дымоход войлочную шляпу. Поскандалили, понимаешь, с подрядчиком. Ясное дело, какая там тяга, если в дымоходе войлочная шляпа. Но заметили-то мы это гораздо позже.

— А трудно? — спросил Герман.

— Что? Печку перекладывать? Да, уж конечно, не всякий с этим справится.

На каком-то перекрестке машина, в которой ехали оба офицера, затормозила. Лейтенант стоял во весь рост рядом с шофером. Когда с ним поравнялась машина, в которой сидели

Герман, Штакельбергер и Цыпленок, он замаха­ л руками и что-то прокричал. Но грохот стоял такой, что они ничего не слышали.

— Глянь-ка,— сказал Цыпленок и ткнул Германа в бок,— хоровой кружок ему, видно, мерещится.

— При такой тряске и язык откусить недолго,— прогово­ рил Штакельбергер, словно оправдываясь в том, что не пел.

— Ну вот, доигрались, уже и рот закрыть нельзя, когда заблагорассудится,— преворчал Герман.

— Да пойте же, пойте,— ободрял их вюрцбуржец. Угромо глядя в пространство, он с пафосом продекламировал: «С пес­ ней на устах пойдем навстречу смерти». Он где-то вычитал эти слова, и они ему очень нравились. Вообще все страшное влекло его. Ребенком он часто убегал по вечерам из отповской булочной на берег Майна, когда река, набухшая от талых вод, выходила из берегов. Бурлящий, засасывающий поток пугал его. Он, в сущности, боялся и сейчас. Но держался заносчиво и издева­ тельски спросил: — Да вы никак полные штаны наложили?

Цыпленок хотел что-то ему возразить, но Герман предостере­ гающе покачал головой. Вюрцбуржец заметил это и бросил на Цыпленка яростный взгляд.

Ночь они провели в сарае, на краю горной деревушки. От растрескавшегося глиняного пола поднималась удушливая вонь. В ветвях деревьев завывал ветер, а из щелей между до­ сками тянуло обжигающим холодом. У солдат не хватало одеял, а соломы раздобыть не удалось. Они мерзли, хоть и лежали, закутавшись в шинели, плотно прижавшись друг к другу.

Утром раздали боеприпасы. Туман густым слоем окутывал горы, а воздух был так насыщен влагой, что она мгновенно про­ питывала все — и грубую ткань мундиров, и коричневые кар­ тонные коробки с патронными обоймами. Помимо девяноста патронов, каждый солдат получил еще по три ручных гранаты. Дело, видимо, предстояло нешуточное, и вюрцбуржец был да­ леко не так словоохотлив, как накануне. Впрочем, гранатных сумок на всех не хватило. Фельдфебель предложил было ка­ питану, чтобы гранаты выдавались лишь тем солдатам, которым достались сумки. Но твердолобый командир роты настоял на своем: выдать каждому солдату по три ручных гранаты.

Значит, надо было подумать, как уложить эти игрушки; кто просунул их под португеею, кто прикрепил к ранцу. А по­ том зашагали дальше, в горы. Время от времени приходилось пробираться узкими лесными тропками, где можно было идти только гуськом. Дул сильный ветер, но день оставался хмурым.

Наконец они заметили, что идут не в тумане, а в облаках, которые ветер гнал из долины в горы.

В это утро Штакельбергер собрался наконец отправить свое письмо, но фельдфебель огласил приказ, запрещающий солдатам писать письма вплоть до нового распоряжения. Штакельбергеру пришлось оставить свое письмо в кармане, где оно уже порядком измялось. Молодой крестьянин был сильно этим раздосадован; в письме он советовал брату повременить с продажей свиней. Он полагал, что, если будет война, цены обязательно поднимутся... И если ему уж суждено пострадать от этой проклятой войны, то надо бы по крайней мере помешать брату отдать свиней задаром; его злило, что теперь придется таскать этот добрый совет в кармане.

Позади Штакельбергера шел Цыпленок, а за ним — Герман.

Цыпленок чуть отстал от крестьянина и шепотом спросил, обернувшись назад:

— Как по-твоему, долго продлится эта война?

— Нет, — шепнул Герман, — здесь все скоро кончится.

— Что будешь делать? — спросил Цыпленок. По голосу чувствовалось, что он взволнован.

— Перебегу, как только случай представится.

Цыпленок обернулся и бросил на Германа изумленный, испуганный взгляд. Лицо Германа было спокойно. Он тихо сказал:

— Дело твое: можешь воевать за Гитлера, можешь подыхать за Гитлера. А я не собираюсь.

— Сбежишь, — прошептал Цыпленок. В голосе его слышалось разочарование.

— Сколько лет мы пикнуть боялись, ходили у них на поводу. Ну, это ладно! А теперь еще и кровь за них проливать? Нет, сынок. Не выйдет!

— Сбежишь, — повторил упрямо Цыпленок.

— Туда, где сражаются против них, — шепнул Герман.

Ветка хлестнула Цыпленка по лицу. Он выругался, потом громко спросил:

— А что будет с твоей Эммой?

— А что ей сделается, — проворчал Герман, — мне теперь не до нее. Я могу поступать только так, как считаю правильным.

Они вышли на широкую просеку, звенья маршевой колонны сформировались снова. Цыпленок, весь красный, стоял между Штакельбергером и Германом, который шепнул ему:

— Если ты собираешься меня выдать...

От злости на глазах у Цыпленка выступили слезы, Штакельбергер сказал:

— Я бы, пожалуй, подсобил, если бы тебе понадобилось печку перекладывать. У меня ведь опыт... Три раза перекладывали, правда, зря, ведь они сунули в дымоход войлочную шляпу... Большая была шляпа, как у гамбургских плотников.

На привале Цыпленок сел под деревом, совсем рядом с Германом. Он был очень взволнован их разговором и все порывался о чем-то спросить его. Цыпленок был набожным католиком и находил, что война противна учению Христа, хоть многие священники и считают ее необходимой. Но то, что задумал Герман, было в его глазах совершенно немыслимой выходкой.

Расспросить Германа ему, однако, не удалось. Длинный вюрцбуржец швырнул свой ранец на ранец часовщика и сам присел здесь же, внимательно прислушиваясь к разговору. Герман и Штакельбергер делились опытом: на что надо в первую очередь обратить внимание при перекладке печи.

С тех пор как они получили утром боеприпасы, вюрцбуржцу среди бела дня мерещились всякие страхи. Он злился на товарищей, которые не желали его знать. Особенную ярость вызывал у него Цыпленок, и сейчас, когда рядом лежал его ранец, он обдумывал, как бы насолить ветреному часовщику. Его черные глаза-пуговицы были устремлены на небрежно уложенный ранец Цыпленка: все три гранаты были прикреплены под крышкой. Вюрцбуржец протянул руку и нащупал одну из жестяных капсуль. Он глянул на Цыпленка, который внимательно слушал Германа. А Герман говорил, что надо повыше ставить колосник, тогда воздушная тяга будет правильная.

— Печка должна не только гореть, но и жар держать,— заметил бережливый Штакельбергер.

Двумя пальцами Франц Ланге отвинтил жестяной защитный колпачок. Когда тот упал ему на ладонь, он засмеялся. Если унтер-офицер это заметит, уж он задаст Цыпленку перцу. Вюрцбуржец сунул колпачок в карман, потом, захватив свой ранец, перешел к другой группе.

Цыпленок собрался наконец расспросить Германа, но тот уже снова слушал Штакельбергера:

— Значит, подбу<sup>1</sup> приходится отдавать всю до последнего зернышка,— жаловался крестьянин,— рапс, разумеется, тоже. Правда, на нашем поле он и родится неважно. Растет у нас и хмель. Раньше трактирщик сам занимался пивоварением, и у нас было свое пиво. А теперь приходится продавать и его, для уплаты налогов. Что ж нам остается? Картофель, браток, картофель!

---

<sup>1</sup> П о л б а — разновидность пшеницы.



Цыпленку следовало бы их перебить, но он не решался задать Герману волнующий его вопрос. Ему было страшно. А Герман поддакивал Штакельбергеру и не обращал внимания на Цыпленка, иначе заметил бы, что он хочет о чем-то спросить.

Раздался приказ строиться. Солдаты вскинули на плечи рапцы и встали по местам. Цыпленок снова ковылял последним. Он видел, как Герман, уже с раздражением, обернулся к нему. Вот теперь, на марше, спрошу обязательно. Он выровнял шаг и почувствовал, что с ранцем у него что-то неладно. Быстро просунул правую руку под мышку, к лопатке, пощупал ранец. Средним пальцем задел какой-то шнурок.

«Кто-то решил надо мной подшутить, привязал что-то», — подумал он и рванул шнурок.

— Он вырвал шнур! — заорал кто-то позади. Солдаты ринулись в лес.

Цыпленок поднял руку к лицу. Между его пальцами был зажат шнур, на конце которого болталось кольцо. Он услышал вопль Штакельбергера: «Пресвятая дева Мария!» И вот уж он стоял совсем один, держа перед глазами руку со шнуром, и не мог сдвинуться с места; Германа тоже не было рядом. Он слышал, как в ветвях деревьев гудел ветер. Лейтенант бросился на землю, прямо посреди просеки. Потом вскочил на ноги и, прыгнувшись, метнулся в лес.

Все свершилось очень быстро. Цыпленок пытался сорвать противогаз, поверх которого висела и винтовка, но это ему не удалось.

Просека опустела. Из лесу, из-за деревьев, на него с ужасом смотрели товарищи. Скрюченными пальцами они вцепились в кору сосен.

Цыпленок, один на один со смертью и безумным страхом, кружился по просеке. Его каштановые волосы прилипли ко лбу. Он кричал: «Не хочу, не хочу!»

Никто не мог разобрать его слов; солдаты в лесу, за деревьями, тоже кричали. Они стонали и ругались, а некоторых рвало. Немыслимо было на это глядеть, и все-таки они не отводили глаз от Цыпленка. Он умирал за них, он показывал им, каково это, как страшно. Цыпленок, шатаясь, кружился по просеке. Герман присел на корточки и выстрелил, но промахнулся, хоть на нем и были снайперские нашивки. Он бросился ничком на землю.

На середине просеки Цыпленок вдруг остановился. Он больше не кричал. Ему пришлось в голову, что он хотел о чем-то спросить Германа, но никак не мог вспомнить, о чем именно,

Все три ручные гранаты взорвались сразу. Изжелта-красное пламя взметнулось вверх. Раскаленные осколки вгрызались в стволы, сорвали с деревьев ветки. Влажный воздух пропитался запахом пороха.

От Цыпленка остались лишь обрубки ног в сапогах с невысокими голенищами. Позже около пленницы нашли еще правую руку.

На что была похожа рота, когда она выстроилась снова? Ее можно было принять за процессию призраков, так бледны были все лица. Солдаты сгорбились, руки их беспомощно повисли. Место между Штапельбергером и Германом пустовало. У крестьянина с запястья свисали четки из маленьких пестрых бусин. Гранаты у них отобрали, оставили только тем, у кого были сумки. Ветер уснул. Высокие деревья безмолвно и торжественно обступили солдат. В воздухе все еще носился запах пороха. У солдат подгибались колени, они шли, волоча ноги и приминая мох.

Молоденький лейтенант, который командовал ротой — капитан уехал вперед, — оглядел колонну и покачал головой. Невозможно шагать дальше с таким погребальным видом, ведь они идут на войну! А у лейтенанта были совершенно четкие представления о том, как надлежит идти на войну.

Он снова приказал остановиться и срывающимся, петушиным голосом произнес краткую речь. Заявил, что Алоиз Хун погиб доблестной солдатской смертью. Потом приказал трогаться и громко командовал: «Петь».

Солдаты рывком подняли головы. Сжали зубы, плотно сомкнули губы. Пошли дальше в полном молчании.

«Нет, — думал лейтенант, — неужели мне суждено идти на войну с этим жалким стадом? Ведь это позор, позор!»

Глаза его сверкали, когда он обернулся и высоким фальцетом закричал: «Петь!»

Но солдаты не запели и даже перестали идти в ногу. Из их рядов на юного офицера были устремлены широко раскрытые, чуть ли не угрожающие глаза, и он на мгновение растерялся, даже ощутил страх. Он понял всю нелепость своего приказа, но отступать не хотел. Не мог же он признать, что солдаты правы. Поэтому он в третий раз повторил свой приказ.

Теперь рота просто-напросто остановилась. Те самые солдаты, которые по одному лишь слову бросались на землю, по одному слову вскакивали на ноги, обязаны были беспрекословно слушаться любой команды, стреляли, когда им приказывали; и были готовы стать под пули, если таков был при-

каз, — эти солдаты молча остановились, потому что не желали идти. Их подавленность перешла в гнев, бледные лица были искажены яростью от сознания бессмысленной смерти Цыпленка, они с содроганием подумали, что их всех тоже ведут на бессмысленную смерть. В душе у них поднималась неистовая злоба.

Курносый лейтенант стоял перед ротой. Губы его были судорожно сведены. Он пытался выдержать взгляды солдат. Но в его глупой детской физиономии что-то дрогнуло. Он готов был заплакать. Герман смотрел на него из-за спины вюрцбуржца, который безвольно понурил голову.

Но волна возбуждения уже успела схлынуть. Рысью подъехал капитан. Свесившись с седла, поглаживая правой рукой влажную челку лошади, он выслушал рапорт лейтенанта. Покачал головой, скомандовал «вольно», разрешил курить. Встал во главе роты. Рота зашагала вперед.

Штакельбергер спросил Германа:

— Сколько ему было?

— Девятнадцать, — ответил Герман.

Штакельбергер покачал головой.

Они шагали дальше, они шагали не на войну. Без единого выстрела заняли край, который брошенная и преданная армия вынуждена была оставить им на разграбление. Уже через несколько недель они вернулись домой. Их чествовали как победителей, и хоть они и не понимали за что, это все-таки было приятно.

В памяти их сохранилось немного из того, что довелось увидеть во время мирной оккупации. Но смерть Цыпленка они не забыли, не забыли и того, что последовало за ней. Вспоминая об этом, они, наверное, думали: еще одна минута... и...

Впрочем, после возвращения им стали давать отпуска. Штакельбергер приехал домой слишком поздно; картошку уже выкопали и свиней продали. Герман еще успел переложить печку, и советы Штакельбергера очень ему пригодились. Он пошел с Эммой в кино, а потом проводил ее домой. Но пожениться они решились лишь после того, как он отслужит свой срок.

Вюрцбуржец тоже получил отпуск и посиживал в отцовской булочной близ Иоганновской больницы. Вечерами, в маленьком трактире при булочной, он рассказывал, как они шли на войну. Некоторые университетские профессора, заходившие к ним в трактир выпить кружку пива, тоже слушали его.

# Адам Кукхоф



## ДЕЗЕРТИР



очему я расстался с первой женой и как познакомился с Иозефой?

Было это в 1918 году. Мне дали отпуск на восемь дней, из них прошло уже шесть, и в воскресенье мне нужно было возвращаться в полк. Отпуск мой нельзя было назвать удачным, отнюдь: сначала, при

встрече, — расточительные ласки, а потом все пошло своим чередом, — дня не проходило без ссоры, конечно, из-за пустяков, причем мучительнее всего были вынужденные примирения. Я называю их вынужденными, потому что они были вызваны предстоящей разлукой. Елена ругала себя, называла вздорной бабой — намерения-то у нее самые добрые, а вот владеть собой не умеет, и когда я опять уеду, — нет, просто подумать страшно! — она всю жизнь будет казнить себя.

Мне оставалось лишь успокаивать ее, хоть иной раз я и считал, что правда на моей стороне; не мог же я быть свиньей — чего доброго, погибнешь на войне и оставишь ей в наследство это воспоминание.

В общем, это было сплошное насилие над собой; я ходил мрачный как туча, а под конец терпение мое и вовсе истощилось. Вот какая у нас была встреча, а возможно, и прощание перед вечной разлукой.

А ведь мы любили друг друга, и я тогда не мог взять в толк, почему у нас все так не ладится. Она была женщиной героического склада, тогда как я никогда не был похож на героя. Дочь офицера (а это само по себе что-нибудь да значит), она и по натуре была склонна ко всему героическому.

Ее письма ко мне на фронт, казалось, были написаны человеком совершенно другого мира. И дело было не только в том, что она сидела дома, а я месил фронтовую грязь, — нет, все у нее было словно по полочкам размещено; не знаю, понятно ли я выражаюсь.

Ну, в общем, — картинка, на которой все расставлено по своим местам, в том числе и моя смерть, как ни страшила ее эта мысль. Иногда мне хотелось крикнуть ей: «Ни черта ты не смыслишь в том, что теперь творится на свете. Раскрашиваешь картинки по старому трафарету и веришь, что сама их нарисовала, только потому, что краски, мол, твои».

В ней чувствовалась порода, а во мне — ни на грош; в этом все и дело, потому-то я и любил ее; кто, как не пролетарий, питает явную или тайную слабость ко всякому героизму? А я в какой-то степени был пролетарием, несмотря на свое буржуазное происхождение, потому-то меня и тянуло к героическому, и в то же время воротило от него. Может быть, оттого и произошло все дальнейшее, а впрочем, кто его знает.

— Посмотри-ка, — сказал мне однополчанин, вместе со мной приехавший в отпуск, — знаешь, что это такое? Фальшивый паспорт. Если захочешь, можешь получить такой же.

Я спросил — откуда? Есть, мол, на свете добрые люди, они заботятся о тех, кто сыт войной по горло.

Больше я от него ничего не добился, мы просто потолковали, как устроить это дело. Но если я надумаю всерьез воспользоваться такой возможностью, надо предупредить его не позже завтрашнего утра.

Дома царило уныние — снова из-за какого-то пустяка, который мы оба приняли чересчур близко к сердцу. И тут я заявил Елене, что с меня хватит и я не вернусь на фронт. Если бы между нами все шло гладко, у меня бы, возможно, еще достало охоты пасть смертью храбрых на поле брани, но опять полезть в пекло с такими растрепанными чувствами — нет уж, благодарю покорно. Пошли они со своей войной и со своим отечеством к...

При этом я смотрел не на Елену; а на буфет и на горку, заставленную мейсенскими фарфоровыми безделушками; с удовольствием разнес бы прикладом все это вдребезги — до того меня вдруг разозлила незыблемость всех этих дурацких вещей. Если я не вернусь в полк, здесь мне, понятно, нельзя будет оставаться — и слава богу.

Елена ничего мне не ответила. Ради меня она бы пожертвовала жизнью, в этом нет сомнения. Но не мог же я стать дезертиром! Так не делают; такой поступок не укладывается в обычные рамки. Если бы со мной что-нибудь случилось, она искренне горевала бы, как положено вдовам, — возможно, даже не вышла бы вторично замуж. А мой план — право же, это несерьезно; просто у меня плохое настроение, она сама во всем виновата, из-за ее вспыльчивости мой отпуск прошел так безрадостно.

Тут меня взорвало: пусть не воображает о себе слишком много, не в ней вовсе дело. Я ей не бравый солдатик, который в объятиях дражайшей супруги черпает новые силы и лихо марширует навстречу опасности и смерти — трам-та-та-там! Просто мне осточертела война — и с меня хватит!

Нет, все-таки она держалась молодцом, скорбно взглянула на меня и только спросила, как это устроить. Конечно, ничего путного из этого не выйдет, вообще все ужасно, и меня непременно схватят. Ей-богу, она имела полное право высказать свои опасения и, может быть, даже отговорила бы меня, если бы не ее священный трепет перед всемогуществом и всеведением военных властей. И я только пуще заупрямился — пускай увидит, как легко обвести вокруг пальца этих ослов, этих безмозглых тупиц. Перейдя на деловой тон, я изложил ей свой план и опроверг все ее возражения.

Когда мне случалось порезать палец, эта женщина визжала от страха, а теперь, когда я решительно воспротивился тому, чтобы меня погнали на убой, в сердце ее зазвучали героические струны, заставив все остальные чувства умолкнуть. По сути дела, она, быть может, была и права. Ведь она думала лишь о том, как опасно мое внезапное сумасбродство — дезертировать. Что ж, может быть и так. Но ведь буфет и горка, возле которых мы стояли в продолжение всего разговора, тоже оказывали на меня свое действие. Черт побери, мы подчас и понятия не имеем о том, что происходит у нас в душе.

Не похожи ли наши чувства на пестрых русских матрешек: в большой красной сидит голубая, поменьше, а в той — зеленая, и лишь под конец, в самой сердцевине, находишь маленькую желтую фигурку — она одна из всех оказывается цельной. Если бы люди понимали, что за всеми их словами и даже «глухими» чувствами на самом-то деле кроется нечто совершенно иное. Ну, это уже особая статья.

Потом, когда все было решено, Елена деятельно помогала мне, в этом ей нельзя отказать. Первое время я даже думал, что это свяжет нас навеки. Надо признать, что для Елены, с ее прямоотой, роль, выпавшая ей на долю, была особенно тяжела.

В первый раз комедию пришлось разыграть хотя бы ради прислуги: в последний день моего отпуска Елена вынуждена была изобразить дома сцену трогательного прощания; затем, еще удачнее, разыграла она эту сцену на вокзале — с подобающим случаю видом махала платком вслед уходящему поезду, в котором меня давно уже не было. Незаметно прыгнув с другой стороны, я спрятался в привокзальной уборной. Елена на платформе все еще махала платком, когда я вышел оттуда в штатском платье, сел в машину и поехал на окраину города, где накануне снял под чужим именем ателье одного художника.

Сумасбродство, конечно, — снять именно ателье; меня, право же, никогда не тянуло к мольберту. Дело тут не в картинах, которыми было заставлено ателье, хоть я постепенно и пригляделся к ним до такой степени, что иной раз казалось, будто разгуливаешь среди собственных произведений. Но нагромождение картин, — я имею в виду кажущийся беспорядок в помещении, где, в сущности, не было ничего лишнего, — действовало на меня исцеляюще после буфета, персидских ковров и прочего хлама.

Да, вкус ко всему, что попроще, мне привили на фронте; но ателье, в которое свет лился прямо с неба сквозь огромные

стекла, не было похоже на блиндаж; здесь мне не надо было лежать в дерьме, защищая буфеты и горки с безделушками.

Когда через две недели Елена впервые пришла ко мне — раньше она не решалась на это, — радость свидания была гораздо более бурной, чем в день моего приезда в отпуск. Оно и понятно — эта волевая женщина вся как будто напряглась перед лицом опасностей, с которыми ей пришлось столкнуться. Когда выяснилось, что я не прибыл в часть, у нее, разумеется, сейчас же навели справки; но она ни о чем и ведать не ведала — кроме того, конечно, что она проводила меня к поезду и что я уехал, это все могли подтвердить. Труднее всего давалась ей психологическая маскировка, к которой она вынуждена была прибегнуть: беспокоиться о моей судьбе и негодовать на гнусные подозрения, — все это она проделала именно так, как подобает офицерской дочери с характером Елены. Много раз днем и ночью у нас в квартире производились обыски; это уже было легче — тут она могла иронически улыбаться. Неприятно было только чувствовать, что повсюду на улице за тобой следят, идут по пятам. Мне этого, дескать, не понять; а я, кстати сказать, прекрасно понимал это ощущение: ведь и мне нужно было выходить на улицу — за покупками, да и просто для того, чтобы не навлечь на себя лишних подозрений.

Она побывала у всех знакомых, со всеми делилась своим горем и просила совета; повсюду ей встречались подозрительные субъекты — посторонние, совершенно неизвестные ей люди; ей казалось, что они являлись к ее знакомым только потому, что знали о ее визите. Нет, нет, Елена ничем не выдала себя. Она действительно была героической женщиной, я чувствовал себя ничтожеством по сравнению с ней. Мне было стыдно, что я, трус и дезертир, отсиживаюсь здесь, и чего ради? Вся затея показалась мне вдруг абсолютно бессмысленной.

Да, это был какой-то экстаз, как бы второй медовый месяц, причем на этот раз роль мужчины играла она, а роль женщины — я. Однако прошло не так уж много времени, и посещения Елены стали для меня страшнее всего на свете; куда легче сидеть в окопе, думая о том, когда тебя шарахнет снарядом. Но хватит об этом.

Не стану отрицать, она была права: ужасно, когда нельзя перейти улицу, не почувствовав на себе чей-то взгляд. Вот когда я понял, что начинающие преступники искупают свою вину задолго до того, как попадут в лапы закона. Но ведь я не мог сидеть безвыходно у себя в ателье — это было бы верной гибелью, такого странного жильца очень скоро вывели



бы на чистую воду. Первое время я выходил лишь по вечерам. Это было еще терпимо. Но в конце концов пришлось набраться духу... Помню то ощущение, с каким я в первый раз вышел на улицу среди бела дня; к этому времени я отрастил себе обязательную в таких случаях бороду. Да и в дальнейшем я чувствовал себя не лучше — напротив, даже спустя много месяцев после того, как мне уже нечего было бояться, у меня всякий раз, как я появлялся на улице, начинало бешено колотиться сердце.

Словом, за месяц я так чертовски изнервничался, что вздрагивал от малейшего шороха в камне. Так скверно мне не было даже на фронте, в самые тяжелые моменты, хоть я, как уже говорил, отнюдь не склонен к героизму. Постепенно я пришел к убеждению, что люди слишком легко поддаются обманчивому внешнему впечатлению. Разве здесь, в этом «мирном» ателье, на душе у меня было легче, чем в окопах, на передовой?

Вскоре я убедился по поведению Елены, что женщины ничего с такой легкостью не подмечают в мужчине, как неуверенность. Первое упоминание опасностью прошло, а ей по-прежнему приходилось быть каждую минуту начеку, в особенности когда она отправлялась ко мне. А тут она еще обнаружила, что и я начал терять выдержку: превратился в раздражительного хлюпика, у которого поджилки тряслись всякий раз, как Елена сообщала о людях, будто бы следивших за ней. Проклятье! Я сам себе был противен и от этого мало-помалу начал ненавидеть Елену.

Я видел ее насквозь: самоотверженность, с какой она вначале помогала мне, теперь казалась мне сплошным обманом, она ни на минуту не переставала быть офицерской дочкой, ни на минуту не отступилась от бога, кайзера и отечества. В сущности, думалось мне, что связывает меня с этой женщиной? Мне нет до нее никакого дела, а ей буфет и фарфоровые безделушки куда дороже меня.

Странные мысли! Ведь у моих родителей тоже есть буфет и все прочее, и женитьба на Елене отнюдь не была чем-то из ряда вон выходящим, каким-то мезальянсом наизнанку. Однако тогда мне все это не приходило в голову; подумай я об этом, я бы, возможно, не сделал того, что сделал. Но в то время меня переполняло чувство собственной правоты. Так оно и шло.

И вот наконец разыгрался давно назревавший скандал. Елена в приступе истерики заявила, что больше не в состоянии выносить эти вечные страхи и что помимо всего прочего она потеряла всякое уважение ко мне. Я должен искупить свою

вину, она с самого начала чувствовала, как позорно мое поведение. О, если бы она послушалась тогда своего сердца! В чем позор? Да в том, что я предал свое отечество в час опасности! Я ответил, что и слышать ничего не желаю об отечестве, потому что знаю цену этому слову. Сражаться за жен и детей? Прекрасно! Но нашим милым правителям наплевать на жен и детей, особенно на тех, у которых нет прислуги и которым приходится выстаивать долгие часы в очередях у лавок. И если Елена согласится убрать с глаз долой дурацкий буфет и горку со всей этой дребеденью...

Она так ничего и не поняла; да и не мудрено: ведь моя речь состояла из таких же бессвязных истерических выкриков, как и ее собственная. Казалось, на миг у нее мелькнула надежда, что я рехнулся, но тут я заговорил совершенно разумно и спросил, что ей от меня нужно.

Потеха, честное слово: я должен явиться с повинной — только из-за того, что ей, видите ли, непомогут. Признаюсь, я грубо ее обругал. Смешал с грязью ее папашу, к которому она была бесконечно привязана, обозвал его живодером, да так оно, кстати говоря, и было. И вообще выложил ей все начистоту: знать не хочу больше ее паршивых родичей, весь этот самодовольный сброд, да и собственную мою родню тоже, все они мне отвратительны. Я не стал слушать ее возражений, я ведь знал, что она и сама терпеть не может всю эту заносчивую свору. Какое там! Она, мол, и сама той же породы и пусть наконец оставит меня в покое. Прав я был или нет — в ту минуту мне было все равно. Ведь выискал же я нарочно такое словечко про ее отца, которое в моих устах, в устах дезертира, должно было ранить ее в самое сердце. Удар попал в цель. Она закричала, что теперь знает, что ей делать, и выскочила за дверь. В глазах у нее была ярость.

Не успела она уйти, как мной овладел неопишуемый ужас. Я хотел было вернуть ее, но она уже пересекла улицу, — должно быть, мчалась без памяти, и если бы я попробовал ее остановить, кто знает, что она могла выкинуть, ведь я довел ее до бешенства. Ни минуты я не сомневался в ее намерениях: она донесет на меня из-за глупейшего, но рокового конфликта между привязанностью к мужу и любовью к отечеству. Я сам натолкнул ее на мысль об этом героическом подвиге, да, сказать по правде, ей это подходило больше, чем тайная помощь дезертиру. Теперь-то я понимаю, что это была женщина с обыкновенными человеческими чувствами и хорошая жена, а виноват во всем я; теперь я могу спокойно это признать, потому что мне, в сущ-

пости, наплевать. Но тогда меня сверлила только одна мысль: как избежать ареста. В ателье оставаться нельзя, придется снять номер в гостинице, но все они находятся под строгим наблюдением.

Все равно, главное уйти отсюда; взять с собой только то, что можно незаметно унести в портфеле. Владельцу ателье достанется кое-что в наследство, если только волей всевышнего его не ухлопают под конец на фронте.

Я поужинал в какой-то пивной и долго потом сидел без дела за столиком. Наконец волей-неволей пришлось оттуда уйти. Шататься ночью по улицам было верной гибелью; вот до чего я дошел. Будь я на самом деле из простонародья, я нашел бы, куда податься — либо к знакомым, которые приютили бы меня, ни о чем не спрашивая, либо в какую-нибудь грязную дешевую дыру, которая была бы у меня на примете.

Когда я вышел из дверей пивной, то совершенно ясно ощутил толчок в спину и понял, что приближается самое страшное — то, чего я больше всего боялся. Я вообще не очень уверенно чувствовал себя на улице, да иначе и быть не могло: мне вечно мерещились шаги за спиной. Но так как я всякий раз убеждался в своей ошибке, то под конец научился держать себя в руках. Однако теперь я потерял над собой власть. Я сам себе опротивел, какая-нибудь уличная девка подойдет поближе, чтобы познакомиться, а меня уж от страха пот прошибает. Хорошенький был у меня вид — за семь верст, верно, чувствовалось, что дело тут нечисто!

Не успел я пройти до конца улицы, как услышал за спиной чеканный шаг патрульных; их было двое. Я и прежде всегда говорил себе: «Вот оно и пришло». Сказав и на сей раз то же самое, я в глубине души подумал обратное. Странное существо — человек! Но когда я подошел к перекрестку, шаги опять послышались у меня за спиной. Уже вторично. И еще отчетливей — в третий раз. Час поздний, улицы почти пустынные, да и район отдаленный. Я перешел на другую сторону, те двое остались там.

Да, их было двое, вот они тоже пересекли улицу, неторопливо, как бы без всякой цели. Я не мог их видеть, но за мной снова послышались шаги; они незаметно, еле уловимо ускоряются, нет сомнения: расстояние между нами уменьшилось, надо попытаться уйти переулками, но держаться принятого направления, чтобы не показаться подозрительным. Если все же окликнут — бежать нельзя, нельзя даже заметно ускорить шаг, можно двигаться лишь чуточку быстрее, чем они, это тоже не так просто.

Расстояние между нами остается прежним, никак мне не оторваться от них; они даже не прибавляют шагу, им это как будто ни к чему. Я словно во сне, меня душит какой-то кошмар; нет, я не сплю, я дезертир, у меня ни на что не хватает характера, не выдержал на фронте, теперь не могу выдержать этого преследования. Елена права, я просто низкий трус, война здесь ни при чем. Да, я действительно не выдержу, вот обернусь и скажу: «Что уж тут, да, это я, делайте со мной что хотите, все легче, чем чувствовать вас за спиной».

В тот же миг, — ей-богу, и секунды не прошло, как я, собираясь с духом, сжал кулак, — я неожиданно нащупал в кармане ключ от двери, ключ от моей, вернее, Елениной, квартиры, который я неизвестно зачем таскал с собой.

Подхожу к ближайшему дому, вставляю ключ в замочную скважину, и он поворачивается с такой легкостью, будто я уже тысячу раз проделывал это.

Ко мне возвращается хладнокровие и спокойствие; те двое подходят ближе. Мгновение помедлив, я окидываю их равнодушным взглядом. Вот они совсем поравнялись с дверью, замок дважды щелкает — я еще успеваю услышать, что они остановились; значит, все это мне не померещилось.

«На сей раз пронесло», — мелькает мысль, и я начинаю медленно подниматься по лестнице; только колени слегка дрожат. Не буду утверждать, что счел это внезапное наитие и совпадение чудом. Когда я нащупал ключ, в мозгу пронеслось: «В огромном городе должны быть тысячи одинаковых замков и ключей; мой оказался одним из них».

И вот я, как ни в чем не бывало, поднялся вверх по лестнице и позвонил у дверей одной из квартир верхнего этажа; почему — понять нетрудно. Надо, чтобы те двое внизу видели с улицы свет в окне либо меня самого на фоне окна, к которому я уж постараюсь пробраться. Странно лишь, что я даже не пытался придумать повод для того, чтобы войти в чужой дом, да еще среди ночи. И когда женский голос робко спросил, кто там, я совершенно спокойно ответил: «Человек, которого преследуют».

После минутного замешательства Иозефа открыла мне дверь. Я сразу же заявил, что надо немедленно зажечь свет в той комнате, что выходит на улицу, если, конечно, там темно; там как раз было темно. Вот как случилось, что я оказался у Иозефы и рассказал ей свою историю — ту ее часть, которая состояла из объективных фактов.

Только когда она, устроив мне постель из нескольких одеял, оставила меня одного, я удовлетворенно рассмеялся: это было

мое ателье в миниатюре, только вместо картин комната была забита бумажными веерами. В прошлом художница, Иозефа после смерти своего дядюшки, давшего ей образование, не смогла найти никакой иной работы и взялась разрисовывать на кафельных условиях абажуры и веера для какой-то фирмы — очень красивые вещицы; эти мерзавцы наверняка загребали колоссальные барыши.

Она страшно бедствовала, и это открытие чуть ли не обрадовало меня — в те времена я был еще немного романтиком.

Иозефа ничего из себя не строила, я тоже. Когда через несколько дней мы поняли, что скрыть от соседей мое присутствие в маленькой квартирке не удастся, мы по-деловому обсудили, какое из двух зол меньше, и пришли к выводу, что лучше всего мне явиться с повинной, я слышал, что на такие вещи стали смотреть сквозь пальцы, прежних строгостей уже нет. Чем снова денно и ночью трястись от страха, как бы не накрыли, — так уж лучше сразу.

Я уже говорил, что все это мы взвесили совершенно спокойно, но я чувствовал, каких усилий ей это стоило. Меня она и забавляла и трогала одновременно: ведь мы и недели еще не прожили вместе. А когда я окончательно собрался в поход за смертью на поле брани (уж они позаботятся, чтобы меня не минула чаша сия), на шее у Иозефы забились жилки. Признаюсь, у меня настроение тоже было прескверное. Нет, в Иозефе, так же как и во мне, не было ничего героического; и все же, или, может быть, именно поэтому, мы оба не устраивали трагедий при расставании, которое, вероятнее всего, было у нас первым и последним.

Ну, все оказалось не таким уж страшным, и если бы я раньше догадался поинтересоваться, то давно бы уже знал об этом. Каждому кажется, что он исключение, но когда меня без долгих разговоров сунули в резервный батальон, я убедился, что за это время моя секта и без проповедников бурно разрослась.

Муштровали нас больше, чем других, зато не донимали разглагольствованиями о долге и чести — хватит с нас, мол, и того, что рано или поздно отправят в самое пекло, где погорячее. Обращались с нами по-человечески, и некоторых это так умиляло, что они ходили перед начальством на задних лапках — даже забавно! Но меня уже нелегко было провести: я начал постепенно прозревать, хотя для этого, видит бог, понадобилось немало времени.

Однажды нас спешно погрузили в вагоны и отправили на фронт, но доехали мы лишь до Шарлеруа, а там началась страшная заваруха; никакой революционной пропаганды не было, все это выдумали потом. Мы стояли, как стадо баранов, и я вместе со всеми. Конечно, многие тут начали разбираться, что к чему, ну и я был не умнее других; просто все мы постарались поскорее разбежаться по домам, и я вернулся туда, где чувствовал себя дома.

Правда, потом я быстро сообразил, что происходит. И когда в Брауншвейге установили диктатуру Советов, я не остался в стороне и так лихо щелкал затвором, что небу было жарко. Слава богу, у меня оказался смысленный товарищ, а то бы и мне не миновать удара прикладом по черепу. От героического духа отвыкаешь чертовски медленно, мы все еще заражены им, и немало понадобится времени, прежде чем в Германии научатся делать только то, что разумно.

Так, впоследствии, я чуть было не поддался искушению растолковать все происшедшее Елене, когда мы с ней встретились из-за необходимых формальностей. Господи боже, сколько за нашу совместную жизнь потратили мы с ней времени на разговоры, и лишь раз в полгода попадалось словечко, которое было прямо в цель. Она и теперь изо всех сил хотела меня понять, и я уже было пустился в объяснения. Кое-что до нее дошло, но от этого и ей и мне было мало проку, потому что мне и впрямь наскучил ее мученический венец... И зачем было терзать ее, раз уж так все сложилось. Теперь она по крайней мере имеет право считать меня мерзавцем; все мы хотим быть благородными, а сами и не подозреваем, какое зло причиняем друг другу проклятой ложью.

Пытайся вставить ключ в замочную скважину, и коли суждено, дверь откроется, а коли не суждено — тоже не всегда голова летит с плеч. Но ты сделал все, что от тебя зависело.

# Эдуард Крауцус



## ЧЕЛОВЕК НА ГРАНИЦЕ



аши документы! — сказал полицейский.

Мимо нас по улице шли люди. Мы оба, он и я, находились в этом потоке.

— У вас нет документов?

Я схватился за карманы, хотя знал, что документов у меня нет.

На полицейском была форменная одежда, на мундире золотом отливали пуговицы.

Он повел меня в участок. Сразу было видно, что он полицейский, но не было видно, что я эмигрант. Человек без документов! В глазах людей я мог быть вором, бродягой, убийцей. Мы пришли. Я все еще чувствовал на себе недоверчивые взгляды прохожих.

— Разденьтесь, — приказал мне полицейский.

И вот я стою перед ним совсем голый. Моя кожа напоминает застегнутый костюм, ставший слишком широким. Трудно поверить, что я жил в доме с видом на лес. Дряблая кожа складками свисает с костей. Когда скитаешься по белу свету...

— Имя и фамилия? Год рождения? Откуда родом? Сколько времени вдали от Германии?

Я отвечал. Дни без родины лежали камнем у меня на сердце.

— Как вы это докажете? — спрашивал полицейский.

Я стоял перед ним голый, без одежды, без документов. Человек без документов! И человек в мундире... До сих пор человек для меня был человеком. А его одежда... Теперь я видел человека в мундире.

— Однако я все же... — залепетал я и хотел сказать: «Я все же существую».

Но он прервал меня, велел одеваться, улыбаясь, и лицо у него было человеческое, какое видишь иногда вечерами за окном. Лицо человека, который выглянул на улицу, чтобы понаблюдать, как идет жизнь. Однако он повел меня на вокзал, с которого шли поезда внутрь страны и к границе. Он посадил меня в поезд, в купе, где я был один и окна забраны решеткой. Я смотрел сквозь решетку, видел землю, деревья, луга, хижины у дороги, но мне там места не было. На одной из станций поезд остановился. Я посмотрел в окно: трудились рабочие. Заметив мое лицо в окне, они стали указывать на меня пальцем. За решеткой! Один из них подошел и дал мне сигарету. Он улыбнулся, рука у него была широкая и грязная, а улыбка — детская.

— Возьми! — сказал он. На нем была синяя спецовка, и он пошел к своим товарищам. А я смотрел сквозь решетку. Между тем ветер вымел небо до голубизны.

На пограничной станции полицейский открыл дверь и вызвал меня из купе. Он провел меня через поле к границе.

— Идите туда, — указал он на ту сторону.

Там было поле, и тоже дымила труба, но это были две раз-



ные страны. Здесь около меня был полицейский, там, в другой стране, тоже — полицейский. Ждал он меня, что ли?

— Идите,— приказал мне первый.

Я пошел от одного поля к другому.

— Куда вы? Идите назад! — приказал мне полицейский па другом поле, в другой стране.

На участке земли работал согнувшись крестьянин. Позади себя я услышал голос:

— Почему вы его прогоняете?

То был голос человека в синей спецовке. Я шел из страны в страну, так как ни один полицейский не хотел иметь со мной дела.

— Куда же ему деваться? — услышал я голос крестьянина.

И когда я опять вернулся в страну, из которой уходил, рабочий что-то сунул мне в руку, может быть деньги, не знаю. Крестьянин, в другой стране, сказал:

— Куда же ему идти? Он ведь человек, надо же ему где-нибудь быть!

А когда я опять хотел, нет, должен был перейти, полицейский больше не пустил меня в свою страну. И другой... Я стоял посреди границы! Там полицейский, тут полицейский, там крестьянин, тут рабочий, все — люди, и я, я стоял на границе, тоже человек. И я сел посреди границы. Усталый. Устали глаза, уши, руки, ноги, сердце! Теперь, при наступившем вечере, я увидел узкую черную черту. Граница. Черта тянулась вокруг строек. Я сидел на границе, а день тонул в золотой бездне за горизонтом. Спустились сумерки. Мне показалось, будто я видел, что полицейские ушли, но вскоре убедился, что оба они были около меня. Граница становилась чернее, и от нее мне становилось все больнее. Она оказалась поясом колючей проволоки, я лежал на этой проволоке, и острые металлические шипы впивались в мое тело до костей. Один из полицейских схватил меня за руку и за ногу с левой стороны, другой сделал то же самое с правой, и каждый кричал:

— Нельзя тебе здесь оставаться!

Они стали тащить меня дальше вдоль колючей проволоки. Мне казалось, что нечто впивается в мои внутренности, но потому, что они тащили меня по границе, а потому, что мне некуда было деться. Кто же может оставаться между двумя странами? И они тащили меня рывками по границе, вниз, в долину, через гору, по лугу, по лесу, и все время по колючей проволоке. Мысленно я видел другие долины, леса и луга, не те, через которые меня тащили, перед моими глазами был дом,

в котором я провел лучшие дни своей жизни. Но... и туда нельзя было мне.

— Что мне делать, чтобы я мог вернуться домой? — с болью спросил я.

Но ответа не было, они тащили и тащили меня, и мир, казалось, состоял только из границы. В лесу меня бросили, израненного, с болью во всем теле.

Очнулся я, должно быть, от ветра, поднявшегося к вечеру. Полицейских я больше не видел. Надо мной склонилось чье-то лицо, это было лицо рабочего; меня знобило, он снял свою куртку и укрыл меня. По другую сторону стоял крестьянин, в его руке был хлеб, который он подал мне. Я чувствовал слабость и голод.

— Нельзя тебе здесь оставаться! — сказал рабочий. — Приближается ночь!

Оба они были люди.

— Не можешь ты здесь оставаться, — сказал крестьянин. — Ночью будет холодно.

И я, я тоже был человек. И понял, что можно смотреть сухими глазами, а чувствовать себя так, будто по щекам текут слезы.

— Пойдем! — сказал рабочий.

— Пойдем, авось и для тебя найдется место! — проговорил крестьянин.

Да, вот тут-то мне и пришлось стиснуть зубы, чтобы... чтобы... Люди!

# Стефан Херцлин



## ПУТЬ БОЛЬШЕВИКОВ



етцольд, как обычно, проснулся между часом и двумя ночи. Каждый раз ему приходилось сначала сориентироваться в окружающей его обстановке, осознать эту обстановку, в которой вот уже тридцать семь месяцев нет никаких изменений, понять, что он находится в бараке номер восемь, в Райнхаузене.

Сознание возвращалось всегда одинаково — слоями, точно кто-то снимал с него покровы, как снимают с луковицы шелуху, с той только разницей, что в данном случае прежде всего обнаруживалась середина — его собственное тело, лежащее на левом боку со скрещенными на груди руками, в позе, вынужденной обстоятельствами; он сохранял ее и во сне. Каждый спящий посреди этой холодной тьмы, наполненной тяжелым запахом, превращался в мумию с той минуты, когда гасили свет, до сигнала «подъем».

Иногда Петцольд говорил себе, что все же на соломенном мешке лучше лежать вдвоем, чем вчетвером, как лежат вновь прибывшие, точно сельди в бочке: струя выдыхаемого воздуха, коснувшись ног лежащего рядом, возвращается обратно и бьет в лицо. В собственных интересах Петцольду нельзя было менять положение. И даже во сне он инстинктивно, как и его сосед, старался не шевелиться, каждое движение означало потерю тепла и упорную, мучительную борьбу за кусок одеяла. Как ни тесно было в восьмом бараке, Петцольд мысленно провел линию, отделив себя от окружающего, и усилием воли твердо держался ее даже во сне. Любой ценой Петцольд хотел остаться наедине со своими мыслями, смутными воспоминаниями о прошлом, которое постепенно становилось все менее правдоподобным.

На этот раз Петцольд, против обыкновения, проснулся не сам. В его ушах стоял четкий, сухой треск, доносившийся из-за невидимых крыш барakov. «Кто ж это стреляет в такое время?» — подумал он. Как бы перешагнув через собственное тело, Петцольд сначала попытался сориентироваться в комнате, где находился, — это было одно из спальных помещений барака, — а затем и в лагере, который он хорошо знал; в темноте Петцольд представил себе план лагеря во всех его деталях. «Что-то случилось у карантинного барака», — решил он.

Под дверь, отделявшей спальное помещение от комнат старосты барака и писаря, Петцольд заметил слабую полоску света, услышал тихие шаги снующих взад и вперед людей. «Так, — подумал Петцольд, окончательно проснувшись. — Очередное развлечение». Он возмущился, что ему помешали спать. Петцольд уже привык к тому, что в определенный час его сон прерывался сам по себе и он мог отдаваться своим мыслям и мечтам, мирясь с холодом, который, несмотря на все предосторожности, пробирался под одеяло.

Это был единственный час за день, полностью принадлежавший ему. Человек, который ежедневно проводит девять часов

стоя под солнцем и дождем, подчиняя каждое свое движение одной мысли — как продлить жизнь свою и товарищей; человек, никогда не бывающий один, будь то во дворе, на перекличке, во время еды или починки одежды, — тем не менее всегда сохраняет в душе уголок, куда он никого не хочет пускать. Там, в сокровенной глубине души, большей частью живут воспоминания о прошлом. Между прочим, Мюллер, о котором он думал без большого удовольствия, был, надо полагать, неплохим парнем. Мог бы понасться сосед и хуже. Но упрям, скрытен, сладу с ним нет, — закоренелый социал-демократ, и этим все сказано. «Сколько времени я не разговаривал с Мюллером? — подумал Петцольд. — Месяц, а может быть, и полтора. Он до сих пор все пережевывает старое: августовский плебисцит обманутого народа. Чтобы говорить с такими людьми, надо быть ангелом». Возможно, Петцольд и не подумал бы о своем соседе, если бы не стреляли на улице.

Петцольда смутило открытие, что Мюллер тоже не спит. Его дыхание изменилось, и тело чуть напряглось, что сообщилось под одеялом соседу. Впрочем, не спали, как видно, многие. Стрельба все еще продолжалась. За окнами скользили пучки света, отбрасываемого прожекторами. Негромкие выкрики эсэсовцев и даже скрип сапог пробегавших мимо людей были отчетливо слышны в промежутки между автоматными очередями. «Да, должно быть, у карантинных бараков», — решил Петцольд. В спальном помещении шептались, а иные говорили громко, как иногда во сне. «Что ж это? — думал Петцольд. — Что ж это?»

Карантинные бараки от номера шестнадцатого до номера двадцатого находились на южном краю концлагеря Райнхаузен и были отделены от остальной его части колючей проволокой. Несмотря на то что обитателям бараков было запрещено общаться с остальными заключенными, в лагере всегда знали, что происходит в этой части Райнхаузена; знали и о том, что в бараке номер шестнадцать проводились эксперименты. Там исследовали режим питания, названный «восточным»; он был предназначен поддерживать работоспособность массы «рабов» на восточноевропейской территории «будущей великой Германии».

Исключением был барак номер двадцать, крайний в юго-восточном углу лагеря, почему он с двух сторон и был обнесен каменной стеной да еще колючей проволокой. Кроме того, над ним поднималась сторожевая вышка. А через некоторое время этот барак отгородили стеной еще с двух других сторон — от соседнего барака и от всего лагеря. Во внутренней продольной стене, находившейся около барака номер девятна-

дцать, имелась железная дверь, через которую ходили только эсэсовцы. Пищу для заключенных двадцатого барака подносчики ставили около двери, а в барак ее вносили эсэсовцы. Заключенных этого барака можно было увидеть только мертвыми. Каждое утро крематорная команда увозила на своей повозке трупы, которые выкладывались ночью у той же железной двери. Было известно, что в двадцатом бараке содержались исключительно офицеры и комиссары Красной Армии; более подробные сведения получить не удавалось. Полная изоляция барака не предвещала его обитателям ничего хорошего: было очевидно, что ни одному не удастся выйти оттуда живым. Коллективный смертный приговор приводился в исполнение посредством голода и бациллы тифа. Каждый заключенный получал в сутки один литр супа и ни крошки хлеба.

Через несколько недель после рождества партийный актив барака — большевики — решил подготовить побег и представил план его на рассмотрение общего собрания барака. На совещании, в котором старались участвовать даже умирающие, поднимая руки при голосовании, решение было принято быстро.

Лейтенант Карганов, инженер, работавший на верфи в городе Николаеве и попавший в немецкий плен на Кубани, возвысил голос, вложив в него все уцелевшие силы:

— Я думаю, что всю операцию должен возглавить товарищ Петров!

Он сделал небольшую паузу. Общее молчание выражало полное и безусловное согласие с его предложением. Он продолжал:

— Каждому должно быть понятно, что побег только тогда имеет смысл, если хотя бы несколькими из нас действительно удастся вырваться на волю. Этим я хочу сказать, что тот, кто примет участие в побеге, должен восстановить силы настолько, насколько позволяют наши общие возможности. Отсюда ясно, что не все могут непосредственно принять участие в побеге.

Он замолчал.

— Конечно, — сказал майор Петров, руководитель партийного актива, бывший агроном одного из колхозов под Тулой, — некоторым из нас придется прикрывать побег. Я об этом уже думал и хочу сейчас внести кое-какие предложения.

Взяв еще раз слово, Карганов сказал:

— Я за то, чтобы выделить тех, которые решаются совершить побег! Разумеется, с их согласия. Им потребуются больше сил, и потому всем остальным предлагается с сегодняшнего же дня уступать в их пользу половину дневной порции пищи; то

есть пол-литра супа. Я, — прибавил он быстро, — первый готов на это. Не пытайтесь, пожалуйста, товарищ майор, убедить меня, что я в силах бежать больше пяти минут. Прошу немедленно проголосовать мое предложение!

— Хорошо! — согласился после короткого раздумья Петров, подняв опущенные глаза. — Итак, кто за то, чтобы товарищам, которым предстоит побег, уступать по пол-литра супа ежедневно, поднимите руки!

Проходя, чтобы подсчитать голоса, между двухъярусными нарами, Петров увидел, что лишь двое не подняли руки: видимо, они только что умерли, и, склонившись, он попытался закрыть им глаза.

С самого начала пребывания в лагере Петров поставил себе задачу — побороть чувство оторванности от мира, от родины, овладевшее его соотечественниками. Если бы все делалось так, как этого хотела комендатура лагеря, то заключенные двадцатого барака не знали бы даже, какое в данный день число. Они, заключенные, никого не видели, кроме солдат охранных войск, иногда входивших в барак, да часового на соседней вышке, который, если ему приходила на ум такая блажь, выпускал по крыше барака половину обоймы из своего автомата.

Да и люди из так называемых свободных барачков знали очень мало, хотя и могли во время работы за пределами лагеря из случайно перехваченных сообщений по радио или тайно переданной газеты создать для себя примерную картину хода событий. И тем не менее партийному активу двадцатого барака удалось узнать, что Красная Армия форсировала Вислу и уже ведет бои на немецкой территории. Известно стало и об операциях словенских партизан в горных проходах Каринтии.

Умирающие съедали теперь только половину положенной порции, хотя испытывали мучительные боли в желудке от голодных судорог. Из последних сил они цеплялись за свою угасающую жизнь, зная, что весь смысл этой жизни состоит в получении дневного рациона, которого лишился бы барак в случае их смерти.

Через месяц после общего собрания в бараке, вечером, за несколько часов до намеченного побега, Петров подошел к Карганову, бледное лицо которого, казалось, улавливало сплетением своих голубых артерий каждый взгляд собеседника.

— Мы должны расстаться, Василий Николаевич, — сказал Петров и склонился над лейтенантом, который лежал на спине, устремив на товарища бездонно-глубокий взор.

— И, вероятно, навсегда, Григорий Григорьевич, — ответил, улыбаясь, Карганов. — Но это ничего. Главное, чтобы вы все выбрались благополучно. Вспомните обо мне, когда будете участвовать в параде на Красной площади.

— Я буду о вас помнить, — сказал Петров тихо, прикинув к самому уху лежавшего. — Кому-нибудь из нас все же удастся пробиться на родину, и он расскажет о том, что сделали ради нас вы и все остальные товарищи.

— Не больше, чем вы для нас, — перебил его Карганов. — Мы, большие, всегда получали что-либо от вас, более здоровых. И вот еще что: передайте привет моей жене, если будете в Москве. Она работает там с начала войны, в одном из институтов. Запишите адрес...

Петров быстро вписал адрес в свою потрепанную книжонку, которую он сумел сохранить, несмотря на обыски. Затем он снова обратился к лейтенанту.

— Вы знаете, товарищ Карганов, — сказал он, поглядывая на острые выступы ключиц, торчавшие из открытой рубашки лейтенанта, — я всегда удивлялся тому, что вы беспартийный.

— Да, это верно, — ответил Карганов, с задумчивой улыбкой глядя куда-то мимо Петрова. — Собственно говоря, я удивляюсь и сам! Так как-то всегда получалось... Я, как говорится, беспартийный большевик. — Он посмотрел на Петрова широко открытыми глазами. — Правда, сейчас я подал бы заявление о приеме в партию. Да, сейчас бы непременно подал.

— Успокойтесь, Василий Николаевич! — сказал Петров. — Я не знаю, можно ли это. Собственно, почему бы и нет? Так вот: как только вернусь на родину, я обязательно подам от вашего имени заявление в партию.

— Может быть, и примут задним числом, — едва слышно произнес Карганов.

Петров положил руку на плечо товарища.

— Разрешите обнять вас.

— Я бы и сам попросил вас об этом, — ответил Карганов. — Да нельзя, уже трое суток у меня дизентерия.

Петров вдруг перестал его видеть, точно в густом плывущем тумане. Он крепко обнял тело товарища, до жути легкое, так что майору на какой-то миг почудилось, будто закон тяготения потерял силу и вот он парит в воздухе с Каргановым на руках.

Во втором часу ночи у самой двери барака собралось около двухсот участников побега. В нетопленном бараке стоял немилосердный холод. Те из больных, кто был еще в состоянии сползти со своих соломенных мешков, пробирались босиком вслед



за другими товарищами. Они собрали все лишние деревянные башмаки и сложили их в кучу у выхода из барака.

— Все готово? — спросил Петров вполголоса.

На улице стояла такая тишина, что было слышно, как часовой на вышке насвистывает модную танцевальную мелодию.

— Прощайте, товарищи! — кинул Петров в темноту, и когда он толкнул дверь, в мерцающем свете зимней ночи отчетливо проступила его высокая, тощая фигура в рваной шинели.

Часовой на вышке услышал тихие шаги множества ног, но, прежде чем он пришел в себя от неожиданности, на него градом посыпались брошенные из темноты деревянные башмаки, попадая ему в лицо и в грудь. Прожектор, который он пытался включить, оказался выведенным из строя. Сквозь кровь, заливавшую ему глаза, часовой увидел у стены силуэты людей, которые становились на плечи один другому, образуя так называемую пирамиду, и бросали одеяла на колючую проволоку. Он мог бы навести свой автомат и стрелять по людям, стоявшим у стены, по теньям, скользившим через поле, по бараку, если бы его самого не обстреливали деревянными снарядами-сандалиями. Часовой слышал многоголосное хрипение, доносившееся из темноты. Но вот в боевое действие вступили другие сторожевые вышки.

Петров помог многим товарищам перебраться через стену. Сам он получил два легких ранения, в руку и плечо. Убитые остались лежать в куче у основания стены. От барака сюда доносились слабые стоны раненых, продолжавших «стрелять» своими деревянными снарядами. Петров узнал в одном из упавших поблизости от него молодого коммуниста Юрия Галина, светлые волосы которого всегда удивительно быстро отрастали после стрижки. Сейчас он видел его застывшим в позе танцора, все суставы были вывернуты, левая нога поднята к затылку, а от руки и щеки, которыми он принял к колючей проволоке с пропущенным через нее электрическим током, поднимался дымок.

На линейке переклички, над которой в ледяном утреннем воздухе висел пар, выдыхаемый сотнями ртов, люди из восьмого барака шепотом, не двигая губами и подбородком, разговаривали между собой. Петцольд слышал, как называли приблизительное число бежавших. Говорили, что их было не меньше пяти-сот. Чепуха! Не верьте. Пыталось бежать больше тысячи, и многим удалось выбраться на свободу! Русские — молодцы! Не было уже никакого сомнения, что побег совершен обитателями двадцатого барака.

Выстраивались команды. У каждого человека в левой руке была железная миска. Петцольд пристально смотрел на большие ворота, через которые команды уходили из бараков одна за другой в сторону каменоломни. От нервного напряжения у него стучало в висках. Как бы глазами Птолемея представил он себе местность, которая спускалась к Дунаю с далеких гор, переходивших в холмы: словно вращающийся диск с Райнхаузеном в центре, над которым с северо-востока до юго-востока простиралось, как море, нечто неизвестное, неизведанное.

Начальники рабочих команд — они назначались из числа уголовных преступников — бросились по своим местам. Барачные команды уже находились на марше.

— Шапки долой!

Все лица заключенных, лишенные выражения, как высеченные из камня, повернулись к дежурному эсэсовцу. Однако гауптштурмфюрер движением руки подал команду:

— Стой!

У ворот появилась повозка, нагруженная горой трупов. Слева и справа за борт повозки капало что-то темное. Петцольд смотрел, пока был в силах, на трупы, на головы с полуоткрытыми ртами, на раздавленные грудные клетки. Повозку тянули около дюжины одетых в серое скелетов, которых погоняли ударами плеток конвоиры. За повозкой шли, весело болтая, эсэсовцы: они провожали повозку в крематорий. Затем снова показались заключенные, одетые в серую рвань и попарно тащившие трупы на веревках. Русские брели с полузакрытыми глазами, у них был вид людей, навеки ушедших в самих себя. Их босые ноги были покрыты черными струпами. Петцольд смотрел на очень высокого худого мужчину. Голова мертвеца, которого тот тащил за веревку, ударялась о камни мостовой.

Обергруппенфюрер красавец Рислер, завидев совсем еще юного русского паренька, удивленно закричал:

— Да ведь это Гриша! Что ты здесь делаешь, Гриша? Какой же ты дурак!

Эсэсовец бросился к юноше, который ничего не видел и не слышал; он шагал с тем же упрямым взглядом, устремленным внутрь. Петцольд заметил, что в правой руке, положенной на плечо русскому, Рислер держал пистолет.

Он видел, как обергруппенфюрер что-то настойчиво нашептывал Григорию и, не получив ответа и даже взгляда, повел его к ближайшему барaku. Дуло пистолета лежало как раз за ухом юноши. Вскоре они скрылись из поля зрения Петцольда.

Гауптштурмфюрер стоял перед командой Петцольда, в десяти шагах от нее.

— Пошли, пошли дальше! Пусть это будет вам уроком! Это только первые. Мы и с остальными разделаемся!

Заключенным восьмого барака пришлось бежать, чтобы догнать ушедших вперед и ликвидировать разрыв. Впереди Петцольда была длинная шеренга людей, двигавшихся вниз к каменоломне. «Боже мой,— думал он.— Сколько их может быть еще!» Мысленно он снова представил себе сегмент круга, по которому двигались точки, расходившиеся в разные стороны; кое-где они приближались к горизонту. «Должны же хоть некоторые из них уцелеть,— думал Петцольд.— Непременно должны!»

Во время бега он повернул голову в сторону, чтобы посмотреть на голые склоны гор и на холмы. На камнях лежал иней, и в затылок дул слабый, но холодный ветер. «Русские, русские»,— думал Петцольд. Он старался представить себе тех, которые уже были мертвы или умирали в ледяной воде речонки, где они пытались спрятаться; иным перегрызли горло натравленные на них собаки, иные спотыкались и падали в обрывы. Петцольд попробовал дать им имена: Иванов, Степанов, Боровский, Малыгин.

Вот где-нибудь в полицейском участке сидит один из пойманных с таким же неподвижным лицом, как и у тех полутрупов, которых он видел десять минут назад. Эти люди еще жили только потому, что на них возлагалась обязанность доставить мертвых в лагерь. Пойманный сидел в полиции, а около него жандарм разговаривал по телефону с комендатурой. Второй дейманый привалился плечом к стене риги, почти до пояса в сене, из которого его только что вытащили. Возле стоял шестнадцатилетний мальчуган в коричневой рубашке, поймавший его: прежде чем воткнуть вилы в грудь русского, он зажмурил глаза, со злобой и страхом думая о вознаграждении. По телефонным проводам, как паутина, висевшим вдоль гор и на горах, во все стороны летели сообщения о бежавших. Но не все еще были пойманы. Может быть, они лежали где-нибудь под снопами соломы, чтобы отдохнуть до наступления темноты. Петцольд видел, как они пробираются к границам огромной далекой страны, чья армия, прикрываясь дымовой завесой, наступала на Райнхаузен. «Может быть, бежавшим следовало подождать,— подумал Петцольд.— Нацисты теперь долго не продержатся, и они, пленные, увидели бы их конец». — «Нет,— возражал он себе,— русские не хотят покидать своих товарищей в беде, они

думают о жизни, а не о смерти, умереть — значит бросить товарищей на произвол судьбы; они так хотят помочь своим, что даже не считаются с жертвами. Это не было актом отчаяния», — думал Петцольд.

Команда Петцольда работала на дне каменоломни, на страшном сквозняке, против лестницы в сто восемьдесят шесть ступеней, круто поднимавшихся вверх. Каждому из команды носильщиков, тащивших носилки с пятидесятикилограммовой глыбой, приходилось преодолевать этот подъем быстрым шагом. Вскоре после обеденного перерыва Мюллер незаметно толкнул Петцольда. У Петцольда как раз в это время промелькнуло в голове, что с нынешнего утра он снова разговаривает с Мюллером. Подняв глаза, он увидел начальника команды, который медленно подходил к лестнице. Рядом с ним шагал высокий, тощий мужчина в рваной шинели. Это был тот самый русский, который утром привлек внимание Петцольда. Они остановились внизу лестницы. Начальник команды что-то сказал, и русский начал подниматься вверх. Когда к заключенным приближался начальник команды, каждый старался создать видимость, что он работает, но это была только видимость. Сейчас взгляды Петцольда и всей команды были прикованы к русскому, который вдруг остановился и, обернувшись, приветственно помахал рукой работавшим внизу. Пока они возились около вагонеток, русский, поднимаясь, становился все меньше и меньше. И вот он — на самом верху, подошел к часовому и заговорил с ним, показывая на свой затылок. Было видно движение его руки в сторону неба, к которому ветер гнал клочья тумана. Затем русский медленно отошел от часового и направился к колючей проволоке. Часовой снял свой автомат, висевший у него на шее. Команда Петцольда не видела, но знала, когда именно осужденный на смерть достиг запрещенной зоны, так как в этот момент часовой вскинул автомат, и сухой треск выстрела пронесся по ущелью.

Четверть часа заключенные работали, не глядя друг на друга. И опять Мюллер, подойдя к Петцольду, подтолкнул его. Он удивленно и пристально смотрел вверх. Тот же русский очень быстро спускался вниз по лестнице, охватив руками живот, как будто съжившись от холода. Несмотря на то что верхняя часть туловища у него была под прямым углом наклонена вперед, он все же не падал. Это было жуткое зрелище. Лицо русского напоминало зеленую бронзу. Сверху за спускавшимся наблюдал часовой, делая нервные движения. Стрелять в сторону лестницы он не решался.

Вдруг припустил мелкий, холодный дождь. Петцольд чувствовал, как его насквозь пронизывает влага. Руки его, державшие лопату, посинели от холода. Русский достиг дна каменоломни. Он шел как во сне, с большим трудом отрывая ноги от земли. Он шел в направлении маленькой полевой кузницы, стоявшей между рельсами. Дойдя до нее, он медленно опустился на колени, будто все время только и искал этот крохотный теплый очаг, в котором рдели угли.

Вместе с другими Петцольд подбежал к раненому. Русский лежал на спине и смотрел вверх, на небо. Тело его корчилося в судорогах. Петцольд видел, что человек этот не хочет умирать. Нет, нет, не хочет! Его разорванная шинель распахнулась, и стали видны сине-багровые огнестрельные раны. Подошел начальник команды и поднял ногу, как бы намереваясь пнуть русского. Но, проворчав что-то невнятное и упершись руками в бока, стал обходить всю группу. Петцольд не обращал на него внимания. Он понял, что русский бежал перед смертью не потому, что боялся ее, а потому, что должен был что-то сделать. Ему не давала умереть мысль о тех, кто после побега скрывается от преследования, и о тех, которые ждут его сообщений. В голове у Петцольда вставали смутные образы, подобные тем, что навещали его порою ночью, между часом и двумя. Невольно он представил себе Красную площадь, которую знал лишь по фотографиям. Ему припомнились некоторые вырезки из старых газет. Он думал о березовой рощице около развезженной лесной дорожки. «Вот почему вы с опасностью для жизни лезли через стену и вот почему вас загнали в двадцатый барак». В его ушах, сквозь шум ветра, который, ища выхода, ударялся о стены каменоломни, звучали многие-много сотни голосов. Он мог бы сам быть на Красной площади, среди гигантской толпы, над которой колыхались красные знамена и букеты цветов. Все смотрели туда, на низкую ступенчатую пирамиду, на которой стояло несколько человек, приветственно махавших руками.

— Карганов,— вдруг проговорил русский.

А Петцольд думал, что тот уже потерял сознание. Он быстро наклонился к лежавшему. Он не понял, что сказал русский. Ему не пришло на ум, что раненый только назвал фамилию.

— Карганов,— повторил умирающий. Его лицо сразу осунулось, как будто внутри разрушилось все основание.

— Что ты, чего ты хочешь, товарищ? — проговорил Петцольд ему на ухо.— Повтори еще раз!

Он не без тревоги оглянулся, ища глазами начальника команды. Тот стоял в стороне и пристально смотрел куда-то.

— Еще раз, еще раз повтори, товарищ! — умоляющим тоном пролепетал Петцольд. Но тут же увидел, что человек в шинели мертв.

Дождь усиливался. Петцольд, снова работавший у вагонетки, не сразу осознал, что ему делать дальше.

Ему пришло на ум, что теперь следует взяться за изучение истории партии большевиков. Один из новичков-французов захватил с собой в лагерь экземпляр истории партии, переписанный мельчайшим шрифтом. Про себя Петцольд уже подсчитывал участников кружка. «Надо будет привлечь и Мюллера», — решил он. Смерть неизвестного Петцольд воспринял как груз, который нужно взять с собой в путь каждому, кто хочет вырваться из джунглей. Этот груз — пища, без которой нельзя выжить.

# Вольфганг Борхерт



## ШИЖИФ, ИЛИ КЕЛЬНЕР МОЕГО ДЯДИ



онечно, мой дядя никогда не содержал ресторана. Тем не менее у него был кельнер. И кельнер этот так усердно донимал дядю своей преданностью, так преклонялся перед ним, что мы всегда говорили: «Это его кельнер!» или «Так ведь это его кельнер!»

Я сам присутствовал при том, как они — мой дядя и его кельнер — познакомились. В то время я был так мал, что как раз доставал носом до края стола. Но это разрешалось мне только в том случае, если нос был чистый. Однако посудите сами — не мог же он быть постоянно чистым... Моя мать выглядела ненамного старше меня. Разумеется, она все же была старше. Но оба мы казались очень молодыми. Вот потому-то мы так страшно смущались, когда мой дядя и кельнер знакомились. Да, мы с матерью присутствовали при этом событии.

Дело, конечно, не обошлось также без моего дяди и кельнера. Ведь это они познакомились. Мать и я выступали лишь в роли скромных статистов. Мы страстно проклинали потом тот день и час, когда стали свидетелями их знакомства. Тогда мы действительно пережили крайне неприятные минуты. Вся суть в том, что знакомство дяди и кельнера сопровождалось ужасной сценой: руганью, жалобами, громким смехом, криками. Дело едва не дошло до драки. Поводом к ней послужило то обстоятельство, что у моего дяди был дефект речи. Кроме того, у него не хватало ноги. Именно это в конце концов и предотвратило драку.

Итак, в один прекрасный солнечный день, после обеда, мы трое — дядя, мать и я — сидели в большом, чудесном, ярком летнем кафе. Там же находилось еще примерно двести или триста человек, и все они, так же как и мы, обливались потом. От жары собаки прятались под стол, а на тарелки с пирожным слетались пчелы. Пчелы кружили также над стаканами с лимонадом, который пили дети. Стояла такая жарница, а в кафе набилось столько народу, что у кельнеров были обиженные лица, словно все это делалось им назло. В конце концов один из них все же подошел к нашему столику.

У дяди, как я уже говорил, был дефект речи. Не очень значительный, но, во всяком случае, весьма заметный. Он не выговаривал букву «с», а также «з» и «ч». У него это просто не получалось. Каждый раз, когда в слове встречалось сухое «с», он делал из него эдакое мягкое, влажное, шепелявое «ш». При этом он так вытягивал губы вперед, что его рот приобретал отдаленное сходство с куриной гузкой.

Итак, кельнер стоял у нашего столика и платком смахивал крошки, оставшиеся от прежних посетителей. (Только много лет спустя я узнал, что в руках он держал не носовой платок, а что-то вроде салфетки.) Смахивая крошки со стола, кельнер, запылавшись, нервно произнес:

— Шлушаю ваш,



Мой дядя, который вообще не потреблял безалкогольных напитков, ответил как обычно:

— Два стака́на шпиртного. Што у ваш там ешь? А для мальшишки шельтершку́ю или шитро.

Кельнер казался очень бледным, хотя кафе находилось на открытом воздухе, а дело происходило в разгаре лета. Но он, быть может, просто заработался? Однако вдруг я заметил, что цветущее, загорелое лицо моего дяди тоже побледнело. Случилось это как раз в тот момент, когда кельнер, порядка ради, повторил заказ.

— Ошень хорошо. Два стака́на шпиртного. Шельтершку́ю. Все будет шделано.

Дядя посмотрел на мою мать, высоко поднял брови, словно он намеревался срочно выяснить что-то. На самом деле дядя просто хотел удостовериться, не сошел ли он с ума. Потом дядя снова заговорил, и голос его прозвучал как отдаленная оружейная канонада.

— Вы што, шпятили? Шмеетесь над моим недоштатком? Шумашедший!

Кельнер задрожал всем телом. Сперва у него затряслись руки. Потом задергались веки. Потом колени. Сильнее всего дрожал голос. Дрожал от боли, ярости и беспомощности. Мы это поняли, когда кельнер попытался ответить дяде в том же оружейно-громовом тоне.

— Это бештыдштво ш вашей штороны шмеятша надо мною. Это бештактно, шкажу я вам.

Теперь он весь дрожал. Края его куртки вздрагивали. Пряди напояженных волос тряслись. Ноздри и тонкая нижняя губа тоже дрожали.

Дядя мой отнюдь не дрожал. Я видел это совершенно ясно: он был абсолютно спокоен. Я восхищался дядей. Но когда кельнер назвал его бесстыдным, дядя все же встал. Собственно, он даже не встал. Встать моему одноногому дяде было бы слишком сложно и затруднительно. Он остался сидеть, но при этом как бы приподнялся. Он привстал, так сказать, не физически, а морально. И этого было совершенно достаточно. Кельнер сразу заметил, что дядя привстал, и воспринял это как нападение. Сделав два коротких, робких, неверных шажка, он отступил. Они стояли друг против друга, объятые враждой. Хотя, в сущности, дядя мой сидел. Если бы он действительно встал, кельнер, возможно, сел бы. Кроме того, мой дядя мог спокойно сидеть, потому что и в сидячем положении он был такого же роста, как кельнер, который стоял, их головы находились на одном уровне.

Так они стояли и глядели друг на друга. У обоих язык был короче, чем надо, оба страдали одним и тем же недостатком. Но у каждого из них была своя судьба, совсем непохожая на судьбу другого.

Кельнер был человек озлобленный, измученный, задерганный, беспокойный, бесцветный, запуганный, угнетенный. Типичный кельнер. Недовольный и стандартно вежливый человек из ресторана, не имеющий ни своего лица, ни запаха, тщательно вымытый и тем не менее грязноватый. Да, маленький кельнер, не совсем чистый на руку, когда дело касалось чужих сигарет, раболепный, замызганный и зализанный, выбритый до синевы и пожелтевший от злости, с отвисшими сзади штанами и набитыми оттопыренными карманами, со стоптанными каблуками и с воротничком, постоянно мокрым от пота.

А дядя? О, мой дядя! Широкоплечий, загорелый, веселый, с раскатыстым басом, богатый, самоуверенный, спокойный, шумный, сытый, живой, цветущий — вот каков был мой дядя.

Да, таков был мой дядя. И таков был тот маленький кельнер. Сходства между ними было не больше, чем между клячей и дирижаблем. Но оба они шепелявили. У обоих был один и тот же недостаток. Оба вместо «с» произносили мягкое, влажное, водянистое «ш».

Кельнер был парием, задавленным своей судьбой, тем, что он шепелявил. Упрямый и в то же время робкий, разочарованный во всем, озлобившийся и одинокий.

С годами он становился все меньше и меньше. Тысячу раз на дню за каждым столиком над ним смеялись, его дразнили, ругали, жалели, и тысячу раз на дню за каждым столиком этого летнего кафе он укорачивался еще на сантиметр, все ниже пригибался к земле, все сильнее съеживался. И так происходило ежедневно, бесконечное число раз, при каждом заказе, у каждого столика, при каждом очередном «шлущаю ваш». Он сделался пигмеем! И всему виной был его язык, его слишком короткий язык — этот бесформенный кусок мяса, амфорный, неповоротливый, бездарный красный ком. О, маленький, маленький кельнер!

А мой дядя! И у него язык был короче, чем полагается. Но разве кто-нибудь замечал это? Мой одноногий, громадный, шепелявый дядя сам хохотал громче всех, когда над ним посмеивались. Он был Аполлоном и ощущал это каждой частичкой своего тела, каждым атомом своей души. Неистовый автогонщик и страстный сердцеед, повелитель мужчин и укротитель скаковых лошадей. Мой дядя был не дурак выпить, силач, остряк, оболь-

стителю и дамский угодник; когда он говорил о женщинах и конях, то весь искрился, кипел, пенился, брызжа слюной, скрипя протезом, и сиял широкой, во все лицо улыбкой. Конечно, и у него язык был коротковат. Но разве кто-нибудь замечал это?

А теперь они стояли друг против друга. Один — смертельно ненавидящий и сам раненный насмерть. Другой — смеющийся, готовый каждую секунду взорваться от хохота. На них было устремлено триста—четырееста пар глаз, к ним было обращено столько же пар ушей. Бездельники, фланеры, лакомки, собравшиеся в этом летнем кафе, наслаждались развернувшимся перед ними зрелищем куда больше, чем пивом, сельтерской и пирожными. И в центре всего оказались мы с матерью, багровые от стыда, готовые провалиться сквозь землю от смущения. А между тем наши страдания еще только начинались.

— Шовите шуда шефа! Пуштъ он поторопитша. Вы — агрессивная букашка. Ваш надо проушить. Рашве можно так шебя вешти?

Дядя намеренно повысил голос, чтобы все триста—четырееста человек, которые прислушивались к разговору за нашим столиком, могли уловить каждое сказанное им слово. В предвкушении выпивки он ощущал приятное волнение. На его добродушном, широкоскулом, загорелом лице появилась довольная ухмылка. Светлые соленые капли пота поползли со лба на полные щеки.

Но кельнер был по-прежнему уверен в том, что дядя подло издевается над ним, оскорбляет его, провоцирует. Он не трогался с места, словно окаменел. Только впалые морщинистые щеки его слегка вздрагивали.

— У ваш што, пешок в ушах, што ли? Я же вам шкашал, шовите шуда шефа. Вы — оштряк-шамоушка! Быштро, а то я иж ваш бифштектш шделаю.

Но тут маленький шепелявый кельнер — этот пигмей — проявил такую отвагу, такую решительность, что поразил не только нас, но и самого себя. Он вплотную приблизился к столику дяди, помахал салфеткой над тарелками и, согнувшись в корректном кельнерском поклоне, произнес своим слабеньким дрожащим тенорком: «Пожалуйста». Он сказал это тихо, спокойно, деловито, поразительно вежливо. А потом смело и хладнокровно присел на свободный стул у нашего столика. Впрочем, спокойствие его было показным. В действительности возмущение, годами копившееся в его маленьком кельнерском сердце, в сердце всеми презираемого, запуганного, уродливого существа, вспыхнуло сейчас ярким пламенем. Правда, он так

и не посмел посмотреть дяде в глаза. Маленький кельнер ограничился тем, что, съевшись в комочек, присел к нашему столу. Могу поклясться, что только восьмушка его зада разместилась на стуле. (Впрочем, кто знает, возможно, у кельнера вообще была только восьмушка этой части тела. Ведь он был так скромен.) Глядя на грязно-белую скатерть, всю в пятнах от кофе, он вытащил толстый бумажник, а затем, собравшись с духом, приподнял его над столом. С легким стуком бумажник упал на скатерть. На какую-то долю секунды кельнер взглянул на дядю, чтобы убедиться, не позволил ли он себе слишком много. Удостоверившись в том, что мой дядя по-прежнему неподвижно восседает за столом, кельнер рискнул открыть свой бумажник и вынул листок толстой бумаги, пожелтевшей на сгибах. Было сразу видно, что в эту бумагу часто заглядывали. Приняв деловитый и озабоченный вид, кельнер бережно развернул ее. Он приложил усилия, чтобы на его лице не появилось выражение обиды или торжествующей правоты. Он просто положил свой короткий, скрюченный палец на бумагу и показал строчки, на которые мы должны были обратить особое внимание. Потом тихо, чуть хрипло заговорил, делая большие паузы между словами, чтобы перевести дух:

— Пошмотрите. Прошу ваш. Шоблаговолите шами удошто-веритша. Мой пашпорт. Проживал в Париже, Барселоне, Опнабрюке. Вше это ждешь укажано. А теперь шмотрите вот ждешь: ошобные приметы — шрам на левом колене от футбола. А ждешь, ждешь, што вы видите? Дефект речи ш рождения. Шмотрите! Ражве вы шами этого не видите?

Жизнь обошлась с ним так неласково, что он и сейчас не осмелился насладиться своим триумфом. У него не хватило смелости бросить на дядю вызывающий взгляд. Нет, маленький кельнер по-прежнему глядел на свой скрюченный палец и на листок бумаги, в котором черным по белому значилось, что шепелявит с рождения. Кельнер терпеливо ожидал, пока снова раздастся бас моего дяди.

Долго ему не пришлось ждать. Дядя внезапно заговорил, схватив в свои громадные, квадратные сильные ручки крохотные, дрожащие лапки кельнера. И слова, которые дядя произнес, прозвучали так неожиданно, что я чуть не поперхнулся от испуга.

В голосе дяди слышалось такое безотчетное и безграничное участие, такая сердечная, неосознанная теплота, на какие способны только добрые великаны.

— Бедное, нешаштное шождение, — сказал дядя, — жнашит,

они шмеютша и иждеваютша над тобой уже ш шамого твоего рождения?

Кельнер судорожно глотнул. Потом кивнул. Кивнул шесть, семь раз подряд. Отныне он спасен, свободен. Вознагражден. Горд. Говорить он не мог. Он даже не знал толком, что с ним произошло. Две крупные слезы, словно плотная завеса, повисшие у него на ресницах, не только мешали ему видеть, но помутили его разум и лишили дара речи. И те же слезы примирили маленького кельнера с миром. Да, он не знал толком, что с ним произошло. Но волна сочувствия, поднявшаяся в моем дяде, хлынула в его сердце, как воды океана на выжженную пустыню, тысячелетиями мечтавшую о воде. Он хотел бы до конца жизни вбирать в себя эту живительную влагу. Он охотно сидел бы так до самой смерти, схоронив свои маленькие ручки в громадных лапищах дяди. Целую вечность он готов был слушать эту фразу: «Бедное, нешаштное пождание». Но моему дяде эта сцена и так уже показалась чересчур длинной. Ведь он был автогонщиком и всегда торопился. Его голос, словно пушечный залп, заполнил собой кафе и оглушил пробежавшего мимо кельнера.

— Эй, слушайте, нешите шуда вошемь штанканов вина. Пошкорее. Пошпешите, прошу ваш! Што? Не ваш штолик? Шейшаш же нешите. Шлышите?

Чужой кельнер был явно ошеломлен и напуган. Он посмотрел на дядю, а потом перевел глаза на своего коллегу, ожидая, не подаст ли тот ему какой-либо знак — ну хотя бы подмигнет, — так что он сможет уяснить себе ситуацию. Но наш маленький кельнер навряд ли даже узнал своего собрата. Уж очень далек он был сейчас от того, что его окружало: от всех своих коллег, от ваз для пирожных и кофейных чашек.

Вскоре на столе появилось восемь полных бокалов вина. Четыре из них чужой кельнер унес сразу: не успел он и глазом моргнуть, как вино уже выпили.

— Налейте шуда еще, — приказал дядя, порывшись во внутренних карманах своей куртки и вытащив оттуда толстый бумажник.

Описав рукой в воздухе параболу, дядя положил бумажник рядом с бумажником своего нового друга. Потом, расправив измятый кусочек картона, он ткнул в него средним пальцем, не уступавшим размером детской ручонке.

— Шмотри, глупый пёшик, што ждешь напишано, — ампутация ноги и ранение в нижнюю шашть подбородка... — Произнеся эти слова, он указал рукой на шрам под самым подбород-

ком.— Эти шерти прошто-напрошто отштрелили мне коншик языка. Тогда во Франшии.

Кельнер кивнул головой.

— Ты еще шердиша?

Кельнер начал быстро качать головой из стороны в сторону, будто хотел отместить это предположение, как нечто совершенно немыслимое.

— Я прошто думал, што вы надо мной шмеетесь.

И, потрясенный тем, что он мог допустить такую грубую ошибку в оценке человека, маленький кельнер продолжал яростно крутить головой.

Этим жестом он словно бы отгонял от себя свою мрачную судьбину. А две слезы, исчезнувшие в складках его лица, казалось, унесли с собой все его прежние муки. Новая жизнь, в которую вступил маленький кельнер, опираясь на гигантскую лапищу дяди, началась с того, что он издал тихий смешок. Спотыкающийся смех кельнера был робок и застенчив, хотя в нем явно ощущались винные пары.

А мой дядя! Моего дядю, одноногого, шепелявого, смешливо-го во всех случаях жизни, обуяла несказанная радость, когда он наконец услышал этот смех. Теперь и он мог похохотать всласть.

Я глядел на его лицо, ставшее совсем бронзовым от натуги, и боялся, что он вот-вот лопнет со смеху. Да, дядя мог дать себе волю. Все кафе наполнили раскаты его необузданного смеха, целые каскады хохота, ликующие, громовые, захлебывающиеся, оглушительно звонкие, как гонг. Казалось, эти дикие звуки вылетали из глотки какого-то гигантского допотопного животного. Совсем иначе звучал смешок маленького кельнера — первый, робкий человеческий смешок, на который он наконец-то решился, начав новую жизнь. Можно было подумать, что мы слышим не смех, а жидкий кашель новорожденного козленка. В испуге я схватил мать за руку. Это вовсе не значило, что я боялся дяди. Но бессознательный, животный инстинкт подсказывал мне, что я должен страшиться тех шести бокалов вина, какие бушевали сейчас в нем. Руки моей матери были холодны как лед. Вся кровь бросилась ей в голову. Багровое лицо матери пылало, как факел, словно олицетворяя собой всю буржуазную добропорядочность и стыдливость, попранные дядей. Щеки матери были краснее самого красного помидора. Алый мак показался бы рядом с ней блеклым. От страха я все ниже и ниже сползал со стула. Шутка ли сказать: семьсот огромных круглых от любопытства глаз были устремлены на нас!

А в это время маленький кельнер, овеваемый горячим, насыщенным винными парами дыханием дяди, начинал свою новую жизнь. Казалось, первые минуты этой новой жизни он решил посвятить хихиканью или, вернее, бляению.

Он блял, мекал, бекал и гоготал, словно целая овечья отара. А после того, как мужчины влили в свои шепелявые глотки еще по два бокала вина, розовые, шелковистые, робкие, похожие на прежнего кельнера овечки превратились в скрипучих, тягучих, седобородых, тощих, идиотски бляющих козлов.

Даже дядю поразила перемена, происшедшая в маленьком кельнере. Только что перед ним был крохотный, озлобленный, глухой и безучастный ко всему сморчок. А теперь этот сморчок стал чем-то вроде козлиного бога Пана, который безостановочно блял, гнусавил, хрипел, гоготал и хлопал себя по ляжкам. Смех медленно сползал с лица дяди, как снежная лавина с горы. Обтерев руками свое большое, загорелое, мокрое от слез лицо, он усталился на корчившегося от смеха карлика, одетого в белую форменную куртку кельнера. Заблестевшие от вина глаза дяди удивленно взирали на это зрелище. И все это время на нас не отрываясь глядели сотни людей. Триста — четыреста человек смотрели на нас. Смотрели и не верили своим глазам. Триста — четыреста человек зубоскалили на наш счет, надрывая себе животы от хохота. Те, кто сидел далеко, привстали, чтобы лучше видеть все происходящее.

Казалось, кельнер принял твердое решение навсегда остаться таким вот громадным, злобно бляющим козлом. Несколько минут он хохотал, словно заведенный, так что чуть не захлебнулся от смеха. Потом придумал еще новую штуку. В промежутках между длинными сухими очередями смеха он быстро и пронзительно выкрикивал что-то. Да, у маленького кельнера еще хватало сил переводить дыхание после каждого приступа смеха и выдавливать из себя странные возгласы, похожие на ржание.

— Шижиф! — кричал он, хлопая себя ладонью по мокрому лбу. — Ши-и-и-жи-ф! — ржал он, упершись обеими руками в стол.

После того как он раз двадцать проревел это непонятное слово «Шижиф», у дяди наконец лопнуло терпенье. Одной рукой он схватил кельнера за грудь, мгновенно смяв его крахмальную манишку, другой так ударил по столу, что все двенадцать пустых бокалов заплескали на скатерти. При этом дядя вскричал громовым голосом:

— Ушпокойша! Шейшаш же ушпокойша! Што жнашит «Шижиф»? Што жнашит это твое идиотское шлово?

При первых же раскатах громоподобного баса дяди, при первом же замахе его руки кельнер вновь преобразился. Гого-чущий и блеющий старый козел опять стал жалким, шепелявым, маленьким кельнером.

Он встал, Теперь у него был такой вид, будто он совершил величайшую в жизни ошибку. Кельнер стер салфеткой с лица все, что было на нем неподобающего и дерзкого. Он вытер слезы, выступившие у него на глазах от смеха, капли пота и следы возбуждения, вызванные вином.

Но он был очень пьян. Настолько пьян, что все происшедшее казалось ему сном. Быть может, он вовсе и не кричал «Шижиф»? Быть может, ему только приснился гнев дяди, его сострадание и дружба? Неужели это он на глазах у всей публики опрокинул в себя целых шесть бокалов вина? Неужели? Кельнер никак не мог понять: во сне все это случилось с ним или наяву. На всякий случай он резко мотнул головой, что должно было означать легкий поклон, и прошептал:

— Простите.

Затем еще раз поклонился и сказал:

— Простите, што я кришал «Шижиф». Простите, ежели я ваш потревожил. Вы сами жнаете, што, когда выпьешь, вшегда полушаютна недоражумения. Ошобенно на голодный желүдок. «Шижифом» меня дражнили еще в школе. Вещь клаш меня так наживал. Вы же жнаете, кто такой был Шижиф? Боги пошлали его в преишподнюю и жаштавили этого нешаштного вкатывать камень на вышпокую шкалу. Так продолжалош шелую вешношь. Конечно, вы помните эту старую ишторию. В школе меня вшегда жаштавляли рашкажывать про Шижифа. И вше тогда шходили ш ума от шмеха. Потому што я шепелявил. А потом меня опять дражнили «Шижифом». Вшу жижнь. Дражнили и шмеялиш надо мной. А шегодня, когда я вышил, я вше это вшпомнил. И тогда я штал кришать. Простите. Простите меня, пожалушта. Я не хотел ваш опкорбить.

Кельнер замолк. Потом, беспрестанно перекладывая салфетку из одной руки в другую, он посмотрел на дядю.

Но теперь не кто иной, как мой дядя, тихо сидел на своем месте, не подымая глаз от скатерти. Он так и не осмелился взглянуть на кельнера. Да, мой громадный, медведеобразный, слоноподобный дядя не посмел ответить взглядом на взгляд маленького робкого кельнера. На глазах у дяди навернулись слезы. Правда, никто, кроме меня, этого не заметил. Да и я увидел слезы только потому, что был мал ростом. Так мал, что смотрел на него снизу вверх.



Не подымая головы, дядя пододвинул молча ожидавшему кельнеру несколько крупных бумажек. А когда кельнер попытался вернуть деньги, дядя нетерпеливо махнул рукой и встал.

На прощанье кельнер успел смущенно пробормотать:

— Разрешите мне шамому жаплатить жа вино. Прошу ваш, ражрешите.

И, не дожидаясь ответа, сунул деньги в карман с таким видом, словно не сомневался в согласии дяди. Однако никто не услышал заключительной реплики кельнера, никто не узнал о его широком жесте. Слова, которые он проронил напоследок, затерялись где-то среди жесткого гравия дорожки. Там их бесследно затоптали каблуки бесчисленных посетителей летнего кафе.

Мы встали. Дядя взял палку и оперся на руку моей матери. Потом мы медленно направились к выходу. Никто из нас троих не смотрел на кельнера. Мать и я — потому что нам было стыдно. А дядя — потому что в глазах у него стояли слезы. Впрочем, может быть, дядя тоже стыдился? Кто знает? Так, в наступившей тишине мы медленно шли к выходу. Тишина прерывалась лишь отвратительным поскрипыванием дядиной палки, скользившей по гравию. Триста—четырееста людей, сидевших за столиками, молча, тупо и напряженно провожали нас взглядами.

И тут мне вдруг стало жалко маленького кельнера. В тот момент, когда мы уже намеревались завернуть за угол, я быстро оглянулся, чтобы еще раз увидеть его. Кельнер по-прежнему стоял около нашего столика. Его белая салфетка свисала почти до земли. Мне почудилось, что он стал еще намного ниже. Он был совсем маленький. И глядел нам вслед. Теперь он казался мне особенно покинутым и несчастным, маленьким, серым, съезжившимся, потухшим, безнадежно, безгранично одиноким. В моем сердце проснулись любовь и острая жалость. Дотронувшись до руки дяди, я тихо и взволнованно произнес:

— Мне кажется, он плачет.

Дядя остановился и посмотрел на меня. Теперь я совершенно ясно различал слезы у него на глазах. И уж не знаю сам почему, снова повторил:

— Он плачет. Гляди, он плачет!

Тогда дядя выдернул руку из руки моей матери и заковылял обратно. Пройдя два шага и тяжело дыша от напряжения, он поднял свой костыль так высоко, словно намеревался проткнуть небо над нашими головами. Потрясая костылем, как мечом, он

заорал во всю мощь своих великолепных легких и могучей глотки:

— Шижиф! Шижиф! Шлыпишь? До швидания, штарик. До шледующего вошкрешенья, глушый пёш. До швидания!

Две крупные слезы поползли вниз и тут же затерялись в морщинах, покрывавших доброе загорелое лицо дяди. Когда он смеялся, у него на лице появлялись бесчисленные морщины. А теперь он снова смеялся и опять потрясал своим костылем высоко над нашими головами, будто собирался зацепить солнце и сбросить его с небес. Громоподобный смех дяди снова разнесся над столиками летнего кафе:

— Шижиф! Шижиф!

При звуках дядиного голоса маленький, несчастный, невзрачный кельнер, совсем недавно ввергнутый в мрачную бездну отчаяния, опять воскрес. С невероятной быстротой замаяхал он салфеткой, отгоняя от себя все, что мучило его долгие годы: бесчисленные летние кафе, толпы кельнеров и все дефекты речи, которыми когда-либо страдали люди на земле. Он отогнал от себя всю эту серую нечисть окончательно и бесповоротно. А потом, встав на цыпочки, по-прежнему размахивал салфеткой и, обращаясь к дяде, маленький кельнер закричал пронзительно и радостно:

— Я шлышу. Шпашибо. Приходите в вошкрешенье. До швиданья!

После этого мы завернули за угол. Дядя опять оперся на руку матери и тихо сказал:

— Я жнаю, это было штрашное жрелище для ваш. Но што можно жделать? Пошуди шама. Ведь этот глупый паяш вшу швою жижнь бегаёт ш таким мержким недоштатком. Бедная шкотина.

## РАССКАЗЫ ИЗ ХРЕСТОМАТИИ

У всех уже есть швейная машинка, радио, холодильник и телефон.

— Чем мы займемся теперь? — спросил владелец завода.

— Бомбами, — сказал изобретатель.

— Войной, — сказал генерал.

— Что ж, — сказал владелец завода, — если иначе никак нельзя...

Человек в белом халате записывал на бумаге цифры. Рядом с ними он выводил маленькие изящные буковки.

Затем он снял белый халат и целый час возился с цветами на подоконнике. Заметив, что один цветок завял, человек ужасно расстроился и заплакал.

А на бумаге стояли цифры. Они показывали, что достаточно полграмма, чтобы за два часа уничтожить тысячу человек.

Солнце светило на цветы.

И на бумагу.

---

Два человека беседовали.

— Сколько это будет стоить?

— С изразцами?

— Разумеется. С зелеными изразцами.

— Сорок тысяч.

— Сорок тысяч? Идет. Да-с, милый мой, если бы я вовремя не переключился с шоколада на порох, я бы не смог заплатить вам эти сорок тысяч.

— А я вам — оборудовать душевую.

— С зелеными изразцами.

— С зелеными изразцами.

Два человека расстались.

Один был владельцем завода, другой — строителем-подрядчиком.

Была война.

---

Кегельбан. Два человека беседовали.

— В чем дело, штудиенрат<sup>1</sup>, почему вы в черном костюме? Траур?

— Отнюдь. Отнюдь. Присутствовал на торжестве. Мальчики отправляются на фронт. Произнес маленькую речь. Напомнил о Спарте. Цитировал Клаузевица. Говорил о понятиях: честь, родина. Помянул Лангемарк. Мальчики прочли стихи Гёльдерлина. Волнующее торжество. Весьма волнующее. Мальчики спели: «Господь, что сотворил металл». Блестящие глаза. Трогательно. Весьма трогательно.

---

<sup>1</sup> Чин школьного учителя.

— Боже мой, студент, перестаньте! Это же отвратительно.

Студент, ошеломленный, уставился на окружающих. Рассказывая, он исчертил бумагу маленькими крестами. Сплошь крестами. Он встал и расхохотался. Взял новый шар и пустил его по кегельбану. Раздался глухой грохот. Кегли в дальнем конце кегельбана упали. Они походили на маленьких человечков.

---

Два человека беседовали.

— Ну, как дела?

— Неважно.

— Сколько у вас еще осталось?

— В лучшем случае четыре тысячи.

— Сколько вы сможете выделить мне?

— Не более восьмисот.

— Они все пойдут в расход.

— Ладно, тысячу.

— Спасибо.

Два человека расстались.

Они говорили о людях.

Это были генералы.

Была война.

---

Два человека беседовали.

— Доброволец?

— Ясно!

— Сколько лет?

— Восемнадцать. А тебе?

— Мне тоже.

Два человека расстались.

Это были два солдата.

Вдруг один из них упал. Он был мертв.

Была война.

---

Когда война кончилась, солдат вернулся домой. Но у него не было хлеба. Он увидел человека, у которого был хлеб, и убил его.

— Ты же не имеешь права убивать, — сказал судья.

— А почему? — спросил солдат.

---

Когда мирная конференция закончилась, министры пошли пройти по городу. На одной улице они увидели тир.

— Может, постреляете, господа хорошие? — стали их звать девушки с накрашенными губами.

Министры взяли ружья и принялись стрелять в маленьких картонных человечков.

В самый разгар стрельбы подошла старая женщина и отобрала у них ружья. Когда один из министров захотел отнять у нее ружье, она дала ему пощечину.

Это была мать.

---

Жили на свете два человека.

Когда им было по два года, они колотили друг друга кулаками.

Когда им минуло двенадцать лет, они принялись лупить друг друга палками и швыряться камнями.

Когда им минуло двадцать два, они начали палить друг в друга из ружей.

Когда им минуло сорок два, они стали бросать друг в друга бомбы.

Когда им минуло шестьдесят два, они пустили в ход бактерии.

Когда им минуло восемьдесят два года, они умерли, и их похоронили рядом.

Когда через сто лет дождевой червь прорыл себе ход через обе могилы, он даже не заметил, что здесь было похоронено два разных человека. Земля была одна и та же. Всюду одна и та же.

---

Когда в 5000-м году из-под земли выглянул крот, он с удовлетворением отметил:

Деревья все еще деревья.

Вороны все еще каркают,

а собаки все еще задирают заднюю ногу.

Змеи и звезды,

мох и море

и мошки —

все такие же, как и раньше.

А иногда —

иногда можно встретить и человека.

## БЛЕДНОЛИЦЫЙ БРАТ МОЙ

Никогда еще не бывало такой белизны, как белизна этого снега. Он казался почти голубым. Зеленовато-голубым. До того он был бел. Перед таким снегом солнце едва дерзало быть желтым. Никогда еще воскресное утро не было таким ясным и чистым, как это. Лишь вдалеке синела темная полоса леса. Но снег был свеж и чист, как глаз животного. Никогда еще снег не был таким ослепительно белым, как в это воскресное утро. Никогда еще воскресное утро не было таким ясным. Мир, заснеженный праздничный мир, улыбался.

Но в одном месте все-таки было пятно. Ничком, скрючившись, лежал на снегу человек в военной форме. Просто куча тряпья. Отвратительная куча из рваных клочьев ткани и кожи, мяса и костей. С подтеками засохшей, почерневшей крови. С совсем мертвыми волосами, напоминающими парик. Скрюченный, с последним вскриком, лаем, а может быть, мольбой на губах, уткнувшийся в снег, — солдат. Пятно на невиданной снежной белизне самого ясного из всех воскресных утр. Впечатляющая, богатая контрастами батальная картина. Заманчивый вызов акварелисту: кровь, снег и солнце. Холодный, холодный снег, а на нем теплая, дымящаяся кровь. И надо всем этим солнышко. Наше милое солнышко. Во всем мире дети говорят: «Наше милое, милое солнышко!» А оно освещает мертвеца, испускающего неслыханный вопль всех мертвых марионеток: немой вопль, страшный своей немой! Кто из нас — встань, бледнолицый брат! — кто из нас может вынести немые вопли марионеток, когда они, сорвавшись с проволоки, с нелепо вывихнутыми членами валяются на сцене? Кто, кто из нас в силах вынести немые вопли мертвецов? Только снег в силах это выдержать, ледяной снег. И солнце. Наше милое солнышко.

Над сорвавшейся с проволоки марионеткой стояла другая, которая была еще невредима. Еще действовала. Над мертвым солдатом стоял живой солдат. И в это ясное воскресное утро, на невиданно белом снегу, тот, что стоял, обратился к тому, который лежал, со страшной немой речью:

— Да... Да, да... Да, да, да... Вот и конец твоему веселому настроению, дружище. Конец твоим вечным шуточкам. Теперь ты молчишь, а? Теперь ты уже не смеешься, а? Если бы твои бабы знали, какой у тебя сейчас жалкий вид, милый мой! До чего же ты жалок без твоего веселого настроения! Да еще в

этой идиотской позе. Почему же ты так боязливо поджал ноги к животу? Ах, вот оно что! Всадили пулю в самое брюхо. Обмарался кровью. Ну и пакостный же вид у тебя, приятель! Весь мундир измарал, будто чернилами закапал. Хорошо, что твои бабы этого не видят. Ты же всегда так форсил в своем мундире. Все сидело на тебе как влитое. Когда тебя произвели в капралы, ты стал носить только лаковые штиблеты. Часами наводил на них блеск, когда собирался вечером в город. А вот теперь ты уже больше не пойдешь в город! У твоих баб теперь будут другие. Теперь ты вообще никуда не пойдешь, понял? Никогда, мой милый. Никогда, никогда. И смеяться ты тоже больше не будешь, милый мой, теперь конец твоим шуточкам. Вот ты лежишь и прикидываешься идиотом. А ты и в самом деле кретин. Да, да, ты неисправим. Плохи твои дела, дружище, очень плохи. Но это хорошо, это даже очень хорошо. Теперь ты не скажешь мне: «Бледнолицый брат мой, Отвислое веко». Не скажешь, нет! Никогда больше не скажешь. Слышишь, ты? Никогда! А другие никогда больше не будут хлопать тебе за это. Никогда уж другие не будут гоготать, как бывало, когда ты называл меня: «Бледнолицый брат мой, Отвислое веко». Это чего-нибудь да стоит, знаешь? Это многого стоит, должен тебе сказать. Меня ведь мучили и дразнили так еще в школе. Словно вши, не давали мне покоя. И все потому, что один мой глаз имеет маленький изъяз и веко полузакрыто. И потому, что лицо у меня такое бледное. Точно творог. «У нашей бледной немочи опять такой усталый вид», — говорили они. А девочки спрашивали, не заснул ли я, ведь один мой глаз уже почти закрыт. Они называли меня сонной тетерей, слышишь, сонной тетерей! Хотел бы я знать, кто из нас теперь спит. Ты или я, а? Ты или я? Кто теперь «бледнолицый брат мой, Отвислое веко»? А? Ну, кто же, мой милый, ты или я? Скажешь, я?

Когда он закрыл за собой дверь блиндажа, к нему навстречу потянулось двенадцать посеревших лиц. Одно из них принадлежало фельдфебелю.

— Нашли вы его, господин лейтенант? — спросило серое лицо и при этом стало еще более серым.

— Да. Там, под елями... Ранение в живот.

— Сходить за ним?

— Да. Там, под елями... Да, конечно... Надо пойти за ним. Там, под елями.

Серые лица исчезли. Лейтенант сел возле железной печки и стал обирать на себе вшей. Совсем, как вчера. Вчера он тоже искал вшей, когда приказ явиться кому-нибудь в баталь-

он. Лучше всего, если придет лейтенант, то есть он сам. Надевая рубашку, он прислушался. Стреляли. Так еще никогда не стреляли. А когда связной, выходя, распахнул дверь, лейтенант увидел ночь. Никогда еще ночь не была такой черной, подумал он. А унтер-офицер Геллер, тот распевал песни и без конца рассказывал о своих бабах. А затем этот шутник Геллер сказал:

— Я бы на вашем месте не пошел в батальон, господин лейтенант. Я попросил бы сначала двойной паек. Ведь на ваших ребрах можно играть, как на ксилофоне. Просто сердце сжимается, глядя на вас.

Так сказал Геллер. А все остальные, верно, скалили в темноте зубы. Но кому-то надо было идти в батальон. И лейтенант сказал:

— Что ж, Геллер, тогда идите вы, охладите свой пыл.

И Геллер ответил:

— Есть!

Это было все. Больше ничего не полагалось говорить. Просто: есть! И Геллер вышел. А потом Геллер не вернулся.

Лейтенант стянул рубашку через голову. По звукам, доносившимся снаружи, он понял, что солдаты возвратились. Те, что ходили за Геллером.

— Никогда больше он не скажет мне: «Бледнолицый брат мой, Отвислое веко», — прошептал лейтенант. — Никогда больше он мне этого не скажет.

Под ноготь ему попалась вошь. Щелкнуло. Вошь была мертва. На лоб ему брызнула капелька крови.

## ВЕДЬ НОЧЬЮ КРЫСЫ СПЯТ

Зияющий провал окна в уцелевшей стене горел синевато-багровым светом раннего заката. Между зубцами разрушенных труб мерцало облако пыли. Усеянная руинами пустыня дремала.

Он лежал с закрытыми глазами. Внезапно темнота ступила; кто-то подошел и встал возле него, темный, безмолвный.

«Попался!» — подумал он.

Однако, чуть приоткрыв глаза, он увидел лишь две ноги в поношенных штанах. Ноги были кривые, так что можно было смотреть в просвет между ними. Сощурился, он рискнул поднять



глаза выше и увидел пожилого человека с корзиной и ножом в руке. Кончики его пальцев были запачканы землей.

— Ты что, спишь тут, что ли? — спросил человек, глядя вниз на копну спутанных волос.

Жмурясь, Юрген в просвет между ногами человека посмотрел на солнце:

— Я не сплю. Я стерегу.

Человек кивнул:

— Так, так. Для этого, значит, тебе и понадобилась большая палка?

— Ага, — храбро ответил Юрген и крепко сжал палку.

— Что же ты стережешь?

— Не скажу. — Юрген еще крепче стиснул палку.

— Верно, деньги, а? — Человек поставил корзину наземь и принялся вытирать нож, вода им взад и вперед по штанине.

— И вовсе не деньги, — презрительно ответил Юрген. — Совсем другое.

— Так что же?

— Не скажу. А только другое.

— Нет так нет. Тогда и я тебе не скажу, что у меня тут в корзине. — Человек толкнул корзину ногой и защелкнул свой складной нож.

— Подумаешь! Что там может быть в твоей корзине, — пренебрежительно бросил Юрген. — Небось корм для кроликов.

— А ведь верно, черт побери! — с удивлением сказал человек. — Ты смышленный паренек. Сколько же тебе лет?

— Девять.

— Вот как! Девять, значит. Тогда ты должен знать, сколько будет трижды девять, а?

— Ясно, — ответил Юрген и, чтобы выиграть время, добавил: — Это же совсем легко. — Он снова посмотрел в просвет между ногами. — Трижды девять, да? — переспросил он. — Это будет двадцать семь. Я сразу сосчитал.

— Правильно, — сказал человек. — Вот ровно столько у меня кроликов.

От изумления Юрген раскрыл рот.

— Двадцать семь!

— Хочешь посмотреть? Там есть совсем маленькие. А?

— Мне нельзя. Мне надо стеречь, — неуверенно ответил Юрген.

— Все время? — спросил человек. — И ночью тоже?

— И ночью тоже. Все время. Все, все время.— Юрген перевел взгляд с кривых ног на лицо человека.— С самой субботы,— прошептал он.

— Что же, ты совсем не уходишь домой? Тебе ведь надо есть.

Юрген приподнял лежавший рядом камень. Под ним было спрятано полбуханки хлеба. И жестяная коробка.

— Ты куришь? — спросил человек.— Что же, у тебя и трубка есть?

Юрген крепко стиснул палку.

— Я курю самокрутку. Трубка мне не нравится,— неуверенно отозвался он.

— Жаль.— Человек нагнулся к корзине.— А ты бы спокойно мог взглянуть разок на кроликов. Главное, на крольчат. Мог бы выбрать одного для себя. Ну, да ведь тебе нельзя отойти отсюда.

— Нельзя,— печально подтвердил Юрген.— Никак.

Человек поднял корзину и выпрямился.

— Ну, раз тебе никак нельзя отойти, ничего не поделаешь. А жаль.— И он собрался идти.

— Только не выдавай меня,— быстро проговорил Юрген.— Это все из-за крыс.

Кривые ноги сделали шаг назад.

— Из-за крыс?

— Ну да. Ведь они жрут мертвых. Людей. Они же этим кормятся.

— Кто это тебе сказал?

— Наш учитель.

— Значит, ты стережешь крыс? — спросил человек.

— Да нет же, не их! — И добавил совсем тихо: — Моего брата. Он лежит там внизу. Вон там.— Юрген показал палкой на обвалившиеся стены.— В наш дом попала бомба. В подвале вдруг погас свет. И братишка пропал. Мы еще долго звали его. Он был намного младше меня. Ему было только четыре года. Он, наверно, еще здесь. Он же совсем маленький.

Человек поглядел сверху на копну спутанных волос. Затем внезапно сказал:

— А разве учитель вам не говорил, что крысы ночью спят?

— Нет,— прошептал Юрген, и на лице его вдруг появилась ужасная усталость.— Не говорил.

— Ну и учитель! — сказал человек.— Даже этого не знает. Ведь ночью-то крысы спят. Ночью ты можешь спокойно уйти домой. Ночью они всегда спят. Как только стемнеет, так и засыпают.

Концом палки Юрген делал в мусоре маленькие ямки. «Это постельки,— подумал он.— Все маленькие постельки».

— Знаешь что? — вдруг сказал человек, и его кривые ноги беспокойно задвигались.— Знаешь что! Я сейчас пойду и накормлю кроликов, а когда стемнеет, приду за тобой. Может, я смогу принести одного сюда. Маленького, а?

Юрген продолжал делать ямки в мусоре: «Вот сколько маленьких кроликов. Белых, серых, серых с белым...»

— Не знаю,— прошептал он, глядя на кривые ноги.— Если они и вправду ночью спят...

Человек перешагнул через обломки стены.

— А то как же! — сказал он, уже стоя на дороге.— Ваш учитель может закрыть лавочку, раз он даже этого не знает.

Юрген встал.

— А ты мне дашь одного? Может быть, беленького, а?

— Посмотрим,— крикнул человек уже на ходу.— Только ты подожди меня здесь. Сначала сходим к тебе домой. Надо ведь объяснить твоему отцу, как строить крольчатник. Вам это теперь нужно будет знать.

— Ладно,— крикнул Юрген,— я подожду. Мне же все равно надо сторожить, пока не стемнеет. Обязательно подожду.— И он крикнул: — А у нас дома еще есть доски! От ящиков! — крикнул он.

Но этого человек уже не слышал. Он бежал на своих кривых ногах навстречу солнцу, которое в вечернем сумраке казалось совсем красным. Юрген видел, как оно просвечивало между ногами человека,— такие они были кривые. А корзина беспокойно качалась из стороны в сторону. В ней лежал корм для кроликов. Зеленый корм для кроликов, который от мусора и пыли стал сероватым.

## ХЛЕБ

Проснулась она внезапно. Было около половины третьего ночи. Она никак не могла сообразить, что ее разбудило. Ах, вот оно что! В кухне кто-то наткнулся на стул. Она прислушалась. Тихо. Даже слишком тихо. Когда она протянула руку к соседней кровати, то оказалось, что кровать пуста. Вот почему в комнате так необычно тихо: не слышно его дыхания. Она поднялась и, пробираясь ощупью в темноте, побрела в кухню.

В кухне они встретились. Часы показывали половину третьего. У кухонного шкафа виднелось что-то белое. Она зажгла свет. Теперь они стояли друг против друга в ночных рубашках. Глубокой ночью. В половине третьего. В кухне.

На кухонном столе она увидела хлебницу. Сразу поняла, что он отрезал хлеба. Нож еще лежал рядом с хлебницей. И на скатерти были крошки. Перед тем как лечь спать, она всегда вытряхивала скатерть. Она делала это каждый вечер. Но сейчас на столе валялись крошки. И нож лежал там же. Плитки пола были холодные. И ей показалось, что холод медленно забирается по ней все выше и выше. Она отвела взгляд.

— Мне почудилось, тут кто-то есть, — сказал он, озираясь по сторонам.

— Мне тоже что-то послышалось, — ответила она. И при этом подумала, что ночью, в одной рубашке, он кажется совсем старым. Сейчас ему не дашь меньше его лет. А ему шестьдесят три. Днем он иногда выглядит моложе... И он тоже думал о том, что, стоя вот так, в одной рубашке, она кажется уже старой. Да, она постарела. Хотя, возможно, все дело в волосах. Женщины по ночам всегда непричесаны. Из-за этого они вдруг становятся такими ужасно старыми.

— Ты бы хоть надела туфли. Разве можно ходить босиком по холодному кафельному полу. Не хватало еще, чтобы ты простудилась...

Она не смотрела на него, потому что не могла вынести его лжи. Того, что он лгал ей, хотя они были женаты уже тридцать девять лет.

— Мне показалось, тут кто-то есть, — повторил он снова и опять начал бесцельно оглядываться по сторонам. — Мне что-то послышалось, и тогда я подумал — здесь кто-то есть.

— И мне послышалось. Но это только так. — Она убрала со стола хлебницу и смахнула со скатерти крошки.

— Да, это только так, — повторил он неуверенно.

Она решила прийти ему на помощь.

— Пошли, — сказала она, — это, наверно, шум на улице. Идем спать. А не то ты еще простудишься. Пол ужасно холодный.

Он посмотрел в окно.

— Да, видимо, кто-то шумел на улице. А мне показалось, что здесь.

Она протянула руку к выключателю. И при этом подумала: «Я должна сейчас же потушить свет, иначе я не удержусь и погляжу на хлебницу. А на хлебницу мне смотреть нельзя».

— Пошли,— сказала она, потушив свет.— Шум был на улице. Когда подует ветер, водосточный желоб на крыше ударяется о стену. Это наверняка водосточный желоб. На ветру он всегда стучит.

Они ощупью побрели по темному коридору в спальню, шлепая босыми ногами по полу.

— Да, сейчас ветрено,— промолвил он.— Всю ночь дул ветер.

После того как они уже улеглись в постель, она сказала: — Ветер дул всю ночь. Стучал водосточный желоб.

— Да, а я думал, что шумели в кухне. Оказывается, то был водосточный желоб.— Он произнес эти слова так, словно уже засыпал.

Но она заметила, как неестественно звучал его голос. Потому что он лгал.

— Холодно,— сказала она, тихонько зевнув.— Я залезаю под одеяло. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— ответил он и прибавил: — Да, стало уже очень холодно.

Потом наступила тишина. Прошло довольно много времени, и она услышала, что он тихо и осторожно жует. Она старалась дышать глубоко и ровно. Пусть думает, будто она уже спит. А он жевал так размеренно, что она, прислушиваясь, и в самом деле заснула.

Когда на следующий вечер он вернулся домой, она пододвинула к нему четыре ломтя хлеба. Прежде ему полагалось только три.

— Можешь съесть все четыре,— сказала она, отходя от лампы.— Я все равно плохо переношу этот хлеб. Съешь лучше ты лишний кусок. Я этот хлеб не особенно хорошо переношу.

Она заметила, что он низко склонился над своей тарелкой. На нее он не смотрел. В это мгновение ей стало его жаль.

— Так не годится, ведь тебе останется всего два ломтика,— сказал он, не подымая глаз от тарелки.

— Ну и что же? На ночь мне вредно есть такой хлеб.

Прошло некоторое время, прежде чем она снова уселась к столу, ближе к лампе.

# Генрих Бёро



ПУТНИК, КОГДА ТЫ ПРИДЕШЬ В СПА...



Машина остановилась, но мотор еще несколько минут урчал; где-то распахнулись ворота. Сквозь разбитое окошко в машину проник свет, и я увидел, что лампочка разбита вдребезги; только виток ее торчал в патроне — несколько поблескивающих проволочек с остатками стекла. Мотор затих, кто-то крикнул

— Мертвых сюда, есть тут у вас мертвецы?

— Ч-черт! Вы что, уже не затемняйтесь? — откликнулся водитель.

— Какого дьявола затемняться, когда весь город горит, точно факел, — крикнул тот же голос. — Есть мертвецы, я спрашиваю?

— Не знаю.

— Мертвецов сюда, слышишь? Остальных наверх по лестнице в рисовальный зал, понял?

— Да, да.

Но я еще не был мертвецом, я принадлежал к остальным, и меня понесли в рисовальный зал, «наверх по лестнице». Сначала несли по длинному, слабо освещенному коридору с зелеными, выкрашенными масляной краской стенами и с гнутыми, наглухо вделанными в них черными старомодными вешалками; на дверях белели маленькие эмалевые таблички: «VIa» и «VIb»; между дверьми, в черной раме, мягко поблескивая под стеклом и глядя вдаль, висела «Медя» Фейербаха. Потом пошли двери с табличками «Va» и «Vb», а между ними — снимок со скульптуры «Мальчик, вынимающий занозу» — превосходная, освещающая красным фотография в коричневой раме.

Вот и колонна перед выходом на лестничную площадку, за ней чудесно выполненный макет — длинный и узкий, подлинно античный фриз Парфенона из желтоватого гипса, и все остальное, давно примелькавшееся, вооруженный до зубов греческий воин, воинственный и страшный, похожий на взъерошенного петуха. На самой лестничной площадке, на стене, выкрашенной в желтый цвет, красовались все — от великого курфюрста до Гитлера.

А там, в маленьком узком коридорчике, где мне в течение нескольких секунд удалось лежать не скатываясь на моих носилках, висел необыкновенно большой, необыкновенно яркий портрет старого Фридриха: в небесно-голубом мундире, с синеватыми глазами и большой блестящей золотой звездой на груди.

И снова я лежал, скатившись на сторону, и теперь меня несли мимо породистых арийских физиономий: нордического капитана с орлиным взором и глупым ртом, уроженки Западного Мозеля, пожалуй, чересчур худой и костлявой, остзейского зубоскала с носом луковкой, длинным профилем и выступающим кадыком горца из кинокартины; а потом свернули еще в один коридор, и опять в течение нескольких секунд я лежал не скатываясь на носилках, и еще до того, как санитары начали подниматься на следующий этаж, я успел его увидеть —

украшенный каменным лавровым венком памятник воину с большим позолоченным Железным крестом наверху.

Все это быстро мелькало одно за другим — я не тяжелый, а санитары торопились. Конечно, все могло мне только почудиться; у меня сильный жар и решительно все болит: голова, ноги, руки, а сердце колотится как сумасшедшее, — что только не привидится в таком жару!

Но после породистых физиономий промелькнуло и все остальное: все три бюста — Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, — рядышком, изумительные копии; совсем желтые, античные и важные стояли они у стен; когда же мы свернули за угол, я увидел и колонну Гермеса, а в самом конце коридора — этот коридор был выкрашен в темно-розовый цвет, — в самом, самом конце над входом в рисовальный зал висела большая маска Зевса; но до нее было еще далеко. Справа в окне алело зарево пожара, все небо было красное, и по нему торжественно плыли плотные черные тучи дыма...

И опять я невольно перевел взгляд влево и увидел над дверьми табличку «Ха» и «Хб», а между этими коричневыми, словно пропахшими затхлостью дверьми виднелись в золотой раме усы и острый нос Ницше — вторая половина портрета была заклеена бумажкой с надписью «Легкая хирургия»...

«Если сейчас будет...» — мелькнуло у меня в голове. — «Если сейчас будет...» Но вот и она, я вижу ее, картина, изображающая Того, африканскую колонию Германии, — пестрая и большая, плоская, как старинная гравюра, великолепная олеография. На переднем плане, перед колониальными домиками, перед неграми и немецким солдатом, неизвестно для чего торчащим тут со своей винтовкой, на самом-самом переднем плане желтела большая, в натуральную величину, связка бананов; слева гроздь, справа гроздь, и на одном банане в самой середине этой правой грозди что-то нацарапано, я это видел: я сам, кажется, и нацарапал...

Но вот рывком открылась дверь в рисовальный зал, и я проплыл под маской Зевса и закрыл глаза. Я ничего не хотел видеть больше. В зале пахло йодом, испражнениями, марлей и табаком и было шумно. Носилки поставили на пол, и я сказал санитарам:

— Суньте мне сигарету в рот. В верхнем левом кармане.

Я почувствовал, как чужие руки пошарили у меня в кармане, потом чиркнула спичка, и во рту у меня оказалась зажженная сигарета. Я затынулся.

— Спасибо, — сказал я.



«Все это, — думал я, — еще ничего не доказывает. В конце концов в любой гимназии есть рисовальный зал, есть коридоры с зелеными и желтыми стенами, в которых торчат изогнутые старомодные вешалки для платья; в конце концов это еще не доказательство, что я нахожусь в своей школе, если между «IVa» и «IVb» висит «Медей», а между «Ха» и «Хб» — усы Ницше. Несомненно, существуют правила, где сказано, что именно там они и должны висеть. Правила внутреннего распорядка для классических гимназий в Пруссии: «Медей» — между «IVa» и «IVb», там же «Мальчик, вынимающий занозу», в следующем коридоре — Цезарь, Марк Аврелий и Цицерон, а Ницше — на верхнем этаже, где уже изучают философию. Фриз Парфенона и универсальная олеография: Того. «Мальчик, вынимающий занозу» и фриз Парфенона — это в конце концов не более чем добрый старый школьный реквизит, переходящий из поколения в поколение, и наверняка я не единственный, кому забрело в голову написать на банане: да здравствует Того! И выходки школьников в конце концов всегда одни и те же. А кроме того, вполне возможно, что от сильного жара у меня начался бред».

Боли я теперь не чувствовал. В машине я еще очень страдал; когда ее швыряло на мелких выбоинах, я каждый раз начинал кричать. Уж лучше глубокие воронки: машина поднимается и опускается, как корабль на волнах. Теперь, видно, подействовал укол; где-то в темноте мне всадили шприц в руку, и я чувствовал, как игла проткнула кожу и ноге стало горячо...

«Да это просто невозможно, — думал я, — машина наверняка не прошла такое большое расстояние: почти тридцать километров. А кроме того, ты ничего не испытываешь, ничто в душе не подсказывает тебе, что ты в своей школе, в той самой школе, которую всего три месяца назад покинул. Восемь лет — не пустяк, неужели после восьми лет все это узнаешь только глазами?»

Я закрыл глаза и опять увидел все, как в фильме: нижний коридор, покрашенный зеленой краской, этажом выше — коридор с желтыми стенами, памятник воину, опять коридор, следующий этаж: Цезарь, Марк Аврелий... Гермес, усы Ницше, Того, маска Зевса.

Я выплюнул сигарету и начал кричать: когда кричишь, становится легче, надо только кричать погромче; кричать — это так хорошо, я кричал как полоумный. Кто-то надо мной наклонился, но я не открывал глаз, я почувствовал чужое

дыхание, теплое, противно пахнущее смесью лука и табака, и услышал голос, который спокойно спросил:

— Чего ты так кричишь?

— Пить, — сказал я. — И еще сигарету. В верхнем кармане. Опять чужая рука пошарила в моем кармане, опять чиркнула спичка, и кто-то сунул мне в рот зажженную сигарету.

— Где мы? — спросил я.

— В Бендорфе.

— Спасибо, — сказал я и затаился.

Все-таки я, видимо, действительно в Бендорфе, а значит, дома, и если бы не такой сильный жар, я мог бы с уверенностью сказать, что я в классической гимназии: что это школа — во всяком случае, бесспорно. Разве не крикнул внизу чей-то голос: «Остальных в рисовальный зал!»? Я был одним из остальных, я жил, «остальные» и были, очевидно, живые. Это — рисовальный зал, и если слух меня не обманул, то почему бы глазам меня подвести? Значит, нет сомнения в том, что я узнал Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, а они могли быть только в классической гимназии; не думаю, чтобы в других школах стены коридоров украшали скульптурами этих молодцов.

Наконец-то принес воду: опять меня обдало смешанным запахом лука и табака, и я поневоле открыл глаза — надо мной склонилось усталое, дряблѐе, небритое лицо человека в форме пожарного, и старческий голос тихо сказал:

— Пей, дружок!

Я начал пить: вода, вода — какое наслаждение; я чувствовал на губах металлический привкус кастрюли, ощущал упругую полноводность глотка, но пожарный отнял кастрюлю от моих губ и ушел; я закричал, он даже не обернулся, только устало передернул плечами и пошел дальше, а тот, кто лежал рядом со мной, спокойно сказал:

— Зря орешь, у них нет воды; весь город в огне, сам видишь.

Я это видел, несмотря на затемнение, — за черными шторами полыхала и бушевала огненная стихия, черно-красная, как в печи, куда только что засыпали уголь. Да, я видел: город горел.

— Какой это город? — спросил я у раненого, лежавшего рядом.

— Бендорф, — сказал он.

— Спасибо.

Я смотрел прямо перед собой на ряды окон, а иногда на потолок. Он был еще безупречно белый и гладкий, с узким классического стиля лепным карнизом; но такие потолки с клас-

сическими лепными карнизами есть во всех рисовальных залах всех школ, по крайней мере всех добрых старых классических гимназий. Это ведь бесспорно.

Я не мог более сомневаться: я в рисовальном зале одной из классических гимназий в Бендорфе. В Бендорфе всего три классические гимназии: гимназия Фридриха Великого, гимназия Альберта и... может быть, лучше и вовсе не упоминать о ней... гимназия имени Адольфа Гитлера. Разве на лестничной площадке в гимназии Фридриха Великого не висел портрет Старого Фрица, необыкновенно яркий, необыкновенно красивый, необыкновенно большой? Я учился в этой школе восемь лет подряд, но разве точно такой же портрет не мог висеть в другой школе на том же самом месте, и настолько яркий, настолько бросающийся в глаза, что взгляд всякого, кто поднимался на второй этаж, невольно на нем останавливался?

Откуда-то издали доносился грохот тяжелой артиллерии. А вообще было почти спокойно; лишь время от времени прожорливое пламя вырывалось на волю, и где-то во тьме рушилась крыша. Артиллерийские орудия стреляли равномерно, с одинаковыми промежутками, и я думал: славная артиллерия. Я знаю, что это подло, но я так думал. О боже, как она успокаивала, эта артиллерия, каким родным был ее густой и низкий рокот, мягкий, нежный, как рокот органа, в нем есть даже что-то благородное; по-моему, в артиллерии есть что-то благородное, даже когда она стреляет. Все это очень солидно: совсем как в той войне, про которую мы читали в книжках с картинками... Потом я подумал о том, сколько имен будет высечено на новом памятнике воину, если новый памятник поставят, и о том, что на него водрузят еще более грандиозный позолоченный Железный крест и еще более грандиозный каменный лавровый венок; и вдруг меня пронзила мысль: если я в самом деле нахожусь в своей старой школе, то мое имя тоже будет красоваться на памятнике, высеченное на цоколе, а в школьном календаре против моей фамилии будет сказано: «Ушел на фронт из школы и пал за...»

Но я еще не знал, за что... И я еще не был уверен, нахожусь ли я в своей старой школе. Теперь я непременно хотел это установить. В памятнике воину тоже нет ничего особенного, ничего исключительного, он такой, как всюду, стандартный памятник массового изготовления, все памятники такого образца поставляются каким-то одним управлением...

Я оглядывал рисовальный зал, но картины были сняты, а о чем можно судить по нескольким партам, сваленным в углу,

да по узким и высоким окнам, очень частым, как полагается в рисовальном зале, где должно быть много света? Сердце мне ничего не подсказывало. Но разве оно молчало бы, если бы я оказался там, где восемь лет, из года в год, рисовал вазы, престелные, стройные вазы, изумительные копии с римских подлинников, — учитель рисования обычно ставил их перед классом на подставку; там, где я выводил шрифты — латинский прямой, римский, итальянский. Ничто я так не ненавидел в школе, как эти уроки, часами глотал я скуку и никогда не мог нарисовать вазу или воспроизвести какой-нибудь шрифт. Но где же мои проклятья, моя ненависть к этим тоскливым, тусклым стенам? Ничто во мне не заговорило, и я молча покачал головой.

Снова и снова я рисовал, стирал нарисованное, оттачивал карандаш... и ничего, ничего...

Я не помнил, как меня ранило; чувствовал лишь, что не могу пошевелить руками и правой ногой — только левой, и то еле-еле; это оттого, думал я, что всего меня очень туго спеленали.

Я выплюнул сигарету в пространство между набитыми соломой мешками и попытался шевельнуть рукой, но от страшной боли опять закричал; я кричал не переставая, кричал с наслаждением; помимо боли, меня доводило до бешенства то, что я не могу пошевелить руками.

Потом я увидел перед собой врача; он снял очки и, часто моргая, смотрел на меня; он ничего не говорил; за ним стоял пожарный, тот, что дал мне воды. Пожарный что-то шепнул врачу на ухо, и врач надел очки: за их толстыми стеклами я отчетливо увидел большие серые глаза с чуть подрагивающими зрачками. Врач долго смотрел на меня, так долго, что я невольно отвел глаза. Он сказал:

— Одну минутку, ваша очередь сейчас подойдет...

Они подняли того, кто лежал рядом со мной, и понесли за классную доску; я смотрел им вслед; доска была развернута и поставлена наискосок, между нею и стенкой висела простыня, за простыней горел яркий свет...

Ни звука не было слышно, пока простыню не откинули и не вынесли того, кто лежал только что рядом со мной; санитары с усталыми, безучастными лицами тащили носилки к дверям.

Я опять закрыл глаза и подумал: «Ты непременно должен узнать, что у тебя за ранение и действительно ли ты находишься в своей старой школе».

Все здесь казалось мне таким холодным и чужим, как если

бы меня пронесли по музею мертвого города; этот мирок был мне совершенно безразличен и далек, и хотя глазами я его узнавал, но только глазами. А если так, то мог ли я поверить, что всего три месяца назад я сидел здесь, рисовал вазы и писал шрифты, на переменках сбегал по лестнице, держа в руках принесенные из дому бутерброды с повидлом, проходил мимо Ницше, Гермеса, Того, Цезаря, Цицерона, Марка Аврелия, потом медленно шагал по нижнему коридору, где висела «Медя», и заходил к швейцару Биргелеру выпить молока, выпить молока в этой полутемной маленькой каморке, где можно было рискнуть выкурить сигарету, хоть это и строго воспрещалось. Наверняка они понесли того, кто лежал раньше рядом со мной, вниз, куда сносили мертвецов; быть может, мертвецов клали в маленькую мглистую каморку, где пахло теплым молоком, пылью и дешевым табаком Биргелера...

Наконец-то санитары вернулись в зал, и теперь они подняли меня и понесли за классную доску. Я опять поплыл мимо дверей и, проплывая, обнаружил еще одно совпадение: в те времена, когда эта школа называлась школой св. Фомы, над этой самой дверью висел крест; его потом сняли, но на стене так и осталось исчезающее темно-желтое пятно — отпечаток креста, четкий и ясный, более четкий, пожалуй, чем сам этот ветхий, хрупкий, маленький крест, который сняли; ясный и красивый отпечаток креста так и остался на выцветшей стене. Тогда новые хозяева со злости перекрасили всю стену, но ничего не помогло; маляр не сумел найти правильного тона, крест остался на своем месте, светло-коричневый и четкий, на розовой стене. Они злились, но тщетно, крест оставался, коричневый, четкий на розовом фоне стены, и думаю, что они исчерпали все свои денежные ресурсы на краски, но сделать ничего не смогли. Крест все еще был там, и если присмотреться, то можно разглядеть даже косой след на правой перекладине, где много лет подряд висела буковая ветвь, которую швейцар Биргелер прикреплял туда в те времена, когда еще разрешалось вешать в школах кресты...

Все это промелькнуло в голове в ту короткую секунду, когда меня несли мимо двери за классную доску, где горел яркий свет.

Я лежал на операционном столе и в блестящем стекле электрической лампы видел себя, очень маленьким, укороченным, — совсем крохотный, белый, узенький, марлевый сверток, словно куколка в коконе: это и был я.

Врач повернулся ко мне спиной: он стоял у стола и рылся в инструментах; старик пожарный, широкий в плечах, заго-

раживал собой классную доску и улыбался мне; он улыбался устало и печально, и его бородатое лицо казалось лицом спящего; взглянув поверх его плеча, я увидел на исписанной стороне доски нечто, заставившее встрепетнуться мое сердце впервые за все время, что я находился в этом мертвом доме. Где-то в тайниках души я отчаянно, страшно испугался, и сердце учащенно забилося: на доске я увидел свой почерк — вверху, на самом верху. Узнать свой почерк — это хуже, чем увидеть себя в зеркале, это куда более неопровержимо, и у меня не осталось никакой возможности усомниться в подлинности моей руки. Все остальное еще не служило доказательством: ни «Меделя», ни Ницше, ни профиль горца из кинокартины, ни банан из Того, ни даже сохранившийся над дверью след креста, — все это существовало во всех школах, но я не думаю, чтобы в других школах кто-нибудь писал на доске моим почерком. Она еще красовалась здесь, эта строка, которую всего три месяца назад, в той проклятой жизни, учитель задал нам каллиграфически написать на доске: «Путник, когда ты придешь в Спа...»

О, я помню, доска оказалась для меня короткой, и учитель сердился, что я плохо рассчитал, выбрал чрезмерно крупный шрифт, а сам он тем же шрифтом, покачивая головой, вывел ниже: «Путник, когда ты придешь в Спа...»

Семь раз была повторена эта строка: моим почерком, готическим шрифтом, курсивом, римским, староитальянским и круглописью; семь раз, четко и беспощадно: «Путник, когда ты придешь в Спа...»

Врач тихо окликнул пожарного, и он отошел в сторону, теперь я видел всю строчку, не очень красиво написанную, потому что я выбрал слишком крупный шрифт, вывел слишком большие буквы.

Я подскочил, почувствовав укол в левое бедро, хотел опереться на руки, но не смог; я оглядел себя сверху донизу — и все увидел. Они распеленали меня, и у меня не было больше рук, не было правой ноги, и я внезапно упал навзничь: мне нечем было держаться; я закричал; пожарный с ужасом смотрел на меня, а врач лишь передернул плечами и продолжал нажимать на поршень шприца, медленно и ровно погружавшегося все глубже; я хотел опять взглянуть на доску, но пожарный стоял возле меня и загораживал ее; он крепко держал меня за плечи, и я чувствовал запах пота, грязный запах его перепачканного мундира, видел его усталое, печальное лицо — и вдруг узнал его: это был Биргелер.

— Молока, — сказал я тихо.

## БАЛАГАН!

Женщина-змея оказалась прелестнейшей из женщин. На ней была великолепная соломенная шляпа, наподобие сомбреро, ибо, как любезная хозяйка, она села на солнечной стороне маленькой террасы, пристроенной к ее фургончику.

Трое ее детей играли под этой террасой в своеобразную игру, она называлась «Неандертальцы».

Младшие — мальчик и девочка — были неандертальцами, старший же, восьмилетний светловолосый сорванец (на арене он выступал как сын «толстухи Сузи»), воображал себя современным ученым, обнаружившим неандертальцев. Он изо всех сил старался своротить малышам скулы, чтобы потом выставить их челюсти в своем музее.

Женщина-змея несколько раз постучала деревянными подошвами об пол террасы, так как громкий крик не позволял нам начать разговор.

Над низким барьерчиком террасы, украшенным алыми цветами герани, показалась голова старшего.

— Ну? — спросил он ворчливо.

— Перестань их мучить, — сказала мать, погасив в своих мягких серых глазах улыбку, — стройте лучше блиндажи или играйте в бомбежку.

Мальчишка досадливо буркнул что-то вроде: «Чепуха», нырнул вниз и уже оттуда закричал: «Горим, весь дом горит!» Увы, мне не удалось проследить дальнейший ход игры в бомбежку, ибо женщина-змея занялась теперь мной. Под широкополой шляпой, сквозь которую проникал теплый розовый луч солнца, она казалась слишком молодой для матери троих детей, для женщины, вынужденной пять раз на день развлекать публику сложным цирковым номером.

— Вы... — начала она.

— Ничто, — ответил я, — полное ничто, один из тех, кого превратили в ничто.

— Вы, наверное, торговали на черном рынке? — спокойно продолжала она.

— Да, — подтвердил я.

Она пожала плечами.

— Это не бог весть что. Во всяком случае, куда бы мы вас ни пристроили, вам придется работать, понимаете? Работать.

— Сударыня,— возразил я,— мне кажется, что жизнь торговца с черного рынка представляется вам в чересчур розовом свете. Я... я был, так сказать, на «переднем крае».

— Что это значит?

Внизу опять слышались возня и крики, и ей снова пришлось постучать деревянным каблуком по полу. И опять из-за барьера показалась голова мальчугана.

— Ну? — спросил он коротко.

— Теперь поиграйте в беженцев,— спокойно сказала мать.— Будете удирать из горящего города. Понятно?

Голова мальчика исчезла, и женщина обратилась ко мне:

— Что это значит?

О нет, она не теряла нити разговора.

— Я был впереди,— сказал я,— совсем впереди. Думаете, это легкий хлеб?

— Где? На углу?

— Ну, допустим, на вокзале. Представляете себе?

— Так. А теперь?

— Я хотел бы найти работу. Я не лентяй, отнюдь не лентяй, сударыня.

— Извините,— сказала она, повернувшись так, что передо мной оказался ее тонкий профиль, и крикнула кому-то в фургоне: — Карлино, вода еще не закипела?

— Сейчас,— раздался невозмутимый голос,— я уже завариваю.

— Ты будешь пить с нами?

— Нет.

— Тогда принеси, пожалуйста, две чашки. Выпьете со мной чашечку?

Я кивнул.

— Разрешите предложить вам сигарету?

Шум под террасой стал таким оглушительным, что невозможно было разобрать ни слова.

Женщина-змея перегнулась через ящик с геранью.

— Теперь удирайте,— закричала она,— быстро, быстро, русские уже на краю деревни.

— Мужа сейчас нет,— продолжала она, обернувшись ко мне,— но нанимать на работу я могу...

Нас прервал Карлино, стройный, молчаливый юноша; он принес кофейник и чашки. Темные волосы его были стянуты сеткой.

На меня он посмотрел недружелюбно и сразу же направился к выходу.



— Почему ты не выпьешь кофе? — спросила его женщина.

— Что-то не хочется, — пробурчал он и исчез в дверях фургона.

— Нанимать на работу я могу и сама. Что-нибудь вы все же должны уметь. Из ничего ничего не выйдет.

— Сударыня, — сказал я робко, — может быть, я смогу смазывать колеса, ставить шатер или ездить на тягаче. Или пусть ваш силач пробует на мне свои кулаки...

— Ездить на тракторе — это уже нечто, а смазывать колеса — это хоть и небольшое, но все же искусство.

— Или, может быть, тормозить, — спросил я, — тормозить качели?

Она высокомерно задернула брови и впервые посмотрела на меня с некоторым презрением.

— Тормозить качели, — сказала она холодно, — это наука. Представляю, сколько людей свернуло бы из-за вас шею. Торможением ведаёт Карлино.

— Или... — робко продолжал я, но тут по узенькой лесенке, вдруг напомнившей мне трап, поспешно поднялась маленькая темноволосая девочка со шрамом на лбу. Она уткнулась в материнский подол, обиженно всхлипывая: «Я должна умереть...

— Что? — ужаснулась женщина-змея.

— Я беженка и должна замерзнуть, а Фреди хочет стянуть мои башмаки и все остальное...

— Да, но вы ведь играете в беженцев, — возразила мать.

— Я всегда умираю, — сказала девочка. — Ну почему всегда я? Когда мы играем в бомбежку, в войну или в канатоходцев, меня всегда заставляют умирать!

— Скажи Фреди, пусть умирает он, я так велела. Теперь его очередь.

Девочка убежала.

— Или... — обратилась ко мне женщина-змея.

О, она не так легко теряла нить разговора!

— Или забивать гвозди, чистить картофель, разливать хлебку. Откуда я знаю? — закричал я в отчаянье. — Ну, испытайте меня хотя бы.

Она погасила сигарету, снова наполнила наши чашки, посмотрела на меня долгим смеющимся взглядом, потом сказала:

— Я испытаю вас. Вы умеете считать, не правда ли? Этого, так сказать, требовала ваша прежняя профессия, и я, — она немного помедлила, — я поручу вам кассу.

...Я не мог вымолвить ни слова, я онемел, я только встал и поцеловал ее маленькую руку. Мы молчали, было тихо-тихо, ничто не нарушало тишины, только из фургона доносилось пение Карлино — то тихое мурлыканье, по которому можно было понять, что он бредется.

## КАК В ПЛОХИХ РОМАНАХ

Сегодня вечером мы ждем в гости Цумпенов, это милые люди, знакомству с ними я обязан своему тестю; со дня нашей свадьбы он неукоснительно старается свести меня с полезными людьми, а Цумпен может быть мне полезен: он возглавляет контору, ведающую строительными заказами, а я, женившись, стал компаньоном в фирме землекопных работ.

В ожидании вечера я нервничал, но моя жена, Берта, успокоила меня.

— Уже сам факт, — сказала она, — его визита к нам кое-что да значит. Попробуй только незаметно навести разговор на заказ. Ты же знаешь, завтра присуждение заказов.

Я ждал Цумпена, стоя за портьерой у входа в квартиру. Покуривая, давил ногой окурки и задвигал их под циновку. Несколько позже, заняв позицию у окна ванной, я стал размышлять над тем, почему бы это Цумпен принял приглашение; вряд ли ему так уж интересно поужинать с нами, а тот факт, что присуждение заказов в крупном конкурсе, в котором и я принимал участие, будет завтра, делает эту встречу для него, вероятно, столь же мучительной, как и для меня.

Думал я также и о заказе; заказ крупный. Я заработал бы на нем двадцать тысяч марок, а мне очень хотелось заработать эти деньги.

Костюм мне выбрала Берта: темный пиджак, брюки несколько светлее и галстук нейтрального цвета. Этому ее научили дома и в монастырском пансионате. И еще тому, что предлагать гостям: когда подавать коньяк, когда вермут, как сервировать десерт. Удивительно приятно, если твоя жена так хорошо разбирается во всех тонкостях.

Но Берта тоже нервничала: положив руки мне на плечи, она большими пальцами дотронулась до моей шеи, и я почувствовал, что они холодные и влажные.

— Все будет хорошо, — сказала она. — Ты получишь заказ.

— Господи,— ответил я,— речь ведь идет о двадцати тысячах, а ты знаешь, как они нам нужны.

— Никогда,— сказала она тихо,— не упоминай имя божье в связи с деньгами!

Темная машина неизвестной мне марки, но с виду итальянской, остановилась у нашего дома.

— Не спеши,— шепнула Берта,— постой, пока они позвонят, пусть подождут две, а то и три секунды, потом медленно подойди к двери и отопрь.

Я видел, как Цумпены поднимаются по лестнице: он — стройный, высокий, с седыми висками, из того сорта людей, которых лет тридцать назад называли «сердцеедами»; фрау Цумпен — худая брюнетка, при взгляде на таких женщин я всегда вспоминаю лимоны. По выражению лица Цумпена я заметил, что ужинать с нами ему смертельно скучно.

А потом раздался звонок, и я, подождав одну, подождав вторую секунду, медленно подошел к двери и отворил.

— Ах,— сказал я,— как мило, что вы пришли.

С рюкзаками коньяку в руках мы прошли по нашей квартире: Цумпенам хотелось ее посмотреть. Берта осталась на кухне, чтобы разукрасить майонезом тартинки; она делает это очень мило: сердечки, орнамент, домики. Цумпенам наша квартира понравилась; они переглянулись, улыбаясь, увидев в моем кабинете большой письменный стол, да и мне в эту минуту показалось, что он чересчур велик.

В нашей спальне Цумпен похвалил небольшой шкафчик в стиле рококо — его мне подарила к свадьбе бабушка — и мадонну в стиле барокко.

Когда мы вернулись в столовую, Берта уже накрыла на стол, это она тоже сделала очень мило, изящно и вместе с тем просто; мы поужинали в приятнейшей обстановке. Болтали о фильмах, книгах, о последних выборах. Цумпен похвалил поданные нами сорта сыра, а фрау Цумпен хвалила кофе и пирожные. Потом мы показали Цумпенам фотографии, сделанные во время нашего свадебного путешествия: бретонский берег, испанского осла и улицы Касабланки.

Затем мы снова пили коньяк, но когда я поднялся, чтобы достать коробку с фотографиями времен нашей помолвки, Берта сделала мне знак, и я не стал доставать коробки. Минуты на две в комнате воцарилась тишина, темы для разговора были исчерпаны, и все мы думали о заказе; я вспомнил про двадцать тысяч, и мне пришла идея списать эту бутылку коньяку с суммы налога. Тут Цумпен, взглянув на часы, сказал:

— Как жаль, но уже десять: нам пора. Мы очень мило провели время!

А фрау Цумпен добавила:

— Прелестно, и я надеюсь, мы увидим вас как-нибудь у себя.

— Мы с удовольствием навестим вас,— ответила Берта.

Еще с полминуты мы постояли молча, и опять все думали об этом заказе, и я чувствовал, Цумпен ждет, что я отведу его в сторону и поговорю с ним. Но я не сделал этого. Цумпен поцеловал Берту руку, а я прошел вперед, открыл дверь и придержал перед фрау Цумпен дверцу машины.

— Но почему же ты не поговорил с ним о заказе? — мягко спросила меня Берта. — Ты же знаешь, что завтра они будут решать.

— Господи боже мой,— ответил я,— я не знал, как завести об этом разговор.

— Очень просто,— мягко пояснила она,— надо было под каким-нибудь предлогом попросить его в кабинет и там с ним поговорить. Ты же заметил, как он интересуется искусством. Ты бы сказал: «У меня есть расписание восемнадцатого века, быть может, вам интересно будет взглянуть на него», а потом...

Я молчал, она вздохнула и повязала фартук. Я пошел за ней на кухню; мы отобрали оставшиеся тартинки и положили их в холодильник, и я ползал по полу в поисках крышечки для майонеза. Затем отнес бутылку с остатками коньяка в гостиную, сосчитал сигары: Цумпен выкурил всего одну; вытряхнул пепельницу, съел стоя еще одно пирожное и заглянул в кофейник — не осталось ли кофе. Вернувшись на кухню, я увидел, что Берта держит в руке ключ от машины.

— Что случилось? — спросил я.

— Нам необходимо ехать.

— Куда?

— К Цумпенам.

— Но ведь уже половина одиннадцатого.

— Пусть хоть двенадцать,— ответила Берта. — Насколько мне известно, речь идет о двадцати тысячах. Не воображай, будто они такие уж церемонные.

Она прошла в ванную, чтобы привести себя в порядок, а я, стоя за ее спиной, наблюдал, как она стерла губную помаду, потом заново подкрасила губы, и тут мне впервые бросилось в глаза, какой у нее широкий глуповатый рот. Она поправила мне галстук, и я мог бы ее поцеловать, как всегда делал раньше, когда она повязывала мне галстук, но я не поцеловал ее.

В городе кафе и рестораны были ярко освещены. На террасах сидели посетители, в серебряных вазочках и стаканчиках с мороженым отражался свет уличных фонарей. Берта ободряюще взглянула на меня; но когда мы остановились у дома Цумпенов, она осталась в машине, а я тотчас же нажал кнопку звонка и удивился, до чего быстро мне отворили. Фрау Цумпен, казалось, вовсе не удивилась, увидев меня; в черной, расшитой желтыми цветами пижаме с широкими развевающимися, как юбка, брюками она больше чем когда-либо напоминала лимон.

— Извините,— сказал я,— мне бы хотелось поговорить с вашим мужем.

— Он ушел,— ответила она,— и вернется через полчаса.

В прихожей я заметил множество мадонн, готических и барочных, а также в стиле рококо, если таковые вообще имеются.

— Очень хорошо,— сказал я,— если разрешите, я вернусь через полчаса.

Берта купила вечернюю газету; она читала ее, курила. Когда я сел рядом, она сказала:

— Думаю, ты мог бы поговорить и с ней.

— Откуда ты знаешь, что его нет дома?

— Оттого что знаю,— он сидит в своем клубе и играет в шахматы, как обычно по средам в это время.

— Ты могла бы сказать мне об этом раньше.

— Пойми же меня,— проговорила Берта, складывая газету.— Мне хочется тебе помочь, хочется, чтобы ты сам научился устраивать подобные дела. Я могла бы позвонить отцу, и он одним телефонным звонком уладил бы это дело, но я хочу, чтобы ты получил этот заказ сам.

— Очень хорошо,— сказал я.— Что же мы предпримем: подождем эти полчаса или поднимемся и поговорим с ней?

— Лучше всего нам подняться,— ответила Берта.

Мы вышли из машины и поднялись в лифте.

— Жизнь,— изрекла Берта,— есть цепь компромиссов и уступок.

Фрау Цумпен несколько не удивилась, как и до того, когда я пришел один. Она поздоровалась, и мы последовали за ней в кабинет ее мужа. Фрау Цумпен достала коньяк, налила в рюмки и, прежде чем я успел заговорить о заказе, подвинула мне желтую папку. «Поселок «Еловая роща»,— прочел я и испуганно посмотрел на фрау Цумпен, на Берту, но обе улыбались, а фрау Цумпен сказала:

— Откройте папку.

Я открыл папку; внутри лежала вторая, розовая папка,

и я прочел: «Поселок «Еловая роща» — землекопные работы». Я открыл и эту крышку и увидел, что первой лежит моя смета, а в верхнем углу кто-то написал карандашом: «Самая дешевая смета». Я почувствовал, что краснею от радости, почувствовал, как забилося сердце, и подумал о двадцати тысячах марок.

— Господи,— пробормотал я и захлопнул папку, на этот раз Берта забыла меня одернуть.

— Ваше здоровье,— сказала фрау Цумпен, улыбаясь,— давайте выпьем.

Мы выпили, я встал и сказал:

— Наверно, это невежливо, но вы, конечно, меня поймете, если я теперь уеду.

— Я понимаю вас очень хорошо,— ответила фрау Цумпен.— Осталось уладить только еще одну подробность.

Она взяла папку, перелистала ее и сказала:

— Ваша цена за один кубический метр на тридцать пфеннигов ниже наиболее дешевой из всех имеющихся смет. Я предлагаю: повысьте цену на пятнадцать пфеннигов. Ваша смета все-таки останется самой дешевой, а вы получите на четыре тысячи пятьсот больше. Итак, исправьте цифру!

Берта достала из сумочки авторучку и протянула мне, но я был слишком вволнован, чтобы писать; я передал папку Берте и наблюдал, как спокойно она переправила цену за метр, заново написала итоговую сумму и возвратила папку фрау Цумпен.

— А теперь,— продолжала фрау Цумпен,— еще одна мелочь. Достаньте свою чековую книжку и выпишите чек на три тысячи марок. Чек должен быть на наличные и учтен вами.

Она сказала это мне, но достала нашу чековую книжку из сумочки и чек выписала Берта.

— Его же нечем покрыть,— тихо сказал я.

— Как только состоится присуждение заказа, будет выдан аванс, тогда его можно и покрыть,— пояснила фрау Цумпен.

Может быть, я даже не понял всего, что здесь произошло. Когда мы спустились в лифте, Берта сказала, что она счастлива, но я молчал.

Берта выбрала другой путь, мы ехали по тихим кварталам, в открытых окнах я видел свет, люди сидели на балконах и пили вино; была светлая, теплая ночь.

Я только раз нарушил молчание, спросив вполголоса:

— Чек предназначен для Цумпенов?

И Берта так же тихо ответила:

— Конечно.

Я посмотрел на маленькие загорелые руки Берты, которыми

она так уверенно и спокойно вела машину. Эти руки, подумал я, подписывают чеки и украшают майонезом тартинки, посмотрел выше — на ее рот, но и теперь не почувствовал никакого желания поцеловать его.

В тот вечер я не помогал Берте ставить машину в гараж, не помогал я ей мыть посуду. Я выпил большую рюмку коньяку, пошел в свой кабинет и сел к письменному столу, который был чересчур велик для меня. Я о чем-то думал, потом встал, пошел в спальню и посмотрел на барочную мадонну, но и там не мог вспомнить, о чем же это я думал.

Телефонный звонок прервал мои размышления; я взял трубку и нисколько не удивился, услышав голос Цумпена.

— Ваша жена,— сказал он,— допустила небольшую ошибку. Она повысила цену на кубический метр не на пятнадцать, а на двадцать пять пфеннигов.

Мгновение я раздумывал, потом ответил:

— Это не ошибка, она сделала это с моего согласия.

Он было замолчал, потом рассмеялся и заметил:

— Стало быть, вы уже заранее обсудили различные варианты?

— Да,— ответил я.

— Прекрасно, тогда выпишите еще один чек на тысячу марок.

— Пятьсот,— сказал я и подумал: ну точь-в-точь, как в плохих романах.

— Восемьсот,— сказал он.

А я рассмеялся и ответил:

— Шестьсот,— и знал уже заранее, хотя у меня не было никакого опыта, что он скажет сейчас: семьсот пятьдесят.

Он действительно сказал это, я ответил:

— Да! — и повесил трубку.

Еще не пробило двенадцати, как я сошел вниз, чтобы передать чек Цумпену, сидевшему в машине; он был один, и когда я подал ему сложенный чек, рассмеялся. Медленно поднимаясь к себе, я не встретил Берты; она не пришла и в кабинет, она не появилась и на кухне, когда я доставал себе из холодильника стакан молока; и я знал, что она думала,— она думала: пусть справится сам, надо оставить его одного, он должен все понять.

Но я так ничего и не понял, ведь произошло действительно нечто непонятное.

# Берт Ледни



## ПОГОНЯ



ни рассыпались цепочкой по универмагу и стали обыскивать все этажи. Коммунист стоял на четвертом, притаившись за колонной. Он видел перед собой ограду, тянувшуюся вокруг световой шахты, а под собой — их. Они протискивались сквозь людскую массу. Вокруг световой шахты террасами



повисли этажи магазина, наполненного густой толпой покупателей. Среди них коммунист распознавал шпииков. Не найдя беглеца во втором этаже, они поднялись на третий и принялись обыскивать его по той же системе.

Шпики были расставлены на расстоянии десяти шагов друг от друга. Они могли стоять цепочкой на каждом этаже, не замеченные покупателями. Пожалуй, их не заметил бы и сам коммунист, но, глядя на них сверху, подобно человеку, рассматривающему муравейник, он обратил внимание на характерную, чисто военную расстановку людей. Он удивился. В короткий срок шпиикам удалось стянуть свои силы в одном важном центре борьбы. А ведь таких центров в городе было много. Но значительную часть преследователей коммунист отвлел на себя. При всей опасности это его радовало.

Коммунист быстро оглянулся и увидел свое отражение в зеркале. Шрам над правым глазом — его примета. По этой примете шпиики его сразу узнают. Внизу под ним два человека сторожили лифты и выходы. Один из сыщиков стоял у эскалатора. Кто ими командовал, коммунист установить не мог. На всех были одинаковые фетровые шляпы, закрывавшие часть лица. Все внимание сыщиков было устремлено на третий этаж. Коммунист невольно усмехнулся. Кто-то изрядно заработал на фетровых шляпах. Как бы то ни было, это примета, по которой можно узнать сыщика.

Коммунист высчитал, что за полчаса сыщики осмотрят все шесть этажей. Ему необходимо как можно скорее прорваться через их кордон.

Он хотел все спокойно обдумать. Воздух вокруг был накален. В такой духоте нельзя размышлять. Он вышел из-за колонны, чтобы добраться до лестницы. Заставил себя неторопливым, беспечным шагом пройти между куклами-манекенами. Куклы стояли, словно впавшие в оцепенение люди. Своими восковыми глазами они тупо смотрели мимо. Смотрели в пустоту. Коммунист слегка вспотел. Пачка листовок под рубашкой терлась о его кожу. Он прижал руку к куртке, чтобы пакет не скользил. Куклы остались позади. Он прошел мимо ночных сорочек и наконец достиг выхода. Ему было невыносимо трудно идти медленно. Каждая секунда была дорога.

Через лестничную клетку доносился скрипучий голос продавца, хвалившего свой товар. Ступенька за ступенькой поднимался коммунист по лестнице. Кто-то шел ему навстречу. Это была полная женщина. С полуоткрытым ртом, тяжело дыша, она прошла мимо него. Добравшись до пятого этажа, он

услышал гул голосов с той стороны, где помещалось кафе. Через отдел детских игрушек до него доносился звон посуды. Повсюду слонялись закусившие тут же в кафе женщины. Высоченный гипсовый индеец занес над головой деревянный топор. Сотни маленьких американских танков нацелились жерлами своих пушек на его голову. Коммунист шел по полю сражения, инсценированного для детей.

Дойдя до кафе, он толкнул ногой одну из створок широкой двери. Его сорочка прилипла к телу. Он чувствовал себя утомленным, как после паровой ванны. Вот и кафе: мраморные столики, покупатели, девушки в белых передничках, позвякивание фарфоровой посуды. У него закружилась голова. Здесь спрятаться негде. Из соседнего зала доносились звуки музыки. Они повисали в воздухе, как дым. Чтобы не привлекать к себе внимания, коммунист не смотрел на столики. Опустив голову, он не спеша шел к буфету. Это было непривычно. Он все делал быстро. Он начал беззвучно считать про себя. Старое средство, которому его научила мать. Оно нужно было ему, чтобы успокоиться. Правда, средство это рекомендовалось против страха перед школьными экзаменами, но он применял его и в других случаях. При обысках в его квартире, при допросах и в тот раз, когда его поместили рубцом на виске.

В буфете он увидел за стеклом ломти торта. Тихо шелестел мотор холодильной установки. Коммунист поднял голову. Перед ним за стеклянной стойкой буфета стояла девушка. Она покраснела под его взглядом. Какая-то женщина в белых перчатках подошла к стойке, выбрала кусок торта.

— Песочное? — спросила она.

— Нет, сдобное тесто, — ответила буфетчица.

Коммунист тоже взглянул на торт. «Половину третьего этажа, — подумал он, — они уже, конечно, обыскали. Мое время утекает, как сахарный песок между пальцев».

Женщина рядом с ним спросила:

— Есть у вас ромовые бабы? — и начала стягивать перчатки. Тщательно и неторопливо, как будто собиралась пощупать рукой все нарезанные куски торта.

— Здесь ромовых баб нет, — ответила девушка, — их можно получить за столиком. — Она указала на продавщицу, толкавшую поднос-тележку.

Вдруг над головой коммуниста раздался шум. Он инстинктивно поднял руку.

— Это вентиляторы, — сказала девушка, — каждые пять минут они освежают воздух.

Коммунист заставил себя улыбнуться. Листовки у него под рубашкой сместились. Незаметным движением он приподнял их.

— Я не сяду за столик,— запальчиво сказала женщина в белых перчатках.— Я хочу поесть ромовой бабы и пойти погулять.

Ей, словно капризному ребенку, не терпелось затеять ссору.

Коммунист вмешался:

— Вы можете получить ромовую бабу на первом этаже.

— Вы что, здесь служите?

Коммунист уверенно ответил: .

— Да, слежу за порядком!

Женщина с раздражением огрызнулась:

— Это надо еще проверить.

И вдруг крикнула:

— Управляющего! Я хочу говорить с управляющим!

Коммунист почувствовал, как взоры всех посетителей кафе сошлись на его спине. Если бы он верил в чудо, то время для чуда наступило. Однако ничего не произошло. Только девушка за прилавком посмотрела на женщину и сказала:

— Управляющий сейчас придет, я уже позвонила.

Теперь коммунисту не оставалось ничего иного, как отойти от буфета. Он так и сделал.

— Используйте запасную лестницу,— шепнула ему вслед девушка.

Коммунист прикусил губу. О запасной лестнице он не подумал. За его спиной женщина принялась злобно ругаться. Она была похожа на гусыню, которая, шипя, бросается на спокойно гуляющего человека.

Коммунист увидел перед собой дверь. «Запасный выход» — светилась электрическая надпись. Как во сне подбежал он к этой двери, открыл ее и скрылся за ней.

И тут же заметил внизу фетровую шляпу. Сыщик стоял на нижней площадке лестницы и доставал из лотка автомата мятные лепешки. Коммунисту не оставалось ничего иного, как подняться по лестнице. Затаив дыхание он одолевал ступеньку за ступенькой. Сердце билось учащенно. Это раздражало его.

На шестом этаже, прямо под стеклянным куполом, коммунист почувствовал себя в настоящей западне. Но все-таки в такой западне, которая обеспечивала ему еще минут двадцать свободы. Озабоченно посмотрел он на свои часы. Большая стрелка показывала половину. Он запомнил положение стрелки. Почувствовал, что нервничает, и оглянулся. Шестой этаж был отведен под выставку мебели.

Два продавца, облокотившись на стол, увлеченно беседовали. В тишине, царившей на этом этаже, коммунист мог расслышать, о чем они говорят.

— Что мне теперь делать с набором юбилейных марок? У меня целых два!

— Один продай!

Рядом в складском помещении вдруг захихикала женщина. У коммуниста пробежал холодок по коже. Он подумал. Его положение не только опасно — оно безнадежно. Он мог уповать лишь на свою счастливую звезду. «Счастье,— с иронией подумал он,— растяжимое понятие. Если кто-нибудь угодит рукой между буферами железнодорожных вагонов — это тоже счастье: оторвало только руку, зато остался жив. Лучше на счастье не надеяться».

Он снова посмотрел на часы и снова отметил, что потерял много времени. Безуспешно вертелся он в проходах среди мебели: здесь были садовые стулья, садовые столы, садовые зонты.

Он отчаянно искал спасения. На этаже были свои выходы, был и товарный лифт. Двое рабочих нагружали его. Один из них, худой, высокий, усатый, напоминал полицейского времен кайзера. Коробки, которые подавал ему помощник, он пересчитывал и складывал в кабину. Когда коммунист не спеша прошел мимо, он почувствовал на себе недоверчивый взгляд. Может быть, злого умысла у продавца не было, но коммунист решил, что все кончено. Даже если бы ему удалось спуститься в этом лифте, все равно ему не выйти из магазина. Он достаточно хорошо знал сыщиков. Они караулят каждую щель в доме: подвал, кабины лифтов, все грузоподъемники.

В сердце прокралась ненависть к этим двоим. Они могли бы его спасти. Но они этого не сделают. Им платят. Часть платы они получают за свою работу, а еще какую-то — за борьбу с коммунистами. Только они этого не знают. А ведь страшно подумать. Именно благодаря коммунистам теперь даже нельзя снижать заработную плату.

Коммунист побрел в складское помещение. Где-нибудь уж он найдет выход, а не то попытается силой прорваться сквозь кордон. Он ни перед чем не остановится. По дороге на склад ему пришлось пройти мимо двух продавцов, они приветливо с ним поздоровались.

Один из них даже спросил:

— Что вам угодно?

Нет, ему ничего не угодно. Он с усмешкой ответил:

— Просто прогуливаюсь в ожидании поезда.

Неожиданно для себя коммунист вспомнил, что вблизи универмага есть вокзал. Коммунист все еще улыбался. Оба продавца тоже. Они были довольны, что это не покупатель и, значит, можно еще поболтать.

В складское помещение вели широкие, настежь раскрытые двери. Дощатые стены были оклеены упаковочной бумагой. За стенами кто-то гремел жестяной посудой. Коммунист быстро обернулся. Он увидел, что оба продавца снова углубились в беседу, и юркнул в открытую дверь.

Налево штопором вилась небольшая лесенка, она вела на крышу и напоминала ступеньки церковной колокольни. Люк, в который эта лесенка упиралась, видимо, и служил выходом на крышу. Коммунист решил потратить ровно пять минут на обследование крыши. Согнувшись, он поднялся по витым ступенькам, приподнял люк и очутился под лучами солнца.

Крыша была не такая, какую он ожидал увидеть, — с покатыми плоскостями, пожарной лестницей и тому подобным. Крыша оказалась величиной с половину футбольного поля и такая же ровная. Сплошь просмоленная плоскость. Над ней возвышались две дымовые трубы и какой-то металлический колпак, прикрывавший, должно быть, световую шахту. Вместо перил крышу окаймляла бетонированная стена высотой по пояс. Коммунист даже не взглянул, что там, за этой стеной. Он знал, что универмаг высится одиноко, окруженный четырьмя улицами. Бежать некуда.

Коммунист прошел вдоль стены. Он вытащил листовки и небольшими пачками перебросил через стенку, предоставив ветру развеять их, как ему вздумается.

Над необъятным морем городских домов подул холодный ветер. Вдали по небу двигалась какая-то серебряная точка: самолет, оставляя за собой блестящую полосу, шел на посадку туда, где город тонул в зеленых просторах.

С вокзала, находившегося в полукилометре от универмага, валили клубы черного дыма. Ветер приносил его с собой, и он напоминал гигантский занавес, сорвавшийся с колец. Он был черный и грозный, но тягой из ущелий-улиц его подняло вверх к редким облакам, с которыми он смешался. Стальной каркас световой кинорекламы врезался в небо, он казался таким близким, хоть рукой потрогай. Коммунист увидел электротехника. Обязанный широким поясом, он вставлял электрические лампочки в бесформенные железные гнезда букв. Человек в синем комбинезоне монтера повис на головокружительной высоте. На таком расстоянии лица его не видно было. Коммунист был

доволен. Человек не мог задать ему никаких вопросов. У него была к тому же слишком опасная работа.

Коммунист еще раз окинул взглядом ровную поверхность крыши, две дымовые трубы и жестяной колпак. И, потеряв последнюю надежду, снова открыл люк. Но тотчас опустил его.

Всего лишь метром ниже на винтовой лестнице стоял один из его преследователей. Человек в фетровой шляпе. Они посмотрели друг другу в глаза. На какую-нибудь секунду оба остолбенели, но люк вдруг захлопнулся, словно сам по себе. «Что дальше?» — слегка растерявшись, подумал коммунист и вдруг сквозь щели люка услышал пронзительный звук сигнального свистка. Как затравленный, коммунист оглядел крышу. Он не ждал сыщика так быстро. Видимо, они изменили свою систему.

«Что теперь?» — громко спросил коммунист. Слова прозвучали как упрек и эхом покатались по крыше. «Что же теперь», — думал он. И, сжав в испуге руки, побежал к железному колпаку. В смятенье спотыкался он о провода, они, невидимые, как лисьи капканы, тянулись по крыше. К счастью, по ним не был пропущен ток. Но коммунист упал и поранил себе руки. Грубый асфальт, как стеклом, рассек кожу.

Там, у каркаса кинорекламы, продолжал работать электротехник, словно на этом свете не существовало ничего более срочного и важного. Электротехник закурил папиросу, выпустил в пространство дым, тут же подхваченный ветром.

Едва коммунист пригнулся за жестяным колпаком, как почувствовал жгучую боль над глазом. Он оцупал рубец, рука его стала мокрой от крови. Рубец лопнул.

Проклятье! В бешенстве коммунист хватил кулаком по железу и вдруг заметил, что крышка отъехала в сторону. С новым приливом надежды, боясь поверить собственным глазам, он приподнял колпак, но ничего не обнаружил, кроме зиявшего черного отверстия. Вдруг он заметил ступеньку и испустил крик. Железные скобы — лестница в стене — вели вниз.

Сыщик, стоявший на витой лесенке, все еще не решился приподнять люк. Должно быть, боялся. Коммунист не терял времени. Он влез в отверстие, закрыл его колпаком и начал спускаться, цепляясь за скобы.

Это была круглая, обитая жестью шахта. Дымоход. Коммунисту было безразлично, что это, ему необходим был какой-нибудь путь. Он думал только о том, что шестью этажами ниже под ним снова будет земля. Он испытывал легкое головокружение. Но усилием воли подавил в себе приступ слабости.

Ступенька за ступенькой спускался он все ниже. Уже после нескольких метров пути стало темно. Пока его еще сопровождал смутный отсвет солнца, проникавший сквозь щели по краям железного колпака. Вдруг коммунист подумал, что после того, как сыщики осмотрят крышу и обнаружат путь его побега, они тотчас поставят внизу своих людей. Тогда ему придется висеть в этой трубе: податься некуда — ни вверх, ни вниз. Существовала только одна возможность: во что бы то ни стало опередить сыщиков. Еще до того, как в нижний этаж придет весть о его бегстве, ему необходимо добраться до выхода. «Если только выход отсюда вообще существует», — подумал он. Теперь он все быстрее спускался вниз по скобам. В начале пути он не спешил, пробирался с некоторой осторожностью. Всякий раз, прежде чем ступить, он нащупывал ногой следующую ступеньку, старался проверить, прочно ли она вделана в стену. Но потерял из-за этого слишком много драгоценного времени. Теперь решали минуты. Может быть, даже секунды. Разве он знал, сколько времени понадобится его преследователям, чтобы установить, что он висит в дымоходе?

Черт возьми, подумал он, на жестяном колпаке, наверное, остались следы крови. Сыщики спустятся в лифте, минуя остановки на этажах, он же не сможет попасть вниз так быстро, как лифт. Кроме того, в распоряжении сыщиков — телефоны. Весь универмаг покрыт сетью телефонных проводов.

Что-то задело его по лицу. Один раз, другой. Летучие мыши? Здесь не было летучих мышей. Здесь была только паутина. Он представил себе, какие пауки живут в этой шахте. В нем поднялось чувство гадливости. Он плюнул на стенку. По его представлению, он находился сейчас между пятым и четвертым этажами. Отсвет исчез. Теперь он передвигался в крошечной тьме. Горели кисти рук. Жгла рана над глазом. Из лопнувшего шва капала кровь. Он чувствовал, как она, теплая, течет по его лицу. У нее был солоноватый вкус. «Хватит! — подумал он. — Брошусь вниз, и кончено».

— Нет!

Вся его ненависть вырвалась в этом крике, гулко отозвавшимся в шахте. «Если я сдамся, я предатель». Он спускался все быстрее и быстрее. Один неверный шаг, одна шаткая ступенька, и он свалится вниз, упадет камнем. Нет, лучше об этом не думать.

Он начал считать. От одного до десяти. И опять сначала — от одного до десяти. Бессмысленное дело!

Шахта примыкала, должно быть, к вентиляционной уста-

новке. Но он не заметил никаких ответвлений. Было слишком темно. Он даже не мог различить железные скобы, за которые цеплялся изо всех сил. Ему показалось, что он ползет мимо какой-то машины. На протяжении нескольких метров глухой жужжащий звук заполнил шахту, но затем начал слабеть, пока вовсе не затих. Коммуниста охватил пронизывающий холод. Сквозняк, становившийся все сильнее, с шумом обдувал его. Струя воздуха подняла дыбом куртку, проникла сквозь одежду. Стало невыносимо холодно.

И вдруг, когда он уже потерял ощущение высоты и глубины, его ноги коснулись твердой почвы. Коммунист походил на слепого. Неуверенно ощупывал он пространство вокруг себя. Ни на секунду его не покидал страх, что твердая почва вот-вот закачается и вдруг развернется, как при землетрясении. Широко раскрыв глаза, ничего не видя, коммунист ощупывал обитые железом стены.

Гладкие, совершенно гладкие.

Ему показалось, что он очутился в котле, крышку которого заклепали по рассеянности, не заметив оставшегося в нем человека. Но вот коммунист нащупал руками какой-то шов. С облегчением подумал: двери! И тут же схватился за голову. Ему пришло на ум, что засовы находятся снаружи. Со всей силой бросился он на дверь. Он уже ничего не соображал. Теперь его жгли ярость и разочарование. Вместе с распахнувшейся дверью он куда-то вывалился.

Лежа, словно пьяный, которого вышвырнули из трактира, он ощутил под собой бетонированный пол. Коммунист был оглушен. Кровь из шрама над бровью стекала по носу. Он поднялся, но его шатало.

Теперь он оказался под низким продолговатым сводом, заполненным большими трубами парового отопления и насосной установкой. Сплетенье труб, как в дремучем лесу, перевитом лианами и ползучими растениями. Из железа. Узкие окна, прорезанные где-то под самым потолком. Скудное освещение. Невидимый среди этого лабиринта труб, зло жужжал перегруженный клапан. Белый пар, как в прачечной, с шипеньем поднимался до потолка. Тихо опадал дождем на бетон. В баках булькала вода, словно в них обитали драконы, воинственно преследовавшие добычу.

Коммунист вспомнил, что ему надо бежать. Все еще оглушенный, он нырнул в один из проходов, напоминавший тоннель рудника. С потолка на землю падал желтоватый свет. Рельсы бороздили пол. Проход становился все уже и ниже,



а затем начал отлого подниматься. Коммунист остановился перед маленькой дверью с большими буквами: для мужчин. Сюда и вошел коммунист. Он облегчился у просмоленной стены. На стене висело зеркало. Он подошел ближе, чтобы осмотреть себя. Лопнувший шов над глазом, залитый кровью, не казался ему таким уж страшным. Испугала грязь на руках, на лице, на костюме. Он склонился над раковиной и открыл кран.

Промыв лицо и руки, коммунист почувствовал себя посвежевшим. «Была бы щетка, я почистил бы костюм», — подумал он. Вдруг дверь открылась, и кто-то вошел в уборную. Это был мужчина. Заметив, что здесь кто-то есть, вошедший тотчас же воскликнул:

— Они все еще не поймали его!

Коммунист не обернулся. Он стоял спиной к вошедшему, но мог осмотреть его в зеркале. Истопник. Его комбинезон испачкан угольной пылью и маслом.

— Не думаю, чтобы он еще находился в здании магазина! — сказал коммунист. Удивленный звуком собственного голоса, он тут же прибавил: — Небось удрал еще до того, как они заняли все проходы.

Теперь у просмоленной стены остановился истопник. Они стояли спиной друг к другу. Коммунист подставил свои изрезанные ладони под кран. Рубец еще болел, но не кровоточил. Коммунисту не хотелось оборачиваться, потому что его костюм был слишком грязен. В таком виде он и уйти отсюда не мог.

Истопник, справляя нужду, сказал:

— Конечно, тот, кого они ловят, и сейчас еще может выйти из универмага. К примеру, у этих дверей на улице никого нет.

Потом истопник подошел к умывальнику и стал рядом с коммунистом перед зеркалом.

— Что с вами? — удивленно спросил он, увидев грязный костюм коммуниста. — Вы упали?

— Да, — ответил коммунист, — я здесь новичок, и вот надо же, в первый же день такая история!

Говоря так, коммунист с любопытством смотрел на лицо истопника, отраженное в зеркале. Если человек этот поведет себя подозрительно, он его убьет. Выбора нет.

Истопник сказал:

— Плохое освещение. Да еще эти проклятые рельсы для вагонеток. Но в универмаге экономят только за наш счет.

— Вы правы, — ответил коммунист. — Эх, была бы у меня щетка!

— Возьмите эту! — Истопник указал на маленькую выдолб-

ленную в стене полку, на которой лежала щетка. У щетки было определенное назначение, но в данную минуту коммунист не мог быть разборчивым. — Ну, мне пора на работу, — сказал истопник, — у нас с контролем строго. — И он исчез так же неожиданно, как и появился.

Коммунист торопливо почистил свой костюм. Он думал: «Значит, на улице нет сыщиков. Это надо учесть. Больше нельзя терять времени».

Он вышел из уборной и по тоннелю побежал наискось вверх. На стене висела записка: «Курить воспрещается. — No smoking». Коммунист вытащил из кармана сигарету, закурил. Для него не играло уж столь большой роли еще одно нарушение правил. Он затаился, и вместе со вкусом табака к нему вернулось спокойствие. Он даже повеселел.

Ему захотелось даже посвистеть, но вдруг он увидел перед собой дневной свет. Как зритель в театре перед последним актом, он подумал: «Ну вот, сейчас...»

У стены стояла метла. Проходя мимо, коммунист прихватил ее с собой; с ней он будет чувствовать себя увереннее. Так, с метлой в руках, он вышел на улицу.

Мимо равнодушно двигались пешеходы. Какая-то женщина с сияющим от радости лицом тащила огромный пакет. Двое детишек судорожно зажали в ручонках воздушные шары. Никто не обратил внимания на коммуниста, никто не остановил его.

Шагах в десяти, повернувшись к нему спиной, стоял человек в фетровой шляпе. Все его внимание было сосредоточено на маленькой двери, которую он сторожил: это был запасный выход. Коммунист прошел за спиной сыщика. Рядом с ним он прислонил к стене метлу. И пошел дальше. Кто-то, проходя мимо, сказал своему спутнику: «Он брал взятки». Кто брал взятки, коммунист так и не узнал, — слишком быстро прошел этот пешеход мимо него.

На перекрестке стояла машина — лимузин. Стекло было опущено. Автомобиль был пуст. Коммунист посмотрел на номер. Он довольно точно знал номера их машин. Да, это полицейская машина. В кармане у коммуниста что-то зашуршало. Он вытащил последнюю листовку из кармана брюк и сквозь опущенное стекло бросил ее в машину. Она упала на сиденье. Люди могли прочесть напечатанные жирным шрифтом слова:

**«НАША БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»**

# Вольфганг Мохо



## ТАК БЫЛО ДЕВЯТОГО МАЯ



то же было в тот майский вечер, два года назад? Ульрих Вегенер, стоя на улице, пытался возможно точнее воскресить в памяти все происшедшее в тайной надежде, что вечер этот ярким лучом сверкнет над унылой вереницей дней и одарит светом, теплом, надеждой на лучшее будущее. Но воспомни-

нения были такие же бесцветные, как и все, что тогда происходило.

В тусклом свете двух свечей из эрзац-воска Вебер, Дилленберг и Брем сидели за столом в душевной землянке и, как всегда по вечерам, резались в скат — несколько часов подряд, до одури, до тихого помешательства. Молчаливый Янцен, настоящий книжный червь, снова сумел выудить в ничего не стоящей ротной библиотеке стоящую книгу и теперь сидел, углубившись в чтение, слепой и глухой ко всему, что его окружало, довольствуясь скудным светом, оставленным ему картежниками. Сам же он, Ульрих Вегенер, пятый обитатель землянки, сидел на своей табуретке, бездумно и неподвижно уставившись в одну точку, томясь бессмысленностью своего прозябания. От этого вдвойне давал себя чувствовать голод, который терзал всех их с тех пор, как остров был отрезан от мира и всякий подвоз продовольствия прекратился.

Вдруг кто-то распахнул дверь и крикнул срывающимся голосом:

— Капитуляция! Война кончена! Только что передали по радио! — И понесся дальше сообщать эту весть другим.

Вебер, Дилленберг и Брем, досадуя, что им помешали играть, на секунду подняли головы.

— Что такое? Капитуляция? Ну да... Конечно!.. Вебер, тебе сдавать. Пятнадцать! Тридцать! Я пасс! — И они продолжали все так же монотонно хлопать по столу картами, с головой уйдя в игру.

Ульрих, которого слово «капитуляция» поразило как гром, в первые секунды был сам не свой, словно его оглушили. В страшном волнении он растерянно посмотрел на игроков. Те его не замечали. Он поискал глазами Янцена: его не было на обычном месте, на табурете лежала раскрытая книга... Ульрих порывисто встал и вышел из землянки.

Ночь была торжественно прекрасна — звездная, мягкая. Вот, значит, и конец... Конец всему — вечному напряжению, скотской жизни, казенной муштре; назидательным разглагольствованиям о конечной победе, подмене настоящего дела ничемной суетой и всей этой карикатурной игре в солдатики и войну, — конец медленному умиранию людей, запертых, как мыши в мышеловке, на блокировочном острове. Конец — но ничего из того, что в исступленных мечтах об этом дне рисовало воображение, разумеется, не произойдет... Никто не напьется — на обесцененные бумажки, именуемые солдатским жалованием, ни один из местных жителей не дал бы и четверти

литра вина. Никто не съест своего неприкосновенного запаса по той простой причине, что, вопреки всем угрозам, он уже давно съеден. Никто — Ульрих в ту минуту осознал это с горчайшей ясностью — с радостным возгласом не швырнет в канаву свой противогаз и не отхлещет по щекам ненавистного фельдфебеля, который измывался над подчиненными. Нет, ничего этого не произойдет...

А он сам, Ульрих? Что делал он сам? Стоял под звездным небом теплой ночи и судорожно искал в собственном мозгу какую-нибудь потрясающую мысль, старался настроиться на торжественный, возвышенный лад. Но он испытывал лишь чувство слабости и голода, постоянных спутников бытия на этом острове, которые замедляли биение сердца и дыхание, как у зверей в зимнюю спячку, убивая все чувства и мысли.

Исторический час! С этого мгновенья никто больше не будет умирать от бомбы или снаряда, цепь железного принуждения порвана, распахнулись ворота в свободную жизнь. Рави от восторга, Ульрих, ликуй! Ты больше не ефрейтор второго взвода третьей роты четвертого батальона такой-то бригады, а просто человек по имени Ульрих Вегенер, девятнадцать лет, которому никто больше не смеет приказывать, у которого впереди — жизнь!

Ни возгласов, ни ликования. Только звезды мерцают ледяным блеском и безучастно глядят на землю, как тысячи и миллионы лет назад, равнодушные к тому, кто и как коротает там, внизу, свой век: жужжит ли, как насекомое, извивается ли, как червь, или блеет, как овца.

С проселочной дороги донесся шум шагов: с аэродрома возвращался сменившийся патруль; солдаты прошли мимо Ульриха, направляясь в землянку. Так бывало каждую ночь. Ульрих почувствовал желание остановить патрульных громким возгласом, сообщить им о совершившемся. Но он не разомкнул губ. Быть может, потому что боялся такого же безразличного отклика, какой встретил там, в землянке, у игроков; а может быть, ему неловко было произносить торжественные, величественные слова, обычные же, повседневные не шли с языка.

От одного из деревьев отделилась человеческая фигура и направилась к Ульриху. Янцен! Ульрих обрадовался: значит, и он не мог усидеть в землянке.

Янцен был на шестнадцать лет старше Ульриха. Он принадлежал к тем немногим людям в роте, с которыми у Ульриха сложились человеческие отношения — отношения, совершенно непохожие на ту случайную короткость, что одинаково легко

возникает и забывается. Молчаливый и сдержанный, Янцен был один из тех, кто никогда не получал замечаний от придирчивого начальства. Ульриху это казалось очень странным; он, державшийся особняком и наблюдавший своих товарищей со стороны, ясно видел, что Янцен терпеть не может солдатчины. Следующий случай укрепил в Ульрихе это впечатление.

На взвод, в котором находились Янцен и Ульрих, наложено было взыскание — штрафное учение. (В последние месяцы начальство особенно охотно прибегало к таким мерам — как говорили, для поддержания дисциплины в частях.) Взвод гоняли с полной выкладкой по грязи, сквозь кустарник, вверх и вниз по склону холма — до полного изнеможения. Совершенно случайно Ульрих заглянул в лицо Янцену, который ползал рядом с ним. И лицо это на какое-то мгновение выдало все, что обычно старался затаить в себе этот человек: неукротимую, смертельную, полную решимости ненависть; нет, это выражение ненависти не было мимолетным! И удивительно: обессиленный до предела, Ульрих почувствовал в тот миг ликующую радость, его изнемогшее тело налилось силой, которой он и не подозревал в себе. С тех пор он не спускал глаз с Янца. И вскоре убедился, что его старший товарищ скрывает какую-то тайну. Янцен, всегда со всеми приветливый, жил какой-то своей жизнью; порой, в свободные часы, он вел разговоры с товарищами, все время с одними и теми же. И всегда, как только приближался кто-нибудь посторонний, разговор обрывался. Однажды Ульрих случайно услышал оброненное Янценом замечание, которое сразу выдало его тайну: он был противником существующего строя! Открытие это потрясло девятнадцатилетнего юношу. Он, как все, слышал, конечно, что такие люди есть, но его представление о них совершенно не вязалось с обликом молчаливого, сдержанного, безупречного солдата Янца. И прежде всего ему казалось невозможным, что такой человек живет рядом с ним, служит в одном с ним взводе, спит в одной с ним землянке.

Ульрих, сын оркестрового музыканта, работавшего в оперном театре провинциального города, вырос в семье, которая относилась к новому строю критически, даже враждебно, с боязливым и, разумеется, тщательно скрываемым чувством протеста. Его впитал в себя и Ульрих. Вынужденное пребывание в рядах молодежной организации, и особенно в армии, усилило это чувство. Но он никогда не смел, или в силу обстоятельств не мог осмелиться, открыть кому-нибудь свои мысли. И вот теперь Янцен, товарищ его, такой же, казалось бы,

однополчанин, как многие другие, вошел в орбиту его ошущую бредущей мысли. С того дня, как Ульрих открыл тайну, — о чем Янцен тогда и не подозревал, — он не раз пытался завести с ним разговор. Но Янцен, всегда приветливый с младшим товарищем, все же отмалчивался.

И вот они стоят друг против друга под звездным небом этой ночи — ночи девятого мая. Один взгляд — и Ульрих убедился, что Янцен взволнован не меньше его самого. Янцен заговорил. Но слова были не те, которые так жаждал услышать Ульрих; ему хотелось, чтобы это был крик наболевшей души, Янцен же сказал что-то незначительное о прекрасной весенней ночи. Ульрих не выдержал.

— Вот наконец мы и добились своего! — не слушая Янца, воскликнул он, и радость, звучащая в его голосе, выдавала особый смысл, вложенный им в эти слова.

Несколько секунд Янцен удивленно и пытливо смотрел на юношу. Потом, видимо сдерживая волнение, спокойным голосом сказал:

— Мы-то ничего не добились — добились другие!

И горечь этих слов, точно тяжелые капли росы, упала на взволнованное сердце Ульриха. От страха, что Янцен может оборвать на этом разговор и возвратиться в землянку, оставив здесь его одного, Ульрих стал быстро рассказывать, как он подслушал разговор Янца с его товарищами. Еще раз испытующе взглянув на Ульриха, Янцен решил и заговорил открыто.

— Нет, Ульрих, — сказал он все с той же горечью, хотя в голосе его звучала теплая нотка, — к сожалению, мы ничего не сделали, ровно ничего. До последнего дня мы только исполняли приказы, порой, может быть, с отвращением, но возмутиться ни разу не возмутились. На учениях тупо проделывали все, что от нас требовали. Собирали крапиву для кухни, когда нечего было жрать, и... что гораздо хуже... молчали, когда на наших глазах расстреливали людей за украденный кочан капусты или несколько картофелин. наших товарищей, падающих от голода, почти уже мертвецов, доставляли в госпиталь, а в это время в офицерском собрании устраивались балы и пьяные офицеры кормили тортами своих лошадей. Не возмутились мы и тогда, когда мимо нас проносили в лазарет из концентрационного лагеря полумертвых, похожих на скелеты заключенных — немцев или местных жителей. Их поворачивали с боку на бок на койках, потому что сами они не в состоянии были это сделать. Все это мы видели и слышали — и молчали, никто из нас не крикнул: «Довольно! Хватит!»

Янцен весь горел от возбуждения. В таком состоянии Ульрих его еще не видел, и это возбуждение передавалось ему. «Нет! Нет!» — хотелось ему крикнуть, так страшно было слушать эти речи, так немилосердно душили они первые, еще робкие вспышки радости от сознания, что пришел наконец час освобождения. Ульрих вдруг почувствовал, как дорог ему этот человек, и ему, юноше, захотелось утешить своего старшего товарища:

— Что же вы могли сделать? (Он не осмелился причислить себя к этим «вы».) Ведь вы были слишком маленькой горсточкой, вас поставили бы к стенке — и тогда что же? Опять все пошло бы по-старому, а может быть, стало бы еще хуже прежнего.

Янцен нетерпеливо отмахнулся:

— Не надо, Ульрих, надгробных речей. Какой в них смысл? Мы ничего не сделали — значит, не мы завоевали эту победу. И то, что она завоевана не нами, мы будем чувствовать еще долгие и долгие годы.

Опять на проселке послышались шаги: смена патруля. Янцен молча смотрел вслед ретиво шагавшим солдатам. Он не произнес больше ни слова, лишь немым жестом показал на спины исчезающих в ночи караульных. И он и Ульрих знали — здесь все держится на насилии: хорошо смазанная, налаженная машина, хоть и утратившая смысл своего существования, продолжает действовать, даже сегодня, девятого мая, в день освобождения. Точно ничего не произошло...

Когда Янцен и Ульрих вошли в землянку, Вебер, Диллеберг и Брем в тусклом свете догорающих свечей сидели за столом и играли в скат...



# Стефан Тейн



## БАЦИЛЛА



верцы вагона автоматически захлопнулись, и поезд отошел от перрона. Доктор Гёппнер вздохнул с облегчением — не слишком громко, чтобы не привлечь внимания сонного пассажира, сидевшего рядом. Вокзал Фридрихштрассе был последним в Восточной зоне; а дальше — Западный Берлин, свобода.

Он украдкой взглянул на Ангелу. Она нервно теребила пальто. Да, она неважно выглядит. Бедняжка, возраста не скроешь. У меня хоть была моя работа, размышлял доктор Гёппнер, а у нее только дом и эти вечные мелкие заботы — о нашем питании, об одежде, о Гейнце, выросшем в мире, который отныне уже не наш мир.

И все-таки Гёппнер любил Ангелу, но по-своему, сдержанно — он не умел выражать свои чувства.

— Ну вот, все в порядке, — сказал он, — в полном порядке.

Ангела пристально посмотрела на него; ее глаза за эти бессонные ночи покраснели, веки припухли. Ведь ей пришлось все делать самой — отобрать самое ценное, что можно было захватить, и все эти вещи уложить. Много брать нельзя, твердил он ей, да и не к чему: нам дадут дом, мебель, хорошее белье, даже серебро, мы будем жить лучше, чем когда-либо; но женщины привязаны ко всяким мелочам — какая-нибудь картина, книга, быть может, подсвечник, скатерть ручной работы... Вспоминания... Вот где их корни...

Да, у него не было возможности ей помочь. До последнего вечера он задерживался на всяких заседаниях и конференциях; до самого отъезда — волнения и напряженная работа. К тому же он все время боролся с соблазном оставить им хоть какие-нибудь указания, объяснить, как они должны действовать в том или ином случае, и прежде всего как дальше работать над его способом извлечения из бурого угля дешевого бензина с большим октановым числом. Но он не смел даже намекнуть им на что-нибудь подобное. Они заподозрили бы его, начали бы за ним наблюдать; его побег сошел только потому так гладко, что они слепо ему верили все эти годы — с тех пор как в 1945 он, один из первых, возвратился на завод и один из первых ответил на прямо поставленный вопрос русского полковника: «Я буду работать... Разумеется, я буду работать!»

— Мы уже миновали?... — услышал он голос Ангелы.

Доктор Гёппнер вернулся к действительности.

— Да, миновали, — заверил он ее. — Мы здесь, все осталось позади. Мы возьмем отпуск. Отдохнем на озере Комер...

Он не договорил. Сонный пассажир рядом кашлянул.

— А далеко нам еще ехать? — спросила Ангела.

— До Зоо. Там ждет автомобиль.

Все обошлось удивительно просто. Так просто, что он еще продолжал бояться, как бы чего не случилось, хотя после вокзала Фридрихштрассе уже ничего не могло случиться. Заводская машина заехала за ними домой — за ним, Ангелой и Гейн-

цем — на виллу, которая принадлежала в прежние времена одному из хозяев концерна, потом они три с половиной часа мчались по автострате. Они остановились перед закусочной, и он угостил шофера сардельками с картофельным пюре и кофе; а в Восточном секторе Берлина шофер подвез Гёппнеров к отелю, где по указанию Бахмана для них были оставлены комнаты.

Лишь одна была неприятная минута, когда шофер захотел внести чемоданы. Однако он, смеясь, удержал шофера:

— Разве я уж так стар, мой милый? Да и какие это чемоданы, что они весят!

— Господин Бахман сказал, что сегодня я в вашем распоряжении, — пояснил шофер.

— Зачем? В этом нет никакой надобности! — И он добродушно рассмеялся. — Погодите, еще одно... — Доктор Гёппнер протянул тщательно запечатанный конверт, в котором были его служебные бумаги, заводское удостоверение личности, кроме того, удостоверения жены и Гейнца и письмо...

— Я забыл сегодня утром завезти эти бумаги на завод, передайте их, пожалуйста, господину Бахману, как только вернетесь.

Шофер взял толстый конверт и, не задумываясь, сунул в карман, приложил пальцы к козырьку фуражки, сел за руль и укатил.

До станции городской железной дороги доктор Гёппнер донес вещи вместе с Гейнцем, а у Зоо их уже ждал автомобиль с той стороны. Вот как это было просто.

— Ты скажешь мне наконец, что все это значит?! — воскликнул Гейнец; на его юном гладком лбу залегла морщинка, он сердито сжал губы.

Доктор Гёппнер барабанил пальцами по оконному стеклу.

— Папа, зачем тебе понадобилось мое удостоверение? — сквозь шум колес раздался голос сына. — И вообще, зачем вы взяли меня в Берлин и почему мы не остановились в отеле?.. Не собираетесь же вы?..

В его голосе прозвучал испуг — то ли испуг, то ли возмущение. Сонный пассажир с недоумением взглянул на них.

— Да, именно это мы собираемся сделать, мальчик, — твердо ответил доктор Гёппнер. — Я тебе все потом объясню.

Поезд, качнувшись, остановился у Зоо.

— Пошли, — сказал доктор Гёппнер, взял один из чемоданов и показал Гейнцу на другой.

Но, когда они миновали контроль и спускались по грязной серой лестнице, доктор Гёппнер спросил себя, что, собственно,

заставило его отдать шоферу конверт? Не потребуют ли у него эти бумаги здесь? И почему он написал Бахману письмо? Впрочем, ведь это всего только лаконичная записка, где сказано, что он уходит с завода и возвращает соответствующие документы... Он принадлежал к числу людей, которые не терпят никаких неясностей: во всем должна быть полная ясность, да и зачем давать волю злым чувствам? Только Бахман уж очень умен. Он сразу почует, что письмо в некотором роде — извинение и что крупный ученый, доктор Гёппнер, оставил за собой маленький мостик, — пусть даже не мостик, а тонкий канат, — чтобы была возможность в один прекрасный день переправиться обратно через пропасть, которую создало его дезертирство.

Но ничего подобного у него и в мыслях не было. В самом деле не было.

Да, здесь приятно и комфортабельно, очень приятно и очень комфортабельно.

Можно спать допоздна, не спешить с завтраком и наконец отдохнуть после всех этих лет, когда тебя вечно подгоняли и ты сам себя подгонял. Наконец есть время сходить в кино и посидеть в кафе, здесь даже ночью не закрываются увеселительные заведения! Не так, как дома, где после восьми вечера вся жизнь замирала и где было в порядке вещей, что ты задерживаешься то в лаборатории, то на каком-нибудь заседании, или же тебе звонят, вызывают к Бахману, чтобы обсудить непрерывно возникающие производственные проблемы.

Теперь никто к нему не приходил, никто не мешал и не докучал. А на заводе ему постоянно мешали и докучали. Особенно практиканты, еще совсем желторотые птенцы, с их достойной сострадания жаждой усвоить за несколько месяцев то, чему можно научиться лишь за долгие годы работы. Он даже иногда помогал им, наталкивал на правильный путь в том или другом вопросе. Ведь там, на Востоке, все словно одержимые. Хотят строить в два раза быстрее, чем это в человеческих силах, и, конечно, срываются, и вынуждены начинать сызнова то, что получилось бы само собой, если бы они не торопились. А самое скверное, что они и ему в какой-то мере навязали свои, изматывающие нервы, темпы. Когда-то он обучал одного-двух человек, теперь ему навязывают десятерых, а ведь есть еще своя собственная работа. Боже мой, даже рабочие, самые обыкновенные простые рабочие приходили к нему и, переминаясь с

ноги на ногу, говорили: «Господин доктор Гёппнер... А нельзя ли... Не могли бы мы сделать так-то и так-то, тогда сократился бы такой-то процесс, наш завод выпускал бы больше продукции, и мы на этом сэкономили бы?» Правда, таких рабочих было не очень много; и в большинстве случаев их идеи оказывались нелепыми; хотя все-таки разок или два они набрали на что-то важное, он оценил эти предложения и помог их осуществить. А почему, собственно, и не помочь? Ему не безразличен завод. Он пришел туда совсем мальчишкой, молодым химиком, прямо с университетской скамьи. Во время войны он был свидетелем того, как большую часть завода жестоко разбомбили; на его глазах завод восстанавливали; в этом предприятии частица и его души, особенно в тех сложных агрегатах, которые созданы за последние годы и где огни сверкают на такой высоте, что их видишь издали, даже с автостреды. Их он видел последними по дороге в Берлин — давно ли?.. Несколько дней назад, а кажется, прошла уже целая вечность!

Он провел рукою по лбу, как будто этим можно было отогнать неприятные мысли. Вечные трудности и помехи — вот что там было. А ученый это ученый, и инавольте предоставить ему возможность заниматься наукой, а если к тому же его вынуждают заботиться о производстве, так будьте добры не отвлекать его от работы, не приставать к нему с марксизмом и со всем этим вздором. Однажды заводские начальники даже привезли на завод какого-то своего крупного бонзу и свели его со специалистами; ну и свинью же он им подложил! После его немислимых политических разглаговльствований даже тот, кто не был стопроцентным противником их режима, наверняка стал им, и Бахману чертовски трудно было пресечь язвительные шуточки, которые передавали друг другу после этого собрания.

Бедняга Бахман; в сущности, он порядочный человек. Работает изо всех сил — а во имя чего? Кто скажет ему спасибо? Семнадцатого июня они здорово подвели его — те самые рабочие, для которых он создал ночной санаторий, клуб и столовую, где обеды в два раза лучше, в три раза обильнее и наполовину дешевле тех, которые они получали при старых хозяевах. И все-таки Бахман не переставал убеждать их, ораторствовал до хрипоты, без конца объяснял, что это же из предприятия, они повредят только самим себе, если остановят производство и допустят, чтобы погибли агрегаты. Идиоты! «Будь я рабочим, — думал доктор Гёппнер, — да я бы на коленях благодарил этого Бахмана за все, что он для меня сделал, ведь старый концерн не давал им и сотой доли этих благ. Но в

том-то и дело, что я не рабочий, — думал доктор Гёппнер. — Я ученый, я состою на службе у концерна; масло к хлебу мне дают на той стороне; за каждый день, что я работал на Востоке, концерн вносил во Франкфурте-на-Майне мое жалование на мой текущий счет в банке, и платили не дрянными бумажками, а настоящими деньгами, оттого что, пока я жил на Востоке, я, в сущности, работал на франкфуртских хозяев — сохраняя их имущество, заботился, чтобы производство не останавливалось и чтобы в тот день, когда они вернутся, их завод был на полном ходу. А кроме денег, которые лежат для меня в банке, есть еще пенсия, за это время тоже, наверное, накопилась кругленькая сумма.

Доктор Гёппнер удовлетворенно кивнул. Какое ему дело до Бахмана, пусть Бахман думает о нем что хочет. Бахману и так предстоит еще несколько неприятных сюрпризов — скоро он узнает, что доктор Брунс, доктор Колодный и доктор Пафрат тоже скрылись. Концерн по каким-то причинам отозвал своих специалистов, и у Бахмана остались только мальчишки-практиканты да рабочие.

А что, если Бахман все-таки справится? «Наш завод принадлежит народу, — сказал как-то Бахман, — а мы и есть народ и работаем на самих себя, поэтому нет таких трудностей, которые мы не могли бы преодолеть!»

Этот человек носится с грандиозными планами! Пусть попробует теперь обойтись без доктора Брунса, доктора Колодного, доктора Пафрата, доктора Гёппнера и всех, кто от него сбежал... Народ!.. Давно ли эти люди не умели отличить черное от белого; эти люди не понимают, в чем их счастье; они брюзжат и жалуются, а некоторые так безответственно обращаются с этим своим народным достоянием, что ему, доктору Гёппнеру, приходилось вмешиваться, ведь для него завод — собственность концерна. Только Бахман и те рабочие, которые шли к руководству с предложениями, как сократить какой-нибудь процесс производства и сэкономить несколько пеннигов, они вот — народ...

Это все так сложно; он не мог понять, почему, собственно, эти вопросы его интересуют, почему он ломает себе над ними голову. Ведь все кончено и все пути назад отрезаны.

— Что ты сказал?

Он услышал, как захлопнулась книга, и увидел сына, лежавшего на диване в столовой — одной из комнат, предоставленных Гёппнеру в отеле, — увидел жену, которая сидела у окна и покрывала ногти лаком. Слава богу,

у жены и сына теперь совсем другой вид. Здесь, в Западном Берлине, они прежде всего отправились по магазинам — закупили одежды, в которой не стыдно показаться в цивилизованном обществе, и шикарные чемоданы с выгравированными инициалами: «Др. Ф. Г.» — доктор Фридрих Гёппнер. И обувь. Сумочку для Ангелы и две или три шляпки. Он намеревался приобрести машину — «мерседес», но, поразмыслив, отложил покупку из соображений географического порядка; если из Западного Берлина отправиться в ФРГ на автомобиле, надо, к несчастью, проехать по территории республики, из которой он бежал; кроме того, концерн обещал ему и его семье бесплатные билеты на самолет.

— Я говорю, не сделали мы все-таки ошибку, папа?

— Что с тобой, Гейнц? — вмешалась Ангела. — Зачем ты раздражаешь отца?

— Разве тебе там так уж нравилось? — спросил доктор Гёппнер сына. — А кто постоянно жаловался, что в школе учат не тому, чему нужно, что школьникам надоедают политикой, кто потешался над глупостями «свободной молодежи»? И разве тебе не хотелось носить сорочки и туфли, купленные на Западе, читать западные книги, смотреть западные фильмы?

Сын молчал.

— Я понимаю, тебе было жаль расстаться с друзьями. Но скоро у тебя появятся другие, еще лучше.

— Я хотел стать химиком, как ты, — заметил Гейнц.

— А кто против этого возражает? Университеты есть и на Западе, и у меня хватит денег, чтобы дать тебе возможность учиться, а если ты станешь неплохим специалистом, концерн охотно возьмет тебя на работу.

— Не знаю, — заметил сын, — хочется ли мне еще стать химиком.

Доктор Гёппнер прикусил губу.

— Но почему? — спросил он.

— Не знаю, — сказал Гейнц и снова взялся за книгу.

Доктор Гёппнер вскочил. Следовало влечь сыну хорошую затрепину. Но мальчишка, пожалуй, уже вышел из этого возраста. Гёппнер зашагал из угла в угол. Комната, которая сперва показалась ему такой просторной, с каждым днем становилась все теснее и все больше угнетала его. И все только потому, что его заставляют ждать. Ожидание деморализует. Почему они застряли в Берлине, почему давным-давно не вылетели отсюда? Почему концерн медлит? Он хочет работать,

и только работать, хочет забыться, совершенствовать свой способ, создать новое, знать, что его исследования приносят людям пользу, обогащают их жизнь...

Он остановился. Какое ему дело до людей и их жизни? Он ученый, он служащий концерна, концерн ему платит, и хорошо платит. Остальное его не касается.

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! — гремел голос Шварца.

Шварц был одним из директоров концерна; он возглавлял отдел личного состава, вот почему у него был такой зычный голос и он держался так весело и развязно.

— Первым делом, — продолжал Шварц, — есть приятная новость для вас, доктор Гёппнер. Вы и ваша семья вылетаете завтра вместе с доктором Брунсом и доктором Колодным и их семьями. Мы отправляем вас всех вместе, целый транспорт.

Он засмеялся, потирая руки.

— Ах, вот как, значит, мои коллеги тоже прибыли, — сказал доктор Гёппнер. — Могу я узнать, где они находятся?

Шварц опять засмеялся.

— Мы предпочитаем беседовать с каждым из вас в отдельности. Откровенно и по душам... по душам, — повторил он.

— О, — протянул доктор Гёппнер и огляделся; вся мебель была из дерева медового цвета, мягкие кресла обиты серовато-желтой тканью. — А доктор Пафрат?

— Доктор Пафрат еще не прибыл, — ответил Шварц невозмутимо. Потом указал на двух мужчин, сидевших с ним рядом. — Разрешите представить вам мистера Уитерспуна.

Человек с угловатым черепом и тяжелым взглядом серых глаз коротко кивнул.

— И господина Кандла.

Кандл казался помесью крупного дельца с полицейским чиновником. Он мог сойти за того и за другого.

— Мистер Уитерспун представляет американских акционеров в нашем концерне, — сказал Шварц.

Кого представляет Кандл, он не объяснил.

— А теперь разрешите вам кое-что показать, господин Гёппнер, — продолжал Шварц, пододвинув к нему листок бумаги. — Ваш текущий счет — за вычетом налогов.

Доктор Гёппнер бросил взгляд на бумагу.

— Довольны, господин Гёппнер?

— Да, конечно.



— Чистая прибыль! — воскликнул Шварц. — Чистая прибыль, если учесть, что ваши расходы в течение этих десяти лет оплачивались на Востоке красной братней.

Он опять засмеялся, потирая руки. Потом перестал потирать руки и спросил:

— Ваши документы случайно не при вас, доктор Гёппнер? Ну, там эти... удостоверение личности и тому подобное...

— Я вернул документы.

Молчание.

— А почему вы это сделали? — прервал наконец молчание господин Кандл. У него был хриплый скрипучий голос, куда более высокий, чем можно было ожидать, глядя на его жирное багровое лицо.

— Я не предполагал, что они мне еще понадобятся, — сказал доктор Гёппнер.

Кандл посмотрел на него.

— Ну хорошо, хорошо, — заметил Шварц. — Это не так уж важно. Но, может, вы разрешите кой о чем спросить вас?

— А что, собственно, здесь происходит? Допрос? — удивился доктор Гёппнер.

— Ну что вы! — воскликнул Шварц, выразительно махнув рукой Кандлу. — Просто ваше первое знакомство с представителями нашего и вашего концерна в свободном мире.

— В таком случае позвольте и мне задать вам вопрос.

Шварц пожал плечами.

— Зачем вы меня сюда вызвали? Разве я не так работал? Или совершил какую-нибудь оплошность? У вас есть основания для недовольства? Кажется, все шло гладко, производство расширялось, не слишком быстро и не слишком медленно, я выполнил свой долг, сберег ваше достояние...

— Очевидно, мне придется вам объяснить, — сказал мистер Уитерспун. Он говорил по-немецки правильно, хотя слегка запинался.

Двое других почтительно замолчали.

— Произошли известные события, — продолжал мистер Уитерспун; глаза его были почти закрыты, — и они заставили нас внести кой-какие изменения в наши планы; нам пришлось отсрочить их выполнение, но мы отнюдь от них не отказываемся! — Последние слова он особенно подчеркнул. Затем поднял веки — его взгляд был тверд, как гранит.

— А что же произошло? — спросил доктор Гёппнер.

— Женева! — ответил мистер Уитерспун. — Аденауэр и Москва. Существование... на некоторое время.

Доктор Гёппнер нахмурился.

— Я не совсем понимаю. Если это так, тогда зачем вы нас отозвали — меня, доктора Брунса, доктора Колодного и доктора Пафрата?

— Вам случалось глотать что-нибудь, чем можно подавиться? — спросил мистер Уитерспун.

— Я ведь не ребенок, — сказал доктор Гёппнер.

— Мы тоже не дети, — отпарировал мистер Уитерспун. — Когда видишь, что кусок не лезет в горло, нельзя допускать, чтобы он стал еще больше, — в таких случаях его обрубают.

Шварц засмеялся так, будто ему рассказали необычайно остроумный неприличный анекдот. Кандл оставался безучастным. Доктор Гёппнер вдруг вспомнил о Бахмане, и мысль о том, что Бахмана можно обрубить, показалась ему совершенно смехотворной.

Озеро было сказочным. Все, что его окружало, вы видели дважды: сперва таким, каким оно было на самом деле, и потом опрокинутым в голубом зеркале воды — горы со снеговыми шапками, дома, пальмы.

Терраса отеля повисла над самым берегом. Гейнц был где-то на озере, в одной из парусных лодок, которые медленно скользили по воде. Доктор Гёппнер сидел, потягивая черный итальянский кофе, и смотрел на Ангелу.

— Ты чем-то встревожен... — заметила она.

На солнце Ангела загорела, и морщинки на ее лице, казалось, разгладились. Немного позже, когда начнет играть оркестр, явятся молодые люди и будут приглашать ее танцевать. По крайней мере хоть это хорошо, думал доктор Гёппнер, Ангеле нравится праздная, беспечная жизнь — то, чего им не доставало, когда он работал. Ей нравятся эти мужчины и женщины, у которых только одна цель — весело проводить время и транжирить деньги. Вечером откроются двери казино, и крошечный блестящий шарик, постукивая, побежит по вращающемуся кругу рулетки. Ангела даже иногда что-то выигрывает, и тогда она, как ребенок, восхищенно хлопает в ладоши.

— Отчего ты так встревожен? — спросила она.

— Откуда мне знать, — сказал доктор Гёппнер. — Я слишком много размышляю.

— А ты не размышляй.

— Привычка, милая, — сказал он.

— А о чем ты размышляешь?

Он подлил в чашку кофе и подождал, пока растает сахар.

— Бензин? Октановое число? Бурый уголь? — пошутила Ангела.

— И об этом. Только не это самое главное.

— Тогда что же?

Он посмотрел на озеро, на опрокинутые отражения гор и пальм.

— Секунду назад я подумал о том, что сделали бы они со всем этим?

— Они?

— Да, ты ведь знаешь, кто — *они*!

Она знала. Она часто поражала его своей пронизательностью. Лицо ее омрачилось, и снова обозначились морщинки, темные гусиные лапки в уголках таких знакомых глаз.

— Они уничтожили бы всю эту красоту и радость, — сказала Ангела, — повесили бы над входом в швейцарскую портрет какого-нибудь их знаменитого государственного деятеля, и он назидательно смотрел бы на тебя сверху вниз.

Доктор Гёппнер рассмеялся.

— А над дверью в отель прибили бы красное полотнище со словами: *«Дадим для промышленности больше сырья лучшего качества»* — или что-нибудь другое в этом роде.

— А что плохого, если сырья будет больше и оно будет лучшего качества? Сырья не может быть слишком много.

Ангела словно не слушала.

— И музыка была бы такой скучной! — продолжала она. — А кто сидел бы на этой террасе? Крикливые женщины с ужасными фигурами, в безвкусных платьях. И мужчины в дешевых стандартных костюмах, и они играли бы в глупые игры, смеялись бы над глупыми шутками и пили бы глупые напитки.

— Но кое-кто из них... — начал он.

— А если встретится человек мало-мальски подходящий, — перебила Ангела, — так это непременно специалист, который не решается ни о чем говорить, кроме своей профессии. И надо следить за каждым своим словом, — конечно, если тебя не заслушает громкоговоритель.

— Да, они там несколько неуклюжи, это верно, — согласился доктор Гёппнер.

— А все эти любезные и культурные люди здесь, — продолжала Ангела, — их там бы ни во что не ставили. Их попросту ликвидировали бы — вот что с ними сделали бы!

— А по-моему, они нудные, — заметил он.

Она с опаской оглянулась.

— Думай о том, что говоришь!

Доктор Гёппнер так стукнул по столу, что зазвенели чашки. Ангела удивленно подняла брови.

— Только минуту назад ты заявила мне,— сказал доктор Гёппнер,— что там, на Востоке, надо следить за каждым своим словом.

Она покачала головой.

— И что на тебя нашло? Я просто беспокоюсь за тебя. Ты сказал «нет» тому, что делается там, и был абсолютно прав, а теперь ты и здесь говоришь «нет»!

Лицо его передернулось. Она попала в самое больное место. Он все время придумывал себе всякие «нет», «если бы», «но»; видимо, ему не удавалось приспособиться к той жизни, которую он был вынужден теперь вести.

— Все это происходит потому, что я не работаю.

— Ты достаточно поработал на своем веку. Ты заслужил свой отдых.

— Какой уж тут отдых, если я чувствую себя не на месте и каким-то неприкаянным.

— Как так не на месте?

На мгновение он задумался, потом, сделав неопределенный жест, сказал:

— Видишь ли: и люди на этой террасе, и люди во Франкфурте, да и повсюду здесь,— все эти любезные и культурные люди, *наши* люди, порой кажутся мне нереальными, призраками далекого прошлого...

— Ты с ума сошел!

— Я не удивился бы, если бы это случилось,— сказал он.

Заиграл оркестр. Великолепно одетый, широкоплечий молодой человек с невыразительным лицом, вежливо наклонив голову, попросил у Гёппнера разрешения потанцевать с его дамой. Ангела встала.

На небе не было ни единого облачка.

Если бы комната была поменьше и не так роскошно обставлена и если бы на стенах висели другие картины, можно было бы подумать, что заседание происходит в кабинете у Бахмана.

Хорошо знакомые лица: вечно ворчащий доктор Брунс, доктор Колодный, поблескивающий толстыми стеклами очков под кустистыми седыми бровями, и многие другие, которых знал и ценил доктор Гёппнер,— только изрытого глубокими морщинами, продолговатого, умного лица доктора Пафрата

с его тонкой усмешкой все еще доставало. Концерн здорово очистил бахманскую конюшню. Доктор Гёппнер не ожидал, что так много его коллег работало вместе с ним на заводе и их, как марионеток, дергали за ниточки из Франкфурта.

Это доставило ему некоторое злорадное удовлетворение. Весьма плачевно для Бахмана!.. А кроме всего прочего, это заседание знаменует конец вынужденной безработицы, хоть ее и подсластили путешествием на юг и солнцем. Все эти люди, в том числе и он сам, были первоклассными специалистами, ведущими людьми в своей науке, а вот теперь их направят на разные заводы концерна.

Во главе стола сидели Шварц и мистер Уитерспун, а чуть поодаль неизбежный Кандл.

Шварц произносил речь. Он говорил о верности своему прежнему концерну, которую доказали все присутствующие здесь. Они отлично выполнили свой долг, все они лояльно и преданно, с единодушной дисциплинированностью последовали призыву концерна, покинули свой очаг, к которому, наверное, были привязаны, расстались с друзьями и знакомыми, которых, несомненно, любили, порвали связи, которыми, может быть, пожертвовали с неохотой, и перебрались сюда, на Запад.

«А что нам оставалось делать? — думал доктор Гёппнер с прискорбным недостатком уважения к тем высоким принципам, которые как раз в эти минуты прославлял Шварц. — Если бы мы уклонились, кто-нибудь непременно сообщил бы соответствующим органам, а эти органы весьма недолголюбивают агентов западных концернов. Правда, можно было пойти к Бахману и открыть свои карты. Но в данном случае Бахман был бы не вправе решать самостоятельно; кроме того, деньги лежали во франкфуртском банке — приди и получай, не говоря уже о пенсии, скопившейся за многие годы, — это же обеспечение на всю жизнь!.. Ну, а доктор Пафрат — неужели доктор Пафрат наплевал на все это?»

— Верность за верность! — возгласил Шварц. — Но по отношению к тем служащим концерна, которые, несмотря на самые трудные обстоятельства, продержались там все эти годы, руководство концерна выполнило свои обязательства; выполнило с лихвой. Каждый из присутствующих получил, помимо текущего счета в банке, оплаченный отпуск и возможность совершить приятнейшее путешествие вместе с семьей — такое, о каком на Востоке нельзя было и мечтать. И на какое бы предприятие вас ни направили, каждого ждет дом на одну семью,

новый, со всем современным комфортом, — дом, который можно обставить по собственному вкусу за счет концерна.

Доктор Гёппнер отметил, что в аплодисментах, которыми ответили на речь Шварца, нет того энтузиазма, на какой он вправе был рассчитывать. Путешествие уже позади, а хорошо обставленный дом на одну семью они имели и на Востоке.

— А доктор Пафрат? — осведомился кто-то.

— Доктор Пафрат покинул нас, — сказал Шварц, неприятно задетый.

— Предатель, — заявил Кандл.

— Отступник, — смягчил Шварц. — У него в голове всегда была путаница.

«Предатель, предательство — это оскорбительные слова», — думал доктор Гёппнер. Они встревожили его. Ведь он же знал доктора Пафрата, и знал, что этот человек не был ни предателем, ни отступником. И кого во всей этой истории можно назвать предателем? Не возникает ли тут еще более важный вопрос: по отношению к кому совершается предательство?.. Может быть, в конечном счете по отношению к самому себе?..

Он не успел додумать эту мысль — Шварц заговорил опять.

— Что касается подробностей вашей будущей работы, — сказал Шварц, и его чрезмерно приподнятый тон стал заметно суше, — то, может быть, она не всегда окажется такой, какую тот или иной из вас, господа, хотел бы получить. Ведь в конце концов и мы тут работали, на свой скромный капиталистический лад, — он усмехнулся, — и на каждое местечко нашелся, так сказать, кандидат.

Его взгляд скользнул по сидевшим вокруг покрытого зеленым сукном стола.

— Ну, ну, ну! — воскликнул он. — Пожалуйста, без кислых мин! И вы найдете себе подходящее дело, но не следует забывать, что наши экономические условия отличаются от условий на Востоке и что мы не вправе производить больше, чем можем выгодно сбыть.

— А мое... — начал было доктор Колодный, но прервал себя на полуслове: Шварц энергичным движением руки остановил его.

— Концерн полагает, что большинство из вас могло бы отныне посвятить себя спокойной исследовательской работе. Все наши заводы располагают хорошо оборудованными лабораториями, и мы решили, господа, распределить вас следующим образом...

— Минутку, если разрешите...

— Да, господин доктор Брунс?

Встал низенький человечек с низким лбом, всегда насупленным, как грозовая туча.

— Может быть, здесь и неуместно напоминать об этом,— начал он,— но, откровенно говоря, мы не привыкли, чтоб нам предписывали, чем мы должны заниматься. Там, на Востоке, наш шеф, его фамилия Бахман, имел обыкновение выслушивать нас и обсуждать вместе с нами...

— Вы теперь не там,— прервал его Кандл.

— Ну, ну,— примирительно вмешался Шварц,— поскольку господа привыкли к определенному порядку, мы, пожалуй, могли бы оказать им любезность — в виде исключения, господин Кандл, только в виде исключения! — концерн не отступает от своих принципов. Но подойдем к делу практически, господа, давайте говорить конкретно, у нас время — деньги, и теоретические дискуссии вроде тех, какие вы там вели, не дадут нам дивидендов.

— Ну хорошо, подойдем к вопросу практически,— сказал доктор Брунс.— Возьмем хотя бы доктора Гёппнера. Он работал над способом получения бензина из бурого угля, очень своеобразный, очень оригинальный способ, и бензин первоклассный, с высоким октановым числом. Доктор Гёппнер почти закончил свои исследования. Куда же вы хотите его сунуть?

— Но ведь это же не проблема,— заметил мистер Уитерспун.— Наши лаборатории оборудованы наилучшим образом. Доктор Гёппнер будет продолжать работать над своим изобретением.

— Ах так,— произнес доктор Брунс и сел, однако не вполне успокоившись, хотя и не знал, что еще можно сказать.

Но доктор Гёппнер бросил с места:

— А потом?.. Мне ведь хотелось, чтобы мой способ нашел применение!

— Это уж другой вопрос,— заметил мистер Уитерспун.

— Почему? — спросил доктор Гёппнер.— Разве здесь исследовательская работа ведется в безвоздушном пространстве?

Мистер Уитерспун открыл глаза. Его взгляд был жестким, даже более жестким, чем в тот раз, в Западном Берлине.

— Господин Гёппнер,— сказал он.— Мы не заинтересованы в бензине из бурого угля. Бурый уголь добывают на Востоке.

— Но мой способ практичен и дешев, и бензин из угля с таким высоким октановым числом может конкурировать с любым бензином из нефти...

— Вот именно,— сказал мистер Уитерспун.— Мы хотим использовать свою арабскую и иранскую нефть. Бензин из этой нефти обходится нам дешево.

— В таком случае зачем же работать над моим способом? — спросил доктор Гёппнер и поперхнулся.

— Чтобы вы были довольны, веселы и счастливы,— пояснил мистер Уитерспун и опустил веки.

— Вы сами видите, концерн готов сделать для вас все от него зависящее, хотя в финансовом отношении...— подхватил Шварц.

— Другими словами,— резко прервал его доктор Гёппнер, поднявшись,— вы ставите нас на запасный путь!

Шварц несколько растерялся, однако быстро овладел собой:

— Если вам угодно... Я предпочел бы выразиться так: вы наши стратегические резервы, наши резервы дальнего прицела.

— Резервы — для чего?

— Для того времени, когда мы опять все возьмем в свои руки,— вставил Кандл.— Когда мы вернемся на Восток и отберем свои заводы! — Он тоже поднялся, стараясь придать себе решительный вид бравого вояки, несмотря на куцые ноги.

Доктор Гёппнер взглянул на Кандла. Он и сам не понимал, почему именно в этот миг подумал о Бахмане и что заставило его сказать:

— А почему вы так уверены, что именно вы вернетесь туда и возьмете все в свои руки? Не может ли произойти обратное?

— Мы считаем совещание закрытым,— процедил сквозь зубы мистер Уитерспун.

Потом все трое сидели в опустевшей комнате перед пепельницами, полными окурков.

— Что вы теперь намерены делать с этими людьми? — спросил мистер Уитерспун.

Шварц, от игривой развязности которого не осталось и следа, ничего не ответил. Он сидел усталый и злой.

Кандл стукнул мясистым кулаком по столу:

— Видите, разве я не предупреждал вас!

Его скрипучий визгливый голос заставил Шварца вздрогнуть.

— Я предупреждал вас, что с этими типами оттуда надо быть начеку. Почему-то они там все заражаются. Это как бацилла. И на редкость заразная!



# Эрвин Штрикмантер



## ИЗ ОДНОЙ КОНТОРСКОЙ КНИГИ



не бог весть как образован. И вовсе не потому я уже много лет описываю все, что происходит вокруг и какие удивительные мысли копошатся и бродят в моем мозгу. Я пишу это для того, чтобы самому себе показать, как глуп я был. Мне доставляет удовольствие удостовериться в этом.

Сегодня день, когда я стал таким, каким давно уже был в течение многих лет в своих сокровенных мечтах и каким часто представлялся себе в горделивых сновидениях.

Мои дорогие внуки, если вам когда-нибудь доведется прочитывать эти записки, они вас удивят: меня делает счастливым то, что для вас станет уже совсем обычным. Ваше счастье будет заключаться в чем-то большем. Мне хочется еще немного помучить вас и дать вам некоторое основание покачать головой над вашим глуповатым предком.

Однажды, еще мальчиком, я заработал у школьного учителя записную книжечку. Он подарил мне ее за то, что я всегда первым замечал скворцов. Я сидел в классе у окна и видел их сразу же, как они прилетали на его вишню.

— Кто великие пророки Ветхого завета?

— Скворцы, господин учитель! — крикнул я.

Он схватил дробовик, который в пору созревания вишен всегда стоял заряженным в углу кафедры, и позабыл и о нас, и о пророках: «Бац!» Вот каким образом я получил свою первую записную книжицу. Она была моей полной собственностью. Я мог ставить в ней кляксы или рисовать человечков. Охотнее всего я рисовал их в плащах. Даже тогда, когда на моем рисунке светило солнце с толстыми карандашными лучами. Человечки в плащах доставляли мне меньше труда. У человечков без плащей ноги оказывались приделанными слишком высоко или слишком низко. Это оскорбляло мое чувство красоты, и я был недоволен собою. Как уже сказано, я мог делать с подаренной книжицей все, что хотел, не давая отчета отцу.

Иногда я записывал в этой тетради то, о чем не мог говорить с другими. Например, историю со священником, который отправился на поиски веселья. Он шел из дома соседа Кубачка. Утром он окрестил маленького Кито Кубачка и спрыснул его водой. На крестинах он, вероятно, сам малость спрыснул это событие. Смеркалось. Желая сократить путь к себе, он пошел через луг. Я как раз гнал домой козу. Он пел: «Изыди мое сердце и обряди веселье...» — и при этом подмигивал первым звездам. Звезды тоже мигали, так как было еще довольно светло. При этом его охватило такое веселье, что он позабыл о лягушачьей канаве. Канавка с лягушками шла через весь луг, а священник шел прямо к канаве. Он шлепнулся. Это было как раз в тот момент, когда он воспевал благодать господню. «...за твои, о боже, благо... тьфу, дьявол!» — пел священник. Лягушки тотчас умолкли. Такое случалось у них не каждый день. Я не знал, можно ли смеяться, когда столь святой человек

плюхается в лягушачью канаву. Священник стал выкарабкиваться из канавы. Моя коза взволнованно завиляла огрызком хвоста. Подняла голову и печально заблела. При этом борода ее тряслась. Потом она пустилась наутек. Мне пришлось последовать за ней.

Я записал тогда все, как видел, добавив собственные соображения. А книжицу спрятал на чердаке между стропилами. Однажды соломенную крышу родительского дома решили перекрыть. У меня было хлопот полон рот: надо же мне было наблюдать за кровельщиками! И я проглядел. Да, мою толстую тетрадь с рассказом о священнике нашли. Отец надавал мне оплеух, и вечером мне пришлось пойти спать голодным. Я решительно отрицаю, что это произошло только потому, что оба кровельщика слишком серьезно занялись картошкой в мундире и ложками хлебали мучную подливку.

Свою тетрадь с рассказом о священнике я спрятал в пустой голубятне. Всякий раз, как мне хотелось почитать ее, я лазил туда. Иногда я записывал что-нибудь новое. Все время, пока длился сбор картофеля, мне некогда было позаботиться о спрятанной тетрадке. Между тем молодая пара голубков избрала старую покинутую голубятню себе для гнезда. Она положила туда яйца и высидела птенцов. Они тарасили мне навстречу свои большие влажные глазенки, попискивали и отбивались голыми тельцами и желтыми клювиками, когда я полез наконец посмотреть свою тетрадь с записями. Тетрадь была испачкана и погибла.

Накануне конной ярмарки я наловил слепней. Полную коробку слепней для торговца скотом Юрашка. Они были ему нужны во время ярмарки. Стоило засунуть толстого слепня под хвост или в волосатое ухо старому одру, — и тот пускался рысью и поддавал жару, как молодой конь.

За слепней я получил пятак. На него я купил в сельской лавчонке новую тетрадь. Она была немного выпачкана соком жевательного табака, и мне отдали ее за три пфеннига. В этой тетради я записывал новые истории и рисовал новых человечков в плащах.

Сейчас я провожу толстую синюю черту карандашом по всем, что доверил страницам старой конторской книги. Конторскую книгу мне завещал вязальщик веников Тим. А самому Тиму она была выдана финансовым управлением, чтобы он записывал туда приход и расход. А у Тима не было ни прихода, ни расхода. В финансовом управлении не могли этого понять. Но я знаю вернее верного, что Тим приносил прутья для

веников из леса, потом готовые веники менял на хлеб у булочника, на кусочек сала у крестьянина, на водку у трактирщика. Вдобавок он и писать-то не умел. Чиновникам из финансового управления было много хлопот с Тимом, пока он не умер.

За три дня до смерти он предусмотрительно заказал мне сколотить для себя гроб из половиц ветхой лесной хижины. Старый упрямец настаивал на этом. «Чтобы у них не было со мной никаких хлопот, когда я умру», — твердил он. Я послушался и снял угольником мерку для гроба с живого Тима.

Когда я сейчас перелистываю эту конторскую книгу, меня охватывает такое чувство, будто я вхожу в маленькую сокровищницу моих переживаний. Потрепанная картонная обложка подобна двери. Она не требует замка, эта дверь. Давно миновали времена, когда отца интересовали мои писания с финансовой точки зрения. Кроме того, книга так толста, что если бы мне ею надавали оплеух, у меня повскакивали бы здоровенные шишки, не говоря уже о душевных ранах.

Сегодня воскресный день. Я пускаю кольца дыма из коротенькой трубки. Через окошко под соломенной крышей осень глядит мне в глаза. Она спускается по кленовой аллее, и там, где она коснется листьев своим сотканным из тумана шлейфом, они желтеют и падают на дорогу цветными пятнами.

Что касается карандаша, которым я провел жирную черту под прошедшим, то и у него есть прошлое. Он странствовал вместе со мною. Однажды он нарисовал театральный плакат, на котором представил меня как «Глупого Августа». В другой раз я от скуки исписал им стены тюремной камеры. Он расщеплен на конце оттого, что я изгрыз его в приливе ярости. Это было тогда, когда я писал прощальное письмо Катерине. Она имела надо мною колдовскую власть и своим непостоянством увлекала меня из страны в страну.

Много лет спустя я увидел ее в пивной на коленях у какого-то мужчины. Она узнала меня. Ее глаза вспыхнули. И тут же она погасила их, эти сигнальные огоньки, стопочкой вишневки. И я тоже.

Но вот теперь я должен высказать главное. Мне страстно хочется увидеть это здесь, написанным черным по белому. Я получил землю! Земля перед моим окном, на которую струятся листья ранней осени, принадлежит теперь мне. Когда я пишу об этом, дым валит из моей трубки гуще и живее. Мне хочется удобно откинуться назад и, не менее чем в пятидесятый раз, с наслаждением оглядеть равнину, простирающуюся за окном хибарки.

У меня нет стула со спинкой, на котором это можно проделать; я сижу на табуретке, которая противится этому. Она права, моя табуретка. Только не зазнаваться! Не зря мне сорок лет. Эти сорок лет я не так бездумно крутил ручку своей шарманки, как шарманщик, который вертит тем скорее, чем больше сыплется монет в его шапку.

Нет, я достаточно созрел, чтобы знать: земля не может принадлежать одному человеку. Он — прохожий. И обязан так опекать и обрабатывать ее, чтобы она давала плоды всем.

Так же точно я знаю, что одной чертой в дневнике ничего не сделаешь, потому что все вытекает одно из другого. Глупо думать, будто можно подвести черту под каким-то отрезком жизни, решительно отделить ее от дальнейшего — ведь человек не был бы тем, что он есть, не будь всего предшествующего. Нет, жизнь не знает отрезков, которые отчеркиваются толстым синим карандашом или красными числами календаря.

«Земля, пашня!» Как это звучит! Так сочно! И не весело целую жизнь смотреть, как кругооборот истощает поле перед твоим окном. Ты изучил каждый кустик картофеля, каждый колос ржи. Иногда чешутся руки: хочется пойти и вырвать ярко-желтую сурепку из темно-зеленого овса. У того, кому принадлежит поле под твоим окном, и так всего вдоволь, и к тому же он — белоручка. А у тебя нет пашни, и две мозолистые руки кажутся тебе порой лишними. Ты еще не знаешь, что мог бы этими заскорузлыми руками ударить по холемным рукам тунеядца и поставить все на свое место. Нет, ты предпочитаешь сжать их, засунуть в карманы и ждать. Так бы ты и подох в ожидании, если бы не пришли наконец издалека друзья и не показали тебе, как сделать, чтобы навести порядок.

Вчера вечером мы наконец собрались все вместе. Все, у кого два изголодавшихся по земле глаза и две руки, которые истосковались по лопате.

Вот так же, должно быть, сидели в поле пастухи, когда им возвестили свыше о «Спасителе».

Некоторые из нас поразевали рты, будто тремя дырами лучше слушалось.

Раньше мы все, наверно, ради такого торжественного события вытащили бы из шкафов свое праздничное платье и надели бы белые крахмальные манишки. Вчера мы не могли этого сделать. Война унесла наши праздничные наряды. Мы сгрудились как куча оборванных нищих. Окружной начальник,

который пришел сказать нам, что теперь мы стали новыми крестьянами, шагал по школьной комнате взад и вперед, постукивая деревянными сандалиями.

— Вот здорово, что мне удалось сберечь оба моих алмаза, — сказал Матц лукаво, когда окружной начальник остановился перед нами.

— Алмазы? — спросил начальник и изумленно посмотрел на Матца.

Тот показал свои лапы.

— А что, начальник, разве это не настоящие алмазы?

Уж кому как не Матцу это знать! в прошлую войну он потерял во Франции глаз.

Он часто потом рассказывал на посиделках, как искал его всю ночь напролет. Но ничего не помогло: левая сторона над носом оставалась пустой, и бровь недаром с тех пор так разрослась, что почти закрыла глазицу.

Когда мы из сумеречной школьной комнаты вышли на улицу, Матц вытащил большой красный платок и вытер несколько слезинок, выкатившихся из единственного глаза.

Слезы текли не только от чтения этого замечательного документа.

Все мы вертели эту бумагу в руках и не знали, кого благодарить за случившееся. Если бы нам дали вволю водки и пива, мы бы, пожалуй, сообразили, как быть, а теперь мы молчали друг за другом мимо трактира. Только сам трактирщик нырнул в кабак, пожелав нам «спокойной ночи». Настоящий крестьянин не начнет свой год водкой, или пивом, или гулянкой. Сперва земля должна почувствовать силу наших рук, а потом уж она узнает, что и ноги наши не устали для пляски.

Теперь по воскресеньям повсюду в полях можно увидеть фигуры людей с дымящимися трубками. Руки у них уже не скрещены праздно, как бывало в воскресные дни, нет, они все время в движении. То один нагнется и выдернет что-то, то другой присядет и испытующе просеет землю между пальцами. За некоторыми из них идут следом женщины и дети, и тогда рука мужчины очерчивает в воздухе границы.

Наконец-то, наконец-то видишь улыбающиеся лица!

Я не думаю, что долго усажу на моей табуретке, когда половина деревни прогуливается взад и вперед по пашне.

Пашня, которую отныне мне предстоит обрабатывать, простирается перед моим окном. Но я еще не видел леса, который получил вчера.

Возможно, в нем есть несколько березок с гладкой, как шелк, кожей. Я их любил с детства, они так мне милы, что руки у меня тянутся их погладить.

Я сижу здесь и пишу, и не знаю, какие деревья стоят в моем лесу. Стыд, да и только!

Моя конторская книга исписана. Это я пишу уже на обложке. Завтра я возьму другую. Вот она. Ее первая страница написана на языке, который я не могу прочесть, — вы, внуки мои, наверняка научитесь его понимать. Буквы расплываются, как будто их смочил дождь. Я могу объяснить только кляксу внизу страницы.

Петр по ней наглядно растолковал мне, как должно быть, чтобы в мире все было справедливо.

Я сам испытал, что бывает, когда жирная клякса стоит над многими маленькими, которым приходится съежиться, чтобы найти себе местечко. Теперь я хочу видеть, как маленькие кляксы вылетят роем и подомнут под себя жирных, — это Петр растолковал мне на втором рисунке.

Некоторое время он жил с командиром своей роты в моей лачуге. Когда у него было время, он помогал мне рыть фундамент для моего нового дома. После работы мы славно беседовали у печки. Уезжая на родину, он подарил мне эту книжку. Следующую я заработаю сам. В этом я клянусь! Даю слово — заработаю!

---

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В XIX веке — в особенности во второй его половине — голос Германии в общеевропейском литературном оркестре звучал приглушенно. В те десятилетия, когда реалистическая, социально-критическая проза России, Франции, Англии завладела умами миллионов читателей во всем мире, когда романы, повести, новеллы Тургенева, Достоевского и Толстого, Флобера, Мопассана и Золя, Диккенса и Теккерея отвечали на самые острые вопросы времени, немецкая литература не создала произведений, равных по своему значению, способных стать средоточием духовных интересов современников.

Правда, ходовое представление об упадке немецкой литературы во второй половине XIX столетия все же не вполне справедливо. Советский читатель, к сожалению, незнаком (или очень мало знаком) с наиболее значительными явлениями немецкого критического реализма, с романами Фрица Рейтера, Вильгельма Раабе, Теодора Фонтане и новеллами Теодора Шторма. Эти произведения обладали высокими идейно-художественными достоинствами — сатирической остротой и глубиной социально-психологической типизации. Но и они несли на себе отпечаток известной национальной ограниченности, связанной со специфическими общественными условиями Германии. Характеру конфликтов, постановке проблем недоставало интернациональной широты, что и мешало им достичь международного резонанса.

Новый подъем немецкой литературы (второй после великого столетия от Лессинга до Гейне) и ее активное приобщение к мировому литературному процессу начались в XX веке или — точнее говоря — с конца 80-х годов XIX столетия. Гергарт Гауптман, Рихарда Гух, Якоб Вассерман, Генрих Манн, Томас Манн и другие выдающиеся немецкие писатели вернули германской музы всемирное признание, снова ввели ее в состав интеллектуального ареопага человечества.



Переломная века в истории немецкой литературы совпала с вступлением Германии в эпоху империализма. Последующие десятилетия германской истории озаменовались жесточайшими испытаниями для немецкого народа, небывало острыми общественными конфликтами и потрясениями, революциями и переворотами в государственном строе страны. Германия была разгромлена в первой мировой войне. Пала гогенцоллернговская империя. После пяти лет революционных боев и гражданской войны социалистическая революция была подавлена, и в стране утвердился капиталистический правопорядок. Мировой экономический кризис вызвал страшные бедствия миллионов немецких трудящихся. Веймарская республика сменилась кровавой гитлеровской диктатурой. Развязанная фашизмом вторая мировая война вновь повергла Германию в бездну национальной катастрофы. Под ударами Советской Армии разлетелся вдребезги гитлеровский рейх. На его развалинах в результате длинного и сложного развития возникло два германских государства: миролюбивое социалистическое государство немецких трудящихся — Германская Демократическая Республика — и милитаристско-реваншистское государство, главный очаг военной опасности в Европе — Федеративная Республика Германии.

Жестокый и тревожный дух этой эпохи явственно и многообразно преломился в судьбах немецкой литературы XX века. Он определил ее содержание, он сказался в развитии и изменении ее форм. С особенностями времени, в частности, был связан и подъем новеллы. Многие немецкие писатели и литературоведы придерживаются того мнения, что новелла по своей жанровой природе наиболее близка (сколь бы парадоксальным это ни казалось) не к повести, не к сказке и т. п., а к драме. Не высказывая никаких суждений по существу этой теории, мы можем, во всяком случае, констатировать одно: германская история XX века изобилует тем, что являлось необходимой предпосылкой как драмы, так и новеллы — острыми драматическими коллизиями. И действительно, XX век стал эпохой расцвета обоих этих жанров в немецкой литературе.

Роковые приметы времени глубоко запечатлелись в немецкой новелле. Две мировые войны, в которых погибли миллионы немцев, усиленная ремилитаризация и подготовка к новым боям в так называемые «мирные» годы, — таково было проклятие германской истории на протяжении десятилетий, и эта тема во всевозможных ее преломлениях — сатирическом и лирическом, философском, психологическом и бытовом — проходит через всю немецкую новеллу XX века.

Мастера реалистической новеллы прежде всего стремились сказать суровую и неприкрашенную правду об империалистической войне и тем самым развеять туман бравадно-романтизированных представлений о ней, внушаемых официальной шовинистической пропагандой. Людвиг Ренн, например, в новелле «Поле боя» (как и в своих известных антимилитарист-

ских романах «Война» и «После войны»), беспритязательно рисуя повседневные картины фронтового быта, показал, что империалистическая война отнюдь не подымает человека на высоты героизма и подвига, а напротив — низводит его до уровня зверя, совлекает с него покров цивилизации, разжигая в нем самые низменные чувства и атавистические инстинкты. Пусть не всегда писатели сознательно ставили перед собой такую задачу, но объективно все сколько-нибудь значительное в области новеллы рождалось как бы во внутренней полемике и воспринималось читателем как нечто бесконечно чуждое псевдопатриотическому суесловию о «национальной чести», «воинском долге», «смерти за отечество» и т. п.

Бертольт Брехт в новелле «Раненый Сократ» (исторический сюжет которой несколько не умаляет ее актуального смысла, связанного с общественным опытом XX века) с беспощадным сарказмом высмеял «солдатские добродетели», столь чтимые милитаристами, хотя и решительно противоречащие здравому смыслу, и естественным нормам человеческой морали. Этот рассказ Брехта внутренне связан с новеллой Адама Куккофа «Дезертир»: их роднит общность гуманистической позиции. С тонкой иронией и спокойной улыбкой превосходства развенчивает Куккоф казенную, выпрежную фразу, обнажает интеллектуальное и нравственное ничтожество «солдатской словесности», казарменных представлений о чести и героизме.

В несколько ином ракурсе повернута антивоенная тема в новеллах Генриха Манна «Стэрни» и Эриха Кестнера «Дуэль под Дрезденом». В этих новеллах — с поразительно совпадающими, кстати, сюжетными мотивами — интерес авторов прикован к социально-психологическому типу, непосредственно воплотившему в себе все отвратительные черты германского милитаризма. Это роковая в германской истории XX века фигура, ублюдок прусской офицерской касты, убийца по призванию, человек с психологией ландскнехта и душой сутенера. На казарменном плацу он — садист и палач, а в гражданском состоянии — волонтер любых фашистских политических авантур и уголовных преступлений.

Впрочем, немецкая новелла, связанная с впечатлениями первой мировой войны, сохранила не только образы мясников великой бойни и их покорных жертв. Изобразив в рассказе «Солдат из Ла-Сьота» печальный и загадочный феномен — «проказу терпения», якобы неизлечимую болезнь беспрекословного солдатского повиновения, Б. Брехт закончил вопросом: «А может быть, она все-таки исцелима?» Первые симптомы пробуждения сознания солдат, первые признаки их исцеления от покорной готовности умирать за чужие интересы легкими штрихами наметил Фридрих Вольф в новелле «Огоньки над окопами». А Леонгард Франк в написанном еще во время войны в эмиграции рассказе «Отец» нарисовал картину стихийного возмущения, внезапного и мгновенного, словно вспышка молнии,

восстания душ человеческих против братоубийственной войны. Новелла Л. Франка — произведение не реалистическое, а экспрессионистское, достоинства ее не в трезвом понимании реальных отношений действительности, а в мощи нравственного негодования, аккумулированного в душе писателя и с огромной силой обращенного к чувству, и сознанию других людей.

На рубеже 20—30-х годов антивоенная тема в немецкой новелле начинает переплетаться с антифашистской. Еще за несколько лет до воцарения гитлеризма в Германии Томас Манн угадал страшную опасность, нависшую над человечеством. В новелле «Марко и волшебник» великий немецкий писатель уловил не только рассеянные в повседневном итальянском быту, лежащие на поверхности приметы фашизма — шовинистическую спесь, нелепые и отвратительные претензии вульгарного мещанина, возмнившего себя Цезарем, демагогическое искусство одурманивания масс, — но и более сокровенно выражающие его духовную сущность черты: циничное человеконенавистничество, разгул демонических страстей, воинствующий антирационализм...

Немецкая новелла запечатлела все многообразные аспекты национальной трагедии, связанной с двенадцатилетним господством нацизма и второй мировой войной. Лион Фейхтвангер в новелле «Верный Петер» ярко продемонстрировал нерасчленимый симбиоз прусского милитаризма и гитлеровского фашизма. Позорный акт передачи престарелым Гинденбургом государственной власти в руки Гитлера поднят в этой новелле на высоту символического обобщения. Рудольф Леонгард («Еврейский мальчик»), Анна Зегерс («Квадрат»), Вилли Бредель («Переселенец») и другие показали звериное обличье фашизма, его бесчеловечный террор и гнусные расовые преследования, бездонную мерзость насаждаемых им нравов, изощренную изобретательность в глумлении над человеком...

Но немецкие писатели отразили в своих новеллах также и акты антифашистского Сопротивления. Анна Зегерс («Последний путь Коломана Вальлиша», «Сорок лет Маргареты Вольф»), Вилли Бредель («Отпуск на родину»), Бодо Узе («Мотоцикл») и другие рассказали о том, как в горниле жизни крепнет воля и закаляется сознание, как в силу самых различных и часто неожиданных причин люди — иногда импульсивно, а иногда по зрелом размышлении — выходят из состояния апатии и пассивности и поднимаются на борьбу с фашизмом.

Художническая честность писателей-реалистов, их верность действительности не позволяла им преувеличивать масштабы и степень массовости антифашистского Сопротивления в Германии. Стефан Херmlin в новелле «Путь большевиков» изобразил подвиг беспримерного коллективного мужества, организованное восстание в гитлеровском лагере смерти и массовый побег. Но характерно, герои этого акта антифашистской борь-

бы — советские военнопленные, офицеры, политработники... Немецким коммунистам не удалось придать Сопротивлению форму массовых организованных выступлений — демонстраций, забастовок, партизанской борьбы, вооруженного восстания. Вольфганг Йохс в рассказе «Так было девятого мая» описывает то состояние апатии и безучастности, в котором немецких обывателей застало известие о конце войны и фашизма. Лишь небольшая горстка антифашистов, оказавшихся практически бессильными в борьбе против ненавистного режима, отдает себе отчет в трагическом значении того факта, что фашизм не был свергнут в результате революции. «Мы ничего не сделали, — с горечью восклицает антифашист Янцен, — значит, не мы завоевали эту победу. И то, что она завоевана не нами, мы будем чувствовать еще долгие и долгие годы».

Вторая мировая война нашла отражение в немецкой новелле преимущественно уже в послевоенные годы. В Западной Германии возникло литературное направление (критики обычно называют его «поколением вернувшихся», или «военной литературой», или «литературой развалин»), для представителей которого фашистское варварство и кровавая бессмыслица войны были главным источником жизненных впечатлений, претворяемых ими в художественное творчество. Новеллы безвременно умершего Вольфганга Борхерта («Рассказы из хрестоматии», «Бледнолицый брат мой», «Ведь ночью крысы спят») и широко популярного в нашей стране Генриха Бёлля («Путник, когда ты придешь в Спа...», «Балаган!») дают достаточно ясное представление об идейно-художественном облике антифашистской и антимилитаристской литературы в ФРГ.

Но наряду с темой расчёта с фашистским и военным прошлым в послевоенной немецкой литературе все отчетливее сказывается стремление изобразить современную германскую действительность, понять и выразить сложные, запутанные тенденции ее социального развития и контрастные очертания двух государств, образовавшихся на территории прежде единой Германии. Два разных мира предстают перед читателем в новеллах Генриха Бёлля («Как в плохих романах») или Герта Ледига («Погоня»), с одной стороны, и в рассказе Эрвина Штрिटтматтера «Из одной конторской книги» — с другой: мир, где идол наживы развращает и деформирует человеческие души, где продажность становится нормой поведения, где полицейский террор против сторонников мира и социального прогресса заставляет вспоминать о черных днях фашизма, и другой мир, в котором социалистические общественные преобразования влекут за собой благотворные изменения в психике людей, рождение нового неловеческого сознания.

Особой выразительности тема двух Германий — двух миров — достигает в новелле Стефана Гейма «Бацилла». Превращения, которые происходят в сознании людей (даже отнюдь не самых передовых) под влиянием разумных и справедливых начал социалистического строя оказываются

необратимыми. Все соблазны и приманки капиталистического мира бес-  
силны перед тем, что дал герою новый общественный уклад, перед его  
пробудившимся человеческим достоинством и сознанием своих граждан-  
ских прав.

В заключение несколько пояснительных замечаний, касающихся  
состава предлагаемой читателю антологии.

Под немецкой новеллой XX века составитель понимал не всю новел-  
листику, немецкой литературы, а лишь произведения новеллистиче-  
ского жанра, относящиеся к литературе немецкого народа. Отказываясь от  
включения в антологию новелл, принадлежащих перу австрийских (Артур  
Шницлер, Гуго фон Гофмансталь, Франц Верфель, Стефан Цвейг, Роберт  
Музиль, Иозеф Рот и др.) и швейцарских (Герман Гессе, Фридрих Дюр-  
ренматт, Макс Фриш и др.) писателей, мы неизбежно шли на определенные  
потери, но исходили при этом из того абсолютно правильного, как мы счи-  
таем, положения, что в XX веке немецкая, австрийская и швейцарская ли-  
тературы не составляют единого целого и не принадлежат к единой наци-  
ональной культуре.

Главную свою задачу составитель видел в том, чтобы познакомить  
советского читателя с безусловно заслуживающими его внимания, но  
неизвестными, мало известными или забытыми представителями немецкой  
новеллистики XX века. Чтобы не исказить общую историко-литератур-  
ную картину, составитель, разумеется, включил в антологию также и  
рассказы таких выдающихся и хорошо известных в нашей стране мастеров,  
как Генрих Манн, Томас Манн, Арнольд Цвейг, Леонгард Франк и дру-  
гие. Но при этом мы сознательно несколько сместили масштабы и про-  
порции, чтобы иметь возможность предложить советскому читателю  
больше таких новелл, которые он вряд ли найдет в других изданиях на  
русском языке.

Составитель стремился отобрать наиболее значительные произведения  
немецкой новеллистики за весь XX век, а не за последние десять — пят-  
надцать лет. Он хотел бы собрать в настоящей книге лишь то, что выдер-  
жало испытание временем. Поэтому писатели ГДР и ФРГ, ступившие на  
путь литературного творчества после второй мировой войны, представ-  
лены лишь немногими именами и новеллами. Текущая немецкая новел-  
листика в гораздо большем объеме входит в сборники, периодически изда-  
ваемые Издательством иностранной литературы.

*И. Фрадкин*

## СПРАВКИ О ПИСАТЕЛЯХ

**Гауптман Гергарт** (1862—1946) — крупнейший немецкий драматург, пьесы которого на рубеже двух столетий обошли сцены всего мира. Выходец из крестьянской среды, уроженец Силезии, Гергарт Гауптман, один из представителей «последовательного натурализма», прошел сложный творческий путь. В своих лучших произведениях, в ранней пьесе «Ткачи» (1893), получившей высокую оценку Ленина, в комедии «Бобровая шуба», в драме позднего периода «Перед заходом солнца» (1932) Гауптман поднимался к вершинам реализма. В годы гитлеризма престарелый писатель создал произведения с антифашистским подтекстом — поэму «Великий сон», пьесу «Тьма» и другие. Гауптман был не только драматургом, но поэтом и прозаиком.

Новелла «Карнавал» написана в 1887 году.

**Гух Рикарда** (1864—1947) — известная писательница, представительница «неоромантизма», в последние годы творчества писала преимущественно на исторические темы.

В 1933 году, в знак протеста против фашизации Германии, Рикарда Гух вышла из прусской Академии литературы. После разгрома гитлеризма писательница принимала активное участие в работе Культурбунда и в 1947 году была избрана почетным председателем Первого съезда немецких писателей.

Самые известные произведения Гух — роман «Воспоминания Лудольфа Урслея младшего» (1893) и «Рассказы о Гарибальди» (1906—1907).

Новелла «Певец» написана в 1920 году.

**Вассерман Якоб** (1873—1934) — известный немецкий писатель-реалист. Выходец из буржуазной семьи, Вассерман рано осиротел и прошел тяжелую школу жизни: был фабричным рабочим, мелким служащим, изведал нищету и голод.

В середине 90-х годов Вассерман стал сотрудником прогрессивного сатирического журнала «Симплициссимус».

Вассерман принадлежал к плеяде критических реалистов нашего века. Однако в его произведениях временами ощутимо влияние декаданса. Основная проблема творчества Вассермана — столкновение сильной, не испорченной цивилизацией личности с алчным капиталистическим обществом.

Вассерману принадлежит много произведений, посвященных современной ему Германии, а также написанных на исторические темы. Наиболее известные романы Вассермана «Каспар Гаузер» (1908), «Человечек с гусями» (1915), «Дело Маурициуса» (1928).

Новелла «Золото Кахамарки» (1923) является одним из лучших произведений Вассермана.

**Манн Генрих** (1871—1950) — один из крупнейших немецких писателей XX века. Потомок старинной патрицианской семьи, Г. Манн получил образование в Германии, много путешествовал, подолгу жил за границей, особенно в Италии и во Франции. Живо интересовался передовыми течениями общественной мысли.

Связанный семейными традициями с буржуазной культурой, Генрих Манн тем не менее встал в резкую оппозицию к буржуазному миру. Когда началась первая мировая война, Г. Манн, так же как Ромен Роллан и Барбюс, поднял голос протеста против кровавой бойни, развязанной империалистами.

Общественный деятель и антимилитарист, Генрих Манн был пламенным борцом за мир и мужественным антифашистом.

Вынужденный бежать от гитлеровцев, которые внесли его имя в проскрипционные списки, Генрих Манн и на чужбине продолжал бороться с империалистической реакцией. До конца дней своих он был верным другом Советского Союза.

Наиболее значительные произведения Генриха Манна — романы «Учитель Гнус» (1905), «Верноподданный» (1914), «Молодые годы короля Генриха IV» (1935), «Зрелые годы короля Генриха IV» (1938).

**Манн Томас** (1875—1955) — выдающийся писатель-реалист XX века.

В студенческие годы Томас Манн посещал университет в Мюнхене, изучал литературу, историю, философию, занимался искусством и музыкой. Много путешествовал по Италии, Франции, Швейцарии.

Появление первого романа писателя «Будденброки» (1901) принесло ему мировое признание.

Свидетель грандиозных социальных потрясений, Томас Манн создал произведения, в которых с большой философской глубиной показал духовную жизнь своего времени.

Эмигрировав в 1933 году во Францию, уже в преклонном возрасте, писатель развил огромную общественную антифашистскую деятельность. Особую популярность в годы войны приобрели его выступления по радио «К немецким слушателям».

После окончания войны писатель неизменно выступал в защиту мира и прогресса.

Новеллы Томаса Манна, так же как его романы «Будденброки» (1901), «Волшебная гора» (1924), «Доктор Фаустус» (1947), занимают весьма значительное место в мировой литературе.

Новелла «Счастье» написана в 1904 году; новелла «Марио и волшебник» — в 1930 году.

**Келлерман Бернард** (1879—1951) — сын небогатого служащего, окончил технический институт в Мюнхене. Отказавшись от работы по специальности, Келлерман посвятил себя писательской деятельности, много путешествовал по Европе, Америке, Азии.

Во время первой мировой войны Келлерман вначале поддался шовинистическим настроениям. Однако впечатления фронта — он был военным корреспондентом — превратили его в убежденного антимилитариста. Оставшись в Германии в годы фашизма, Келлерман не пошел, однако, в своем творчестве на уступки гитлеровской пропаганде и с полным правом мог считаться «внутренним эмигрантом».

Мировой успех принес Келлерману роман «Туннель», опубликованный в 1913 году, в котором писатель дал критическое изображение американского империализма. В 1920 году он опубликовал свой роман «9 ноября» о Ноябрьской революции в Германии. Одно из самых значительных произведений Келлермана — его последний роман «Пляска смерти» (1948), где писатель разоблачил бесчеловечность германского фашизма.

Келлерман был явным членом Культурбунда и принимал активное участие в строительстве новой, демократической Германии.

**Цвейг Арнольд** (род. в 1887). В начале первой мировой войны Арнольд Цвейг, тогда студент-филолог, был призван в армию в качестве строевого солдата и прошел всю войну.

С тех пор А. Цвейг посвятил свое творчество разоблачению империалистических войн.

Послевоенные произведения Арнольда Цвейга составляют цикл «Великая война белых людей», куда вошли романы «Спор об утере Грише» (1928), «Воспитание под Верденом» (1935).

После прихода к власти фашизма Арнольд Цвейг вынужден был эмигрировать. Вернувшись на родину, он принимает самое активное участие в строительстве социализма в ГДР. Арнольд Цвейг удостоен Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».



**Франк Леонгард** (1882—1961). Сын рабочего-столяра, Л. Франк вырос в жестокой нищете. Уже с детства он вынужден был зарабатывать на хлеб; был фабричным рабочим, шофером, маляром, санитаром. Знания приобрел самоучкой.

С начала первой мировой войны Л. Франк занял резко антимилитаристскую позицию и вынужден был уехать в Швейцарию. Здесь, в эмиграции, он написал свою известную книгу «Человек добр» — страстное воззвание против войны.

Вернувшись на родину, Л. Франк, открытый и непримиримый антифашист, вынужден был в 1933 году снова эмигрировать.

В начале второй мировой войны Л. Франк, находившийся во Франции, был арестован и заключен в лагерь. Но ему удалось бежать и перебраться в Америку. Вернувшись в 1955 году в Германию, Л. Франк принял активнейшее участие в движении за мир.

Наиболее известные произведения Л. Франка — роман «Разбойники» (1914), «Оксенфуртский мужской квартет» (1927), «Из трех миллионов три» (1932), «Слева, где сердце» (1952).

Новелла «В последнем вагоне» написана в 1925 году; новелла «Отец» — в 1915 году.

**Клабунд** (настоящее имя Гепшке Альфред; 1890—1928) — писатель-экспрессионист.

Известность Клабунд приобрел как поэт и главным образом как переводчик восточной поэзии (преимущественно китайской).

Менее известны его большие исторические романы и пьесы.

Сборник антивоенных новелл Клабунда «Тележка маркитантки» вышел в 1915 году.

**Деблин Альфред** (1878—1957) — сын ремесленника, медик по образованию. Деблин долгие годы работал врачом страховой кассы в восточном районе Берлина. Там он почерпнул впечатления, легшие в основу его произведений о жизни социального «дна». В качестве врача он участвовал и в первой мировой войне.

В 1933 году книги Деблина, примыкавшего к левому крылу экспрессионистов, были уничтожены фашистами. Самому писателю пришлось спастись бегством.

В 1945 году Деблин вернулся в Германию. Однако, будучи редактором и сотрудником газеты, Деблин навлек на себя гнев западногерманских властей и эмигрировал во Францию.

Наиболее известные произведения Деблина — роман из истории Китая «Три прыжка Ван Луня» (1915), роман-утопия «Горы, моря и гиганты» (1924) и роман «Берлин — Александерплац» (1929).

**Цех Пауль** (1881—1946) — поэт, прозаик и драматург; в своем творчестве был тесно связан с экспрессионизмом. Вырос в промышленном районе Германии и сам работал шахтером не только в Германии, но и во Франции, в Бельгии. В 1933 году Цех был заключен фашистами в лагерь, книги его были сожжены. Цеху с трудом удалось выбраться из Германии.

Судьба эмигранта привела его в Чили, где он основал антифашистскую газету «Дейтше Блеттер». Здесь в его поэзию и прозу вошли темы из истории народов Южной Америки.

Новелла «Деревня без мужчин» написана в 1935 году.

**Леонгард Рудольф** (1889—1953) — писатель-экспрессионист, выходец из буржуазной семьи. В 1914 году Леонгард добровольцем отправился на фронт, однако вскоре в качестве явного и непримиримого противника войны он предстал перед военно-полевым судом.

Р. Леонгард активно участвовал в революции 1918 года. В 20-е годы писал пьесы, проникнутые духом социальной критики. В 30-х годах он, живя во Франции, развил активную антифашистскую деятельность, был организатором «Союза в защиту немецких писателей-эмигрантов» и помог сохранить жизнь многим революционным писателям.

Как только началась вторая мировая война, Р. Леонгард был интернирован, бежал из лагеря и участвовал во французском движении Сопротивления.

Важной страницей в политической и творческой деятельности Р. Леонгарда является цикл его стихов «Германия должна жить» (1944). Изданные под псевдонимом Роберта Ланцера, стихи эти в качестве листовок распространялись среди солдат фашистской армии.

Рассказ «Еврейский мальчик» был написан в 1936 году.

**Вольф Фридрих** (1888—1953) — известный немецкий писатель. В качестве врача участвовал в первой мировой войне.

Участник революции 1918 года, член Дрезденского совета рабочих и солдатских депутатов, Вольф принимал участие в подавлении реакционно-капповского путча.

В 1933 году Вольф, член КПП, эмигрировал из Германии. Активный антифашист, Вольф был одним из деятелей национального комитета «Свободная Германия».

Вольф был одним из ведущих драматургов Германии. Многие его пьесы приобрели международную популярность. Таковы «Матросы из Каттаро» (1930), «Профессор Мамлок» (1934), где писатель дал яркую картину бесчеловечных расовых преследований в фашистской Германии, и многие другие.

**Брехт Бертольт** (1898—1956) — выдающийся революционный немецкий драматург, поэт, прозаик и публицист. В годы первой мировой войны студент Брехт служил санитаром в военном госпитале.

Брехт — активный пропагандист идей марксизма-ленинизма, борец против империалистической реакции — после захвата власти Гитлером, в 1933 году, вынужден был покинуть Германию. Его стихи, пьесы, «Трехгрошовый роман», «Матушка Кураж и ее дети», «Жизнь Галилея», рассказы, а также его театральная деятельность принесли ему мировую известность. С 1949 года Брехт был ведущим драматургом и режиссером созданного им театра «Берлинский ансамбль». Бертольт Брехт лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

**Фейхтвангер Лион** (1884—1958) — сын фабриканта, получил обширное гуманитарное образование, много путешествовал. Свою литературную деятельность Фейхтвангер начал в качестве театрального рецензента. В 1933 году эмигрировал во Францию. Совместно с Брехтом и Бределем Лион Фейхтвангер основал антифашистский журнал «Дас Ворт», выходивший в Советском Союзе. В 1937 году приезжал в Советский Союз.

Во Франции Фейхтвангер был интернирован, бежал из лагеря и уехал в США. Мировую известность Фейхтвангер приобрел как автор романов на исторические темы: «Безобразная герцогиня» (1923), «Еврей Зюсс» (1925), «Гойя» (1951) — и на современные: «Успех» (1930), «Семья Оппенгейм» (1933), «Игнание» (1940).

Рассказы и новеллы Фейхтвангера составили два тома: «Марианна в Индии» (1934) и «Одиссей и свиньи» (1949).

Рассказ «Броненосец «Цотемкин», который входит в роман «Успех», написан в 1929 году; рассказ «Верный Петер» — в 1935 году.

**Ренн Людвиг** (настоящее имя Арнольд Фит фон Гольсенау; род. в 1889) — один из основоположников современной немецкой революционной литературы. Дворянин по рождению, офицер, командир батальона во время первой мировой войны, Ренн порвал со своим классом, перешел на сторону борющегося пролетариата и вступил в ряды КППГ. Член «Союза красных фронтовиков», секретарь «Союза пролетарских революционных писателей», главный редактор ряда коммунистических изданий, Ренн был арестован в ночь поджога рейхстага и брошен в тюрьму.

В 1936 году Ренну удалось бежать из Германии через Швейцарию в Испанию. Он был командиром батальона имени Тельмана и начальником штаба XI интернациональной бригады. Перейдя после поражения республиканцев французскую границу, Ренн был заключен в концентрационный лагерь. После бегства из лагеря Ренн скрывался в Париже, затем нелегально уехал в Мексику. В настоящее время живет в ГДР.

Романы Л. Ренна, имевшие мировой успех, «Война» (1928) и «После войны» (1930) дали читателям верную и реалистическую картину первой мировой войны и Германии послевоенного периода.

**Кестнер Эрих** (род. в 1899) — начал свою литературную деятельность как критик левого направления, принимал участие в руководстве леводемократической газеты «Нойе лейпцигер Цейтунг».

Кестнер известен главным образом как поэт-сатирик, выступающий против милитаризма и фашизма. В 30-е годы большой известностью пользовался его сатирический роман «Фабрикант» (1931), в котором описывались нравы берлинского буржуазного общества. Особую популярность приобрели книги Кестнера для детей.

**Фаллада Ганс** (настоящее имя Рудольф Дитцен; 1893—1947) — один из крупнейших мастеров критического реализма в Германии. В своих произведениях Фаллада ярко изображал жизнь крестьян и городского мещанства. Известность доставил писателю роман начала 30-х годов «Что же дальше, маленький человек?», в котором показаны Германия накануне прихода к власти фашизма и трагедия маленьких людей, лишенных надежды на человеческое существование. Искренне сочувствуя обездоленным, Фаллада в то же время занимал нечеткие идейные позиции.

После фашистского переворота Фаллада остался в Германии и продолжал создавать произведения о «маленьких людях», стараясь не касаться в них острых политических и социальных вопросов.

В 1947 году Фаллада опубликовал свой сильнейший антифашистский роман «Каждый умирает в одиночку».

**Зегерс Анна** (настоящее имя Нетти Рейлинг; род. в 1900) — выдающийся писатель-прозаик. Дочь искусствоведа, Анна Зегерс получила обширное гуманитарное образование.

В 1933 году Анна Зегерс, член КПГ, была арестована. Ей удалось бежать во Францию, где она принимала деятельное участие в консолидации антифашистских сил. После вторжения фашистских войск в Париж А. Зегерс бежала в Мексику. В 1947 году она возвратилась на родину и приняла активное участие в культурном строительстве ГДР. Анна Зегерс — член Президиума Всемирного конгресса мира, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и Национальной премии ГДР.

Высокое мастерство А. Зегерс, впитавшей лучшие традиции критического реализма, позволило ей создать выдающиеся произведения социалистического реализма. В ее романах и рассказах нашла художественное отображение история борьбы немецкого и мирового пролетариата.

Романы А. Зегерс: «Спутники» (1932) — о революционной эмиграции 20-х годов, «Путь через февраль» (1935), где изображено восстание австрийского пролетариата, «Седьмой крест» (1942) — яркая картина антифашистской борьбы, «Транзит» (1943) — о мытарствах антифашистских эмигрантов, «Мертвые остаются молодыми» (1949), в котором запечатлена история Германии нашего века, — получили мировую известность.

«Последний путь Коломана Валлиша» опубликован в 1934 году; «Квадрат» в 1953 году, «Сорок лет Маргареты Вольф» в 1957 году.

**Мархвица Ганс** (род. в 1890) — один из видных пролетарских писателей.

Потомственный шахтер, работавший в Руре, Мархвица был призван в 1915 году и в качестве рядового отправлен на фронт. Вернувшись с войны, Мархвица принял участие в восстании рурских горняков 1920 года. После захвата Гитлером власти Мархвица, коммунист, корреспондент рабочей печати, вынужден был эмигрировать. Он дрался в Испании в рядах интернациональных бригад, в 1938 году перешел французскую границу, был интернирован и заключен в лагерь. Затем бежал в США, где работал на дорожном строительстве чернорабочим. В 1946 году Мархвица вернулся в Германию. Он принимает самое активное участие в жизни и строительстве ГДР.

Наиболее известные произведения Мархвицы: «Штурм Эссена» (1930), «Борьба за уголь» (1931), трилогия «Кумиак» (1934—1948) — история пролетарской семьи — и автобиографический роман «Моя юность» (1947).

Наиболее значительные рассказы Мархвицы вошли в сборники «Я потерял под Верденом бога» (1932) и «Между нами. Рассказы из далекого и близкого» (1955).

**Шаррер Адам** (1889—1948) — сын пастуха, приобрел профессию слесаря. В долгих поисках работы исходил Германию, Австрию, Швейцарию и Италию. Потом работал на верфях в Киле и в Гамбурге.

Во время первой мировой войны Шаррера в качестве пехотинца отправили на фронт. Будучи членом союза «Спартак», он принимал участие в революционном восстании 1919 года, затем вступил в КППГ. После опубликования первых произведений был привлечен к суду, по обвинению в «государственной измене». В 1933 году эмигрировал из Германии.

Произведения Шаррера посвящены изображению жизни трудящихся. Шаррер — один из самых ярких бытописателей немецкой деревни. Наиболее известны романы Шаррера «Кроты» (1934), о баварской деревне, и «Семья Шуман» (1937) — о судьбе простой женщины, которая стала активным участником Сопротивления.

В 1948 году вышел сборник деревенских рассказов Шаррера.

**Граф Оскар Мария** (род. в 1894) — сын пекаря, прошел яркий жизненный путь. Переменил множество профессий, был пекарем, рабочим, учителем.

Оказавшись на фронте во время первой мировой войны, Граф был приговорен к расстрелу за неподчинение приказу, и чудом остался жив. Он принимал самое деятельное участие в революционной борьбе рабочего класса, в забастовках и демонстрациях, неоднократно был арестован.

В 1933 году в эмиграции Граф опубликовал свой знаменитый антифашистский памфлет «Сожгите меня!», после чего гитлеровское правительство лишило Графа германского гражданства, все книги его были запрещены.

Произведения Графа, написанные сочным народным языком, нередко носят автобиографический характер. Наиболее известны романы Графа «Мы арестанты» (1927), «Антон Зиттинген» (1937), «Жизнь моей матери» (1945).

Рассказы Графа, вошедшие в сборники «Рассказы из календаря» (1929), «Спутники» (1947) — реалистические и яркие произведения, написанные на основании лично пережитого. В них ощущается глубокое проникновение писателя в народную жизнь.

**Вайскопф Франц Карл** (1900—1955) — сын немецкого чиновника, уроженец Праги. Во время первой мировой войны студент Вайскопф был призван в австро-венгерскую армию. Вернувшись на родину, примкнул к движению чешского студенчества и вместе с Юлиусом Фучиком редактировал левосоциалистическую студенческую газету «Авангард». В 1921 году вступил в Компартию Чехословакии. После того как Вайскопфа неоднократно арестовывали и привлекали к суду, по обвинению в «государственной измене», он переехал в Берлин. Однако в 1933 году гитлеровские власти выслали Вайскопфа из Германии. Наступили долгие годы эмиграции, скитаний по Европе и Америке. После разгрома гитлеровской Германии Вайскопф был долгое время на дипломатической работе в США, в Швеции и в Китае. С 1953 года вместе с Бределем редактировал журнал «Нойе дейтше Литератур».

Широко известны романы Вайскопфа «Лисси, или Искушение» (1937), «Небесная команда» (1944). Большой цикл его произведений, посвященный прошлому и настоящему Чехословакии, остался незавершенным.

Вайскопф был талантливым публицистом, эссеистом и новеллистом. Интересен сборник его рассказов-анекдотов (1954—1959).

Рассказ «Мечта парикмахера Цимбуры» написан в 1930 году.

**Турек Людвиг** (род. в 1898) — писатель-прозаик. Выходец из рабочей среды, провел тяжелую юность. Он был батраком, рабочим, матросом. В КИГ Турек состоит с момента ее основания, принимал участие в подавлении реакционного капповского путча.

Первая автобиографическая книга Турека «Рассказывает пролетарий» вызвала всеобщий интерес.

Во времена гитлеризма Турек оставался в Германии на подпольной работе.

В 1959 году был издан сборник Турека «Бегство зеленолищега». В него вошли рассказы, отражающие различные моменты из истории Германии, начиная с первой мировой войны, кончая событиями 50-х годов.

Рассказ «Жизнь и смерть моего брата Рудольфа» опубликован в 1930 году.

**Травен Бруно** (род. около 1895 — год смерти неизвестен). Травен тщательно скрывал свое происхождение, имя и местопребывание. Сейчас установлено, что он немец, до 1918 года был актером и журналистом, писавшим под псевдонимом Рет Марут. Принимал участие в революции в Баварии и после разгрома Баварской республики бежал в Южную Америку. Травен прожил жизнь, полную ярчайших впечатлений.

Травен написал много романов, объединенных в цикл под названием «В стране красного дерева». В них описан период жестокой диктатуры ставленника иностранного капитала Порфирио Диаса и первые годы мексиканской революции. Многие из своеобразных романов Б. Травена дали сюжеты для кинофильмов.

Новеллы Травена — их немного — построены преимущественно на индейском фольклоре.

Рассказ «Обращение индейцев» опубликован в 1930 году.

**Бредель Вилли** (род. в 1901) — сын рабочего, в юности работал токарем на гамбургских верфях. Член союза «Спартака», Бредель вступил в Компартию Германии с момента ее основания. За участие в Октябрьском восстании гамбургских рабочих 1923 года Бредель был приговорен к двум годам тюремного заключения. В тюрьме он написал свои первые произведения. Освобожденный по амнистии, Бредель стал моряком, совершил далекие путешествия, побывал в Португалии, Испании, Северной Африке. По обвинению в «государственной измене» писатель был вновь арестован, а после прихода к власти Гитлера заключен в концентрационный лагерь.

Роман «Испытание», вышедший в 1935 году, был написан как свидетельство лично пережитого в фашистских застенках.

Бределю удалось выбраться из лагеря и бежать из Германии. Приехав в Москву, Бредель вместе с Брехтом и Фейхтвангером был одним из издателей антифашистского журнала «Дас Ворт».

В 1937—1939 годах Бредель в качестве комиссара интернациональных бригад сражался в Испании за свободу испанского народа. Эта борьба запечатлена им в книге «Встречи на Эбро» (1939).

Через несколько лет Бредель, член национального комитета «Свободная Германия», боролся с фашизмом на фронтах второй мировой войны.

Вернувшись на родину, Бредель принял активное участие в строительстве Германской Демократической Республики.

В главном произведении Бределя, в трилогии «Родные и знакомые», запечатлена в художественных образах история рабочего класса Германии, начиная с 70-х годов XIX века и кончая разгромом Германии в 1945 году.

Рассказ «Переселенец» напечатан в 1938 году; «Смерть генерала Моро» — в 1939 году; «Отпуск на родину» — в 1943 году.

**Узе Бодо** (род. в 1904). Сын офицера кайзеровской армии, Узе в юности был тесно связан с фашистскими кругами. Однако, сблизившись с антифашистами, а затем с коммунистами, Узе начал новую жизнь. Впоследствии он подверг свое прошлое резкой критике в автобиографическом романе «Наемник и солдат». Вступив в КППГ, Узе эмигрировал во Францию, затем в Испанию и принял активное участие в освободительной войне испанского народа. В романе «Лейтенант Бертрам» Узе разоблачил происки нацистов, готовивших войну против испанского народа.

Вернувшись из Мексики на родину, после долгих лет эмиграции, Узе принял активное участие в политической жизни и культурном строительстве ГДР. В 1954 году вышел роман «Патриоты», в котором отражена борьба прогрессивных сил немецкого народа против фашизма.

За свое творчество Узе удостоен Национальной премии ГДР.

Основные сборники рассказов Узе — «Св. Кунигунда в снегу» (1949), «Мексиканские рассказы» (1957).

Рассказ «Мотоцикл» издан в 1936 году; «Марш» — в 1939 году.

**Кукхоф Адам** (1887—1943) — участник немецкого Сопротивления. Кукхоф был актером и режиссером, поэтом и прозаиком, публицистом и ученым-филологом.

В 20-х годах Кукхоф руководил журналом «Дм Тат», вокруг которого сплотил многих прогрессивных писателей.

После прихода к власти Гитлера Кукхоф посвятил себя антифашистской борьбе. Он вошел в подпольную группу Сопротивления, был арестован вместе с другими участниками группы, приговорен к смертной казни и казнен в тюрьме Плетцензее.

В тюрьме, уже зная о приговоре, Кукхоф написал много стихотворений и пьесу об Уленшпигеле. Большая часть этих произведений погибла.

**Клаудиус Эдуард** (род. в 1911) — сын рабочего, был каменщиком. С шестнадцати лет занимался профсоюзной работой и был рабкором различных коммунистических изданий. Будучи членом КППГ, Клаудиус вынужден был эмигрировать в Швейцарию.



В 1934 году Клаудиус, который и в изгнании продолжал антифашистскую деятельность, был арестован швейцарской полицией. Ему удалось бежать в Испанию, где он как боец, а потом комиссар интернациональных бригад сражался за свободу испанского народа. После долгих лет подпольной борьбы, пребывания в тюрьмах и лагерях Клаудиусу удалось присоединиться к бойцам партизанской бригады «Гарибальди», дравшейся в Северной Италии. Вернувшись на родину, Клаудиус принял участие в строительстве ГДР.

Основные произведения Клаудиуса — романы «Зеленые оливы и голые горы» (1945), «Люди на нашей стороне» (1951), «О любви надо не только говорить» (1957). Значительны сборники новелл Клаудиуса: «Рассказы» (1951), «Плоды сурового времени» (1953).

Рассказ «Человек на границе» опубликован в 1944 году.

**Херmlin Стефан** (род. в 1915) — поэт-лирик, переводчик, прозаик и эссеист. С ранней юности Хермлих принимал участие в революционной борьбе, был членом Коммунистического союза молодежи Германии и вплоть до 1936 года оставался в Германии, вел подпольную борьбу против фашизма. В годы эмиграции Хермлих жил во многих странах, принимал участие в освободительной войне испанского народа, участвовал в движении Сопротивления во Франции. Первые произведения Хермлиха были изданы в эмиграции. Основная тема его творчества — героическая борьба антифашистов. И в своих стихах («Двенадцать баллад о больших городах», 1945), и в новеллах Хермлих неизменно обращается к этой теме. Сборник его рассказов «Первая шеренга» (1951), посвященный героической борьбе немецкой молодежи, включает в себя литературные портреты многих юных борцов антифашистского Сопротивления.

В 1960 году вышел сборник публицистических статей Хермлиха «Встречи», посвященный вопросам политики и литературы.

Новелла «Путь большевиков» написана в 1949 году.

**Борхерт Вольфганг** (1921—1947) — основоположник западногерманской антимилитаристской литературы. Прожил короткую, мучительную жизнь. Выходец из буржуазной семьи, актер по профессии, Борхерт был призван в армию, затем арестован по обвинению в антифашистской деятельности и приговорен к смертной казни, которая была ему заменена отправкой на передовую. Тяжело раненный и смертельно больной Борхерт вернулся на родину и снова был арестован.

Выйдя после войны из тюрьмы, Борхерт вел нищенское существование.

Первые произведения Борхерта, стихи (сб. «Фонари, ночь и звезды»), появились в 1946 году. Пьеса «На улице перед дверью», впоследствии послужившая сценарием к кинокартине «Любовь 47», вышла в 1947 году, имела необычайный успех.

**Бёлль Генрих** (род. в 1917) — крупный прогрессивный западногерманский писатель. Сын скульптора, Бёлль прослужил солдатом всю вторую мировую войну.

Печататься Бёлль стал с 1947 года. В своих произведениях он подвергает резкой критике политику правящих кругов ФРГ, реакционное духовенство и дух милитаризма и реваншизма, царящий в этом государстве.

В 1962 году в качестве главы делегации писателей ФРГ посетил Советский Союз.

Особой известностью пользуются роман «Дом без хозяина» (1954), рассказы «Молчание доктора Мурке и другие сатиры» (1958) и роман «Бильярд в половине десятого» (1959).

**Ледиг Герт** (род. в 1921) — писатель ФРГ, получил среднее техническое образование. В 1939 году был призван в армию и за «мятежные» речи отправлен в штрафной батальон. Демобилизованный вследствие ранения, Ледиг поступил в институт и получил специальность инженера-кораблестроителя.

Романы Ледига посвящены критическому изображению и разоблачению фашистской агрессии и ее вдохновителей.

Рассказ «Погоня» напечатан в 1959 году.

**Иохс Вольфганг** (род. в 1908). Член КПГ Иохс был арестован в 1937 году по обвинению в «государственной измене» и приговорен к длительному, тюремному заключению. В 1943 году, Иохс был отправлен на фронт в штрафной батальон.

Вернувшись из английского плена, Иохс принял деятельное участие в демократическом преобразовании Германии и создании ГДР. В настоящее время он главный редактор журнала «Нойе дейтше Литератур».

Сквозь произведения Иохс проходит лейтмотивом тема роли и участия интеллигенции в социалистическом строительстве.

Особой известностью пользуются романы: «Жанна Пейротон» (1949), где Иохс изображает судьбу француженки, женщины из буржуазного общества, которая включается в борьбу рабочего класса, и «Жалости не будет» (1961). В центре этого произведения образ человека, который вступил на путь предательства, бежал из ГДР и нашел гибель в боннском государстве.

Рассказ «Так было девятого мая» написан в 1948 году.

**Гейм Стефан** (род. в 1913) — участник рабочего движения, в 1933 году вынужден был эмигрировать из Германии. Очутившись в США, Гейм вел тяжкое существование, переменял множество профессий.

В 1943 году Гейм в качестве солдата американской армии участвовал во вторжении в Европу, и в оккупации Германии.

После окончания войны Гейм, один из основателей «Нойе Цейтунг», в Мюнхене был обвинен в «прокоммунистической деятельности», снят с работы и отозван в США.

В знак протеста против американской агрессии в Корею Гейм вернул американскому президенту свои знаки военных отличий и уехал в ГДР.

Романы Гейма — «Крестоносцы» (1948), в котором он дал яркое реалистическое изображение американской армии, и «Голдсборо» (1954), об американских шахтерах, — пользуются большой популярностью.

**Штриттматтер Эрвин** (род. в 1912) — прозаик и драматург, один из наиболее значительных писателей Германской Демократической Республики. Сын деревенского пекаря, Штриттматтер провел тяжелую трудовую юность. Он стал участником движения рабочей молодежи, самоучкой получил образование и рано вступил на писательский путь. Но война изменила жизнь Штриттматтера. Только перед самым ее концом удалось ему дезертировать из фашистской армии.

Его первое значительное произведение «Погонщик быков» (1950) — это социальный роман, в котором много автобиографических элементов. Большим успехом пользовалась комедия «Капграбен» (1954), поставленная Брехтом. Роман «Чудодей» (1957), действие которого охватывает период с 1909 по 1943 год, — это развернутая картина немецкого общества, прежде всего мелкобуржуазной среды. Необыкновенная жизненность героя романа, наивного, неискушенного весельчака, от лица которого ведется повествование, придает книге особую свежесть и остроту.

Новелла «Из конторской книги» написана в 1953 году.

*Е. Зако*

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Гергарт Гауптман</i>	
Карнавал. Перевод М. Вершининой . . . . .	5
<i>Рихарда Гух</i>	
Певец. Перевод В. Стеженского . . . . .	23
<i>Якоб Вассерман</i>	
Золото Кахамарки. Перевод с немецкого . . . . .	49
<i>Генрих Манн</i>	
Дело чести. Перевод Е. Яновой . . . . .	87
Стэрни. Перевод И. Каринцевой . . . . .	95
<i>Томас Манн</i>	
Марио и волшебник. Перевод Р. Миллер-Будницкой	103
Счастье. Перевод Т. Исаевой . . . . .	147
<i>Бернгард Келлерман</i>	
Святые. Перевод Л. Бару и М. Абезгауз . . . . .	158
<i>Арнольд Цвейг</i>	
Не унижать! Перевод М. Подляшук . . . . .	186
Счастье Отто Темке. Перевод Р. Ровенталь . . . . .	195
Возвращение противогая. Перевод Е. Закс . . . . .	203
<i>Леонгард Франн</i>	
Отец. Перевод Л. Соколовой . . . . .	208
В последнем вагоне. Перевод Д. Каравкиной . . . . .	217
<i>Клабунд</i>	
Медведь. Перевод С. Раскиной . . . . .	245

<b>Альфред Деблин</b>	
Суд Фемы. Перевод В. Смирнова . . . . .	249
<b>Пауль Цех</b>	
Деревня без мужчин. Перевод С. Раскиной . . . . .	258
<b>Рудольф Леонгард</b>	
Еврейский мальчик. Перевод В. Волох . . . . .	267
<b>Фридрих Вольф</b>	
Огольки над окопами. Перевод С. Миасова . . . . .	273
<b>Бертольт Брехт</b>	
Плащ еретика. Перевод Э. Львовой и С. Львова . . . . .	278
Солдат из Ла-Сьота. Перевод Э. Львовой и С. Львова . . . . .	286
Раненый Сократ. Перевод Л. Иноземцева . . . . .	287
Из рассказов о господине Койнере. Перевод Э. Льво- вой . . . . .	300
<b>Лион Фейхтвангер</b>	
Броненосец «Потемкин». Перевод Т. Лурье . . . . .	309
Верный Петер. Перевод М. Тютюник . . . . .	314
<b>Людвиг Ренн</b>	
Поле боя. Перевод Э. Васильевой . . . . .	321
<b>Эрих Кестнер</b>	
Дуэль под Дрезденом. Перевод Н. Барабановой . . . . .	325
<b>Ганс Фаллада</b>	
Я нашел работу. Перевод М. Вершининой . . . . .	331
<b>Анна Зегерс</b>	
Последний путь Коломана Валлиша. Перевод Э. Льво- вой и С. Львова . . . . .	344
Квадрат. Перевод Э. Львовой . . . . .	356
Сорок лет Маргареты Вольф. Перевод Л. Лежневой . . . . .	358
<b>Ганс Мархеица</b>	
Призрачный свет. Перевод Т. Лурье . . . . .	369
<b>Адам Шаррер</b>	
Хозяин в доме. Перевод Г. Миньковской . . . . .	374
<b>Оскар Мария Граф</b>	
Неправедные деньги. Перевод М. Тютюник . . . . .	386

<b>Франц Карл Вайснопф</b>	
Мечта парикмахера Цимбуры. Перевод Л. Соколовой	399
<b>Людвиг Турен</b>	
Жизнь и смерть моего брата Рудольфа. Перевод Т. Лурье . . . . .	419
<b>Бруно Травен</b>	
Обращение индейцев. Перевод В. Золотовой . . . .	425
<b>Вилли Бредель</b>	
Переселенец. Перевод Е. Яновой . . . . .	431
Смерть генерала Моро. Перевод М. Подляшук . . .	443
Отпуск на родину. Перевод И. Горской . . . . .	462
<b>Бодо Узе</b>	
Мотоцикл. Перевод Э. Васильевой . . . . .	468
Сентябрьский марш. Перевод Н. Барабановой . . .	476
<b>Адам Нунхоф</b>	
Дезертир. Перевод Е. Михелевич . . . . .	491
<b>Эдуард Клаудиус</b>	
Человек на границе. Перевод И. Горской . . . . .	502
<b>Стефан Хермлин</b>	
Путь большевиков. Перевод С. Ездокушкина . . .	506
<b>Вольфганг Борхерт</b>	
Шижиф, или Кельнер моего дяди. Перевод Л. Черной	518
Рассказы из хрестоматии. Перевод Э. Васильевой . .	529
Бледиолицый брат мой. Перевод Э. Васильевой . . .	533
Ведь ночью крысы спят. Перевод Э. Васильевой . .	535
Хлеб. Перевод Л. Черной . . . . .	538
<b>Генрих Бёльль</b>	
Путник, когда ты придешь в Спа... Перевод И. Гор- киной . . . . .	541
Балаган! Перевод М. Подляшук . . . . .	550
Как в плохих романах. Перевод И. Каринцевой . .	553
<b>Герт Ледиг</b>	
Погоня. Перевод Л. Лежневой . . . . .	559

**Вольфганг Мохо**

Так было девятого мая. *Перевод И. Горкиной* . . . 570

**Стефан Гейм**

Вацилла. *Перевод Э. Верезиной* . . . . . 576

**Эрвин Штрийтматтер**

Из одной конторской книги. *Перевод В. Золотовой* 592

От составителя. *И. Фрадкин* . . . . . 599

Справки о писателях. *Е. Закс* . . . . . 605

**Немецкая новелла**

**XX века**

**Редактор**

**Ю. Кошелева**

**Художественный редактор**

**П. Ермоленко**

**Технический редактор**

**Ж. Примаж**

**Корректоры**

**В. Брагина и А. Шлейфер**

**Сдано в набор 17/I 1963 г.**

**Подписано в печать 21/III 1963 г.**

**Бум. 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>, 39 печ. л.=35,48 усл.**

**печ. л. 35,29 уч.-изд. л. Тираж 50 000**

**Цена 1 р. 71 к.**

**Заказ 69.**

**Гослитиздат**

**Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19**

**Первая Образцовая типография**

**имени А. А. Жданова**

**Московского городского совнархоза.**

**Москва, Ж-54, Валуевая, 28.**





42715